С. А. ТОЛСТАЯ

ДНЕВНИКИ


СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ


ИХЛ

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией

В. Э. ВАЦУРО
Н. К. ГЕЯ
С. А. МАКАШИНА
С. И. МАШИНСКОГО (редактор тома)
А. С. МЯСНИКОВА
В. Н. ОРЛОВА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

С. А.
ТОЛСТАЯ

ДНЕВНИКИ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

1862-1900

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

8Р1
Т52

Вступительная статья
С. А. РОЗАНОВОЙ

*Составление, подготовка текста
и комментарии*
Н. И. АЗАРОВОЙ, О. А. ГОЛИНЕНКО,
Н. А. ПОКРОВСКОЙ, С. А. РОЗАНОВОЙ,
Б. М. ШУМОВОЙ

Оформление художника
В. МАКСИНА

Т $\frac{70202\text{-}312}{028(01)\text{-}78}$ 58-78



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. 23 сентября 1895 г.
Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.

ВЫСОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

1

«И пусть люди снисходительно отнесутся к той, которой, может быть, непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое назначение — быть женой гения и великого человека» [1], — с такими словами обратилась С. А. Толстая в 1913 году к своим современникам уже после того, как почти полвека прожила рядом с этим великим человеком. Сознание исключительности своего положения пришло к ней не сразу. В сентябрьский день 1862 года, когда 18-летняя дочь кремлевского врача Сонечка Берс стала графиней Толстой, женой известного уже тогда русского писателя, она, разумеется, не предугадывала необычности своей судьбы. Она тогда не знала, да и не могла знать, что ей суждено и трудное и высокое назначение, что у нее есть не только обязанности перед настоящей жизнью своего мужа, но и долг перед будущими поколениями, перед культурой. Щедро одаренная природой, она была готова к исполнению этой сложной и ответственной роли. С. А. Толстая не была заурядной личностью; она обладала умом, независимым характером, огромной жизненной энергией, необыкновенным трудолюбием, разносторонними дарованиями. Она могла стать «помощницей» Толстого, потому что была натурой художественной, с несомненными литературными способностями, очень любила литературу. Ее сочинение «Музыка», написанное на экзамене в Московском университете для получения звания домашней учительницы, было признано лучшим. Ее повесть «Наташа»,

[1] Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 гг. М., 1913, с. IV.

которую она сожгла перед замужеством, прочел с интересом Толстой и нашел в ней «энергию правды и простоты» (Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 48, с. 41) [1]. С. А. Толстая основательно знала историю русской литературы, древнюю и современную, очень любила поэзию, особенно стихи Фета и Тютчева, сама сочиняла стихи и даже опубликовала цикл стихотворений в прозе «Стоны» (1904). Она проявляла редкий для женщины того времени интерес к философии. Начиная с 1880-х годов в круг ее чтения входят сочинения античных мыслителей Эпиктета, Платона, Сократа, труды Спинозы и Шопенгауэра.

Уже в зрелые годы она полюбила занятия живописью и много часов проводила за мольбертом. «Тут до нас бывала Софья Андреевна, — сообщал М. О. Гершензон брату в письме от 12 июля 1904 года. — Практически она необыкновенно способна — так все говорят; этой весною, ни разу в жизни не держав кисти в руках, она сделала масляными красками копию с портрета Льва Николаевича — Репина, говорят, отлично» [2]. И. А. Бунин после знакомства с ней отметил: «Софья Андреевна была очень талантлива художественно...» [3] Как и Толстой, его жена не могла жить без музыки. Она посещала концерты, сама играла серьезные музыкальные сочинения, а в первые годы после замужества они вдвоем «садились за рояль и до глубокой ночи играли в 4 руки» [4].

«Из моих собственных наблюдений за время знакомства с домом Толстых, — отмечал художник Л. О. Пастернак, — я должен сказать, что при всем внешнем сходстве ее с сотнями женщин, в особенности с женщинами аристократических кругов с их хорошими и дурными качествами, она во многих отношениях была крупным, выдающимся человеком — в пару Льву Николаевичу, благодаря критической способности, с которой она разбиралась в произведениях искусств и которая давала ей возможность помогать ему в его литературной работе... Софья Андреевна сама по себе была крупной личностью» [5].

Благодаря высокому уровню своего духовного развития С. А. Толстая смогла стать причастной к художественному,

---

[1] В дальнейшем все ссылки на это издание даются с указанием лишь тома и страницы.

[2] М. О. Гершензон. Письма к брату. М., 1927, с. 163.

[3] И. А. Бунин. Собр. соч. в девяти томах, т. 9. М., «Художественная литература», 1967, с. 52.

[4] С. А. Толстая. Автобиография. — «Начала», 1921, № 1, с. 144.

[5] Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., «Советский художник», 1975, с. 201.

интеллектуальному миру великого писателя. «У Л. Н. не было более беспощадного критика, нежели его жена...» — находил П. А. Сергеенко[1]. «Человека сильного и искреннего»[2] увидел в ней Горький. Нежно и с большой любовью, смешанной с восхищением, относился к ней Фет, воспевший ее в своих стихах. Дружеское расположение она вызывала у многих друзей и гостей Ясной Поляны — Л. Д. Урусова, Н. Н. Страхова, В. В. Стасова, Н. Н. Ге, М. В. Нестерова и многих других.

С. А. Толстая была человеком с нелегким характером, с натурой нервной, страстной, склонной к пессимизму, крайне импульсивной и открытой душой. С юности она испытывала потребность в исповеди, в самоанализе, в оформлении на бумаге своих переживаний, горестей, всех наиболее примечательных событий, случавшихся с ней. С 11 лет она вела дневник, уничтоженный ею перед замужеством. Она постоянно ощущала необходимость писать о себе, отображать важнейшие коллизии своей жизни, причем с удивительной откровенностью и чистосердечием. Все ее беллетристические произведения — автобиографичны, основаны на реальных ситуациях. В повести «Чья вина?» (1895), представляющей собой полемический ответ на «Крейцерову сонату», где аналогичный сюжет изложен с точки зрения жены, описана ее дружба с Фетом. «Песня без слов» (1895—1900) является несколько измененной историей ее отношений с композитором С. И. Танеевым. Написанные ею детские рассказы, вошедшие в сборник «Куколки-скелетцы» (1910), воспроизводят эпизоды из жизни ее детей и ее собственной.

С. А. Толстая любила и умела превращать в «документ» не только интересное, яркое, радостное, но и глубоко личное, даже очень больное и драматичное. В разные годы ею были созданы мемуарные очерки: «Поездка к Троице», «Женитьба Л. Н. Толстого», «О первом представлении комедии «Плоды просвещения», «Воспоминания об И. С. Тургеневе» и другие. Даже свое самое страшное, неутешное до конца дней горе она запечатлела в рассказе «Смерть Ванечки». И, наконец, на протяжении почти двух десятилетий она трудилась над мемуарно-документальным повествованием «Моя жизнь».

Но самым главным и самым необходимым собеседником Софьи Андреевны являлся ее дневник, который она вела более полувека, правда, нерегулярно и с большими перерывами. Первая запись была сделана 8 октября 1862 года спустя две недели пос-

---

[1] П. А. Сергеенко. Из сказки о счастье. — «Биржевые ведомости», 1916, № 15 233, 26 ноября.

[2] М. Горький. Собр. соч., т. 28. М., Гослитиздат, 1953, с. 137.

ле замужества, а последняя 9 ноября 1910 года, после смерти Толстого. Когда она впервые открыла свой «журнал», чтобы начать повествование об «истории... любви к Левочке», то, не ведая того, начала выполнять свое высокое назначение. В тот день было положено начало ее большой мемуарной книги.

Дневники С. А. Толстой — заметное и весьма своеобразное явление в отечественной мемуаристике и в литературе о Толстом. Первоначально дневник писался преимущественно для выражения чувств, настроений, для разговора о себе и об отношениях с мужем. Став женой такого человека, как Лев Толстой, она открыла для себя, что муж ее — личность необыкновенная, намного ее превосходящая, что у него есть свой таинственный и не подвластный ей мир, своя скрытая от нее духовная и творческая жизнь. Это и побуждало ее обращаться к дневнику за утешением и поддержкой. «Я воображала, — признавалась С. А. Толстая в первой же записи, — ...что этот человек будет всегда у меня на глазах, что я буду знать малейшую его мысль, чувство, что он будет во всю жизнь любить меня одну». Она много пишет о горе, причиняемом ей мыслью о той дистанции, которая отделяет ее от него. И первые записи, по собственному признанию, делаются главным образом для удовлетворения «потребности сосредоточиться и выплакаться, выписаться в журнале», для излияния, самоанализа и обвинений. «Когда не в духе — дневник»,— заметил о ней Толстой. Записи первых лет семейной жизни представляют несомненный психологический интерес, но они весьма односторонни и не создают объективной картины жизни, ибо за пределами дневника оставались дни счастливые, благополучные, гармоничные. Недаром сама С. А. Толстая, как-то перечтя свои записи, обратила на это внимание. «Смешно читать свой журнал, — сознавалась она. — Какие противоречия, какая я будто несчастная женщина. А есть ли счастливее меня? Найдутся ли еще более счастливые, согласные супружества. Иногда останешься одна в комнате и засмеешься своей радости... *я пишу журнал всегда, когда мы ссоримся».* Эта тенденция особенно заметна и в записях первых лет после замужества, и в тех, что делались в драматическом 1910 году — году ее нервного заболевания, острых конфликтов, ухода и смерти Толстого.

Со временем содержание дневника меняется. Теперь каждая ее запись — это кадр, где заснят «поток жизни», это один день со всем происшедшим в яснополянском доме и вокруг, с семейными и бытовыми подробностями, с приездами родных, друзей, гостей и, разумеется, с обязательным присутствием Толстого, с отчетом о

его трудах, встречах, самочувствии. Своеобразие этого дневника в том, что все описываемые события Софья Андреевна освещала своим взглядом, своим восприятием, своими критериями добра и зла. Ее дневник — сплав из реалий, фактов, рассказов о Толстом и о других людях, взрослых и детях, близких и далеких, — и из описаний внутреннего состояния своей души, лирических исповедей и психологических этюдов. Повествование С. А. Толстой многоплановое и многолюдное.

По мере того как ей уяснялось огромное значение Толстого, она начала сознавать недостаточность таких записей. «На днях, читая биографию Пушкина, мне пришло в голову, что я могла бы быть полезна для потомства, которое будет интересоваться биографией Левочки и записывать не вседневную его жизнь, а жизнь умственную», — так объяснила она происхождение отдельной тетради, озаглавленной «Мои записи разные для справок», начатой в 1870 году и законченной в 1881 году. Это, по существу, тот же дневник, но с точно обозначенным сюжетом — Толстой и его духовно-художническое бытие. «Потомство», для которого заполнялись страницы этой тетради, получило единственный в своем роде документ, позволяющий увидеть мастера в работе, узнать о некоторых не осуществленных им замыслах, размышлениях, мимолетных суждениях, зачастую нигде более не зарегистрированных. Приходится только сожалеть, что «записи разные для справок» были поздно начаты и слишком рано прекращены. Правда, в последующие годы С. А. Толстая не оставляла этой темы, и в ряде дневниковых заметок рассказано о Толстом той поры, когда он работал над такими своими художественными шедеврами, как «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат», «Воскресение» и главными религиозно-философскими статьями.

Благодаря ее записям отчетливо выявляется огромный и пестрый круг общения писателя после того, как он обрел новую веру и стал защищать интересы «бедных классов». Круг этот составляли теперь главным образом фабричные рабочие, студенты-революционеры, гонимые сектанты, молодые искатели правды и справедливости, просители-крестьяне и несчастные обездоленные люди, искавшие у Толстого совета и помощи. Наконец С. А. Толстая регистрировала в своем дневнике все посещения их дома известными писателями — Фетом, Тургеневым, Сологубом, Андреевым, Короленко, художниками — Репиным, Нестеровым, Гинцбургом, критиками — Стасовым, Страховым, деятелями культуры, русскими и иностранными корреспондентами.

Неоценимое достоинство дневника в том, что он знакомит читателя с личностью Толстого почти на всех этапах его жизненного и писательского пути, вводит в атмосферу его жизни в раз-

ных ее аспектах, обогащает знание его биографии фактами редкими, а порой и совсем неизвестными.

С 1893 года С. А. Толстая начала параллельно собственно дневникам вести еще и «ежедневники», то есть в книжечках-календарях «на каждый день» кратко записывать основные новости дня, прожитого семьей. На протяжении нескольких лет эти пометы в календаре предельно лаконичны, занимают одну-две строчки и особого интереса не представляют. Примерно с 1903 года они становятся пространней, содержательней. Тем более что подчас они по типу приближаются к дневниковым записям, особенно в те годы, когда Софья Андреевна не вела свой «журнал». Поэтому здесь столь сосредоточено внимание к Толстому, его работе, его суждениям, его посетителям. Эти ежедневники С. А. Толстая продолжала вести и после смерти писателя — последняя запись была сделана за несколько дней до ее кончины. В течение 9 лет (1911—1919) день за днем, за редкими пропусками, она составляла летопись яснополянской жизни, всего, что имело непосредственное отношение к судьбе Толстого.

Дневники С. А. Толстой — произведение документального жанра, но в них заметна ее литературная одаренность, наблюдательность, умение в двух-трех строчках обрисовать внешность человека, создать его психологический портрет, дать ему оценку; отличаются они также лексическим богатством, ярко выраженным индивидуальным стилем.

На дневнике, в котором существенное место занимает самоанализ, пристальное исследование души, причем души сложной, надломленной, раздираемой противоречивыми чувствами, несомненно сказалось освоение опыта русской прозы, ее достижения в анализе психологии, внутреннего мира человека. А с другой стороны, предельно лаконичные и выразительные наброски разных по своей сути характеров, жанровые и пейзажные зарисовки, сделанные в экспрессионистической манере, умение передать дисгармоничность сознания, тончайшие оттенки настроений, зыбкость и переменчивость чувств, да и весь арсенал ее изобразительных средств свидетельствуют, что автору дневника близка поэтика искусства начала нового века.

Редкому мемуаристу удается роль беспристрастного летописца, дающего абсолютно точный слепок с действительности, объективный портрет своих персонажей. И С. А. Толстая не свободна от субъективности в оценке фактов, людей, мотивов их поведения. Ее неприятие убеждений Толстого, сложившихся у него после пережитого им «переворота», повлекло за собой некоторое смещение акцентов, а порой и одностороннее объяснение событий и внутрисемейных отношений.

В целом дневник С. А. Толстой — памятник большого культурного и историко-литературного значения, ибо в нем воссоздан живой облик Льва Толстого в его «вседневной» и «умственной» жизни.

2

На протяжении почти полувека С. А. Толстая была сопричастна каждодневной жизни гения, имела возможность наблюдать зарождение его замыслов и их превращение в шедевры мировой литературы, замечать самые различные оттенки его душевного состояния, запечатлевать драгоценнейшие подробности творческого бытия великого писателя.

Толстой, как известно, сам вел дневник, где отмечал различные стадии своего творческого процесса, исповедовался в своих переживаниях. Сохранились также и многочисленные рукописи его произведений, наглядно показывающие, как он работал. И все же без дневника С. А. Толстой от нас были бы скрыты некоторые особенности творческой индивидуальности Толстого, мы не получили бы представления о том, с какой необычайной ответственностью относился он к своему призванию и как нечеловечески трудна была его «профессия».

Один из самых значимых в этом многослойном дневнике тот слой, в центре которого писательское бытие Толстого. С первых дней своего замужества С. А. Толстая стала переписчицей, поверенной и советчицей мужа. «Ты мне сказал в день отъезда: «Ты мне помощница». Я и рада бы писать с утра до ночи и помогать тебе» [1], — признавалась она в письме к нему, имея в виду свое участие в переписывании рукописей «Войны и мира». Снятие копий с испещренных множеством поправок страниц романа — любимое и в высшей степени необходимое ей занятие, которое вводило ее в круг интересов мужа, сближало с ним. «Он иногда рассказывал мне свои авторские мысли и планы, и я всегда этому ужасно рада. И я понимаю его всегда», — отметила она в дневнике. О том же и другая запись от ноября 1866 года: «Теперь я все время и нынче переписываю (не читая прежде) роман Левы... Ничто на меня так не действует, как его мысли, его талант... Я пишу очень скоро и потому слежу за романом достаточно скоро, чтобы уловить весь интерес, и достаточно тихо, чтобы обдумать, прочувствовать и обсудить каждую его мысль. Мы часто с ним говорим

---

[1] С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М.— Л., «Academia», 1936, с. 32.

о романе, и он почему-то (что составляет мою гордость) очень верит и слушает мои суждения».

Действительно, С. А. Толстой пришлось переписывать почти все самые выдающиеся художественные произведения мужа и быть первым их читателем и первым критиком. В беседах с ним она слышала такие творческие исповеди и откровения, которые в ту пору не могли быть высказаны никому другому.

Со страниц дневника с впечатляющей силой вырисовывается образ художника, поглощенного непрестанной «страшной работой мысли», ушедшего в творчество, в создаваемый им поэтический мир. Мы узнаем, например, что в торжественный день празднования своего семидесятилетия, 28 августа 1898 года, писатель решительно изменил финал «Воскресения»: «Утром Л. Н. писал «Воскресение» и был очень доволен своей работой дня. «Знаешь, — сказал он мне... — ведь он на ней не женится, и я сегодня все кончил, то есть решил, и так хорошо». Или вот воспроизведенный в дневнике поразительный рассказ самого Толстого о том, «как ему приходят... *мысли* к роману», и всего лишь «белая шелковая строчка... на рукаве халата» «дала целую главу» в «Анне Карениной», столь существенную для понимания судьбы героини.

В одном разговоре в июне 1910 года Толстой, возражая Черткову, сказал: «Все говорят, что вдохновение пошлое, избитое слово, а без него нельзя» [1].

Эпизоды, наблюдения, факты, признания, зафиксированные в дневнике, дают реальное, почти осязаемое представление о том, что для Толстого вдохновение означало наступление такой стадии творчества, когда оно целиком захватывало его, понуждало самозабвенно с колоссальным напряжением всех своих сил трудиться. «Как потечет из него поток правдивого художественного творчества — он его уже не остановит», — сообщала свои наблюдения С. А. Толстая. Толстовское вдохновение — это полная несвобода от самого себя, от творимого текста, та несвобода, которая являлась для него высшей формой свободы, подлинной жизнью. Личность писателя, охваченного таким властным и могучим вдохновением, зримо высвечивается из нескольких фрагментов. «Льва Николаевича точно нет, — говорится в записи, относящейся к работе над завершением «Воскресения»,— он живет один, весь в своем деле. Гуляет один, сидит один, приходит в половине обеда или ужина только поесть и опять исчезает. Видно все время, что работает мысль». И вот уже пишется не роман, а публицисти-

---

[1] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. II. М., 1923, с. 151.

ческая статья, но и тут, по наблюдениям С. А. Толстой, «Л. Н. страшно сосредоточен в своей работе и весь мир для него не существует».

Дневник наполнен многими весомыми доказательствами, убедительно показывающими, что без абсолютного погружения в творчество Толстой существовать не мог. Его настроение, его душевное состояние полностью зависело от того, насколько успешно работает его «машина» и открылся ли «умственный клапан». Времена простоев, колебаний в выборе сюжета были для него в высшей степени мучительны и безотрадны. «Все это время бездействия... умственного отдыха его очень мучило,— записано в дневнике.— Он говорил, что ему совестно его праздность не только передо мной, но и перед людьми и перед всеми. Иногда ему казалось, что приходит вдохновение, и он радовался». Речь идет о времени после завершения «Войны и мира» и до начала работы над «Анной Карениной». Часто встречаются у нее заметки такого рода: «Л. Н. невесел, потому что ему все еще не работается», или «ему умственно не работается, а это его больше всего огорчает».

Если же «шла» работа, все его существование обретало для Толстого высокий и разумный смысл. «Всю осень он говорил: «Мой ум спит», и вдруг неделю тому назад точно что расцвело в нем: он стал весело работать и доволен своими силами и трудом»,— так фиксируется автором дневника переломный момент в истории создания «Анны Карениной». А об одном из трудовых дней, отданных трактату «Что такое искусство?» ею сказано: «Он веселый и бодрый, отлично работалось ему сегодня».

С. А. Толстая подметила тончайшие нюансы внутреннего состояния писателя в периоды его самозабвенного труда. «Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет», — таким предстает писатель, завершавший «Войну и мир». Но случалось, что и обдумывание, и процесс воплощения «мысли» протекали более гармонично, хотя также с «раздражением», означавшим на языке Толстого подъем. «Со времени «Войны и мира» не был в таком художественном настроении и очень доволен своей работой над «Воскресением», — услышала от Толстого его жена. Есть у нее и такие строки: «Он нынче работал и весел, *верит* в свою работу». Но значительно чаще встречаются слова: «напряженно», «лихорадочно», «сосредоточенно», «бьется», «ищет», и лишь иногда: «весело», «радостно».

В дневнике содержатся несколько частных, но весьма любопытных наблюдений, много дающих для представления о том, как работал Толстой.

Незадолго до своей смерти Толстой признался: «Бываешь днями настолько выше себя обыкновенного и, наоборот, — гораздо ниже» [1]. Его собственные каждодневные исповедальные самоотчеты, а также записи его жены позволяют с полным правом утверждать, что «выше обыкновенного» чувствовал он себя в дни титанического труда, взлетов, ощущения своего великого «могу».

Толстой являл собой тип художника строжайшей взыскательности и требовательности к себе, не терпящего никакого дилетантизма, своеволия в изображении реальной действительности, исторических событий, прошлого и современного быта, вплоть до самых мельчайших деталей. Рукописи, письма, обширная яснополянская библиотека, да и воспоминания ряда современников дают этому множество доказательств. Немало их и в дневнике. Весьма показателен эпизод, связанный с замыслом произведения «из истории времен Петра Великого»: «Он вникает до таких подробностей, что вчера вернулся с охоты особенно рано и допытывался по разным материалам, не ошибка ли, что написано, будто высокие воротники носились при коротких кафтанах». Дневник подтверждает, что, кроме широкого использования всевозможных печатных и архивных источников, не в меньшей степени «материалом» для Толстого служили рассказы очевидцев. «Л. Н. погружен в работу, все отделывает «Воскресение». — отмечено С. А. Толстой.— Сегодня он беседовал с странником, высланным за стачки, сидевшим в остроге 4 месяца. Л. Н. так и впился в его рассказы».

О том, какими обстоятельными были беседы такого рода, мы узнаем из другой записи, где сообщалось, что в Ясную Поляну приехал «молодой кавалергард Адлерберг» и что «Л. Н. его позвал к себе и много расспрашивал о военных действиях: «Что такое развод? Когда на смотру государь садится на лошадь? Кто подводит лошадь? и проч., и проч.». «Л. Н. очень занят историей Николая I и собирает и читает много материалов. Это включится в «Хаджи-Мурата»,— пояснила она цель беседы.

В дневнике подмечены и иные грани писательской индивидуальности Толстого: его колоссальная трудоспособность, подвижничество ради «уяснения мысли» как художественной, так и социально-философской, эстетической. «Сейчас 2 часа ночи, я все переписывала,— отмечала его «помощница».— Ужасно скучная и тяжелая работа, потому что наверно то, что написано мною сегодня — завтра все перечеркнется и будет переписано Л. Н. вновь.

---

[1] А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. II, с. 151.

Какое у него терпение и трудолюбие — это поразительно!» «Как работа Пенелопы — день работает, день все переписывает»,— так ею охарактеризован его стиль работы.

С. А. Толстую поражало, каким трепетным было отношение писателя к своим творениям. Летом 1901 года писатель был тяжело болен, он сам о себе сказал: «Я теперь на распутье, то есть вперед (к смерти)... или назад (к жизни)», накануне он провел «ужасную ночь», но «когда дочь Маша принесла ему сегодня только что переписанную Н. Н. Ге статью», то «он обрадовался ей, как мать обрадовалась бы любимому ребенку, которого ей принесли к постели больной».

Даже некоторые частные наблюдения об особенностях писательской работы Толстого очень интересны. Вот одно из них: «А я знаю, что когда чтение переходит у Левочки в область английских романов — тогда близко к писанью». Позднее она обратила внимание на другое: «Он пишет повесть «Хаджи-Мурат», и сегодня, видно, плохо работается, он долго раскладывал пасьянс, признак, что усиленно работает мысль и не уясняется то, что нужно».

Из сцепленных воедино отдельных набросков и фрагментов вырисовывается облик живого Толстого, который «с самоотвержением исполнял свое призвание». Этот облик приобретает многомерность еще и оттого, что С. А. Толстая воспроизвела и речь писателя, его живую интонацию, передала его размышления вслух, суждения о книгах, о людях и, что особенно ценно, о замыслах произведений, завершенных и не осуществленных. Некоторые из них служат своего рода шифром к постижению авторской концепции, точному прочтению текста. Глубинное и всестороннее исследование романов «Война и мир» и «Анна Каренина» невозможно, если не принять во внимание дошедших до нас через ее дневник слов Толстого о том, что в одном произведении он любил «мысль народную», а в другом «мысль семейную». Быть может, столь долго преследовавший Толстого замысел романа о декабристах остался нереализованным оттого, что он хотел «смотреть на историю 14-го декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать». Весь последний этап его литературной деятельности, включая и его роман «Воскресение», нельзя осмыслить, если не помнить, что еще в 1878 году художник стремился реализовать замысел повествования, где «простая жизнь в столкновении с высшей».

Поэтический мир Толстого отображен в дневнике его жены в разных его гранях, и в этом бесспорное его достоинство.

3

Дневник С. А. Толстой является по существу летописью жизни одной большой и разветвленной семьи, прослеженной на разных этапах ее существования и во всех переменах, происходивших в ней. За многими жизненными историями, коллизиями стоит реальное историческое время, когда «все переворотилось». Поэтому дневник представляет также социальный и бытовой интерес. Но «мысль семейная» дневника обретает особый смысл потому, что здесь изложена хроника не рядовой дворянской семьи, а семьи Толстого, всех ее членов, даже не одного поколения, с которыми он был связан неразрывными узами. Большую значимость этой хронике придает еще и тот факт, что она приходится на «тот период русской истории, который лежит между двумя поворотными пунктами ее, между 1861 и 1905 годами», на период «главной деятельности» [1] Толстого, да еще захватывает последующие 15 лет с такими событиями, как первая мировая война, Октябрьская революция.

Запечатлевая в подробностях систему быта семьи, характер личных отношений в ней, С. А. Толстая зримо передает приметы меняющегося времени.

В первые годы, когда еще только складывалась молодая семья, а история сохраняла свое относительно спокойное течение, Ясная Поляна жила под знаком «тихого радостного существования», воспроизведенного в целом ряде записей, хотя оно и омрачалось ревностью, «надрезами любви», но любви обоюдной, сильной. «Неимоверное счастье... Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью» (т. 48, с. 46),— записал в свой дневник вскоре после женитьбы Толстой. «Знаете ли, кого я на днях видел? *Нового* Толстого Л. Н.,— сообщал И. П. Борисов Тургеневу в ноябре 1862 года.— Он с женою на несколько дней приезжал в Никольское. Она — прелесть хороша собой *вся.* Здраво умна, проста и нехитроумна — в ней должно быть и много характера, т. е. воля ее у нее в команде. Он в нее влюблен до Сириусов». Наблюдательный приятель Толстого тут же пророчески добавил: «Нет, все еще не успокоилась буря в его душе — притихла с медовым месяцем, а, там наверно, пронесутся еще ураганы и *моря сердитого шум*» [2].

Но пока еще бури не пронеслись, Толстой счастлив тем, что осуществился его идеал и в доме установился тот прежний

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 38.
[2] «Тургеневский сборник», вып. III. Л., «Наука», 1967, с. 365.

уклад, который знаком ему по воспоминаниям детства и так им любим. Из рассказа С. А. Толстой о себе, о своих детях, их играх, развлечениях, занятиях с гувернерами и учителями, своих делах и делах мужа создается картина патриархального усадебного быта интеллигентной дворянской семьи, еще замкнутого, традиционного. Это тот уклад, ценность которого не только еще не поставлена Толстым под сомнение, но он со своей идеально-поэтической стороны положительно освещен в «Войне и мире». Это те годы, когда Толстой, по собственному признанию, был поставлен в «наилучшие условия жизни» (т. 16, с. 7), но длились они недолго.

На рубеже 80-х годов духовное развитие Толстого завершилось его прозрением, когда ему стали «ясны все сложные, разрозненные, запутанные и бессмысленные явления жизни» и открылась ужасная несправедливость, безнравственность «наилучших условий жизни». Он во всеуслышание провозгласил: «Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь...» (т. 23, с. 47). Перед «прозревшим» Толстым действительность предстала со всеми ее «кричащими противоречиями», со всей жестокой правдой об отчаянном положении народа, его бедствиях и бесправии. «Страдание о несчастиях, несправедливости людей, о бедности их, о заключенных в тюрьмах, о злобе людей, об угнетении — все это действует на его впечатлительную душу и сжигает его существование»,— так С. А. Толстая в нескольких строках приоткрыла внутренний мир писателя в пору «перестройки» всего его «миросозерцания». В происходившей в России борьбе между верхами и низами Толстой безоговорочно на стороне низов, глазами народа он смотрит на современную действительность, его помыслы, чувства, боль становятся его собственными. Везде, и в деревне, и в городе, он обнаруживает «контраст между роскошью роскошествующих и нищетой бедствующих». В отстаивании прав народа Толстой проявляет поразительную смелость, он освобождается от «гипноза общественного мнения», от «страха перед властью» и в своих писаниях бескомпромиссно и мужественно отвергает, обличает, по определению В. И. Ленина, «все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки» [1], все установления общественного устройства современной России. Теперь для него вся жизнь сословия, к которому он принадлежал по своему происхождению, безнравственна и ложна, так как она «построена на гордости, жестокости, насилии, зле» (т. 83, с. 541).

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 40.

С этих пор в семье Толстого возникает драматическая коллизия. Два любящих друг друга человека, проживших вместе много лет, исповедуют разную веру, признают истинными разное миропонимание и разные типы существования. Признаки «разлада», предвестники возможного в будущем конфликта мелькали задолго до его возникновения в одном дневниковом диалоге. «Он мне гадок с своим народом,— записала еще в 1862 году С. А. Толстая.— Я чувствую, что или я, то есть я, пока представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему, ...я вдруг почувствовала, что он и я по разным сторонам, то есть, что его народ не может меня занимать *всю*, как его, а что его не может занимать *всего* я, как занимает меня он». И у Толстого были свои серьезные претензии к жене: «С утра я прихожу счастливый, веселый и вижу *графиню,* которая гневается и которой *девка Душка* расчесывает волосики» (т. 48, с. 57).

И они действительно оказались «по разным сторонам», в ситуации крайне трудной, болезненной для обоих. С. А. Толстая не разделяла убеждений своего мужа, его отрицания всей общественной системы, сложившейся в России, его критики собственности, социального неравенства. Но она сознавала, на какую нравственную и человеческую высоту он поднялся, вступив в единоборство с властью ради страждущего люда. «Он человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди» [1],— признавала она, о чем писала Т. А. Кузминской.

И все же порою нравственный пафос учения Толстого воспринимался ею с сочувствием. «Еду я вчера в концерт и ясно, ясно стала себе представлять то бедствие народное от неурожаев и бесхлебицы,— исповедовалась она...— Все мне ярко представилось, точно я видела только что все это — детей, просящих есть, а есть нечего, матерей, страдающих от вида голодных детей, а самих тоже голодных,— и ужас на меня напал, какое-то бессильное отчаяние... Ничего не заставляет меня так страдать, как мысль о голоде детей». И тогда же она выступила с взволнованной статьей, где призывала к «пожертвованиям» в пользу голодающих. Как известно, благодаря ее выступлению в печати были получены большие денежные средства, использованные Толстым в организованной им помощи голодающим крестьянам.

И в жизни С. А. Толстой бывали такие дни и часы, когда боль, которую испытывал ее муж, глядя на «бедствующих», пе-

[1] Цит. по кн.: В. А. Жданов. Любовь в жизни Льва Толстого. М., 1928, кн. 2, с. 26.

редавалась и ей. Тогда в ее дневнике появлялись записи, по содержанию и тональности перекликающиеся с теми, которые постоянно делались Толстым: «Сажала яблони и деревья, смотрела с страданием на вечную борьбу за существование с народом, на их воровство и распущенность, на наше несправедливое, богатое существование и требование работы в дождь, холод, слякоть не только от взрослых, но и детей за 15, иногда 10 копеек в день».

Читая постоянно статьи Толстого и его дневники, слушая те разговоры, какие он вел дома, С. А. Толстая иногда испытывала воздействие его идей, даже лексики, что подтверждается, например, одной записью в ее ежедневнике: «Читала сначала «Ткачи» Гауптмана и думала: все мы богатые люди, и фабриканты, и помещики, живем в этой исключительной роскоши, и часто я не иду в деревню, чтобы не испытывать той неловкости, даже стыда от своего исключительного богатого положения и их бедности. И, право, удивляешься еще их кротости и незлобивости относительно нас». Было сделано ею и такое признание: «Получаю плату за покос, и мужицкие деньги руки жгут». С. А. Толстая способна была публично высказывать свое сочувствие деятельности и взглядам Толстого и несогласие с официальной правительственной политикой. После отлучения Толстого от церкви в феврале 1901 года, она, которая, по ее словам, «принадлежала к церкви», была верующей, обратилась к митрополиту Антонию с письмом, полным гнева и обличений духовных пастырей. Она писала: «И виновны в грешных отступлениях от церкви не заблудившиеся, ищущие истину люди, а те, которые гордо признали себя во главе ее и вместо любви, смирения и всепрощения стали духовными палачами тех, кого вернее простит бог за их смиренную, полную отречения от земных благ, любви и помощи людям жизнь, хотя и вне церкви, чем носящих бриллиантовые митры и звезды, но карающих и отлучающих от церкви пастырей ее» [1].

Однако такое согласие с мыслями Толстого, с его требованиями «отречения от земных благ» С. А. Толстая проявляла в исключительных случаях, когда возникала для него опасность или совершалась явная несправедливость, а в обыденной жизни семья жила в положении «разлада», отчуждения, хотя бывали и просветы, и периоды взаимопонимания. Все это достаточно полно отражено в записях 80-х годов, где ею весьма часто произносится слово «виноватость». Так в чем она, эта признанная ею самой «вино-

---

[1] «Дневники С. А. Толстой», ч. III. М., изд-во «Север», 1932, с. 146—147.

ватость»? В том ли, за что ее осуждали многие современники и в первую очередь «толстовцы», полагавшие, что она и ее семья должны были перестроить всю свою жизнь в соответствии с идеалами и убеждениями Толстого?

В одной из записей С. А. Толстая откровенно сознавалась: «Не могу не относиться с самым искренним сочувствием к... тем нравственным правилам, которые поставил сам себе и другим Левочка. Но я не вижу и не нахожу возможности провести их в жизни». В ее словах есть и несомненная правота. Вряд ли осуществим был подробно изложенный Толстым в трактате «Так что же нам делать?» план обновления современного жизнеустройства путем добровольного и сознательного отказа от своего «ложного положения» и возвращения к «положению естественному», основанному исключительно на личном физическом труде. Реплика героини его автобиографической пьесы «И свет во тьме светит», в разговоре о судьбах детей: «Чтобы они были мужиками — не могу я на это согласиться», вероятно, услышана писателем у себя в доме. Спор продолжался на страницах дневника: С. А. Толстая записала, что от нее «...ждут и требуют того неопределенного, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишенная энергии женщина, но и тысячи людей, даже убежденных в истинности этих убеждений». В другой записи ее позиция изложена еще более четко: «То, чего хочет... муж, того я исполнить не могу, не выйдя прежде из тех семейных, деловых и сердечных оков, в которых нахожусь». В разговоре с П. А. Сергеенко, уже после смерти Толстого, в котором они касались этой наболевшей проблемы, ею было сказано: «Л. Н. требовал от меня невозможного... Он требовал от меня, чтобы я подняла... 50 пудов. Это было не по моим силам» [1].

Эта трагическая внутрисемейная ситуация, это идейное противоборство в какой-то мере являлись отражением процесса разрушения старой патриархальной России, ломки ее устоев, которые определили своеобразие мировоззрения Толстого. Решительное отрицание всего «ложного» господского уклада, всего недемократического в этом «неправедном порядке», жажда его преобразования и в своем доме и за его пределами сочетались с абстрактной, иллюзорной положительной программой, действительно не указывавшей реального выхода, так как решение всех острых социальных проблем он связывал с идеей нравственного совершенствования, преображения сознания.

---

[1] П. Сергеенко. Из сказки о счастье. — «Биржевые ведомости», 1916, № 15 263, 16 декабря.

С. А. Толстая не смогла бы, даже если бы и захотела, вырваться из своих «оков» и осуществить его проект, настолько он был утопичен. Ведь и сам Толстой, плененный своей философией непротивления злу и личного духовного просветления, также не вырвался из «оков» и многие годы «нес свой крест».

«Жизнь наша врозь: я с детьми, он со своими идеями», — так определила С. А. Толстая новое положение семьи. Из дневника весьма конкретно уясняется картина житейских буден этой расколотой семьи. С. А. Толстая сохраняет прежний господский уклад, помещичье хозяйство, весь привычный быт, сословные привилегии, традиционные формы воспитания детей, выезда в свет для дочерей, гимназии для сыновей, обязательное посещение церкви. «*Трудно* отбросить все игрушки в жизни, которыми играешь, и всякий, и я больше других, держу эти игрушки крепко и радуюсь, как они блестят, и шумят, и забавляют» [1], — оправдывалась она перед мужем. Встречаются и такие признания: «Неприятно, что земский начальник оправдал крестьян за порубку 129 дубов, за неотработки. Подаю в съезд». Толстой живет с резко отличными критериями добра и зла, с другим настроем, преображенный внутренне и внешне. «Характер Льва Николаевича тоже все более и более изменяется, — замечает С. А. Толстая. — Хотя всегда скромный и малотребовательный во всех своих привычках, теперь он делается еще скромнее, кротче и терпеливее. И эта вечная, с молодости еще начавшаяся борьба, имеющая целью нравственное усовершенствование, увенчивается полным успехом».

При чтении ряда дневниковых записей предстает образ Толстого, невыносимо страдающего от того, что самые близкие ему люди не принимают его исповедования веры, а признают те нормы жизни, которые с его точки зрения несправедливы и ложны, во всем верны тому типу существования, неразумность и неподлинность которого он раскрывал в последних своих сочинениях, художественных и публицистических. Отголоски их частых споров, прежде всего касавшихся детей, их судеб, доносятся со страниц дневника. «Он говорил, что 12 лет тому назад он переменился и я должна была перемениться и остальных детей воспитывать по его новым убеждениям», — излагает С. А. Толстая суть претензий к ней.

Дети, занимавшие такое огромное место в жизни С. А. Толстой, постоянная тема всех ее записей, неразрывно связанная с «семейной мыслью». Они, можно сказать, чуть ли не главные герои ее многопланового повествования. Она подробно рассказывает

---

[1] С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, с. 27.

о каждом из своих детей, шаг за шагом прослеживает их жизненный путь от младенчества до взрослых лет — со всеми перипетиями: учением, исканиями места в жизни, браками, разводами, удачами и неудачами. В оценках своих детей она объективна, в анализе личностей глубока, точна и трезва. Детей в семье было много, все они были удивительно несхожи между собой, но все одаренные литературно, художественно, музыкально. В дневнике отразились и радостные и горестные переживания С. А. Толстой из-за детей. Много тревог и огорчений доставляли сыновья, особенно «меньшие», своим пренебрежением занятиями, легкомыслием и шаткостью моральных принципов. «Как они безумно прожигают жизнь, не останавливаясь мыслями ни на чем и не ставя себе никаких нравственных вопросов»,— недоумевала она. Общий итог ее материнского труда был неутешителен: «Совсем мои дети не такие, какими бы мы желали их; я хотела от них образования, сознания долга и утонченные эстетические вкусы. Л. Н. желал от них труда простого, сурового, простой жизни, и оба мы желали высоких нравственных правил. И ничего не удалось». Толстой же дал этому свое объяснение: «Я ослабляю для них то, что говорит их мать. Мать ослабляет то, что говорю я» (т. 51, с. 48—49). Это были дети «разлада», и этот аспект семейной драмы делал ее еще более напряженной и болезненной.

Но жизненная драма, объективная в своей основе, имела еще и свою индивидуальную форму, которую ей придали ее главные участники. С. А. Толстая была «натурой, быстро переменяющей свои настроения», неровной, порывистой, с обостренным чувством личности. Смиренное жертвенное исполнение своего долга, отказ от себя и полное растворение в другой жизни давалось ей нелегко и нередко вызывало протест. До тех пор, пока не ослабла ее духовная связь с мужем, пока она не чувствовала себя отчужденной от мира, в котором он жил, и от его дела, сознание отдельности их существований было приглушено. Теперь же она зачастую противостоит Толстому, занимает в отношении к нему роль оппонента, а в ее записях то и дело слышатся укоры и обвинения, иногда, впрочем, и справедливые.

Можно понять ее сетования по поводу одолевавших писателя толстовцев-единомышленников, отнимавших у него время и душевные силы, среди которых встречались и в самом деле люди «темные» и фальшивые.

Ее, проявлявшую неутомимые заботы о здоровье Толстого, беспокоили его занятия тяжелым физическим трудом, и по этому поводу она часто выражала недовольство. «Не одна только София Толстая плохо понимала, зачем гениальному романисту необходимо пахать землю, класть печи, тачать сапоги,— этого не понимали

многие весьма крупные современники Толстого»[1], — заявлял в ее оправдание М. Горький.

Но С. А. Толстая, и в этом убеждает ее дневник, порой забывала о подлинном масштабе личности своего мужа, о его великом предназначении, ставила интересы семьи выше его дела и предъявляла ему самые ординарные, мелочные претензии. Конечно, она изнемогала от множества жизненных ролей, которые ей приходилось выполнять, от непосильной нервной и физической нагрузки, от ответственности за свой многочисленный семейный клан. «Безрассветно, трудно жить на свете, так я устала от вечной борьбы, от напряженного труда в делах, в доме, в воспитании детей, в изданиях книг, в управлении детскими имениями, в уходе за мужем и соблюдении семейного равновесия»,— так рисовала она свое положение, действительно очень непростое. Но как ранили Толстого эти частые упреки и как омрачали его существование. Недаром однажды, как передает автор дневника, после очередной сцены: «...он... громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтоб уйти от семьи».

Несомненная «виноватость» С. А. Толстой, засвидетельствованная ею самой, в той оппозиционности, которую она проявляла к очень дорогим писателю сочинениям, освещенным светом его нового миропонимания.

До конца жизни своего мужа она являлась его «помощницей»: перевела на французский язык трактат «О жизни»; по его поручению сделала несколько переводов с английского и немецкого, читала его рукописи, указывала на кажущиеся ей недостатки, давала советы, к которым писатель прислушивался. Она по-прежнему оставалась его переписчицей, хотя и реже, чем прежде. Однако от погружения в мир его образов и идей она уже не всегда испытывала былое наслаждение и былое душевное слияние с их создателем: ее личностное восприятие бытия, современной действительности стало настолько «врозь» с Толстым, что новые произведения зачастую вызывали у нее отпор, резкую реакцию. Как чуждое произведение воспринимается ею «Воскресение»: «Переписывала поправленные корректуры «Воскресения» для Л. Н., и мне... противен умышленный цинизм в описании православной службы... Все это задор, грубое дразнение тех, кто в это верит, и мне это противно». Словом «задор», частым в ее лексике, С. А. Толстая обозначала бунтарские настроения Толстого, его обличения и ниспровержения. По поводу трактата «Что такое искусство?» она заметила: «Не нравится мне его статья. Какой-то

---

[1] М. Горький. Литературные портреты. М., Гослитиздат, 1959, с. 157.

неприятный, даже злой задор в его статьях». «Злым, задорным» назвала С. А. Толстая и известное письмо Толстого к Николаю II от 16 января 1902 года, с критикой самодержавия и изложением плана общественного переустройства России.

«Задор» пугал ее возможными гонениями на семью и Толстого и отвращал, так как она отчетливо понимала, во имя каких идеалов он проявляется. Переписывая в 1898 году статью «Две войны», она приходит к выводу: «Все то же отрицание всего на свете, и под предлогом христианских чувств — полный социализм». Ее оппозиция зиждилась на глубоком проникновении в демократическое содержание учения Толстого. И об этом точно и ясно она сказала в записи о рассказе «Павел Кудряш», сделанной в 1909 году: «Переписывала новое художественное произведение Л. Н., только что написанное... революционеры, казни и происхождение всего этого. Могло бы быть интересно... И, вероятно, дальше будет опоэтизирована революция, которой, как ни прикрывайся христианством, Л. Н. несомненно сочувствует, ненавидит все, что высоко поставлено судьбой и что — власть».

Критические замечания С. А. Толстой иногда бывали резонны: своим практическим умом она уловила, что проекты, выдвигаемые писателем, уязвимы и не очень реальны. Прослушав чтение им статьи «Две дороги» (первоначальное название статьи «О значении русской революции»), она нашла: «...как всегда отрицательная сторона сильна, положительная слаба». Она усмотрела «много нелогичного, непрактического и неясного» в «Обращении к рабочим».

Этот духовный разлад в той сфере жизни, которая ранее их единила и сближала, был крайне болезнен для обоих, особенно для Толстого. Ведь отрицалась та его деятельность, без которой он не мыслил своего существования и которой отдавал всего себя. Каким же укором звучат обращенные к Софье Андреевне слова Толстого: «Тут как ребенок с страданиями рождается в тебе новая мысль, целая душевная перемена, а тебе же упрекают твою боль и знать не хотят ее».

Сложившаяся ситуация отчуждения оказала влияние на душевное состояние С. А. Толстой, обострила ее неудовлетворенность своим положением. «Интереса, как в прежнее время, к какой-нибудь *художественной* работе тоже нет,— записала она.— Я помню, как я ждала в «Войне и мире» переписки после дневной работы Л. Н. Как лихорадочно спешила я писать дальше и дальше, находя все новые и новые красоты. А теперь скучно. Надо начать мне работать что-нибудь самостоятельно, а то я совсем зачахну душой».

Перестав воспринимать идейно-творческую жизнь своего мужа как часть своей собственной, почувствовав себя отделенной от него, она стала испытывать потребность в какой-то другой форме реализации себя, своих творческих потенций. «Хочется личной жизни, своего труда, а не труда над чужими трудами», — один из часто повторяющихся мотивов.

Возможно, что все бы сложилось в семье Толстого не столь конфликтно и неразрешимо, если бы Софья Андреевна была ординарной личностью, без потребности в самоосуществлении, в своем личном творческом труде, хотя она и понимала: «Заниматься подле Льва Николаевича писательством было бы смешно»[1]. Так ее дневник приоткрывает еще один немаловажный момент для понимания яснополянской трагедии.

Среди многих обстоятельств, сделавших семью писателя и его самого особенно несчастливым, было одно роковое — смерть всеми очень любимого семилетнего сына Ванечки (в 1895 г.). Это страшное горе сломило С. А. Толстую, довело ее до крайней степени отчаяния, лишило ее всякого интереса к жизни и усилило ее давнее нервное состояние, ее истерию. Успокоение, пусть и недолгое, приносила ей только музыка, которую она слушала в исполнении композитора С. И. Танеева, жившего три лета подряд в Ясной Поляне. С жаждой забвения, поисками спасения от душевного разлада в музыке связано ее увлечение Танеевым.

Многие записи этих лет говорят о смятенности чувств, о раздвоенности внутреннего мира, о терзавшем ее чувстве «виноватости» перед мужем, которого она продолжала любить, искать в нем опоры, спасения от своих «тревог и безумств». Много лет спустя, когда, работая над книгой «Моя жизнь», она памятью вернулась в прошедшие горькие дни, она писала: «Помню я, какое странное внутреннее пробуждение чувствовала я, когда слушала прекрасную глубокую игру Танеева. Горе, сердечная тоска куда-то уходили, и спокойная радость наполняла мое сердце. Игра прекращалась — и опять, и опять сердце заливалось горем, отчаянием, нежеланием жить». И тем не менее, и она в этом не раз признавалась в дневниках — эта ее «виноватость», хотя и без вины, заставляла ее очень страдать. Безмерно страдал и Толстой, написавший ей в неотправленном письме, что у него один выход — «расстаться». Тогда они не «расстались», гроза не разразилась, и разразится она много позднее — в 1910 году.

И дневник этого года полон предвестий неизбежности ката-

---

[1] Л. Я. Гуревич. С. А. Толстая. — «Жизнь искусства», 1919, № 302, 26 ноября.

строфы. Каждый день из последних четырех месяцев, самых трудных в их общей жизни, отражен в этом наиболее объемном из всех ее «журналов». Первое полугодие, пока С. А. Толстая справлялась с собой и внутрисемейная коллизия воспринимались еще не так нетерпимо, она обходилась без дневника и ограничивалась краткими отчетами в ежедневнике. С момента резкого обострения ее нервного заболевания и осложнения отношений она снова обращается к дневнику, чтобы «выплакаться и выписаться». Многие ее записи — это взволнованные исповеди, излияния «мятущейся души», обличения. Хроникальные записи с отчетами о том, что было, перемежаются записями, отмеченными ее истерическим состоянием, ее «крайней нервностью», где реальность деформирована, а на образ Толстого ложатся неверные тени. В совокупности все записи этого года передают накаленную атмосферу яснополянского дома, обрисовывают полные трагизма последние недели и дни великого Толстого.

В дневнике С. А. Толстой «уход» Толстого получает внешнее, одностороннее освещение, не во всем его полном и истинном содержании. Сквозь призму «семейной мысли» она находит для «разлада» одно безусловное объяснение — вторжение в их жизнь чужого человека, узурпировавшего ее права, ее место, ее любовь, — В. Г. Черткова. В нем она видит главного и почти единственного виновника всего неблагополучия, всех конфликтов и обид и относится к нему ревниво, с ненавистью, с маниакальной подозрительностью. Для ее неприязненных чувств были причины истинные и весомые, проявились же они в болезненно-преувеличенной форме.

Чертков сыграл заметную роль в биографии Толстого. Блестящий офицер, принадлежавший к высшей придворной аристократии, он пережил серьезный идейный кризис, отказался от социальной избранности, стал убежденным последователем Толстого, а с 1883 года его близким другом. С тех пор он целиком отдается ревностной пропаганде идей своего учителя, распространению его сочинений среди народных масс, организации в Англии бесцензурного органа для публикации и издания запрещенных в России сочинений, собиранию и хранению его рукописей. Толстой ценил эту деятельность и дорожил дружбой с преданным и истовым своим учеником. Но по характеру Чертков был деспотичен, прямолинеен и, будучи фанатиком обретенной «веры», не допускал никакого отклонения от нее. Его близкое соседство в тот год с Ясной Поляной самым отрицательным образом сказалось на судьбе Толстого. Во имя идеи, принципа он пренебрегал тем, что писатель стар и болен, что он нуждается в покое физическом и душевном, что недопустимо превращать его в объект распрей и междо-

усобицы и диктовать ему линию поведения. Чертков постоянно направлял Толстого на стезю борьбы с самыми близкими людьми. Толстой сознавал, что его жена нервно больна и проявлял в отношении к ней терпимость, мягкость, жалость, любовь. Его стойкость, его выдержка, его нравственная сила, его борение с собою вызывали протест Черткова, и от него приходили письма с бестактными упреками и советами «не поступаться своей свободой», «не связывать своей воли подчинением себя, в том или другом отношении, воле или капризу другого человека», опасаться «уступок» (т. 58, с. 471). Агрессивные действия Черткова, его вмешательство в их семейные отношения и жесткий диктат бесконечно осложняли жизнь Толстого, тяготили его, хотя духовное общение с другом-единомышленником по-прежнему много значило для него. В свою очередь, вся эта скрытая сфера бытия ее мужа, о которой С. А. Толстая догадывалась, доводила ее болезненную ревность, подозрительность, мнительность до крайних пределов. Целые страницы дневника посвящены всему клубку терзавших ее переживаний. В Ясной Поляне вокруг величайшего художника мира шла борьба противных сторон, каждая из которых предъявляла ему свой счет, претендовала на его личность, на его литературное наследство, на хранение его рукописей, дневников. «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела, и противна мне» (т. 58, с. 129), — признавался Толстой.

«Мои дневники — это искренний крик сердца и правдивые описания всего, что у нас происходит»,— записала С. А. Толстая за несколько дней до развязки. Ее «описаниям» присущи и субъективность, и тенденциозность, и пристрастное толкование событий, но они создают реальную картину «наихудших условий жизни», в которые был поставлен Толстой на закате дней своих. Неслучайно была им сделана тогда запись: «Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех» (т. 58, с. 138). «Виноватость» Софьи Андреевны может быть несколько смягчена ее нервным заболеванием, из-за чего она теряла самоконтроль, ответственность за свои поступки, от которых потом в минуты просветления страдала и горевала. В старости недостатки ее натуры — эгоизм, тщеславие, несдержанность — обозначились резче. «Характер твой в последние годы все больше и больше становится раздражительным, деспотичным и несдержанным» (т. 84. с. 399), — заметил Толстой в письме к Софье Андреевне от 14 июля 1910 года. Она сама в своих «описаниях» подробно рассказывает об истерических сценах, устраиваемых ею, о своей бестактности, обо всем «несообразном» поведении, о своей причастности к тому, что их дом превратился в «семейный ад». И конечно, такая невыносимая для

82-летнего Толстого обстановка рождала властную думу «уйти ото всех».

Дневник дает лишь внешнюю канву событий, предшествовавших «уходу». Были и другие, еще более глубокие и жгучие. Толстой безмерно страдал от «вопиющего контраста» между «господским царством» и чудовищной нищетой народа. Эти его чувства были известны С. А. Толстой, но в ее дневнике они не отражены. Вот что она рассказала уже после смерти Толстого одному из журналистов, бравшему у нее интервью: «Лев Николаевич стал необыкновенно обо всем скорбеть. Приходит ли вдова из Ясной Поляны, он уже волнуется и говорит: «Боже мой, боже мой, как она будет жить эту зиму,—мои три рубля для нее совсем ничего». Сходит ли сам на деревню, уже рассказывает: «Был на деревне, узнал, что с утра едят сухую картошку, нет даже хлеба...» Приходят погорельцы — Лев Николаевич чуть не в слезах: «Что для них моя помощь, что значит по рублю на человека... Только представить, как они будут жить... Ведь ничего, ничего не осталось». А тут, смотришь, новые просители, нищие. Лев Николаевич раздает, что у него под рукой, и, совсем взволнованный, говорит: «Как тяжела жизнь, сколько горя, сколько несчастия вокруг» [1].

Более двух десятилетий его «существование» сжигала мысль о невозможности оставаться жить «в постыдных условиях роскоши среди окружающей нищеты» (т. 81, с. 104). Он сознавал, что пока он не разделяет судьбы страждущего народа, пока он не порывает со своей привилегированной средой, он несет ответственность за все злодеяния правительства, за все его преступления. «Нельзя, нельзя так жить,— исповедовался Толстой.— Ведь все эти творимые ужасы, ведь оправдание их — это я с своей просторной комнатой, с своим богатым обедом... Мне говорят, что все это делается, между прочим, и для меня, для того, чтобы я мог жить спокойно и со всеми удобствами жизни... Я знаю, не могу не знать, что правда то, что моя спокойная жизнь достаточного человека, моя и моих семейных обеспечена всем этим. Не хочу я этого, не могу переносить больше. Как мне ни больно чувствовать свою связь, связь с своей спокойной жизнью, со всеми этими ужасами лжей, подкупов, насилий, жестокостей, а они есть, несомненно есть... А сознавая это, я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения» [2].

---

[1] Ал. Ксюнин. Уход Толстого. СПб., 1911, с. 14—15.

[2] См. неопубл. редакцию статьи Л. Толстого «Не могу молчать» в кн.: Б. Мейлах. Уход и смерть Толстого. Л., 1960, с. 139.

Темной осенней ночью он покинул Ясную Поляну. «Уход», о котором он мечтал многие годы, свершился. Толстой ушел от всех, от «царства господского», чтобы «жить в избе» и преобразовать свою жизнь согласно своим идеалам. Таким трагически величественным эпилогом завершилась духовная, жизненная, семейная драма Толстого.

В прощальном письме к жене он писал: «Не думай, что я уехал потому, что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю» (т. 84, с. 407). Все проведенные вне Ясной Поляны дни, в пути и в Астапове, он часто вспоминал жену, беспокоился о ней, испытывал чувство вины перед ней. И она часами простаивала у окна домика в Астапове, где умирал писатель (ее не допускали по совету врачей), бесконечно страдала, волновалась и всей душой была с ним. Они любили друг друга и несмотря на «разлад» знали счастливые дни и очень нужны были друг другу. «Я всегда боялся говорить с Вами о Софье Андреевне (мне иногда хотелось ее осуждать),— признавался в письме к Толстому в 1895 году Н. Н. Страхов,— потому что я чувствовал, что между Вами и ею существует глубочайшая связь, какая может существовать между людьми, связь теснее, чем между детьми и отцом и матерью, смешение двух человек в одного»[1]. Даже самый большой недруг С. А. Толстой — В. Г. Чертков — не смог не признать: «Из всех людей один только ее искренно любил и любил до конца»[2]. Сама С. А. Толстая в сентябре 1900 года писала мужу: «Мне захотелось благодарить тебя за прежнее счастье, которое ты мне дал, и пожалеть, что так сильно, полно и спокойно оно не продолжилось на всю нашу жизнь»[3]. Да и сам Толстой как-то заметил, что «любовь не погибла». Вопреки всем темным наслоениям жизни, всем разладам они пронесли ее через все долгие годы совместной жизни. Не значит ли это, что С. А. Толстая свое высокое назначение выполнила?

4

В последнее десятилетие жизни Толстого, в дни опасных его болезней, тревожная мысль о возможности рокового исхода преследовала и страшила жену писателя. «Не дай мне бог пережить его. Бессилие чувствую и страх перед будущ-

[1] «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., Изд. о—ва Толстовского музея, 1924, с. 139.

[2] В. Г. Чертков. Уход Толстого. СПб., 1922, с. 22.

[3] С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, с. 733.

ностью»,— записано в ее дневнике за два года до его смерти. И вот так пугавшая ее «будущность» наступила, превратилась в реальность.

С. А. Толстой суждено было прожить еще девять лет «без этой привычной опоры любви, нравственной поддержки, ума и возбуждения лучших интересов в жизни». Девять очень нелегких, не щадивших ее лет, омраченных скорбью, душевными терзаниями, потерей еще одного из детей — сына Андрея, утратами друзей, близких. Память ее снова и снова возвращалась к прошлому, давнему и недавнему, для выяснения причин происшедшего и меры своей «виноватости». Нередко в ежедневнике появлялись покаянные строки: она винила себя за те страдания, которые причинила Толстому.

Но и жизнь сегодняшняя выдвигала неотложные проблемы, требующие немедленного решения. Одна из них — судьба Ясной Поляны, которая во всех перипетиях последовательно и полно отражена в ежедневниках. «Я желала бы видеть Ясную Поляну в русских руках и всенародных»,— вот о чем мечтала С. А. Толстая. Но «верхи», к которым она обратилась с предложением приобрести имение, превратить его в мемориал, не вняли ее просьбам, и лишь после октября 1917 года Ясная Поляна перешла в «всенародные руки». А до этого было много хлопотливой суеты, обманутых надежд, ожиданий — все это отнимало силы, нарушало и без того нестойкое душевное состояние. Не один год прошел под знаком томительного и ожесточенного спора о праве владения частью рукописного наследия Толстого, спора между ней, с одной стороны, и дочерью Александрой с Чертковым — с другой. Спор необязательный, вызванный болезненным недоверием к Черткову, необоснованными опасениями, что ее недруг отправит рукописи в Англию, присоединит к тем, которые уже там находились. Да и повзрослевшие сыновья, плохо устроенные, необеспеченные, обуреваемые все новыми и новыми прожектами, своими семейными неурядицами, не всегда ладным поведением, говоря словами Софьи Андреевны, «тянули за душу». Однажды даже у нее вырвалось: «Тысячу раз прав Лев Николаевич, что обогатил мужиков, а не сыновей. Все равно ушло бы все на карты и кутежи. И противно, и грустно, и жалко!» На записях тех лет лежит печать грусти, усталости. Утешения она искала в занятиях живописью, музыкой, в чтении, встречах с детьми и внуками, в общении с теми, кто помнил и знал Толстого, а больше всего в деятельности, неутомимой, целенаправленной.

Издание собраний сочинений Толстого, начиная с 1885 года, являлось делом его жены, которая зачастую выполняла функции

составителя, текстолога, корректора. Ею было подготовлено и выпущено восемь изданий, причем последнее, корректуры которого она читала во время своей болезни и всех треволнений, завершено было уже в 1911 году. И хотя писателя, мечтавшего о безвозмездном выпуске своих сочинений, смущали и огорчали эти «доходные» издания, объективно они сыграли большую положительную роль. Благодаря им широкие слои населения приобщились к творчеству Толстого. Сразу же после смерти писателя С. А. Толстая приступила к подготовке сборника его писем к ней. «Побудило меня напечатать эти письма... то,— писала она,— что после моей смерти... будут по обыкновению ошибочно судить и описывать мои отношения к мужу и его ко мне. Так пусть уж интересуются и судят по живым и правдивым источникам, а не по догадкам, пересудам и вымыслам» [1]. Книга имела успех, вызвала широкий резонанс, и рецензенты именовали ее «книгой великой любви».

Записи С. А. Толстой открывают еще одну грань ее разносторонней деятельности — участие в составлении капитальных биографических работ о великом художнике, к которому она готовила себя еще с молодых лет.

В ней весьма рано проснулся интерес к истории жизни своего мужа, особенно той, которая прошла до соединения их судеб. «С. А. Толстая, — рассказывал П. И. Бирюков, — не раз принималась записывать материалы о жизни Л. Н., расспрашивая его об его детстве и слушая рассказы его родственников, которых она застала еще в живых» [2]. О многих интересных эпизодах, случаях, бытовых деталях, чертах характера узнала она от «старых тетушек» — Т. А. Ергольской и П. И. Юшковой, своего деда А. М. Исленьева, друга Н. И. Толстого. Создав обширный «банк памяти», она еще в 1876 году задумала написать биографический очерк о Толстом, чтобы реализовать все ею узнанное, но от этого плана отказалась, потому что «жизнь его внутренняя так сложна». Выполнен он был спустя два года, когда С. А. Толстая, основываясь на документах и «изустных рассказах», написала первую биографию писателя, включенную в том избранных его сочинений в серии «Русская библиотека».

Очень охотно она откликалась на все просьбы авторов, изучавших жизненную и творческую биографию Толстого, и помогала им материалами, сведениями, указаниями. Р. Левенфельд, немец-

---

[1] Письма графа Л. Н. Толстого к жене, 1862—1910 гг., с. IV.

[2] П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого. ГИЗ, 1923, т. I, с. 48.

кий биограф Толстого, в благодарность за полученные «драгоценные материалы» посвятил ей свой труд, а переводчица его книги на русский язык в предисловии отметила, что «Графиня Толстая... просмотрела мой перевод и сама лично сделала все исправления в неверности переданных Левенфельдом фактов, касающихся до личности графа Льва Николаевича Толстого и его родных»[1]. С участием С. А. Толстой была подготовлена также книга Н. Г. Молоствова и П. А. Сергеенко «Критико-биографическое исследование» (М., 1909). Помимо того, что Софья Андреевна снабдила их материалами, она прочла рукопись и корректуру книги. Шрифтовым выделением там указаны сделанные ею дополнения и вставки. Даже П. И. Бирюков, получавший ответы на свои вопросы от самого Толстого, воспользовался для своего многотомного биографического труда «семейным архивом» жены писателя, ее консультациями. В записях за 1908—1909 годы часты строки: «Читала корректуру биографии Л. Н.–Бирюкова». Третий том этой биографии был готов тогда, когда Толстого уже не стало, и прежде чем сдать его в набор, Бирюков привез рукопись в Ясную Поляну, зная, какую квалифицированную помощь он там получит. В 1913 году началась работа над первым изданием дневников Толстого, и уже в феврале делается запись: «Гусеву давала сведения по поводу редактирования дневников Льва Николаевича».

С. А. Толстая с пристальным вниманием следила за литературой о Толстом, за всеми газетными и журнальными публикациями и очень живо реагировала на ошибки и неточности. Ее выступления в печати с опровержениями и исправлениями содержат целый ряд неизвестных ранее рассказов и воспоминаний о разных годах жизни Толстого.

Большая часть мемуарных сочинений о Толстом была создана в годы, последовавшие за его смертью. Записи С. А. Толстой свидетельствуют, что в большинстве из них есть доля ее труда. Вот, например, И. Л. Толстой первым из детей писателя задумал книгу воспоминаний об отце, об их жизни вблизи него. Естественно, что не все он помнил, не все знал, и помочь ему могла только мать, которую он забрасывал письмами-вопросами. Ее обстоятельными письмами он, разумеется, воспользовался, а рукопись передал ей для просмотра.

С. А. Толстая была первым читателем и переписчицей некоторых мемуарных очерков Т. Л. Сухотиной, редактором воспоминаний С. Л. Толстого о Тургеневе и его статьи об истории Ясной

---

[1] Р. Левенфельд. Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь, произведения и миросозерцание. М., 1904, с. XXII.

Поляны. Ее помощью, материалами и советами воспользовалась Т. А. Кузминская, когда приступила к повествованию о своей жизни «дома и в Ясной Поляне». Многократно была прочтена ею и объемная рукопись «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого. Ясная Поляна тех лет напоминала творческую лабораторию, где подготавливались, писались, обсуждались и редактировались рождавшиеся тогда воспоминания о Толстом. И сама С. А. Толстая написала тогда несколько мемуарных очерков, работала над книгой «Моя жизнь». Вне всякого сомнения — ее причастность к образованию ценного мемуарного фонда о великом писателе существенна и значительна.

В последние годы жизни С. А. Толстая и внутренне изменилась: приблизилась к духовному миру Толстого, разлад с ним смягчился. «Теперь ей стали менее чужды мировоззрения нашего отца» [1], — подтверждала ее дочь. Толстой составлял центр ее жизни, им определялся угол ее зрения на окружающую действительность, на грандиозные исторические события, свидетелем которых она явилась: войны, мировая и гражданская, революция и Февральская и Октябрьская. Во время войны 1914 года она по-толстовски лишилась покоя, возможности нормально существовать и потому, что на фронтах сражались ее дети и внуки, и потому, что гибли яснополянские крестьяне и страдала Россия. Память Толстого была безмерно дорога и свята для его жены, и те, кто чтил эту память, благоговел перед великим писателем, вызывали ее сочувствие и доброе отношение. Она тепло и радостно приветствовала рабочих, пришедших с красным знаменем в революционные дни 1917 года к одинокой могиле, чтобы выразить любовь и признательность бесстрашному обличителю старого жестокого порядка. И к новой советской власти, оказывавшей ей всяческую поддержку и помощь, взявшей под свою охрану усадьбу, принявшей меры для превращения ее в всенародный мемориал, она отнеслась вполне лояльно.

Умерла С. А. Толстая 4 ноября 1919 года и похоронена на семейном кладбище в Кочаках, вблизи Ясной Поляны.

* * *

С. А. Толстая, завершая свой жизненный путь, просила «людей быть к ней снисходительными», просила потому, что искренно сознавала, что не всегда было ей «посильно» восходить на ту вершину, на которую поднялся гениальный Толстой. «Лев Толстой,—

[1] Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1976, с. 425.

писал М. Горький, — был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого, — роль неоспоримо тяжелая и ответственная»[1]. Почти полстолетия исполняла Софья Андреевна роль «помощницы» писателя, его поверенного, критика, советчика, биографа, хранителя рукописей. И, наконец, она день за днем, год за годом составляла летопись жизни Толстого и оставила драгоценный мемуарный памятник — свой дневник, благодаря которому «потомство», преодолевая время, знакомится с живым Толстым.

С. Розанова

---

[1] М. Горький. Литературные портреты. М., Гослитиздат, 1959, с. 156.

ДНЕВНИКИ

1862-1900

1862

8 октября. Опять дневник, скучно, что повторение прежних привычек, которые я все оставила с тех пор, как вышла замуж. Бывало, я писала, когда тяжело, и теперь, верно, оттого же.

Эти две недели я с ним, мужем, мне так казалось, была в простых отношениях, по крайней мере, мне легко было, он был мой дневник, мне нечего было скрывать от него.

А со вчерашнего дня, с тех пор, как сказал, что не верит любви моей, мне стало серьезно страшно. Но я знаю, отчего он не верит. Мне кажется, я не сумею ни рассказать, ни написать, что я думаю. Всегда, с давних пор, я мечтала о человеке, которого я буду любить, как о совершенно целом, новом, *чистом* человеке. Я воображала себе, это были детские мечты, с которыми до сих пор трудно расстаться, что этот человек будет всегда у меня на глазах, что я буду знать малейшую его мысль, чувство, что он будет во всю жизнь любить меня одну, что, не в пример прочим, мы оба, и *он* и *я*, не будем перебешиваться, как все перебесятся и делаются *солидными* людьми. Мне так милы были все эти мечты. Благодаря им я стала П. будто бы любить; одним словом, любя свои мечты, я сделала П. приложением к ним [1].

Увлечься и идти дальше было не трудно, да и никогда я не стояла, а всегда шла, не задумываясь, вперед. Теперь, когда я вышла замуж, я должна была все свои прежние мечты признать глупыми, отречься от них, а я не могу. Все его (мужа) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним [2]. Разве когда

будут другие цели в жизни, дети, которых я так желаю, чтоб у меня было целое будущее, чтоб я в детях своих могла видеть эту чистоту без прошедшего, без гадостей, без всего, что теперь так горько видеть в муже. Он не понимает, что его прошедшее — целая жизнь с тысячами разных чувств хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная бог знает на кого и на что. И не понимает он еще того, что я ему отдаю все, что во мне ничего не потрачено, что ему не принадлежало только детство. Но и то принадлежало ему. Лучшие воспоминания — мое детское, но первое чувство к нему, которое я не виновата, что уничтожили, за что? Разве оно дурно было? Он протратил свою жизнь, свои силы и дошел до этого чувства, пройдя столько дурного; оно ему кажется так сильно, так хорошо потому, что давно, давно прошла та пора, когда он сразу мог стать на это хорошее, как стала я теперь. И у меня в прошлом есть дурное, но не столько.

Ему весело мучить меня, видеть, как я плачу оттого, что он мне не верит. Ему бы хотелось, чтоб и я прошла такую жизнь и испытала столько же дурного, сколько он, для того, чтоб и я поняла лучше хорошее. Ему инстинктивно досадно, что мне счастье легко далось, что я взяла его, не подумав, не пострадав. А я не буду плакать из самолюбия. Не хочу, чтоб он видел, как я мучаюсь, пусть думает, что мне всегда легко. Вчера у дедушки [3] я пришла сверху нарочно, чтоб его увидать, и когда я увидала его, меня обхватило какое-то особенное чувство силы и любви. Я так любила его в ту минуту, хотела подойти к нему, но мне показалось, что если до него дотронусь, то мне уж так хорошо не будет, что это будет святотатство. Но я никогда не покажу и не могу показать, что во мне делается. У меня столько глупого самолюбия, что если я увижу малейшее недоверие или непонимание меня, то все пропало. Я злюсь. И что он делает со мной; мало-помалу я вся уйду в себя и ему же буду отравлять жизнь. И как жаль мне его в те минуты, когда он не верит мне, и слезы на глазах и такой кроткий, но грустный взгляд. Я бы его задушила от любви в ту минуту, а так и преследует мысль: *не верит, не верит*. И стала я сегодня вдруг чувствовать, что он и я делаемся как-то больше и больше сами по себе, что я начну создавать себе свой печальный мир, а он свой — недоверчивый, деловой. И в самом деле пока-

залнсь мне пошлы наши отношения. И я стала не верить в его любовь. Он целует меня, а я думаю «не в первый раз ему увлекаться». И так оскорбительно, больно станет за свое чувство, которым он не довольствуется, а которое так мне дорого, потому что оно последнее и первое. Я тоже увлекалась, но воображением, а он — женщинами, живыми, хорошенькими, с чертами характера, лица и души, которые он любил, которыми он любовался, как и мной пока любуется. Пошло, правда, но не от меня, а от его прошедшего. Что же мне делать, а я не могу простить богу, что он так устроил, что все должны прежде, чем сделаться порядочными людьми, *перебеситься*. И что же мне делать, когда мне горько, больно, что мой муж попал под эту общую категорию. А он еще думает, что я не люблю его; так что же бы мне за дело было, если бы я не любила его, кто и что занимало его прежде, теперь или будет занимать когда-нибудь потом. Дурно, безвыходное положение; как доказать любовь человеку, который с тем женился, что я иначе не могу, а она меня не любит. А есть ли минутка в моей жизни теперь, где бы я вызвала что-нибудь из прошедшего, чтоб я пожалела о чем-нибудь, или есть ли минутка, когда бы я не только не любила его, но могла бы подумать о возможности разлюбить его. И неужели в самом деле хорошо ему, когда я плачу и начинаю чувствовать сильнее, что у нас есть что-то очень не простое в отношениях, которое нас постепенно совсем разлучит в нравственном отношении. Вот, кошке — игрушки, а мышке — слезки. Да игрушка-то эта не прочна, сломает — сам будет плакать. А я не могу выносить того, что он меня будет понемножку пилить, пилить. А он славный, милый. Его самого возмущает все дурное, и он не может переносить его. Я, бывало, как любила все хорошее, всей душой восхищалась, а теперь все как-то замерло; только что станет весело, пристукнет он меня.

9 октября. Вчера объяснились, легче стало, совсем даже весело. Хорошо мы нынче верхом ездили, а все-таки тесно. Такие я сегодня видела тяжелые сны, не помню их всякую минуту, а тяжело на душе. Опять мама́ сегодня вспоминала, ужасно стало грустно, а вообще хорошо. Прошлого не жаль, всегда, однако, его буду благословлять. У меня в жизни было много счастия. Муж, кажется, покоен, верит, дай бог. Я вижу, это правда, что я ему

даю мало счастия. Я вся как-то сплю и не могу проснуться. Если б я проснулась, я стала бы другим человеком. А что надо для этого — не знаю. Тогда бы он видел, как я люблю его, тогда я могла бы говорить, рассказать ему, *как* я его люблю, увидела бы, как бывало, ясно, что у него на душе, и знала бы, как сделать его совсем счастливым. Надо, надо скорей проснуться. Сон этот напал на меня с тех пор, как я выехала летом из Покровского в Ивицы. Потом на время я проснулась, потом, как переехали в Москву, опять заснула — и с тех пор почти не просыпалась. Надо мной что-то тяготит. Мне все кажется, что я скоро умру. Теперь это странно, потому что у меня муж. Я слышу, как он спит, а мне одной страшно. К себе он меня не подпускает, и мне это грустно. Так противны все физические проявления.

11 октября. Ужасно, ужасно грустно. Все более и более в себя ухожу. Муж болен, не в духе, меня не любит. Ждала я этого, да не думала, что так ужасно. Кто это думает о моем огромном счастии. Никто не знает, что я его не умею создавать ни для себя, ни для него. Бывало, когда очень грустно, думаешь: так зачем жить, когда самой дурно и другим нехорошо. И теперь страшно: все приходит мне эта мысль. С каждым днем он делается холоднее, холоднее, а я, напротив, все больше и больше люблю его. Скоро мне станет невыносимо, если он будет так холоден. А он честный, обманывать не станет. Не любит, так притворяться не станет, а любит — так в каждом движении видно. И все меня волнует. Стал сегодня Гриша говорить про *папашу,* и так мне жаль его стало, что он не настоящий его сын, даже плакать хотела [4]. И про своих все вспоминаю, как легко жилось, а теперь, боже мой, вся душа разрывается. Никто не любит: тетенька [5] по какому-то долгу, а муж совсем перестает любить. Мамаша милая, Таня, какие они славные были, зачем я их оставила. А Лизу бедную измучила, так меня и точит, так грустно, ужас. А Левочка отличный какой, я чувствую, что я во всем, кругом виновата, и я боюсь показать ему, что я грустная, знаю я, как этой глупой тоскою мужьям надоедают. Бывало, утешаешься, все пройдет, обойдется, а теперь нет, ничего не обойдется, а будет хуже. Папа пишет: «Муж тебя страстно любит» [6]. Да, правда, любил *страстно,* да страсть-то проходит, этого никто не рассудил, только я поняла, что увлекся он, а не любил.

Как я не рассудила, что за это увлечение он же поплатится, потому что каково жить долго, всю жизнь, с женою, которую не любишь. За что я его, милого, которого все так любят, погубила; эгоистически поступила я на этот раз, что вышла за него замуж. Смотрю я на него и думаю то, что он про меня думал: хотел бы я ее любить, да не могу больше.

Вот уж прошло, как сон, это все время. Подразнили меня, сказали: видишь, как бывает хорошо, да не думай об этом. И все, что сначала было у меня: энергия на занятия, жизнь, хозяйство, все пропало. Сидела бы себе целый день сложа руки, молчала бы да думала горькие думы. Работать хотела, да не могла; ну что рядиться в глупый чепчик, который только давит меня. Ужасно хочется поиграть, да тут так неудобно, наверху со всех сторон слышно, а внизу фортепьяно плохо. Сегодня предложил остаться, а он в Никольское [7] поедет. Надо бы было согласиться, избавить его от своей особы, а у меня не хватило сил. Он, кажется, наверху играет с Ольгой в четыре руки. Бедный, везде ищет развлечения, чтоб как-нибудь от меня избавиться. Зачем я только на свете живу [8].

13 ноября. Дурное число — первое что пришло в голову. А мне всегда легче, когда я с ним поговорю. Легче, как эгоистке, чтоб получить его и успокоиться.

Правда, я не умею дела себе создать. Он счастливый, потому что умен и талантлив. А я — ни то, ни другое. Одною любовью не проживешь, а я так ограниченна, что покуда только и думаю о нем. Ему нездоровится, думаю, ну как умрет, и вот пойдут черные мысли на три часа. Он весел, я думаю: как бы не прошло это расположение духа, и так наслаждаюсь сама им, что опять ни о чем больше не думаешь. А нет его или он занят, вот я и начну опять о нем же думать, прислушиваться, не идет ли, следить за выражением лица его, если он тут. Верно оттого, что я беременна, я теперь в таком ненормальном состоянии и имею немного влияния и на него. Дело найти не трудно, его много, но надо прежде увлечься этими мелочными делами, а потом заводить кур, бренчать на фортепьяно, читать много глупостей и очень мало хороших вещей и солить огурцы. Все это придет, я знаю, когда я забуду свою девичью, праздную жизнь и сживусь с деревнею. Не хочу попадать в общую колею и скучать,

да и не попаду. Я бы хотела, чтоб муж имел на меня больше влияния. Странно, я его ужасно люблю, а влияния еще чувствую мало. Бывают светлые минуты, когда я все понимаю, вижу ясно, как хорошо жить на свете, сколько обязанностей на мне, и весело, что есть они, а потом пройдет, забудешь все. Знаю я и жду, когда эта светлая минута придет и останется, тут заведется машина, и я начну жить, т. е. жить деятельно. Странно, смотрю на это, точно как на приходящее что-то, как смотришь на то, что праздники придут, что будет лето и проч. Я опять заснула теперь так, что даже поездка в Москву, будущий ребенок — все это не производит во мне никакого волнения, ни радости, ничего. Хотела бы знать средство, которое могло бы меня освежить, разбудить.

Я давно не молилась. Прежде меня забавляла даже внешность в религии. Я, бывало, тихонько ото всех зажигала восковую свечку перед образом, клала цветы, и запру дверь, стану на колена и молюсь час, два. Теперь все это смешно и глупо, а вспоминать хорошо. Так все стало серьезно, а впечатления девичьи живы, расстаться еще трудно, а воротиться к ним нельзя. Вот так-то через несколько лет я создам себе *женский*, серьезный мир и его буду любить еще больше, потому что тут будет муж, дети, которых больше любишь, чем родителей и братьев. А пока не установилась. Качаюсь между прожитым и настоящим с будущим. Муж меня слишком любит, чтоб уметь сразу дать направление, да и трудно, сама выработаюсь, а он тоже чувствует, что я не та. Вот терпение, я буду прежняя, но не дева, а женщина, опять проснусь, и он и я — мы будем довольны мной.

Я уверена, что в Москве я освежусь в своей прежней жизни и пойму ясно настоящую, конечно, с хорошей стороны, потому что все, что дурно, происходит от меня же. Только бы он перенес терпеливо мое несносное, переходное время... Вот сейчас я одна, смотришь кругом — грустно. Одна, это ужасно. Я не привыкла. Столько жизни было дома, а как мертво здесь, когда его нет. Он, всегда почти одинокий, не понимает этого. Привык быть один и утешаться не людьми близкими, как я, а делом. Ну, да и я привыкну. А теперь голоса веселого никогда не слышишь, точно умерли все. А он еще сердится, когда я не люблю оставаться без него. Несправедлив он в этом, но он и не может понять, у него семьи не было. А я буду все делать, что ему хорошо, потому что он отличный, и я

гораздо хуже его, и потому что я люблю его, и для меня ничего, ничего не осталось, кроме его. И мне бывает скучно, потому что я бедная натура и не нахожу в себе ressource * и потому что я привыкла к шумной жизни, а тут тишина, тишина мертвая. Привыкну, ко всему привыкают люди. А со временем и я заведу веселый, шумный дом и начну жить жизнью детей и своею, серьезною, деловою, радуясь на молодость детей, уже и теперь прожитого много.

23 ноября. Он мне гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, т. е. я, пока представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему Л.[9]. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала, потому что мне все и всё стало гадко. И тетенька, и студенты [10], и Наталья Петровна [11], и степы, и жизнь, и я чуть не хохотала от радости, когда убежала одна тихонько из дому. Л. мне не был гадок, но я вдруг почувствовала, что он и я по разным сторонам, т. е. что его народ не может меня занимать *всю*, как его, а что его не может занимать *всего* я, как занимает меня он. Очень просто. А если я его не занимаю, если я кукла, если я только *жена,* а не *человек,* так я жить так не могу и не хочу [12]. Конечно, я бездельная, да я не по природе такая, а еще не знаю, главное не убедилась, в чем и где дело. Он нетерпелив и злится. Бог с ним, мне сегодня так хорошо, свободно, потому что я сама по себе, а он, слава богу, был мрачен, но меня не трогал. Я знаю, он богатая натура, в нем много разных *сил*, он поэтический, умный, а меня сердит, что это все занимает его с мрачной стороны. Иногда мне ужасно хочется высвободиться из-под его влияния, немного тяжелого, не заботиться о нем, да не могу. Оттого оно тяжело, что я думаю его мыслями, смотрю его взглядами, напрягаюсь, им не сделаюсь, себя потеряю. Я и то уж не та, и мне стало труднее. Теперь все буду уходить или уезжать куда, когда станет скучно. Выйдешь и вдруг станет так свободно. И то все думала о нем: бегал, искал, может беспокоится, ну и мне стало тяжело, домой ушла. А он мрачный, я чуть-чуть не стала плакать. Ничего мне не говорит. Страшно с ним жить, вдруг народ полюбит опять, а я пропала, потому и меня

---

* жизненных сил (*франц.*).

любит, как любил школу, природу, народ, может быть, литературу свою, всего понемногу, а там новенькое. Пришла тетенька, спрашивает, зачем, куда ходила; я хотела ее позлить, говорю, от студентов, потому что она их защищает. А совсем неправда, я на них ни капельки не злюсь, а по старой привычке браню и жалуюсь. Я просто ушла, мне скучно все на месте сидеть, я никогда дома долго не сидела. А тут все тетенька, Наталья Петровна, опять тетенька, опять Наталья Петровна, студенты в перемежечку. Муж не мой и немой сегодня. Стало быть, его нет. Так бы ушла, ушла куда-нибудь далеко, посмотрела бы, что дома, а потом опять пришла бы сюда домой. Пойду еще поиграю. Он в ванне, он мне нынче чужой.

16 декабря. Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности. «Влюблен как никогда!» И просто баба, толстая, белая, ужасно [13]. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар — легко. Пока нет ребенка. И она тут, в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая. Еду кататься. Могу ее сейчас же увидать. Так вот как он любил ее. Хоть бы сжечь журнал его и все его прошедшее.

Приехала — хуже, голова болит, расстроена, а душу давит, давит. Так хорошо, привольно было на воздухе, широко. И думать хочется широко, и дышать широко, и жить. А жизнь такая мелочная. Любить трудно, а любишь так, что дух захватывает, что всю жизнь бы, душу положила, чтоб не прошла она ни с чьей стороны. И тесен, мал тот мирок, в котором я живу, если исключить его. А соединить нам мирки наши в один — нельзя. Он так умен, деятелен, способен, и потом это ужасное, длинное прошедшее. А у меня оно маленькое, ничтожное. Меня нынче испугала поездка в Москву. Я сделаюсь еще ничтожнее и чувствую, что если у меня будет жизнь, мир, которым я буду довольна, то он будет здесь, в Ясной, без людей, в семье, со всем, что я сама себе создам. Читала начала его сочинений, и везде, где любовь, где женщины, мне гадко, тяжело, я бы все, все сожгла. Пусть нигде не напомнится мне его прошедшее. И не жаль бы мне было его трудов, потому что от ревности я делаюсь страшная эгоистка.

Если б я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то бы сделала с удовольствием.

9 января. Никогда в жизни я не была так несчастлива сознанием своей вины. Никогда не воображала, что могу быть виновата до такой степени. Мне так тяжело, что целый день слезы меня душат. Я боюсь говорить с ним, боюсь глядеть на него. Никогда он не был мне так мил и дорог, и никогда я не казалась себе так ничтожна и гадка. И он не сердится, он все любит меня, и такой у него кроткий, святой взгляд. Можно умереть от счастия и от унижения с таким человеком. Мне очень дурно. От причины нравственной я больна физически. У меня была такая боль, что я думала, что выкину. Я стала как сумасшедшая. Я целый день молюсь, как будто от этого легче будет моя вина и как будто этим я могу возвратить то, что я сделала. Мне легче, когда его нет. Я могу и плакать и любить его, а когда он тут, меня мучает совесть, мучает его милый взгляд и лицо его, на которое я уже не смотрела со вчерашнего вечера и которое так мне мило. И как я могу только делать ему что-нибудь неприятное. Все думала я, как бы мне загладить или не загладить это глупое слово [1], и как бы мне сделаться лучше для него. Любить его я не могу больше, потому что люблю его до последней крайности, всеми силами, так, что нет ни одной мысли другой, нет никаких желаний, ничего нет во мне, кроме любви к нему. И в нем ничего нет дурного, ничего, в чем я хоть подумать бы могла упрекнуть его. Он мне все не верит, думает, что мне нужны развлечения, а мне ничего не нужно, кроме его. Если б он только знал, как я радостно думаю о будущности, не с развлечениями, а с ним и со всем тем, что он любит. Я так стараюсь полюбить даже все то, что мне и не нравилось, как Ауэрбах [2]. А вчера я была в ударе капризничать, прежде этого не было до такой степени. Неужели у меня такой отвратительный характер или это пошлые нервы и беременность? Пускай так лучше будет, потому что я знаю, что теперь буду *беречь наше счастие*, если я еще не очень испортила его. Это ужасно, могло бы быть так весело и хорошо. Он теперь здоров; что я наделала. Таня [3], Саша [4], Кузминский приехали. А я все не могу не плакать. Я им ни за что не покажусь, они дети и не любили. Как я жду его. Господи, если он ко мне охладеет? Ну все, решительно, те-

перь держится на нем. А я какая ничтожная, как тяжело это нравственное ничтожество. Он спохватится, наверное, какая я перед ним жалкая и гадкая.

11 января. Я немножко успокоиваюсь, потому что он делается лучше со мной. Но еще так свеже все горе, что малейшее воспоминание производит во всей моей голове и теле сильную боль физическую. Физическую оттого, что я чувствую, как она проходит по всем жилам и нервам.

Он ничего не говорил и не намекал даже о моем дневнике. Не знаю, читал ли он его. Я чувствую, что дневник был гадок, и мне неприятно его перечитывать.

Я совсем одна, мне жутко, и оттого хотела писать много и искренно, а мысли пропадают от страха. Боюсь испуга, потому что беременна. Ревность моя, это врожденная болезнь, а, может быть, она оттого происходит, что, любя его, не люблю больше ничего, что я вся ему отдалась, что только и могу быть счастлива от него и с ним, и боюсь потерять его, как старики боятся потерять единственного ребенка, на котором держится вся их жизнь и которого они не могут более иметь. Говорили всегда, что я совсем не эгоистка, а ведь это самый большой эгоизм. Ни в чем другом я не эгоистка, а в этом — ужасная. Я так люблю его, что и это пройдет. Но терпение страшное и сила воли, иначе ничего не сделаешь. Бывают дни и часто, когда я его люблю до болезненности. Сегодня так. Это всегда, когда я неправа. Мне больно глядеть на него, слушать его, быть с ним так, как неловко бесу со святым. Когда я сделаю что-нибудь для него приятное, за что он будет опять любить меня по-прежнему, тогда я опять буду с ним в более простых отношениях. А теперь заслуги не равны, и оттого и отношения не равны. Заслуги никогда не равны — ну хоть поменьше дурного с моей стороны. Я прежде любила его смело, как-то самонадеянно, а теперь, слава богу и ему за всякое его доброе слово, за ласку, за снисхождение и добрый взгляд.

Вот теперь живу, живу и только одного этого и выжидаю, этим и довольна. Была во мне какая-то гордость, что ребенка ношу и на свет скоро произведу, да это судьба, да закон природы. И этого утешения нет. Только и есть муж, т. е. Левочка, который все, в котором и заслуга моя, потому что я его люблю ужасно, и ничто мне не дорого, кроме его.

14 января. Я опять одна, и скучно опять. Но между нами все опять уладилось. Не знаю, на чем он помирился и на чем — я. Устроилось само собой. Только я одно знаю, что счастие опять воротилось ко мне. Мне хочется домой. У меня такие планы иногда, мечты, как я буду жить в Ясной с *ним.* Какое-то грустное чувство в душе, что я совсем, и телом и душою, отшатнулась от своих кремлевских. Ужасно сильно чувствуешь, что мир мой переменился, а любовь к ним усилилась, особенно к мама́, и иногда жалко, что я не член их больше. Живу вся в нем и для него, а часто тяжело, когда чувствуешь, что я-то не *все* для него, и что, если теперь меня не стало бы, он утешился бы чем-нибудь, потому что в нем самом много ressources, а я очень бедная натура: отдалась одному чему-нибудь и никогда бы не сумела найти себе, помимо этого, другой мир.

Жизнь в гостинице меня тяготит. Если я чем-нибудь бываю довольна здесь, то это, когда я сижу в Кремле с своими и непременно с *Левочкой*[5]. Я бы могла скоро уехать домой, я знаю, от меня много зависит,— но не хватает духу прощаться опять с своими, да и лень подниматься. Я сегодня видела такой неприятный сон. Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходили откуда-то одна за другой, последняя вышла А.[6] в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребенка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову — все оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Левочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, это кукла. Я посмотрела, и в самом деле: вместо тела все хлопки и лайка. И так мне досадно стало.

Я часто мучаюсь, когда думаю о ней, даже здесь в Москве. Прошедшее мучает меня, а не настоящая ревность. Не может он мне отдаться вполне, как я ему, потому что прошедшее полно, велико и так разнообразно, что если б он теперь умер, то жизнь его была наполнена достаточно. Только не испытал он еще отцовского чувства. А мне теперь вдруг жизнь столько дала, чего я прежде не знала и не испытала, что я хватаюсь за свое счастие и боюсь потерять его, потому что не верю в него, не верю, что оно продолжится, благо не знала его прежде. Я все думаю, что это случайное, проходящее, а то слишком

хорошо. Это ужасно странно, что только один человек своею личностью, безо всякой другой причины, исключая своих личных свойств, мог бы так вдруг взять меня в руки и сделать полное счастие.

Мама́ правду говорит, что я подурела, т. е., пожалуй, только еще ленивее стали мысли. Это неприятное чувство, когда чувствуешь эту апатию. От физической происходит и нравственная.

Мне жаль своей прежней живости, которая прошла. Но, я думаю, воротится. Я чувствую, что эта живость действовала бы лучше на Левочку, как, бывало, действовала на моих кремлевских. Первое время я и в Ясной была еще жива, а теперь совсем пропала. И Левочка тогда любил, когда я бесилась. Левочка как будто спит нравственно, хотя я знаю, что в душе он никогда не спит, а всегда происходит в нем сильная нравственная работа. Он очень похудел, и меня это мучает. Я бы дорого дала, чтоб влезть в его душу. Он даже журнал не пишет, что мне очень горестно.

У меня бывает иногда глупое, но бессознательное желание испытывать свою власть над ним, т. е. просто желание, чтоб он меня слушался. Но он всегда меня в этом осадит, чему я очень рада; и это пройдет.

17 января. Москва. Я только что была не в духе и сердилась за то, что он все и всех любит, а я хочу, чтоб он любил меня одну. Теперь пришла и одна рассудила, что я капризничаю опять; он и хорош своею добротою и богатством чувств. А подумаешь — все один у меня источник моих капризов, горя и проч.—этот эгоизм, чтоб он и жил, и думал, и любил — все для меня. Себе я почему-то это поставила за правило. Как я только подумаю, вот я люблю того-то или то-то, сейчас оговорюсь, что нет, люблю одного Левочку. А надо любить непременно еще что-нибудь, как он любит *дело*, для того, чтоб в те минуты, когда он ко мне остывает, я умела бы заняться тем, что я люблю. А минуты эти будут повторяться все чаще; незаметно как-то, это так и было до сих пор. Я вижу это ясно, потому что где же Левочке следить за ходом наших отношений до таких тонкостей, как я слежу, благо ничем больше не занимаюсь. И благодаря этому я учусь, как вести себя с ним, учусь не оттого, что поставила себе это задачей, а так, невольно. Не могу приложить еще эту науку к делу, но все со временем. Скорее в Ясную, там он

больше живет для меня и со мной. Все — тетенька да я, больше уж никого. И мне ужасно мила эта жизнь, ни на какую не променяла бы. Для этой жизни я все готова делать. Мало-помалу я буду стараться обставить ее лучше и очень буду довольна, если сумею. В доме можно, только бы Левочка не нуждался в людях, этих негде мне там взять, и не люблю я никого. А если Левочка захочет, то я и принимать буду, кого он хочет, главное, чтоб он не скучал и был доволен, тогда он и меня любит, а мне-то уж больше ничего не надо. Трудно жить и не ссориться, а я не буду все-таки, а то он правду говорит, что *надрез*[7]. Мое несчастие — ревность. Вот что ему надо беречь, а мое дело — сдерживаться и беречь его. Ему не хочется брать меня с собой, шляпа, кринолины — все его стесняет, а мне везде такая тоска без него. Навязываться страшно, а грустно, что в нем уже нет этой потребности быть вместе со мной, а не врозь. Во мне она все усиливается.

Ждала, ждала его и опять села писать. Есть же люди, которые живут в одиночестве. Это ужасно быть одной. Верно, мы уже не пойдем на лекцию. Может быть, я его стеснила. Вот эта мысль меня мучает часто, потому что в этом-то я всего чаще виновата. Я ужасно стала любить мама́ и боюсь, потому что нам ведь не вместе жить. Таню я стала любить немного свысока, а с какого права?

Расставаться с ними ужасно горько. Левочка не понимает — я умалчиваю. Тетеньку я рада видеть. Я ее эти дни очень люблю, потому что с Левочкой о ней не говорила. Он пристрастен. А я перед ней виновата, я должна больше ей угождать, хоть за то, что она Левочку вынянчала и моих понянчает. И ведь весело угождать — за это любят. То-то, что я боюсь льстить и фальшивить. А в сущности, ничего нет фальшивого в том, чтоб смиряться перед хорошей и доброй старушкой. Я стала односторонняя. Меня только занимает жизнь *наша* и больше ничего; конечно, со всеми лицами и обстановкой. Третий час — все не идет. Зачем он обещает? Хорошо ли, что он не аккуратен? Должно быть, хорошо, значит не мелочен. Я не люблю, как он сердится. Так и пристанет, провинчивает; скорее отступай, а то совсем проткнет. Зато сердце скоро проходит и почти никогда не ворчит.

29 января. Жизнь здесь, в Кремле, мне тягостна, оттого что отзывается то тягостное чувство бездействия и бесцельной жизни, как бывало в девичье время. И все,

что я вообразила себе замужем долгом и целью, улетучилось с тех пор, как Левочка мне дал почувствовать, что нельзя удовольствоваться одною жизнью семейною и женою или мужем, а надо что-нибудь еще, постороннее дело. *Ничего не надо, кроме тебя. Левочка все врет* *.

3 марта. Одна и пишу — всегда одна песнь. Но одна и не скучно, привыкла. И потом это счастливое убеждение — любит, любит постоянно. И приедет, так славно подойдет ко мне, что-нибудь спросит, сам расскажет. Мне так легко, хорошо жить на свете. Читала *его* журнал, радостно стало [8]. Я и дело. Больше его ничего не занимает. Вчера и сегодня сосредоточен. Я боюсь мешать, он пишет и думает. Боюсь, что ему станет досадно и он вспомнит, что я не могу ему быть везде и всегда не несносна. Я рада, что он пишет. Хотела нынче к обедне ехать, осталась и дома молилась. С тех пор как замужем, все, что обряд, и все, что фальшиво, мне стало еще противнее. Хочется изо всех сил хозяйничать и делать *дело*. Не умею и не знаю, как взяться. Все придет. А хлопотать и обманывать себя и других, что *занимаюсь* — гадко. Да и кого обманывать, для чего? Иногда так мне сделается ясно, *что* делать, как полезно время проводить, а потом забудешь, рассеешься. Как мне стало легко, просто жить. Так чувствую, что тут *мой долг*, моя жизнь, что мне ничего не нужно. И когда сделается тесно, то и тогда, если б спросили: чего тебе надо? я не знала бы, что отвечать. Тетеньку люблю, кажется, не искренно. Мне это грустно. Ее старчество меня реже трогает, нежели злит. Это дурно. Она часто сердится и часто не естественна. Как на дворе светло и на душе также. Я понемногу мирюсь со всеми. И студентами, и народом, и тетенькой,— конечно, и всем, что прежде бранила. Сильно влияние Левы, и радостно мне чувствовать его над собой.

26 марта. Нездорова, в апатии. Он в Туле с утра, а я точно его не видала месяц. Точно счастие мое было давно, давно. А вижу я его, точно нет его все-таки, какой-то не живой, а призрак. Где-то далеко у меня сидит моя любовь к нему, а я все так ее чувствую сильно и знаю, что на ней я только и держусь. Ходила по дворне,— тяжелое чувство. Больные, несчастные, все жалуются. Кто болен, у кого

* Приписка Л. Н. Толстого.

горе. А много хитрых, стало скучнее. Тетенька добра и в покойном духе, а мне с ней тяжело — стара. Много думала о своих. У них жизни много. Часто грустно, что не с ними, но никогда не жаль своего прошлого житья. Теперь так хорошо. Часто боюсь любить его. Такому счастию так легко испортиться. Меня уж начинает точить, мучить, что он не едет. Вот так-то не поеду с ним, а потом и начну себя упрекать, что не поехала. Думаешь, вот лучше б он сердился, лучше я бы стесняла его, только бы не мучиться. Всякий раз одна история. Он не поедет в Никольское, и то я здесь с ума сойду. Если б только кто-нибудь мог понять, как тихо время идет. Сейчас приходила тетенька, она у меня поцеловала руку. Отчего? Меня это сильно тронуло. Она, верно, добрая, ей жаль, что я одна, и если она не в духе, то это желчь у ней разливается. А я молода, должна терпеть эти мелкие слабости, меня иногда мучает совесть за нетерпение мое и досаду против нее. Он вчера обиделся и не сказал прямо. Все-таки, значит, есть и между нами что-то не простое. А мне всегда ему скорее хочется все сказать, что меня мучит или сердит, и боюсь иногда. Я избалована. Лева мне дает слишком много счастия. Люблю я его веселость, его недух, его доброе, доброе лицо, кротость, досаду, все это так выражается хорошо, что никогда *почти* он не оскорбляет чувство. Мне вот теперь хорошо сидеть, машинально почти чертить по бумаге и думать о нем. Все перебирать в голове, воображать себе его во всех видах, со всевозможными выражениями. Чертить пером, это только предлог, чтоб лучше углубиться и живее воображать себе его. Когда он возвращается, мне всегда как-то болезненно, радостно. Он как меня ни уверяй, а не может он меня так любить, как я его. Разве он ждал бы меня так мучительно нетерпеливо.

1 апреля. Нездорова, скучно. Лева уехал. Во мне большой недостаток — неуменье находить в себе самой ressources. А это важно и необходимо в жизни. Погода летняя, чудная, расположение духа летнее — грустное. Какая-то пустота, одиночество. Лева озабочен делами, хозяйством, а я не озабочена ничем... На что я способна? А так прожить нельзя. Хотела бы я побольше дела. Настоящего только. Бывало всегда весною в такое чудное время чего-то хочется, куда-то все нужно, бог знает о чем мечтаешь. А теперь ничего не нужно, нет этого глупого

стремления куда-то, потому что чувствуешь невольно, что все нашел и искать больше нечего, а все-таки немного скучно иногда. Много счастия — мало дела. И от хорошего устаешь. Надо дельного для противуположности. Что прежде замещалось мечтаниями, жизнью воображения, то теперь должно заместиться делом каким-нибудь, жизнью настоящего, а не жизнью воображения. Все глупо — я злюсь.

8 апреля. Занялись хозяйством. Лева серьезно, я покуда будто бы. Все это весело, хорошо, не мелочно. Меня все сильно интересует и часто радует. Он что-то скучен, озабочен, нездоров. Меня это так и точит, мучает постоянно. Я боюсь ему это дать почувствовать, а его приливы крови меня очень пугают. Страшно это думать, а невольно приходит в голову, что вся теперешняя жизнь, все это огромное счастие, не настоящее счастие, а так только судьба подразнила, и вдруг все отнимется. Я боюсь... Вот глупо, а не могу написать. Я бы хотела, чтобы скорей прошел этот страх. Всю жизнь отравляет. Купили пчел, меня радует; все это так интересно, а трудно хозяйство. Ауэрбахи все-таки скучны, никого не надо. Она на меня нагоняла тоску. Ее как-то и почему-то жаль. Любит ли она мужа? Вот уж подлинно не узнаешь у всякого *брачную мистерию.* У Левы что-нибудь да есть. Как-то он стал неестественнее и скрытнее. Или все это головная боль делает? Что ему надо, чем он недоволен? Я бы все сделала, что он хочет, если бы могла. Теперь его нет, он придет, а я уж боюсь его, что он не в духе, что-нибудь еще больше раздражит его. Я его ужасно люблю, теперь хватилась, потому что чувствую, что все могу от него перенесть, если б было что переносить.

10 апреля. Он поехал встречать папа́ в Тулу, я уже сильно скучаю. Перечитывала его письма к В. А. Еще молодо было, любил не ее, а любовь и жизнь семейную. А как хорошо узнаю я его везде, его правила, его чудное стремление ко всему, что хорошо, что *добро.* Ужасно он милый человек. И прочтя его письма, я как-то не ревновала, точно это был не он, и никак не В., а женщина, которую он должен был любить, скорее *я,* чем *В.* Перенеслась я в их мир. Она хорошенькая, пустая в сущности, и милая только молодостью, конечно, в нравственном смысле, а он все тот же, как и теперь, без любви к В., а

с любовью к любви и добру. Ясно стало мне и Судаково... и фортепьяно, сонаты, хорошенькая, черненькая головка, доверчивая и незлая. Потом молодость (что такое? я уже думаю, что я стара), природа, деревенское уединение. Все понятно и не грустно. Потом читала я его планы на семейную жизнь. Бедный, он еще слишком молод был и не понимал, что если прежде *сочинишь* счастие, то после хватишься, что не так его понимал и ожидал. А милые, отличные мечты [9].

24 апреля. Лева или стар, или несчастлив. Неужели, кроме дел денежных, хозяйственных, винокуренных, ничего и ничто его не занимает [10]. Если он не ест, не спит и не молчит, он рыскает по хозяйству, ходит, ходит, все один. А мне скучно — я одна, совсем одна. Любовь его ко мне выражается машинальным целованием рук и тем, что он мне делает добро, а не зло.

Погода отличная, время вообще располагающее хорошо, а меня что-то точит. Бывало, с Татьяной хорошо мы понимали, что такое весна, лето, как-то вместе наслаждались, и весело нам было, чем больше мы могли быть совсем вместе, т. е. одинаково думать, понимать все, не рассчитывать, что стоит завод, какие аппараты, скучно ужасно. Я ужасно буду рада, когда она приедет. Я так люблю молодых вообще, а еще таких милых, как Таня, в особенности. Мне стало неловко с Левой. Мне стало все совестно и стыдно, что касается до меня. Отчего это, ведь у меня на совести ничего нет — я перед ним еще ни в чем не виновата. Вот теперь пишу это, потому что так думаю, и меня так всю и коробит от мысли, что он прочтет это. Любить я его так боюсь — боюсь, что он это будет видеть, мне кажется, что я надоедаю, что не до этого ему. Чего я хочу, верно, спросили бы, а я сама не знаю. Это все само собой делается.

25 апреля. Все утро та же скука, то же предчувствие чего-то страшного. Та же робость в отношении к Леве. Я плакала как сумасшедшая и после не подумала, как всегда это бывает — о чем, а так знала и понимала, что есть о чем плакать, и даже умереть можно, если Лева меня не будет так любить, как любил. Я нынче и писать не хотела, а теперь осталась одна внизу и поддалась прежней привычке — все чертить. Помешали.

29 апреля, вечер. Я злюсь за мелочи, за присланные вещи. Ужасно работаю над собой, чтоб не злиться и нынче же добьюсь этого. К Леве чувствую ужасную нежность и немного робость — вследствие своего мелочного расположения духа. К себе чувствую какое-то отвращение. Давно этого не было. Ужасно хочется и за пчелами ходить, и за яблонями, и хозяйничать [11], деятельности хочется,— и беспрестанно тяжесть, усталость, нечто вроде немощности напоминает мне, что сиди, мол, смирно — береги свой живот. Досадно. И скучно, что Лева смотрит на эту немощность как-то неприязненно — как будто я виновата, что беременна. Ни в чем я и помогать ему не могу. Еще за одну вещь я почувствовала к себе отвращение. (Прежде всего правду в дневнике.) Мне весело было вспомнить, что в меня был влюблен В. В. [12]. Неужели и теперь мне весело бы было, если б кто в меня влюбился? Что за мелочность, гадко. А уж я только могла смеяться над ним. Никогда никакого другого чувства, разве только отвращение и в высшей степени неуважение. Лева все больше и больше от меня отвлекается. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно — у меня никакой, напротив. Но нравственно он *прочен* — это главное.

8 мая. Всему виновата беременность — но мне невыносимо и физически и нравственно. Физически я постоянно чем-нибудь больна, нравственно страшная скука, пустота, просто тоска какая-то. Я для Левы не существую. Я чувствую, что я ему несносна — и теперь у меня одна цель, оставить его в покое и, сколько можно, вычеркнуться из его жизни. Ничего веселого я не могу ему приносить, потому что я беременна. Какая горькая истина, что тогда узнаешь, как любит муж, когда жена беременна. Он на пчельнике, я бы бог знает что дала, чтоб идти туда, но не иду, потому что у меня сильнейшее сердцебиение, а там сидеть неловко, и гроза скоро, у меня голова болит, и мне скучно — плакать хочется, и я не хочу ему быть неприятна и скучна, тем более, что и он болен. Мне с ним большею частию неловко. Если он со мной минутно еще бывает хорош,— то это больше по привычке, и он чувствует себя как будто обязанным поддержать, не любя, прежние отношения. Да и страшно, верно, ему было бы сознаться, искренно, что когда-то он любил; и недавно еще, но что

все это уж прошло. А если б он только знал, как он переменился, если б он побывал в моей коже, он понял бы, каково жить так на свете. А помочь тут нельзя никак. Он проснется еще раз, когда я рожу. Ведь это всегда так бывает. Это та ужасная *общая колея,* по которой все проходят и которую мы прежде так боялись. А я еще, к несчастию, очень люблю его, больше чем когда-либо. Когда-то я попаду в эту несчастную колею?

9 мая. Обещал быть в 12 — теперь 2 часа. Не случилось ли что? И как это ему весело меня так ужасно мучить? Собаку и ту жаль отогнать, когда ласкается. Участь мама́ была немного похожа на мою в первый год замужества. Ей было хуже, папа́ ездил по практике и играть в карты, Лева ездит и ходит по хозяйству. Но также одна, также скучающая, также беременная и больная. Никогда не поймешь ничего так хорошо умом, как поймешь опытом. Молодость скорее несчастие, чем счастие, замужем конечно. Нельзя довольствоваться только тем, чтоб сидеть с иголкой или за фортепьяно и *одной,* совершенно одной, и придумывать, или просто убеждаться, что муж не любит и что теперь закабалена и сиди. Мама́ говорит, что ей стало гораздо веселее и лучше, когда прошла молодость, пошли дети и в них сосредоточилась вся жизнь. Так оно и есть. Я гадкая, я блажная, но оттого, что мне скучно, что я одна и жду его с 12-ти часов с тревогой и страхом. А он тем дурной человек, что у него даже нет жалости, которую имеет всякий мало-мальский не злой человек ко всякому страдающему существу.

12 мая. Я работала над собой, чтоб не скучать — и мне стало опять — не радостно,— но спокойно и не скучно.

22 мая. Когда входишь сюда в кабинет и ни о чем не думаешь,— обдаст каким-то неприятным холодом и скукой. А идешь и представляешь себе его живым, с жизнью, которая в нем происходила,— напротив. Теперь холод и скука или страх скорее. Страх смерти, что все, что было, умерло. Нет жизни. Любви нет, жизни нет. Вчера бежала в саду, думала, неужели же я не выкину. Натура железная. А любви в нем нет ничего. Он болен — поздоровеет, ему тоже станет страшно. Как вообще у всех богато

воображение — бедна жизнь. *Воображать* можно все — тысячи разных миров, *жить* надо в самом тесном кружке. Я свой полюбила, мне ничего не надо, он от своего устал и опять стал *желать*. Нынче убедилась, что мне, кроме него, ничего не нужно. Да сколько раз убеждалась. Мама часто говаривала, что нет ничего хуже, как держать мужа пришитого к юбке. Ее были слова, и верные. Молиться на нее надо — она много вынесла. А трудно жить, железной надо быть. И рассчитывать надо, как жить. Прежде, не замужем, я рассуждала умно, что самое лучшее прожить не любя. Знала себя, что любить мало не могу, любить много — трудно. Таня понимала это; и ей счастие не легко дастся. Теперь весело ей, молода и живет всей душой; душа богатая. Сомнет ее кто-нибудь. А она не легко помирится с жизнью, если жизнь ей мало даст. Ломать себя трудно. Но она способна внушить больше любви, чем я. Я сама *надрезываю*. Невольно и как дорого мне это достается. Каждый надрез отнимает у меня жизни, т. е. отнимает немного силы, немного молодости, энергии, много веселости и прибавит много отвращения к себе. И не починишь никогда этого надреза. Беречь надо *его* любовь. Слабо держится она, а, может быть, и не держится больше. Это страшно, я об этом постоянно думаю. Я все больна теперь со вчерашнего дня. Выкинуть боюсь, а боль эта в животе мне даже доставляет наслаждение. Это, бывало, так ребенком сделаешь что-нибудь дурно, мама́ простит, а сам себе не простишь и начинаешь сильно щипать или колоть себе руку. Боль делается невыносимая, а терпишь ее с каким-то огромным наслаждением. Любовь поверяешь именно в такое время, как теперь. Воротится хорошая погода, воротится здоровье, порядок будет и радость в хозяйстве, будет ребенок, воротится и физическое наслаждение,— гадко.

А он подумает — любовь вернулась, а она не вернулась, а вспомнилась только. А потом опять нездоровье, опять неудачи, а ко всему еще ненавистная жена, и как смеет она тут постоянно торчать на глазах, и опять скука. Вот она жизнь-то ему какая предстоит. А моей уж нет, только и было, что любила я его да утешалась, что он меня любить будет. Дура я, поверила,— только мученье себе готовила. И все мне кажется таким скучным. И часы даже жалобно бьют, и собака скучная, и Душка[13] несчастная такая, и старушки жалки, и все умерло. А если Лева...

6 июня. Наехала вся молодежь[14], нашу жизнь нарушила, и мне жалко. Что-то все они не веселы. Или оттого, что «холодно». А на меня они действуют все не так, как я думала. Они меня не развеселили, а встревожили, и даже скучнее стало. Леву ужасно люблю, но злит меня, что я себя поставила с ним в такие отношения, что мы не равны. Я вся от него завишу, и я бог знает как дорожу его любовью. А он в моей или уверился, или не нуждается, но только как будто он совершенно сам по себе. Мне все кажется, что уж осень, что скоро все кончено. А что *все,* сама не знаю. А какая за осенью будет зима, и будет ли она, не знаю решительно и не могу вообразить. Ужасно скучно, что мне ничего не нужно и что меня ничего не радует, как будто я состарелась, а это несносно быть старой. Совсем не хотелось ехать кататься с ними, оттого что он сказал: «Мы с тобой старички, дома останемся». И так показалось мне весело остаться с ним опять вдвоем. Как будто я в него влюблена, и мне запрещают это. А теперь они уехали, Лева ушел, я осталась одна, и на меня напала тоска. Я даже чувствую в себе злость и готова упрекать ему, что у меня нет экипажа кататься, что он обо мне мало заботится и так далее. Что ему всего покойнее оставить меня одну на диване с книгой и не хлопотать ни о чем, что до меня касается. А если я забуду злость, то я чувствую, что у него пропасть дела, что ему и в самом деле не до меня, и хозяйство — это сущая каторга; а тут еще народ наехал, пристает. Да отвратительный Анатоль торчит перед глазами[15]. А что его обманули с пролеткой — он не виноват, и что все-таки *он отличный,* и я его люблю изо всех сил.

7 июня. Люблю его ужасно — и это чувство только мной и владеет, всю меня обхватило. Он все по хозяйству, я не скучаю, мне ужасно хорошо. И он меня любит, я это, кажется, чувствую. Боюсь, не к смерти ли это моей. Жалко и страшно его оставить. Все больше его узнаю, и все он мне милее. С каждым днем думаю, что так я еще его никогда не любила. И все больше. Ничего, кроме его и его интересов, для меня не существует.

8 июня. Лева весел страшно. Его совсем губит одиночество и общество совсем оживило. Нет, брат, я прочнее. И болен был — от скуки. Таня плоха, Саши оба[16] в высшей степени деликатны, особенно мой.

14 июля. Все свершилось, я родила, перестрадала, встала и снова вхожу в жизнь медленно, со страхом, с тревогой постоянной о ребенке, о муже в особенности [17]. Что-то во мне надломилось, что-то есть, что, я чувствую, будет у меня постоянно болеть; кажется, это боязнь неисполнения долга в отношении к *своей семье.* Я ужасно стала робеть перед мужем, точно я в чем-то очень виновата перед ним. Мне кажется, что я ему в тягость, что я для него глупа (старая моя песнь), что я даже пошла. Я стала неестественна, потому что боюсь пошлой любви матки к детищу и боюсь своей какой-то неестественно сильной любви к мужу. Все это я стараюсь скрывать из глупого, ложного чувства стыда. Утешаюсь иногда, что, говорят, это достоинство — любить детей и мужа. Боюсь, что на этом остановлюсь — хочется немного хоть образоваться, я так плоха, опять-таки для мужа и ребенка. Что за сильное чувство матери, а как мне кажется не странно, а естественно, что я мать. Левочкин ребенок — оттого и люблю его. Нравственное состояние Левы меня мучает. Богатство мысли, чувство, и все пропадает. А как я чувствую его все совершенство, и бог знает что бы дала, чтобы он с этой стороны был счастлив.

23 июля. 10 месяцев замужем. Я падаю духом — ужасно. Я машинально ищу поддержки, как ребенок мой ищет груди. Боль меня гнет в три погибели. Лева убийственный. Хозяйство вести не может, не на то, брат, создан. Немного он мечется [18]. Ему мало всего, что есть; я знаю, что ему нужно; того я ему не дам. Ничто не мило. Как собака, я привыкла к его ласкам — он охладел. Все утешает, что такие дни находят. Но уж это очень часто. *Терпение.*

24 июля. Вышла на балкон — охватило какое-то болезненно приятное чувство. Природа хороша, бога напомнило, и все кажется широко, просторно... Мои уехали, лучший друг мать [19]. Я мало плакала,— все то же притупление. Муж ожил, слава богу. Я о нем много молилась. Меня любит, дай бог нам счастия прочного. Боль усиливается, я, как улитка, сжалась, вошла в себя и решилась терпеть до крайности. Ребенка люблю очень; бросить кормить — огромное несчастие, отравит жизнь. Ужасное желание отдохнуть, наслаждаться природой, и чувство как

заключенного в тюрьму. Жду мужа из Тулы с ужасным нетерпением. Люблю его из всех сил, прочно, хорошо, немного снизу вверх. Иду на жертву к сыну...

31 июля. Он говорит *казенно.* Правда, что убийственно. Но он сердится — за что? Кто виноват? Отношения наши ужасны — и это в несчастии. Он до того стал неприятен, что я целый день избегаю его. Он говорит: «Иду спать, иду купаться»; я думаю: «Слава богу». И сижу над мальчиком, так душа разрывается [20]. И ребенка и мужа отнял бог, которому мы вместе, бывало, так хорошо молились. Теперь как будто все кончено. Терпение, не надо этого забывать. Я хоть прошедшее наше благословляю. Любила я его очень и благодарна ему за все. Его дневник я сейчас читала. В хорошую, поэтическую минуту все показалось дурно. *Эти 9 месяцев едва ли не самые худшие в жизни.* А десятый и говорить нечего. Сколько раз в душе он подумал: «Зачем я женился», и сколько раз вслух сказал: «Где я такой, какой я был» [21].

2 августа. Не про меня писано. И что даром небо копчу. Хорошо бы сделала, кабы убралась, Софья Андреевна. Есть горе — страшно пилит. Дала себе твердое слово никогда о нем ни слова. Может, обойдется.

3 августа. Говорила с ним — стало как будто легче, именно оттого, что, о чем я догадывалась, стало уже верно. Уродство не ходить за своим ребенком; кто же говорит против? Но что делать против физического бессилия. Я чувствую как-то инстинктивно, что он несправедлив ко мне. За что еще и еще мучить? Я озлобилась, мне даже не в таком хорошем свете кажется сегодня ходить за мальчиком; а так как ему хотелось бы стереть теперь меня с лица земли за то, что я страдаю, а не исполняю долга, так и мне хотелось бы его не видеть за то, что он не страдает и пишет. Вот еще с какой стороны мужья бывают ужасны. О ней я не подумала. Мне даже в эту минуту кажется, что я его не люблю. Разве можно любить муху, которая каждую минуту кусает. Поправить дело я не могу, ходить за мальчиком буду, сделаю все, что могу, конечно не для Левы, ему следует зло за зло, которое он мне делает. И что за слабость, что он не может на это короткое время моего выздоровления потерпеть. Я же терплю, и терплю в 10 раз больше еще. Мне хотелось писать, оттого что я злюсь.

Дождь пошел, я боюсь, что он простудится, я больше не зла — я люблю его. Спаси его бог.

*Соня, прости меня, я теперь только знаю, что я виноват и как я виноват. Бывают дни, когда живешь как будто не нашей волей, а подчиняешься какому-то внешнему непреодолимому закону. Такой я был эти дни насчет тебя, и кто же — я. А я думал всегда, что у меня много недостатков и есть одна десятая часть чувства и великодушия. Я был груб и жесток и к кому же? К одному существу, которое дало мне лучшее счастье жизни и которое одно любит меня. Соня, я знаю, что это не забывается и не прощается; но я больше тебя знаю и понимаю всю подлость свою, Соня, голубчик, я виноват, но я гадок, только во мне есть отличный человек, который иногда спит. Ты его люби и не укоряй, Соня**.

Это написал Левочка, прощение просил у меня. Но потом за что-то рассердился и все вычеркнул. Это была эпоха моей страшной грудницы, болезни грудей, *я не могла* кормить Сережу, и это его сердило. Неужели я *не хотела,* это было тогда мое главное, сильнейшее желание. Я стоила этих нескольких строк нежности и раскаяния с его стороны, но в новую минуту сердца на меня он лишил их меня, прежде чем я их прочла.

17 августа. Я мечтала — мне напомнили *сумасшедшие* ночи прошлый год, и те сумасшедшие ночи, когда я была так широко свободна и в таком чудном расположении духа. Если когда бывает полное наслаждение жизнью, то это было тогда. Я и любила, и чувствовала, и все понимала, и ум и вся я, все это было, казалось мне, что было, так свежо. Ко всему этому поэтический, милый *comte***[22], с светлым, глубоким и ужасно приятным взглядом (такое производило тогда впечатление). Чудное было время. И я смутно балованная его любовью. Я, верно, чувствовала ее, мне не было бы так хорошо иначе. Помню я, раз вечером он сказал мне что-то обидное, был у нас Попов; меня ужасно кольнуло, и тут-то я хотела показать, что мне нипочем, села на крылечко с Поповым и все прислушивалась, что comte говорит, и старалась показать, что меня занимает Попов. С тех пор я стала все больше привязываться к comte и поставила себе за правило ни-

* Приписка Л. Н. Толстого.

** граф (*франц.*).

когда с ним ни в чем не притвориться. Это все я нынче вспомнила и почувствовала какое-то непонятное чувство счастия, что этот самый *comte* — муж мой. Знала Лизка, где бывает счастие, и не умела понимать этого Сонечка Берс [23]. Я зато теперь поняла, и как поняла — всею душою. А он, глупый, ревнует;[24] боже мой, может ли быть что-нибудь, что подало бы повод к ревности. Мне стало жаль, что время поэтического прошлого августа он пережил один, а не со мной. А могло бы быть еще лучше тогда, нежели было. Его нет дома теперь, и мне всегда скучно, когда его нет. Когда я привыкну. Жду своего выздоровления, как возвращения к жизни; к жизни с Левой,— теперь мы врозь. Сомнения с его стороны насчет любви моей к нему меня всегда ошеломят так, что я теряюсь. Чем я могла доказать; я его так *честно,* так хорошо и прочно люблю.

10 сентября. Немножко молодости жаль, немножко завидно и много скучно. Все страдания, все боль, жизнь в четырех стенах дома, когда вне дома так чудно хорошо, а в душе легко, весело от семейной жизни. Опять луна, опять тихие, теплые вечера и все не про меня писано. У Натальи [25] ребенок умирает. Страдания страшные. За что ребенку, за что матери? И отец плачет. Жалко — я плакала. Взгляд Левы преследует. Вчера за фортепьяно, а меня так и покоробило. О чем он тогда думал? Никогда не было такого взгляда. Не воспоминания ли чего-нибудь? Ревность? Он любит...

22 сентября. Завтра год. Тогда надежды на счастие, теперь — на несчастия. До сих пор я думала, что шутка; вижу, что почти правда. На войну [26]. Что за странность? Взбалмошный — нет, не верно, а просто непостоянный. Не знаю, вольно или невольно он старается всеми силами устроить жизнь так, чтобы я была совсем несчастна. Поставил в такое положение, что надо жить и постоянно думать, что вот не нынче, так завтра останешься с ребенком, да, пожалуй, еще не с одним, без мужа. Все у них шутка, минутная фантазия. Нынче женился, понравилось, родил детей, завтра захотелось на войну, бросил. Надо теперь желать смерти ребенка, потому что его я не переживу. Не верю я в эту любовь к отечеству, в этот enthousiasme в 35 лет. Разве дети не то же отечество, не те же русские? Их бросить, потому что весело скакать на лошади,

любоваться, как красива война, и слушать, как летают пули. Я его начинаю меньше уважать за непостоянство и за малодушие. А талант почти важнее семьи. Пусть растолкует он мне всю важность его желанья. Зачем я за него замуж шла? Лучше Валериан Петрович[27], чем он, оттого что с тем расставаться не жаль. Зачем нужна ему была любовь моя? Все порывы только. И я знаю, что теперь я виновата; он дуется. Виновата в том, что люблю его и не желаю его смерти или разлуки с ним. Пусть дуется, я бы желала заранее приготовиться, т. е. перестать любить его, чтоб потом легче было расстаться. Пусть совсем меня оттолкнет от себя, и я буду его удаляться. Довольно году счастия, теперь у него новая фантазия. Такого рода жизнь надоела. А детей у него больше не будет. Я не хочу давать ему их для того, чтоб он их бросил. Вот деспотизм-то: «Я хочу, а ты не смей слова сказать». Войны еще нет, он еще тут. Тем хуже. Теперь жди, томись. Один бы конец. И любишь его, вот главное зло. Посмотрю на него, он скучен, всю душу переверпет.

7 октября. Скука. Как еще радостно, что есть сын. Зачем няня; беспрестанные заботы о пеленках меня отвлекали от мыслей. Он, конечно, замечает скуку, скрыть нельзя, но ему будет несносно. На бал хочется — но скука не оттого. Я не поеду, досадно на то, что еще есть желание. И эта досада отравила бы все удовольствие, в котором, впрочем, сомневаюсь. Он говорит: «Возрождаюсь». Зачем; пусть будет в нем все, что было до женитьбы, исключая тревоги и беспокойного стремления то туда, то сюда. Как возрождаюсь? Он говорит: сама поймешь. А я теряюсь и как-то перестаю понимать его. А что-то в нем переделывается. Мы с ним стали как-то более врозь. Болезнь и ребенок отдалили меня, и вот отчего я не понимаю его. Чего мне еще надо? Не счастие разве иметь постоянно возле себя неистощимый ум, талант, добродетель, мысль в лице мужа. А все-таки скука. *Молодость*[28].

17 октября. Я чувствую себя неспособной достаточно понимать его и потому так ревниво за ним слежу. За его мыслями, за его действиями, за прошедшим и настоящим. Мне хотелось бы всего его охватить, понять, чтоб он был со мною так, как был с Alexandrine, а я знаю, что этого нельзя, и не оскорбляюсь, а мирюсь с тем, что я для этого

и молода, и глупа, и недовольно поэтична. А чтоб быть такой, как Alexandrine, исключая врожденных данных, надо быть и старше, и бездетной, и даже незамужней. Я бы не оскорбилась тем, что у них была бы переписка в прежнем духе, а мне только грустно бы было, что она подумает, что жена Левы, кроме детской и легких будничных отношений, ни на что не способна. А я знаю, что как бы я ревнива ни была, ревнива к душе его, а Alexandrine из жизни не вычеркнешь, и не надо — она играла хорошую роль, на которую я не способна [29]. Напрасно не послал он ей письма. Я плакала, потому что я прежде не слышала от него всего, что́ он написал, и потому, что он написал. «То, что я сам только про себя знаю». И вам еще сообщаю,— а жена тут ни при чем. Я бы хотела с ней поближе познакомиться. Сочла ли бы она меня достойной его? Она и понимала и ценила его хорошо. Я нашла в столе письма от нее, и они навели меня на мысль о ней и ее отношениях к Леве. Одно письмо отличное. Несколько раз приходило мне в голову написать к ней и не сказать о письме Леве, но не решалась. Она сильно меня интересует и очень нравится мне. Все это время, с тех пор как я прочла письмо Левы к ней, я о ней думала. Я бы ее любила [30]. Я не беременна, сужу по нравственному своему состоянию, и желаю, чтоб так продлилось. Я люблю его ужасно и чувствую заботу, как усиливается эта любовь. Мне сегодня так хорошо, ясно и покойно; верно оттого, что он меня так любит нынче. Я не верю в то, что он опустился. С терпением жду, когда кончится это временное, неспокойное состояние его духа и недовольство собой. Мне радостно бывает, когда я вижу, что ему нравственно лучше, и я боюсь его состояния. Эта нравственная работа в нем сокращает его жизнь, а она мне так необходима.

28 октября. Что-то не то во мне, и все мне тяжело. Как будто любовь наша прошла — ничего не осталось. Он холоден, почти покоен, сильно занят, но не весело занят, а я убита и зла. Зла на себя, на свой характер, на свои отношения с мужем. То ли я хотела, то ли я обещала ему в душе своей. Милый, милый Левочка. Его тяготят все эти дрязги; на то ли он создан? А я еще сердита, прости мне, господи. Я ужасно его люблю, мне грустно, я не умею быть счастлива, не умею и других делать счастливыми. Бессилие нравственное гадко; я себе противна.

Стало быть, любовь не велика, если бессилие. Нет, я его ужасно, очень люблю. И сомнения нет, не может его быть. Подняться еще бы, муж милый, ужасно милый. Где он? *История 12-го года.* Бывало, все рассказывал — теперь недостойна. А прежде — все его мысли были мои. Счастливые минуты были, чудные, теперь их нет. «Мы всегда будем счастливы, Соня». Мне ужасно грустно, нет у него этого счастия, которого он так достоин и которого ждал.

13 ноября. Жаль тетеньку — она не долго проживет. Все больна, ночью кашель, не спит. Худые, сухие руки. Весь день о ней думаю. Он говорит: пожить в Москве. Я этого ждала. Ревность к идеалу, приложенному к первой хорошенькой женщине. Такая любовь ужасна, потому что слепа и почти неизлечима. А я ни капли не осуществила и не могу осуществить идеала. Я брошена. Ни день, ни вечер, ни ночь. Я — удовлетворение, я — нянька, я — привычная мебель, я — *женщина.* Всякое человеческое чувство я стараюсь заглушить в себе. Пока машина действует, греет молоко, вяжет одеяло, просится на охоту, ходит взад и вперед, чтоб не задумываться,— жизнь возможна и даже сносна. А на минуту одна, задуматься, так жить нельзя. Разлюбил. А зачем не умела. Нет, чем же — судьба. Была минута,— это я каюсь,— минута горя, когда мне все показалось так ничтожно перед тем, что он разлюбил меня; ничтожно его писательство, что он пишет про графиню такую-то, которая разговаривала с княгиней такой-то; [31] а потом я почувствовала к себе же презрение. У меня будничная жизнь, смерть. А у него целая жизнь, работа внутри, талант и бессмертие. Я стала его бояться и минутами чувствовать совершенное отчуждение. Он сам меня так поставил. Я, может быть, сама виновата, у меня характер испортился, — но с некоторых пор я чувствую, что я не та для него, чем была, что я брошена. И я не мечусь, слава богу, как бывало, а стерпелась; но мне ничто уж и не весело и ничто меня не волнует. Что со мной — я не знаю. Я знаю, что у меня верное чутье.

19 декабря. Зажгла две свечи, села за стол, и мне стало весело. Я малодушна, пуста. Мне нынче беспечно лениво и весело. Мне все смешно и все нипочем. Мне хочется кокетничать, хоть с Алешей Горшком, и хочется злиться хоть на стул или что-нибудь. Я четыре часа играла в карты с тетенькой, он сердился, а мне было все

равно. Когда вспомню Таню, сделается больно, что-то уколет[32]. И я даже это отстраняю, так у меня нынче глупо на душе. Ребенку лучше, может быть, *это* мне весело. В эту минуту я бы хотела бала или чего-нибудь веселого. Мне будет досадно потом на себя, но я не могу переменить этот дух. Меня злит, что Лева мало занимается и даже совсем не чувствует и не понимает, что я его так люблю; и за это мне хотелось бы ему что-нибудь сделать. Он стар и слишком сосредоточен. А я нынче так чувствую свою молодость, и так мне нужно чего-нибудь сумасшедшего. Вместо того, чтоб ложиться спать, мне хотелось бы кувыркаться. А с кем?

24 декабря. Что-то старое надо мной, вся окружающая обстановка стара. И стараешься подавить всякое молодое чувство: так оно здесь, при этой рассудительной обстановке, неуместно и странно. Один Сережа молод или моложе других душой[33]. Я потому люблю, когда он приезжает. О Леве у меня составляется мало-помалу впечатление существа, которое меня только останавливает. Эта сдержанность, которая происходит от этого останавливания, сдерживает также всякий порыв любви. И *как* любить, когда все так спокойно, рассудительно, мирно. Однообразно — да еще без любви. Ничего делать не хочется. Я жалуюсь — как будто я несчастна. Да я и несчастна — он меня стал мало любить. Он это сказал, да я и прежде знала. А про себя не знаю. Я так мало его вижу и так боюсь его, что не знаю, насколько я его люблю. Хотелось Таню отдать за Сережу, да нынче и это показалось страшно. За что Маше?[34] Все рассуждения Левы о душевных ящиках — воображение идеализма, каков он и есть, а нисколько не утешение мне.

1864

2 января. Таня и Таня. Вот моя главная мысль. Устала желать, грустить и стараться. Я, как Лева и как тетенька,— все бог. А тяжело, грустно, ужасно бы хотелось им обоим счастия. Я не в духе — и чувствую. В Туле скука, устала. Купила бы весь город, такое малодушие, но была благоразумна. Лева мил, что-то было детское в выражении, когда играл. Я вспомнила и поняла Alexandrine. Я поняла, *как* она его любила. *Бабушка*[1]. Сейчас

рассердил, говорит: «Когда не в духе — дневник». Что ему за дело? Я не не в духе в эту минуту. Ужасно оскорбительно и больно всякое мало-мальски колкое слово; он должен бы больше беречь мою любовь к нему. Я сама боюсь быть дурна и нравственно и физически.

27 марта. Весь журнал запылился: так давно не писала, а нынче захотелось тихонько, как когда дети прячутся, написать все, что в голове. Ужасно хочется всех любить и всему радоваться, но если кто дотронется до этого чувства — все рассыплется. Вдруг такая нежность к мужу, доверие, любовь, может быть, оттого, что вчера пришло в голову, что могу ведь и его лишиться. Нынче тем более уверилась, что не могу и не буду, ни за что не буду думать об этом. И слушать не стану, если кто заговорит, и его не стану слушать. Я так люблю Таню, за что мне ее портят? И не испортят, все это напрасно. Мне с ней будет весело, я буду заниматься. Я для нее многое могу сделать по чувству, а по обстоятельствам почти ничего. Я буду ее рассеивать сколько могу. У меня будут дети Таня и Сергушка [2], я буду о них заботиться, и это будет славно. И мне кажется, что теперь я меньше эгоистка, чем в прошлом году. Тогда я скучала брюхом и скучала, что не могу принимать участие в общих удовольствиях. А теперь я радуюсь своей радости, и мне веселее всех.

22 апреля. Осталась одна, и так я целый день крепилась не задумываться и не оставаться сама с собой наедине, что вечером, теперь, все прорвалось в потребности сосредоточиться и выплакаться и выписаться в журнале, хотя бы мне и веселей и лучше было написать ему, если б было близко и возможно. Выписываться нечего, скучно, пусто, просто жизни нет. Пока Сережа на руках, все как будто за что-то держишься, а вечером, когда он спать лег, все хлопотала, бегала, как будто у меня дел пропасть, а, в сущности, просто не хотела и боялась задуматься. Все кажется, что он на охоте, на пчельнике или по хозяйству и вот-вот воротится. Ждать-то я привыкла, всегда только он воротится в то самое время, когда, если б еще немножко, и терпение лопнуло бы. Для того, чтоб мне его не так жаль было, я все хочу выдумать что-нибудь неприятное в жизни с ним и не могу, потому что как я его себе представляю, так знаю, что ужасно люблю его и все плакать хочется. Поймаю я вдруг себя в какую-нибудь мину-

ту и подумаю, вот же мне не скучно, и, как нарочно, в ту же самую минуту так сделается скучно. Ложусь сейчас в первый раз в жизни одна совершенно. Мне все говорили положить рядом Таню, а я не хотела — пускай или Лева, или уж никто в мире, никогда. Вот бы ему легко было умирать, я так была бы верна ему всегда. А как я стала в нем теперь уверена, даже страшно. Смешно на себя, сижу и глотаю слезы, как будто стыдно плакать о том, что без мужа скучно. И так еще плакать 4 дня. Я вдруг сделаю глупость и поеду в Никольское. Я чувствую, что способна, если немножко запустить себя и свои слезы. Журнал и это писание меня расстроили еще больше. На что я годна, если у меня так мало силы воли и способности что-нибудь переносить. А что делает он, не хочу думать. Ему, верно, и легко и не скучно, и он не плачет, как я. Мне оттого не стыдно, что я одна, что журнал мой я не пишу почти, и он перестал смотреть, не написала ли я что и что именно. Не решаюсь лечь, одна, я слабею, чувствую, что скоро Таня из гостиной услышит, что я плачу, и мне станет стыдно, а я так была благоразумна целый день [3].

3 ноября. Странное чувство, посреди моей счастливой обстановки постоянная тоска, страх и постоянная мысль о смерти Левы. И все усиливается это чувство, с каждым днем. Нынче ночью и все ночи такой страх, такое горе, нынче я плакала, сидя с девочкой [4], и ясно мне делалось, как он умрет, и вся картина его смерти представлялась. Это чувство началось с того дня, как он вывихнул себе руку [5]. Я вдруг поняла возможность потерять его и с тех пор только о том и думаю. Живу теперь в детской, кормлю, вожусь с детьми, и это иногда меня рассеивает. И часто думаю я еще, что ему скучно в нашем бабьем миру, а я чувствую себя до того неспособной делать его счастливым, чувствую, что я хорошая нянька — и больше ничего. Ни ума, ни хорошего образования, ни таланта — ничего. Я бы уж желала, чтоб случилось скорее что-нибудь, потому что, наверное, случится, я это чувствую. Заботы о детях и забавы Сережей меня иногда развлекают, а в душе нет радостного чувства ни к чему, как будто пропало все мое веселье. Часто предчувствовала я прежде дурное, недружелюбное чувство Левы ко мне, может быть, и теперь он чувствует ко мне тихую ненависть.

25 февраля. Я так часто бываю одна с своими мыслями, что невольно является потребность писать журнал. Мне иногда тяжело, а нынче так кажется хорошо жить с своими мыслями одной и никому ничего о них не говорить. И чего-чего не перебродит в голове. Вчера Левочка говорил, что чувствует себя молодым, и я так хорошо поняла его. Теперь здоровая, не беременная, я до того часто бываю в этом состоянии, что страшно делается. Но он сказал, что чувство этой молодости значит: *«я все могу». А я все хочу* и *могу.* Но когда пройдет это чувство и явятся мысли, рассудок, я вижу, что хотеть нечего и что я ничего не могу, как только нянчить, есть, пить, спать, любить мужа и детей, что есть все, в сущности, счастие, но отчего мне всегда делается грустно, как вчера, и я начинаю плакать. Я пишу с радостным волнением, что никто не прочтет это, и потому нынче я искренна и не пишу для Левочки. Он уехал, он бывает теперь со мной мало. Но когда я *молода,* я рада не быть с ним, я боюсь быть глупа и раздражительна. Дуняша[1] говорит: граф постарел. Правда ли это? Он никогда теперь не бывает весел, часто я раздражаю его, писание его занимает, но не радует. Неужели навсегда пропала в нем всякая способность радоваться и веселиться? Он говорит жить в Москве на будущую зиму. Ему, верно, будет веселей, и я буду стараться, чтоб мы жили. Я ему никогда не признавалась, правда, что даже с мужем, с Левочкой, и то можно хитрить невольно, чтоб не показать себя в дурном свете. Я не признавалась, что я мелочно-тщеславна, даже завистлива. Когда я буду в Москве, мне будет стыдно, если у меня не будет кареты, лошадей, лакея в ливрее, платья хорошего, квартиры хорошей, вообще всего. Левочка удивительный, ему все, все равно; это ужасная мудрость и даже добродетель.

Дети — это мое самое большое счастие. Когда я одна, я делаюсь гадка сама себе, а дети возбуждают во мне всевозможные лучшие чувства. Вчера я молилась над Таней, а я теперь совсем забыла, как и зачем молиться. С детьми я уже *не молода,* мне спокойно и хорошо.

6 марта. Сережа болен. Вся я как во сне. Только впечатления. Лучше, хуже, это все, что я понимаю. Левочка молодой, бодрый, с силой воли, занимается и независи-

мый. Чувствую, что он — жизнь, сила; а я только червяк, который ползает и точит его. Боюсь быть слабой. Нервы плохи после болезни и стыдно. С Левочкой последний *надрез* чувствуется сильно. Жду, сама виновата, и боюсь ждать; ну как никогда не воротится его нежность ко мне. Во мне благоговение к нему, но сама так низко упала, что сама чувствую, как иногда хочется придраться к его слабости. Мне так все странно весь вечер. Он пошел гулять, я одна, и тихо все было. Дети спали, лежанка топится, тут наверху так чисто, пусто и так некстати цветы нарядные, яркие, и сильный запах померанцевого дерева, и страшно звука собственных шагов и дыхания даже. Левочка пришел, и все на минуту стало весело и легко. От него запахло свежим воздухом, и сам он мне делает впечатление свежего воздуха.

8 марта. Все стало веселее, лучше. Сережа поправляется, болезнь прошла. Лева очень хорош, весел, но ко мне холоден и равнодушен. Боюсь сказать *не любит.* Это меня постоянно мучает, и оттого нерешительность и робость в отношениях с ним. Эти дни горя и болезни Сережи я была в ужасном духе. Несчастие не смиряет меня, и это дурно. Приходили ужасные мысли, в которых признаться страшно и стыдно. Видя, что Левочка так ко мне холоден и так часто стал уходить из дому, я стала думать, не ходит ли он к А.[2]. Это до того меня мучило целый день, но Сережа отвлекал меня, а теперь как подумаю, сделается ужасно стыдно. Пора бы его знать. Разве могло бы быть это спокойствие, и непринужденность, и искренность. Как ни рассуждай, а пока мы и она тут, всякое дурное расположение духа, всякая холодность со стороны Левы, все это наводит на эту мучительную мысль. Ну а как вдруг воротится и скажет... я ужасно вру, мне и совестно, и сочла своею обязанностью признаться в дурной мысли, которая хотя и очень смутно и далеко, но пришла мне в голову.

9 марта. Все та же холодность со стороны Левочки. У меня насморк, я гадка, жалка. Целый день молчу, как будто хочу разучиться говорить, все копаюсь в своих мыслях, любуюсь и чувствую природу, приближающуюся весну,— только через окошко. У детей все еще насморк и кашель, Сережа страшно худ, жалок. К детям у меня такая нежность, что я удерживаюсь даже от нее и боюсь

пошлого выражения ее. Левочка совсем уничтожает меня своим полным равнодушием и отсутствием всякого участия в том, что касается меня. Он только требует участие в своих интересах, которые, впрочем, и без того всегда мне дороги и милы. Я чувствую себя спокойной и даже кроткой. Это бывает во мне редко. Мысли о моих московских постоянно меня занимают. Левочка не знает этого чувства к родителям. Мне ужасно хочется их видеть. Мне всегда кажется, когда я заговорю о поездке в Москву, что Лева смотрит на это неприязненно. Он старается отыскать в этом выгоду себе, а желанья сделать что-нибудь для моего удовольствия в нем уже нет ни капли. Я думаю сейчас, эгоистка ли я, и, кажется, нет. Я бы для Левочки сделала все на свете. Он говорил, что я слабохарактерна. Это, может быть, к лучшему. Я способна, если придется, склоняться перед всякими обстоятельствами и ничего не хотеть. Но я теперь много работаю, чтобы не быть слабохарактерной. Левочка на охоте, я все утро переписывала. Приезда тетеньки я желаю, потому что люблю ее [3], а жалко, что испортится мое одиночество, в котором я привыкла жить, которое полюбила и в котором я только и бываю совершенно искренна и свободна. Левочку я боюсь. Он так стал часто замечать все, что во мне дурно. Я начинаю думать, что во мне очень мало хорошего.

10 марта. У Левочки голова болит, поехал верхом в Ясенки. Я тоже все нездорова. Дети ужасно жалки в насморке и кашле. Не знаю, какая сила может исправить Сережу. Он так худ, ничего не ест, скучает, и вечный, вечный понос. От тетеньки сейчас получила письмо, она очень тронута моим письмом [4], сама кашляет, больна. К Машеньке у меня тихая ненависть, как говорит Левочка. К детям ее отличное чувство немного покровительственной, но очень искренней любви [5]. Левочка нынче стал ласковее. Он целовал меня, а этого давно не было. Я переписываю ему и рада, что полезна чем-нибудь.

14 марта. Все эти дни ужасная головная боль, только вечером бодра, все хочется сделать, всем пользоваться. Левочка играет прелюды Chopin. Он очень хорош духом, но ко мне все холодность, не то. Дети меня поглощают всю. Они оба в поносе. Это меня просто может доводить до отчаяния. Дьяков был, все тот же неумолкаемый соло-

вей, как говорит Таня. Я его люблю, мне с ним просто, и он симпатичный. Весны нет, все холод, зима, и для меня это важно и в отношении моральном и в отношении здоровья детей. Жду весны, как какой-нибудь благодати, а нынешний год весна опоздает. Левочка стал часто порываться в Тулу, стала являться потребность видеть больше людей. У меня иногда тоже,— но не людей вообще, а Таню, Зефиротов [6], мама́, папа́.

15 марта. Левочка уехал в Тулу; я рада. У Сережи ребенок умирает, и мне ужасно жаль. Голова нынче болит меньше, и я очень бодра, сильна. Дети все еще не совсем хороши, но немного лучше. Солнце на минуту проглянуло и подействовало на меня, как звуки вальса на 16-летнюю девочку. Хочется гулять, хочется весны, природы, лета. Давно нет писем от моих. Что-то моя хорошенькая, поэтическая Таня? С Левочкой опять хорошо и просто. Он как-то сказал, я такой был дурной эти дни... Я люблю его ужасно. С ним невозможно сделаться гадкой. Своим знанием себя и признанием во всем он унижает меня и заставляет тоже доискиваться до самого малейшего дурного в самой себе.

16 марта. Голова болит ужасно, дети в неопределенном состоянии, Сережа нынче горел, и я ничего не понимаю, что с ним. Левочка как встал, все вне дома. Где он? Что он? От Тани вчера получила письмо и *ее пожитки*. Мне стало весело, что я скоро увижу ее, и с такой радостью, с какой видишь родственника, я увидала ее вещи, в которых есть и мои девичьи вещицы. У Сережи умер сын [7]. Я плакала нынче утром, мне ужасно жаль. Головная боль мешает что-нибудь делать. Это несносный тик.

20 марта. У меня второй день по утрам лихорадка и ужасная боль в голове. Перед Левочкой чувствую себя как чумная собака. Но я не мешаю ему, потому что он сам не обращает на меня внимания. Мне больно, я пропала для него. А во мне все то же старое, ревнивое, сильное чувство к нему. Я избаловалась. Нынче опять спохватилась, читая критику на «Казаков» [8] и вспоминая роман, что я — граница всему, а жизнь, любовь, молодость, все это было для казачек и других женщин. Дети ужасно меня привязали к себе. Я вся отдалась детям. Чувствую, что им я необходима, и это большое счастие. Когда Таня

лежит у груди или Сережа обоймет меня крепко ручками, нет во мне ни ревности, ни горя, ни сожаления о чем-нибудь, ни желаний, ничего. Теперь они больны оба, и ничто меня не радует. Погода чудная, весенняя, но никогда не суждено мне вполне пользоваться природой. Левочкой любуюсь,— он весел, силен умом и здоровьем. Ужасное чувство видеть себя униженной. Мои все ресурсы орудия, чтоб стать с ним наравне,— это дети, энергия, молодость и здоровая, хорошая жена. Теперь я для него — чумная собака.

23 марта. Лихорадка прошла, а с ней и мое нравственно дурное расположение. Тик мучает ужасно. Дети все нездоровы. Левочка поехал к доктору в Тулу. С ним мы очень хороши. Опять мне легко, хорошо с ним, и нет ни сомнений в его любви, ни ревности — ничего. Погода прелестная, ручейки, весна — а я взаперти. Левочка очень занят скотным двором, а роман покуда пишется без особенного увлечения [9]. Все у него мысли, мысли, а когда напишутся они? Он иногда рассказывает мне свои авторские мысли и планы, и я всегда этому ужасно рада. И я понимаю его всегда. Но к чему это ведет? Я не напишу их.

26 марта. Как будто в припадке порядка убирала все — такое чувство испытываю, когда вечером уложу спать Сережу и Таню. Они оба почти здоровы. Таня делается мне страшна, я очень к ней привязалась, а вечное несчастие почти всех людей — страх смерти — стал меня часто тревожить. Левочка в желчном расположении духа, и я невольно иногда раздражаюсь им. Нынче вдруг пришла ужасная мысль, что он так мало мной дорожит, так привык к моей привязанности и любви к нему, а вдруг я бы почувствовала охлаждение к нему, что бы он? Это невозможно, оттого я легко говорю об этом и оттого он всегда будет мало дорожить мной. Сережа был у нас эти дни. Он жалок очень, и я его очень начинаю любить. Мне с ним просто и хорошо. Весна пасмурная, скучная; опять начинается во мне пробуждаться детское чувство *праздников*. Завтра вербная суббота, я ее так любила дома. А потом святая, которая ничем решительно не отличится от простого великопостного, будничного дня. Но теперь я спокойнее, а прежде я плакала. Сережа говорит вчера: «Только и хороши соловьи, луна, любовь, музыка». Мы

с ним говорили об этом, и мне было с ним не стыдно говорить, а Левочка всегда на меня смотрит, как будто хочет сказать: «Какое право имеешь ты рассуждать об этом, ты ничего не можешь чувствовать». И действительно, иногда не смеешь что-нибудь чувствовать. Левочка поэтически любит жить и наслаждаться один; может быть, оттого, что в нем поэзия слишком хороша и слишком ее много и он дорожит ею. Это и меня приучило жить своей отдельной, маленькой жизнью души. Он что-то пишет, я слышу, верно тоже дневник. Я его уже почти не читаю. Как только читаешь друг у друга, так делаешься неискренен. А я последнее время во всем так стала искренна, что мне стало хорошо и легко жить на свете. Потом он пишет все мысли о романе и вообще *умно*[10], и мне страшна перед ним моя пустота и ничтожество.

1 апреля. Левочка в Туле, а мне скучно и какое-то тяжелое чувство отчаяния, потому что Левочка все жалуется на странное состояние здоровья, приливы крови, дурное пищеварение, шум в ухе. Все это меня ужасно пугает, и теперь в одиночестве, при чудной, ясной, теплой погоде, при весне, одной, мне все еще чувствительнее и страшнее. Дети почти здоровы, я их обоих поодиночке сама выносила гулять. Таня в первый раз в своей шестимесячной жизни увидала свет божий. Я весь день ничего не делала, потому что убегала сама от своих черных мыслей. Он говорит, половины жизни нет от дурного физического состояния. А жизнь его так необходима. Я люблю его ужасно, мне досадно, что я для него мало могу сделать, чтоб ему было вполне хорошо. Нет во мне ни малейшего чувства дурного в отношении к нему, только любовь самая сильная и самая страшная для меня.

3 мая. Дурная весна, приезд Тани, тяга, охота, верховая езда. Со всеми хорошие отношения, все здоровы. Нынче все опрокинулось. С Левой ссорилась, я зла, не кротка, я исправлюсь. Дети больны. На Таню сердита, она втирается слишком в жизнь Левочки. В Никольское, на охоту, верхом, пешком. Вчера прорвалась в первый раз ревность. Нынче от нее больно. Я ей уступаю лошадь и считаю это хорошо с моей стороны; к себе всегда снисходителен слишком. Они на тяге в лесу, одни. Мне приходит в голову бог знает что.

9 июня. Третьего дня все решилось у Тани с Сережей. Они женятся. Весело на них смотреть, а на ее счастие я радуюсь больше, чем когда-то радовалась своему. Они в аллеях в саду, я играла роль какой-то покровительницы, что самой было и весело и досадно. Сережа стал мил мне за Таню, да и все это чудесно. Свадьба через 20 дней или больше [11]. Что еще будет? Давно любит она, ужасно мила, и чудный у ней характер, и я рада, что мы будем еще ближе. Погода скверная, Лева и Таня в простуде, Сережа с Гришей и Келлером уехали в Пирогово [12]. Что-то пасмурно и тоскливо с нынешнего утра. Вообще ждать чего-нибудь скучно и тяжело. Я бы уж скорей хотела видеть их вместе и счастливыми. Мы поедем скоро в Никольское, там и свадьба будет; нынче читала ее старый журнал. Все ее прошедшие страдания, все горе так трудно было читать, что я все останавливалась и мне плакать хотелось, а она думала, что я не хочу читать и мне скучно. Лева что-то не очень весел, дети милы, развиваются.

12 июля, Никольское. Ничего не сделалось. Сережа обманул Таню [13]. Он поступил как самый подлый человек. Вот уже скоро месяц постоянного горя, тяжелого чувства, глядя на Таню. Это милое, поэтическое, талантливое существо, и пропадает. Признаки чахотки меня мучают ужасно. Никогда не в состоянии буду описать в своем журнале всю эту грустную историю. Озлоблению моему к Сереже нет границ. Все, что я буду в состоянии мстить ему, я буду стараться. Таня поступала все время удивительно хорошо. Она его очень любила, а он обманывал, что любил. Цыганка была дороже. Но Маша хорошая женщина, ее жалко, и я ничего не имею против нее. Но он отвратителен. Погодите, погодите, говорил он, и все это только с намерением водить за нос Таню и забавляться ее чувством к нему. Довел ее до того, что она с сожалением к Маше и детям ее, с чувством своего достоинства, а главное, с сожалением и любовью к нему сама отказала ему. А были уже 12 дней жених и невеста, целовались, и он ее уверял и говорил ей пошлости и строил планы. Кругом подлец. И всем скажу это, и пусть дети мои это знают и не поступают, как он, когда узнают эту историю [14]. А дома у меня моя собственно семейная жизнь такая славная, тихая, счастливая. За что мне такое счастие? Дети были здоровы; Лева тоже, и мы были так дружны, а кругом чудесная, летняя, жаркая погода и

природа, и все и всё так хорошо. Если б только не было замешано в нашу мирную, честную жизнь это подлое и несчастное дело Сережи. Мы тут, в Никольском, уже с 28 июня, дня рождения Сережи. У нас уже были и Дьяковы, и Машенька с девочками [15], и вчера опять милый Дьяков, который много рассеял Таню. Утром в первый раз приезжал сосед наш Волков. Робкий, приятный, спокойный, белокурый, курносый. Мне понравился — ничего. А тут все впечатления: река, купанье, горы, жара, спокойствие души, красные ягоды и горе Тани. А утешение дети и любимый, милый Левочка в хорошем, поэтическом духе. Мне хорошо, надолго ли?

16 июля. Поссорилась с няней [16], непростительно, совестно и мучает, она хорошая. Старалась загладить, почти извинялась, а с ними нельзя расчувствоваться, не поймут. У нас Феты, они хорошие, он немного напыщенный, а она слишком проста, но очень добра. Таня бедная меня страшно беспокоит. То же отупление и все страх чахотки. Таня маленькая больна была, я боялась и очень тревожилась о ней, теперь лучше. А милая, живая, и глазки и улыбка прелесть. Сережа стал капризничать часто, верно от болезни, но характер добрый и милый. Гроза меня нынче пугала. Лева читает военные сцены в романе; я не люблю этого места в романе.

Зачем я с няней ссорилась? Я похожа на мама́, и мне нынче страшно стало найти в себе черты, похожие на нее и которые мне в ней были не совсем приятны. А именно, что я хорошая женщина, и за это все должны прощать мои слабости. А я хочу быть хорошей и видеть все свои недостатки, и пусть никто, а главное, пусть я сама себе ничего не прощаю. Так и будет.

26 октября. Весело браться за свой журнал, оттого верно, что себя любишь — свою внутреннюю жизнь. А отчего общее правило, что мужья, прежде влюбленные, делаются с годами холодны? Я нынче открыла, что оттого, что всякая женщина только тогда *настоящая*, когда несколько лет замужем, и если из миллиона найдется одна, которая не изменится вследствие замужества и останется хорошая, милая, какая была, тогда муж ее, опять-таки если он хороший, и будет в нее влюблен всю жизнь. Я страшно изменилась, неужели я когда-нибудь притворялась? А я стала много, много хуже, и уже не

трогает меня холодность Левы, которую я знаю, что заслужила. Не трогает до слез и отчаяния, как бывало, потому что и в эти бывалые времена я еще была лучше, больше было мягкости и кротости. Теперь отчет жизни для будущего. Мы в Ясной с 12 октября. Таня осталась у Дьяковых. Здоровье ее плохо, впереди это ужасное горе потерять ее, и все стараюсь не думать. Лева был болен, теперь лучше; пишет. Дети хороши, девочку хочу отнимать, ужасно жаль, делается тоска. Лева приучил все приписывать физическому, это грустно, но я теперь почти все так и сужу. Тетенька[17] слаба, жалка. И с ней я слишком холодна. Неужели во мне нет ни капли нежности? Я, кажется, беременна, и не радуюсь. Все страшно, на все смотрю неприязненно. Желание какой-то власти, быть выше всех. Это трудно мне самой понять, но это так.

1866

12 марта. Прожили 6 недель в Москве, 7-го воротились[1], и опять в Ясной то же спокойное, немного грустное, но невозмутимое счастливое чувство. В Москве было хорошо, своих я так любила, и детей моих любили. Таня быстра, умна, мила и здорова. Сережа окреп, рассудителен, менее кроток, чем был, но добр. Я боюсь быть пристрастна к своим детям, но я ими очень довольна и счастлива. С Левой все было холодно, неловко, в Москве грубое обращение П. вследствие моего неумения вести себя с ним испортило наши отношения[2]. Мне и совестно, и гадко, но на душе ни одного пятнышка не было ни минуты в моей замужней жизни, и Лева меня судил слишком строго и резко. Но я и этому рада, он дорожит мной, и я теперь буду во сто раз осторожнее, это только будет приятно. А еще новый, небывалый еще *надрез,* и это страшно. Все больше хочется гнуться от своего ничтожества, и меньше остается прав на эту счастливую гордость и сознание собственного достоинства, без которого я бы жить не могла.

В Москве больше жили кремлевской жизнью. Утром присылали карету за детьми, уезжали к родителям на весь день. Лева ходил в скульптурный класс и на гимнастику[3]. Больше всех из знакомых видала Перфильевых, Башиловых, Горчакову, познакомились с Оболен-

ской. Была в концертах, очень полюбила классическую музыку. Вся жизнь шла хорошо, я все любила в Москве, даже нашу Дмитровку и нашу душную гостино-спальню и кабинет, где Лева лепил свою красную лошадь и где сидели, бывало, вдвоем вечера. Петя[4] — милое существо, я его очень полюбила. И теперь иногда вспомню о них, и так сердце сожмется, жалко, что не вижу.

22 марта. Молодые впечатления тем дороги, что их не ищешь и не сознаешь, а их слишком много, а теперь не то, все обдумаешь и все ищешь посерьезнее, подостойнее себя. Так хуже.

28 апреля. Люди женятся — думают, что вот беру такую-то девушку, с таким-то характером и проч., а не знают того, что все в ней изменится, что тут ломается целый большой механизм, и нельзя сказать: «я с ней счастлив», пока этот механизм не переломается и не перестроится совсем новый. А при этом не столько важен характер женщины, сколько все то, что будет иметь на нее влияние первое время замужества. Нашему счастью все завидуют, это наводит все меня на мысли, отчего мы счастливы и что это, собственно, значит.

9 июня. 22 мая неожиданно родился еще сын Илья. Я ждала в середине июня.

19 июля. У нас новый управляющий с женой[5]. Она молода, хороша, *нигилистка.* У ней с Левой длинные, оживленные разговоры о литературе, об убеждениях, вообще длинные, неуместные; мучительные для меня и лестные для нее разговоры. Он проповедовал, что в семью, в intimité *, не надо вводить постороннее, особенно красивое и молодое существо, а сам первый на это попадается. Я, конечно, не показываю и вида, что мне это неприятно, но уже в жизни моей теперь нет минуты спокойной. С рождения Илюши мы с ним живем по разным комнатам, и это не следует, потому, что будь мы вместе, я бы не выдержала и все ему бы высказала нынче же вечером, что во мне накипело, а теперь я не пойду к нему, и так же и с его стороны. В детях я так счастлива, столько они мне дают радости, что грешно требовать еще

* интимность (*франц.*).

большего счастия, испытавши это. Столько наслаждения в любви к ним. А жаль, что Левочка не помнит своих собственных правил. И зачем он нынче говорил о том, как муж побоится наделать неприятностей жене, если она безупречна. Как будто несчастие только тогда, когда муж уже *сделает* что-нибудь дурное. Уже несчастие равно велико, если муж хоть на минуту в глубине своей души усумнится в своей любви к жене. Напрасно Левочка так горячо ораторствует с Марией Ивановной. Теперь скоро час ночи, а я спать не могу. Точно предчувствие дурное, что будет эта управительская жена-нигилистка моей bête noire *.

22 июля. Нынче Лева ходил в тот дом под каким-то предлогом. Мария Ивановна мне это сказала, и еще разговаривал с ней под ее балконом. Зачем в дождь было ходить в тот дом? Она ему нравится, это очевидно, и это сводит меня с ума. Я желаю ей всевозможного зла, а с ней почему-то особенно ласкова. Скоро ли окажется негоден ее муж, и они уедут отсюда? А покуда ревность измучает меня. Со мной он холоден до крайности. У меня болят груди, я кормлю с страшной болью и страданиями. Нынче позвала Маврушу прикормить, чтобы дать груди поджить. Боли мои всегда действуют на него дурно в отношении ко мне. Он делается холоден, а к моим физическим страданиям прибавляются еще нравственные, гораздо больнее физических. Я сижу у себя запершись, а она в гостиной с детьми. Я ее просто не могу переносить. Мне досадно глядеть на ее красоту, оживленность, особенно в присутствии Левочки.

24 июля. Нынче Левочка опять был в том доме и вследствие этого пожалел ее, что ей скучно. Потом спросил меня, зачем я не позвала их обедать. Если б я могла, я никогда бы не пустила ее в дом. Эх, Левочка, сам не видит, как попадается. Боли грудей отнимают у меня много времени и счастия. Что ужаснее всего, это что я совсем отступилась от Левочки и он тем более от меня. Потом я взяла Маврушу прикармливать Илюшу, и он беспокоен, и мне горько, что он вместе с моим сосет чужое молоко. И бог знает когда заживут груди, так все идет плохо. У меня сердце радуется, когда Лева недово-

---

* злой гений (*франц.*).

леп хозяйством. Авось откажут управляющему, и я избавлюсь от этой мучительной ревности к Марии Ивановне. Его жаль, а ее я не люблю.

10 августа. Бывают дни, когда на душе так светло и хорошо, что хочется сделать что-нибудь такое, отчего бы все тебя полюбили и все удивлялись бы тебе. В противуположность тем несчастиям, о которых я слышала, я чувствую себя счастливой. Вчера рассказывал Бибиков ужасную историю. У нас в Ясенках расстреливали писаря-солдата за то, что он прибил в лицо ротного командира. Левочка был защитником, когда его судили гласным, полевым судом, но, конечно, защита была, к несчастию, только формой [6]. Нынче узнала о смерти маленького сына Constance [7], и так ее жалко было.

У нас все гости были. Княжны Горчаковы, в тот же день кн. Львов, симпатичный такой, и толстый Соллогуб с двумя подросточками — сыновьями. Он мне говорил, что я идеал жены писателя, что жена должна быть *нянькой таланта.* Я ему благодарна и постараюсь быть еще более нянькой таланта Левочки. Ревность к Марии Ивановне ослабла совсем, она была почти неосновательна. У нас все хорошо, просто, но немного холодно в наших отношениях с Левой. Дети мои так милы. Сережа стал мне говорить *ты.* Нынче огорчил меня, что с летом забыл азбуку, которую так хорошо знал зимой.

27 августа. Я люблю детей своих до страсти, до боли, всякое малейшее страдание приводит меня в отчаяние, всякая улыбочка, всякий взгляд радует до слез. Илюша нездоров, жду Дьяковых, Таню, Машеньку с девочками. Нынче переносились в новый дом, где они будут [8]. Кормить — это большой труд, и я часто слабею. Если б я меньше любила детей, было бы легче.

12 ноября. Лева в Москве, Таню повез [9]. Ее здоровье плохо, и это приводит меня в отчаяние. Я ее люблю ужасно, и чем безнадежнее ее здоровье, тем сильнее моя привязанность к ней. Она, вероятно, поедет с Дьяковыми в Италию [10]. Всю осень я как будто не видала ее дурного состояния. У нас было так весело эти три недели от начала сентября, что не хотелось инстинктивно думать о несчастии. Когда я долго не пишу журнал, мне жалко, что я не записываю свою счастливую жизнь. Эти три

недели у нас гостили Дьяковы, Машенька с девочками, Таня, и была такая между нами дружба, такие простые, дружеские, легкие и приятные отношения, что, я думаю, редко можно встретить что-нибудь подобное. Я так радостно вспоминаю и 17 сентября, с музыкой[11], которая меня так удивила и обрадовала за обедом, и при этом милое любящее выражение Левы, и этот вечер на террасе при свете фонарей и огарочков, и оживленные, молодые фигуры барышень в кисейных белых платьях, маленький добродушный Колокольцев, а главное, везде и надо всем оживленное, любимое лицо Левочки, который так старался и достигал того, что нам всем было так весело. Я сама удивлялась, что я, солидная, серьезная, танцевала с таким увлечением. Погода была такая чудная, и всем нам было так хорошо. Когда уехали все гости и Таня осталась у нас еще на месяц, ее дурное здоровье стало очевидно. Теперь, особенно без Левочки, я особенно горюю о ней, да и вообще так грустно и пусто без Левы. Мне кажется, нельзя теснее жить нравственно, как я живу с ним. Мы ужасно счастливы во всем. И в наших отношениях, и в детях, и в жизни. Теперь без него я живу особенно тесно с детьми, но они так малы. Теперь спят, потом едят, потом вечером опять спят, и все, что в них проявляется нравственно, я ловлю и пользуюсь. Теперь я все время и нынче переписываю (не читая прежде) роман Левы[12]. Это мне большое наслаждение. Я нравственно переживаю целый мир впечатлений, мыслей, переписывая роман Левы. Ничто на меня так не действует, как его мысли, его талант. И это сделалось недавно. Сама ли я переменилась или роман действительно очень хорош — уж этого я не знаю. Я пишу очень скоро и потому слежу за романом достаточно скоро, чтобы уловить весь интерес, и достаточно тихо, чтобы обдумать, прочувствовать и обсудить каждую его мысль. Мы часто с ним говорим о романе, и он почему-то (что составляет мою гордость) очень верит и слушает мои суждения.

1867

12 января. У меня страшное состояние растерянности, грустной поспешности, как будто скоро должно что-то кончиться. Кончится скоро многое, и так страшно. Дети все были больны, с англичанкой все невесело и неловко[1]. Все еще я смотрю на нее неприязненно. Говорят, что ког-

да скоро умрешь, то бываешь очень озабочен перед смертью. Я так озабочена и так все что-то спешу, и столько дела. Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет [2]. По-моему, его роман должен быть превосходен. Все, что он читает мне, почти до слез меня тоже волнует, и не знаю, оттого ли, что я жена его, то по сочувствию, или оттого, что действительно хорошо. Я думаю скорее — последнее. Нам, в семью, он приносит больше только les fatigues du travail *, со мной у него нетерпеливое раздражение, и я себя стала чувствовать последнее время очень одинокой.

15 марта. Вчера ночью, часов в 10, загорелись наши оранжереи и сгорели все дотла. Я уже спала, Лева разбудил меня, в окно я увидала яркое пламя. Левочка вытащил детей садовника и их имущество, я бегала на деревню за мужиками. Ничего не помогло, все эти растения, заведенные еще дедом и которые росли и радовали три поколенья,— все сгорело, осталось очень мало и то, вероятно, промерзшее и обгорелое. Ночью не было так жалко, а сегодня целый день у меня одна забота, чтоб не выдать себя и не допустить слезам капать из глаз. Тоска такая, а главное, ужасно Левочку жалко, он так на вид огорчен и так всякое малейшее его огорчение мне близко и тяжело. Он так любил и занимался последнее время растениями и цветами и радовался, что все растет заведенное им вновь. Ничем не воротишь и утешишься только с годами.

29 августа. Мы ссорились, ничего не прошло. «Виновата, что до сих пор не знала, что любит и может выносить муж». И все время ссоры, одно желание — как бы скорее и лучше все кончилось. И все хуже, хуже. Я ужасно колеблюсь, ищу правды, это мука — у меня не было ни одного дурного побуждения. Ревность, страх, что все кончено, пропало, вот что осталось теперь.

12 сентября. Правда, что все пропало. Такая осталась холодность и такая явная пустота, потеря чего-то, именно искренности и любви. Я это постоянно чувствую, боюсь оставаться одна, боюсь быть наедине с ним, иногда он начнет со мной говорить, а я вздрагиваю, мне кажется,

---

* усталость от работы *(франц.)*.

что сейчас он скажет мне, как я ему противна. И ничего, не сердится, не говорит со мной о наших отношениях, но и не любит. Я не думала, чтобы могло дойти до того, и не думала, чтобы мне это было так невыносимо и тяжело. Иногда на меня находит гордое озлобление, что и не надо, и не люби, если *меня* не умел любить, а главное, озлобление за то, что за что же я-то так сильно, унизительно и больно люблю. Мама́ часто хвалится, как ее любит так долго папа́. Это не она умела привязать, это он так умел любить. Это особенная способность. Что нужно, чтоб привязать? На это средств нет. Мне внушали, что надо быть честной, надо любить, надо быть хорошей женой и матерью. Это в азбучках написано — и все это пустяки. Надо *не* любить, надо быть хитрой, надо быть умной и надо уметь скрывать все, что есть дурного в характере, потому что без дурного еще не было и не будет людей. А любить, главное, не надо. Что я сделала тем, что так сильно любила, и что я могу сделать теперь своею любовью? Только самой больно и унизительно ужасно. И ему-то это кажется так глупо. «Ты говоришь все так, да не так делаешь». Я так храбрюсь и рассуждаю, а во мне ничего и нет больше, как глупой унизительной любви и дурного характера, что вместе сделало мое несчастье, потому что последнее мешало первому.

14 сентября. Все то же, и возможно ли, что все переносится, и даже я нынче решила себе, что и так можно жить; какая-то поэтическая, покорная жизнь без тревог, безо всего, что называется физической, материальной жизнью, с самыми святыми мыслями, с молитвами, тихой затоптанной любовью и постоянной мыслью о совершенствованье. И пусть никто, даже Левочка, не прикасается к этому моему внутреннему миру, пусть никто меня не любит, а я буду всех любить и буду сильнее и счастливее всех.

16 сентября. Невольно весь день думала о прошлогоднем завтрашнем 17 сентября[3]. Мне не веселья того нужно, не музыки, не танцев, сохрани бог, мне ничего этого не хочется — мне только нужно его желание, его радость сделать мне удовольствие, видеть меня веселой, как это было тогда; и если б он знал, как за это его побуждение я на всю жизнь осталась благодарна. Тогда мне так сильно казалось, что я счастлива, сильна, красива. Теперь также

сильно чувствую, что я нелюбима, ничтожна, дурна и слаба.

Нынче утром говорили о хозяйстве, как будто мы *одно*, так дружно и согласно, а мы теперь редко говорим о чем бы то ни было. Я вся живу в детях и в ничтожной самой себе. Сейчас Сережа подошел и спрашивает: «Что это вы книжку пишете?» А я ему ответила, что он, когда будет большой, прочтет ее. Что-то он подумает и как осудит меня? Неужели меня и дети любить не будут. А я так требую и так не умею приобретать чью бы то ни было любовь.

1868

31 июля. Смешно читать свой журнал. Какие противоречия, какая я будто несчастная женщина. А есть ли счастливее меня? Найдутся ли еще более счастливые, согласные супружества. Иногда останешься одна в комнате и засмеешься своей радости и перекрестишься: дай, бог, долго, долго так. Я пишу журнал всегда, когда мы ссоримся. И теперь бывают дни ссоры; но ссоры происходят от таких тонких, душевных причин, что если б не любили, то так бы и не ссорились. Скоро 6 лет я замужем. И только больше и больше любишь. Он часто говорит, что уж это не любовь, а мы так сжились, что друг без друга не можем быть. А я все так же беспокойно, и страстно, и ревниво, и поэтично люблю его, и его спокойствие иногда сердит меня.

Он уехал с Петей на охоту. Летом ему не пишется. Оттуда поедут в Никольское. Я больна, сижу почти весь день дома. Дети гуляют и только приходят кормиться на террасу. Илин чудо как мил. Таня вся поглощена Дашей и редко ходит ко мне и то на минутку. Кузминский что-то ни рыба ни мясо.

1870

5 июня. Сегодня 4-й день как я отняла Левушку [1]. Мне его было жаль почти больше всех других. Я его благословляла, и прощалась с ним, и плакала, и молилась. Это очень тяжело этот первый полный разрыв с своим ребенком. Должно быть, я опять беременна. С каждым ребенком все больше отказываешься от жизни для себя и смиряешься под гнетом забот, тревог, болезней и годов.

18 августа. Вчера ночью проводила Таню с детьми на Кавказ. В душе пусто, грустно и страх перед жизнью врозь от такого друга. Мы никогда с ней не расставались. Я чувствую, что у меня оторвана часть моей души, и нет возможности утешиться. Нет человека в мире, который бы мог меня оживить более, утешить во всяком горе, поднять, когда опустишься духом. Смотрю на все: на природу, на жизнь свою впереди, и все без Тани грустно, пусто, все мне представляется мертво и безнадежно. Я не найду слов выразить, что чувствую. Что-то во мне умерло, и я знаю это горе, которое не выплачешь сразу, а которое годами продолжается и отзывается при всяком воспоминании нестерпимой болью души [1]. Так отзывается во мне постоянное беспокойство о здоровье Левочки. Кумыс, который он пил два месяца, не поправил его; [2] болезнь в нем сидит; и я это не умом вижу, а вижу чувством по тому безучастию к жизни и всем ее интересам, которое у него появилось с прошлой зимы. И что-то пробежало между нами, какая-то тень, которая разъединила нас. Я чувствую, что если я не найду в себе сил подняться нравственно, т. е. утешиться отъездом Тани, приняться энергично заниматься детьми и наполнять свою жизнь, не унывая и не скучая, — он не поднимет меня; а чувствую я постоянно, как он меня тянет в то унылое, грустное и безнадежное состояние, в котором сам находится. Он не сознается в нем, но меня чувство никогда не обманывало. Я от этого более всех страдаю — и я не ошибаюсь.

С прошлой зимы, когда и Левочка и я, мы были оба так больны, что-то переломилось в нашей жизни. Я знаю, что во мне переломилась та твердая вера в счастье и жизнь, которая была. Я потеряла твердость, и теперь какой-то постоянный страх, что что-то случится. И случается действительно. Таня уехала. Левочка нездоров: это два существа, которые я люблю больше всего на свете. Они оба для меня пропали. Левочка потому, что совсем не тот, какой был. Он говорит: «старость», я говорю: «болезнь». Но это *что-то* нас стало разъединять.

Зима была счастливая, мы опять жили душа в душу, и здоровье Левочки было не дурно.

1 апреля. 30 марта Левочка вернулся из Москвы [1]. Дети приносят желтые и лиловые цветы.

Говела, приехала из Тулы по машине, потом на катках; снег только в овражках, грязь ужасная, тепло, ясно. Левочка вечером был на тяге, убил вальдшнепа, другого прислал Митрофан [2].

3 апреля. Все тепло; убил двух вальдшнепов. Отсылали корректуры «Азбуки» [3], сидели до 4-го часа ночи.

5 апреля. Опять убил вальдшнепа; перед обедом ходил с детьми к пчельнику гулять; брод не могли перейти; я вернулась и гуляла с Лелей около дома. Очень тепло, и ветер теплый.

6 апреля. Утро ясное и ветреное; потом гром и град крупный. У Левочки три предыдущие дня по вечерам озноб и все нездоровится.

8 апреля. Ночью была сильнейшая гроза и дождь. У Левочки все зябнет спина и все нездоровится. Духом он бодр, говорит, что работы ему на бесконечное число лет хватило бы [4]. Все зелено, листья стали распускаться, медуница цветет, трава уже высокая.

9 апреля. Точно лето.

12 апреля. Ходили на тягу с Илюшей в срубленный Заказ. Чудный, теплый, ясный вечер. Мы очень наслаждались. Луна полная всходила из-за деревьев.

16 апреля. Светлое воскресенье. Ночью — дождь, гроза. Утром завернул холод, пасмурно.

18 апреля. Ездил Л. с Бибиковым на тягу, убил 3-х в Засеке. Все холодно.

19 апреля. Всю ночь Левочка до рассвета смотрел на звезды.

20 апреля. Ездили с детьми и Варей за фиалками; все свежо, у меня что-то вроде лихорадки. Левочка здоров. Вечером приехал Варин жених [5].

21 апреля. Ездили за сморчками с детьми, Варей и Нагорновым. Набрали корзинку сморчков. Все не тепло. Левочка, Варя с женихом уехали на тягу. Солнце закатывалось, как ярко-красный огненный шар. Вечер теплый, тихий, 11° тепла. Липа почти развернулась, дуб еще не трогался, остальные деревья все распустились. Левочка утром принес букет из разных древесных веток и цветов.

23 апреля. Ночь холодная, утро тихое, ясное, свежее. Небо чисто, вчера Левочка говорил, что некоторые дубы начинают распускаться, липа кое-где совсем развернулась.

С 27 на 28 апреля. Левочка ночью поехал в Москву [6]. Маша [7] очень больна.

30 апреля. Жара невыносимая, и гроза ночь и день.

13 мая. Принес Левочка шиповник во всем цвету.

14 мая. Левочка, Степа [8] и Сережа поехали в Никольское.

15 мая. Мы купались, и варили кофе, и брали грибы в березнике нашем. Жара.

С 16 на 17 мая. Вернулись из Никольского; холод и пасмурно.

18 мая. Ханна ездила в Тулу за игрушками детям. Мы ездили за грибами; нас застал маленький дождь, и мы озябли. Левочка вчера очень расстроился, что не шлют корректуры, и написал в Москву, чтоб отобрать оригинал у Риса [9]. Сегодня писал Ливену о Саше [10]. На акациях большие стручья. Сухо, и ветер, и холодно.

20 мая. Жара ужасная. Левочка с Илюшей ездил в Тулу по машине. Я с детьми купалась. Шиповник весь осыпался, из саду продали вчера сено.

13 февраля. Левочка уехал в Москву[1], и без него сегодня весь день сижу в тоске, с остановившимися глазами, с мыслями в голове, которые меня мутят, мучают и не дают мне покоя. И всегда в этом состоянии умственной тревоги берешься за журнал. В него выльешь все свое настроение и отрезвишься. А настроение мое грешное, глупое, не честное и тяжелое. Что бы я была без этой постоянной опоры честной, любимой всеми силами, с самыми лучшими и ясными взглядами на все? И вдруг иногда заглянешь в свою душу во время тревоги и спросишь себя: чего же надо? И ответишь с ужасом: надо веселья, надо пустой болтовни, надо нарядов, надо нравиться, надо, чтоб говорили, что я красива, надо, чтоб все это видел и слышал Левочка, надо, чтоб он тоже иногда выходил из своей сосредоточенной жизни, которая и его иногда тяготит, и вместе со мною пожил той жизнью, которой живут так много обыкновенных людей. И с криком в душе отрекаюсь я от всего, чем и меня, как Еву, соблазняет дьявол, и только еще хуже кажусь я сама себе, чем когда-либо. Я ненавижу тех людей, которые мне говорят, что я красива; я этого никогда не думала, а теперь уж поздно. И к чему бы и повела красота, к чему бы она мне была нужна? Мой милый, маленький Петя[2] любит свою старую няню так же, как и любил бы красавицу. Левочка привык бы к самому безобразному лицу, лишь бы жена его была тиха, покорна и жила бы той жизнью, какую он для нее избрал. Мне хочется всю себя вывернуть самой себе и уличить во всем, что гадко, и подло, и фальшиво во мне. Я сегодня хочу завиваться и с радостью думаю, что хорошо ли это будет, хотя никто меня не увидит, и мне этого и не нужно. Меня радуют бантики, мне хочется кожаный новый пояс, и теперь, когда я это написала, мне хочется плакать...

Наверху дети сидят и ждут, чтобы я их учила музыке, а я пишу весь этот вздор в кабинете внизу.

Сегодня мы катались на коньках; были у мальчиков столкновения с Федором Федоровичем;[3] мне было их жалко, и я с трудом устроила так, чтоб Федор Федорович не обиделся и чтоб дети утешились. Новая англичанка.

приехавшая третьего дня утром, мне не вполне симпатична; она слишком commune* и вяла[4]. Но еще нельзя ее узнать, что будет?

17 апреля. Снег шел все утро, 5° тепла, ни травы, ни тепла, ни солнца, ни той весенней, светлой и грустной радости, которую так долго ждешь. Так же, как в природе, так и в моей душе холодно, мрачно и грустно. Левочка пишет свой роман, и идет дело хорошо.

11 ноября. 9 ноября, в 9 часов утра, умер мой маленький Петюшка болезнью горла. Болел он двое суток, умер тихо. Кормила его год и два с половиной месяца, жил он с 13 июня 1872 года. Был здоровый, светлый, веселый мальчик. Милый мой, я его слишком любила, и теперь пустота, вчера его хоронили. И не могу я соединить его живого с ним же мертвым; и то и другое мне близко, но как различно это живое, светлое, любящее существо и это мертвое, спокойное, серьезное и холодное. Он был очень ко мне привязан, жалко ли ему было, что я останусь, а он должен меня оставить? [5]

1874

17 февраля. Сколько ни думаю о будущем — нет его. И только зазеленеет трава над Петиной ямкой, как ее взроют для меня; это мое постоянное мрачное предчувствие.

1875

12 октября. Слишком уединенная деревенская жизнь мне делается наконец несносна. Унылая апатия, равнодушие ко всему, и нынче, завтра, месяцы, годы — все то же и то же. Проснешься утром и не встаешь. Что меня поднимет, что ждет меня? Я знаю, придет повар, потом няня будет жаловаться, что люди недовольны едой и что сахару нет, надо послать, потом я с болью правого плеча сяду молча вышивать дырочки, потом ученье грамматики и гамм, что я делаю хотя с удовольствием, но с грустным сознанием, что делаю не хорошо, не так, как бы хотела.

* вульгарна *(франц.)*.

Потом вечером то же вышиванье дырочек и вечное, неизвестное для меня раскладыванье пасьянсов тетеньки[1] с Левочкой. Чтенье доставляет короткое удовольствие — но много ли хороших книг? Во сне иногда, как нынче, живешь. Именно живешь, а не дремлешь. То я иду в какую-то церковь ко всенощной и молюсь, как я никогда не молюсь наяву, то я вижу чудесные картинные галереи, то где-то чудесные цветы, то толпу людей, которых я не ненавижу и не чуждаюсь, а всем сочувствую и люблю.

Видит бог, как я нынешний год боролась с этой постыдной скукой, как я одна, в душе, поднимала в себе все хорошее и вооружалась, главное, мыслью, что для детей, для их нравственного и физического здоровья самое лучшее — деревенская жизнь, и мне удавалось утишать свои личные, эгоистические чувства, но я к ужасу своему вижу, что это переходит в такую страшную апатию и такое животное, тупое равнодушие ко всему, что это пугает меня больше всего и против этого бороться еще труднее. И потом я не одна: я тесно и все теснее с годами связана с Левочкой, и я чувствую, что он меня втягивает, главное он, в это тоскливое, апатичное состояние. Мне больно, я не могу видеть его таким, какой он теперь. Унылый, опущенный, сидит без дела, без труда, без энергии, без радости целыми днями и неделями и как будто помирился с этим состоянием. Это какая-то нравственная смерть, а я не хочу ее в нем, и он сам *так* долго жить не может[2]. Может быть, взгляд мой пошл и неверен. Но мне кажется, что обстановка жизни нашей, обстановка, которую сделал он, потому что мне она тяжела,— т. е. это страшное уединение и однообразие жизни способствуют этой нашей взаимной апатии. А когда я думаю о будущем, о выросших детях, о их жизни, о том, что у них будут разные потребности, что их всех надо воспитать, и потом подумаю о Левочке, то я вижу, что он с своей апатией и равнодушием мне не помощник, он к сердцу ничего не может принимать, и вся внутренняя, душевная ответственность, все страдания в неудачах детей — все ляжет на мне, а *как* я одна сумею вынести все и помочь детям, особенно с этой тоскою видеть в Левочке, что все потухло и ничто его не поднимет. Если бы люди не надеялись — жить бы нельзя, и я надеюсь, что бог еще раз вложит в Левочку тот огонь, которым он жил и будет жить.

15 сентября. Настало уединение, и вот я опять с моим безмолвным собеседником — журналом. Хочу добросовестно и ежедневно писать журнал. Левочка уехал в Самару и проехал в Оренбург, куда ему очень хотелось. Из Оренбурга получила от него телеграмму[1]. Я очень тоскую и еще больше беспокоюсь. Хочу убедить себя, что я рада, что он себе доставил удовольствие, но неправда, я не рада, я даже оскорбляюсь, что он среди прелестного времени нашей обоюдной любви и дружбы,— как было все это последнее время,— мог оторваться добровольно от меня и нашего счастья и наказать меня мучительной, двухнедельной тревогой и грустью.

Взялась, с энергией и очень сильным желанием делать хорошо, за учение детей. Но, боже мой, как я нетерпелива, как я сержусь, кричу, и сегодня, огорченная до последней степени плохим сочинением Сережи о Волге, его орфографическими ошибками и ленью Ильи, я под конец класса разразилась слезами. Дети удивились, но Сереже стало меня жалко; меня это тронуло; он все потом ходил около меня, был тих и внимателен. Отношения с Таней недружелюбны. Как грустно, что с детьми вечная борьба. Мыслей дурных у меня нет, хотелось бы только больше движения и свободы. Я страшно устаю; здоровье плохо, дыханье трудно, желудок расстроен и болит. От холода точно страдаю и вся сжимаюсь.

17 сентября. Мои именины. Еще один день прошел, но нет ни Левочки, ни известий о нем. Утром встала ленивая, полубольная, озабоченная будничными интересами. Дети с Степой[2] пошли змей пускать, прибегали оживленные, красные меня звать. Я не пошла. Велела принести из ружейного шкапа все Левочкины бумаги и вся ушла в мир литературных его произведений и дневников. Я с волнением переживала целый ряд впечатлений. Но я не могу писать задуманной мной его биографии, потому что не могу быть беспристрастна. Я жадно отыскиваю все страницы дневника, где какая-нибудь любовь, и мучаю себя ревностью, и это мне все затемняет и путает. Но попытаюсь[3]. Боюсь за свое дурное, недоброжелательное

чувство к Левочке, за то, что он уехал, я так его любила перед его отъездом, а теперь все упрекаю ему в душе, что доставил мне столько тревоги и горя. Странно это сообразить, что он боится моей болезни и сам своим отъездом в худшую пору моего здоровья мучает меня. Теперь я от тревоги не сплю ни одной ночи, не ем почти ничего, глотаю слезы или украдкой плачу несколько раз в день от беспокойства. У меня всякий день лихорадочное состояние, а теперь по вечерам дрожь, нервное возбуждение и точно голова треснуть хочет. Чего я не передумала в эти две недели. С детьми нынче было хорошо; я боюсь, что злоупотребляю тем, что возбуждаю часто их жалость ко мне. Так радостно видеть их заботливость. Таня делается красива; очень меня смущает своей детской влюбленностью в скрипача Ипполита Нагорнова [4]. После завтрака не учила их; вдруг точно упала во мне энергия, и я не могла ничего делать. Боже мой, помоги мне держаться, может быть, еще несколько дней; все думаю: «За что, за что я наказана, за то, что так любила». И теперь надорвалось это счастье, я озлоблена за то, что опять подавлены и мой хороший порыв любви, и наслажденье счастьем.

18 сентября. Получила сегодня телеграмму из Сызрани. Послезавтра утром приедет [5]. И вдруг сегодня все стало весело, и детей учить легко, и в доме все так светло, хорошо, и дети милы. Но грудь болит, неужели я буду больна, сегодня до слез было обидно и страшно за наше общее спокойствие. Но говорить много мучительно больно было, когда учила детей и толковала. Нет дыханья свободного. Вечером дети пришли снизу от уроков m. Rey все не в духе; [6] оказалось, что все шалили в классе и всем двойки за поведенье. Я стала говорить, что Сережа себя дурно ведет и я его на охоту не пущу; что, может быть, он исправится, если его накажут. Сережа вдруг вспыхнул и говорит: «au contraire» *. Мне это было очень больно. Но он, прощаясь, спросил, сержусь ли я на него, и я была этому рада и простила его. Степа очень мил и мне помогает усердно; учит детей, заставляет их повторять уроки. Когда вспомню, что послезавтра Левочка приедет, так и прыгнет сердце, точно свет в дом внесет.

* наоборот (*франц.*).

1877

27 февраля. Сегодня, перечитывая дневники старые Левочки, я убедилась, что не могу писать «материалов к биографии», как хотела [1]. Жизнь его внутренняя так сложна, чтение дневников его так волнует меня, что я путаюсь и в мыслях и в чувствах и не могу на все смотреть разумно. Жаль оставить мечту свою. Могу записывать нашу теперешнюю жизнь и все слова и рассказы его об умственной его деятельности и в этом постараюсь быть добросовестна и не ленива. Он в Москве, поехал держать корректуры к февральской книге [2] и видеть Захарьина, чтоб посоветоваться о головных болях и приливу к мозгу [3].

Когда я просила на днях Левочку что-то рассказать мне о его прошлой жизни, он сказал мне: «Ах, не спрашивай меня, пожалуйста, меня слишком волнуют воспоминания, и я стар уж, чтоб переживать в воспоминаниях всю свою жизнь».

1878

21 сентября. Был у нас Николенька Толстой. Делали планы ехать в Москву с ним и его молодой будущей женой [1]. Это *звездочка.*

22 сентября. Левочка с Илюшей ездили с борзыми на охоту, привезли 6 зайцев. Андрюше привили оспу.

23 сентября. Свадебный день, 16 лет. Учила детей по-немецки, очень хорошо, погода тихая, теплая и ясная. Андрюша очень радует.

24 сентября. Воскресенье. Встала поздно. Левочка ездил к обедне; [2] пили кофе втроем: Левочка, Машенька (сестра) и я. После завтрака дети пошли в Ясенки пешком. Машенька уехала в Тулу с Ульянинским — гимназистом, греческим и латинским учителем Сережи; Левочка с Сережей пошли с ружьями и гончими на охоту. Я осталась кроить мальчикам куртки. Потом я поехала с Машей и Анни [3] в катках к детям в Ясенки. Перед отъездом моим приехал кн. Урусов [4], который тоже с

ружьем пошел отыскивать наших охотников. В Ясенках нашла детей в лавочке, они покупали и ели сладости. К обеду все собрались. После обеда сыграли в сумерках игру в крокет. Левочка, Илюша и я, — m. Nief, Леля и Урусов; они выиграли. Левочка и Урусов играли вечер в шахматы, дети ели сладкое и были в распущенном духе: я читала «Journal d'une femme» Octave Feuillet [5]. Очень хорошо и идеально. Конец не натурален. Но это все написано как будто с намерением в контраст новейшей, слишком реальной литературе. 12 час. ночи, Левочка ужинает, сейчас идем спать.

25 сентября. Утром учила детей, к обеду приехала Машенька, привезла с собой Антона, Россу и Надю Дельвиг. Дети пришли в восторг. После обеда танцевали 1 кадриль, и я с Лелей, чтоб порядок держать; играли нам Левочка с Александром Григорьевичем; [6] потом Машенька играла на фортепьяно, Александр Григорьевич на скрипке, шло довольно хорошо. Играли прелестную сонату Моцарта, Andante которой во мне всегда душу переворачивает. Левочка потом играл Вебера сонаты. Но тут скрипка Александра Григорьевича мне показалась уж очень плоха сравнительно с Нагорновым. Последнюю играли Бетховена «Крейцеровскую сонату»; шло плохо, но соната — *чтó* должно это быть, хорошо сыгранное!

Потом дети и я с ними играли в карты, в судьбу. Росса проста и мила, но слишком некрасива. Ночевали все у нас.

На другой день, 26 сентября. Встала с головной болью. Левочка уехал с Антоном к обедне. Остальная компания играла очень весело в крокет. Дни стоят ясные; все пожелтело, но листья держатся, и красиво все очень. Ночи морозные и лунные. После завтрака играли опять в крокет: Росса, я, Антон и Сережа. Левочка детей уговорил идти с борзыми по полям. Всякий из них взял на свору свою собаку, охотник с верховой лошадью и тоже с сворой, и все пошли с Анни, m-lle Gachet и m-r Nief'ом. Картина была очень красивая. Когда кончили крокет и остальные пошли в поле, а я ушла к Василию Ивановичу [7]. Мне было очень у них неловко и грустно в этот раз. Туда же пришел и возвратившийся Сережа и удивился, увидав меня. Сережа любит Василия Ивановича и никог-

да его не забывает, и мне это приятно. Левочка ходил тоже на охоту и убил в молодой посадке березовой тетерьку. Дети играли до обеда в крокет, а я следила. Сейчас после обеда Дельвиги уехали, дети все столпились в Левочкиной гостиной, болтали, смеялись с нами и играли руками в колотушки. Легли спать рано.

27 сентября. Все ясно и сухо. Много кроила, шила, учила Лизу [8] по-французски, Машу, Таню — по-немецки. В духе хозяйственном и аккуратном. Андрюше в пятницу привили оспу, и он нездоров и беспокоен, а у меня болят соски. Левочка был за Засекой с борзыми и ничего даже не видал; занятия его еще не идут, и у него болит спина. Машенька что-то не в духе, зябнет и недовольна.

1 октября. (Воскресенье, Покров.) Утром Левочка уехал к обедне. Сережа брал греческо-латинский урок у Ульянинского, я долго спала, потому что оспа очень тревожит Андрюшу и он не спит ночи; дети все с утра нарядились и ждали моего вставанья с волненьем, потому что погода нахмурилась, а они собирались к Дельвиг. Но было тепло, и я их отпустила. Все четверо с m-lle Gachet поехали. Приехал Урусов, пошли с m-r Nief и Левочкой за вальдшнепами. Машенька больна, сидела внизу и лечилась гомеопатией, я осталась совсем одна, потаскалась по воздуху, по крокету, по дому и села шить. Обедали в 7 часов, потом сидели, приятно беседовали о серьезных вещах, Левочка и Урусов играли в шахматы, я вышивала шелками по канве Андрюше платье. Дети веселые, очень довольные днем, вернулись в 10-м часу и рассказывали.

2 октября. Учила детей, вдруг кто-то подъехал. Оказался Громов с дочерью Надей, невестой Николеньки. Она очень мила, проста, серьезна. Я буду ее любить. Сейчас после обеда они уехали, вечер проработала, вместе с Таней ходила в ванну. Все в доме у нас спокойно, весело и совсем не скучно. Погода все ясная и ночи прелестные, лунные. Андрюше лучше.

3 октября. Просидела дома, несмотря на чудную погоду. Учила детей, бранила и наказала Таню за то, что она не пошла гулять, а убежала от m-lle Gachet. Машенька со мной сидела, была очень в хорошем духе. Левочка ездил на охоту, затравил 5 зайцев; упал вместе с лошадью

и, слава богу, убил только руку, хотя на всем скаку через голову перелетел и у лошади подогнулась шея, так что она встать долго не могла. Сережа ставил мушку к боку правому, я все еще о нем не совсем успокоилась. Андрюша необыкновенно мил, ел сам из ручки хлеб и припивал молоком. Завтра приедет Николенька. Дети в свободные часы играли в крокет. Пока Левочка, приехавши с охоты, обедал, я получила письмо от сестры Тани, ужасно обрадовалась, читала всем это письмо вслух и не могла удержать улыбки радости. Когда дошли до места, что она посылает поклон доброму, тихому, набожному, белотелому (все это ему выгадали в лубочной книге «Оракул») *вашему папаше,* как мы его шутя называли, играя в крокет, то все расхохотались.

4 октября. Танино рожденье, ей 14 лет. Когда встала, пошла к детям в лес, мелкую посадку. Там у них был устроен пикник. M-r Nief с засученными рукавами делал une omelette * и варил шоколад. Тлели 4 прогоревшие костра, Сережа жарил шашлык. Все были очень веселы, ели очень много, а главное, погода была чудесная. Когда вернулись домой, играли в крокет, смотрим — идут по *прешпекту* ослы и лошади из Самары. Радость была большая, дети сейчас же влезли и поехали на ослах. К обеду приехал Николенька и баронесса Дельвиг с Россой. Пили шампанское за здоровье Тани, она краснела, но была довольна. Вечером провожали на Козловку в катках гостей Таня и я, и легли поздно. Левочка пешком выходил нам навстречу.

6 октября. Больна, у меня флюс и ломота по всему телу. Утром взошла к Левочке, он сидит внизу за столом и пишет что-то. Это он начал, говорит, в десятый раз начало своего произведенья. Начало — это прямо разбирательство дела, в котором судятся мужики с помещиком. Дело это он вычитал из подлинных документов и даже числа оставил. Из этого дела, как из фонтана, разбрызгается действие и в быт крестьян, и помещика, и в Петербург, и в разные места, где будут играть роль разные лица[9]. Мне понравилась эта entrée en matière **. Дети учатся, вялы и придумывают разное себе веселье.

---

* яичницу (*франц.*).
** приступ к рассказу (*франц.*).

8 октября. Была Николенькина свадьба. Левочка уехал с утра в Тулу, он был посаженым отцом, мы с Таней вдвоем поехали вечером прямо в церковь, где уже началось венчание. Таню поразило пенье певчих и свадьба. После церемонии мы сейчас же уехали. Сережа был на охоте, затравил двух зайцев. Утром дети ездили в Ясенки на ослах.

9 октября. Приехал Бибиков из Самары, привез дурные вести, доходу опять почти ничего. Я страшно рассердилась, там сняли участок, я ничего об этом не знала, купили скотину, и урожай оказался тоже не хорош. Была страшная ссора с Левочкой [10]. Я себя чувствую несчастной и еще не чувствую себя виноватой, но как я все ненавижу: и себя, и свою жизнь, и мое так называемое *счастье.* Мне все скучно, все противно...

11 октября. Приехал утром Д. А. Дьяков. Он ездил искать дочери купить именье. Левочка ходил на охоту, ничего не убил. Вчера он убил 2-х вальдшнепов и зайца, которого разорвали собаки. По вечерам всякий день у нас чтение, m-r Nief читает «Les trois Mousquetaires» Alexandre Dumas. Чтение это очень приятно, дети интересуются и ждут вечера с нетерпением [11]. Левочка много читает материалов к новому произведению, но все жалуется на тяжесть и усталость головы и писать еще не может. Мы опять дружны [12], и я себе сказала, что буду беречь его.

13 октября. Мы сидели учились с Лелей и Лизой, вдруг дети завизжали от радости. Приехал Сергей Николаевич из Тулы, куда он ездил по делам. Прошел день в разговорах.

14 октября. Сегодня уехала от нас Машенька. Сергей Николаевич ездил в Ясенки к Хомякову, собирать сведенья о каком-то управляющем. Левочка ходил на охоту и видел 6 тетеревей. Сергей Николаевич много раз спрашивал о сестре Тане; он ее не забыл и не забудет; говорит, что ему очень хотелось поговорить с ней, когда он ее встретил на железной дороге. Сережа ударил Лелю, который в него бросил палку. Сережа же хотел и пытался эту

палку вырвать у Лели. Я очень сердилась и бранила Сережу. Приехал вечером горбатый учитель рисованья. Учились рисовать Таня, Илья и Леля. Таня серьезно училась, а мальчики хохотали и шалили, Сережа учился по-гречески и латыни с Ульянинским. Потом читали опять вслух «Les trois Mousquetaires». Чтение это продолжает интересовать детей. Я в странном духе. Занята очень своей наружностью, начинаю мечтать о иной жизни, чем теперь. Т. е. мне опять хочется много читать, образовываться, умствовать, хочется быть красивой, думаю о платьях и глупостях. Мечтаю о поездке с детьми в Москву. Андрюшу очень люблю.

15 октября. Прихожу утром чай пить, сидят в гостиной Левочка, Сережа-брат, дети и два учителя — горбатенький рисовальный и гимназист Ульянинский. Немного стесняет присутствие учителей. Левочка ездил к обедне.

Начались сборы на охоту, оседлали 7 лошадей, поехали с борзыми Левочка с Сережей-братом, Сережа-сын, Илюша, m-r Nief и двое людей. Таня, Маша, Леля, m-lle Gachet и Лиза отправились на ослах на Козловку. Я осталась одна, возилась с Андрюшей, но соскучилась, когда он заснул, велела себе заложить тележку и поехала встречать детей. Встретила их у границы, посадила к себе m-lle Gachet, поехали домой, велели себе подать редьки тертой и квасу и ели; решились дожидаться охотников к обеду. Вернулись наши охотники в седьмом часу, веселые и довольные, привезли 6 зайцев, которых нанизали на палку и торжественно нам принесли. Вечером читали Dumas, все устали, Сережа очень любезен, говорит все приятные вещи мне и о детях. Иду спать.

16 октября. Утром поздно встала, по обыкновению в спальню ко мне вошли дети один за другим, потом Левочка. Андрюшу, спавшего утром у меня, я его кормила, унесли, а я стала мерить новое платье, которое очень хорошо. Потом посидела с Сережей-братом, он не в духе и не весел, потом мы его проводили в Пирогово. Читала по-немецки с Лелей и Илюшей. После обеда Левочка уехал в Тулу на заседание реальной гимназии, где он попечителем. Я взялась составить краткую биографию

Левочки для нового издания Русской библиотеки, кратко составленного из произведений его по выбору Страхова. Издает это Стасюлевич [13]. Оказалось, писать биографию дело нелегкое. Я написала немного, но плохо. Мешали дети, кормление, шум и незнание жизни Левочки до моего замужества достаточно подробно для биографии. Взяла в образцы биографии Лермонтова, Пушкина [14] и Гоголя [15]. Увлеклась чтением стихов и с таким наслаждением окунулась в мир поэзии, которую я так люблю. Но жаль, что поэты тоже люди с большими недостатками; биография Лермонтова очень его портит. Читали опять немного Dumas; детей все больше и больше это завлекает. Шила фланелевую фуфаечку Андрюше. Читаю «L'idée de Jean Têterol» Cherbuliez [16], и мне очень не нравится. В отсутствие Левочки со мной сидит вечер m-lle Gachet. Левочка не занимался сегодня, только утром мне сказал: «Как у меня это хорошо будет» [17].

18 октября. Андрюша был нездоров, горел и вздрагивал и желудок расстроен. Встала поздно. Дети ушли — мальчики с собаками в поле мышей травить, девочки и Леля поехали на ослах. Левочка уехал на охоту с борзыми. Я играла в крокет с m-lle Gachet и Василием Ивановичем. Одну партию выиграли мы, другую m-lle Gachet. Ясно и тепло, южный ветер, сухо и красиво. Взялась опять учить Лелю музыке. Обед был очень дурен, картофельная похлебка пахла салом, пирог был сухой, левашники [18] как подошвы, а зайцев я не ем. Ела один винегрет и после обеда бранила повара. В это время приехал Левочка, он затравил 4-х зайцев и одну лисицу; он вял, молчалив и сосредоточен. Все читает. Сегодня получила с почты шелковую материю с Кавказа от Тани и от Скайлера перевод на английский — «Казаки», довольно хорошо [19]. Вечер читали вслух Dumas, кроила и слаживала Андрюше белое кашемировое платьице, хочу вышить красным шелком по канве. Илью и Лелю мыли в ванне внизу; они шалили и смеялись, я вошла посмотреть, когда они легли — такие они веселые, чистенькие, славные. Входила я с предлогом посмотреть ночную рубашку, про которую Илюша сказал, что она коротка. Чувствую себя нравственно тяжелой с желаньем движенья и каких-нибудь émotions *.

* эмоций *(франц.)*.

21 октября. Андрюша был очень болен вчера: похолодели у него ручки и ножки, сделался сильнейший жар, и он во сне тряс головой, рыдал, дергались у него губки и открывались и закатывались глазки. Сегодня жар прошел, сделался понос. Сон такой же беспокойный, я очень беспокоюсь. Приезжал из Петербурга редактор нового журнала «Русская речь» — Навроцкий. Читал свои стихи и отрывки из драмы — недурно [20]. Много рассказывал новостей из Петербурга, и было не скучно. Учителя опять приехали, сегодня суббота. Были блины. С Сережей было объяснение; вчера я ему упрекала, что он дразнить любит, меня это мучало, я ему сказала, что если упрекаю, то любя, хочу, чтоб мои дети были счастливы, а счастье зависит больше всего от того, чтоб все любили. Думала о том, что жаль, что царей бальзамируют. Надо хоронить всех прямо в землю. «Земля еси и в землю пойдеши». А бальзамирование, склепы — все это божье наказанье. Левочка был на охоте, затравил зайца. Вчера он немного писал что-то, мне еще не показывал. Погода испортилась, идет мелкий дождь. У Сережи 3-й день покалывает опять бок.

22 октября, воскресенье. Дети ходили или ездили на ослах в Ясенки, брали еще для Маши тележку с Колпиком [21] в упряжи. Покупали и ели там сладкое. Анни и я оставались с Андрюшей. Он все не совсем здоров. Я ему кроила фартучки и проскучала день в одиночестве. Утром горбатый рисовальный учитель интересно рассказывал свою карьеру рисовальную на шелковой фабрике. Левочка был у обедни, потом с гончими ходил с Сережей на охоту. Было неудачно. Няня в Туле, и я с 7 часов утра с Андрюшей и устала. Левочка хотел писать письма, но не пошло, и написал только Тургеневу и Страхову [22]. Дети вечером играли в прятки и разные игры, я читала Cherbuliez «L'idée de Jean Têterol». Недурно. Левочка читал и спал.

23 октября. С утра Левочка, после того как пил со мной кофе, уехал с борзыми за Засеку на охоту. Я учила Машу по-русски, потом Лизу по-французски, потом Лелю по-немецки. К обеду Левочка приехал, привез 3-х зайцев. Сережа играл сонату Гайдна довольно хорошо со скрипкой. Александр Григорьевич его аккомпанировал. Вечером Левочка играл Вебера и Шуберта сонаты, тоже со

скрипкой, я вышивала Андрюше белое кашемировое платьице красным шелком и слушала музыку с удовольствием. Погода ветреная и неприятная. Левочка нынче говорит, что столько читал материалов исторических, что пресыщен ими и отдыхает на чтении «Мартин Чеззльвит» Диккенса[23]. А я знаю, что когда чтение переходит у Левочки в область английских романов — тогда близко к писанью.

Дети здоровы, Леля очень хорошо учится, Илья вышивает что-то с увлечением по канве, Маша все улыбается и очень тиха, покорна, но, как всегда, мне непонятна. Таня сосредоточена и ленива, без энергии, но и без каприза[24]. (Мужик вывел в доме всех крыс и мышей, и ему дали 5 рублей.)

24 октября. Когда встали, шел дождь, потом перестал. Мы смотрели, как Мишку спускали в колодезь на шесте и веревке, доставать бадьи и ведра. Достали благополучно два старых, новое ведро не нашли. Ходили в кладовую, вещи пересматривать, которые были уложены в сундуки на зиму. Учила детей, вышивала платьице. Андрюшу носила по комнатам и заметила, что он очень любит картины и портреты, взвизгивает и радуется на них. После обеда был оживленный разговор с детьми, делали планы играть на святках домашний спектакль. Читаем все с пропусками «Les trois Mousquetaires». Левочка ходил в Заказ с гончими, ничего не убил. Он желчен и вял, но мы дружны и счастливы. Писать еще он не может. Нынче говорит: «Соня, если я что буду писать, то так, что детям можно будет читать все, до последнего слова».

25 октября. Учила Лелю музыке, искала Menuetto легкий для него в симфониях Гайдна. С Машей читала, с Лизой училась. Шила Андрюше платьице пике белое. Левочка ездил на охоту с борзыми. Привез одного зайца и белого маленького зверька, вроде ласочки. Вечером вдвоем делали обзор всей Левочкиной жизни для биографического очерка[25]. Он говорил, а я записывала. Дело это шло весело, дружно, и я так рада, что мы это сделали. Дети много учатся. Погода ветреная, дождь проливной идет. Вечером читали Dumas.

27 октября. Утром отправила Левочкиных 10 писем на почту, встала и вышла к своему вечно одинокому, утреннему чаю; было ясно, и я грустная, глотая слезы, выпила

свой чай и пошла гулять. Левочка с утра уехал на охоту с борзыми. Поиграв с Андрюшей, я пошла гулять, отыскивать детей. Нашла 3-х мальчиков на гумне, они бегали кругом стогов, и m. Nief читал лежа на соломе, а с девочками я разошлась. В саду было чудесно. Перед обедом рассердилась на Илюшу и Лелю, что утащили икры, и побила Илью и очень бранила обоих. Вечером при лунном свете катались в катках и тележке со всеми детьми и гувернерами. Погода чудесная. Потом писала Левочкин биографический очерк. Вчера Андрюша был нездоров, лихорадочное состояние, и приезжал Алексей Алексеевич Бибиков. Иду ужинать, есть щучку вареную, потом кормить и спать.

28 октября. Пила чай одна, потом Таня пришла, у нее горло болело. Я очень встревожилась, велела ей полоскать горло бертолетовой солью, на стакан кипятку чайную ложку соли; общее ее здоровье хорошо, и я успокоилась. Ходила я смотреть в лесу, как делают бочки, мы взялись сделать 6000 бочек Гилю; шли мы лесной дорожкой, прелесть как было хорошо, ясно, морозно и тихо. Гуляла я с Машей, m-lle Gachet и Анни. Мальчики опять играли в стогах сена на гумне. Опять во время обеда приехали учителя. Таня нарисовала черным карандашом головку довольно хорошо. Шила рубашечку крестильную Парашиному [26] мальчику, мыла, в первый раз после прививанья оспы, Андрюшу. Левочка ходил с гончими, убил зайца.

29 октября. Шел снег, стало грязно и тепло. Дети бегали, играли в прятки и шумели, но им было весело. Весь день по случаю погоды все сидели дома. Левочка пытался заниматься, а я кончила сегодня биографический очерк жизни его; писала весь день. Вечером было чтение, и я дошила крестильную рубашечку.

1 ноября. Вчера утром Левочка мне читал свое начало нового произведения. Он очень обширно, интересно и серьезно задумал. Начинается с дела крестьян с помещиком о спорной земле, с приезда князя Чернышева с семейством в Москву; закладка храма Спасителя, богомолка, баба, старушка и т. д. [27]. К обеду приехал Дьяков.

Левочка убил зайца; вечером сидели, разговаривали об именьях, которые Дьяков все осматривает для Маши[28]. В понедельник крестили Парашиного мальчика Сережа с Таней; очень серьезно себя вели, но Илюша очень смеялся и Лелю смешил. Сегодня я ездила в Тулу с Дмитрием Алексеевичем, Сережей и Таней. Было морозное, ясное утро. В Туле мы покупали на шубу Тане, Сереже полушубок (12 р. с.), заказали Сереже пальто теплое (65 р. с.), Тане ботинки, мне кофточку на лисьем меху из своих лисиц и многое другое. Левочка занимался дома, когда мы возвращались, он вышел нам навстречу; всегда такая радость, когда едешь домой, увидать его серое пальто издалека. Андрюша не скучал и здоров. Привезла мальчикам волчки по 10 к. с. каждый, Маше наперсточек и куклам бусы, серьги и брошку, всем теплые перчатки и разные мелочи. Устала я ужасно, мы ничего не ели весь день, кроме сладких пирожков да хлеб ситный. Вечером мыла Андрюшу, у него очень велико незаросшее темечко, и меня очень беспокоит. Дочли нынче с большим интересом «Les trois Mousquetaires»; Левочка сидел вечером долго за фортепьяно и что-то импровизировал, у него и на это есть способность. Получила письмо от Тани, у ней отказалась miss Maccarthy, и она желает взять Анни, а я не могу еще ее отпустить, не знаю, что делать.

4 ноября. Вчера не писала журнал, расстроена была, потому что Левочка с Сережей ездили на охоту, был туман, они заблудились верхами, потеряли дорогу и не возвращались до 9-го часа вечера, что меня очень встревожило. Протравили трех лисиц и привезли 1 зайца. Сегодня я ходила гулять, провожала Левочку на охоту с гончими. Девочки ездили на ослах. Приехали учителя; читали вслух немного скучную вещь. Левочка не пишет почти и упал духом. Шила фланелевые панталоны Тане, метила шелком красным платки Андрюше. Учила детей, спорила с Левочкой о французском для Сережи, я считаю нужным учить литературу французскую, а он нет. Маше продела Андрюшина няня дырочки в ушах для серег.

5 ноября. Длинное, скучное, туманное и одинокое воскресенье! Левочка с Сережей были на охоте с борзыми, Сережа затравил зайца. Остальные дети с Анни, m-lle Gachet и m. Nief'ом отправились с ослами и тележкой

в Ясенки, где накупили разных сластей. Я много работала и возилась с Андрюшей. Меня все тревожит его большое, незаросшее темя и большая голова. Вечером играли в 4 руки трио Моцарта; Левочка ужинал и по обыкновению своему, во время ужина или утреннего кофе — читал. Я пила чай, ела кислую капусту. Дочла «Les deux Barbeaux» в «Revue des deux Mondes» [29] и нашла, что довольно интересно. Утром Таня, Илья и Леля рисовали с учителем, а Сережа учился по-гречески и латыни с Ульянинским. Таня стала довольно хорошо тушевать, т. е. класть тени. Начало мое, я вижу, было хорошо; с учителем только 4-й урок, а со мной было 3 года.

6 ноября. Туман, тяжелый воздух. Читала по-немецки с Лелей и вечером с Илюшей. Учила Машу по-русски; она мне сказала стихи Пушкина «Буря мглою небо кроет...» довольно хорошо, но дурно переписала, я ей вырвала лист из тетради. Был Александр Григорьевич, он учит дурно Илью и Лелю. Левочка ездил на охоту, привез 2-х зайцев. Скучает, что не может писать; вечером читал Диккенса «Domby and Son» [30], и вдруг мне говорит: «Ах, какая мысль мне блеснула!» Я спросила что, а он не хотел сказать, потом говорит: «Я занят старухой, какой у ней вид, какая фигура, о чем она думает, а надо главное ей вложить *чувство.* Чувство, что старик ее Герасимович сидит безвинно в остроге, с половиной головы обритой, и это чувство ее не оставляет ни на минуту». Потом он сел за фортепьяно и играл импровизируя. Я читала в «Revue des deux Mondes» о живописцах и живописи. Стегала сегодня одеяльце Андрюше. У детей был вечером разговор об аффектации, нападали на Таню, как она себя вела у Дельвиг, когда туда ездила. Все здоровы у нас.

7 ноября. Кроила Левочке рубашки, учила Лизу, была неприятная история: мне казалось, что у меня отрезали от куска полотна, я была несправедлива; смеривши полотно и посмотрев счет, оказалось число аршин верно. Левочка ходил вечером с Илюшей и Лелей в баню; он повеселел, и мысли его для писанья уясняются. Я все тревожусь о голове Андрюши. У Тани немного болит горло; спрашивала ее урок истории об Александре Невском, она знала не совсем хорошо. С Лелей была священная история о казнях египетских и Моисее.

10 ноября. Не писала журнал, потому что у самой голова болела, Андрюша вчера захворал, был насморк и сделался сухой, хриплый кашель, сегодня ему получше. Левочка тоже не в пример прочих дней сидит сегодня дома, у него насморк и простудное состояние. Учила Лелю, он делал перевод с английского, рассказывал об исходе евреев из Египта и играл со мной на фортепьяно; мы разучиваем с ним менуэт Haydn'а в 4 руки. Маша писала сочинение — описание их комнаты, учила стихи «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...» и читала вслух. Сегодня у ней был первый урок арифметики с отцом, она только едва понимала, что такое 20, 40, 50 и т. д. На Таню мы сегодня ворчали, учится лениво. С Левочкой играла в 4 руки вечером, шила небеленого полотна фартучки Маше, читаю «Le roman d'un peintre» [31] — довольно скучно. Сейчас пили чай, ужинали соленую рыбу, сегодня пятница — Левочка ест постное. Акульку, няпину внучку, приняли по моей просьбе в приют, и завтра ее везет ее дядя Сергей [32] в Тулу. Налаживаем коньки, небо серо, тучи ходят, морозно и похоже на снег, пора бы! Чувствую себя работающей машиной, хотелось бы жизни немного для себя, да нет ее... И об этом ничего... ничего... молчание.

11 ноября. Жаль, что журнал пишешь всегда вечером, усталая. Ночью сегодня Андрюша вдруг захрипел, стал со свистом кашлять, и это продолжалось от 4—8 часов утра. Я очень испугалась. Потом стало легче, но и теперь все кашляет очень резко с хрипотой и у него понос. Я ему только дала 3 антимониальные капли и привязала к горлу мыло с салом, маслом и камфарой, натертое все это на новую фланельку. Левочка сегодня говорил, что у него в голове стало ясно, типы все оживают, он нынче работал и весел, *верит* в свою работу. Но у него голова болит, и он покашливает.

Приехали опять учитель рисованья и гимназист Ульянинский. Таня рисует головку пастушка довольно хорошо, а Илья и Леля только для удовольствия рисуют. Я много очень работала, сшила фланелевую фуфайку Андрюше, подушку и 2 наволоки ему же. Получила письмо от мама́.

14 ноября. В воскресенье, третьего дня, мы ездили в Тулу, Сережа, Таня, Илюша, Леля и я. Было темно, тепло и грязно. Дети очень радовались, приехали к Дельвиг

в 6-м часу, Сережа был уже там, он уехал раньше с учителями. Дети играли в разные игры и танцевали, а я на них радовалась. Утром в воскресенье был у нас Оболенский, Левочка пробыл вечер дома, потом вечером пошел к нам навстречу; у него болела голова. От Дельвиг я привезла водевили Соллогуба, чтоб выбрать пьесу детям играть на святках. Вчера мы пьесу одну читали: «Мастерская русского живописца», кажется, будет подходящая, но приготовления и планы всегда весело [33]. Вчера же вечером Левочка играл с Александром Григорьевичем на фортепьяно с скрипкой. Сегодня утром, после дурной ночи с кошмарами и снами, пила чай с Левочкой, это так редко бывает, и мы затеяли длинный философский разговор о значении жизни, о смерти, о религии и т. д. На меня подобные разговоры с Левочкой действуют всегда нравственно успокоительно. Я по-своему пойму его мудрость в этих вопросах и найду такие точки, на которых остановлюсь и утешусь во всех сомнениях. Я бы изложила его взгляды, но не могу, особенно теперь, устала и голова болит.

Всякий день Левочка на охоте. Вчера он затравил с борзыми 6 зайцев, сегодня с гончими ходил и застрелил лисицу. Опять приезжал Оболенский Дмитрий Дмитрич, его дела плохи, и он точно душу отводит у нас [34]. Левочке все нездоровится, Андрюша нездоров — у него понос, но он весел.

16 ноября. Левочка говорит: «Все мысли, типы, события — все готово в голове». Но ему все нездоровится, и он писать не может. Начал есть вчера постное, против чего я очень восстаю для его здоровья. Сегодня сидел дома, вчера был на охоте с борзыми, затравил 3 зайцев и лисицу. Учила сегодня Лелю, было чтение русское и грамматический разбор, потом Таня очень плохо отвечала свой урок из русской истории Иоанна III. Маша читала и переписывала. Достала вышивать свой ковер. Сережа и Таня все мечтают о *веселье,* и мне жаль, что я им его так мало могу доставить, но буду стараться всей душой. Собрались мы сегодня вечером в балконной комнате, Левочка, я и все 6 детей, и мне вдруг грустно стало, что когда-нибудь все мы будем разбросаны и вспомним об этом времени. Получила сегодня письмо от Тани, а вчера от Страхова и Лизы Оболенской. Все пристаю к Левочке поправить написанный мной его биографический очерк и не допрошусь.

19 ноября. Вчера Левочка опять затравил 4 зайцев и 1 лисицу, а сегодня был у обедни и занимался утром. Слава богу, я его уговорила бросить есть постное, а то он совсем было разболелся желудком. Он перечел свою биографию и сказал, что не совсем плохо, но еще не поправил. Сережа, Илюша и m. Nief ездили верхом в Ясенки смотреть, как будет проезжать государь[35], но видели только поезд «et le marmiton» *, как шутил m. Nief. Таня и Леля тоже ездили верхом к их большой радости, а Маша в тележке с m-lle Gachet. Таня с большим наслаждением смотрела на шлейф моей черной юбки, которую она надела. В пятницу у нас была большая история с Илюшей. Он не учился, не слушался и был груб с m. Nief, бросался в него мокрой губкой, и отец решил оставить его без обеда. Когда я вошла в их детскую вниз, он лежал на постели своей вниз головой и животом и рыдал. Мне очень его было жаль, мы его утешали с m. Nief'ом и утешили, но обедать не дали; зато с каким аппетитом он, бедный, ел ростбиф за вечерним чаем! Сегодня вечером я играла детям кадриль, и они очень весело плясали, сначала большие, потом маленькие.

Я наконец дожила до своей осенней, болезненной тоски. Молча, упорно вышиваю ковер или читаю; ко всему равнодушна и холодна, скучно, уныло и впереди темнота. Я знаю, с зимой это пройдет, а пока несносно. У нас в зале окно открыто, на дворе постоянный туман и тепло.

21 ноября. Разные неприятности: няня оказалась беременна и через два месяца уйдет. Бедному Андрюше придется взять новую няню. Григорий[36] отказался. Левочка нынче был на охоте и затравил 6 зайцев, брал Илюшу, Сережа кашляет, и они с Таней весь день играли вальсы, а Сережа еще сонату Бетховена Fantasia. Вечером дети плясали кадриль и разные танцы. У Андрюши понос, и он очень ослабел в один день. На дворе тепло, и дети принесли распустившуюся вербу.

24 ноября. Три дня я нездорова, лихорадка, насморк, кашель и зубы болят. Все тепло, и снегу нет как нет. Ушел Григорий. У Андрюши все понос, он учится пол-

* и поваренка (*франц.*).

зать. Леля учил со мной вечером странствованье евреев по пустыне, вдруг замялся рассказывать, видит, что надо перечитывать еще раз, а час прошел, принялся рыдать, кричит: «Не могу, не могу, пусть единица будет!» Так и оставила ученье, но я с ним, слава богу, обошлась терпеливо и мягко и оставила урок до завтра.

Мне все мрачно на душе. Стали бродить страшные и ревнивые мысли и подозренья насчет Левочки. Я иногда чувствую, что это вроде сумасшествия, и все шепчу себе: помоги, господи! Да я и сошла бы с ума, если б случилось что-либо подобное.

Ночью кормлю, сижу, Андрюшу, тихо, темно, чуть лампада светит; няня пошла пеленки вешать, вдруг слышу рядом в детской Анни кричит: «Serosha, dare not! Serosha!» * Я испугалась ужасно, положила Андрюшу в люльку и пошла к ним в комнату. Это Анни во сне кричала. Я прикрыла одеялами раскрывшихся во сне девочек Таню и Машу и пошла спать. Меня трепала лихорадка, и я не спала всю ночь. Привезли нынче шубку Тане и кофточку и шапку. Моя лисья кофта узка в спине и рукава коротки.

Левочка сидит два дня дома, он был в среду в Туле, обедал у Самариных. Я написала в этот день новый биографический очерк, но длинно, и опять потому не годится [37].

1879

18 декабря. Прошло еще больше года. Сижу и жду каждую минуту родов, которые запоздали. Новый ребенок наводит уныние, весь горизонт сдвинулся, стало тёмно, тесно жить на свете. Дети и весь дом в напряженном состоянии: и праздники близко, и роды неопределенны. Страшные морозы, было более 20-ти градусов. Маша болела неделю горлом с жаром. Сегодня встала. Левочка уехал в Тулу послать Бибикова в Москву по делам печатанья нового издания [1] и обещался купить кое-что к елке. Он много пишет о религиозном. Андрюша освещает мне всю жизнь, чудо как мил.

Через два дня после этого родился Миша в 6 часов утра 20 декабря в 1879 году **.

---

* «Сережа! Не смей! Сережа!» *(англ.)*
** Приписано С. А. Толстой позднее.

28 февраля. Мы в Москве с 15 сентября 1881 года. Живем близ Пречистенки, Денежный переулок, дом кн. Волконского [1]. Сережа ходит в университет, Таня ездит на Мясницкую в рисовальную школу, Илья и Леля ходят в гимназию Поливанова, почти рядом с нами [2]. Жизнь наша в Москве была бы очень хороша, если б Левочка не был так несчастлив в Москве [3]. Он слишком впечатлителен, чтоб вынести городскую жизнь, и, кроме того, его христианское настроение слишком не уживается с условиями роскоши, тунеядства, борьбы городской жизни. Он уехал в Ясную вчера с Ильей заняться и отдохнуть.

26 августа. 20 лет тому назад, счастливая, молодая, я начала писать эту книгу, всю историю любви моей к Левочке. В ней почти ничего больше нет, как любовь. И вот теперь, через 20 лет, сижу всю ночь одна и читаю и оплакиваю свою любовь. В первый раз в жизни Левочка убежал от меня и остался ночевать в кабинете. Мы поссорились о пустяках, я напала на него за то, что он не заботится о детях, что не помогает ходить за больным Илюшей и шить им курточки. Но дело не в курточках, дело в охлаждении его ко мне и детям. Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтоб уйти от семьи. Умирать буду я — а не забуду этот искренний его возглас, но он как бы отрезал от меня сердце. Молю бога о смерти, мне без любви его жить ужасно, я это тогда ясно почувствовала, когда эта любовь ушла от меня. Я не могу ему показывать, до какой степени я его сильно, по-старому, 20 лет люблю. Это унижает *меня* и надоедает *ему*. Он проникся христианством и мыслями о самосовершенствованье. Я ревную его... Илюша болен, лежит в гостиной в жару, у него тиф; я слежу за тем, чтобы дать ему хинин в промежуток, который очень короток, и я боюсь пропустить. Я не лягу сегодня спать на брошенную моим мужем постель. Помоги, господи! Я хочу лишить себя жизни, у меня мысли путаются. Бьет 4 часа [4].

Я загадала — если он не придет, он любит другую. Он не пришел. Долг, я прежде так знала, что мой долг, а теперь?

Он пришел, но мы помирились только через сутки. Мы оба плакали, и я с радостью увидала, что не умерла та любовь, которую я оплакивала в эту страшную ночь. Никогда не забуду того прелестного утра, ясного, холодного, с блестящей, серебристой росой, когда я вышла после бессонной ночи по лесной дороге в купальню. Давно я не видала такой торжествующей красы природы. Я долго сидела в ледяной воде с мыслью простудиться и умереть. Но я не простудилась, вернулась домой и взяла кормить обрадовавшегося мне и улыбающегося Алешу [5].

10 сентября. Уехала тетя Таня с семьей в Петербург [6] и Левочка с Лелей в Москву [7]. Последний теплый день. Я купалась.

1883

Москва, 5 марта. Как всегда сильно действует на меня весеннее солнце. Оно так ярко светит в мой кабинетик наверху. В голове моей, теперь в тишине первой недели поста, проходит вся моя только что прошедшая зимняя жизнь. Я немного ездила в свет, забавляясь успехами Тани, успехами моей моложавости, весельем; всем, что дает свет. Но никто не поверит, как иногда, и даже чаще чем веселье, на меня находили минуты отчаяния, и я говорила себе: «не то, не то я делаю». Но я не могла и *не умела* остановиться. Мне так ясно, что я не по своей воле живу и действую, а по воле бога или судьбы — как кто хочет назвать эту высшую волю, даже в мелких делах.

Третьего дня, т. е. 2-го, я отняла Алешу и опять переживаю эту душевную боль первого разрыва с любимым ребенком. И опять и опять она повторяется, и никуда от нее не уйдешь.

Наша жизнь в своем доме, довольно отдаленном от городского шума, гораздо легче и лучше прошлогодней. Левочка спокоен и добр, иногда прорываются прежние упреки и горечь, но реже и короче. Он делается все добрее и добрее.

Но, видит бог и больше никто не узнает, что делалось в душе моей, но я летом и осенью не хотела ехать в Москву, я не чувствовала в себе сил одна нести всю тяжесть и ответственность городской жизни. А в Ясной я оставляла все, что любила и к чему привыкла. И как я оценила все, когда уехала, а возврат был возможен еще

в прошлом году... Но этот переезд вторичный — это дело детей с отцом, но не мое. И он был нужен, и это было божье дело для счастья семьи... А почему? Пишет Левочка все еще в духе христианства [1], и эта работа нескончаемая, потому что не может быть напечатана. И *это* нужно, и *это* воля божья, и, может быть, для великих целей.

1885

24 марта. Светло-Христово воскресенье. Вчера Левочка вернулся из Крыма, куда ездил провожать больного Урусова [1]. В Крыму вспоминал Севастопольскую войну и много ходил по горам и любовался морем. Когда они ехали с Урусовым по дороге в Симеиз, они проезжали то место, где Левочка стоял во время войны с своим орудием; и в том самом месте он сам, и только один раз, выстрелил. Тому почти 30 лет [2]. Едут они с Урусовым, а он вышел вдруг из ландо и пошел что-то искать. Оказалось, что он увидал вблизи дороги ядро горного орудия. Не то ли это ядро, которым выстрелил Левочка во время Севастопольской войны? Никто, никогда другой там не мог стрелять. Орудие горное было одно. Теперь вечер: дети старшие собрались с Олсуфьевыми, и Лопатин поет.

1886

25 октября. Ясная Поляна. Все в доме — особенно Лев Николаевич, а за ним, как стадо баранов, все дети,— навязывают мне роль *бича.* Свалив всю тяжесть и ответственность детей, хозяйства, всех денежных дел, воспитанья, всего хозяйства и всего материального, пользуясь всем этим больше, чем я сама, одетые в добродетель, приходят ко мне с казенным, холодным, уже вперед взятым на себя видом просить лошадь для мужика, денег, муки и т. п. Я не занимаюсь хозяйством сельским — у меня не хватает ни времени, ни уменья — я не могу распоряжаться, не зная, нужны ли лошади в хозяйстве в данный момент, и эти казенные спросы с незнанием положения дел меня смущают и сердят.

Как я хотела и хочу часто бросить все, уйти из жизни так или иначе. Боже мой, как я устала жить, бороться и страдать. Как велика бессознательная злоба самых

близких людей и как велик эгоизм! Зачем я все-таки делаю все? Я не знаю; думаю, что так надо. То, чего хочет (на словах) муж, того я исполнить не могу, не выйдя прежде сама из тех семейных деловых и сердечных оков, в которых нахожусь. И вот уйти, уйти, так или иначе, из дому или из жизни, уйти от этой жестокости, непосильных требований — это одно, что день и ночь у меня на уме. Я стала любить темноту. Как тёмно, я вдруг веселею; я вызываю воображением все то, что в жизни любила, и окружаю себя этими призраками. Вчера вечером я застала себя говорящей вслух. Я испугалась: не схожу ли я с ума? И вот эта темнота теперь мне мила, а ведь это смерть, стало быть, мне мила?

Последние два месяца — болезнь Льва Николаевича [1] — было последнее мое (странно сказать), с одной стороны, мучительное, а с другой — счастливое время. Я день и ночь ходила за ним; у меня было такое счастливое, несомненное дело — единственное, которое я могу делать хорошо — это *личное* самоотвержение для человека, которого любишь. Чем мне было труднее, тем я была счастливее. Теперь он ходит, он почти здоров. Он дал мне почувствовать, что я не нужна ему больше, и вот я опять отброшена, как ненужная вещь, от которой одной ждут и требуют, как и всегда это было в жизни и в семье, того неопределенного, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишенная энергии женщина, но и тысячи людей, даже убежденных в истинности этих убеждений [2].

Мы живем в Ясной дольше обыкновенного. Сил нет предпринимать что-нибудь. Но совесть не спит и упрекает за то, что энергия падает. Надо твердо идти по пути, который считаешь правильным; и вот я по инерции иду. Я еду (кажется) опять в Москву, я соединяю семью, я веду книжные дела и добываю те деньги, которые, с напущенным на себя равнодушием и недоброжелательством ко мне, у меня же требует со всех сторон Лев Николаевич для тех фаворитов и бедных, которые не действительно бедны, но которые более наглы и лучше поняли, как относиться к нему, чтоб выпросить, как: Константин [3], Ганя [4], Александр Петрович [5] и другие. Дети, которые, нападая на меня за разногласие с отцом, требуют все, что могут... Уйти, уйти — и я уйду так или иначе. Нет ни сил довольно, ни любви достаточной к труду, борьбе и терпенью.

Буду писать свой журнал пока. Добрее буду и молчаливее, а волненье все — сюда.

Сырая, скучная осень. Андрюша и Миша катались на коньках на Нижнем пруду. У Тани и Маши зубы болят. Лев Николаевич затевает писать драму из крестьянского быта [6]. Дай-то бог, чтоб он взялся опять за такого рода работу. У него болит рука — ревматизм. M-me Seuron очень приятна, весела и с детьми хороша.

Мальчики: Сережа, Илья и Лева, таинственно живут в Москве, и о них я очень тревожусь. Какое-то у них странное отношение к человеческим и своим слабостям и страстям: что все это естественно и должно быть, а если мы боремся и побороли, то мы молодцы. Зачем же *должны* быть слабости? Они бывают, это правда, и их поборешь, но не всякий же день, а раз в жизни, и борьба эта стоит того, чтоб бороться, и часто она сломит и жизнь и сердце. Но не борьба же из-за Стрельны, вина, карт и тому подобных пошлых, противных страстишек.

Я часто думаю, отчего Левочка поставил меня в положение вечной виноватости без вины? Оттого, что он хочет, чтоб я не жила, а постоянно страдала, глядя на бедность, болезни и несчастия людей, и чтоб я их *искала,* если они не попадаются в жизни. То же он требует и от детей. Нужно ли это? Нужно ли то, чтобы здоровый человек ходил постоянно в больницы и смотрел на корчи и страдания людей и слушал их стоны? Если случится на пути жизни такой больной, то пожалей и помоги ему, но зачем искать его?

Читаю жизнь философов [7]. Ужасно интересно. Но трудно читать спокойно и разумно. Ищешь в учении и словах всякого философа то, что подходит к своему убеждению и своим взглядам, и обходишь все несочувственное. И вследствие этого поучаться трудно. Стараюсь быть менее пристрастна.

Приехал Бутурлин. Этот — настоящий, и путаницы в нем мало.

26 октября. Левочка написал 1-е действие драмы. Я буду переписывать. Отчего я перестала слепо верить в его даже авторскую силу? Он пошел гулять с Бутурлиным. Темно, сыро.

Слишком много болтала с Бутурлиным. Забыла правило (слова Епиктета: «Garde le silence le plus souvent,

ne dis que les choses nécessaires et toujours en peu de mots» *. Но он умен и все понимает, этот Бутурлин.

Дети, Андрюша и Миша, играют с крестьянскими мальчиками Митрошей и Илюхой, и мне это неприятно, не знаю отчего. Думаю, оттого, что это их приучает властвовать и подчинять себе этих детей, а это дурно и безнравственно.

Перечитывала вчера письма Урусова, и больно ужасно, что его нет. Доискивалась в них того, что и при жизни его хотелось всегда знать: как он относился ко мне? [8] Знаю одно, что с ним всегда было хорошо и счастливо, а чем это давалось — не знаю.

Думаю о старших мальчиках, как будто они отдалены ужасно, и мне это больно. Отчего отцам не *больно* бывает все, что касается детей. И за что женщинам и *эта* тяжесть в жизни? Только путает жизнь.

27 октября. Переписала 1-е действие новой драмы Левочки. Очень хорошо. Характеры очерчены удивительно, и завязка полная и интересная. Что-то дальше будет. Левочка читал вслух вечером Бутурлину свою «Критику богословия» [9]. Я прислушивалась и тотчас же думала о другом. Не забирает меня — или сердце мое зачерствело, или не то. От Ильи письмо о женитьбе. Не увлеченье ли это только что проснувшегося физического чувства, направленного на первую женщину, с которой пришел в более близкие отношения? Не знаю, желать ли этого брака или нет, и прямо, не прилагая к этому моей руки — во всем полагаюсь на бога [10]. Учила не усердно и не плодотворно Андрюшу и Мишу. Они мне оба очень дороги. Поправляла корректуру для дешевого издания [11] и очень устала. Жалею уезжать из Ясной особенно потому, что боюсь прервать работу, начатую Левочкой. Маша бегает без ученья, мальчики мучают, дела не идут. Если Левочка в Москве будет работать, я успокоюсь. Буду с ним осторожна, внимательна, чтоб беречь его для любимой мной работы его.

30 октября. Написано еще 2-е действие драмы. Встала рано и переписала. Потом вечером переписала вторично. Хорошо, но слишком *ровно;* нужно бы было больше теат-

---

* Как можно чаще соблюдай молчание, говори только то, что необходимо, и в немногих словах *(франц.).*

рального эффекта, что я и сказала Левочке. Учила Андрюшу и Мишу. Поправляла корректуру. День прошел весь в занятиях. Читала малышам «Родник» [12] и «Родные отголоски» [13]. Стихи и картинки им нравились, и они оживились. Девочки обе все внизу сидят, пишут, читают. Были днем минуты тоски, старой, знакомой, что тесно как-то. Приходила Аниска [14], говорила о болезни матери; поленилась пойти проведать, завтра пойду непременно. Когда села обедать, у меня спросили денег для какой-то старухи и для Гани-воровки. Спрашивал Левочка через девочек. Мне хотелось есть, досадно было, что все опоздали, и не хотелось давать денег Гане-воровке. Я солгала, что денег нет, а было еще несколько рублей. Но устыдилась и достала деньги, съев прежде весь суп (это я после вспомнила). Потом я молчала и думала, возможно ли вызвать в сердце ту требуемую Левочкой любовь всех ко всем и вот, например, к этой женщине, воровке Гане, которая не оставила ни одной души в деревне, у которой бы что ни украла, у которой дурная болезнь и которая лично страшно антипатична. Что-то шевельнулось похожее на чувство жалости, но оно скоро прошло. Приходил Фейнерман [15]. Его присутствие меня стало меньше тревожить. От старика Ге были письма [16]. И опять недоверие к нему, что-то напускное, фальшивое.

Бутурлин уехал, и не жаль. А пока был тут, интересовал. Таня неприятно упрекнула, что я не дала денег отцу. И мне странно вдруг показалось, что действительно я *ему* не дала, так как он просил. Но в минуту мысль о Левочке была так далека. Ведь не для *него* нужны были деньги, и эту мысль отказа в чем-нибудь *ему* я так и не могла связать с отказом Гане. Это часто со мной бывает.

1887

3 марта. Встревожило известие о бомбах, найденных в Петербурге у 4-х студентов, которые хотели их бросить государю проездом с панихиды его отца [1]. Так встревожило — что весь день не опомнюсь. Это зло породит целый ряд зол. А как мне теперь тревожно всякое зло! Левочка уныло и молчаливо принял это известие. У него это уже прежде переболело.

Успех драмы огромный, и мы оба с Левочкой спокойно относимся к нему[2]. Писала мой дневник, когда она была начата, и потом так много пришлось переписывать ее, что дневник прекратила. 11 ноября умерла моя мать в Ялте (там и похоронена)[3]. 21-го я переехала с семьей в Москву. Левочка написал повесть из времен первых христиан[4], теперь работает над статьей «О жизни и смерти»[5]. Он жалуется часто на боль под ложечкой. Мы мирно и счастливо прожили зиму. Вышло новое дешевое издание[6]. Интерес мой к этому делу совсем пропал. Деньги радости не дали никакой — да я это и знала. Поступила новая англичанка, miss Fewson, Маша больна. Я читала ей «Короля Лира» вслух. Я люблю Шекспира, хотя он часто необуздан и границ не знает, например, в бесчисленных убийствах и смертях.

6 марта. Переписала «О жизни и смерти» и сейчас перечла внимательно. С напряжением искала нового, находила меткие выражения, красивые сравнения, но основная мысль для меня вечно несомненная — все та же. То есть отречение от материальной, личной жизни для жизни духа. Одно для меня невозможно и несправедливо — это то, что отречение от личной жизни должно быть во имя любви всего мира,— а я думаю, что есть обязанности несомненные, вложенные богом — и от них отречься не вправе никто, и для жизни духа они не помеха, а даже помощь.

На душе уныло. Илья очень огорчает своей таинственной и нехорошей жизнью. Праздность, водка, часто ложь, дурное общество и главное — отсутствие всякой духовной жизни. Сережа уехал опять в Тулу, завтра заседание в их крестьянском банке[7]. Таня и Лева огорчительно играют в винт. С меньшими детьми я потеряла всякую способность *воспитывать.* Мне их всегда ужасно *жаль,* и я боюсь их избаловать. У меня старческий страх за них и старческая нежность к ним. Желание же и важность образования их остались все так же сильны. Точки опоры в жизни у меня теперь нет никакой; но есть прекрасные минуты одинокого созерцания смерти и иногда ясное понимание того раздвоения материального и духовного сознания, себя и несомненность вечной жизни того и другого.

Левочка иногда собирается в деревню, но опять остается. Я всегда молчу и не считаю себя вправе вмешивать

свою волю в его действия. Он очень переменился; спокойно и добродушно смотрит на все, принимает участие в игре в винт, садится опять за фортепьяно и не приходит в отчаяние от городской жизни. Было письмо от Черткова [8]. Не люблю я его: не умен, хитер, односторонен и не добр. Л. Н. пристрастен к нему за его поклонение. Дело же Черткова в народном чтении, начатое по внушению Л. Н., я очень уважаю и не могу не отдать ему в этом справедливости [9]. Фейнерман опять в Ясной. Он бросил где-то жену беременную с ребенком — без средств и пришел жить к нам. Я за семейный принцип, и потому для меня он не человек и хуже животного. Как бы фанатичен он ни был, какие бы мысли и прекрасные слова он ни говорил — факт оставления им семьи и питанья на счет дающих ему остается несомненен и чудовищен.

9 марта. Левочка пишет статью «О жизни и смерти» новую для чтения в университете в Психологическом обществе [10]. Вот уже неделя, как он опять вегетарианец [11], и это уже сказывается в его расположении духа. Он сегодня нарочно начинает с кем-нибудь при мне заговаривать о зле денег и состояния, намекая на мое желание сохранить его для детей. Я молчала, но потом вышла из терпения и сказала: «Я продаю 12 частей за 8 р. [12], а ты одну «Войну и мир» продавал за 10 р.» [13]. Он рассердился и замолчал. Так называемые *друзья* новые христиане страшно восстанавливают Л. Н. против меня и не всегда безуспешно. Перечла я письмо Черткова о его счастье в духовном общении с женою и соболезнование, что Л. Н. не имеет этого счастья и как ему жаль, что он, столь достойный этого, лишен этого общения [14], — намекая на меня. Я прочла, и мне больно стало. Этот тупой, хитрый и неправдивый человек, лестью опутавший Л. Н., хочет (вероятно, это *по-христиански*) разрушить ту связь, которая скоро 25 лет нас так тесно связывала всячески! Когда Лев Николаевич был болен, эти два месяца мы жили по-старому. Я видела, как он отдохнул душой и как в нем проснулось это старое творчество. И он написал драму. Путы его притворно-слащавых новых христиан снова опутывают его, и он уже порывался в деревню, и я видела, как потухал этот огонь и как это действовало на его душу.

Отношения с Чертковым надо прекратить. Там все ложь и зло, а от этого подальше.

Сегодня гости — молодежь. Обедали, а потом винт. Какое грустное явление этот всемирный винт! Холодно, до 14° мороза по ночам.

14 марта. Москва. Сижу совсем одна, кругом тихо, и мне очень хорошо. Трое маленьких спят. Таня, Маша и Лева в гостях у Татищевых. Илья сидит три дня наказан в казармах за то, что опоздал на ученье [15]. А Лев Николаевич уехал с Н. Н. Ге (сыном) в университет, в Психологическое общество, будет читать свою новую статью «О жизни и смерти». Мы с Ге спешили ее переписывать, и я весь день сегодня писала [16]. Л. Н. нездоров, боли и нытье в желудке, расстройство пищеварения — и при этом самое бестолковое питание, то жирное, то вегетарианское, то ром с водой и проч. В духе он унылом, но добром. Был посланный из Петербурга господин за костюмами в Ясную Поляну для драмы нашей [17]. Вчера получила письмо от Потехина, что *не* наверное еще пропустят ее на сцене [18]. Но репетируют и все готовят. Колеблюсь, ехать ли на генеральную репетицию! И хочется и страшно дом оставить. Еще не решила. Как будет здоровье Левочки. Была с детьми на коньках — не каталась. Все молодые радости отпадают понемногу. Левочка много работал над этой статьей, и она очень мне нравится. Он второй раз уже в университете — стал делать отступления от разных предвзятых правил: комнату часто убирает Григорий [19], пищу, когда нездоров, ест и мясную; когда мы играем в винт, присаживается и он. Пропало упорство, и пропало и дурное расположение духа, стал веселее и добрее. За продажу книг тоже не сердится, рад, что 8 р. издание [20].

30 марта. Здоровье Левочки все нехорошо. Боль под ложечкой продолжается 3-й месяц. Я решилась пригласить Захарьина и написала ему. Но Л. Н. предупредил приезд Захарьина и вчера вечером пошел к нему. Захарьин нашел катар желчного пузыря и вот что предписал; записываю для памяти:

1) Ходить в теплом.
2) Фланель не мытую на весь живот.
3) Масла совершенно избегать.
4) Кушать часто и понемногу.
5) Эмс Кренхен или Кесельбрунн свежего привоза по пол-($^1/_2$) стакана три или четыре раза в день подогретый: 1) натощак, 2) $^1/_4$ часа спустя и час до завтрака

и 3-й — за час до обеда. Три недели подряд. Потом перестать и позднее повторить, если нужно. Пить так тепло, как можно сразу, чтоб не обжечься, теплей парного молока.

6) Бороться с слабостью куренья.

18 июня. Мне упрекают многие, что я не пишу своего журнала и записок, так как судьба поставила меня в столкновение с таким знаменитым человеком, как Лев Николаевич. Но как трудно отрешиться от *личного* отношения к нему, как трудно быть беспристрастной и, наконец, как страшно занято все мое время — и всю жизнь так. Думала, буду свободна это лето и займусь перепиской и разборкой рукописей Льва Николаевича. А вот больше месяца, что я тут, и Лев Николаевич всецело занял меня переписываньем для него статьи его «О жизни и смерти», над которой он усиленно трудится уж так давно. Только что перепишешь все — опять перемарает, и опять снова. Какое терпение и последовательность. А нужно бы писать записки, хотя бы для того, чтоб многое непонятное в его жизни объяснять. Например, было написано письмо к Энгельгардту, оно ходит в рукописи к N. N. Лев Николаевич никогда не видал молодого Энгельгардта, который, как и многие другие, написал письмо Льву Николаевичу как известному писателю. Но Л. Н. был мрачно настроен. Проводя мысли свои в писании, он хотел и не мог провести их в жизни, он чувствовал себя одиноким и несчастным, и он излил, как бы в дневник, мысли свои в письме к незнакомому человеку [21].

Еще странны его отношения и переписка с людьми, которых репутация ужасна, которых просто считают бесчестными — как Озмидов, например [22]. Я на днях, увидав на конверте адрес Озмидову, спросила Льва Николаевича, почему он продолжает свои отношения и переписку, зная, что это дурной человек? Он мне ответил: «Если он дурной, то я ему более, чем другим, могу быть нужен и полезен». Этим объясняются его сношения с многими нехорошими, неясными и часто совсем незнакомыми (темными) людьми, которые бывают у нас в огромном количестве [23]. Вчера еще приходил студент-медик IV курса, отчаянный революционер [24], которому Л. Н. внушал заблуждение революции. Убедил ли он его — не знаю. Этого я не видала. Сегодня получено много писем из Америки, статья Кеннана в Century о посещении его Яс-

ной Поляны и о разговорах Льва Николаевича и еще печатный отзыв о переведенных произведениях Л. Н. Все очень лестное и симпатизирующее [25]. Ужасно странно и приятно в такой дали находить такое верное понимание и сочувствие.

Левочка ушел в Ясенки пешком с двумя дочерьми и двумя Кузминскими девочками. Идет дождь, я послала за ними катки и платья. Левочка без окружавших его апостолов, Черткова, Фейнермана и др., стал тем же милым, веселым семейным человеком, каким был прежде. На днях он с увлечением проиграл на фортепьяно весь вечер: Моцарта, Вебера, Гайдна, со скрипкой. Он, видимо, наслаждался. На скрипке играл юноша 18 лет, которого я взяла для Левы учителем игры на скрипке, по его желанию. Юноша этот, Ляссота, из Московской консерватории.

Приехавши из Москвы 11 мая, я настояла, чтоб Левочка пил воды по предписанию Захарьина, и он повиновался. Я подносила ему молча стакан подогретого Эмса, и он молча выпивал. Когда бывал не в духе, говорил: «Тебе скажут, что нужно вливать что-то, ты и веришь. Я это делаю, потому что вред будет небольшой». Но он пропил все три недели и к вегетарианству не возвратился. На мой взгляд, здоровье его очень поправилось; он много ходит, стал сильнее и только спит недостаточно, часов 7; я думаю, это от слишком усидчивой умственной работы.

Его радует его успех или, скорее, сочувствие в Америке, но успех и слава вообще влияют на него мало. Вид у него теперь счастливый и бодрый, и он часто говорит: «Как хороша жизнь!»

Скучаю об Илюше и мучаюсь, что до сих пор его не навестила [26]. Но он последний год этот показывал так мало потребности сношений с семьей, так далек был от всех нас, что не думается, что мы нужны ему. Бедный он, сбился как-то, нравственно опустился и оттого такой подавленный и жалкий. Поеду на этих днях к нему.

Ко мне приходят ежедневно пропасть больных. С помощью книги Флоринского [27] я лечу всех; но что за нравственное мучение — это бессилие иногда понять, узнать, в чем болезнь и как помочь! Иногда мне поэтому хочется бросить это дело, но выйдешь, видишь это трогательное доверие, эти больные умоляющие глаза, и станет жалко, и с упреком совести, что делаешь, может быть, совсем не то, даешь лекарства и стараешься не вспоминать об этих несчастных. А на днях у меня не было того средства,

которое было нужно; я даю записку в аптеку и деньги на лекарство. Больная вдруг заплакала, отдала деньги и говорит: «Я, видно, помру, а деньги возьмите, дайте кому победнее меня, спасибо, а мне не надо».

21 июня. Наконец жара, и купалась в первый раз. Вчера вечером приезжал познакомиться с Львом Николаевичем актер Андреев-Бурлак [28]. Он *рассказывал* вроде рассказов Горбунова, из крестьянского быта [29]. Все разошлись, остались мы с Львом Николаевичем и Лева и сидели до 2-го часа ночи. Рассказы были удивительно хороши, и Левочка так смеялся, что нам с Левой стало жутко. Сегодня он все переправлял свою статью «О жизни и смерти» и все после обеда косил в клинах, в саду. Я читала Страхова книгу против спиритизма, тяжело читается и увы! не убедительно — или я плохо понимаю [30]. Днем, до купанья, собрала молодых своих и читала им «Герой нашего времени». Какие там есть замечательные и уже созревшие мысли. Очень люблю Лермонтова. Если, по преданию, он и был желчный и неприятный человек, то ведь он был так умен и *так* выше уровня людей. *Его* не понимали, а *он* видел всех и все насквозь.

Чувствую себя слабой и физически и нравственно. Подавлена наплывшими на меня воспоминаниями и сожалениями. Это хуже всего.

2 июля. Была в Москве, поехала к Илье и так рада была увидать его добродушное лицо. Он, видно было, что обрадовался мне тоже. Живет он в избе, хозяева его любят, но живет как-то бестолково. Мне как матери, которая когда-то кормила его грудью, стало его жаль, что он, платя долги деньгами, которые я ему даю, ест в долг закуски и сладости и никогда не обедает. Но он этим не тяготится. Весь интерес его жизни — это Соня Философова; он живет воспоминаниями, перепиской и будущим. Теперь он тут, был на охоте, убил 3-х бекасов и завтра уезжает. Мне очень грустно, но надо привыкать, что птенцы из гнезда улетели.

Страхов у нас; как умен, тих и приятен! [31] Левочка занимается покосом и 3 часа в день пишет статью [32]. Дело к концу. На днях Сережа играл вальс, пришел Левочка вечером, говорит: «Пройдемся вальс». И мы протанцевали к общему восторгу молодежи. Он очень весел

и оживлен, но стал слабее и устает более прежнего от покоса и прогулок. У него длинные разговоры с Страховым о науке, искусстве, музыке; сегодня о фотографии говорили, потому что я привезла и буду заниматься фотографией, снимать виды и всю семью нашу. Таня, дочь, в Пирогове.

3 июля. Сережа играет сонату Бетховена Крейцеровскую с скрипкой (Ляссоты), что за сила и выражение *всех* на свете чувств! На столе у меня розы и резеда, сейчас мы будем обедать чудесный обед, погода мягкая, теплая, после грозы,— кругом дети милые — сейчас Андрюша старательно обивал свои стулья в детскую, потом придет ласковый и любимый Левочка — и вот моя жизнь, в которой я наслаждаюсь сознательно и за которую благодарю бога. Во всем этом я нашла *благо* и *счастье*. И вот я переписываю статью Левочки «О жизни и смерти», и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества — я помню, что я стремилась всей душой к *тому* благу — самоотречения полнейшего и жизни для других, стремилась даже к аскетизму. Но судьба мне послала семью — я жила для нее, и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была *жизнь*. Додумаюсь ли я когда до этого?

Вчера уехал Страхов, сегодня Илья. Вчера делали с Сережей опыты с фотографией, которую я купила.

19 июля. Прошло несколько бестолковых дней. Сережа ездил в Самару и вернулся, не устроив там ничего[33]. Был Голохвастов П. Дм., крайне православный и славянофил; были у него разговоры с Львом Николаевичем о религии и церкви. Очень было неприятно. Голохвастов рассказывал с пафосом о прекрасном соборе в Новом Иерусалиме (Воскресенске), что там бывает до 10 000 человек богомольцев и о красоте постройки. Л. Н. слушал, слушал и сказал: «И все они приходят смеяться над богом». Сказано это было с иронией и даже злобой. Я вступилась, говорила, что это гордость говорит, что 10 000 человек смеются, а он один прав, исповедуя свою веру, а что надо же допустить, что какой-нибудь более высокий мотив заставил этих людей собраться в этом храме. После обеда Голохвастов заговорил о патриархе Никоне, как интересна его жизнь и личность. Лев

Николаевич читал газету, а потом вдруг высказал опять тем же тоном: «Он был мужик, мордвин, и если ему было что сказать, то что же он не говорил». Тогда Голохвастов вспыхнул и сказал: «Или вы смеетесь надо мной, или — я привык уважать слова других — и тогда я, может быть, и задумался бы об этом вопросе». Вообще было тяжело.

Был Буткевич, бывший революционер, сидевший в первый раз в тюрьме по политическим делам и второй раз по подозрению. Он молодой человек, сын тульского помещика, писал Льву Николаевичу, что, когда он вышел из острога, одна его знакомая дама сделала вид на улице, что его не узнала, и ему это было больно. Прежде, когда он приходил к Льву Николаевичу, я его не звала, и он сидел внизу; теперь же мне его стало жаль, и я позвала его чай пить. Потом он жил тут два дня и очень мне не понравился. Упорно молчит, неподвижное лицо, очень черный брюнет, синие очки и кривой глаз. Из немногих слов ничего нельзя извлечь, никакого взгляда его на что бы то ни было. Теперь он один из *толстоистов*. Как мало симпатичны все типы, приверженные учению Льва Николаевича! Ни одного нормального человека. Женщины тоже большей частью истерические. Вот сейчас уехала Мария Александровна Шмидт. В старину это была бы монахиня, теперь это восторженная поклонница идей Льва Николаевича. Она была классная дама Николаевского института, вышла потому, что отпала от церкви и теперь живет в деревне, и только перепиской сочинений, запрещенных, Льва Николаевича. Когда она встречает или расстается с Л. Н., она истерически рыдает. Павел Иванович Бирюков тоже тут: он из лучших, смирный, умный и тоже исповедующий *толстоизм* [34]. Еще приехала Голохвастова с воспитанницей [35] и племянник Андрюша с учителем [36].

Очень шумно, тяжело и скучно. Хотелось бы семейного одиночества и больше серьезности жизни и досуга. Гости отняли и отнимают все время. Был еще Абамелек, привозивший Helbig — мать с дочерью; она рожд. кн. Шаховская, замужем за профессором немецким, тоже приезжали смотреть знаменитость русскую — Толстого. Хотя они оказались очень приятные и хорошие очень музыкантши, но повинность тяжелая никогда не *выбирать* людей и друзей и принимать всех и вся. Жара утром, свежесть ночью. Купаемся, изобилие плодов.

4 августа. Сегодня уехала гр. Александра Андреевна Толстая, гостила с 25 июля [37]. У Левочки был сильный желчный пароксизм. Начался 16-го июля, до сих пор не совсем здоров. Вчера вечером повез П. И. Бирюков статью «*О жизни*» в печать. Слова: *и смерти* выкинул. Когда он кончил статью, он решил, что *смерти нет* [38]. Были дожди, теперь прояснилось немного.

19 августа. Был художник Репин, приехал 9-го, уехал 16-го в ночь. Он написал два портрета Льва Николаевича; первый он начал в кабинете, внизу, остался им недоволен и начал другой наверху, в зале, на светлом фоне. Портрет удивительно хорош. Он пока у нас сохнет. Первый он кончил на скорую руку и подарил мне [39]. Начали печатать статью, но шрифт нехорош, будут перебирать набор. Здоровье Левочки удовлетворительно, но иногда жалуется на боль печени. Погода ясная, чудесная. Илья приезжал на 15 и 16-е, здоров и весел бесконечно — и то хорошо. А то бывает, что плох человек да еще мрачен и болен. Меня мучает беременность и физически и нравственно. Левочка здоровьем пошел под гору, а жизнь семейная усложняется; и своих сил нравственных все меньше и меньше. Приехал Степа, брат, с женой [40], вчера он поехал в Петербург хлопотать о переводе его в Россию, а она тут. Не поймешь, какая она, очень сдержанна и старательна. У Левочки темные люди: Буткевич, Рахманов и студент киевский. Народ все несимпатичный и чуждый, тяжелый в семейной жизни. И сколько их бывает! Повинность ради Левочкиной известности и новых его идей.

По вечерам читает нам всем вслух сам Левочка «Мертвые души» Гоголя [41]. У меня невралгия.

25 августа. Весь день отбирала и разбирала рукописи Левочки, хочу свезти их в Румянцевский музей на хранение. Мучительно разбирать путаницу, которую, *наверное,* ни разобрать, ни наполнить нельзя. Хочу еще отвезти туда же письма, дневники, портреты и все, что касается Льва Николаевича [42]. Я поступаю *благоразумно,* но мне почему-то грустно это делать. Или я умру, что привожу все в порядок?

У нас гостит Степа с женой и милый Страхов. Жара ужасная, у меня болит горло. Левочка слаб и начал 20-го опять пить Эмс. Приехала Верочка Толстая и Маша за

деньгами для брата Сережи. Левочка все сидит над статьей, но энергия его как будто упала для этой работы.

Лев Николаевич начал пить воды 17 июня 1888 г. Эмс Кессельбрунн.

Пил те же воды четыре недели в июне 1889 г. и четыре недели в мае 8-го 1890 и кумыс все лето.

Принес этот цветок мне Левочка в октябре 1890 года, в Ясной Поляне * [43].

1890

20 ноября. Ясная Поляна. Переписываю дневники Левочки за всю его жизнь и решила, что буду опять писать свой дневник: тем более, что никогда я не была более одинока в семье своей, как теперь. Сыновья все врозь: Сережа — в Никольском, Илья с семьей — в Гриневке, Лева — в Москве, и Таня туда уехала на время. Живу с маленькими и воспитываю их. С Машей никогда у нас связи настоящей не было, кто виноват — не знаю [1]. Вероятно, я сама. А Левочка порвал со мной всякое общение. За что? Почему? — совсем не понимаю. Когда он нездоров, он принимает мой уход за ним как должное, но грубо, чуждо, ровно настолько, насколько нужны припарки и проч. Всеми силами старалась и так сильно желала я взойти, хотя немного, с ним в общение внутреннее, духовное. Я читала тихонько дневники его, и мне хотелось понять, узнать — ка́к могу я внести в его жизнь и сама получить от него что-нибудь, что могло бы нас соединить опять. Но дневники его вносили в мою душу еще больше отчаяния; он узнал, верно, что я их читала, и стал теперь куда-то прятать. Но он мне ничего не сказал.

Бывало, я переписывала, что он писал, и мне это было радостно. Теперь он дает все дочерям и от меня тщательно скрывает. Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно. Бывает так, что в этой безучастной жизни на меня находит бешеное отчаяние. Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь — все, только не жить с человеком, которого, несмотря ни на что, всю жизнь за что-то я любила, хотя теперь я вижу, ка́к я его идеализи-

* Последние три абзаца приписаны С. А. Толстой позднее.

ровала, ка́к я долго не хотела понять, что в нем была одна чувственность. А мне теперь открылись глаза, и я вижу, что моя жизнь убита. С какой я завистью смотрю даже на Нагорновых каких-нибудь, что они *вместе,* что есть что-то связывающее супругов, помимо связи физической. И многие так живут. А мы? Боже мой, что за тон — чуждый, брюзгливый, даже притворный! И это я-то, веселая, откровенная и так жаждущая ласкового общения!

Завтра еду в Москву по делам. Мне это всегда трудно и беспокойно, но на этот раз я рада. Как волны, подступают и опять отхлынивают эти тяжелые времена, когда я уясняю себе свое одиночество, и все плакать хочется, надо отрезать как-нибудь, чтоб было легче. Взяла привычку всякий вечер долго молиться, и это очень хорошо кончать так день. Учила сегодня музыке Андрюшу и Мишу и сердилась. Андрюша брюзгливо относится к моей горячности, а Миша всегда жалок. Я очень их люблю и воспитывать их считаю отрадным долгом, который, верно, как всегда, исполняю неумело и дурно. У нас Вера Кузминская, и она мне стала родная по чувству, верно, оттого, что на Таню-сестру похожа. Живу в деревне охотно, всегда радуюсь на тишину, природу и досуг. Только бы *кто-нибудь,* кто относился бы ко мне поучастливее! Проходят дни, недели, месяцы — мы слова друг другу не скажем. По старой памяти я разбегусь с своими интересами, мыслями — о детях, о книге, о чем-нибудь — и вижу удивленный, суровый отпор, как будто он хочет сказать: «А ты еще надеешься и лезешь ко мне с своими глупостями?»

Возможна ли еще эта жизнь вместе душой между нами? Или все убито? А кажется, так бы и взошла попрежнему к нему, перебрала бы его бумаги, дневники, все перечитала бы, обо всем пересудила бы, он бы мне помог жить; хотя бы только говорил не притворно, а вовсю, как прежде, и то бы хорошо. А теперь я, невинная, ничем его не оскорбившая в жизни, любящая его, боюсь его страшно, как преступница. Боюсь того отпора, который больнее всяких побоев и слов, молчаливого, безучастного, сурового и нелюбящего. Он не умел любить,— *не привык* смолоду.

5 декабря. Продолжаю дневник. Была в Москве, видела много людей и много приветливости. И за то спасибо судьбе. Таня была там же, с ней всегда мне хорошо, и я

дорожу ее близостью. Лева весь дергается нравственно, и как подойдешь к нему — подпадаешь под его толчки, и больно бывает. Но он всегда чует, когда толкнул, и это хорошо. Как-то он выберется из своего тревожного и пессимистического состояния. Вернулась 25 утром. Левочка собирался в Крапивну с Машей, Верой Толстой и Верой Кузминской. Была метель и холод. Но удержать их я была не в силах. Там был суд, и, благодаря влиянию Левочки, преступников-убийц приговорили к очень легким наказаниям: поселению вместо каторги. Вернулись поэтому все очень довольные [2]. Болел Миша, 5 дней горел, что-то желудочное. Пришлось за ним очень ухаживать, утомилась я, не отдохнувши от Москвы. Теперь гости: больной Русанов, Буланже, Буткевич, Петя Раевский. Кроме последнего, все люди чуждые, и скучно с ними. С Левочкой менее чуждо, но у него все зависит от настроения. Играла сегодня одна Бетховена сонату (una fantasia) и Аделаиду и Шуберта разбирала. Вечером читала стихи Фета, вслух, чтоб гостей занять. Но и музыка и стихи мне доставили удовольствие. Таня и Маша провожали Веру Кузминскую и вернулись из Тулы к обеду. Вчера была и я в Туле: продажа дров, раздел с священником Овсянникова [3], деньги в банк, покупки. Истратив энергию на практические дела, мне делается тоскливо всегда и досадно. На лучшее могла бы тратиться эта энергия.

6 декабря. Праздник, рождение Андрюши — ему 13 лет. Ходили все на гору и на коньках кататься. Ребята, девки — все нарядные и веселые. Дети очень веселились. Я каталась на коньках вяло, и не веселит больше. Таня уехала в Тулу к Зиновьевым и Давыдовым — на именины. Гости те же: Русанов, Буланже, Буткевич и Петя Раевский, уехавший с Таней. Чувствую свое физическое потухание, грудь болит, дыханье тяжко, женское состояние тоже тревожное и болезненное. Порадовало письмо Соф. Алекс. Философовой о старших сыновьях. У матерей одно желанье — чтоб *счастливы* были дети. А у них там пока, по-видимому, все счастливо. Левочка все также держит себя отчужденно и холодно ко всем, но мне это чувствительней других. Мало делала дела: писала немного дневники Льва Николаевича, гостей занимала, с детьми возилась. Ванечка [4] много времени берет.

7 декабря. Писала весь день, нездоровится. Был Давыдов с следователем, проездом в Крапивну. Читала сказку Лескова «Один час божий». Талантливо, но ненатурально [5]. Не люблю ни в чем фальши. Левочка весел и как будто здоров.

8 декабря. Все переписываю дневник Левочки. Отчего я его никогда прежде не переписывала и не читала? Он давно у меня в комоде. Я думаю, что тот ужас, который я испытала, читая дневники Левочки, когда я была невестой, та резкая боль ревности, растерянности какой-то перед ужасом мужского разврата — никогда не зажила. Спаси бог все молодые души от таких ран — они никогда не закроются. Учила музыке Андрюшу и Мишу. Андрюша был так зло упрям, что терпенья не хватало. Но я решилась быть сдержанна. И не рассердилась, но вдруг разрыдалась. Он тоже заплакал, и начал слабо обещать хорошо учиться, и сейчас же справился. Мне было стыдно, но, может быть, к лучшему. Читала глупую повесть в Revue d. d. M., и вечером Таня читала по указанию Левочки скучную повесть шведскую, в переводе. Хочется читать что-нибудь серьезное, мыслителя какого-нибудь, да не приберу что. Настроена я хорошо теперь, кротко, и думать все хочется о хорошем. Но сны у меня грешные и спокойствия мало, особенно временами.

9 декабря. Опять с тяжелым чувством кончаю день. Все — тревожно. Переписывала молодой дневник Левочки [6]. Сегодня гуляла и думала — день удивительно красивый. Морозно, 14°, ясно; на деревьях, кустах, на всякой травке тяжело повис снег. Шла я мимо гумна, по дороге в посадку, налево солнце было уже низко, направо всходил месяц. Белые макушки дерев были освещены, и все покрылось светло-розовым оттенком, а небо было сине, и дальше на полянке пушистый, белый, белый снег. Вот где *чистота.* Как она красива везде, во всем. Эта белизна и чистота в природе, в душе, в нравах, в совести, в жизни материальной — везде она прекрасна. И как я ее старалась блюсти и зачем? Не лучше ли бы были воспоминанья любви — хотя и преступной — теперешней пустоты и белизны совести?

Играла на фортепьяно сначала с Таней симфонию Моцарта, потом с Левочкой. Сначала с ним не пошло, и он

брюзгливо и недовольный на меня напал; хотя это было коротко и почти незаметно, но у меня *та́к* наболел в душе этот его тон со мной, что все удовольствие игры в 4 руки пропало, и стало грустно, грустно — ужасно. Прервал нашу игру приход Бирюкова. Девочки взволновались — Таня за Машу, Маша за себя. Все стали ненатуральны, говорили много и тоже натянуто, вообще неприятно. Надеюсь, что он скоро уедет и что Маша успокоится. Раз затеянная глупая история не скоро уляжется [7]. Читала роман в Revue des deux Mondes. Там девушка в гостях у человека, которого она любит, и как ей радостно быть окруженной той обстановкой, теми вещами, среди которых *он* живет. Как это верно!

Но если это вещи: сапожные инструменты, сапоги, судно, грязь... тогда как быть? Нет, никогда к этому не привыкну [8].

10 декабря. Тяжелое время пришлось переживать на старости лет. Левочка завел себе круг самых странных знакомых, которые называют себя его последователями. И вот утром сегодня приехал один из таких, Буткевич, бывший в Сибири за революционные идеи, в черных очках, сам черный и таинственный,— и привез с собой еврейку-любовницу, которую назвал своей женой только потому, что с ней живет. Так как тут Бирюков, то и Маша пошла вертеться там же, внизу, и любезничала с этой еврейкой. Меня взорвало, что порядочная девушка, моя дочь, водится с всякой дрянью и что отец этому как будто сочувствует. И я рассердилась, раскричалась; я ему зло сказала: «Ты привык всю жизнь водиться с подобной дрянью, но я не привыкла и не хочу, чтоб дочери мои водились с ними». Он, конечно, ахал, рассердился молча и ушел. Присутствие Бирюкова тоже тяжело, жду не дождусь, что он уедет. Вечером Маша осталась с ним в зале последняя, и мне показалось, что он целует ей руку. Я ей это сказала; она рассердилась и отрицала. Верно, она права, но кто разберет их в этой фальшивой, лживой и скрытной среде. Измучили они меня, и иногда мне хочется избавиться от Маши, и я думаю: «Что я ее держу, пусть идет за Бирюкова, и тогда я займу свое место при Левочке, буду ему переписывать, приводить в порядок его дела и переписку и тихонько, понемногу отведу от него весь этот ненавистный мир «темных».

Лева что-то не едет, здоров ли он. С Андрюшей и Мишей мечтали играть на святках пьесу, переделанную из японской сказки. Вязала Мише одеяло, переписывала, учила детей 2 часа закону божьему и теперь буду читать.

11 декабря. С утра все писала дневник Левочки, и это вызывает всегда целый ряд мыслей. Думала, между прочим, что не любишь того человека, который лучше других тебя знает, со всеми слабостями, и которому уж нельзя показаться *одной* стороной. Вот отчего так часто супруги к старости именно расходятся, т. е. тогда, когда *все* разоблачится и разъяснится и ясность эта не в пользу того или другого. Учила музыке хорошо и терпеливо. Бирюков еще остался на день. Маша приходила объясняться о вчерашнем, и я ей сказала, что жалею, если напрасно ее оскорбила. Между прочим, она сегодня говорит легкомысленно и смеясь: «Отдайте меня за него замуж, и делу конец. Вы ведь считаете его хорошим человеком». Будто этого довольно. Я замечала, что матери испытывают почти влюбленное чувство к женихам дочерей, и тогда симпатия будущих супругов обеспечена. А я к Бирюкову испытываю отвращение, и это чувство очень скоро испытала бы и Маша. Но она этого не видит — или она не моя дочь.

Приехал Лева, мне стало как-то празднично весело, но он невеселый и, как отец, эгоистично занят собой больше всего. Ванечка так трогательно ему обрадовался и так любовно смотрел на него, а он сурово отнесся к нему. Вот так забивают в детях и людях любовность и ласковость. Так и сам Лева плакал, когда его маленького и нежного отдали от англичанки вниз к гувернеру, и он говорил, что он *испортится* внизу, и я хотела его взять обратно. Но отец сурово отнесся к Леве, оставил его у учителя — и бог знает, не имело ли это дурное влияние на Леву в смысле меньшей нежности, радостности и крепости нерв. Вечером сидели все вместе, у Тани болит спина, и она странна и невесела. Вот кому нужна новая жизнь, нужно замужество. Всякий день молюсь об этом. Думала нынче, что грех мне роптать на судьбу; если отнята одна сторона счастья,— то так много других, и говорю совсем искренно: «Благодарю тебя, боже».

Во время обеда Левочка мне сказал, что меня ждут те мужики, которые срубили на посадке 30 берез и которых вызывают на суд[9]. Всякий раз как мне говорят, что *меня*

ждут, что *я* должна что-то решать, на меня находит ужас, мне хочется плакать, и точно я в тиски попадаю, некуда выскочить, это навязанное мне *по христианству* хозяйство, дела̀, это самый большой крест, который мне послан богом. И если спасение человека, спасение его духовной *жизни* состоит в том, чтобы *убить* жизнь ближнего, то Левочка спасся. Но не погибель ли это двум?

13 декабря. Вчера не писала дневника, весь день была расстроена мыслью о мужиках, которых судили, и так до вечера не узнала. Уехал Бирюков, приехал Диллон, англичанин, переводчик: «Ходите в свете» и т. д. Переписывала вчера весь день дневники Левочки, и были моменты, в которые мне жаль его было: какой он был одинокий и беспомощный! А путь его всегда был тот же, как и всю жизнь, на пути мысли. Сегодня узнала, что мужиков присудили 6 недель острога и 27 р. штрафа. И опять спазмы в горле, и весь день плакать хочется; главное, *себя* жалко; зачем это моим именем надо делать зло людям, когда я не чувствую, не желаю и не могу любить никакого *зла*. Даже с практической точки зрения — ничто не мое, а я какой-то бич! Три часа учила детей подряд и была терпелива. Вчера с Левой говорили о Тане и Маше, и оба желаем их замужества, но, конечно, не за Бирюкова [10]. Левочку почти не вижу, он точно рад и успокоился в этой отчужденности, а мне так грустно и тяжело это, что подчас и вовсе жить не хочется.

Ходили вечером поздно гулять и на ледяную гору: Таня, Маша, Лева, Лидди, Андрюша и Миша. Дети все катались, а я так прохаживалась. Лунная ночь удивительная, мороз 15°; так красива эта чистая, яркая белизна снега, деревьев, лунного освещения, что уйти невозможно, все бы любовался. Я говорю Леве: «И ничего больше не надо, только смотреть на это». А он говорит: «А мне этого мало».

14 декабря. Дописала сегодня в дневниках Левочки до места, где он говорит: «Любви нет, *есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни»* [11]. Да, если б я это его убеждение прочла 29 лет тому назад, я ни за что не вышла бы за него замуж. День провела обычно: учила Мишу, возилась с Ванечкой, разговорилась с Диллоном; приехал А. В. Цингер, студент. Учила Сашу [12] «Отче наш», переписывала мало. С Машей говорила о Бирюкове. Она уверяет, что выйдет или за

него, или, если я не хочу, за никого. Но прибавила: «Да что вы беспокоитесь, мало ли что может случиться!» И мне показалось, что она сама ждет избавления от этих случайно спутавших ее уз. Таня о чем-то таинственно переговаривается с Машей, и как будто весело. Написала письма: Тане-сестре и письмо во французскую газету по поводу статьи «Figaro» 21 ноября 1890 г. о выгоде, которую я извлекаю от заграничных изданий соч. Льва Николаевича [13], письмо Дунаеву и Берсу Алекс.

15 декабря. День прошел бестолково. Уроку музыки помешал земский начальник Сытин, приехавший по желанию Тани поговорить о школе в Ясной. К обеду приехал Булыгин. Два раза ходила гулять с детьми. Второй раз — с Сашей, которая плакала вечером, что *скучно*. У нас и в доме-то какой-то на всех и на всем тяжелый нравственный гнет.

Левочка еще более мрачен и не в духе от приговора ясенских мужиков в арестантские роты за срубленные в посадке деревья. Но когда это случилось и приехал урядник, я спросила Левочку, что делать, составлять ли акт? Он задумался и сказал: «Пугнуть надо, а потом простить». Теперь оказалось, что дело уголовное и простить нельзя, и, конечно, опять *я* виновата. Он сердит и молчалив, не знаю, что́ он предпримет [14]. А мне тоскливо, больно и, как говорится: вот как дошло — думала нынче поехать к Илье, проститься со всеми и спокойно лечь где-нибудь на рельсы — как Агафья Михайловна часто грозила. А страшно — потому что легко исполнимо.

Уехал утром Диллон, вечером Булыгин и Цингер. Гостей нет.

16 декабря. Да, я совершенно потеряла всякую способность сосредоточиться на чем-нибудь, на какой-нибудь мысли, чувстве или деле. Этот хаос бесчисленных забот, перебивающих одна другую, меня часто приводит в ошалелое состояние, и я теряю равновесие. Ведь легко сказать, но во всякую данную минуту меня озабочивают: учащиеся и болящие дети, гигиеническое и, главное, духовное состояние мужа, большие дети с их делами, долгами, детьми и службой, продажа и планы Самарского именья — их надо достать и копировать для покупателей, издание новое и 13 часть с запрещенной «Крейцеровой сонатой» [15], прошение о разделе с овсянниковским попом,

корректуры 13 тома, ночные рубашки Мише, простыни и сапоги Андрюше; не просрочить платежи по дому, страхование, повинности по именью, паспорты людей, вести счеты, переписывать и проч. и проч.— и все это непременно непосредственно должно коснуться меня. И вот, когда случится такая история, как в прошлую ночь — я вижу, что я ошиблась, потеряла какую-то центральность и сделала больно Левочке совсем нечаянно. *История* эта, как и надо было ожидать, вышла из-за осужденных на 6-недельный арест мужиков за срубленные в посадке деревья. Когда мы подавали жалобу земскому начальнику, мы думали простить после приговора. Оказалось *уголовное* дело — отменить наказание нельзя, и Левочка пришел в отчаяние, что из-за *его* собственности посадят мужиков ясенских. Ночью он не мог спать, вскочил, ходил по зале, задыхался; упрекал, конечно, меня и упрекал страшно жестоко. Я не рассердилась, слава богу, я помнила все время, что он больной; меня ужасно удивляло, что он все время старался разжалобить меня по отношению к себе, и как ни пытался, но ни разу не было настоящего сердечного движенья, хотя бы краткого,— перенестись в меня и понять, что я совсем не хотела сделать больно ему и даже мужикам-ворам [16].

Это самообожание проглядывает во всех его дневниках. Поразительно, как для него люди существовали только настолько, насколько касались его. А женщины! Сегодня я себя поймала на очень дурном чувстве. Я, как пьяница, запоем переписываю его дневники, и пьянство мое состоит в волнении ревнивом там, где дело идет о женщинах. Я еще не спокойна и не могу отделаться от воспоминаний. На все время. Сегодня еще поразило меня в дневнике его, что рядом с развратом Левочка всякий день идет искать случая *сделать доброе дело.* И теперь как часто он идет гулять на шоссе, и то лошадь направит пьяному, то поможет запречь, то воз поднять — прямо ищет *делать доброе дело.*

Сегодня воскресенье. После тяжелой ночи, упреков и разговоров, весь день камень на душе и тоска. День прошел вяло. Метель, и никто не гулял, кроме мальчиков. Лева хотел ехать к Илье, но воротился, проехав деревню. Читали вечером французский перевод «Китайских сказок». Очень странно. Играла немного на фортепьяно. Вечером Ваня и Саша плясали и вообще прояснилось немного общее настроение.

17 декабря. Левочка начинает тревожиться, что я переписываю его дневники. Ему хотелось бы старые дневники уничтожить и выступить перед детьми и публикой только в своем патриархальном виде [17]. И теперь все тщеславие!

Приехали *темные:* глупый Попов, восточный, ленивый, слабый человек, и глупый толстый Хохлов из купцов [18]. И это последователи великого человека! Жалкое отродье человеческого общества, говоруны без дела, лентяи без образования. Таня и Лева уехали к Илюше и Сереже. Сидела дома, нездоровится, ночь не спала. Детей учить помешал Э. Э. Керн, бывший лесничий в казенной Засеке, теперь помещик, и очень полезен мне был разными советами и сведениями по лесной и садовой части.

19 декабря. Вчера, с утра, была в Туле с Андрюшей и m. Borel. Было холодно, и я все боялась за Андрюшу. Бегали за покупками и заказами. Заехали на минуту к Раевским — там одни мальчики. Вернулись почти к обеду. Вечером читал Алексей Митрофанович [19] о немецких колониях, вслух — скучно, и смотрели Review of Reviews. Устала, была неспокойна, Попов и Хохлов раздражают своей молчаливостью и бесцветностью.

Сегодня встала поздно, ночь не спала, вышла в залу, там офицер Жиркевич, молодой, аккуратный, приехал познакомиться с Левочкой, сам пишет стихи и прозу. Видно, очень довольный и собой и судьбой, но не глупый и понятный, не то, что «темные». Водила гулять Ванечку в первый раз зимой. Саша ходила с нами. Учила Мишу Новый завет и молитвы, и вот пишу дневник свой, а Левочкиного переписала только две страницы, а урок мой ежедневный — десять. С Андрюшей было неприятно, он часто *нарочно* не понимает и не *хочет* сделать ни малейшего усилия мысли или памяти. Вечером буду помогать с гостем, читать — и ванна.

20 декабря. Ночь не спала, встала поздно. Мучает отвратительное физическое состояние возбуждения и боли в спине. Ходила с детьми кататься на коньках, боялась упасть, лед плохой; разметала снег с садовником и крестьянскими девочками и своими 3 детьми, учила Сашу в первый раз кататься на коньках. Вернувшись, учила 3 часа детей: Андрюшу — богослужению и обоих — музыке. Рождение Миши — ему 11 лет. Вернулся Лева от

Ильи, привез Сашу Философову. Уехала Маша с кучером Филиппом[20] в Пирогово. Туда же уехала Таня, Наташа[21] и Илья, завтра вернутся. Лева брюзжал и на все ворчал, рассказал грустную историю ссоры Сережи с Илюшей о пустяках — о лошади.

Вечером переписывала немного для Левочки о церкви статью[22].

Церкви отрицать нельзя, как идею, как то, что должно блюсти собранием верующих — истинную религию. Но церковь с ее обрядами, как она есть — невозможна. Зачем протыкать палочкой кусочек хлеба, а не просто прочесть, что воин проткнул ребро Христа? И таких диких обрядов множество, и они убили церковь. 10 часов, будем пить чай и читать. Дневника Левочки не переписывала, чувствую себя потому спокойнее и чище.

23 декабря. Эти дни полны событий. Третьего дня утром, в 6 часов, нас разбудили — две телеграммы. Одна,— что Соня нездорова, другая,— что Соня родила сына[23]. Меня взволновало это известие и обрадовало, но не надолго, ввиду неосновательного, хотя доброго и хорошего отца — Илюши. К Соне всегда чувствую нежность за то главное, что она совершенно противоположна нашим всем нервным, беспокойным и горячим натурам, дергающим друг друга — она спокойная и кроткая. С курским поездом приехали Илья, Таня, Наташа Философова. С Ильей, как всегда неприятный,— денежный и имущественный разговор. Вечером он уехал. Вчера весь день была в Туле, обедала у Давыдовых, тоскливо покупала все для елки. Прежде это было весело, теперь же устала. Сегодня девочки Философовы уехали, приехала Маша Кузминская с Эрдели, мне неприятно было, что *с ним,*— и я не скрыла. День делали цветы на елку, золотили орехи и как-то невесело и бестолково прошел день. Получила очень льстивое и почти влюбленное письмо от Фета, и мне это было приятно, хотя никогда ни крошечки не любила его и он был мне скорее неприятен[24].

24 декабря. Встала поздно, вошел Ванечка, играла с ним час целый. Потом вышла — Сережа приехал, играл на фортепьяно. Он очень приятен и добродушен, как человек, который делал *дело* положительное и теперь может отдохнуть. Маша Кузминская с Эрдели не особенно приятны: ни то ни се, объявить женихами не велят, а ведут

себя так. Моя Маша жалка своей худобой и грустью. Делали пудинг, все дети, Таня, Liddie и я. Обедали весело, потом Левочка читал Библию, и смеялись многому. Вырезала куклы картонные, готовлю детям представление. Глупо. Приехал сейчас Дунаев. Поздно.

25 декабря. Рождество: с утра у всех праздничное настроение. Весь день провозилась с елкой. Утром за кофе у Левочки с Левой был горячий разговор о счастье, о цели жизни, а началось с того, что Лева говорил о перемене часов еды и вообще о недовольстве форм *нашей* жизни. Левочка ему очень умно и хорошо говорил, что все зависит от себя, от жизни *изнутри,* а не *извне.* Это было хорошо, но когда он начинает ставить в пример своих последователей, то делается досадно.

Елка прошла весело; было 80 человек с лишком ребят из деревни: мы усердно их оделяли, и наши были довольны и веселы. С Эрдели в первый раз говорила откровенно об его отношениях к Маше Кузминской и об его свадьбе будущей[25]. Они жалки с Машей; им так хочется соединиться, и все что-то мешает. Левочка весел и здоров, хотя жалуется, что пищеварение не всегда хорошо.

27 декабря. Вчера журнала не писала. Не люблю праздников с их бездельем, суетой и стремлением всех — веселиться. Весь день рисовала и клеила кукол, хочу устроить театр кукольный — для маленьких. К вечеру сделалась тоска от глупо и бездельно проведенного дня. Болели зубы, и ночь не спала. Сегодня с утра взяла «Le Sens de la Vie» Rod'a и весь день не могла оторваться от чтения этой книги[26]. Какое тонкое, умное, искреннее отношение ко всем вопросам жизни! Как правдиво, просто, без ломания говорится о всех серьезных и сложных положениях нашего ежедневного существования! И язык прекрасный. Во мне эта книга подняла давно заснувший интерес ко всему живому и духовному. Я вдруг почувствовала возможность, помимо подавляющей проповеди Левочки,— воспрянуть духом и создать свой собственный духовный мир.

Вечером пришли дворовые и прислуга наша ряженые и плясали под гармонию и фортепьяно. Это Таня все хлопотала, и самой ей хотелось *глупого* веселья. Она тоже и Маша нарядились. Но как только Маша вошла, мы с Левой ахнули. Она обтянула себе панталонами совсем

зад — оделась мальчиком — и стыда ни капли. Чуждое, глупое и бестолковое она создание.

Эти шумные явления действуют на меня всегда тоскливо. Я ушла в свою комнату, отворила форточку и взглянула на ясное, морозное, звездное небо и неожиданно вдруг вспомнила покойного У.[27]. Так мне стало грустно, невыносимо грустно, что он умер, что я навсегда, наверное, лишилась тех утонченных, чистых, умалчивающих, но, несомненно, более чем дружеских отношений, не оставивших ни тени укора совести и наполнявших столько лет жизни тем, что делало ее счастливой. А теперь — кому нужна моя жизнь, откуда ласковость, заботливость — разве только от Ванечки. И то хорошо, благодарю бога.

28 декабря. Rod'a книга в конце испортилась. Глава «Religion» * неясна и выхода, т. е. того Sens de la Vie **, которого он искал, не веришь, чтоб он его нашел. И все мы не нашли и *никогда* не найдем его. В искании — и жизнь. А там — поглотит нас опять то начало — бог, от которого мы и изошли. Да, без этого постоянного сознания в себе божества нельзя жить. Я так привыкла ни одного шага во дне не сделать, чтоб не сказать в душе: помоги, господи, прости, господи, помилуй, господи... Но жизнь моя — она совсем не божья, я это знаю, и все мне кажется: вот, вот начну я; буду добра, ласкова ко всем, будет свет добра вокруг меня, в котором всем будет хорошо. И не могу. Присматриваюсь все к Леве: в нем много содержания, ума и талантливости, но в нем мало чувства внутреннего самосохранения, его все суетит, беспокоит, интересует, волнует и даже мучает. Это молодость. Левочка — муж, умел блюсти свой внутренний мир, но у него семьи не было, и привычка отсутствия *этой* заботы осталась навсегда.

Вчера справки надо было сделать для Al. Толстой[28], и я перечитывала его письма ко мне. Было же время, когда он так сильно любил меня, когда для меня в нем был весь мир, в каждом ребенке я искала его же, сходство с ним. Неужели с его стороны это было только отношение физическое, которое, исчезнув с годами, оголило ту пустоту, которая осталась? Вчера он говорил в зале с Левой о форме рассказа, которую искал и хотел создать, когда

---

* «Религия» *(франц.)*.
** Смысла жизни *(франц.)*.

задумал писать «Крейцерову сонату». Мысль создать настоящий *рассказ* была ему внушена Андреевым-Бурлаком, актером и удивительным рассказчиком[29]. Он же рассказал ему, что раз, на железной дороге, один господин сообщил ему свое несчастие от измены жены, и этим-то сюжетом и воспользовался Левочка. Сегодня он не совсем здоров, болит под ложечкой, и пищеварение дурно.

Весь день переписывала дневники Левочки; вечером так хорошо, семейно разговаривали все вместе. Гостей ждали из Тулы: Давыдова, Лопухиных и Писаревых — никто не приехал. Холодно и ветер, 12°.

29 декабря. Чудный, ясный, красивый, морозный день. Синее небо, иней на деревьях и неподвижная тишина. Мы все были на воздухе почти весь день. Дети и девочки катались на скамейках, а Эрдели, Маша К., Лева и я — на коньках. Катаюсь я робко и плохо; но такое успокоительное и вместе упоительное чувство в этом движении. К обеду приехали Зиновьевы и m-me Жулиани с мальчиком. Зиновьевы понятные, приятные люди. Люба играла, и хорошо, но по-ученически, ничего не дает ее игра. М-me Жулиани пела с Надей и одна. У Жулиани в пении много страстности и в натуре, верно, тоже. Левочке не совсем здоровится, он тих и необщителен. Сережа уезжает к Олсуфьевым. Таня нервно весела.

30 декабря. С утра до обеда возилась с Ванечкой, няня уезжала к матери. Дочитала Rod'a, и молитва его опять понятна и искренна. После обеда с Андрюшей и Мишей готовили театр. Умственно сплю. Вечер все провели вместе, говорили о музыке спокойно, дружно. Лева ходил на деревню, вечеринка там.

31 декабря. Я так привыкла жить не своей жизнью, а жизнью Левочки и детей, что тот день, когда не сделала ничего, что для них или касается их — мне неловко и пусто. Опять принялась переписывать Левочкины дневники. А жаль, что этой вечной сердечной зависимостью от любимого человека я убила в себе разные способности и энергию; а последней много было.

Привела в порядок денежные счеты, хотя за 20 месяцев итоги прихода и расхода не сошлись. Но меня это не огорчает, я так плохо записываю расходы. Телеграмма от Ильи, зовет крестить. Софья Алексеевна[30] отказалась,

Таня тоже, и теперь я faute de mieux *. Но я не обижаюсь; мое дело с крошкой-внуком, а не с окружающими, и я рада его окрестить. Еду сегодня в ночь — под Новый год, в 5 час. утра. День переписывала и с детьми сидела. Все спокойны и дружны. Будем встречать Новый год тихо, одни.

1891

2 января. Вернулась от Илюши, окрестила маленького. Обряд с отречением от сатаны и проч. был привычно равнодушный. Но младенец, с закрытыми глазками и трогательно спокойным выражением красного личика, с тайной его души и его жизни всегда трогателен и вызывает молитву о нем. В Гриневке много, много Философовых, все такие большие, толстые, но удивительно добродушные и в обращении и в жизни. У них много простоты настоящей, не деланной и отсутствие всякой злобности. И это очень хорошо. Илья какой-то растерянный и, точно нарочно, ни о чем не задумывается, а весь разбрасывается по мелочам. Домой приехать было грустно; видно, никому дела не было ни до меня, ни до моего приезда. Я часто думаю, почему меня не любят, когда я их всех так сильно люблю. Верно, за те вспышки мои горячие, когда я бываю резка и говорю крайности. Потом все собрались, но даже поесть ничего не приготовили, что, впрочем, меня не огорчило. Один Ванечка и немножко Саша показали — первый восторг шумный, вторая тихую радость. Застала приехавшего Колечку Ге и Пастухова. Первому я обрадовалась; люблю его доброе радостное лицо и такую же душу. Миша не совсем здоров. Приехали Давыдовы, старались их развлекать, но боюсь, что им было скучно. Он сам очень симпатичен, и я ему всегда рада.

Сейчас, вечером, была опять вспышка между мной и Машей за Бирюкова. Она всячески старается вступить опять с ним в общение, а я взгляда своего переменить не могу. Если она выйдет за него замуж,— она погибла. Я была резка и несправедлива, но я не могу спокойно рассуждать об этом, и Маша, вообще,— это крест, посланный богом. Кроме муки со дня ее рождения, ничего она мне не дала. В семье чуждая, в вере чуждая, в любви к Бирюкову, любви воображаемой — совсем непонятная.

* за неимением лучшего (*франц.*).

3 января. Весь день провозилась с кукольным театром. Нашла ребят полна зала, и вышло плохо. Огорчительно, что *Петрушка* понравился особенно в те минуты, когда он дрался. Грубые, противные нравы! Устала и скучно. Посетители: Пастухов, Ге молодой. Левочка весел; много писал утром, о церкви. Не могу полюбить его религиозно-философские статьи, и всегда буду любить его как художника. Метель. 7-градусный мороз.

4 января. Метель страшная с утра и 10° мороза. Ветер воет во все печи, замело все вокруг дома. С утра неприятное известие: лесной приказчик, Роман, пьяный, заехал на болото (озеро) ночью, сам намок, его привез яснополянский мужик, Курносенков Яков, а лошадь утопла и издохла. Лошадь молодая, жаль и досадно. Сам Роман убежал домой в большом волнении. Бергер тоже пропал, он всегда лжет, и ленив ужасно, я им очень недовольна. Маша купила корыто и сама стирает белье. Я сердито ей говорила, что она все здоровье погубит, что она меня измучила. Она отнеслась к этому равнодушно-спокойно. Все четверо меньших в насморке и кашле, но все веселы и на ногах. Где-то Сережа в эту метель? Он уехал к Олсуфьевым, как бы ни выехал. Левочка жаловался, что ему не пишется. Сегодня весь день убирала все: вещи, тряпки, бумаги; сортировала письма, и теперь хоть умирать можно, так все в порядке. Очень нездоровится; сердцебиение, дурнота, дыханья нет и спина болит.

Лева ездил с приказчиком искать лошадь, и они заблудились, лошадь не нашли и вернулись. Лева очень мне дорог, и только огорчает его невеселость и худоба. Теперь, впрочем, он имеет спокойный вид, и я рада этому.

5 января. Плохо себя чувствую, спина болит, кровь носом идет, зуб передний болит и смущает тем, что упадет и придется вставлять, а мне это противно. С утра переписываю дневник Левочки, потом чисто, чисто убрала его кабинет, и вещи, и белье; взяла чинить носки, о которых он упомянул, что плохи, и так провозилась до обеда. Потом с Ванечкой поиграла. Левочка ездил с Н. Н. Ге (сыном) к Булыгину, а к нам приехали Ваня и Петя Раевские. Сидела все чинила носки, скучно, но нужно, пока другие не куплю. Вечером рассердилась на Мишу, что он бил Сашу. Рассердилась слишком, толкнула его

в спину и при всех на колени ставила. Он плакал и убежал к себе. Мне жаль было и его и наших с ним хороших отношений. Все скоро обошлось. Маша Кузминская читала мне письмо Эрдели. У них там все сплетни и неприятности; бедные, молодые, все это терзанье напрасное.

Второй час, а спать не хочется. Левочка со мной очень добр, и мне это так радостно. Я замечаю, что я эти дни раздражительна и легко сержусь на всех. Это от болезни, но это не надо, буду осторожнее.

6 января. Все нездорова: голова и спина болят, и ночь не спала. День тупо чинила Левочке носки, не сходя с места. Прислали мне Спинозу, читать не могу, жду просветления головы и глаз, а то все черные круги в глазах. Гости: Булыгин и Колечка Ге. Приехал с курьерским Сережа, веселый, добрый; поговорили о фривольном, и о его пребывании у Олсуфьевых, и о делах. Ночью он едет в Никольское.

Андрюша и Миша ходили на деревню смотреть *вечеринку*. Но у них, кажется, ничего не вышло веселого: ребята стеснялись, не играли, и мне жаль было, что мальчики не повеселились. С Машей все тяжело: она ездит одна с девчонкой к тифозным; я боюсь и за нее и за заразу, и ей это высказала. Хорошо, что она помогает больным, я сама всегда это делала, но она меры не знает ни в чем. Впрочем, сегодня говорила я с ней кротко, и мне так ее жаль было, и жаль, что мы непоправимо чужды друг другу. Левочка читал нынче свою статью о церкви — Ге, Булыгину и Леве [1]. Я переписывала часть этой статьи и часть читала. Но я не могу полюбить эти не художественные, а тенденциозные и религиозные статьи: они меня оскорбляют и разрушают во мне что-то, производя бесплодную тревогу.

7 января. С утра меня мутила вчерашняя фраза Маши, что она на будущий год выйдет за Бирюкова весной: «К картошкам уйду», были ее слова, т. е. к посадке картофеля. Я теперь взяла повадку смолчать и высказаться только на другой день. И вот сегодня я послала Бирюкову деньги за книгу, которую он купил и прислал Маше, и написала ему свое нежеланье отдать за него Машу, прося не приезжать и не переписываться с ней. Маша услыхала, что я говорила об этом письме Левочке, сердилась, говорила, что берет все свои обещания мне назад, я тоже

взволновалась до слез. Вообще мучительна Маша ужасно, и вся ее жизнь, и вся ее скрытность, и мнимая любовь к Б.[2].

Лева с утра уехал в Пирогово с Митрохой[3]. Таня ездила в Тулу, и у ней украли деньги. А у нас ночью увезли 2 воза дров с отвода. С утра переписывала дневники Л. Потом учила детей, чинила носки и больше не могу,— что за адская работа! Вечером читали вслух два отвратительных и скучных рассказа, присланных глупым и без всякого чутья Чертковым. Колечка Ге, уехавший с Булыгиным вчера вечером, не возвращался. Какой он светлый, умный и добрый человек. Какая-то радостность в нем и спокойствие. Он, видно, много перемучился, пока начал жить так, как теперь, он не лгал, что эта жизнь хороша, но теперь успокоился и говорит: «Поворота назад из этой жизни быть не может». И правда. Маша Кузминская совсем безлична: она вся в своей любви к Эрдели, и весь мир для нее перестал существовать.

Сегодня думала, что в мире совершается $^{9}/_{10}$ событий, выдающихся по поводу какого-нибудь рода любви или проявления ее; но все люди это тщательно скрывают потому, что пришлось бы выворачивать все самые тайники людских дум, страстей и сердец. И теперь я много могла бы назвать таких явлений, но страшно, как страшна нагота на людях. В дневниках Левочки *любви*, как я ее понимаю, совсем не было: он, видно, не знал этого чувства. О любви, как двигателе, я выразилась неясно. Я хотела сказать, что если любовь овладела человеком, то он ее вкладывает во все: в дела, в жизнь, в отношение к другим людям, в книгу, во все влагая такую энергию и радость, что она делается двигателем не одного человека, а всей окружающей его среды. Потому я не понимаю любовь Маши Кузминской. Она точно подавлена. Или это слишком долго продолжается.

8 января. С утра подавлена делами. Перечитывала и разбирала конторские книги по Ясной Поляне и по сведеному лесу. Потом читала с Н. Н. Ге (сын) корректуру 13-го тома Полного собрания сочинений нового издания[4]. Потом учила Андрюшу и Мишу музыке два часа. После обеда писала для детей аккорды, потом учитывала расход масла и яиц. Еще писала черновые прошения по поводу раздела с овсянниковским священником и ввода во владение Гриневки. Вообще, у меня теперь во всем большой

порядок — уж не перед смертью ли? Надо бы ехать в Москву для 13-го тома, да не хочется. На душе уныло, хотя грех; все здоровы и благополучны, благодарю бога. С Сашей и Ванечкой молились богу вместе. Таня и Маша с Колечкой Ге уехали на Козловку. Левочку мало видела: он все внизу сидит и читает и пишет. Вижу я его только, когда он ест или спит. Он здоров и весел.

9 января. Сегодня была менее деятельна, хотя встала опять в 10-м часу. Переписывала лениво, урок был один с Мишей. Потом показывала Андрюше, как играть в 4 руки; потом обедали; после обеда писала немного, читала повесть Засодимского «У пылающего камелька», довольно хорошо, искренно написано, и трогало меня даже до слез [5]. Играла с Таней в 4 руки «Крейцерову сонату»,— плохо; очень уж трудно без предварительного учения ее играть. Вечер у Андрюши зубы болели; Ванечку на руках поносила, он охрип; такой он нежный, ласковый, тоненький, умненький мальчик! Я слишком его люблю и боюсь, что он жив не будет. Во сне все вижу, что у меня еще мальчик родился. Мое письмо в «Figaro» переведено и перепечатано в «Русских ведомостях», но неверно с оригиналом, так что вышло как-то неловко слово *репутация* [6]. Писала письма Тане-сестре и Ге-старику. Иду спать. Сейчас приготовляла документы, планы, деньги и завтра еду в Тулу по делам.

10 января. Встала в 10-м часу, в Тулу не поехала: страшный ветер. Кроила утром белье Саше. Немного переписывала. С успехом и очень старательно учила детей музыке и Андрюшу богослужению. Он упрям, рассеян и точно нарочно не слушает и не понимает. Чем больше души своей полагаешь на дело, тем грубее и невнимательнее он. И как он меня мучает! Бедный мальчик, ему плохо будет с таким характером! После обеда все три девочки ездили в Ясенки и привезли с курьерского поезда Эрдели: он едет к матери. Как птицы, парочкой сидят и что-то щебечут они с Машей весь вечер. Читали вслух критику Соловьева на Фета и на «Лирическую поэзию»; довольно умно, но неполно [7]. Еще пустой рассказ читали. Потом Левочка и Николай Николаевич [8] играл в шахматы с Алексеем Митрофанычем [9], который играл, не глядя на игру, и всех нас этим удивлял. Написала письмо брату

Вячеславу. Левочка здоров и очень весел и оживлен. Говорили о том, что цензура всегда мешает писателям высказать именно то, что важнее всего, а я доказывала, что, помимо ее, есть чисто художественные, свободные произведения, которые цензура не может уязвить — хотя бы «Война и мир». И Левочка начал с досадой говорить, что он отрекся от этих сочинений [10], и видно, что задор в нем сидит именно за то, что запретили «Крейцерову сонату». Он упомянул о ней.

12 января. Вчера ездила в Тулу, продала купоны, подала прошение о вводе во владение Гриневкой, уплатила по книгам деньги, а главное, измучалась с делом по разделу земли в Овсянникове с женой священника, находящейся у нас с ней в общем владении. Четыре раза я переходила из окружного суда в губернское правление, и меня одно учреждение отсылало в другое, говоря, что оно не подлежит их обсуждению. Так и уехала, не сделав ничего. Давно я не испытывала такой тоски, как вчера, сидя в камере прокурора (Давыдова) и дожидаясь присяжного поверенного, который долго не шел. Трудно и тоскливо делать *дела,* легче сказать: я христианин и ничего делать не могу, это не в моих правилах! Теперь возьму настоящего дельца, а сама ездить беспрестанно в Тулу не могу. Устала, ветер был страшный, просто буря. Была у Давыдовых на минутку, там Челокаева приятна своей жизненностью и умом. Дома, вечером, именинник Миша,— Ванечка так обрадовался, обедать меня ждали. Ночью Ванечка в 3 часа горел и сильно кашлял, не хотелось вставать, но пошла, походила с ним, успокоила его. Сегодня встала поздно, именины Тани, но мы учили детей, Андрюша играл порядочно, Миша насупил брови и был упрям. Приехал Лева с Верой Толстой из Пирогова. Приехали Ваня и Петя Раевские во время обеда. Немножко похоже на именины; играли в игры с детьми, и Ванечка был в восторге. Он с рук не сходит весь день; горит и кашляет, но не унывает. Потом все поехали на Козловку провожать Колечку Ге. Привезли письмо от Вари Нагорновой и корректуру «Крейцеровой сонаты». Дело идет к развязке, что-то будет? Запретят или нет, и что я буду делать?

Времени ни на что не хватает: ни читать ни работать; завтра корректуру и белье кроить. На душе пусто и одиноко.

13 января. Ванечка болен; в полдень уже не встал, и к 2 часам было 39 и 4. Вечером, в 9 час., опять то же. Ночью кашель, мокрота клейкая залепила горлышко, и он задыхался и горел. Насморк все время, и сегодня ушко стреляло. Так его жаль и утомительно. В свободное от Ванечки время очень много поправила корректур 13-й части, в том числе «Крейцеровой сонаты». Маша Кузминская помогла. Уехала Вера Толстая, и девочки ее проводили. Левочка с Левой ездили вечером на Козловку. 24° мороза. Прошлую ночь, когда Ванечку душило, я побежала спросить Машу, нет ли рвотного. Она спала и мгновенно проснулась. С добротой и готовностью она вскочила, чтоб найти ипекакуану, и когда она, вставая, повернула ко мне свое лицо, оно показалось мне такое тоненькое, доброе, трогательное, что первое мое движение было ее обнять и поцеловать. Как она удивилась бы! Сегодня я весь день вижу в ней это доброе выражение и люблю ее. Если б я могла навсегда поддержать в себе это чувство к ней, как я была бы счастлива! Я постараюсь.

14 января. Ванечке лучше; температура поднялась днем до 38 и 5, но потом спала, и кашель мягкий, и он повеселел. Уехал Лева в Москву. Приехал Клопский. Он противен ужасно, какой-то темный [11]. Написала письмо Мише Стаховичу, в ответ на его, и Варе Нагорновой, тоже ответ. Немного переписывала, учила Андрюшу (литургия) и Мишу (тайная вечеря). После обеда с Ванечкой, потом переписывала дневник Левочки, уже перешла на 1854 год, сидела внизу с девочками. Ум мой совсем спит. Вечером снаряжали Митроху в Москву, и Андрюша с Мишей очень хлопотали, дали ему своих денег по 50 к. и пальто. Морозы страшные. Левочка что-то недобр и раздражителен. Как я боюсь всегда его беспощадной язвительности. Она наболела у меня до самой крайней чувствительности.

15 января. Какая подчас идет тяжелая борьба. Сегодня утром дети учатся внизу, а там этот Клопский. И говорит он Андрюше: «Зачем вы учитесь, губите свою душу? Ведь отец ваш этого не желает?» Девочки сейчас же подхватили, что готовы пожать его благородную руку за эти речи. Мальчики прибежали и мне все рассказали. Пришлось горячо им внушать, что умственный труд всегда оправдывает нашу барскую жизнь, что если не труд

настоящий мужика, то останется без умственного труда одна голая праздность; что воспитываю их я одна, и вот если они будут плохи, то стыд падет весь на меня, и мне будет больно, что труды мои пропадут.

16 января. Была в Туле опять по делам; бегала, хлопотала ужасно, видела много народа и очень много говорила. Дела: ввод во владение Гриневкой, раздел с женой священника в Овсянникове, продажа дров; выправила, кстати, паспорт Петра Васильевича [12]. Была у Раевской, у Зиновьевой — обедала. Маленькая Маня [13] похожа на Ванечку, сидела у меня на коленах и целовала меня в щеку.

Домой ехала, все молилась и вспоминала своих врагов. Решила написать Бирюкову доброе письмо — и написала. Решила миролюбиво делиться с женой священника — и тоже написала. Еще ответила бар. Икскуль на ее просьбу печатать «Холстомера» и «Поликушку» для народа. Первое отказала, на второе согласилась [14]. Писала Сереже и послала исполнительный лист на ввод во владение Гриневкой [15]. Дома все были веселы, все по обычному порядку. Еще решила помогать через Машу семейству тех мужиков, которых посадят за порубку.

17 января. Встала поздно и лениво. Вчерашняя поездка утомила. Писала Леве письмо, переписывала дневник Левочки и кончила тетрадь Кавказских дневников. Учила Андрюшу богослужению, и два часа музыке обоих. Учились хорошо и дружно. После обеда опять переписывала, занималась с Ванечкой, у него ухо стреляло, он плакал. Читали вслух французский роман, довольно скучный. За обедом был шуточный разговор о том, чтоб господам всем поменяться на неделю положением с прислугой. Левочка нахмурился, ушел вниз; я пошла к нему и спросила, что с ним? Он говорил: «Глупый разговор о священном деле; мне и так мучительно, что мы окружены прислугой, а из этого делают шутки, и мне это больно, особенно при детях». Я старалась его успокоить. А сейчас он раздражительно спорил с Алексеем Митрофановичем, защищая Страхова.

18 января. Нездорова; все мускулы живота внутри и снаружи сильно болят и маленький жар. Была страшная неприятность с няней; она грубит со вчерашнего дня,

ребенком не занимается совсем и сегодня довела меня до крайности, так как я сама больна, и я ей сказала, что не позволю всякой развратной женщине мне грубить. Тут она разразилась такой ужасной грубостью, что, не имей я глупой, слабой привязанности к Ванечке, я ее отпустила бы немедленно. А он, бедненький, почувствовал, что что-то неладно, взялся за ее юбку и не отходил от нее, а про меня говорил: «Мама пай». Если б все были как дети! Учила Мишу, переписывала, охала, ничего не ела, но не слегла. Дневники Левочки очень интересны, время войны и Севастополя. Один вырванный листок меня поразил грубым цинизмом разврата. Да, никак не могут ужиться эти два понятия: *брак* женщины и разврат мужчины. И *брак* не может быть счастлив после разврата мужа. Еще удивительно, кàк это мы прожили такую брачную жизнь. Помогло нашему счастью мое детское неведение и чувство самосохранения. Я инстинктивно закрыла глаза на его прошедшее и умышленно, бережа себя, не читала всех его дневников и не расспрашивала о прошедшем. А то погибли бы мы оба. И он не знает того, что погибли бы и что моя чистота спасла нас. А это наверное так. Этот спокойный разврат и точка зрения на него, и картины этой сладострастной жизни заражают, как яд, и могли бы вредно повлиять на женщину, немного увлеченную кем-нибудь. «Ты такой был, и ты осквернил меня своим прошедшим, так вот же тебе за это!» Вот что могло возбудиться в женщине чтением этих дневников.

19 января. Все больна: живот и лихорадочное состояние. Едва, как во сне, учила детей 2 часа музыке и поправляла длинную корректуру «Крейцеровой сонаты». Как я могу много и хорошо работать! Как жаль, что этой способности не пришлось приложить к чему-нибудь более возвышенному и достойному, чем механический труд. Если б я могла писать — повести или картины — как я была бы счастлива! От Левы было прекрасное письмо; но, боже мой, какой он впечатлительный и мрачный! Нет жизнерадостности — не будет цельности, гармонии ни в жизни его, ни в трудах, а жаль!

Какая видимая нить связывает старые дневники Левочки с его «Крейцеровой сонатой». А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь.

20 января. Здоровье лучше, но насморк. Миша заболел гриппом, а Саше и Ване получше. Приехал Эрдели; его мать не соглашается на его брак с Машей еще почти на 3 года. Маша ужасно расстроена, он, по-видимому, тоже. Все мы плакали, очень их жаль, но не договорились ни до чего. Он жалкий, слабый мальчик. Дети играли, девочки писали, и я тоже — все после обеда. До обеда читала Спинозу, но я еще не вникла и не полюбила его, хотя объяснение *бога* у него вполне удовлетворяет меня и согласно с моим пониманием [16]. Читали немного французский роман. Привезли корректуру конца «Крейцеровой сонаты», и я прочла, слава богу, без прежнего волнения — один раз и поправила. Левочка плохо спит, писать не может. Утром было теплее, $1^1/_2°$ мороза, теперь опять 7.

23 января. Три дня не писала журнал. Были третьего дня гости: Раевская, Эрдели, Александр Александрович Берс. День прошел пусто, и я была глупо оживлена. Вчера Левочка ушел в Тулу пешком; было тепло, Раевский утром дошел до нас пешком, встречая жену, и это соблазнило Левочку. Он обедал у Зиновьевых (его нет), а вечер провел у Раевских. Вернулся с поездом вместе с Алексеем Митрофановичем. В Туле был и Сережа, приехал сегодня к нам; друг другу все рассказывали, сидели втроем: он, Таня и я, и о многом рассуждали: дела, супружеская жизнь, дело Маши Кузминской с Эрдели. После обеда он уехал, я шила на машине белье. Глаза, голова — все болит от страшного насморка. Грипп у всех поголовно. Я тупа на все от нездоровья.

25 января. Утром рано встала, насморк и нездоровилось. Поехала в Тулу, было ясно, тепло. У мостика встретила Левочку, уже возвращающегося с прогулки, веселого и такого ясного, и мне всегда везде приятно его увидать, особенно неожиданно. В Туле дела разные: деньги получила за дрова, с священником Овсянникова пришла, уступая все, почти к соглашению насчет раздела [17]. Была у Раевской, Свербеевых и Зиновьевой, где встретила Арсеньева — губернского предводителя дворянства. Второй год я стала замечать, что ко мне стали относиться как к *старой* женщине. Это непривычно, но мало меня огорчает. Как сильна эта привычка, что ты чувствуешь, как в твоей власти то, что отнесутся все к тебе с некоторой

симпатией, если не сказать — любованием. Теперь же больше хочется уважения и ласковости от людей.

Поправляя «Крейцерову сонату» (корректуру)[18], вечером мне пришло в голову, что женщина в молодости любит прямо сердцем и отдается охотно любимому человеку, потому что видит, какое это для него наслажденье. Женщина в зрелых летах вдруг поймет, оглянувшись назад, что мужчина любил ее всегда только тогда, когда она ему была нужна, и вдруг из ласкового тона переходил в строго-суровый или брюзгливый, немедленно после удовлетворения.

И тут уже, когда женщина, закрывавшая долго на все это глаза, сама начинает испытывать эту потребность, та сердечная, сентиментальная любовь проходит, и она делается такою же, т. е. в известные периоды относится страстно к мужу и требует от него удовлетворения. Горе ей, если он разлюбил ее к тому времени; и горе ему, если он не в состоянии уже удовлетворить ее требованиям. Вот отчего все семейные драмы и разводы столь неожиданные в старости и столь некрасивые. Там только останется счастье, где дух и воля поборят тело и страсти. И неверна «Крейцерова соната» во всем, что касается женщин в ее молодых годах. У молодой женщины нет этой половой страсти, особенно у женщины рожающей и кормящей. Ведь она женщина-то только в два года раз! Страсть просыпается к 30 годам.

Вернулась я из Тулы часов в шесть и обедала одна. Левочка выходил меня встречать, но не встретил, что мне было очень жаль. Он стал ласковее последнее время, но хотя и опять и опять хочется поддаваться прежнему обману, но я не могу уже не подумать, что это все оттого же,— оттого, что он стал здоровее и проснулась прежняя, привычная страстность.

Весь вечер усиленно работала над корректурой «Крейцеровой сонаты», «Послесловия» и занималась счетами. Записывала все в Москву: семена, покупки, дела.

26 января. Встала в 10 часов. Ванечка взошел, его одели, повели гулять. Просмотрела вчерашнюю корректуру еще раз, кончила ее; еще просмотрела каталог семян и кое-что записала. Учила Андрюшу и Мишу музыке. Андрюша страшно упрям и неприятен во время урока; и теперь тон такой взял, трудно отвыкнуть. Приехали дети Свербеевы с англичанкой, два Раевских и Бергер Сережа,

Играли в разные игры, ходили кататься с горы. Я проведала Ивана Александровича, он жалок своей слабостью при страдании, как дети. Пошла к Левочке прочесть вместе письмо старика Ге[19] и стала ему говорить, что из его последователей люблю сына Ге, Николая Николаевича, и кн. Хилкова. Но прибавила, что это люди еще воспитанные университетом и старыми традициями, и в этом их и сила, и прелесть, и вся подкладка, а вот увидим, как их дети вырастут и что с *ними* будет. Левочка немедленно принял брюзгливый и раздражительный тон, разговор перешел в неприятный, я ему тихо это заметила, но ушла с дурным чувством на него. Если б кто знал, как мало в нем нежной, истинной доброты и как много деланной *по принципу, а не по сердцу.*

Все разошлись спать, иду и я. Спаси, бог, эту ночь от тех грешных снов, которые сегодня утром разбудили меня.

4 февраля. Много пережила я все это время. 27-го в ночь поехала я в Москву по делам. Похождения мои там мало интересны. Обедала первый день у Мамоновых, вечер была с Урусовым, Таней и Левой в концерте. Играли Крейцерову сонату (Гржимали и Познанская), и весь концерт был на фортепьяно Познанской. Крайне было утомительно, жарко, за игрой я следить не могла, хотя и чувствовала, что играли хорошо. На другой день утром выкупила Гриневку за 7600 рублей в Московском банке, подала заявление заложить в Дворянский банк. Обедала у Фета и много лишнего болтала, главное, глупо и дурно жаловалась на недостаточную любовь Левочки ко мне. Вечером дома застала Дунаева, и вместе сводили счеты с артельщиком. Дядя Костя сказал раз про Дунаева: «Этот, который по тебе вздыхает», и мне это испортило раз навсегда Дунаева, хотя он такой простодушный и добрый человек. Утром во вторник приезжал Кузминский с Машей; они из Ясной, и я рада была узнать о доме. Мы часа три сидели, весело болтали, завтракали, смеялись. Были тут еще Таня, Лева, Вера Петровна с Лили Оболенской и я. Потом пришел и Урусов, и мы отправились к Шидловским. В среду была у Северцевых, там дядя Костя, Мещериновы, и разговор о браке и любви. Потом в четверг была у Дьякова, где Лиза, Варя, Маша Колокольцева — и мне было очень там хорошо, просто, дружественно, как дома. Дела я окончила успешно, но не

люди, не дела меня волновали, а Лева, весь, какой он есть, с своей сложной умственной жизнью, с своими попытками писательства и все нерадостным отношением к жизни. Он прочел мне свой рассказ «Монтекристо», очень трогательный и сильно действующий на чувство — рассказ полудетский. Другой он послал в «Неделю», где Гайдебуров обещает его напечатать в мартовской книге [20]. Это секрет, о котором он просил никому не говорить. Мне стала вдруг так радостна мысль, что то, чем я привыкла жить всю свою жизнь — эта художественная и умственная атмосфера, окружавшая меня,— не уничтожится, если я переживу Левочку, а я буду в сыне продолжать интересоваться и следить за тем, что наполняло так интересно и хорошо мое существование. Я в нем буду продолжать любить и его, и из-за него и свою жизнь, и его отца. Но что-то еще бог даст!

Другое взволновавшее меня обстоятельство то, что когда я вернулась домой и застала Мишу Стаховича, я впервые выслушала от него довольно неожиданную исповедь о том, как он всегда восхищался Таней: j'ai longtemps taché de mériter Татьяна Львовна, mais elle ne m'a jamais donné aucun espoir *. Мы всегда думали, что он метит на Машу, и когда я рассказала Тане это обстоятельство, я видела, что ее это сильно взволновало. Я счастлива бы была, если б она вышла за Мишу Стаховича. Я его очень люблю, он мне нравится так, как ни один из молодых людей, которых я знаю, и кому же могу я желать моего любимца, как не любимой дочери?

Мы все были очень веселы эти дни: приезжали еще Керн с женой, мальчики Раевские, Дунаев с Алмазовым; но все веселье вносил один Стахович. Дети катались эти два праздника, 2-е и воскресенье, на скамейках по всей деревне [21], я ходила проведать слепую Евланью, мать Митрохи, который у Левы, и все ей про него рассказывала; мне радостно было ей сделать этим удовольствие.

Сегодня учила детей; Андрюша в мое отсутствие не делал ничего и уроков не знал. Я вышла из себя и прогнала его. Боже! как он меня мучает и огорчает! Левочка не очень свеж, но ездил сегодня верхом в Ясенки, а после обеда разыгрывал Шопена, и ничья игра меня не трогает больше игры Левочки; удивительно много чувства у него,

---

* Я долго старался заслужить Татьяну Львовну, но она никогда не подавала мне надежды *(франц.)*.

и именно всегда то выражение, которое должно быть. Он говорил Тане, что задумывает художественное и большое сочинение[22]. То же он подтвердил и Стаховичу. Маша вдруг решительно собралась в Пирогово, но холодно, и я не пускаю, потому что она охрипла, а 15 градусов мороза. Не огорчило ли ее известие о том, что Стахович любит Таню больше ее; ей так давно внушают обратное.

Таня была в Туле с miss Lydia и переснималась; для Стаховича она поспешила, так как он просил ее карточку. Она взволнована, это верно. Но опять и тут... что бог даст!

6 февраля. Встала в 10-м часу, видела во сне Петю своего покойного маленького, что Маша его откуда-то привезла разбитого и растерзанного, он уже большой, как Миша, и похож на него. Мы друг другу обрадовались, и весь день я его вижу в той полутьме, в которой он лежал больной. Весь день кроила, шила и ладила панталоны Андрюше и Мише и кончила к вечеру обе пары. Вечером читал Левочка «Дон Карлоса» Шиллера[23], я вязала. Теперь 11-й час, он уехал на Козловку верхом за письмами. Девочки ушли спать, они обе взволнованы и даже несчастливы со времени известия о чувствах М. Стаховича. Читаю «Physiologie de l'amour moderne»[24] и еще не пойму в чем дело, только начала, но мне не нравится.

Левочка любуется на Ванечку и возится с ним. Нынче вечером он его и Сашу поочередно клал в пустую корзинку, закрывал крышу и таскал по комнатам, с Андрюшей и Мишей. Он *забавляется* детьми всеми, но совсем не *занимается* ими.

7 февраля. Таня больна, у ней жар 39 и 3, ломят ноги, болит спина и живот. Много было уроков с Андрюшей и Мишей. У Миши все голова болит, и это меня тревожит. От Левы что-то нет известий, это очень грустно: не болен ли он. Письмо от Манечки Стахович, а ждала от Миши. Второй вечер хотелось проехаться на Козловку с Левочкой, а он все ездит верхом, точно нарочно. Он опять суров, ненатурален и неприятен. Вчера вечером я так сердилась молча на него. До двух часов ночи он все не давал мне спать. Сначала был внизу и мылся долго, я уж думала, что он заболел. Мытье для него — событие. Я стараюсь всеми силами видеть только его духовную сторону и достигаю, когда он бывает добр.

9 февраля. Вчера вечером наконец исполнилась моя мечта — прокатиться в санках, при лунном свете, на Козловку. Мы ездили с Левочкой вдвоем на Козловку. Но писем не было, и от Левы известий нет. Тане как будто лучше, хотя все еще был жар 38 и 6. Заболел и мой миленький Ванечка: тоже жар. Погода — ветер и 1 градус мороза. Сегодня я ленива и грустна. Сшила Ване матросский костюм, два часа учила музыке, читала брошюру Бекетова «О настоящем и будущем питании человека»[25]. Он предсказывает всемирное вегетарианство, и он, пожалуй, прав; Ванечка кашляет, и мне больно его слушать.

10 февраля. Таня с утра стонала до обеда от страшной головной боли, потом опять был жар 38 и 5. Ванечка с утра горит, утром было 39 и 3. Странная, неопределенная болезнь! Не могу сказать, чтоб я *очень* тревожилась, но жалко своих больных. Самой тоже не совсем здоровится, всю ночь не спала. Переписывала дневники севастопольские Левочки[26], очень интересно, вязала и с больными сидела. Андрюшу спросила урок, который он не знал на неделе. У Маши в «том доме» школа[27] из разного сброда, и все дети туда бегают. Саша, по случаю болезни Тани, тоже ходит туда учиться. У Миши новые часы, и он страшно доволен, как только дети умеют быть. Левочку видела мало. Он пишет опять о науке и искусстве[28]. Он показал мне сегодня статью в «Open Court»[29], где поминают о нем, что он говорит одно, а живет по-другому, ссылаясь на то, что состояние взяла *жена:* «Знаем мы, как относятся люди вообще, а русские в особенности, к женам,— пишут там.— Жены воли не имеют». Левочке было неприятно, а мне все равно; я обстреляна.

11 февраля. Заболел еще Андрюша; Ванечке днем было лучше, теперь, ночью, опять жар. Приехала Анненкова. Тане гораздо лучше. Письмо короткое от Левы. Много переписала сегодня интересного из Севастопольской войны в дневнике Левочки.

Работала, учила детей.

12 февраля. Весь день все дети нездоровы; у кого что: у Маши боли в животе, у Тани желудочные боли, у Миши зубы, у Ванечки сыпь, у Андрюши жар, рвота,— одна

Саша весела и здорова. Переписывала дневник Левочки; он взял вечером свой дневник и начал читать. Несколько раз он говорил мне, что ему неприятно, что я их переписываю, а я себе думала: «Ну и терпи, что неприятно, если жил так безобразно». Сегодня же он поднял целую историю, начал говорить, что я ему делаю больно и не чувствую это, что он хотел даже уничтожить эти дневники, упрекал мне, спрашивал, приятно ли бы мне было, если б мне напоминали то, что меня мучает, как дурной поступок, и многое другое. Я ему на это сказала, что если ему больно, мне не жаль его, что если он хочет жечь дневники, пусть жжет, я не дорожу своими трудами; а если считаться, кто кому что больно делает, то он своей последней повестью перед лицом всего мира *так* больно мне сделал, что счесться нам трудно. Его орудия сильнее и вернее. Ему бы хотелось перед лицом всего мира остаться на том пьедестале, который он себе воздвиг страшными усилиями, а дневники его прежние свергают его в ту грязь, в которой он жил, и ему досадно [30].

Не знаю, как и почему связали «Крейцерову сонату» с нашей замужней жизнью, но это факт, и всякий, начиная с государя и кончая братом Льва Николаевича и его приятелем лучшим — Дьяковым, все пожалели меня. Да что искать в других — я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами. И все это, не быв виноватой перед мужем ни в одном движении, ни в одном взгляде на кого бы то ни было во всю мою замужнюю жизнь! Была ли в сердце моем возможность любить другого, была ли борьба — это вопрос другой — это дело только *мое*, это моя святая святых,— и до нее коснуться не имеет права никто в мире, если я осталась чиста.

Не знаю, почему именно сегодня в первый раз я высказала Льву Николаевичу свои чувства относительно «Крейцеровой сонаты». Она так давно написана [31]. Но, рано или поздно, он должен был их знать, а сказала я по поводу упреков, «что *я ему больно делаю*». Вот я ему и показала *свою* боль.

Рожденье Маши. Как было тяжелое, так и нынче, через 20 лет, тяжелое [32].

13 февраля. Вчерашний разговор, перевернувший мне душу, заключился спокойным договором доживать вместе жизнь как можно дружнее и спокойнее.

Дети все еще нездоровы: у Андрюши весь день жар, Таня и Маша слабы и головы болят, у Миши невралгия. Сидела весь день с детьми и Анненковой и работала. Скроила Андрюше халат, чинила чулки, сшила наволоку. Вечером Левочка читал нам «Дон Карлоса» Шиллера и кончил; получили письма: я — от Левы, Левочка — от гр. Александры Андреевны Толстой, оба хорошие [33]. Таня что-то странна и истерична. Моя обыденная жизнь, заботы, дети, болезни — опять как бы парализировали всю мою духовную сторону, и я мучительно сплю душой.

15 февраля. Левочка почти запретил мне переписывать свои дневники — и мне досадно, я так много уже переписала и так мало осталось той тетради, из которой я переписывала теперь. Тихонько от него продолжаю писать — и кончу непременно; слишком я давно и твердо решила, что это *нужно*. Дети все здоровы. От Левы телеграмма, что завтра он не едет в Гриневку, есть дело в Москве. От Миши Стаховича письмо о дуэли Ломоносова и Вадбольского [34], и его рассуждения по поводу этому совершенно верны, что это *убийство*, как и всякое другое. Еще он меня вызывает в Петербург для переговоров с государем о цензурном отношении к Левочке и возлагает на мой приезд и мой разговор с государем огромные надежды. Если б я могла быть спокойна о доме и детях, если б я любила «Крейцерову сонату», если б я верила в будущую *художественную* работу Левочки — я бы поехала. А теперь — где взять энергию, где взять тот подъем духа, которым можно умно, с властью и убеждением повлиять своей личностью на довольно устойчивого в своих убеждениях государя? Не чувствую я больше этой личной власти на людей, которую еще недавно так сильно я чувствовала.

Ездили на Козловку за письмами: Левочка верхом, Таня, Маша, Иван Александрович и я в санях.

Чудная лунная ночь, снег блестит гладкий, ровный, дорога чудесная, мороз и тишина. У нас 12 градусов мороза, в поле всегда больше. Ехала домой и с ужасом думала о городской жизни. Как опять жить без этой красоты природы, без простора и досуга, которыми так балуешься в деревне?

16 февраля. Однако письмо Стаховича меня смутило, так как все видела во сне царя и императрицу и все думаю о поездке в Петербург. Тщеславие играет самую главную роль, и я не попадусь на это и не поеду. Левочка хотел ехать с Машей в Пирогово и остался. Я знаю, почему он остался, я чувствую это по всему его тону со мной.

Весь день усиленно кроила и шила на машине белье. Читаю все «Physiologie de l'amour moderne», и меня заинтересовал этот анализ чувственной любви. Учила детей музыке; двигаемся тихими шагами, но двигаемся; Андрюша играет сонату Бетховена, Миша — Гайдна. У Миши несравненно больше способности. Маша, Андрюша и Алексей Митрофанович учили девок и наших горничных вечером, в «том доме»; Маша бледна, жалка, худа, но есть в ней что-то трогательное. Таня расстроена, неспокойна и чего-то ждет.

17 февраля. От Левы письмо: он заболел, у него в Москве сделалось, видно, то же, что было у детей здесь, в Ясной. А, может быть, и другое что. Во всяком случае, не могу уже быть спокойна, хоть пишет он сам, и по тону правдиво и не опасно. Илья тоже в Москве, продавал клевер. Написала письма Леве, Тане-сестре и М. Стаховичу. Все плохие письма. Приехал Николай Николаевич Ге, с женой, привез свою новую картину: Иуда Предатель смотрит на удаляющуюся группу [35]. Лунный свет хорош, мысль и сюжет хороши, но исполнение бедно и не удовлетворяет совсем, точно одно полотно, а не картина. При сильном освещении лучше. Весь день провела с Анной Петровной Ге и утомилась без своих обычных занятий. Левочка ездил верхом в Тулу, вернулся очень скоро, не застав дома Давыдовых и пригласив через человека посмотреть картину. Левочка бодр, но на него нашла тревога. То в Пирогово, то в Тулу; то суп мясной перестал опять есть, то кофе надо пить овсяный — видно, наскучило быть здоровым. А мне эта суетливость страшна и неприятна. Все говорит, что не пишется. У Маши был опять вечерний класс, и она учила одна и утомилась.

18 февраля. От Левы известия плохие. Телеграмма, что доктор сказал, что у него обычное его лихорадочное нездоровье, как было 2 года назад, письмо от него, что

лучше, а по словам приехавшего из Москвы Ильи — у Левы то же нездоровье, которое было у всех в Ясной. Дай бог, чтоб не затянулось. Таня едет к нему завтра, а я еду в Тулу по делу раздела с овсянниковским попом. Страшно неприятно и надоело.

Читали вслух с Ге и Бутковичем рассказ «Часы» какого-то малоизвестного писателя [36]. С Ильей неприятные хозяйственные и имущественные разговоры. Маша вянет и беспокоит меня, и очень ее жаль. Дни проходят бесцветно и беспокойно. Учила сегодня закон божий, идет плохо, вышивала полосы одеяла и сидела с Анной Петровной.

Ветер страшный, жутко слушать.

19 февраля. Была в Туле; кроме лавок, нотариуса, попа, улицы и губернского правления — никого и ничего не видала. Шли с попом разговоры о разделе, но ничем не кончили. Иван Александрович ездил со мной. Таня уехала в Москву походить за больным Левой, я рада за него; но я что-то мало беспокоюсь, мне кажется, что ему сегодня будет лучше. Я так его люблю, что о плохом не могу думать.

Вышивала, ела, тупо разговаривала, вообще глупа. Был Раевский, смотрел картину Ге. На улице, на минутку видела Давыдова, и было очень приятно его видеть; он один из тех, которые мне особенно симпатичны; да он и действительно *особенный,* из немногих.

20 февраля. Сейчас проводили стариков Ге на Козловку. Получила два письма: от Тани и от Левы карандашом, ему лучше, утром 37, вечером 38 и 6 градусов. Была и телеграмма. Меня встревожило то, что с Мишей во время ученья делается иногда вроде истерики: и смех, и слезы, но скоро проходит. И правда, не слишком ли их много учим? Андрюша тоже вял. Ездили на Козловку: Левочка, Маша и я; тепло и ветер. Вечером между нами четырьмя: Левочкой, двумя Ге и мной, были больные разговоры о наших супружеских отношениях и о болях, которые испытывают мужья, когда их не понимают жены. Левочка говорил: «Тут, как ребенок, с страданиями рождается в тебе новая мысль, целая душевная перемена, а тебе же упрекают твою боль, и знать не хотят ее». А я говорила, что пока рождаются все эти вымышленные ими самими

духовные дети, у нас рождаются с реальной болью живые дети, которых надо и кормить, и воспитывать, и имущества охранять, когда же еще и как ломать свою сложную жизнь для тех душевных перемен мужей, за которыми поспеть невозможно и о которых можно только жалеть. Впрочем, мы многое говорили, чтоб упрекать друг друга, а в душе всякий желал одного, по крайней мере я это теперь всегда желаю,— чтоб не бить по старым больным местам и жить как можно дружнее. А что люди, не только любимые мужья, говорят и делают хорошо и с добром, то всегда встретят сочувствие, и не может быть иначе, хотя медленно, со временем,— если это действительно добро.

23 февраля. У нас Горбунов и приехала Анненкова. Больна Саша, жар и кашель; я особенно старательно ухаживаю за ней, и мне за нее страшно. Анненкова говорила, что видела в Москве Леву и Таню; Лева выздоровел, но боится еще выехать. Получили письмо от Полонского и стихотворение: «Вечерний звон» [37]. Левочка шил вечером сапоги и жаловался, что его знобит. На дворе просто буря, такой страшный ветер. Весь день ухаживала за Сашей, возилась с Ванечкой, дала 2 часа урока музыки Андрюше и Мише и вышивала одеяло. Грешные мысли меня мучают. И странно, точно они не касаются меня, моей жизни и даже души, а что-то постороннее, рядом со мной, не могущее — как и во всю мою жизнь — ни коснуться меня, ни испортить меня.

Очень порадовал меня сегодня Миша, играл хорошо; стали разбирать «Серенаду» из «Дон-Жуана» в четыре руки, и он вдруг просиял от звуков этой мелодии.

Но у них с Андрюшей завелись *секреты*, и меня это страшно беспокоит. Не развратил бы их Borel, кто его знает! Чистота, святая чистота, всегда была мне дороже всего в мире.

25 февраля. Все уехали на Козловку провожать Анненкову, т. е. Левочка, Маша, Петя Раевский и Горбунов. Маша повеселела с Петей: ее радует, что он к ней неравнодушен, и молодая жизнь заиграла, чему я очень рада.

Вчера было письмо от Левы, довольно мрачное, о его нездоровье и от Тани — более утешительное. Они боятся

еще ехать. Вчера ночью, часа в 4, меня разбудил лающий кашель Ванечки. Мы с Машей вскочили, дали ему горячей сельтерской воды выпить и вскипятили воду с скипидаром, налили в полоскательницу, накрылись с ним простынкой и дали ему дышать этими парами. Удушье скоро прекратилось, но сделался жар, 40 градусов, и кашель. Я думала: пойдет надолго, но ровно через сутки, т. е. уже к сегодняшнему дню, все прошло и он уже пел в зале: «Гусельки». Саше тоже гораздо лучше, и она встала.

Учила детей закону божию и долго толковала Мише понятие о боге. Его уже спутали отрицаниями разными, особенно церкви, но я старалась объяснить ему истинное значение церкви, как я понимаю, как *собрание верующих,* как *хранилище* святыни, веры и созерцания бога, а не как обрядность. Левочка спокоен, здоров и весел. У нас простые, дружеские отношения, но не глубокие, а поверхностные. Все-таки лучше, чем были в начале зимы. Все ветер гудит. На деревне умерла девочка у Ольги Ершовой, лет 7-ми, очень миленькая и слишком любимая матерью. Мне ее страшно жаль. Левочка и Анненкова ходили туда, а я не могла.

28 февраля. Эти дни прошли незаметно. Ванечка хворал, работала, учила, читала и болела. Сегодня лучше; Ванечка все сильно кашляет. Вчера вечером приехали Таня, Лева и Соня Мамонова. Лева похудел, но не имеет больного вида. Он мнителен, и действительно у него слабый организм. Таня очень оживлена и как будто похорошела. Приехали все три брата Раевские, с Козловки. Все дети ездили встречать. Дорога портится, стоят ясные дни с южным ветром и около 2 градусов тепла. Левочка ездил в Тулу, отвозил Ивана Ивановича Горбунова на железную дорогу, был у Раевских. Он в оживленном расположении духа, но что-то есть весеннее, эгоистическое и материальное в его жизнерадостности. Давно не было у него такого здорового и бодрого вида. Не знаю, над чем он работает; он не любит говорить. Из Москвы известие, что арестован весь XIII том [38]. Не знаю, чем это кончится, и ничего не решила.

Вечером Левочка читал рассказ Нефедова «Евлампеева дочь» [39], вслух. Плохо и не весело. Иду спать. Что-то грустно и вяло.

2 марта. Вчера провели день праздно и празднично. Все дети ходили с Раевскими в Ровские казармы [40] пить чай. Брали все с собой. После обеда играли в игры, и Ванечка был удивительно мил и серьезно вникал и исполнял все игры. Между этими большими, крупными людьми — особенно Раевскими — эта маленькая беленькая и умная крошка очень трогательна. Сегодня приехали Сережа, Илья и Цуриков, сослуживец Сережи и их сосед. Илья всякий раз просит на что-нибудь денег, и это очень неприятно. У него легкомысленное отношение к деньгам, а жизнь устроил слишком широко. Левочка грустен; я спросила почему, он говорит: не идет писание. А о чем? — О непротивлении [41].

Еще бы шло! Этот вопрос всем, и ему самому, оскомину набил, и перевернут, и обсужен он уже со всех сторон. Ему хочется *художественной* работы, и приступить трудно. Там *резонерство* уже не годится. Как попрет из него поток правдивого, художественного творчества — он его уже не остановит, а там вдруг непротивление окажется неудобным, а остановить поток невозможно,— вот и страшно его пустить, а душа тоскует.

Лева огорчился сегодня, что и Сережа и я ему сказали, что он плох. Я хотела его приласкать, потому что мне его жаль, а вышло, что обидела.

Кончила сегодня читать Бурже «Физиологию современной любви», по-французски, конечно. Очень умно, но надоело, все вокруг одного вертится и быт мне чуждый.

3 марта. Последний день масленицы. Андрюша ездил на Козловку верхом, Миша с Машей еще в санках, к больным в Ясенки и в Телятинки, где лежит уже несколько месяцев мужик с страшной раной. Это хорошо, что Маша им занялась и утешает его; это доброе, настоящее дело [42]. Лева немножко веселей, но его больной вид мучает меня. Соня Мамонова пела, Сережа и Лева играли; потом болтовня с Цуриковым, и я всегда раскаиваюсь, что много говорю. Шила весь день, благо другого при этой суете ничего делать нельзя. Радовалась на собравшихся всех 9 детей вокруг стола за обедом.

6 марта. Сережа уехал в Никольское, Маша ездила в Тулу с больной бабой и с девочкой Сашкой для компании. Наладилась будничная жизнь. Но мне очень приятно было в субботу и воскресенье за столом видеть всех

вместе моих 9-х детей при нас двух стариках. Я все сижу дома и работаю разную работу. После обеда, для движенья, присоединилась к Левочке играть с самыми маленькими: Сашей, Ваней и Кузькой. Левочка каждое после обеда ходит с ними по всему дому, сажает в корзину пустую и носит по дому закрытую, потом останавливается где-нибудь и велит тому, что в корзине, угадывать, в какой они комнате. Лева очень худ, кожа к костям пристала, и у меня за него сердце болит; но он повеселел, надо ему летом строго кумыс пить.

Читали вслух повесть русскую «На закате»;[43] одна я читала Спинозу. Его интерес к истории еврейского народа меня не захватывает, увидим, что будет в части, где Ethique. Я люблю все отвлеченное, и просто общие мысли, а не *разборы* какой-нибудь отрасли[44].

Говорили за чаем о еде, о роскоши, о вегетарианстве, которое все проповедует Левочка. Он рассказывал, что в расписании кушаний вегетарианских в немецкой газете назначено на обед: хлеб и миндаль. Наверное, проповедующий это исполняет этот régime так же, как Левочка, проповедующий в «Крейцеровой сонате» целомудрие.

8 марта. Получили мартовскую книгу «Недели» с Левиной повестью[45]. В первый раз напечатали что-нибудь его, под именем *Л. Львова.* Я еще не перечла рассказа вторично, потому что книга получена сегодня, а я была в Туле. Меня очень волнует писательство Левы, особенно в его будущем. Есть ли это явление случайное от впечатлительности и новости явлений жизни, которую он не знал, или это есть начало его литературной деятельности? Хорошо бы если б это стало делом его жизни, тогда он полюбил бы и самую жизнь. Здоровье его и вид стали лучше, но все он очень худ.

В Туле опять дела: по залогу Гриневки, деньги с завода за дрова, няншны деньги в Государственном банке, покупки и, наконец, Зиновьевы и Давыдовы. Вся поездка всегда тяжела. Езда в *гости* должна быть очень коротка, т. е. надо ездить на часок; а то, очевидно, всякое посещение посторонних нарушает семейную и внутреннюю жизнь и бывает в тягость, и все это чувствуют.

10 марта. Нынче Левочка сидит, завтракает, принесли с Козловки газеты и письма, я говорю: «А мне все нет известий о XIII томе». Левочка мне на это говорит:

«Да ты что хлопочешь, ведь я принужден буду напечатать, что я отказываюсь от всех прав на эти сочинения XIII тома». Я ему на это сказала: «Только погоди, когда он выйдет». Он сказал: «Разумеется». Потом он ушел, а я стала злиться, что опять он хочет отнять у меня возможность получить немного лишних денег, которые так нужны всем моим детям. И придумала злобное сказать Левочке; когда он шел гулять, я ему и сказала: «Ты напечатаешь, что отказываешься от прав, а я тут же напечатаю, что я надеюсь, что публика настолько деликатна, что не воспользуется правами, принадлежащими детям твоим». Он стал доказывать мою неделикатность, но мягко; я молчала. Потом он сказал, что если я люблю его, то сама напечатаю это отречение от прав на его новые произведения. Он ушел, а мне стало его жаль, и так ничтожны показались мне имущественные интересы сравнительно с той болью, которую я испытываю от нашей обоюдной отчужденности друг от друга. После обеда я ему сказала, что жалею о том, что я сказала ему неприятное, и что ничего не напечатаю, а что мне дороже всего его не огорчить. Мы оба прослезились, тут стоял Ванечка и испуганно спрашивал: что? что? Я ему сказала: «Мама обидела папу, и мы помирились». Он удовлетворился и издал звук: «А!»

Холодно, ветер. Был рисовальный учитель, просил взаймы денег, я не дала, очень уж плохой учитель.

Болит спина и грудь, и слабость ужасная. После обеда Таня, Соня Мамонова, Маша, Ваня и немножко Миша плясали под гармонию и фортепьяно. Соня нарядилась бабой. Алексей Митрофанович пошел с 4 ребятами, которых он учит, в Тулу.

Читала статью «По поводу Крейцеровой сонаты» М. де Вогюэ [46], удивительно тонко и умно. Он говорит, между прочим, что Толстой дошел до крайности анализа (analyse creusante), убившего всякую жизнь личную и литературную. Вечером Левочка читал вслух повесть Потапенко «Генеральская дочь» [47], недурно. Вязала, кроила и шила с Соней кофту Агафье Михайловне.

Левочка переправляет и опять переписывает «О непротивлении», Маша ему переписывает. Эти тяжеловесные статьи даются *художнику* трудно, а за свое, художественное дело не берется.

11 марта. Приехал Вячеслав[48], уехала Соня Мамонова. Я рада Вячеславу и в нем вижу и живо вспоминаю мать и ее к нему любовь.

Таня провожала Соню в Тулу и там обедала у губернатора. Левочка тоже ездил в Тулу верхом, к Давыдову и Зиновьеву, по делам разных крестьян. Я весь день провела с братом. Вечером читали вслух.

12 марта. Приехал американец, редактор газеты «Harold»[49], из Нью-Йорка. Еще *темный*, Никифоров. Разговоры, разговоры без конца. Получила известие из московской цензуры, что XIII том арестован бесповоротно. Еду в Петербург хлопотать. Это меня страшно расстраивает. Чувствую, что ничего не сделаю, что счастье и веру в свои силы утратила. А, может быть, бог поможет. Снег, ветер, мороз, хоть на санях ездить опять.

13 марта. Была в Туле, никого не видела, кроме деловых людей. Все раздел с священником. Вечером разговоры с американцем; ему нужны для газеты сведения о Левочке, которые я ему и дала, но очень осторожно, так как учена уже многими. Вячеслав уехал рано утром; он оторвался от нас, жаль. Получила письмо от гр. Александры Андреевны Толстой, пишет, что государь не принимает дам, но чтобы я подождала неделю или дней десять ответа[50].

Еду в Москву, выпущу 12 частей с объявлением о задержке XIII[51]. Как не хочется двигаться, как тяжело хлопотать! А кому же?

Холодно, ветер, выпал снег, и опять все на санях.

20 марта. Провела в Москве 15 и 16 число. Оба дня была с Левой. Он в восторге, что напечатают еще его рассказ «Монтекристо» в «Роднике» апрельской книжки. Я тоже в восторге. Меня радует и интересует его попытка писательства и его удача с издателями, так сочувственно отнесшимися к его первым трудам. В Москве узнала, что XIII часть запретили в Петербурге. В Москве была арестована только «Крейцерова соната». Еду в Петербург, употреблю все старания, чтобы увидать государя и отвоевать XIII том. Видела в Москве двух Олсуфьевых и Всеволожского и рада была им, очень хорошие ребята все трое. Дунаев совсем странен и болен. Привезла в Ясную Вареньку Нагорнову, это милое, светлое создание. Ей все

были рады, и она сегодня только уехала. Таня и Маша в новых катках сейчас уехали ее провожать до Тулы, ночевать у Зиновьевых и видеть передвижную выставку картин. Поеду и я с мальчиками в воскресенье. Ничего не интересует и ни о чем не могу думать, пока не решится судьба XIII тома. Сочиняю речи и письма государю, думаю, соображаю и жду только письма А. А. Толстой, которая должна известить меня, примет ли меня государь и когда. Левочка говорит, что он умственно заснул и плохо пишется. У него побаливает под ложкой, но на вид он бодр.

Ветер, тает, 5 градусов тепла, грязь и езда на колесах.

21 марта. Читала Спинозу; поразили меня два рассуждения: первое о власти и законах; что власть должна подчинять людей, не страхом карать их за проступки, а тем, что, поставив идеалы, заставила бы людей понять свою собственную пользу и стремиться к этим идеалам, в которые они бы поверили, как в свое же общее благо. Другое рассуждение о чудесах. Что люди (le vulgaire)* неразвитые видят руку божию только в том, что *вне* законов природы и вероятности, а совсем не видят бога во всей природе, во всем мироздании. И вот они ждут от бога чудес, т. е. нечто такого, что вне природы.

Девочки вернулись из Тулы, ночевали они у Давыдовых, видели выставку прошлогоднюю, передвижную, картин и очень озябли. Ветер страшный, совсем буря; на точке замерзания, и все-таки тает. С Андрюшей нынче опять было неприятно во время урока музыки. Он не может помнить самого *дела,* а помнит все, что вокруг него; неприятно отдергивает руку, когда я дотронусь до его руки, отвертывается, когда я останавливаю его, и т. п. Я терплю, терплю, наконец накипит, и я или крикну на него, или ударю его по руке и страшно расстроюсь.

Было письмо от Левы к Тане. Левочка необыкновенно мил, весел и ласков. И все это, увы! все от одной и той же причины. Если бы те, которые с благоговением читали «Крейцерову сонату», заглянули на минуту в ту любовную жизнь, которой живет Левочка, и при одной которой он бывает весел и добр,— то как свергли бы они свое божество с того пьедестала, на который его поставили!

---

* толпа *(франц.).*

А я люблю его такого, нормального, слабого в привычках и доброго. Не надо быть животным, но не надо быть насильно тем проповедником истин, которых не вмещаешь в себе.

22 марта. Весь день примеряла и возилась с детскими летними платьями. После обеда мы с Левочкой поиграли в 4 руки. Вечером он, вместо пасьянса, мотал мне суровые нитки, очень спутанные, и очень этим увлекся. Написала письмо Соне. Нездоровится и устала.

23 марта. В первый раз сегодня почувствовала я весну; хотя подмораживало, но солнце садилось так ясно, птицы пели, и особенно красиво, по-весеннему обрисовывались стволы молодых березок в Чепыже. После обеда взяла Андрюшу и Сашу, и мы чистили снег с каменной террасы. Левочка съездил в Тулу верхом, был только у Давыдова и вернулся в 8-м часу вечера. Он здоров и весел. Сегодня утром сидит завтракает, а я работаю в зале, он и говорит: «А я вот как глуп, что придумал «Quand est-ce-qu'on se porte bien? — Quand on a une bonne et qu'on ne lui donne pas du thé, s'est à dire qu'on *a une bonne sans thé* (bonne santé)» *. Это он ел шоколадный кисель, а я говорю: шоколад безвредный, не Ваниль, а Санте. Ему и пришел в голову каламбур.

Учила детей музыке, играли в 4 руки Gavotte Bach'a **, аранжированный для детей. Приехал Петя Раевский. Из Петербурга все нет известий, и я томлюсь неизвестностью и ожиданием.

24 марта. Утром написала 3 письма: 2 в ответ на полученные от Левы и Дунаева и одно гр. А. А. Толстой. Ожидания меня замучили, и я решилась еще раз сделать запрос. Письмо Левы длинно, подробно и хорошо тем, что он не прекращает сношений с семьей и откровенно все о себе пишет. Потом сидела одна и читала. Прекрасная статья в «Русских ведомостях» «Мысли Шопенгауэра о писательстве» [52]. Он делит писателей на 3 разряда: «одни пишут мысли прямо взятые из других книг; другие са-

---

* Непереводимый французский каламбур: «Когда человек здоров? Когда у него есть няня, которой не дают чаю, тогда у него хорошее здоровье» *(франц.)*.

** Гавот Баха (*франц.*).

дятся писать и тогда придумывают, что им написать. Третьи прежде много думали, и когда мыслей много, тогда пишут. Эти самые редкие». Очень это умно.

Дети все ходили в Ровские казармы чай пить. Часа в 3 приехал Давыдов с дочерью и маленьким Бухманом. После обеда гуляли, смотрели коров, свиней, ходили на гумно, лазили на солому. Вернувшись, я играла с Давыдовым в 4 руки, а потом все играли в игры, и все были очень оживлены. С Левочкой дружно и просто. Он здоров, гулял, немного писал свою статью; когда-то он ее кончит и сам себе развяжет руки! 2 градуса тепла, к вечеру подморозило. Снегу еще везде много, особенно в лесу.

27 марта. Ездила 25-го с Андрюшей и Мишей в Тулу. Ходили на передвижную выставку картин; мне всегда доставляют картины большое наслажденье, но мало было хороших: прекрасные пейзажи Волкова и Шишкина [53]. После выставки зашли в кондитерскую, в магазин учебных пособий и поехали к Раевским. Иван Иванович и Елена Павловна ехали обедать к Свербеевой Софье Дмитриевне, и я поехала с ними; мальчики, 6 человек, обедали одни. Потом у Свербеевых оказался лишний билет в концерт, я и поехала с одной из милых девочек, Любой, и Раевский, забрав всех мальчиков, поехал тоже. Концерт и чтение были, как всегда в провинции, очень посредственные, но я не скучала, только устала, а дети были очень довольны.

Из концерта вернулась к Давыдовым ночевать, дети же ночевали у Раевских. На другое утро они уехали домой, я же, встав рано, отправилась по делам. Иду по Киевской, вдруг Илюша стоит. Я очень удивилась, попросила его поехать посмотреть со мной коляски продажные. Это было долго и скучно. Потом я пошла к старшему нотариусу за залоговым свидетельством и потом уехала с Ильей домой. Он приезжал собрать сведения о продающемся конкурсом именье, просил у меня 35 тысяч денег, я отказала, вышло неприятно, но обошлось. После обеда я сошла в комнату Тани, хотела с детьми посидеть; Илья вдруг говорит: «А я вам кобыл для кумыса не дам». Я вспыхнула и говорю: «Я тебя и не спрошу, а прикажу управляющему». Он тоже вспыхнул и говорит: «Управляющий — я».— «А хозяйка — я». Была ли я уставши или уж очень он меня намучил разговором о деньгах и именье, только я страшно рассердилась, говорю: «До чего

дошел, отцу на кумыс кобыл пожалел, зачем ты ездишь, убирайся к черту, ты меня измучил!» Хлопнула дверью и ушла. И больно, и стыдно, и досадно на сына — вообще отвратительно.

Потом пошли, в первый раз серьезно, разговоры о том, что так оставаться не может и надо всем делиться. Я очень этому рада, только согласна делить детей только по жеребию; на это, по-видимому, Илья тоже не согласится, ему хочется остаться в Гриневке и Никольском, а мне не хочется обижать беззащитных маленьких детей. Собственно, трудно с одним Ильей — он страшный эгоист и очень жаден, может быть оттого, что у него уже семья. Остальные дети все деликатны и на все будут согласны. Левочка всегда имел слабость к Илье и не видал его недостатков; на этот раз тоже ему хочется сделать все по желанию Ильи, и я боюсь, что будут еще неприятности без конца. К счастью, Гриневка на мое имя, и если не согласятся делить всех детей по жеребью, я не соглашусь отдать Гриневки и Овсянникова. Но маленьких в обиду не дам ни за что. Левочке все эти разговоры тяжелы, а мне еще вдесятеро тяжеле, так как приходится защищать меньших детей от старших. Таня все время за Илью, и мне это неприятно. Завтра еду в Петербург, страшно не хочется, жутко и предчувствие неудачи. Теплее стало, но ветер. 7 градусов тепла было днем.

22 апреля. Почти месяц не писала журнала. Месяц особенно интересный и полный событий. Но это всегда так: времени было мало, нервы были натянуты до последней степени и писать приходилось много писем домой, так что журнал и не писала.

Сегодня второй день пасхи и второй день жаркой, совсем летней погоды. В два дня из бурых сделались нежнозелеными все кусты и деревья, и первый день соловей поет вовсю с утра. Вчера еще вечером он только налаживался.

Вернулась я из Петербурга в вербное воскресенье, утром. Страстную неделю вначале отдыхала, болела, дала несколько уроков детям, наслаждалась тишиной и семейным кружком, а потом у нас были разговоры о разделе, за который дети очень горячо ухватились, особенно Илья. Разделили так: Илье Гриневку и часть Никольского, Сереже другую часть Никольского, Тане или Маше третью, большую часть Никольского с обязательством выплатить

деньги. Леве дом в Москве и Бобровский участок в Самаре, Тане или Маше Овсянниково и 40 000 денег. Андрюше, Мише и Саше по 2000 десятин земли в Самарской губернии, Ванечке и мне Ясную Поляну. Сначала я требовала жеребия на все, потом Лев Николаевич и дети протестовали, и пришлось согласиться. Самарские земли для маленьких потому хороши, что для них поднимутся в цене; кроме того, украсть, срубить или испортить там ничего нельзя, и управление в одних руках; Ясную дали мне и Ванечке потому, что нельзя же удалить отца; а там, где я, там и Лев Николаевич, там и Ванечка [54].

Илья пробыл три дня, привозили они и Цурикова с Нарышкиным. Сережа и теперь у нас, и Лева тоже. Сережа очень оторвался от семьи и опять уж хочет уходить в земские начальники в Москву [55], ему надоело в Никольском, да и понятно, одному? Лева уезжает сегодня, чтоб в Москве готовиться к экзамену. Он все худ, но все очень хорош нравственно. Напечатали его рассказ «Монтекристо» в «Роднике» апрельской книжки и прислали за него 26 рублей денег. В «Неделе» мартовской книги напечатали его рассказ «Любовь» и заплатили 65 рублей. Первые его заработанные деньги! «Монтекристо» Левочка и все очень хвалят.

На страстной я посылала Андрюшу и Мишу говеть, но сама не могла. Проделали они говенье равнодушно и стихийно, вместе с народом. В субботу служили у нас заутреню по просьбе всей прислуги, Левочка не был дома, и когда я его утром спросила: не будет ли ему неприятно, если будут служить в зале заутреню, он отвечал: «нисколько».

Вчера, после утреннего чая и завтрака, я велела заложить новые катки, и мы ездили со всеми детьми, Лидой и няней, Таней, Машей и двумя девочками (Сашками) в Засеку на шоссе, за сморчками. Я все ходила с Ванечкой и Сашей, и хотя близорукие глаза мои не видели почти сморчков, но я люблю и лес, и распускающуюся, просыпающуюся весеннюю природу, и тишину в глуши деревьев, и потому очень наслаждалась. Лева с Андрюшей ходили рыбу ловить, но даже не клевала, а Лева убил утку. Сегодня все ребята, как и вчера, на лугу, перед домом, бегают на pas-de-géant *, играют и толкутся при жамочнице.

---

* гигантские шаги *(франц.)*.

Вчера вечером играли наши ребята с деревенскими в разные игры, и странно, но уже теперь эти 11- и 13-летние мальчики относятся к девочкам крестьянским как *мальчики* уже, а не как товарищи. Как это противно и жалко!

Гостит Дунаев. Левочка что-то грустен, и когда я его спросила: «отчего?» — он говорил, что: «так, плохо пишется» [56]. Но, конечно, моя поездка в Петербург, говенье детей, заутреня — все это не по *его* вере, и ему грустно. Странно мое отношение ко всему этому. Я не могу не относиться с самым искренним сочувствием ко всем тем нравственным правилам, которые поставил сам себе и другим Левочка. Но я не вижу и не нахожу возможности провести их в жизни. На полдороге останавливаться я не могу, это не в моем характере; идти до конца — сил нет.

Вместе с тем дети растут совсем без религии; для детей и для народа необходимы *формы,* необходимо что-нибудь, в чем бы хранилось и выражалось отношение к богу. Для этого церковь; и от церкви, людям вне самых высших нравственных и отвлеченных верований, отлучаться невозможно, ибо очутишься в самой безнадежной пустоте.

Сейчас проводила Леву в Москву; Таня с Ванечкой поехали его провожать до Ясенков.

Постараюсь теперь восстановить в моей памяти и добросовестно описать все мои хлопоты в Петербурге по арестованной XIII части Полного собрания сочинений и мой разговор с государем 13 апреля 1891 г.

МОЯ ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ

Выехала я из Ясной Поляны в ночь с 28 на 29 марта. Утром, приехавши в Москву, я посидела с Левой и поехала в Государственный банк совершить конверсию * 5% банковских билетов на 4%. В 4 часа я была уже на Николаевском вокзале и, найдя очень удобное купе 2-го класса, доехала с одной дамой, могилевской помещицей, женой предводителя какого-то уезда, спокойно и хорошо. У Кузминских только вставали. Саша был на ревизии Балтийских губерний, Таня одевалась, Маша и дети причащались. Мы друг другу с Таней очень обрадовались, и она поместила меня в своей спальне. Выписали мы немедленно Мишу Стаховича; он говорил, что писал мне,

---

* изменение *(от лат.* conversio*).*

вызывая меня для свиданья с государем, так как Елена Григорьевна Шереметева, двоюродная сестра государя, рожденная Строганова, дочь Марии Николаевны (Лихтенбергской), выхлопотала согласие государя принять меня. Предлогом просьбы моей об аудиенции государя служило то, что я прошу, чтобы цензура для произведений Льва Николаевича была бы лично самого царя. Письмо это, посланное мне М. Стаховичем, или пропало, или он и не писал его. Человек он не очень правдивый, и потому я позволяю себе сомневаться. М. Стахович показал мне набросанную им форму письма к государю, которая мне очень не понравилась. Но я взяла ее. Надо еще оговориться для ясности, что Шереметева хлопотала о моей аудиенции у государя по просьбе Зоси Стахович, которую Шереметева очень любит. На другое утро моего приезда я поехала к Николаю Николаевичу Страхову, на его квартиру, всю занятую прекрасной библиотекой, им составленной. Он удивился и обрадовался мне. И вот мы начали с ним обсуждать письмо и мой предполагаемый разговор с государем. Ему не понравилось, так же как и мне, письмо, набросанное Стаховичем, и к 5 часам он прислал мне свой вариант. Но и этот мне не понравился, я написала с двух — еще свой, третий. Пришел брат мой, Вячеслав, и окончательно выправил и мое письмо. Его вариант и был послан 31 марта. Вот письмо:

«Ваше императорское величество, принимаю на себя смелость всеподданнейше просить ваше величество о назначении мне всемилостивейшего приема для принесения личного перед вашим величеством ходатайства ради моего мужа, графа Л. Н. Толстого. Милостивое внимание вашего величества даст мне возможность изложить условия, могущие содействовать возвращению моего мужа к прежним художественным, литературным трудам и разъяснить, что некоторые обвинения, возводимые на его деятельность, бывают ошибочны и столь тяжелы, что отнимают последние духовные силы у потерявшего уже свое здоровье русского писателя, могущего, может быть, еще служить своими произведениями на славу своего отечества.

Вашего императорского величества верноподданная

графиня *София Толстая*.

31 марта 1891 г.».

Не зная, каким способом послать это письмо, Таня-сестра сделала запрос своему хорошему знакомому, Скальковскому, служащему на высоком посту при почте, через телефон, и на другое утро Скальковский прислал своего курьера с запиской и обещанием, что мое письмо будет доставлено государю в Гатчину в тот же вечер. Письмо дошло 1 апреля, и в тот же день умерла вел. кн. Ольга Федоровна на пути в Крым, в Харькове, от острого плеврита и болезни сердца. Смерть эта, в связи с женитьбой ее сына, Михаила Михайловича на графине Меренберг, без согласия государя и его родителей, заняла весь Петербург. Везде только об этом и говорили. Девять дней, по обычаю и по этикету, при дворе не было никаких действий, и вся царская фамилия погрузилась в траур и уединение. Мы смотрели из окна кузминской квартиры, как по Невскому провезли тело вел. кн. с железной дороги в Петропавловскую крепость. Государь и Михаил Николаевич шли прямо за гробом. Войска и духовенство (особенно много было последнего) поразили своей солидарностью. Например, остановились для литии перед церковью Знаменья и для молитвы *ударили в барабаны,* и началась странная музыка с присвистом. Я этого никогда прежде не видала. Это язычество напоминает.

Чтоб знать приблизительно, как говорить с государем и как просить о разрешении XIII части Полного собрания сочинений, я решилась заехать в цензурный комитет, к Феоктистову, узнать о мотивах запрещения. Со мной была сестра Таня. Мы вошли. Поздоровавшись с Феоктистовым, которого я знала еще в Москве молодым, только что увезшим тогда свою красавицу жену тайком от матери,— я спросила его, почему запретили *весь* XIII том? Он сухо и машинально открыл какую-то книгу и прочел монотонным голосом: «Книга о жизни» запрещена духовной цензурой по приказанию св. синода. Статья «Так что ж нам делать?» запрещена полицейским управлением. А «Крейцерова соната» запрещена по высочайшему повелению»,— прибавил он. На все это я горячо начала доказывать, что главы из книги «О жизни», которые напечатала я, были уже напечатаны в «Неделе» [57] и не вызвали даже неудовольствия со стороны цензуры, что главы из «Что ж нам делать?» им же были пропущены в XII части,— и что остается только «Крейцерова соната», которую надеюсь выпросить у царя.

Феоктистов очень был сконфужен, когда узнал, что «О жизни» и «Что ж нам делать?» напечатаны не целиком. Он позвал секретаря, велел пересмотреть дело и обещал через два дня ответ. Я очень его упрекала за то, что так небрежно и невнимательно относится цензура к такому автору, как Лев Толстой; упрекала, что в цензуре даже *оглавления* не прочли и так смутили и огорчили и меня, и самого автора. Он, видимо, понял, что сделал глупость, и 3 апреля привез мне сам XIII часть и сказал, что ее можно пропустить.

Еще в газете «Новое время» [58] в то же время был напечатан репертуар пьес, которые будут играться в будущий сезон на императорских театрах, и в числе других значатся «Плоды просвещения» гр. Л. Н. Толстого. Зная, что пьеса эта запрещена на имп. театрах, я заехала в театральный комитет узнать, в чем дело? Оказалось, правда. Я спрашиваю там, было ли с их стороны какое-нибудь отношение к автору и спрос, желает ли он? Говорят, что нет. Я рассердилась, говорю там чиновнику, что очень уж бесцеремонно и неделикатно относятся к автору, и заявила, между прочим, что прошу теперь обращаться со всеми переговорами не к нему, а ко мне. На другой день явился режиссер с бумагой, в которой напечатаны условия: я принимаю на себя все возможные обязательства, например, что *ручаюсь,* что пьесы не будут играть на частных сценах, *обязуюсь* 2000 штрафом за неисполнение и т. д. Меня взбесили эти обязательства, и на другое утро я заехала опять в театральный комитет и заявила чиновнику, что я не согласна принять на себя *никаких* обязательств и пусть лучше пьеса не идет, но я не подпишусь ни за что. Он говорит, что это надо директору сказать. Я велела доложить о себе директору Всеволожскому. Он было отказался. Я говорю: «Странные у вас порядки, государя можно видеть, а директора, *обязанного* принимать, видеть нельзя». Мое высокомерие его смутило, и он пошел докладывать. В душе я все повторяла: «Хамы, на вас только кричать можно». Всеволожский принял меня развязно, представил мне какого-то Погожева, своего помощника, и заговорил: «Вы не хотите дать нам пьесы, графиня!» Я говорю: «Я не хочу только брать на себя обязательств, которых не могу исполнить».— «Но это только форма».— «Для кого форма, а для меня — дело совести, и я не подпишу ничего». Погожев вмешался тут и начал говорить: «Если вы не подпишите условий, вы получите вместо

10% только 5 с валового сбора». Я вспыхнула и, обращаясь к нему, сказала: «Я не в Гостином ряду и торговаться, как с купцами, не привыкла. Прошу оставить всякие денежные вопросы в стороне, они не интересуют ни меня, ни, тем более, графа, и пьесу я не дам». Потом обратилась к Всеволожскому и сказала: «Как? вы, человек нашего круга, вы не понимаете, что Льва Николаевича нельзя ставить на одну степень с водевильными авторами, что все мы, а прежде всех я, как жена и как порядочная женщина, должны считаться с его идеями, и потому я не могу подписать обязательства, что *нигде* на частных сценах пьесу эту играть не будут; что главную радость Льва Николаевича составляло то, что комедия эта не дала ему до сих пор ни копейки, а обязательство это лишает права играть эту пьесу на всех благотворительных спектаклях...» Я очень горячилась, Всеволожский предложил вычеркнуть некоторые обязательства. Я и на это не согласилась, и наконец он предложил написать письмо частное, что я предоставляю право играть на императорских театрах пьесу с 10% с валового сбора, что я и сделала.

Сережа, мой сын, предлагает эти деньги отдавать на благотворительные заведения императрицы Марии. Я бы охотно это сделала, да им же, моим 9 детям, так много нужно денег, а где я их буду брать?

Пользуясь свободным временем, я была на двух выставках: на передвижной и на академической [59]. Дурно ли я была настроена или устала очень, но выставки на меня произвели мало впечатления. Потом ездила с Таней по покупкам, шила себе платья и сидела много с своими и их гостями. Видела радостно три раза гр. Александру Андреевну Толстую, много с ней беседовала о религии, о Левочке, о детях и моем положении в семье. Она очень ласково и сочувственно относилась все время ко мне. Обедала раз у Стаховичей, раз у Менгден, раз у Трохимовских, раз у Ауэрбах и раз у гр. Александры Андреевны. А то все дома. Соблазняли меня ехать смотреть итальянскую знаменитую актрису — Дузе, но я была слишком разбита нервами и денег пожалела. Спала я все время не больше 5 часов.

Наконец в пятницу 12 апреля я потеряла терпение ждать приема государя. Тоска по дому и предстоящая страстная неделя, мое нервное состояние — все это привело меня к решению ехать в воскресенье домой. Я оделась и поехала благодарить Шереметеву за ее хлопоты

и сказать, что я ждать больше не могу. Шереметева, у которой была в то время принцесса Мекленбургская и которая думала, что это гр. Софья Андреевна Толстая, девушка, сестра Александры Андреевны, меня не приняла. Тогда я заехала к Зосе Стахович и сказала ей, что уезжаю в воскресенье и прошу это передать Шереметевой, чтоб она сказала государю. Оттуда проехала я к Александре Андреевне проститься с ней.

В 11 часов вечера, только что я легла, приносят записку Зоси, что государь, через Шереметеву же, просит меня на другой день, в $11^1/_2$ часов утра, в Аничков дворец.

Главная моя радость была в первую минуту, что я могу завтра же уехать. Сейчас же я начала все укладывать, написала записки разные, послала попросить у m-me Ауэрбах карету и лакея и легла в 3-м часу ночи, взволнованная. Но спать я не могла и все придумывала и твердила то, что я имею сказать государю.

Утром наскоро я распорядилась, кому что заплатить, попросила Таню уложить остальное, оделась и села дожидаться срока, когда ехать. Платье сшила траурное, черное, вуаль и черную кружевную шляпу. В 15 минут 12-го я поехала. Сердце немного билось, когда мы въехали на двор Аничкова дворца. Все отдавали мне честь у ворот и крыльца, а я кланялась. Когда я вошла в переднюю, я спросила швейцара, приказано ли государем принять графиню Толстую? Говорит: «Нет». Спросили еще кого-то,— тот же ответ. У меня так сердце и упало. Тогда позвали скорохода государя. Явился молодой, благообразный человек в ярком, красное с золотом, одеянии, в огромной треугольной шляпе. Спрашиваю его: «Есть ли распоряжение от государя принять графиню Толстую?» Он говорит: «Как же, пожалуйте, ваше сиятельство, государь, вернувшись из церкви, уже спрашивал о вас». А в этот день государь был на крестинах вел. кн. Елизаветы Феодоровны, перешедшей в православие. Скороход побежал по крутой лестнице, обитой ярко-зеленым очень некрасивым ковром, наверх. Я за ним. Не соразмерив своих сил, я бежала слишком скоро, и когда скороход, поклонившись, ушел, оставив меня в гостиной, я почувствовала такой прилив крови к сердцу, что думала, что сейчас умру. Состояние было ужасное. Первое, что мне пришло в голову, было то, что дело мое все-таки не стоило моей жизни: что сейчас скороход придет звать меня к государю и найдет

мой труп или что я все-таки ни слова не могу выговорить. Сердце билось так, что дышать, говорить или крикнуть было буквально невозможно. Посидев немного, я хотела спросить воды у кого-нибудь и не могла. Тогда я вспомнила, что лошадей, когда их загоняют, начинают тихо водить. Я встала с дивана и начала тихо ходить. Но лучше долго не было. Я развязала осторожно и незаметно под лифом корсет и опять села, растирая грудь рукою и думая о своих детях, о том, как они примут известие о моей смерти. К счастью, государь, узнав, что меня еще нет, принял кого-то еще, и у меня было достаточно времени, чтоб опомниться и отдохнуть. Я оправилась, вздохнула, и в это время пришел опять скороход и провозгласил: «Его величество просит ее сиятельство, графиню Толстую к себе». Я пошла за ним. У кабинета государя он поклонился и ушел. Государь встретил меня у самой двери, подал руку, я ему поклонилась, слегка присев, и он начал словами:

— Извините меня, графиня, что я так долго заставил вас ждать, но обстоятельства так сложились, что я раньше не мог.

На это я ему отвечала:

— Я и так глубоко благодарна, что ваше величество оказали мне милость, приняв меня.

Тут государь начал говорить, не помню какими словами, о моем муже, о том, что я, собственно, желаю от него. Я начала говорить уже совершенно твердо и спокойно:

— Ваше величество, последнее время я стала замечать в муже моем расположение писать в прежнем художественном роде, он недавно говорил: «Я настолько отодвинулся от своих религиозно-философских работ, что могу писать художественно, и в моей голове складывается нечто в форме и объеме «Войны и мира». А между тем предубеждение против него все возрастает. Вот, например, XIII часть арестовали, теперь нашли возможным пропустить, «Плоды просвещения» запретили, теперь велели играть на имп. театр. «Крейцерова соната» арестована...

На это государь мне сказал:

— Да ведь она написана так, что вы, вероятно, детям вашим не дали бы ее читать.

Я говорю:

— К сожалению, форма этого рассказа слишком крайняя, но мысль основная такова: идеал всегда недостижим;

если идеалом поставлено крайнее целомудрие, то люди будут только чисты в брачной жизни.

Еще я помню, что когда я сказала государю, что Лев Николаевич как-будто расположен к *художественной* деятельности, государь сказал: «Ах, как это было бы хорошо! как он пишет, как он пишет!»

После моего определения идеала в «Крейцеровой сонате» я прибавила:

— Как я была бы счастлива, если б возможно было снять арест с «Крейцеровой сонаты» в полном собрании сочинений. Это было бы явное милостивое отношение к Льву Николаевичу и, кто знает, могло бы очень поощрить его к работе.

Государь на это сказал:

— Да, в полном собрании можно ее пропустить, не всякий в состоянии его купить, и большого распространения быть не может.

Не помню, в какие промежутки разговора, но государь раза два повторил сожаление о том, что Лев Николаевич отстал от церкви. Он еще прибавил:

— И так много ересей возникает в простом народе и вредно на него действует.

На это я сказала:

— Могу уверить, ваше величество, что муж мой никогда ни в народе, ни где-либо не проповедует ничего; он ни слова не говорил никогда мужикам и не только не распространяет ничего из своих рукописей, но часто в отчаянии, что их распространяют. Так, например, раз один молодой человек украл рукопись из портфеля моего мужа, переписал из дневника его и через два года начал литографировать и распространять. (Я говорила, не называя его, о Новоселове и его поступке с «Николаем Палкиным» [60].)

Государь удивился и выразил свое негодование:

— Неужели! Как это дурно, это просто ужасно! Всякий может в дневнике писать, что он хочет, но украсть рукопись — это очень дурной поступок!

Государь говорит робко, очень приятным, певучим голосом. Глаза у него ласковые и очень добрые, улыбка конфузливая и тоже добрая. Рост очень большой; государь скорее толст, но крепок и, видно, силен. Волос совсем почти нет; от одного виска до другого скорее слишком узко, точно немного сдавлено. Он мне напомнил немного Владимира Григорьевича Черткова, особенно голосом и

манерой говорить. Потом государь спросил меня, как дети относятся к учению отца? Я отвечала, что к тем высоконравственным правилам, которые проповедует отец, они не могут относиться иначе, как с уважением, но что я считаю нужным воспитывать их в церковной вере, что я говела с детьми в августе, но в Туле, а не в деревне, так как из наших священников, которые должны быть нашими духовными отцами, сделали шпионов, которые написали на нас ложный донос.

Государь на это сказал: «Я это слышал». Затем я рассказала, что старший сын — земский начальник, второй — женат и хозяйничает, третий — студент, а остальные дома.

Еще я забыла написать, что, когда был разговор о «Крейцеровой сонате», государь сказал:

— Не может ли ваш муж переделать ее немного?

Я говорю:

— Нет, ваше величество, он никогда не может поправлять свои произведения и про эту повесть говорил, что она ему противна стала, что он не может ее слышать.

Потом государь спросил меня:

— А часто ли вы видаете Черткова, сына Григория Ивановича и Елизаветы Ивановны? Вот его ваш муж совсем обратил.

К этому вопросу я не приготовилась и замялась на минуту. Но потом нашлась и ответила:

— Черткова мы более двух лет не видали. У него больная жена, которую он не может оставлять. Почва же, на которой Чертков сошелся с моим мужем, была сначала не религиозная, а другая. Заметив, что в народной литературе встречаются множество глупых и безнравственных книг, мой муж дал мысль Черткову переобразовать народную литературу, дав ей нравственное и образовательное направление. Муж мой написал несколько рассказов для народа, которые, после того как разошлись в нескольких миллионах экземпляров, найдены теперь вредными, не довольно церковными, и тоже запрещены. Кроме того, издано много научных, философских, исторических и других книг. Дело это очень хорошее и очень подвинулось; но и это встретило гонение [61].

На это государь ничего не сказал. Под конец я решилась сказать:

— Ваше величество, если мой муж будет опять писать в художественной форме и я буду печатать его произведения, то для меня было бы высшим счастьем, если б приговор над его сочинением был выражением личной воли вашего величества.

На это государь мне ответил:

— Я буду очень рад; присылайте его сочинения прямо на мое рассмотрение.

Не помню хорошенько, было ли еще что сказано, кажется, я все записала. Помню, что он прибавил:

— Будьте покойны, все устроится. Я очень рад,— и затем встал и подал мне руку.

Я опять поклонилась и сказала:

— Мне очень жаль, что я не успела просить о представлении императрице, мне сказали, что она нездорова.

— Нет, императрица сегодня здорова и примет вас; вы скажите, чтоб о вас доложили.

После этого я вышла, и в дверях, выходя в маленькую комнатку возле кабинета государя, государь остановил меня и спросил:

— Вы долго еще пробудете в Петербурге?

— Нет, ваше величество, я уезжаю сегодня.

— Так скоро? Отчего же?

— У меня ребенок не совсем здоров.

— Что с ним?

— Ветряная оспа.

— Это совсем не опасно, только бы не простудить.

— Вот я и боюсь, ваше величество, что без меня простудят, такие холода стоят.

И я ушла, поклонившись еще раз, и после пожатия, очень ласкового, моей руки государем.

И вот я пришла опять в ту же гостиную, с красной атласной мебелью, статуя женщины в середине, две статуи мальчиков по бокам, два зеркала в простенках тех арк, которые отделяли гостиную от залы. Везде пропасть растений и цветов. Никогда я не забуду этих ярко-красных азалий в роскошнейшем цвету, глядя на которые я думала, что умираю. Вид из окон скучный, на мощеный двор, где стояли две кареты и ходили солдаты.

Немолодой лакей с иностранным лицом и выговором стоял у двери приемной государыни. С другой стороны стоял негр в национальном мундире. Около кабинета го-

сударя тоже стояли негры, три, кажется. Я попросила лакея доложить государыне обо мне, прибавив, что с разрешения государя.

Он сказал, что там дама сидит и что он доложит, когда та уйдет.

Я подождала минут 15—20. Вышла дама, лакей сказал мне, что государь был у императрицы и сказал ей, что я желаю ей представиться. Я вошла. Тоненькая, быстрая и легкая на ногах, подошла ко мне навстречу императрица. Цвет лица очень красивый, волосы удивительно аккуратно прибраны, точно наклеены, красивого каштанового цвета, платье черное шерстяное, талия очень тонкая, также руки и шея. Ростом не большая, но и не очень маленькая. Голос поражает своими гортанными и громкими звуками. Она подала мне руку и так же, как государь, сейчас же пригласила меня сесть.

— Je vous ai déjà vu une fois, n'est ce pas? — спросила она.

— J'ai eu le bonheur d'être présentée à votre majesté il y a de cela quelques années à l'Institut de St. Nicolas, chez m-me Schostag.

— Ah, certainement, et votre fille aussi. Dites moi, est-ce vraiment on vole les manuscrits du comte et on les imprime sans lui demander la permission? Mais c'est une horreur, c'est très mal, c'est impossible.

— C'est vrai, votre majesté, et c'est bien triste. Mais que faire! *

Потом императрица спросила, сколько у меня детей, чем заняты. Я выразила ей свою радость, что сыну ее, Георгию Александровичу, лучше, что я очень за нее страдала, зная, как ей тяжело было в разлуке с двумя сыновьями знать, что один так нездоров. Она сказала, что он теперь совсем поправился; но что у него было воспаление в легких, что запустили болезнь, сам он не берегся, и что она очень тревожилась. Я ей выразила сожаление, что не

---

* — Я уже однажды встречалась с вами, не правда ли?

— Я имела счастье быть представленной вашему величеству несколько лет тому назад в Николаевском институте у г-жи Шостак.

— Да, конечно, также и ваша дочь. Скажите мне: правда ли, рукописи графа крадут и печатают не спросясь его позволения? Но это ужасно, отвратительно, невозможно!

— Правда, ваше величество, и это очень печально. Но что делать! *(франц.)*.

видала никогда ее детей, на что государыня сказала, что они все в Гатчине.

— Ils sont tous si heureux, si bien portants,— прибавила государыня. — Je tiens qu'ils aient des souvenires heureux de leur enfance *.

Я сказала:

— Dans une famille comme celle de sa majesté, tout le monde doit se sentir heureux **.

Императрица продолжала.

— Ce petit Michel aux joues roses, il joue une grande fille à 16 ans ***.

Потом государыня встала, подала мне руку и ласково сказала:

— Je suis très contente de vous avoir revu encore une fois ****.

Я поклонилась и ушла.

Карета Ауэрбах довезла меня до дому Кузминских, и я, не чувствуя четырех этажей, довольная взбежала наверх.

Встретила меня сестра Таня, потом Зося, Маня и Миша Стахович, Эрдели, Александр Михайлович и все дети Кузминские. Я принуждена была все рассказать. Все сочувствовали, все поздравляли. Я написала 2 телеграммы: одну Леве в Москву, другую домой, позавтракала и села на поезд в 3 часа того же дня. Провожали меня все те же, и мне ужасно жаль было расставаться с сестрой Таней, когда я взглянула на ее измученное лицо и вспомнила, сколько я ей доставила хлопот и сколько вызывала в ней сочувствия к моим делам.

Одно еще я забыла написать из разговора с государем. Он упомянул после вопроса о влиянии Льва Николаевича на народ, об обращенной им молодежи. Я сказала ему, что все это почти те люди, которые находились на ложном пути политического зла, и что Лев Николаевич обратил их к земле, к непротивлению злу, к любви. И что, во всяком случае, если они не в истине, то на стороне порядка.

---

* — Они все так счастливы, так здоровы. — Я хочу, чтобы у них были счастливые воспоминания детства *(франц.)*.

** — Все должны считать себя счастливыми в такой семье, какова семья вашего величества *(франц.)*.

*** — Маленький краснощекий Миша играл роль взрослой девушки в 16 лет *(франц.)*.

**** — Я очень довольна тем, что еще раз вас увидела *(франц.)*.

В Москве, на Курском вокзале, воскресение 14-го апреля встретил меня Лева, Дмитрий Алексеевич Дьяков и Дунаев. Мы завтракали, и я им опять все рассказывала. Лева и Дмитрий Алексеевич очень интересовались. На платформе, при отходе поезда, я встретила Надю Зиновьеву, шедшую тоже в вагон. Она пригласила нас в свое отделение на семейный билет, и мы ехали очень весело: Лева, Надя, я и две дамы, мать и дочь, харьковские помещицы. Дочь сначала плакала, потому что только что рассталась с женихом.

Дома встретили нас Таня и меньшие дети. Левочка ушел в Чепыж, потом вышел в сад меня поджидать и долго не приходил. А я проехала раньше. Маша была в своей комнате. Я очень счастлива была быть дома. Но Левочка был недоволен моими похождениями и свиданием с государем. Он говорил, что теперь мы как будто приняли на себя какие-то обязательства, которые не можем исполнить, а что прежде он и государь игнорировали друг друга и что теперь все это может повредить нам и вызвать неприятное [62].

23 апреля. С утра я отправилась сажать выкопанные вчера в Чепыже и в елочках деревья и желуди, собранные мне Ванечкой и няней. Со мной все время был Ванечка и Лидия, и Дунаев помогал все сажать в саду, около нижнего пруда. Мне жаль, что падает и погибает старый сад, и хочется, чтоб рос молодой. К Дунаеву у меня странное, какое-то брезгливое отношение, хотя он хороший человек.

К обеду приехали все Зиновьевы; гуляли, разговаривали. Вечером пели две Зиновьевы, играли, и Сережа сыграл очень хорошо балладу Шопена.

Вспомнила я нынче вечером (всегда вспоминаю, когда лето близко) покойного Урусова. И так невыносимо жаль стало, что его нет и не может никогда больше быть. Как он умел наполнять собой жизнь других, как избаловал меня этим вечным участием и убеждением, что я всего лучшего достойна, что я все могу, что захочу, что все, что я делаю,— прекрасно. А рядом с этим — меня свои презирали и относились ко мне безучастно, эгоистично и ревниво. Отчего это всегда *свои* строже всех? Как это жаль и как портят этим обоюдно свои отношения и жизнь. Холодно и ясно. Сейчас прошла Таня и сказала, что Левочка велел мне сказать, что он лег и потушил свечу.

24 апреля. Проводила сегодня Зиновьевых девочек и Сережу в Ясенки, они ехали все в Тулу; а девочки наши, Таня и Маша, уехали оттуда же в Пирогово. Я брала в Ясенки Сашу и Ванечку. Пошел дождь, подул северный ветер, и на меня напал ужас, что я простужу детей. Потом писала письма: Леве, Гайдебурову, ответ на запрос о новом издании[63], Зосе Стахович и Фету. Обед был тихий, Левочка, Дунаев, Лида, я и 4 маленьких. После обеда Левочка вдруг собрался пешком в Тулу, с Дунаевым. Северный ветер так был силен, что я умоляла не ходить. Но он упрям, и не было еще случая в моей жизни, чтоб он исполнил мою просьбу, особенно касательно *его* здоровья. Так он и ушел с Дунаевым в одном легком пальто. Я пошла с детьми немного погулять и вдруг увидала на том самом месте, где я вчера сажала дубки и елочки, целое стадо деревенских коров внизу, в саду, у нижнего пруда. Девки и бабы спокойно их стерегли, пока я не подняла страшного крика. Мне жаль стало моих трудов и деревцов. Потом пошла к Василию и ему приказала загонять коров, если будут ходить по усадьбе. Трудно здесь с народом, очень избаловал их Левочка. Вернувшись, сделала ванну Ванечке, сама присутствовала и уложила его; потом переписывала дневники Левочки. Теперь 11-й час, ветер гудит, и мне жутко за всех отсутствующих. Послала за Левочкой на Козловку; но вряд ли он успеет дойти до Тулы и попасть на поезд. Левочка и Дунаев вернулись с поездом, и было так холодно, что Левочка обрадовался полушубку.

29 апреля. Несколько дней не писала дневника. Третьего дня вечером опять сделался со мной припадок удушья, точно что-то закупорило меня. При этом страшное сердцебиение, прилив крови к голове. Я бросилась к няне, говорю: я умираю. Поцеловала Ванечку и побежала вниз, к Левочке, проститься с ним перед смертью. Физически было жутко, нравственно — нисколько. Левочки внизу не было. Я перекрестилась и, без дыханья, ждала смерти. Потом опять пошла к себе и проходом успела попросить скорей горчицу на грудь и пульверизатор. Когда я легла и вдышала пары, мне стало легче. Но до сих пор в груди что-то неладно, и я думаю, что я долго не проживу. Есть что-то во мне надорванное. Такая трата энергии и жизненных сил, которая досталась мне на долю,— теперь мне уже не по годам.

Второй день у нас старики Ге, возвращающиеся из Петербурга. Написала я письмо министру внутренних дел, чтоб он напомнил государю о его личном позволении мне печатать «Крейцерову сонату» в Полном собрании сочинений [64]. От Левы было грустное письмо, что он не хочет держать экзамен и выходит из университета [65]. И Левочка и я, мы написали ему, что не советуем бросать университета, не определив себе ясно, что̀ он будет делать, когда выйдет. Не думаю, чтоб он послушался. Пусть делает, что ему лучше, а поддержать всегда надо. Послезавтра Таня едет в Москву. У нас все бодры и веселы; дети принялись сегодня за учение. Дождь шел весь день и холодно. Три дня больная, сижу дома, а на дворе все зазеленело, травы и листья на деревьях, и соловьи поют.

30 апреля. Ге уехали, мы одни, в семье, и это очень приятно. Холод и мороз по ночам. Сидела дома весь день и все больше одна. И давно я не чувствовала себя в таком обширном пространстве, как сегодня. Просторно в уме, духом свободна, все понимаю и мысленно облетела необозримое пространство. Бывают дни, когда совершенно обратно: чувствуешь себя тесно, подавленной и точно в заключении. Читала «La vie Eternelle», чудесная книга, не новая. Левочка ездил верхом в Ясенки и получил эту книгу с почты; посылает ее ему Никифоров [66].

Как дурно, что я молодость жила в таком уединении. Вспоминаю, как всякое ничтожество, вроде переваренного или недоваренного кушанья, принимало большие размеры; как всякое горе было преувеличено; как все хорошее, не имея сравнений, проходило незаметно; как всякий гость имел особенный интерес; как однообразно, без просыпа, шли дни за днями, не пробуждая ни энергии, ни интереса к чему бы то ни было. Нет, я не создана была для уединения, и это подавило все мои душевные силы.

1 мая. Таня уехала утром в Москву. Илья приезжал, поехал в Тулу по делам раздела. К обеду приехал Давыдов с дочерью и кн. Львов. Оба люди мне очень приятные, и был бы хорошо проведенный день, если б не нездоровье. Катар всех дыхательных путей, и ночью лихорадка, и очень как-то тяжко.

Переписывала дневник Левочки, читала «La vie Eternelle». Очень хорошо и интересно. После обеда все гуля-

ли, а я часа два играла «Lieder ohne Worte» Mendelson'a * и сонату Бетховена. Как всегда досадно, что плохо играю, иногда просто учиться хочется, чтоб овладеть музыкой. Левочка ходил встречать Давыдова. Он все ходит и пишет статью [67]. За чаем был разговор о воспитании. Мне не хочется отдавать детей в гимназию, но я не вижу другого исхода и вообще не знаю, что делать. Одна я их не сумею образовать, а Левочка всю жизнь очень хорошо обо всем *рассуждает*, но ровно ничего (в этой области) *не делает*. Приехал какой-то господин с письмом Орлова [68] и сейчас уезжает. Стало теплее, все приносят свежие, светлые фиалки. Ели сморчки, соловей поет, и туго распускается лист. Весна вообще не веселая, медленная, ленивая и холодная. Как симпатичен Давыдов своей тонкостью чувств.

15 мая. Опять давно не писала журнала, и опять было много событий. Приезжала 2-го или 3-го мая Урусова (рожд. Мальцева) с двумя старшими дочерями: Мэри и Ира. Их присутствие так страшно болезненно напомнило мне самого князя Урусова, умершего, что я не могла отделаться от этого чувства. Сидя за обедом, я все видела его, сидящим против меня, около Левочки, или возле меня, и просившего меня, когда мы ждали приезда его семьи: «Вы будете их любить, графиня, не правда ли? Вы будете любить мою *бэдную* жену?» Он выговаривал *бедную* с иностранным акцентом. И я люблю действительно его бедную жену и его детей, особенно Мэри, которая поразительно напоминает его и которая так сыграла сонату Бетховена, что в таланте ее, исключительном и прекрасном, сомнения быть не может. И такие они обе наивные и вместе цивилизованные! Княгиня очень переменилась к лучшему, смирилась и во многом раскаялась. Не знаю, зачем она мне всякий раз говорит, и этот раз так серьезно и спокойно, что муж ее меня любил исключительно и больше Левочки, что я дала ему и семейную радость в своей семье, и то, что должна бы была дать ему она, его жена,— участие, дружбу, ласку, заботу. Я ей сказала, что она ошибается, что ее муж так любил меня; что он мне этого никогда не сказал и что мы были только очень дружны. Она мне на это сказала: «Jamais il

---

* «Песни без слов» Мендельсона *(нем.)*.

n'aurait osé vous avouer son amour, et il aimait trop le comte pour se l'avouer même à soi-même» *.

Мы провели хороших 3 дня вместе и дружно расстались.

Они уехали в Крым, а я была вызвана Таней в Москву для экзаменов Андрюши и Миши, и мы поехали в Москву с Алексеем Митрофановичем 6-го курьерским. Было жарко, я вязала, дети лазили и дружились с пассажирами, которые их угощали. Вечером приехали в Хамовники, я поехала к Поливанову и узнала все об экзаменах. Андрюша не спал всю ночь и волновался, Миша был спокоен и заснул скоро. Первый экзамен из закона божия прошел благополучно в смысле, что страх стал меньше. Мы жили во флигеле 5 дней, в свободные минуты пользуясь нашим чудесным садом. Дети держали экзамены плохо, не знаю, чему это приписать, дурным ли их способностям или плохим преподавателям. Андрюшу приняли в 3-й класс, Мишу во 2-й, и я до сих пор не решила, отдам ли я их в гимназию, и жалко, и страшно; но страшно и не отдать. Все предоставляю судьбе. Как разны Андрюша и Миша! Первый робок, нервен, во все вглядывается; второй возбужден, разговорчив, любит пользоваться всеми благами жизни.

Были мы на французской выставке; видели светящийся фонтан, но выставка еще не совсем готова и была закрыта; только бронзу видели и фарфор.

Проезжая Кремлем, я видела множество экипажей у Малого дворца. Это вел. кн. Сергей Александрович принимал всю Москву, вступив в должность московского генерал-губернатора.

XIII часть не выпускают из цензуры; придрались к трем фразам, приблизительно таким: «От Эйфелевой башни до общей воинской повинности...» Еще: «Когда все европейские народы заняты тем, чтоб обучать молодых людей убийству...» и еще: «что все совершается и управляется людьми не в трезвом состоянии». Но эти фразы были уже напечатаны в этой же статье под формой предисловия к книге Алексеева: «О пьянстве» [69]. Я написала об этом последнем и в московскую цензуру, и в Петербург Феоктистову. Во время моего отсутствия из Ясной туда

---

* Он никогда не посмел бы признаться в своей любви, и он слишком любил графа, чтобы признаться в ней самому себе *(франц.)*.

пришло письмо министра[70] с разрешением в полном собрании сочинений «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия». В Москве я это узнала в типографии, где печатали ее. Не могу не чувствовать внутреннего торжества, что, помимо всех в мире, было дело у меня с царем, и я, женщина, выпросила то, чего никто другой не мог бы добиться. И влияние мое, личное, несомненно, играло в этом деле главную роль. Я всем говорила, что если на меня найдет на минуту то вдохновение, которым я сумею завладеть нравственно царем, как человеком, я добьюсь своего, и вот это вдохновение на меня нашло, и я склонила волю царя, хотя он очень добрый и способный подпасть хорошему влиянию. Кто прочтет это, сочтет за хвастовство мои слова,— но ошибется и будет несправедлив.

На днях выйдет XIII том, и мне очень хотелось бы послать его государю, приложив к нему группу всей моей семьи, которой он так интересовался. И он, и государыня меня подробно спрашивали о детях.

Весна во всем разгаре. Яблони цветут необыкновенно. Что-то волшебное, безумное в их цветении. Я никогда ничего подобного не видала. Взглянешь в окно в сад и всякий раз поразишься этим воздушным, белым облакам цветов в воздухе, с розовым оттенком местами и с свежим зеленым фоном вдали.

Очень жарко и сухо. Во всех комнатах одуряющий запах от букетов ландышей.

У бедного Левочки воспаление век, и он сидит один внизу, в темной комнате уже двое суток. Сегодня ему немного лучше. Вчера посылала к доктору Рудневу за советом, и он велел примачивать свинцовой примочкой, которую и прислал. Вчера Левочка написал через Машу письмо Алехину (темному) о религиозных вопросах, и так хорошо, так согласно с моими взглядами, что я поразилась[71]. Вопрос о бессмертии и будущей жизни, о которой мы не должны тревожиться, раз мы предоставили себя в руки бога и сказали: «да будет воля твоя!» А узнать ее нельзя, как ни тревожься об этом вопросе.

Завтра приезжают Кузминские, и дети сегодня за обедом огорчались, что кончается наша тихая, чисто семейная и счастливая жизнь и что хотя родной, но посторонний, сустящий нас элемент взойдет в нашу жизнь. Я настолько люблю сестру, что мне никто никогда из ее семьи не в тягость, и ей я рада ужасно. Сережа тут и уехал в Тулу. Вчера вечером Таня, Сережа и Лева

до 2-х часов ночи втроем говорили и что-то хорошо, все довольны.

Левочка диктовал вчера Тане какое-то романическое начало — она не говорит мне, что именно, и я не хочу ни ее, ни Левочку вызывать на рассказ того, что едва возрождается; это всегда неприятно рассказывать [72].

22 мая. Еще прошла неделя суеты. Кузминские приехали, приезжал и Машин жених Эрдели. Летняя жизнь установилась с купаньем, толпою шумящих и суетящихся без дела детей, с ленью, жарой и красотой природы. Был Фет с женой, читал стихи — все любовь и любовь, и восхищался всем, что видел в Ясной Поляне, и остался, кажется, доволен своим посещением, и Левочкой, и мной [73]. Ему 70 лет, но своей вечно живой и вечно поющей лирикой он всегда пробуждает во мне поэтические и несвоевременно молодые, сомнительные мысли и чувства. Но пусть несвоевременно, все же хорошо и совсем невинно, так как остается в области отвлеченности.

Маша уехала с девочками Философовыми к ним в Панинки. Пусть рассеется, а то она, бедная, такая невеселая и немолодая в 20 лет. Ходили гулять, но дождь помешал, и постепенно все вернулись домой. Вечером хотели читать, но хорошо разговорились о повестях, о любви, искусстве и живописи. Левочка говорил, что нет ничего противнее, как картины, выражающей сладострастие в обыденной жизни, как, например, монах, смотрящий на женщину, татарин с барыней верхом едут в Крыму, свекор, глядящий на невестку дурными глазами, и т. п.; что все это противно в жизни, а ты смотри *вечно* на эту мерзость на картине. Я с ним вполне согласна и люблю картины, только где красота, природа или возвышенная мысль.

Сегодня рожденье Ильи. Как-то он, бедный, живет в своей неясной, бестолковой среде хозяйства, семьи и вечного сомнения и недовольства судьбой. Мне жаль, что из-за имущественных вопросов у нас расстроились отношения. Но я надеюсь, что это со временем пройдет. В нем есть та неясность, которая заслоняет его поступки, и если бы уяснить их, то просилось бы многое назвать нечестным, а этого-то он и боится, и я тоже.

27 мая. У нас Анненкова, привезла с собой девицу, которую сулит учительницей Саше и Ване вместо няни. Но мне не нравится: болезненная и ненатуральная. Приезжал Илюша за планом Никольского; он лучше и мягче.

Он увез с собой Леву. Лева вчера спрашивал меня, когда были эти чудные зимние дни, когда солнце и луна сходились и было такое красивое освещение. Я переписала ему страничку из своего дневника 9 декабря 1890 года и дала: как раз там описан такой день. Верно, он что-нибудь пишет и ему это нужно было. Вчера ходили гулять с Анненковой, Левочкой и этой барышней на Козловку, встретили Зиновьева с дочерьми, которые везли к нам домой Таню и двух девочек Кузминских. Зиновьевы девочки пели, и было очень приятно. Пела и Таня-сестра, и ничей timbre * голоса не может сравниться с ее голосом...

Сегодня пришли из Тулы к обеду Раевские: отец и сын. После обеда мы их провожали; на шоссе встретили издателя «Курского листка» [74], который подошел к Льву Николаевичу, держа в руке велосипед, и объявил, что мечтал с ним познакомиться и просит позволенья прийти к нам. Приближаясь к дому, встретили кучера Михайлу в телеге с горничными, едущими на детской лошади вскачь. Я очень рассердилась, что без меня распорядились, и вернула их всех домой. А распорядилась Таня, и я ей сделала выговор. Вернувшись, поправляла корректуру «Крейцеровой сонаты», которую не люблю, и она мне всегда неприятна.

Очень холодно и пасмурно. Дня три был такой сильный северный ветер, что все сидели дома. Вася Кузминский из детского пистолета подстрелил Саше глаз и сделал кровяное пятно. Прошлую всю ночь Ванечка не спал, у него живот болел, и я возилась с ним до 3 часов, и потом до 5-го не спала. Сирень, ландыши — отцвели. Ванечка с няней принесли ночные фиалки. Пошли белые грибы. Очень сухо, трава плоха. Раевский говорил, что у них голод в Епифанском уезде. От Маши письмо, ей, видно, весело у Философовых, и я этому очень рада.

1 июня. Все были гости. Приезжал муж Анненковой [75], помещик, занятый юридическими науками, вульгарный, странный человек, но, говорят, доброты и деликатности бесконечной. Привозил с собой Нелюбова, судебного следователя из Льгова, их города уездного, худого, черного идеалиста, восторженного и мрачного. Потом провел вечер Суворин — «Новое время». Он производит впечатление человека робкого и очень интересующегося

---

* тембр (*франц.*).

всем. Он просил позволения привезть или прислать скульптора — еврея из Парижа, лепить всю фигуру Льва Николаевича, и я просила присылать, а Левочка отмалчивался, как всегда. Ему, наверное, это приятно [76]. Вчера вечером были Самарин П. Ф., Бестужев-генерал и Давыдов. Левочка ходил в Тулу пешком, хотел видеть бойню скотины, но вчера не били, и он только видел самое место. Из Тулы привез его на извозчике Давыдов. Ходили вечером гулять, с Давыдовым все легче и лучше отношения, он очень приятный человек. Пришлось Самарину и Бестужеву рассказывать о моем посещении государя и весь разговор. Как страшно все этим интересуются! А настоящего мотива, самого глубокого всей моей поездки в Петербург никто не угадывает. Всему причиной «Крейцерова соната». Эта повесть бросила на меня тень; одни подозревают, что она взята из нашей жизни, другие меня жалели. Государь и тот сказал: «Мне жаль его бедную жену». Дядя Костя мне сказал в Москве, что я сделалась une victime * и что меня все жалеют. Вот мне и захотелось показать себя, как я мало похожа на жертву, и заставить о себе говорить; это сделалось инстинктивно. Успех свой у государя я знала вперед: еще не утратила я ту силу, которую имела, чтоб привлечь людей стороной симпатии, и я увлекла его и речью и симпатией. Но мне еще нужно было для публики выхлопотать эту повесть. Все знают, что я *ее выпросила* у царя. Если б вся эта повесть была написана с меня и наших отношений, то, конечно, я не стала бы ее выпрашивать для распространения. Это поймет и подумает всякий. Отзывы государя обо мне со всех сторон крайне лестные. Он сказал Шереметевой, что жалеет, что у него в этот день было спешное дело и что он не мог продлить со мной столь интересную и приятную для него беседу. Гр. Толстая, Александра Андреевна, писала мне, что я произвела *отличное* впечатление. Кн. Урусова сказала, что ей Жуковский говорил, будто государь нашел меня очень искренней, простой, симпатичной и что не думал, что я еще так молода и красива. Все это пища моему женскому тщеславию и месть за то, что мой собственный муж не только никогда не старался поднять меня общественно, но, напротив, всегда старался унизить. Никогда не могла понять, почему? Дождь с утра, холод, ветер, сидим все дома. Сейчас иду

* жертва *(франц.)*.

давать 1-й летний урок музыки детям. Лева и Маша еще не возвращались. Но дома все хорошо; с Левочкой просто и дружно; дети все тихи и приятны. Приехали дня три тому назад кумысники, но не прошлогодние, а мать с двумя сыновьями; тихие и бедные, по-видимому. Левочка все говорит, что кумысу не хочется и что он пить не будет, но желудок эти дни у него расстроен.

3 июня. Вчера провел у нас день немец из Берлина [77], приезжал смотреть *на Толстого* и выпрашивать для своих немецких жидов — Левенфельда и других какой-нибудь статьи Льва Николаевича для перевода. Сам купец, шерсть скупает по России, льстивый и неприятный, весь день испортил. Вечером говорили Левочка, сестра Таня и я об отвлеченных предметах. Левочка говорил, что есть поступки, которые *невозможно* ни за что сделать, и потому были мученики, христиане; они *не могли* возлить идольские жертвы, крестьянин *не может* выплюнуть причастие и т. д. Я стала говорить, что просто так подобных поступков нельзя делать, но если для чего-нибудь, для спасенья или добра ближнему — то все можно. Он говорит: «Ну, а убить ребенка». Я говорю: «Этого нельзя, потому что хуже этого поступка не может быть, и для чего бы это ни нужно было — *этого* сделать нельзя, это *хуже всего*». Ему это не понравилось, он начал возражать с страшным раздражением в голосе; начал хрипло кричать: «Ах, ах, ах!» — меня взорвал этот тон, и я наговорила ему пропасть неприятного: что с ним нельзя говорить, это все его друзья давно решили, что он любит только проповедовать, а что я не могу говорить под звуки его злых аханий, как не могла бы говорить под лай собаки... Это было слишком дурно с моей стороны, но я очень вспыльчива.

Была в Туле, говорила с нотариусом много о разделе, мне ненавистном. Заезжала к Раевской, обедала у Давыдовых. Вечером пришел Зиновьев (губернатор) с братом-инженером.

У Левочки теперь две темы его *крайних* речей: опровергать наследственность и проповедовать вегетарианство. Третья тема его, но он о ней ничего не говорит, а, кажется, пишет — это опровержение церкви более, чем когда-либо.

Дети мои весь день гуляют, ездят верхом и где-то пропадают. Я с ними мало общаюсь, и мне это жаль. Ванечка,

Саша, Таня и две девочки Кузминские выходили нас с сестрой Таней встречать. Приехал молодой Цингер. Все холодно и не по-летнему.

5 июня. Теплый ясный день, лунная ночь. Духом очень не спокойна; я не удовлетворяюсь своей деятельностью, и все, что я делаю, мне кажется не настоящим, а нужно что-то еще, чего я не умею и не могу. С утра читали с сестрой Таней вслух повесть Потапенко «Генеральская дочь», которая нравится Левочке. После завтрака Лева, Таня и Маша с Верой — Кузминские начали говорить о путешествии по России; им очень хочется. Я сочувствовала, так как сама мало видела. Сестра Таня сердилась и говорила, что это «от пресыщения всякими благами», что «с жиру бесятся». Потом молодежь уехала к Зиновьевым, а я пошла с Левочкой по деревне, к сапожнику и проведать больного Тимофея Фоканова. Мне иногда так хочется общения с Левочкой, поговорить с ним. Но с ним это невозможно теперь. Он и всегда был суров, а теперь беспрестанно, как сегодня вечером, натыкаешься на что-нибудь уже наболевшее давно. Стали говорить о путешествии детей, он стал доказывать, что эти желания их от излишества, от дурного воспитания, и начались пререкания о том, кто в этом воспитании виноват? Я говорила, что то, как повели его сначала и какой дали ход жизни всей семье. Он говорил, что 12 лет тому назад он переменился и я должна была перемениться и остальных детей воспитывать по его новым убеждениям. Я на это сказала, что я никогда одна не могла бы и не *сумела бы*, а что он много *говорил* и целыми годами *писал*, но сам детей не только не воспитывал, а часто забывал о их существовании.

Но кончилось все благополучно, и расстались мы дружелюбно. Лева и Андрюша уехали верхом в Пирогово. Сейчас кончила корректуру еще одного листа «Крейцеровой сонаты». 2-й час ночи.

6 июня. Была в Туле с Сашей, Ваней, Мишей, няней и Лидией. Последней нужен был паспорт, детей меньших я фотографировала, а сама хлопотала по делам раздела. Какое сложное, трудное и тяжелое дело и в принципе и на практике. Огорчилась я очень, что два тысячных билета два года тому назад вышли в тираж и пролежали без процентов.

Купалась вечером в первый раз с Таней, Машей и Машей Кузминской. Лева и Андрюша вернулись в 11 часов ночи из Пирогова. День жарко, ночь свежо. Думала очень о смерти и ясно ее представила. У нас Петя Раевский, кончил сегодня гимназический курс, очень счастлив, и Александр Васильевич Цингер.

7 июня. Миша Кузминский болен, похоже на дифтерит, и у меня камень на сердце: страшно и за него и за всех других детей. Сестра Таня отгоняет от себя мысли об опасности, а я не могу этого делать. И когда приходит горе, она, не приготовленная к нему, впадает в крайнее отчаяние. Послали за доктором Рудневым.

Левочка был в Туле, хотел проведать, по просьбе одного *темного,* сожительницу этого господина, мне неизвестного, последователя Левочки по фамилии Дудченко; она едет по этапу с места, откуда ее выслали, в Тверь. Ей предлагали ехать на свой счет, на воле, а она не захотела и едет с арестантами. Что это? фанфаронство, щегольство своими *идеями* или убеждение? Не берусь решать, не видав. Девушки этой не оказалось в Туле, и Левочка, по-видимому, был рад, что *долг* исполнил, а ее не видал. Он еще ходил на бойню быков [78] и рассказывал нам с большим волнением, какое это ужасное зрелище, как быки боятся, когда их ведут, и как с них дерут уже с головы кожу, когда они еще дергают ногами и не издохли. Поистине это ужасно, но и всякая смерть ужасна! Приехала сестра Левочки, Марья Николаевна. Только и говорит, что о монастырях, отце Амвросии, Иоанне Кронштадтском, о действии того или иного образочка, о священниках и монашенках, а сама любит и хорошо поесть и посердиться, и любви у ней нет ни к кому. Вечером купались, жара страшная днем. Обстригла Ванечку, нечаянно пырнула ему в головку ножницами. Брызнула кровь, он очень плакал. Я говорю: «Прости маму, мама нечаянно». Он все плачет. Я говорю: «На, побей меня». Он схватил мою руку и начал страстно целовать, а сам плачет. Какой миленький ребенок, боюсь, что жив не будет.

9 июня. Троицын день. Ясный, жаркий, чудесный, красивый летний день, и такой же прелестный, теплый, лунный вечер. Сколько лет повторяется это обычное празднество! С утра, в катках дети с цветами, нарядные и торжественные, ездили к обедне с сестрой Марьей

Николаевной и с гувернером и гувернантками. Приехали, пили кофе обе семьи вместе на крокете, потом вели длинные разговоры. Таня моя говорила горячо и раздражительно о том, какие должны быть отношения между супругами. Потом все разбрелись: кто писать, кто купаться; Маша Кузминская ушла с приехавшим женихом, Эрдели. Славный он, добрый, симпатичный мальчик. Но мальчик! вот что страшно, ему 20 лет. Я взяла Ванечку и Митечку, после того как полежала и почитала, к себе в комнату и рассказывала им, лежа на постели, сказки. Их надо развивать. Потом услыхали мы пенье подходивших баб и пошли за этой нарядной пестрой толпой в Чепыж, где завивали венки. Есть что-то грустное, но трогательное в повторении одного и того же впечатления, как это завиванье венков и бросанье их в воду, в течение почти 30-летней моей летней жизни в Ясной Поляне. Уже три поколения почти выросло на моих глазах, и вот раз в год я вижу их вместе и сегодня почувствовала нежность к этим людям, с которыми я прожила столько лет и для которых так мало сделала.

Обед был веселый, все чувствовали себя хорошо, потому что все вместе. Присутствие Машеньки и Леночки, как семейный элемент со стороны Толстых, был очень приятен, и присутствие Сережи мне всегда особенно радостно. Вчера был тут Илья, и вечером были опять разговоры о разделе. Все еще не решили и не знаем, как все разделить получше. То одна сторона, то другая чем-нибудь недовольна или чего-нибудь боится. Меня это расстраивает, а Левочка небрежно и неохотно ко всему этому относится. Он вообще удивительно безучастен ко всему. Вчера и сегодня он шил себе башмаки; по утрам он пишет свою статью [79], питается очень дурно, ни молока, ни яиц, ни кумыса не пьет. Набивает желудок хлебом, грибным супом и кофе, ржаным или же цикорным. Приготовил себе лопату и хочет копать землю под пшеницу, вместо пахоты. Еще новое безумие — надрываться над вскапыванием сухой и крепкой, как камень, земли. Сережа играет на фортепьяно, сестра Машенька его слушает и сочувствует ему, я тоже с большим наслаждением слушаю. Мы ездили купаться, а Левочка куда-то ушел. Сегодня я думала о нем: мне радостно было бы видеть его здоровым — он портит себе желудок самой вредной (по словам доктора) едой. Мне радостно было бы видеть его художником — он пишет проповеди под видом статей.

Мне радостно было бы видеть его нежным, участливым, дружным,— а он грубо чувствен и, помимо этого, равнодушен. Теперь еще это копанье земли, что-то фатальное в этой новой фантазии. И жара какая! Много он дергал и продолжает дергать меня за сердце своей беспокойной и фантазерской натурой.

12 июня. Три дня не писала. В понедельник, в Духов день, у нас была неприятная история. Утром уезжал Эрдели, Маша ехала его провожать до Ясенков. Мне нужно было заслать за бумагами к священнику, метрические свидетельства детей для раздела. Кто-то говорит, что Маша едет провожать жениха до Тулы. Я говорю: «Не может быть». Но спрашиваю Машу ввиду того, что если она едет до Тулы, я пошлю кучера к священнику, если же вернется, то не стану ее беспокоить, ей и так грустно будет, проводив жениха. Приходит Маша. Я спрашиваю: «Ты до Тулы едешь»? Она говорит: «Нет, нет, не еду». А сама поехала. Подали катки, я спрашиваю Бергера, не едет ли кто мимо Козловки, мне надо послать телеграмму. Филипп на это говорит, что Марья Александровна приказала за ними приехать к дачному поезду. Меня рассердило и то, что она мне сказала не то, что сделала, и ее приказание. Но оказалось, что она совсем не то приказала, а просила прислать, если можно, свою же лошадь. Ответ же свой мне она не помнит, да и где ей было замечать, когда она расставалась с женихом. Я очень люблю ее и приняла все к сердцу. На это еще заставили меня и Машеньку ждать на катках Саня и Вася, и когда пришла Таня-сестра, я ей очень раздражительно нажаловалась на ее детей. Она переспросила, я сказала, что не понимаю, зачем Маша мне налгала, тогда Таня вскочила с катков, схватила Митю и ушла. Мне стало еще больнее, слезы хлынули из глаз, я взяла Ваню и тоже встала, но пожалела его и поехала. Но встал и Лева, встала Машенька, и вышла целая *история*. Главное же, что ее *разразило*, было замечание Левы, что я не в духе. Я обиделась, тем более что все утро усиленно работала над корректурой и делами, болела голова и шла носом кровь. Потом мы помирились, но боль осталась. Вечером приехала М. И. Зиновьева с дочерьми, и весь вечер все пели, было очень приятно.

Вчера пришли *темные* (последователи Левочки) Хохлов и Алехин, ученый-химик, был при университете

оставлен, а теперь надел рубаху и пошел ходить по собратам по вере. Те же странники, под другим соусом. Странничество в характере русского человека. А жаль, 10 лет работал при университете, и теперь все пропадет. Хохлов — техник, молодой и какой-то недоконченный. Оба молчаливы и мрачны, как все эти последователи. Мясо не едят, в плохой мужицкой одежде. Не пойму этого ученого. Не может же он не понимать, что жизнь в странствовании и приживании при других людях не есть настоящая жизнь. Левочка всегда говорит, что они работают. А я не видала и не слыхала никогда, чтоб они серьезно работали, всегда сидят потупя нос и молчат.

Сегодня была в Туле, Машеньку-сестру отвезла, получила деньги, поместила их, была у нотариуса, у другого в окружном суде, делала покупки и страшно устала. Обедала одна и одна ходила пешком купаться. Одиночество помогло разобраться мыслями в делах и жизни.

Вечер сидели все вместе и потом читали глупую русскую повесть в «Северном вестнике» [80].

Все спят. Андрюша, Миша и m. Borel рано утром уедут к Илье.

13 июня. В 4 часа утра встала, проводила детей к Илье. Было ясно и холодно. Потом легла, долго не могла заснуть. Утром Левочка объявил, что идет со своими *темными* пешком к Буткевичу, верст за 40. Хотя мне и страшно за его усталость и неприятно это общение, но я вижу, что на него нашло беспокойство и что если не одно, то выдумает другое, наверное, что-нибудь дикое, но для разнообразия. Надели все трое мешки через плечи с вещами и пошли по палящему солнцу. Ночи очень холодные, а дни сухо-жаркие. Очень тяжело слышать со всех сторон жалобы на сушь и будущий голод. И не поймешь, как просуществует нынешний год почти весь русский народ. Местами ровно ничего и не взошло, пришлось перепахивать землю. В Ясной Поляне еще порядочно, а то вовсе есть страны без хлеба для себя и для скота.

После обеда убирала я все в доме, углы, набитые сором, выгребала с Фомичом и Никитой; а потом позвала Ивана Александровича и садовника, и мы пошли втроем

считать яблоки, сколько приблизительно мер на яблоне и сколько яблонь. Так до вечера провозились. Завтра опять буду делать то же.

Вечером собрались на террасе, пили чай, зябли, и Маша с ужасом рассказывала, какой на дворне разврат. Мне было больно, что Маша и девочки знают про такой разврат, но при Машиной жизни иначе быть не может. Она все с народом, а там только это и услышишь.

Пришел Лева, Иван Александрович, приехал Миша Кузминский от Лодыженских, и переменили разговор. Теперь все спят, и я иду читать. Без Андрюши и Миши скучно, и за Левочку и за них страшно.

14 июня. Провела хороший, деятельный день, хотя не спала всю прошлую ночь. С утра читала русские повести в журнале. Потом многое в доме убирала и приводила в порядок и чистоту. Не знаю отчего, но всегда в отсутствие Левочки на меня находит страшная энергия деятельности. Потом ездили все купаться. До обеда читала немецкую корректуру биографии Левочки, присланную Левенфельдом [81]. После обеда взяла Сашу, Ваню, Митю Кузминского, Веру и нянек, и пошли все гулять через рожь, рвали васильки, на Черту в лес, собирали ночные фиалки, сидели, любовались вечером. Как было удивительно красиво, тихо, ясно и свежо! Потом я еще обошла весь сад, смотрела на посаженные мной дубки и елочки в саду. Вернувшись, поправляла русскую корректуру 2-й Книги для чтения [82], писала письма, пила чай с Таней вдвоем, молодежь ездила на Козловку. Филипп ездил в Крапивну в Опеку для указа, чтобы меня назначили опекуншей над 4 малолетними для раздела. Он видел в 5 часов вечера идущего Левочку в 3 верстах от Крапивны. Слава богу, он благополучен. От детей тоже известия. 2 часа ночи, иду спать. Очень холодные ночи.

15 июня. Была в Туле с Машей, дочерью. Я — по делам раздела, Маша — помещать мальчика Фильку в сапожники, что она и исполнила. Мои же дела все стали по случаю того, что Маша не хочет брать своей части из раздела. Я ясно вижу, что она, бедная, ни в чем себе не отдает отчета и не может даже ясно себе представить, что значит остаться без гроша после такой жизни. Дей-

ствует же она по гипнотизму, а не по убеждению. Она ждет отца, чтобы спросить его совета, так как во всяком случае ей надо признать попечительство и подписать несколько бумаг.

Вечером были разговоры о мертвых, об умирании; о предчувствиях, снах, вообще, действующих на воображение. Мешала приехавшая барыня, жена доктора Кудрявцева, из Кавказа. Она хотела видеть Левочку, и ей не удалось. Потом приехал Миша Кузминский и рассказывал очень интересно про сумасшедшую. Дело в том, что сегодня в ночь из павильона пропали разные Танины вещи [83]. По разным данным узнали, что утащила все сумасшедшая сестра Митиной кормилицы. Вот Миша поехал с кормилицей к этой сумасшедшей и осторожно выспрашивал, куда она все девала? Оригинальны были их похождения. Мало-помалу она все показала: альбом спрятала под кустик в Ясенках; рабочий ящичек с вещами и ключами зарыла на кладбище около церкви и обложила камушками; 2 полотенца и рубашечку спрятала под мост; свой сарафан и мужнины портки затоптала в грязь, в канавку; и чернильницу серебряную, старинную на цепи повесила на дерево в саду, в Телятинках. И все она помнила, и все понемногу собрали, кроме чернильницы, которую по случаю темноты уже не нашли и не успели взять. Сегодня вечером шел дождь и стало теплей. Но мало было дождя, дай бог больше.

16 июня. Весь день шел дождь и была гроза, все повеселело в природе и народе. Левочка вернулся от Буткевичей что-то не веселый и молчаливый. Маша, моя дочь, узнает ужасные вещи в деревне, в среде работников и крестьянских девок, всем этим испачкается морально, поражается, огорчается и приносит на себе, рассказывая нам эту моральную грязь, домой. Ведь это ужасающе! Я рассказала это Левочке; он на это сказал, что не отворачиваться надо, а помочь им выйти из этого грубого невежества. Помочь — да, ему, мне даже можно пытаться помогать, но ей, 20-летней, невинной девушке! Он ее втолкнул в эту грязную среду; пусть отвечает за нее богу и своей совести, а я, по своей натуре, не могу, я умру, задохнусь в этой среде, если сунусь туда, и на Маше вижу, до какой степени навязано ей то, от чего всякая

девушка должна с ужасом шарахнуться и никогда больше не возвращаться.

Целый день обивала ширмы и мебель в комнате Саши и Лидии. У меня иногда потребность работы физической. Теперь надолго удовлетворилась.

18 июня. Рожденье Саши, ей 7 лет. Утром сделала ей подарки, потом мы поехали с ней, Ваней и Васей Кузминским в Ясенки, где встретили возвратившихся от Илюши Андрюшу, Мишу и m. Borel'a. Ехали весело, дети рассказывали, как все прекрасно у Ильи, как было весело. Потом я переводила с английского предисловие к книге о вегетарианстве [84], очень трудилась и подвинула работу. К обеду вернулась из Тулы Маша, привезла мне разные бумаги от нотариуса, с которыми сидела после обеда более часа.

Вечером перетаскали посуду, самовар, угощения, ягоды в Чепыж, собрали все общество, развели костер и *делали пикник,* как говорят дети. Девочки пытались, было, играть в игры, но было не очень оживленно. Когда уже стало темнеть, прибежали две женщины из дома Кузминских и говорят, что бык остервенел и бежит на нас, в Чепыж. Мы собрали мгновенно все вещи и поспешили домой. Действительно, бык бегал и гнался за скотником, которого чуть было не забодал. Меня только тревожило то, что Левочки не было дома, он ушел купаться. Но он скоро вернулся, оделся в халат и объявил, что он не здоров: знобит и боль под ложкой. Я это ждала; он последнее время питался отвратительно: ел почти что один хлеб, набивал им желудок, несмотря на предостережение доктора, что это самое вредное. Яиц не ел совсем, пил много ржаного кофе, да еще сходил, согнутый, с сдавленным желудком, под тяжестью мешка — верст сто взад и вперед, к Буткевичу. Я не видала человека более упорного в своих диких фантазиях. Например, из духа противоречия мне, он не пьет совсем кумыс, и не говорит причины. Как досадно видеть со стороны, как человек себя губит. Таня, дочь, утром неприятно и зло говорила о воспитании моем детей, а вечером зло стреляла во всех по поводу того, как губят лошадей. Благодаря бога я оба раза отмолчалась.

Вчера вечером все ездили к Зиновьевым, Левочка ходил гулять, а я весь вечер сидела одна и читала «Vie Eternelle», которую, было, оставила. Определение *бога* мне не понравилось, что-то есть в нем материальное: Dieu

est la vie eternelle et universelle dans l'infini du temps et dans l'infini de l'espace; dans tous les siècles comme dans chaque instant; dans tous les mondes, comme dans chaque atome *. Это бог — как существующий элемент, а где же бог — любовь, добро, дух, тот бог, которому я молюсь?

Лева что-то пишет, а Маша Кузминская ему переписывает. Интересно бы узнать, что и как, да боюсь расстроить ему ход работы, если попрошу прочесть или скажу что-либо об этом.

29 июня. Жили ровно, благополучно, без гостей, без событий, без радости и горя. Только похворали меньшие дети жаром на одни сутки каждый. Сегодня приехал Репин и Кузминский. После завтрака я взяла Сашу и Ваню гулять, няня у матери была в Судакове, а Лидия усталая дома оставалась. Репин тоже пошел с нами. В посадке мы сели отдыхать, а Репин начал рисовать нашу группу в альбоме, карандашом. Не похоже, но довольно картинно [85]. Чудесный был день, ясный, цветов так много, ягоды еще дети собирали, а у нас были интересные разговоры; Репин, видно, разбитый жизнью человек.

Таня уехала с Леночкой к Сереже ко дню его рождения и, верно, завтра вернется.

Репин будет делать рисунки и хочет нарисовать Левочку в его писательской обстановке.

Во вторник ждем Александру Андреевну.

16 июля. Александра Андреевна была и уехала в Царское, куда поспешила по случаю болезни слепой сестры своей, Софьи. Как всегда, она с собой внесла радостный, ласковый и всем интересующийся свой характер. Но она придворная до мозга костей. Она любит и двор, и царя, и всю царскую фамилию, во-первых, потому, что она готова *всех* любить, а во-вторых, что все они *царские,* а она признает православие и помазанников.

После ее отъезда я на другой день уехала в Москву заказывать 20 000 XIII части к прежним изданиям [86]; ее было только 3000, и все разошлись очень быстро. Пришлось очень утомляться, чтоб найти бумагу готовую, чтоб

---

* Бог — это вечная и всеобщая жизнь в бесконечности времени и бесконечности пространства, — во все века так же, как в каждом мгновении, во всех мирах так же, как в каждом атоме *(франц.).*

найти типографию, которая взялась бы сделать в 2 недели. Еще покупала приданое Маше Кузминской, заказывала серебро. Со мной была Вера Кузминская, останавливались мы у Дьякова, живущего в нашем доме. Была на французской выставке [87] с Верой, хотела видеть картины, но видела мало, так как был вечер и закрыли; скучала ужасно, на баллоне не полетела, пожалела 5 рублей.

Левочка написал мне в Москву, что он желает отдать XII и XIII части публике [88], кто хочет, тот и печатай. Но, с одной стороны, мне жаль тех денег, которых лишится моя семья; с другой, зная, что все статьи разрешены цензурой только при *полном собрании сочинений,* было бы подло разрешить их публике, вводя их в убыток и заблуждение. Огорчать же Левочку больнее всего мне стало, и я вчера сказала ему, что пусть печатает и делает, что хочет, я протестовать и упрекать не буду. С тех пор он молчит и ничего не предпринимает.

Гостей эти дни пропасть. Репин уехал сегодня, окончив бюст, картину небольшую, изображающую Левочку пишущим в своем кабинете, и начав большую, во весь рост, которую кончит дома. Он изображен в лесу, босой, руки за пояс [89].

Гинцбург лепит большой бюст, очень неудачный, и сделал маленькую фигурку, тоже пишущим за столом — недурно [90]. Были еще у нас Варя Нагорнова, Вера и Варя Толстые, Зиновьевы, теперь тут Helbig, брат с сестрой, и я сегодня с молодым Helbig'ом делала фотографии бюста Репина и Ваню с Митей — не очень удачно.

От Левы с пути в Самару было два письма, довольно вялые. Сережа тоже поехал в Самару по моим делам. Третьего дня был нотариус Белобородов с бумагами, дело раздела подвигается. Был еще Фигнер в воскресенье вечером и немного пел, но не очень хорошо.

Левочка не весел, говорили сегодня, что он сказал, будто не поедет в Москву. Не знаю, что буду делать, не знаю, как что решать, сердце разрывается часто от тревоги, сомнений, от страшной ответственности решать в ту или другую сторону. А как воспитывать мальчиков в деревне? Я совсем не знаю и не вижу возможности. А Лева, который бросит университет, если опять останется один! А Таня, которой замуж больше шансов в Москве; и потом — Левочка, которому так тяжело жить в городе. Всегда жду от бога того толчка, который в данный момент заставит меня поступить так или иначе.

Все время жара, сухо ужасно, ночи свежие, а голод, голод самый ужасающий, слышно со всех сторон, и нет часа, когда бы я об этом не вспомнила. И *безвыходность* мне кажется в этом отношении, крайняя.

Левочкино здоровье не совсем хорошо: вчера он ел зеленый горох и арбуз в таком количестве, что я пришла в ужас. Ночью поплатился расстройством желудка. Кумыс так и не пьет и не пил.

Второй вечер хожу гулять с Ваней и Сашей; вчера ходили в овраг Заказа, сегодня на колодезь около срубленной посадки. Ваня любит заставлять работать воображение и представлять себе, что страшно, что волки тут, что вода в колодце особенная.

Гинцбург делает бюст очень дурно.

21 июля. Я должна написать всю ту нелепую, неправдоподобную и печальную историю своего сегодняшнего дня. Не знаю я, что именно нелепо: я сама или те положения, в которых приходится бывать. Но как я разбита, измучена душой и телом!

Сегодня перед обедом мне Левочка говорит, что он пишет письмо в несколько газет, в котором он отказывается от прав на свои последние сочинения [91]. Когда он в прошлый раз заговорил об этом, я решилась кротко это перенести, и так бы и сделала. Но прошло несколько дней — и он опять заговорил об этом. На этот раз я не подготовилась, а первое чувство было опять дурное, т. е. я прямо почувствовала всю несправедливость этого поступка относительно семьи, и почувствовала в первый раз, что протест этот есть новое опубликование своего несогласия с женой и семьей. Это больше всего меня встревожило. Мы наговорили друг другу много неприятного. Я упрекала его в жажде к славе, в тщеславии, он кричал, что мне нужны рубли и что более глупой и жадной женщины он не встречал. Говорила я ему, как он меня всю жизнь унижал, потому что не привык иметь дело с порядочными женщинами; он упрекал мне, что на те деньги, которые я получаю, я только порчу детей... Наконец, он начал мне кричать: «Уйди, уйди!» Я и ушла. И пошла садом, не зная, что я буду делать. Сторож видел, что я плачу, и мне стало стыдно. Так я вышла в яблочный сад. Там села в ямку и подписала все объявления карандашом, который был в кармане. Потом написала в записной книжечке своей, что я убиваюсь на Козловке, потому что меня из-

мучил разлад в жизни со Львом Николаевичем, что я не в силах больше *решать* все одна в семейных вопросах и что потому ухожу из жизни.

Я помню, как в молодости после ссоры я всегда хотела убить себя, но чувствовала, что не могу, а сегодня я бы это сделала,— но меня спас случай. Я бежала на Козловку в совершенном умопомешательстве. Почему-то я все о Леве вспоминала и думала, что если сейчас встречу телеграмму или письмо, что Левы почему-нибудь нет, то это ускорит мое решение. Когда я добежала почти до мостика у большого оврага, я легла отдохнуть. Стало смеркаться, но мне жутко не было. Странно, что теперь мне, главное, казалось *стыдно* вернуться домой и не исполнить своего намерения. И так тупо спокойно я шла к своей цели, с такой страшной физической головной болью, все было в тисках. Когда я хотела идти дальше, вижу со стороны Козловки идет кто-то, вижу блузу. Я обрадовалась, думала Левочка, и мы помиримся. Оказалось, что Ал. Мих. Кузминский. Мне стало досадно, что он помешал моему намерению, я чувствовала, что он не отстанет от меня. Он очень удивился, увидав меня одну, и понял, что я расстроена по моему лицу. Я никак не ожидала его видеть и все уговаривала его идти домой и оставить меня. Я уверяла его, что сейчас приду. Но он не уходил и все уговаривал меня идти с собой, указывая на толпу, идущую по ту сторону, и говорил, что меня испугают, что бог знает кто тут бродит.

Потом он прибавил, что хотел идти кругом, через Воронку и Горелую Поляну, но что на него напали летучие муравьи, пришлось бежать в чащу, раздеваться, и вот он промешкал и решил возвращаться той же дорогой. Я видела, что бог не хотел моего греха, я покорилась поневоле и пошла за Кузминским. Но мне не хотелось идти домой, и я пошла одна Заказом, купаться. Я думала — это еще исход, можно и утопиться. Та же тупость, отчаяние и желание уйти из этой жизни с непосильными задачами — меня преследовали. В лесу было совсем темно, я стала уже подходить к оврагу, как вдруг какой-то зверь — не знаю, я близорука и ничего не вижу вдаль — собака, лисица или волк, скоком налетел на меня с намерением перебежать дорогу. Я крикнула во всю мочь. Зверь быстро свернул в лес и также вскачь помчался по лесу, шурша листьями. Тут храбрость меня оставила, я вернулась домой и пошла к Ванечке. Он лег уже спать, стал меня ла-

скать и все приговаривал: «Мама моя, моя мама!» Я помню, когда, бывало, я приду к детям после такого настроения, мне дети давали снова смысл жизни, а сегодня, к ужасу своему, я заметила, что, напротив, отчаяние мое стало хуже, и дети подействовали грустно, безнадежно как-то.

Потом я легла, сначала в свою постель, потом меня взяло беспокойство об ушедшем Левочке, и я легла на воздухе, в гамаке, прислушиваясь, не возвратился ли он. Все понемногу собрались на террасе, вернулся и Левочка. Все болтали, кричали, смеялись. Левочка был оживлен как ни в чем не бывало; требования его разума, во имя идеи, не затронули его сердца, да и никак. Боль, которую он мне нанес, он *столько* уж раз мне наносил! О том, что я так близка была к самоубийству—он никогда не узнает; а узнает, то не поверит.

В гамаке я заснула от этого страшного утомления нравственного и физического. Маша искала что-то со свечой и разбудила меня. Я пошла пить чай. Когда все собрались, читали вслух: «Странный человек» Лермонтова [92]. Когда разошлись и уехал и Гинцбург, Левочка подошел ко мне, поцеловал меня и сказал что-то примирительное. Я просила его напечатать свое заявление и не говорить больше об этом. Он сказал, что не напечатает, пока я не *пойму,* что так надо. Я сказала, что лгать не умею и не буду, а *понять* не могу. Сегодняшнее мое состояние меня подвинуло к смерти: что-то надломилось серьезно, по-старчески, сурово, мрачно. «Пусть бьют! лишь бы добили скорей». Вот что думается.

И опять, и опять та же «Крейцерова соната» преследует меня. Сегодня я опять объявила ему, что больше жить с ним как жена — не буду. Он уверял, что только этого и желает, и я не поверила ему.

Теперь он спит, а я не могу идти к нему. Завтра именины Маши Кузминской, и дети, под моим руководством, готовят шараду. Дай бог не помешать им и не расстроить никого.

23 июля. То, что надломилось всей последней неприятностью, не пройдет никогда. Два раза я ходила сказать ему, что прошу его напечатать свое заявление об отказе от права собственности своих произведений последних годов. Пусть публично заявляет о том несогласии, которое существует в семье, я не боюсь никого, и у меня только

дело с моей совестью. Те деньги, которые я получаю с его книг, я всецело трачу на его же детей; только я регулирую расходы из *моих* рук, тогда как дети, если б все было в их руках, тратили бы бестолково и несправедливо. Теперь у меня одно чувство: снять с себя еще одно, взваленное на меня нарекание, еще одну навязанную мне вину. Столько уж на моих плечах: раздел, навязанный мне против моей воли, воспитание мальчиков, с которыми придется переехать в Москву,— все дела книжные, хозяйственные и вся ответственность нравственная за свою семью. Эти два дня у меня чувство, что я вся согнулась под тяжестью жизни, и если б не летучие муравьи, напавшие на Кузьминского и заставившие его вернуться именно этой дорогой, меня не было бы, быть может, уж на свете. Я никогда так спокойно и решительно не шла к этому решению.

И несмотря на этот камень на сердце, вчера я руководила всей шарадой детей. Играли кол-ода = колода. Участвовали Миша, Саня, Вася Кузминские, Борис Нагорнов, Андрюша и Миша. Саша появилась на минутку в виде ангела, и из нее же была картина живая.

Играли все порядочно; я считаю, что подобные развлечения необходимы для развития мальчиков и для занятия их воображения. Оно не принесет вредного направления, удовлетворяясь этими развлечениями. Кроме родных и Эрдели, были барышни Зиновьевы и вся прислуга, башкиры, кучера, вся дворня. Успех был большой, и все остались довольны. Когда все кончилось, я просто качалась от утомления, а камень на сердце все лежал и теперь лежит.

Вчера решили, что свадьба Маши Кузминской будет в Ясной Поляне 25 августа. Я очень рада; это упрощает и удешевляет мне все это дело. Не нужно никому ехать в Петербург, и будет всем очень весело.

На дворе все очень сухо, ветрено и ночи холодные. Огороды, сады, листва на деревьях, цветы, луга — все посохло. Лева пишет из Самары, что и там так же.

Бюст Гинцбурга готов; он вышел довольно дурен. Но сам Гинцбург плебей низкой души, и я рада, что он уехал.

Мнение мое о Гинцбурге совершенно изменилось. Он хороший и честный человек.

С. Т. *

---

* Последний абзац приписан позднее.

26 июля. Вчера умерла на деревне молодая бабенка, жена Петра, сына Филиппа-кучера. Маша все ходила ее лечить и говорила, что больна горлом. Наконец, она объявила, что, по ее мнению, это дифтерит. Тогда я запретила ей ходить. Но если зараза попала — то поздно было запрещать. Очень жаль эту милую бабенку, но очень досадно на Машу, что она рискует заразить две семьи с маленькими детьми. По ее рассказам это наверное дифтерит, и она с обычной ей хитростью скрывала это все время. Теперь у ней нервы расстроены, она жалуется и на горло, и видно струсила. Ничего, ничего кроме горя, беспокойства, досады и жалости не возбуждает во мне эта дочь посланная мне как крест.

Поправляла весь день корректуру «Азбуки» [93]. Ученый комитет не одобрил ее ввиду разных слов, как: вши, блохи, черт, клоп, и потому, что ошибки есть, и еще предлагал выкинуть рассказы: о лисе и блохах, о глупом мужике и другие, на что Левочка не согласился.

У Вани, Мити, Васи и Левочки — насморк. Шел сильный дождь, и была гроза. Теперь свежо. Левочка ездил вчера верхом в Тулу за доктором каким-то добродетельным; но последний оказался в Москве, а баба, для которой хлопотали, пока умерла. Таня и Маша Кузминская уехали 24-го в Петербург шить кое-что к свадьбе.

27 июля. Страшно собой недовольна. С утра меня разбудил Левочка страстными поцелуями... Потом я взяла французский роман «Un coeur de femme» Bourget и читала до 11½ часов в постели, чего никогда не делаю. Все это непростительное пьянство, которому я поддаюсь, и это в мои года! Мне грустно и совестно! Я чувствую себя грешной, несчастной, я не могу ничего сделать, хотя очень стараюсь. И все это вместо того, чтоб встать раньше, отправить башкиров, которые запоздают на железную дорогу, чтоб написать нотариусу и послать за бумагами, чтоб посмотреть, что делают дети. Саша и Ваня долго валялись у меня на постели, играли и смеялись. Я рассказала Ване сказку про Липунюшку [94], он был очень доволен. У Вани насморк, у Саши расстройство желудка. Потом я учила Мишу музыке, кротко и хорошо. Андрюша делает английский перевод и окончательно бросил музыку. У нас Соня Мамонова и Хохлов. Погода ясная и свежая.

Ах, какой странный человек мой муж! После того, как у нас была эта *история,* на другое утро он страстно объ-

яснялся мне в любви и говорил, что я так завладела им, что он не мог никогда думать, что возможна такая привязанность. И все это *физическое,* и вот та тайна нашего разлада. Его страстность завладевает и мной, а я *не хочу* всем своим нравственным существом, и никогда не хотела *этого,* я сентиментально мечтала и стремилась всю жизнь к отношениям идеальным, к общению всякому, но не *тому.* И жизнь прожита, и все хорошее почти убито,— идеал, во всяком случае, убит.

Роман Бурже меня завлек тем, что я прочла в нем ту мысль, то чувство, на которое сама была так способна. Женщина светская любит в одно и то же время двух: прежнего, благородного, любящего, прекрасного — почти мужа, хотя не признанного, и нового, красивого, тоже любящего ее. Я знаю, до какой степени возможна эта двойная любовь — и описано верно. Почему всегда одна любовь должна исключать другую? И почему нельзя любить, оставаясь честной?

29 июля. Тут Страхов; как всегда, необыкновенно приятен и умен. Приезжал Базилевич, и приехала какая-то курсистка из Казани, расспрашивать Левочку о разных жизненных и отвлеченных вопросах [95].

Левочка не совсем здоров желудком, ночью его лихорадило. Таня в Пирогове. Идет дождь и скучно. Беспокоюсь о Леве и Сереже. Написала письма: Тане, Гинцбургу и самарскому приказчику.

12 августа. Левочка поехал верхом в Пирогово. Тяжелая нравственная атмосфера в доме. Все натянуто от неопределенного положения дел. Левочка объявил сегодня Маше, что он остается здесь всю зиму и в Москву не поедет совсем, и потому отговаривал ее поступать на фельдшерские курсы, куда она уже хотела посылать прошение о поступлении. На Таню известие это подействовало, очевидно, так же угнетающе, как на меня, но она молчит.

Мое же состояние души — ужасно! Что делать?

Вся энергия, все попытки воспитывать детей дома — все исчерпано. Я не могу больше! Я не знаю, ка́к дальше быть, где учителей взять, будет ли Андрюша заниматься,— он спал умственно всю зиму. Не знаю, что будет делать Лева и как я опять оставлю его. Не знаю, как проживу без Левочки и без девочек и они без нас, если я уеду в Москву с мальчиками. Господи, научи меня!

С другой стороны, перевезти Левочку в Москву,— он будет тосковать и сердиться. Все равно, жизнь наша врозь: я с детьми, он со своими идеями и своим эгоизмом,— что разорвано, того не починишь.

Надеюсь на бога, что когда придет момент решения, то бог научит меня.

Все стараюсь развлечься, а то вдруг наплыв опять желания самоубийства, прекратить всю эту двойственную жизнь и всю ответственность решений,— и вот сегодня четыре часа бегала с маленькой Сашей за грибами, а третьего дня ездила с Верой Кузминской, Андрюшей и Мишей в концерт Фигнеров. Было много знакомых, пели хорошо, и мне было весело.

От Левы было письмо из Астрахани, он поплывет по Каспийскому морю, но не попадет на Кавказ, в Пятигорск, как хотел, потому что на Военно-Грузинской дороге провал каменный и проезда до 10 сентября не будет. Я часто о нем беспокоюсь и грущу.

Пропасть яблоков, страшно много, и большое количество грибов: белых, осиновых, березовых. Сегодня принесли опенки.

14 августа. Была в Туле; Андрюша и Миша примеряли платья у портного, я получала деньги для уплаты долгов Никольского (2000), Маша Кузминская встречала жениха и привезла его. Больна моя Маша, вся горит; лежит бледная и жалкая. Получила телеграмму от Левы — запрос, когда свадьба Маши? Писала деловые письма и гр. Александре Андреевне. Сбегала на полчаса за рыжиками с Сашей и Ванечкой; но очень мокро от шедшего дождя. Вечер сидела с Машей, а потом говорили о браке, любви, женщинах.

Таня, сестра, говорит: «Непременно ступай в Москву и сиди там; поверь, что и муж и барышни скорехонько соскучатся и приедут».

15 августа. Чудесная погода; соблазнилась с детьми идти за грибами и проходила 4 часа. Как было хорошо! Какой чудесный запах земли, как красивы рыжички мокрые во мху, мохнатые волвянки, крепенькие подберезнички; как успокоительна лесная тишина, как свежа росистая трава, и ясное небо, и дети с веселыми лицами и полными корзинами грибов. Вот это я называю настоящим наслаждением! Получила письмо от Левы из Влади-

кавказа и телеграмму из Кисловодска. Слава богу, хоть жив и цел. Маше лучше.

Вечером сидела у Кузминских с Таней, Машей и Ванечкой Эрдели. Говорили о супружеских отношениях, я им рассказывала, как я замуж выходила, и передо мной восстала вся моя прошедшая безотрадная довольно жизнь. Безотрадность эта особенно обнажилась теперь. Если в молодости жили любовной жизнью, то в зрелые годы надо жить дружеской жизнью. А что у нас? Вспышки страсти и продолжительный холод; опять страстность и опять холод. Иногда является потребность этой тихой, нежной, обоюдной ласковости и дружбы, думаешь, что это всегда не поздно, и всегда так хорошо, и сделаешь попытки сближения, простых отношений, участия, обоюдных интересов, и ничего, ничего, кроме сурово, брюзгливо смотрящих удивленно глаз, и безучастие, и холод, холод ужасающий. А отговорка, почему вдруг стали мы так далеки — одна: «Я живу христианской жизнью, а ты ее не признаешь; ты портишь детей» и т. д.

Какая же *христианская,* когда нет любви ни крошечки ни к детям, ни ко мне, ни к кому решительно, кроме себя. А я — язычница, но я так люблю детей и, к несчастью, еще так люблю и его, холодного христианина, что теперь сердце разрывается от предстоящего вопроса: ехать, не ехать в Москву? Как сделать, чтоб всем было хорошо; потому что видит бог, что *мне*, собственно, тогда только хорошо, когда я могу видеть и устроить счастье вокруг себя.

20 августа. Приезжали два француза: ученый-психолог Рише с родственником[96], и привез их профессор Грот. За Левочкой ездила Маша вчера в Пирогово, а сегодня она слегла, опять жар в 39 и 6. Вчера утром мы ездили на пикник в лес со всеми соседями; дождь несколько раз прерывал веселье детей и молодежи, и рано все разъехались. Левочка тих и дружелюбен и очень *любовен.* Очень интересно было слушать сегодня разговоры Левочки, Рише и Грота. Вечером я заговорила об отдаче детей в гимназию и переезде в Москву; Левочка сказал: «Ведь это дело решенное, что ж говорить?» Ничего не решенное, а все мучительные пока вопросы...

19 сентября. Как всегда бывает, когда жизнь полна событий, тогда нет времени писать дневник, а тут-то бы он и был интересен. Пересчитаю все события.

До 25 августа готовились весело к свадьбе Маши Кузминской. Закупали, делали фонари, украшения на лошадей, флаги и т. д. 25-го утром я благословила Ванечку Эрдели с братом Сашей и повезла его в карете в церковь. Мы оба были растроганы. Мне жаль было этого юного, чистого, нежного мальчика, что он так рано берет на себя обязанности и что он так одинок. Машу благословили без меня. Говорят, что она очень плакала и отец ее тоже. Потом был обряд, у меня все время были слезы в горле; и свое прошедшее переживала, и ее будущее, и возможность расстаться с Таней и даже Машей, которая всегда мне жалка и перед которой всегда чувствую себя виновной в недостаточной любви.

Потом мы обедали на месте крокета. Был ясный, чудесный теплый день; все были веселы, всем было легко и радостно: и своим, и родным, и соседям. Вечером играли в игры, танцевали, пели. Фигнер пел удивительно хорошо в этот вечер. Весь день я следила за Таней, за ее бывшими женихами, т. е. людьми, сделавшими ей предложение, и за Стаховичем, за которого охотно отдала бы ее замуж. Он оценил бы и любил бы ее наверное. Разошлись поздно, а я сидела до рассвета с гостями, которые боялись ехать темнотой. Сидела и невестка моя Соня, и Таня, и Стахович, который говорил с Соней жестокие вещи о детях маленьких и тяжести их иметь. Левочка был болен два дня до свадьбы, но в этот день ему уже было лучше. Все мои 9 детей опять собрались, и я была очень счастлива и старательно отстраняла от себя всякие заботы и все вопросы. Ночь молодые провели каждый на старом месте: Маша с сестрой, Ванечка Эрдели с Левой. На другое утро все было по-старому, а к 6 часам вечера мы проводили молодых в Ясенки, и очень все плакали. Было холодно, дул ветер, на душе мрачно, и жизнь опять пошла постарому, но приготовила еще новые волнения. До 29 числа я не поднимала вопроса о переезде в Москву. Но время шло, терять его некогда, и вот я 29-го, вечером, попросила у Левочки позволения пройтись с ним и спросила его, чтоб он мне дал свое решение насчет переезда в Москву и отдачи детей в гимназию. Я ему говорила, что знаю, до какой степени это тяжело ему, что я спрашиваю только, сколько времени из своей жизни он может пожертвовать мне и пожить со мной в Москве? Он говорит: «Я совсем не приеду в Москву». Тогда я сказала: «Ну, и прекрасно, тем и разрешается вопрос, и я в Москву тоже не поеду,

и детей не повезу, и буду опять искать учителей».— «Нет, я этого не хочу: ты непременно поезжай и отдай детей, потому что ты считаешь, что так надо и так лучше».— «Да, но ведь это развод, ведь ты ни меня, ни 5-х детей не увидишь всю зиму».— «Детей я и тут мало вижу, а ты будешь ко мне приезжать».— «Я? ни за что!»

Мне приходило в голову сожаление, что я любила и принадлежала ему одному всю жизнь, что и теперь, когда меня отбрасывают, как уже изношенную вещь, я все еще привязана к нему и не могу его оставить.

Мои слезы его смутили. Если в нем есть хоть тень того психологического понимания, которое так сильно в книгах, то он должен был понять ту боль и ту силу отчаяния, которые были тогда во мне.

«Мне жаль тебя,— сказал он,— я вижу, как ты страдаешь, и не знаю, как тебе помочь».— «А я знаю; я считаю безнравственным разорвать семью пополам, без всякой причины, я жертвую детьми, Левой и Андрюшей, их образованием и судьбой, и я остаюсь с тобой и дочерьми в деревне».— «Вот ты говоришь о *жертве* детей, ты будешь этим упрекать».— «Так что же делать, скажи, что делать?» Он помолчал. «Я не могу теперь, дай я подумаю до завтра».

Мы расстались на Грумантском поле; он пошел к больному в Груммонт, я — домой. Какой непоправимый, глубокий надрез был сделан в моем сердце этим новым циничным, бессердечным выбрасыванием меня из своей жизни! Стало смеркаться. Я шла дорогой и рыдала все время. Это были новые похороны моего счастья. Ехали мужики и бабы и с удивлением посмотрели на меня. Лесом идти было жутко. Дома было светло, пили чай, дети бросились ко мне.

На другой день Левочка спокойным голосом сказал мне: «Поезжай в Москву, вези детей, разумеется, я сделаю все, что ты хочешь». *Хочешь?* — мне стало дико это слово. Давно я ничего для себя не хочу, только их же счастья, радости, здоровья.

Вечером я уложила вещи детей, свои, собрала бумаги, и 1 сентября в воскресенье вечером я привезла мальчиков в Москву. Сомнение и страх, хорошо ли я это сделала, останутся навсегда. Но я думала сделать должное. Перед самым отъездом я услыхала от Левы страшную историю о падении Миши Кузминского с кормилицей Митечки и о том, что все это подробно известно моим мальчикам.

Удар на удар. Отвращение, горе за сестру, боль за невинность моих мальчиков — все это переполнило мое сердце. Так и уехала, и так и жила в Москве с этой болью. Но материальные заботы, поддержка нравственная мальчикам на новом поприще — все это меня немного успокоило. Потом приехал Лева и рассказал мне об отчаянии сестры Тани и о том, как тяжело она вынесла это известие. Мне так было уже давно горько, что я тупее уже отнеслась к этому, я прежде это почувствовала, и Таня огорчилась, что я холодно и не довольно сочувственно отнеслась к ней. Но это несправедливо. Уставшее отношение к делу не менее сочувственно, чем энергическое, горячее, которое может быть только непосредственно после того, как оно постигнет людей, и не может длиться две недели.

В Москву приехал и Лева. Он будет держать свой запоздалый экзамен с 1-го на 2-й курс. Лева слишком уж хорош. Он и деликатен, и чист, и талантлив, и добр с детьми. Сейчас же он принял участие в их уроках, в их жизни; повторял с Андрюшей уроки, внушал им нравственные вопросы, по поводу Миши Кузминского истории, и ободрял их.

В Москве я прожила с ними две недели, кое-что покрасила, оклеила, перестроила в доме, обила мёбель, наладила жизнь детей и уехала. Остались там три сына, m. Borel, Алексей Митрофаныч и теперь Фомич.

Домой я приехала 15 утром. Левочка утром упрекнул мне, что я свезла детей в «омут». Опять обострился разговор, но скоро обошелся. Ссор пока быть не могло. Тане я высказала свое негодование на Мишу и упомянула о возможности нашей разлуки на будущее лето. Лева меня так убеждал, что это необходимо для детей, но мне это было страшно тяжело; так же это подействовало на Таню. Она покраснела и сказала: «Довольно, Соня, ты мне все сердце растерзала!» Вопрос этот оставлен до весны и до того, как Миша заявит себя до весны. Потом мы с Левочкой переговорили о письме, которое он послал 16-го в газеты, об отказе своих прав на статьи, напечатанные в XII и XIII частях. Все один и тот же источник всего в этом роде: тщеславие и желание новой и новой славы, чтоб как можно больше говорить о нем. И в этом меня никто не разубедит.

Письмо послано. К вечеру пришло письмо от Лескова с вырезкой из газеты «Новое время». Вырезка эта оза-

главлена: «Л. Н. Толстой о голоде» [97]. Лесков, из письма Льва Николаевича к нему, дал напечатать то, что Левочка ему писал о голоде. Левочкино письмо нескладно, местами крайне, и, во всяком случае, не для печати. Его взволновало, что его напечатали, он не спал ночь и на другое утро говорит, что голод не дает ему покоя, что надо устроить народные столовые, куда могли бы приходить голодные питаться, что нужно приложить, главное, личный труд, что он надеется, что я дам денег (а сам только что снес на почту письмо с отречением от прав на XII и XIII том, чтоб *не получать* денег; вот и пойми его!), и что он едет немедленно в Пирогово, чтоб начать это дело и напечатать о нем. Но писать и печатать, чего не испытал на деле — нельзя, и вот нужно, с помощью брата и тамошних помещиков, устроить две, три столовые, чтоб о них напечатать.

Он сказал мне перед отъездом: «Но не думай, пожалуйста, что я это делаю для того, чтоб заговорили обо мне, а просто жить нельзя спокойно».

Да, если б он это сделал потому, что сердце кровью обливается от боли при мысли о голодающих, я упала бы перед ним на колена и отдала бы многое. Но я не слыхала и не слышу его сердца. Пусть своим пером и умением расшевелит хоть сердца других!

Мы живем тихо, Таня, я, Маша, Вера, Вася, Ваня, Саша, Митя. Погода удивительная, ясная, тихая. От мальчиков хорошие письма. Я рада уединению, отдыху; сосредоточилась на своей внутренней жизни, читаю, думаю, пишу и молюсь. Вчера еще я была обуреваема страстями, которые разбудил во мне муж; сегодня мне все ясно, свято, тихо и хорошо. Чистота и ясность — вот идеал.

21 сентября. Получила письма от Левы и Миши. Вчера и сегодня ходила на дальнюю прогулку, вчера с Сашей, сегодня еще с Верой и Лидой. Красота этих дней поразительна. Тепло так, что в летних платьях жарко ходить. Сделала несколько букетов, написала в Москву детям письма и рада жить в этой освежающей тишине и отдохнуть душой и телом. Ничего не хочется делать. Прочла сразу всю книгу Rod'a «Les trois coeurs» [98]. Нехорошо и мрачно, хотя увлекательно. Читать серьезное не могу, слишком расшаталась морально и материально это время. Вчера написала длинный план повести, которую очень хотелось бы написать, да не сумею [99]. О Левочке

и Тане ничего не знаю и скучаю, особенно по Тане. Как странно, Левочка своим первым отказом ехать самому и уговариванием меня ехать в Москву и расстаться с ним на всю зиму — до такой степени надрубил мое чувство привязанности к нему, что мне теперь разлука с ним уже не так страшна, как казалась прежде. Да, надо привыкать. Когда он отживет совсем свою *любовную* жизнь со мной, он просто, цинично и безжалостно выбросит меня из своей жизни. И это скоро будет. Надо беречь свое сердце от этого удара и любить других, т. е. детей своих больше мужа. Слава богу, их так много и так многие из них хорошие.

Очень сокрушаюсь эти дни, что мои три сына в Москве, а я так наслаждаюсь погодой, природой и тишиной. Но мы все выросли в городе, и пришло наше время отдыха.

8 октября. Я не выдержала и ездила в Москву за мальчиками. Случилось это так: с сестрой Таней после истории Миши Кузминского все было не совсем дружелюбно. Она требовала бо́льшей жалости и участия к ней, я же была строга к Мише и сердилась, что Миша развращал своими рассказами моих мальчиков. И вот я решилась проводить Таню до Москвы. У нас были все здоровы, и гостили Лиза Оболенская с Машей. 26 сентября мы поехали в отдельном, прицепленном для нас в Туле вагоне; нас провожал Зиновьев, и нам открыли царские комнаты. В Москве я поехала с Васей к тетушке Вере Александровне, и туда приехали с выставки веселые и оживленные мои три сына. Они ждали Таню, и Миша долго вглядывался и не узнавал меня. Наконец закричал: «Мама!» Мы провели все вместе очень хороший вечер; на другой день я побыла с ними, и в субботу, 28-го, я взяла детей и поехала с ними в Ясную. С нами поехали Лиза и Миша Олсуфьевы. Это меня очень взволновало за Таню; и все дети, особенно девочки, были страшно взволнованы. Лева не поехал, он очень усердно занят своими лекциями и музыкой и не хотел развлекаться. На другой день (воскресенье) приехали еще гости: Зиновьев и Давыдов с дочерьми и Миша Стахович. Собрались те два Михаила, к которым обоим, как мне кажется, примеривалась Таня, думая о замужестве. Но, как я ни наблюдала, ни один не показал ей ничего особенного; только в их отношениях взаимных чувствовалось что-то враждебное, какой-то мол-

чаливый поединок. В понедельник уже все уехали; у Андрюши сделался жар; а в среду я проводила Андрюшу и Мишу от Ясенков до Тулы, где Зиновьев их взял до Москвы на свое попечение. Из Тулы мы ехали опять до Ясенков с Машей и Сережей и обсуждали дела Таниного замужества.

Когда уехали опять дети, меня опять взяла тоска. Три ночи они спали около моей спальни, я их слышала, не тревожилась о них, а их отъезд навел на меня уныние. От Левочки ни участия, ни ласкового слова, душевного, настоящего — никогда нет. Все мои сердечные нервы так были измучены последнее время, что у меня сделалась одышка и невралгия в виске. Ночи я вовсе не спала. Не могла ни говорить, ни радоваться, ни заниматься делами — ничего. Я уходила куда-нибудь и плакала часами; плакала при каждом случае, оплакивала еще вновь отжитый период своей жизни. И если меня спросили бы, где главный стержень моего горя, я сказала бы, что отсутствие всякой любви со стороны Левочки, который не только теперь меня совершенно игнорирует и только мучает, но который *никогда* не любил меня. Это видно во всем: в его равнодушии к семье, к детям, к нашим интересам, к их жизни и воспитанию. Сейчас мы говорили о письмах, кто какие написал. Он начал пересчитывать свои — к темным[100]. Я спросила, где Попов, где Золотарев и где Хохлов. Первый отставной офицер восточного типа, вторые два молодые из купцов. Все считаются последователями Льва Николаевича. «Попов у матери, она того желала. Хохлов в техническом училище, отец желал, Золотарев на юге, у старовера-отца в каком-то заштатном городе, ему так тяжело!»

И о всяком было сказано, что им так тяжело жить при родителях, но так хотят родители. Я спросила: «А где же не тяжело?» Я знаю, что Попов, у которого крайне развратная мать, нашел, что с прекрасной, доброй женой жить тяжело, и разошелся с ней; он жил у Черткова, и Чертков его не выносил, там было тяжело, и он живет с матерью, и опять тяжело. Знаю, что и Левочке со мной тяжело — вообще странные принципы, с которыми везде и со всеми тяжело. Было много общин этих толстовцев, и было так всем *тяжело,* что все распались. Так и кончился неприятно наш разговор, и Левочка уехал на Козловку, а я опять почувствовала эту спазму в груди, опять слезы начали меня душить, но я скорей начала себя

успокаивать. Нельзя мне ни болеть, ни падать духом. У меня *столько* дела и обязанностей! Или действовать и жить для семьи бодро, или — если не выдержу — совсем не жить.

Сейчас посмотрела на дневник, предшествующий этому. Я писала тогда, когда Левочка с Таней ездили в Пирогово и дальше исследовать голодные местности[101]. В Пирогове Сережа, брат, встретил их очень недружелюбно, говорил, что они учить его приехали, что вы, мол, богаче меня, вы помогайте, а я сам нищий и т. п. Тогда Левочка и Таня поехали к Бибиковым, переписали там голодающих; Таня осталась у Бибикова, а Левочка поехал дальше, к какой-то помещице[102] и к Свечину. У Бибикова и у помещицы мысль о столовых для голодающих была принята очень холодно. Ни у кого лишних денег нет, все своим заняты. У Свечина выразили больше сочувствия.

На 5-й день Левочка и Таня вернулись, а 23-го, в день нашей свадьбы (29 лет), Левочка поехал уже с Машей в Епифанский уезд по железной дороге. Они остановились у Р. А. Писарева и оттуда исследовали голодающие деревни. Туда же приехал Раевский, и обсуждали вопросы о столовых для голодающих. Левочка сейчас же решил, что он на всю зиму переселится к Раевскому с двумя дочерьми и будет устраивать столовые, и отдал на покупку картофеля и свеклы 100 руб., которые взял еще у меня дома.

Когда они приехали и объявили мне, что в Москву не поедут, а будут жить в степи, я пришла в ужас. Всю зиму врозь, да еще 30 верст от станции, Левочка с его припадками желудочной и кишечной боли, девочкам в этом уединении, а мне с вечным беспокойством о них. Меня это до того поразило, едва один вопрос кое-как, с болью, разрешился; во имя того, чтоб Левочке не так трудно было жить в Москве, я согласилась на напечатание его заявления о XII и XIII томе сочинений, и опять новый вопрос, новое решение. Я заболела от этого. С другой стороны, Лева написал, не зная еще о решении ехать к Раевскому, чтоб мы все оставались в Ясной, что мой приезд в Москву помешает им троим учиться, что я совсем не нужна. Это был новый предлог моему горю. 29 лет жила я *только* для семьи; отреклась от всего, что составляет радость и полноту жизни всякого молодого существа, и стала *никому* не нужна. Сколько я плакала все это

время! Видно, я очень плоха; но как же я так много любила, а любовь считается хорошим чувством...

Вечером сегодня читала с Сашей, играла с ней и Ванечкой, рассказывала им картинки и истории. Днем сажали за Чепыжем 2000 елочек, завтра будут сажать 4000 берез. Еще я взяла Никиту и Митю и сажала в саду кое-что: сосны, ели, лиственницы, березы и зубчатые ольхи. Завтра буду еще сажать. В Москву собираюсь 20-го. Страшно не хочется ехать! Не знаю, что будет делать Левочка и девочки, совсем не знаю. Вопрос о столовых для меня сомнителен. Ходить будут здоровые, и сильные, и свободные люди. Дети, роженицы, старики, бабы с малыми детьми ходить не могут, а их-то и надо кормить.

Когда Левочка не печатал еще своего заявления о праве всех на XII и XIII том, я хотела дать 2000 на голодающих, предполагая где-нибудь, избрав местность, выдавать на бедные семьи по стольку-то в месяц пудов муки, хлеба или картофеля на дом. Теперь я ничего не знаю, что́ я буду делать. По чужой инициативе и с палками в колесах (заявление) действовать нельзя. Если дам денег, то на распоряжение Сережи, он секретарем Красного Креста в их местности. Его прямое дело служить делу голода, он свободен, честен и молод, и он там, на месте.

16 октября. Была в Туле, окончила раздел с Соколовой, женой священника, не знаю, утвердит ли старший нотариус. Еще хлопотала о нашем семейном разделе у нотариуса Белобородова. Все это крайне скучно и тяжело. Выпал с утра снег, ездила на розвальнях, парой, приехала, было 8 градусов мороза. У границы раскинуты шатры и стоят цыгане: дети, куры, поросята, штук 40 лошадей и толпа людей. Девочки пошли к ним, привести их в кухню флигеля. Вчера ночью Левочка отослал статью «О голоде» в журнал Грота «Вопросы философии и психологии»[103]. Сейчас Саша и Ваня вынимали жеребий: за *Сашу* — она сама, ей достался *левый* участок *Бистрома;* за Андрюшу и Мишу вынимал Ванечка. *Мише* достался *Тучковский* участок, а *Андрюше правый* Бистрома и...

Ездила я к Сереже и Илье 13-го числа. Первый день провела с Соней, и вечером приехал Илья. Тяжелое они на меня произвели впечатление. Любви между ними мало, интересы низменные, хозяйство плохо. Илья имеет

подавленный и несчастный вид, его очень жаль. Кто из них виноват, бог знает, но счастья у них мало. Хуже же всего — это маленький Николай. Он прямо заброшен и заморен матерью: она дурная мать и не любящая — это бросается в глаза. Анночка удивительно мила. А Николай маленький умрет или будет урод, и это мне как камень на сердце.

Сережа весел, спокоен и хорош во всех отношениях. Я у него все осмотрела, так хотелось внести что-нибудь в его жизнь, чтоб ему было еще лучше. Он занят службой земского начальника и теперь секретарем Красного Креста. У него чисто, уютно; привычки порядочного человека, хотя все бедно и скромно. Дай бог ему силы подольше жить хорошо. Лева вдруг загорелся ехать в Самару по случаю голода. Его беспокойство меня смущает; опять метаться, бросать университет и с пустыми руками лететь на неизвестность — как деятельность.

Мне дирекция петербургских театров отказала в выдаче поспектакльной платы за «Плоды просвещения». Я очень злилась и на дирекцию и на Льва Николаевича, лишившего меня радости отдать эти деньги на голодающих. Вчера написала министру двора Воронцову, прося его о выдаче этой платы, не знаю, что из этого выйдет [104]. Укладываемся, собираемся в Москву, скучно, нездоровится, во всем на свете и в семье чувствуется разлад. Народный голод лежит тяжелым гнетом на всем и на всех.

19 октября. Полная апатия. Не еду, не укладываюсь, весь день рисовала Ване книжку.

Тут Петя Раевский, Попов (темный) и еще какой-то прохожий интеллигентный человек, идет от Сютаева; мрачный, недовольный, разочарованный и больной [105]. Левочка странно эгоистично весел. Весел жизненно, телесно, а не духовно.

12 ноября. С 22 октября я в Москве с Андрюшей, Мишей, Сашей и Ваней. 26-го Левочка-муж уехал с дочерьми в Данковский уезд, к И. И. Раевскому в имение Бегичевка, а 25-го Лева-сын уехал в Самарскую губернию в село Патровку [106]. У всех было одно на уме и на душе: помогать народному голоду. Долго мне не хотелось пускать их, долго мне страшно и тяжело было расставаться со всеми, но в душе я сама чувствовала, что это надо,

и согласилась. Потом я им даже послала 500 рублей, прежде дав 250. Лева пока взял только 300 р., и в Красный Крест я дала 100 рублей. Все это так мало в сравнении с тем, сколько нужно! Приехав в Москву, я страшно затосковала. Нет слов выразить то страшное душевное состояние, которое я пережила. Здоровье расстроилось, я чувствовала себя близкой к самоубийству. Тут еще случилась смерть Д. А. Дьякова. В нем мы потеряли лучшего и старейшего друга Льва Николаевича. Я была почти уже при его агонии и при похоронах. Потом у меня заболели инфлюэнцей все четверо детей. Одну ночь я лежала и не спала и вдруг решила, что надо печатать воззвание к общественной благотворительности. Я вскочила утром, написала письмо в редакцию «Русских ведомостей» и сейчас же свезла его [107]. На другой день, воскресенье, оно было напечатано. И вдруг мне стало веселее, легче, я почувствовала себя здоровой, и со всех сторон посыпались пожертвования. Как сочувственно, как трогательно отозвалась публика к моему письму! Некоторые плачут, когда приносят деньги. С 3 по 12 число мне прибыло 9000 рублей денег. 1273 рубля я отослала Левочке, 3000 рублей вчера дала Писареву на закупку ржи и кукурузы; теперь жду от Сережи и Левы письма, что они скажут делать с деньгами. Все утро я принимаю пожертвования, вписываю в книги, говорю с публикой, и это меня развлекает. Иногда вдруг руки опустятся и так хочется видеть и Левочку, и Таню, и даже Машу, хотя знаю, что Маше самой всегда веселей и радостней вне дома. Странно, когда мы вместе с Левочкой, его неласковость, отсутствие интереса к семье, все это такой холодной водой меня обдает, что думаешь: «Чего же я хотела? зачем он тут?» А когда врозь — только и мысли о нем. Это оттого, что я любила в нем лучшее и большее, чем он в состоянии был дать.

Сегодня опять не спала от статей «Московских ведомостей». Статью Левочки «Страшный вопрос», напечатанную в «Русских ведомостях» на этих днях, перетолковали по-своему. Объясняют ее с точки зрения «воспрянувшей вновь либеральной партии с политическими замыслами», чуть ли не обвиняют в революционных намерениях. Этот намек на возможность только мысли о каком-либо движении, кроме движения на помощь народу, есть уже само по себе революционное движение самих «Московских ведомостей» [108].

Они намекают слабоумным революционерам, что они *могут* считать себя солидарными с Толстым и Соловьевым, и это, по-моему, есть та искра, которая бросается в их кружок и которая поможет им подняться духом.

Что за подлая, ужасная газета! И как все, что есть живого, враждебно к ней относится. Я уж думала писать министру, государю о том вреде, который она приносит, думала поехать в редакцию и пригрозить им; но, не посоветовавшись ни с кем, не решаюсь ничего делать.

Андрюша и Миша учатся в Поливановской гимназии, и Миша идет плохо, Андрюша средне. Мне их всегда жалко, хочется повеселить, рассеять, вообще у меня всегда стремление к баловству, и это дурно. Сегодня сели мы с детьми обедать; так эгоистична, жирна, сонна наша буржуазная городская жизнь без столкновения с народом, без помощи и участия к кому бы то ни было! И я даже есть не могла, так тоскливо стало и за тех, кто сейчас умирает с голоду, и за себя с детьми, умирающими нравственно в этой обстановке, без всякой живой деятельности. А как быть?

От министра двора ответ получила. Ввиду моей благотворительной цели, он обещает проценты с спектакльного сбора «Плодов просвещения», и я уже писала об этом директору Всеволожскому.

1892

16 февраля. Еще прошло три месяца, и необыкновенно скоро они прошли. Я опять одна, в Москве с Андрюшей, Мишей, Сашей и Ванечкой. Левочка с Таней и Машей приезжали два раза: первый раз от 30 ноября по 9 декабря. Второй раз от 30 декабря по 23 января. Бывало много гостей, мы все рады были быть вместе, но еще тяжеле было разлучаться. Тогда я решилась сама ехать с Левочкой и Машей в Бегичевку, а Таню оставила в Москве с детьми. В день нашего отъезда принесли нам статью «Московских ведомостей» № 22-й, в которой перефразировали статью Левочки «О голоде», написанную для журнала «Вопросы философии и психологии», и, сопоставив ее с прокламацией, объявили Льва Николаевича революционером. Мы с Левочкой написали опровержение [1], которое он меня заставил подписать, и уехали.

Приехав в Тулу, мы застали Елену Павловну Раевскую, у которой остановились, больную, с страшной болью в ноге и лихорадкой. Она, бедная, никак не может поправиться со смерти мужа. Иван Иванович скончался 20 ноября от инфлюэнцы в своем имении Бегичевке, во время пребывания наших там [2].

Из Тулы 24-го мы поехали по скучной Сызрано-Вяземской дороге на Клекотки. В вагоне у меня сделалось удушие и нервный припадок. Левочка все выходил, был суетлив, беспечен и молчалив. Погода была отвратительная: таяло, шел дождь, небо серое тяжело свисло, ветер дул страшный. Мы поехали в двух санях: Маша, повар Раевских — старичок Федот, и Марья Кирилловна; а в других, маленьких санках мы вдвоем с Левочкой. Было тесно, темно и жутко. Машу всю дорогу тошнило, а меня тревожило, что Левочка простудится от такого ветра.

Наконец доехали к ночи. Встретили нас в Бегичевке, в доме: Илья, Гастев, Персидская, Наташа Философова и Величкина [3]. Илья был в странном боязливом духе, все боялся привидения И. И. Раевского. На другое утро он уехал, и мы остались с нашими помощницами.

Жили мы с Левочкой в одной комнате. Я взяла все письменные работы и уяснила что могла в их делах. Потом я пошла смотреть столовые. Вошла в избу: в избе человек десять, при мне стали собираться еще до 48 человек. Все в лохмотьях, с худыми лицами, грустные. Войдут, перекрестятся, сядут. Два стола сдвинуты, длинные лавки. Чинно усаживаются. В решете нарезано множество кусков ржаного хлеба. Хозяйка обносит всех, все берут по куску. Потом она ставит большую чашку щей на стол. Щи без мяса, слегка приправлены постным маслом. К одной стороне сидели все мальчики. Эти были веселы, смеялись и радостно приступали к еде. После щей давали похлебку картофельную; или же горох, пшенную кашу, овсяный кисель, свекольник. Обыкновенно по два блюда на обед и два на ужин. Мы обошли и объехали несколько столовых. Сначала я была в недоумении, как относится народ. Но во второй столовой какая-то девушка, серо-бледная, взглянула на меня такими грустными глазами, что я чуть не разрыдалась. И ей, и старику, сидящему тут же, и многим, я думаю, не легко ходить получать это подаяние. Не дай бог взять, а дай бог дать,— это справедливая русская пословица. Потом я равнодушнее смотрела на эти столовые, без которых было бы хуже.

Самое трудное в деле, которое все наши взяли на себя,— это выбор беднейших. Это трудно и в выборе кому ходить в столовые, и в раздаче дров, и в одежде, которую тоже жертвовали, и во всем. Когда я сделала списки, последние дни было 86 столовых. Теперь открыли до *ста*. Раз мы с Левочкой ездили вдвоем в чудный ясный день по деревням. Справлялись на мельнице о помоле; заезжали в другой склад провизии велеть выдавать пшена (из Орловки) и вообще узнать о выдаче; и наконец открыли столовую в Куликовке, где погорелые. Вошли к старосте, спросили о беднейших. Велели ему позвать на совет еще старцев и мужиков. Собрались мужики, сели на лавки. Стали их спрашивать, какие семьи беднейшие, и назначали по стольку-то человек из семьи ходить в столовую. Когда я всех переписала, Левочка велел приезжать за провизией во вторник и бабе, жене старосты, предложил иметь столовую у себя так, как прочие погорелые.

Возвращались мы сумерками: с одной стороны красно село солнце, с другой поднялась луна. Ехали мы по Дону и степями. Местность плоская, скучная. Только по берегам Дона красиво расположены старые и новые усадьбы.

По утрам я кроила с портным поддевки из пожертвованного сукна, и мне их сшили 23; большую радость доставляли мальчикам эти поддевки и полушубки. *Теплое и новое;* это то, чего некоторые от рожденья не имели.

Прожила я в Бегичевке 10 дней. Были метели, раз все помощницы наши разъехались и дома не ночевали; мы очень беспокоились. Обе эти барышни хорошие: одна, казачка Персидская, румяная, энергичная, лечила народ, и все ее звали «княгиней». Другая болезненная, худенькая, дочь священника; старательная и сентиментальная; но дело делала и она хорошо. Их рассылали проведать или открыть столовые, раздавать платья, записывать нуждающихся в топливе, пище или одежде.

Когда я вернулась в Москву, я постепенно слышала все бо́льшие и бо́льшие толки о том, что Левочка написал письма будто бы в Англию о русском голоде; что все негодуют; наконец я стала получать письма из Петербурга, что надо мне спешить предпринять что-нибудь для нашего спасенья, что нас хотят сослать и т. д. Я долго ничего не предпринимала. Целую почти неделю я ездила к зубному врачу зубы все чинить; но мало-помалу меня разобрало беспокойство. Я написала письма: министру внутренних дел Дурново, Шереметевой, товарищу ми-

нистра Плеве, Александре Андреевне и Кузминским. Во всех письмах я объясняла истину и опровергала ложь «Московских ведомостей». Опровержений в газеты печатать запретили, хотя и послала свое в «Правительственный вестник» [4]. Тогда я поехала к вел. кн. Сергею Александровичу, которого просила велеть напечатать мое опровержение. Он говорил, что не может, а пусть сам Лев Николаевич напишет в «Правительственный вестник», и это вполне *успокоит взволновавшиеся умы и удовлетворит государя.* Тогда я написала Левочке, умоляя его это сделать. Сегодня я получила это письмо [5] и уже послала его в «Правительственный вестник» сегодня же. Очень жду нетерпеливо известия — напечатают ли его.

Левочка, Таня, Маша и Вера Кузминская опять в Бегичевке. Приехал и Лева из Самары. Жду его с нетерпением и не знаю, что он намерен делать дальше. Сама я притерпелась к своему положению и живу интересами своих 4-х детей; начала писать повесть [6], собираю пожертвования, переписку веду огромную, плачу за купленный хлеб через банки, делаю всякие денежные операции. Кроме того, своих дел много. Порою грустно, а то и хорошие минуты бывают.

Завтра начало поста, хочу поститься.

1893

2 августа. Сейчас узнала от Черткова, что большая часть рукописей Льва Николаевича находится частью у него, а частью у полковника *Трепова* в Петербурге, о чем пусть знают наши дети.

Впоследствии Чертков отбирал все рукописи Льва Николаевича и увозил их к себе в Англию, в Christchurch * [1].

5 ноября. Москва. Я верю в добрых и злых духов. Злые духи овладели человеком, которого я люблю, но он не замечает этого. Влияние же его пагубно. И вот сын его гибнет, и дочери гибнут, и гибнут все, прикасающиеся к нему. А я день и ночь молюсь о детях, и это духовное усилие тяжело, и я худею, и я погибну физически, но духовно я спасена, потому что общение мое с богом, связь

---

* Последний абзац приписан позднее.

эта не может оборваться, пока я не под влиянием тех, кого обуяла злая сила, кто слеп, холоден, кто забывает и не видит возложенных на него богом обязанностей, кто горд и самонадеян. Я еще не молюсь о меньших, их еще нельзя погубить. Тут, в Москве, Лева стал веселей и стал поправляться. Он вне всякого влияния, кроме моей молитвы. Бог внушил послать с ним хорошего человека. Только бы не ослабла во мне энергия молитвы, а то все пропало. Господи, помилуй нас и избавь от всякого влияния, кроме твоего [2].

1894

2 марта. Таня уехала в Париж, с Левой пожить. Ему стало хуже. Ужас давно уже в моем сердце, что он не жилец на земле. Слишком исключителен, хорош и неуравновешен. Живу со дня на день — без жизни. Беспокойство о Леве, отчасти теперь и о Тане — исключило всякие другие жизненные интересы. Сейчас же подломило и здоровье. Сегодня кровь шла горлом — и много; и лихорадка по ночам, грудь болит, пот. Лев Николаевич тоже приуныл. Но жизнь его идет по-прежнему: встанет рано, уберет комнату, поест овсянку на воде, пойдет заниматься. Сегодня застала его делающим пасьянс. Завтракал он очень обильно, Дунаев громко рассказывал какие-то истории и не замечал, что они никому не интересны. Потом Лев Николаевич пошел спать, а теперь с удивительной жизнерадостностью, взглянув в окно на яркое солнце и взяв с окна фиников, он отправился с Дунаевым на грибной рынок, чтоб посмотреть coup-d'oeil * на этот торгующий грибами, медом, клюквой и проч.— народ [1]. Маша нервна, худа и жалка. Сережа очень приятен, и мне грустно, что он скоро уедет в Никольское.

4 августа. Захарьин нашел, что Лева плох. Мое сердце давно это знает. Но как пережить горе видеть погибающим этого молодого, любимого и такого хорошего сына! Сердце так надорвано, так постоянно ноюще болит, с таким усилием живешь обыденной жизнью, что чувствуешь, как вот-вот, и сил не хватит. А жить надо: надо для маленького Ванечки, для Миши, Саши, даже для Андрю-

* взгляд *(франц.)*.

ши, у которого многое уже погибло, но светится огонек любви и нежности ко мне. А все стало тяжело. Давно гнетущая меня отчужденность мужа, бросившего на мои плечи все, все без исключения: детей, хозяйство, отношения к народу и делам, дом, книги, и за все презирающего меня с эгоистическим и критическим равнодушием. А *его* жизнь? Он гуляет, ездит верхом, немного пишет, живет где и как хочет и ровно ничего для семьи не делает, пользуясь всем: услугами дочерей, комфортом жизни, лестью людей и моей покорностью и трудом. И слава, ненасытная слава, для которой он сделал все, что мог, и продолжает делать. Только люди без сердца способны на такую жизнь. Бедный Лева, как он мучился тем недобрым отношением отца к себе все это последнее время. Вид больного сына мешал спокойно жить и сибаритствовать — вот это и сердило отца. Не могу вспомнить без боли эти черные, болезненные глаза Левы, с каким упреком и горем он смотрел на отца, когда тот упрекал ему его болезнь и не верил страданиям. Он никогда их не испытал сам, а когда болел, то был нетерпелив и капризен.

Таня тоже в Москве с Левой, и ее жаль и без нее грустно — уж никакого *друга* не осталось дома, хотя приверженцы Льва Николаевича и он сам и на ее веселую натуру — здравую и жизненную — наложили тяжелый гнет и отчуждили от меня. Сегодня уехал от нас Страхов. Дома жара, купанье с Сашей, сходка мужиков, беганье по неубранным полям в жару до одышки, чудная лунная ночь, теплая и красивая до страданья. Лев Николаевич уехал в Потемкино узнать о погорелых и помочь им благотворительными деньгами. Андрюша уехал в Овсянниково к М. А. Шмидт, Миша сидит со мной, Маша с Марьей Кирилловной — на Козловку.

23 ноября. Живем всей семьей в Москве. Центр всей моей жизни и всех моих интересов — это больной Лева. Привыкнуть к такому несчастью нельзя. Каждую минуту жизни помнишь его жалкое болезненное состояние, и страх за него болезненно мучает постоянно. Видаю мало людей, мало выезжаю из дому. Поступила новая англичанка, miss Spiers. Левочка, Таня и Маша уехали к Пастернаку слушать музыку. Играет его жена с Гржимали и Брандуковым. Андрюша после многих неприятностей, причиненных мне последнее время, смирился.

Здоровье его плохо: было 14 нарывов, желудок часто расстроен. Миша ясен и весел, но учится плохо.

Снегу нет, и санного пути еще не было. Ветер и 2 градуса мороза. Печатаю XIII том [2], читаю «Marcella» [3]. С Левочкой жили долго очень дружно, но последние дни было немного неприятно. Меня сердило его равнодушие к поступкам Андрюши и то, что он мне не помог с ним. Я виновата, главное, тем, что после 32 лет еще надеюсь, что Левочка может что-нибудь сделать для меня и для семьи. Надо радоваться и довольствоваться тем хорошим, что в нем было.

1895

1 и 2 января. Надо писать дневник, слишком жалко, что мало его писала в жизни.

Вчера Левочка уехал с Таней к Олсуфьевым в Никольское. Когда я остаюсь без мужа, я чувствую себя вдруг свободной духом и одной перед богом. Мне легче разобраться с самой собой и с той путаницей, в которой я живу.

События: Лева начал лечение электричеством, стал спокойнее, уехал к Шидловским.

Маша лежит, Саша и Ваня в гриппе, скучают, бегают с девочкой Веркой и Колей (артельщика). Андрюша в деревне у Ильи, Миша со скрипкой ушел к Мартыновым. Была метель, 7 градусов мороза.

Сегодня ночью в 4 часа разбудил меня звонок. Я испугалась, жду,— опять звонок. Лакей отворил, оказался Хохлов, один из последователей Левочки, сошедший с ума. Он преследует Таню, предлагает на ней жениться! Бедной Тане теперь нельзя на улицу выйти. Этот ободранный, во вшах, *темный,* везде за ней гоняется. Это люди, которых ввел теперь Лев Николаевич в свою интимную семейную жизнь,— и мне приходится их выгонять.

И странно! люди, почему-либо болезненно сбившиеся с пути обыденной жизни, люди слабые, глупые,— те и бросаются на учение Льва Николаевича и уже погибают так или иначе — безвозвратно.

Боюсь, что когда начинаю писать дневник, я впадаю в осуждение Льва Николаевича. Но не могу не жаловаться, что все то, что проповедуется для счастья людей,— все

осложняет так жизнь, что мне все тяжелее и тяжелее жить.

Вегетарианство внесло осложнение двойного обеда, лишних расходов и лишнего труда людям. Проповеди любви, добра внесли равнодушие к семье и вторжение всякого сброда в нашу семейную жизнь. Отречение (словесное) от благ земных вносит осуждение и критику.

Когда очень уж обострятся все эти осложнения, тогда я горячусь, говорю резкие слова, делаюсь от этого несчастна и раскаиваюсь, но слишком поздно.

Была Елена Павловна Раевская; приходила посидеть со мной вечер, просила мою повесть. Я пересмотрела ее и вижу, как я люблю свою повесть. Это дурно, но это так приятно!

К Маше чувствую нежность. Она нежная, легкая и симпатичная. Как мне хотелось бы ей помочь с Петей Раевским! Таню стала любить меньше прежнего; чувствую на ней грязь любви темных: Попова и Хохлова. Мне жаль ее, она потухла и постарела. Мне жаль ее молодости, красивой, веселой и обещающей. Жаль, что она не замужем. Вообще, как мало дала мне моя многочисленная, красивая семья. Т. е. как мало они все счастливы. А это матери самое больное.

Написала три письма: деловое в Прагу, ответ бар. Менгден и С. А. Философовой. Ложусь в 3 часа ночи. Читала утром Саше и Ване вслух «80 000 верст под водою» Верна [1]. Говорю им: «Это трудно, вы не понимаете». А Ваня мне говорит: «Ничего, мама, читай, ты увидишь, как мы от этого и от «Дети капитана Гранта» поумнеем».

Лева приехал от Шидловских унылый и очень жаловался.

3 января. Встала поздно. Пошла к Маше, Леве, побранила Мишу, что не играет на скрипке и не встает до 12 часов. Потом Лева уехал в клинику лечиться электричеством, оттуда к Колокольцевым. Я дурно досадовала, что он долго не посылал мне лошадь. Поехала с визитами к Мартыновой, Сухотиной, Зайковской и Юнге.

Зайковские подняли воспоминания молодости. Но какое грустное, некрасивое впечатление стародевичьей жизни! Неужели мои дочери не выйдут замуж? Вечером пришли дети играть, а я читала Леве вслух повесть Фонвизина «Сплетня» [2]. Пока не очень хорошо, не тонко, грубо. Послала свою повесть прочесть Раевской. Хочется еще

писать, но нет спокойствия, и нервы расстроены, и жаль всегда отнимать свое время у детей, которые так любят быть со мной. Снег засыпал все улицы, дворы, весь наш сад и балкон; 4 градуса мороза.

5 января. Вчера не писала, читала вечером вслух Леве Фонвизина повесть, заинтересовало, но грубо.

До 3-го часа ночи возилась со счетами, и все у меня запутано. Не умею. Сидела днем много с Ваней, читала ему, ходила с ним гулять к Толстым [3]. Сегодня он с утра заболел. Я страшно пугаюсь теперь всему, а особенно нездоровью Ванечки; я прицепила так тесно свое существование к его, что это опасно и дурно. А он слабый, деликатный мальчик, и какой хороший! Ездила вчера к Варе Нагорновой и Маше Колокольцевой. Везде мне уныло. У меня такая натура, которая требует или деятельности, или впечатлений, иначе я угасаю. А теперь мне приходится все с больными детьми быть, а это уж хуже всего. Без Левочки и Тани не скучаю. Приехал Илья и Андрюша. Дождь и 1 градус тепла. Саша все-таки уехала на каток с Мишей и miss Spiers.

8 января. Эти дни болен Ванечка, у него лихорадка и что-то желудочное. Он вдруг так побледнел и похудел, что не могу его видеть без боли сердечной. Вчера Андрюша, Миша и Саша были на детском вечере у Глебовых, а Ваня в жару весь вечер протомился у меня на коленах. Мне очень было грустно лишить его радости. Он хворал раньше гриппом и третью неделю не видит воздуха. Борьба с старшими мальчиками, чтоб приучить их к исполнению обязанностей, делается мне непосильна, и та боль, которую они мне причиняют постоянно этой борьбой, совершенно отталкивает меня сердцем от них. Все это больно и больно, как больно видеть глупое и пошлое разорение Ильи, и безнравственную жизнь Сережи, и болезнь Левы, и безбрачие дочерей, и этот едва мерцающий огонек жизни в бедном миленьком Ванечке.

С утра дела: уплата прачке и другим; распоряжения артельщику; люди отпросились на свадьбу; принесли бумагу из полиции о деле яснополянской кражи; [4] жалованья; просроченные паспорты и проч., и проч. Потом сидели втроем: Лева, Ванечка и я смотрели картинки в исторических книгах, я рассказывала об египтянах все, что могла почерпнуть из дальних знаний, читала сказки Гримма [5].

Приехала Веселитская [6], пошла сидеть с Левой. Я мерила Ване температуру — 37 и 8.

Обедали Нагорновы, Илья, Веселитская. После обеда — Маня Рачинская, умненькая и симпатичная. Дала Илье 500 рублей. Ему не поможешь ничем; чувства меры в моих детях нет, они все неуравновешены и не понимают чувства долга. Это черта их отца: но он над ней работал всю жизнь, дети же с молодости распускаются — слабость современной молодежи.

Вечером часа два поправляла плохое изложение «Капитанской дочки» Миши. Сейчас к ужасу увидала, что он не переписал и половины, а конца совсем нет. Будет опять плохой балл, и опять пойдет на полугодие.

Позднее пришли дети Стороженко и он сам; потом пришел Митя Олсуфьев. Я много с ним болтала, он хорошо все понимает, но от болтовни всегда остается угрызение совести.

Событие с фотографией все еще не улеглось. Приходил Поша и обвинял меня, а я их всех. Обманом от нас, тихонько уговорили Льва Николаевича сняться группой со всеми *темными;* девочки вознегодовали, все знакомые ужасались, Лева огорчился, я пришла в злое отчаяние. Снимаются группами гимназии, пикники, учреждения и проч. Стало быть, толстовцы — это *учреждение.* Публика подхватила бы это, и все старались бы купить *Толстого с его учениками.* Многие бы насмеялись. Но я не допустила, чтоб Льва Николаевича стащили с пьедестала в грязь. На другое же утро я поехала в фотографию, взяла все негативы к себе, и ни одного снимка еще не было сделано. Деликатный и умный немец-фотограф, Мей, тоже мне сочувствовал и охотно отдал мне негативы.

Как отнесся к моему поступку Лев Николаевич — я не знаю [7]. Он был очень ласков со мной, но *принципиально* будет меня осуждать в своем дневнике, в котором теперь он никогда не бывает ни искренен, ни добр.

Маша сегодня не так приятна, как была те дни. Она всегда не хороша, когда она должна *чем-то* быть при других. А сегодня надо быть при Веселитской тем, чем она ей кажется.

Англичанка Spiers не хороша. Сухая, несимпатичная, от детей запирается и занята только изучением русского языка и своими развлечениями. Читаю плохой английский роман, который брошу. Хочу читать историю, чтоб рассказывать по картинкам детям. Ложусь поздно.

9 января. Миша Олсуфьев привез письмо от Льва Николаевича [8]. Он мне пишет упрек, что я не радостна, а сам усложнил и испортил нашу жизнь. Но письмо доброе, и мне приятно, хотя насколько меньше я люблю его, чем прежде! Мне без него не только не скучно, но легче. Сколько раз бесплодно скучала я и горевала его отсутствием, просила побыть со мной, подождать или моего выздоровления, или еще чего. И сколько раз беспощадно били меня по моей привязанности. Если я не радостна, то только потому, что я устала любить, устала все улаживать, всем угождать, за всех страдать. Теперь меня трогают только двое и оба болезненно: Лева своим состоянием и Ванечка. Я по нескольку раз в день ощупываю его ножки и ручки, как они худы, целую в бледную дряблую щечку и все мучаюсь, и мне больно. За обедом он мало ест, и я не ем. Совсем на него исстрадалась.

Уехал Илья; с Веселитской спокойно-хорошо и тонкоумно разговаривали. Она мне рассказала всю историю своего развода с мужем. Досадно, что М. Олсуфьев не женится на Тане, хотя разлука с ней была бы горем.

Приходил Дунаев, была Маша Зубова утром; уехала Маня Рачинская. Провела день очень праздно и с гостями; устала, нервна и безжизненна. Погода хорошая, 3 градуса мороза.

10 января. Если б меня спросили, что я теперь чувствую, я бы сказала, что я перестала жить. Меня ничего не радует, а все огорчает и огорчает.

День прошел вяло: сидела с Лидией Ивановной (она сегодня уехала), читала Ване сказки Гримм, ходила в аптеку и на рынок Ване и Леве за зернистой икрой. Андрюша и Миша очень благонравны; Саша играла на своем органчике вальс, Миша ей аккомпанировал на скрипке, и всегда он поражает своим слухом и прекрасной манерой играть. Лева ездил к Шидловским; он спокойнее, но плох и худ по-старому. Слушая игру, Ванечка говорит: «Как я бы желал выучиться делать что-нибудь очень, очень хорошо! Учи меня, мама, скорей музыке».

Вечером была в бане, брала ванну. Пили чай с Машей вдвоем, говорили об Олсуфьевых и Тане. Дождь льет, 3 градуса тепла и грязь.

Ночью била негативы фотографий группы темных и своей бриллиантовой серьгой старалась из них прежде вырезать лицо Льва Николаевича, что плохо удавалось. Легла в 3 часа ночи.

11 января. С утра Ваня кашлял хриплым кашлем, сидела все с ним, читала ему сказки Гримм; потом попробовала срисовать наш сад; без ученья ничего нельзя. Потом пошла, для здоровья больше, разметать снег на катке. В окно увидала, что Ваня вскочил и бегает неодетый. Вернувшись, рассердилась дурно на няню, она неистово кричала, а Ваня заплакал. Обедали все дома. Миша именинник, я дала ему 10 рублей, и вечером они взяли деревенского кучера Ильи, Абрамку, в цирк и восхищались его наивной радости. Он прислан за купленной Ильей лошадью. Вечером пошла посидеть к Леве, я нечаянно упомянула о его нервах, повторив слова доктора Белоголового, что все дело в нервах. Лева неожиданно вскочил, начал страшно браниться: дура, злая, старая, вы все врете!.. Каково переживать такие вещи! Все меньше и меньше делается его жалко, так он беспощаден и зол, хотя все это от болезни, и за болезнь все-таки его жаль.

Зато Андрюша, вернувшись из цирка, все мне говорил, что они все мало меня ценят, что я удивительно хорошая, что он меня любит больше всех на свете.

До 3-х часов ночи разбирала письма Льва Николаевича к сестре Тане и мои к ней, а потом перечитывала письма Льва Николаевича к Валерии Арсеньевой, на которой когда-то он хотел жениться. Письма очень хорошие, но он никогда не любил ее [9].

Мороз 5 градусов, ясно и красиво.

12 января. Встала раньше, дала Ване апоморфин от кашля, который усилился. Открыла форточку, 10 градусов мороза, вымылась холодной водой, но все не оживилась. Так что-то нерадостно. Сидела с Ваней, читала ему, принимала гостей. Был Чичерин, Лопатин, с которым говорили хорошо о смерти, и между прочим он говорил, что жизнь не была бы так интересна, если б не было этой вечной загадки впереди — смерти. Потом приехала Петровская и Цурикова. Цурикова осталась и обедать и ночевать. Тип старинной барышни дворянской с гаданием в карты, огромным кругом знакомства и влюблением до 40 лет.

Вечером у Ванечки оказался опять жар 38 и 3, и я опять страшно встревожилась. Что-то во мне надломилось и болит внутри, и я собой совсем не владею. Взяла на себя, съездила на панихиду Лопухиной, заехала за Мишей к Глебовым и посидела еще часок у Толстых. Пришла оттуда пешком и немного боялась. Лева опять кроток, Маша очень мила и старается помочь, и мальчики ласковы. Чичерин сегодня говорил о Левочке, что в нем два человека: гениальный литератор и плохой резонер, поражающий людей парадоксальными эффектами самых противоречивых мыслей. И он привел несколько примеров. Чичерин любит Льва Николаевича, но по старой памяти; он видит в нем того Льва Николаевича, которого он знал молодым и от которого хранит множество писем [10].

13 января. Разбирала письма голодающих времен от жертвователей; рвала те, в которых только цифры и официальные фразы, откладывала те, в которых есть выражение мыслей или чувств. Ваня помогал очень мило. Бедный крошка, всякий день жар, и очень он опять побледнел и похудел.

14 января. Сидела с Ваней, читала ему. Вечером Бугаева, Зайковская, Литвинова. Глупо болтали. У Вани утром 37 и 8, вечером 38 и 5. Кашель мягче, насморк гуще. Остановка жизни и души и тела. Жду пробуждения.

15 января. Пробуждение не наступило, тоска усилилась; оттого ли, что утомляюсь, целые дни глядя на больного Ванечку и Леву, и это влияет на нервы и настроение. Весь день напряженно и усиленно занимала Ванечку. Вечером был доктор, Филатов, не нашел ничего осложненного ни в легких, ни в горле, и селезенка не увеличена. Грипп — и больше ничего. Прокатилась за Сашей к Глебовым, где был 1-й танцкласс; приехал вечером брат с женой [11], жалкой и худой. Позднее гадала Маше на картах. Гадала на Мишу Олсуфьева, и ему вышла смерть. Меня расстроило гаданье, и стало страшно за Таню и Льва Николаевича. Хоть бы скорей вернулись. Как я любила бы Льва Николаевича, если б он был хоть немного добрей ко мне и внимательнее к детям, мальчикам.

Лева капризен немного, но сегодня он как будто в первый раз мне показался свежей. Маша жалка и приятна желанием помочь.

16 и 17 января. Ваня все то же. Жар начинается с полудня и продолжается до ночи. Кашель лучше, насморк все то же. У Саши тоже насморк. Вчера и сегодня был М. Стахович; и он не развеселил меня. Вчера вечером еще приехала Маша Колокольцева, и ее душевное участие и настоящие дружеские отношения очень приятны. Сегодня вечером пришли Елена Павловна Раевская и Дунаев. Я очень утомлена и Ваниной болезнью, и своим положением. Чувствую себя слабой, одышка от всякого движения. Андрюша жаловался на боли в животе; Миша спит у Левы, Маша очень кротка, мила и полезна.

Метель, ветер гудит, 6 градусов мороза. Завтра обещают вернуться Лев Николаевич и Таня от Олсуфьевых. Читаю «Les Rois» [12], пока интересно. Шила, сидела с Ваней весь день. Живу праздно и грустно.

18 января Всегда помню, что это день смерти моего Алеши; он умер 9 лет тому назад.

Встала в 6 часов утра, дала 4 *г* хинину Ване. Потом встала в $8^1/_2$ часов, померила ему температуру, 36 и 7. Легла и заснула. Встала поздно, висок болит. Ездила за покупками полотна, чулок, катушек и проч., все необходимое; привезла детям пьес еще для аристона [13]. После обеда играла с Мишей со скрипкой сонату Моцарта, потом Шуберта; жалела, что плохо разбираю; он увлекался, и жаль было его оторвать для уроков с репетитором. У Андрюши живот болит, но он ленив и неприятен своей слабостью.

Приехал Лев Николаевич и Таня от Олсуфьевых [14]. Не радостна была наша встреча после 18 дней разлуки, не так, как бывало. У Тани злобный тон осуждения, у Левочки полное равнодушие. Они там жили весело, беззаботно: ездили по гостям, Лев Николаевич даже в винт играл и в 4 руки играл. Там нет критических взоров его последователей и можно жить просто и отдыхать от этой ходульной фальши, которую он сам себе создал среди своих темных. Был у меня утром разговор с miss Spiers о ее бесполезности. Она очень неприятна и не любит детей. Придется и с ней расстаться. Совсем нет теперь хороших гувернанток. Все грустно.

19 января. Встала раньше, занималась Ваней; он рисовал с натуры по-своему корзиночки, а я пробовала акварелью срисовывать свой сад, выходило ужасно. Ничему я хорошенько не выучилась! Жаль. Читала «Les Rois», очень плохо. Обедали приятно всей семьей. Я не умею жить одна, я привыкла жить *при* Левочке и *при* семье, и когда я одна с маленькими, мне скучно.

После обеда занималась самарскими счетами и делами. У Левочки Гольцев читает Тверской адрес и поданную новому государю петицию [15]. Еще там Дунаев. Ваня все не хорош, его ломает лихорадка ежедневно около $3^1/_2$ часов дня. Ясно, 6 градусов мороза, лунная ночь, как хорошо! А я все грущу и сплю душой.

20 января. Ване очень плохо, сильнейший жар; была вечером у доктора Филатова; велел хинин давать усиленно. Левочка недоволен, что я советуюсь; сам же, видно, не знает, как быть. Он бодр, возил из колодца воду, писал; вечером читал, теперь ушел к Сергею Николаевичу. 17 градусов морозу, иней, туман, ясный день и светлая ночь. На душе ужасно тяжело, что-то невыносимое!

26 января. Все дни проболел Ванечка лихорадкой. Измучилась и телом и душой, глядя на него. Сегодня получше, но ему дали 8 *г* в два приема хинину. В первый раз я выехала, купила ноты, игрушки, сыр, свежие яйца и проч. Сидела с Ваней мало, после обеда играла с Львом Николаевичем в 4 руки, выбирая для Саши и Нади Мартыновой пьесу для предполагаемого музыкального детского вечера. Потом все ушли, Лева говорил о доме, который хочет строить на дворе, неприятно требовал для этого денег у меня. Я отказала, но он скоро переменил тон на дружелюбный. Потом мы с Машей поправляли и переписывали корректуры рассказа Левочки «Хозяин и работник». Я досадую, что он отдал в «Северный вестник». Ничего не поймешь в его мыслях. Напечатал бы *даром* в «Посреднике», и всякий за 20 копеек купил бы и прочел повесть Толстого, это я понимаю. А ведь здесь публику заставляют платить 13 рублей, чтоб прочесть повесть эту. Вот почему я не разделяю *идей* моего мужа, потому что он не искренен и не правдив. Все выдумано, сделано, натянуто, а подкладка нехорошая, главное, везде тщеславие, жажда славы ненасытная, непреодолимое желание

еще и еще приобрести популярность. Никто мне не поверит, и мне больно это сознавать, но я страдаю от этого, а другие не видят — да и все им равно!

Теперь 2-й час ночи. Левочка ушел на какое-то заседание, собранное кн. Дмитрием Шаховским, не знаю по поводу чего [16]. Все лампы горят, лакей ждет, я овсянку ему сейчас варила и вклеивала корректурные листы, а у них там *разговоры.* А завтра в 8-м часу я стану температуру мерить Ванечке и хинин давать, а он будет спать. И потом пойдет воду возить, не зная даже, лучше ли ребенку и не утомлена ли слишком мать. Ах, как он мало добр к нам, к семье! Только строг и равнодушен. А в биографии будут писать, что он за дворника воду возил, и никто никогда не узнает, что он за жену, чтоб хоть когда-нибудь ей дать отдых, ребенку своему воды не дал напиться и 5-ти минут в 32 года не посидел с больным, чтоб дать мне вздохнуть, выспаться, погулять или просто опомниться от трудов.

11 градусов мороза, иней, тихо, лунно.

1 февраля. У Вани 3-й день жару нет, 4-й день даю мышьяк по 5 и 6 капель 2 раза в день после обеда. Стало легче на душе. Лева все не радует. С Левочкой отношения хорошие.

На днях, между прочим, я его мерила. В нем росту 2 аршина и $7^{1}/_{4}$ вершков.

Тепло, после 25 градусов мороза, вчера было 5, сегодня только $1^{1}/_{2}$. Здоровье мое плохо: удушие и сердцебиение меня мучают постоянно. Пульс в течение 5 минут бьется то 64, то 120, если я пройдусь скоро.

Читала «О пространстве и времени» Чичерина [17]. Бездарно и скучно. Была в гимназии Поливанова, который жаловался на шаловливость и дурное поведение Миши в классах. Писала письмо Кандидову [18] и приказчику.

5 февраля. Или у меня дурной характер, или здравый взгляд. Лев Николаевич написал чудесный рассказ: «Хозяин и работник». Интриганка, полуеврейка Гуревич ловким путем лести выпрашивала постоянно что-нибудь для своего журнала. Лев Николаевич денег не берет теперь за свои произведения. Тогда печатал бы дешевенькой книжечкой изд. «Посредника», чтоб *вся* публика имела возможность читать, и я сочувствовала бы этому, поняла

бы. Мне он не дал в XIII часть, чтоб я не могла получить лишних денег; за что же Гуревич? Меня зло берет, и я ищу пути поступить справедливо относительно публики в угоду не Гуревич, а назло ей. И я найду.

Когда-то в день моих именин Лев Николаевич в портфеле принес мне для нового издания «Смерть Ивана Ильича» [19]. Потом он отнял у меня, напечатав, что отдает в общую пользу. И тогда я плакала и сердилась. Почему он всегда неделикатен именно со мной? Как все, все стало нерадостно! Маша была вчера у профессора Кожевникова, и он неутешительно говорит о болезни Левы. Сегодня утром я упрекала Андрюше, что он обманул и меня и отца третьего дня, обещая прийти домой, а сам уехал к цыганам с Клейнмихелем и Северцевым. Андрюша вдруг разволновался, говорит, что если он обманул отца, то потому, что во весь год единственное, что он от него слышал, были эти два слова: «Приходи домой». А что отец никак никогда к ним не относится, что отцу до них дела нет, что он никогда ему не помог ни в чем. Горько все это слушать, а много в этом правды.

Был Мамонов, гр. Капнист, худая, огорченная беспорядками университета и очень милая. Левочка кашляет и поправляет корректуру «Хозяина и работника». Вчера вечером собрались товарищи Миши, и С. М. Мартынова нам прочла «Фауста» Тургенева.

И вспомнился мне Тургенев, когда он был у нас в Ясной Поляне и мы весной стояли на тяге вальдшнепов; [20] Левочка у одного дерева, а я с Тургеневым у другого. И я спросила его: отчего он больше не пишет? А он нагнулся, оглянулся кругом немножко шутовски и сказал мне: «Никто, кажется, кроме деревьев, нас не слышит. Так вот что, душа моя (он всем говорил под старость «душа моя»), перед тем, как написать что-нибудь новое, меня всегда должна была потрясти лихорадка любви, а теперь это уж невозможно!» — «Жаль»,— сказала я и шутя прибавила: «Ну, влюбитесь хоть в меня, может быть, и напишете что-нибудь».— «Нет, поздно!»...

Он очень был весел, плясал вечером с моими девочками и племянницами Кузминскими нечто вроде cancan парижского, добродушно спорил с Львом Николаевичем и покойным кн. Леонидом Урусовым. Помню, что к обеду просил сделать куриный манный суп и пирог с говядиной и луком, говоря, что только русские повара умеют так

готовить. Ко всем он относился ласково и нежно и Льву Николаевичу сказал: «Как хорошо вы сделали, что женились на вашей жене». Уговаривал все Льва Николаевича писать в художественной форме и очень горячо говорил о высоте его таланта. Теперь трудно все вспомнить, жалею, что мало записывала в своей жизни. Мне никто не внушил, что это важно, и долго я жила в ребячливом неведении.

Сегодня в «Новом времени» поразительное известие о смерти Мэри Урусовой. Ей всего было 25 лет, было в ней что-то особенное, артистическое, музыкальное и нежное. Теперь душа ее с отцом; она не ужилась с грубостью матери. Бедная девочка!

21 февраля. Пережила и переживаю еще один тяжелый период жизни. Не хочется писать, как тяжело, страшно и как ясно, что с этого периода жизнь моя пойдет на убыль. Совсем мне ее не жаль, и мысль о самоубийстве все больше и больше преследует меня. Помоги мне бог не впасть в этот тяжкий грех! Сегодня опять чуть не ушла из дому; я, очевидно, больна, собой не владею, но как обострились в душе моей все пережитые мной страданья от главной самой острой причины — малой любви Левочки ко мне и детям. Есть же счастливые старички, которые, прожив любовную жизнь, какой мы жили 33 почти года, переходят на дружеские отношения. А у нас? У меня постоянно взрывы нежности и глупой сентиментальной любви к нему; когда я болела, он принес мне 2 яблока чудесных, и я семечки посадила на память о его столь редкой нежности ко мне. Увижу ли я, как взойдут эти семечки?..

Да, я хотела описать всю нашу тяжелую *историю*. Я в ней виновата, конечно, но *как* я была приведена к ней! Да не осудят меня дети, ибо никто никогда не узнает и не разберется в наших супружеских отношениях. Если, несмотря на все мое внешнее счастье, я хочу уйти из жизни и столько раз этого хотела,— то не без причины же это? Если б кто знал, как тяжелы вечные подъемы и попытки любви, которая, не получая другого удовлетворения, кроме плотского, болезненно изнашивается от этих подъемов; и еще болезненнее убедиться в отсутствии взаимности при *последних* днях своей жизни и своей единственной и неизменной любви к человеку эгоистичному, давшему взамен всего строгий и беспощадный приговор.

Ну, вот *история*. Повесть «Хозяин и работник» меня мучала, как видно из прежних моих дневников. Но я работала над собой; я усиленно помогала Левочке в корректурах, и когда все было у него готово, я просила позволения с корректур переписать для себя, чтоб и мне ее напечатать при XIII части Полного собрания сочинений.

Чтоб не задержать отсылку в Петербург, я хотела ее переписать ночью. Почему-то Левочка рассердился, говорил, что пришлют оттиски, и горячо протестовал против того, чтоб я переписала, давая одну причину, что это безумно. Но меня мучило, что один «Северный вестник» будет иметь преимущество, мне вспомнились слова Стороженки, сказавшего, что Гуревич (издательница) умела обворожить графа, т. е. выпросила у него две статьи в один год [21], и я решилась во что бы то ни стало устроить одновременно издание мое и «Посредника». Мы оба были возбуждены и рассержены. Левочка так был сердит, что побежал наверх, оделся и сказал, что уедет навсегда из дому и не вернется.

Чувствуя, что так как вина моя только в желании переписать, мне вдруг пришло в голову, что это повод только, а что Левочка хочет меня оставить по какой-нибудь более важной причине. Мысль о женщине пришла прежде всего. Я потеряла всякую над собой власть, и, чтоб не дать ему оставить меня раньше, я сама выбежала на улицу и побежала по переулку. Он за мной. Я в халате, он в панталонах без блузы, в жилете. Он просил меня вернуться, а у меня была одна мысль — погибнуть так или иначе. Я рыдала и помню, что кричала: пусть меня возьмут в участок, в сумасшедший дом. Левочка тащил меня, я падала в снег, ноги были босые в туфлях, одна ночная рубашка под халатом. Я вся промокла, и я теперь больна и ненормальна, точно закупорена, и все смутно.

Кое-как мы успокоились. На другое утро я опять помогала ему исправлять корректуры для «Северного вестника». После завтрака он кончил и хотел спать. Я говорю: «Теперь можно переписывать, я возьму». Левочка лежал на диване, но когда я это сказала, он вскочил с злым лицом и опять начал отказывать, не объясняя причины. (Я и теперь ее не знаю.) Я не сердилась, но умоляла его позволить переписать; у меня были слезы в горле и на глазах. Я ему обещала, что не выпущу книги без его позволения, но прошу только переписать. Хотя он и не

прямо отказал мне, но его злоба меня ошеломила. Я ничего не могла понять. Почему ему так дороги интересы Гуревич и ее журнала, чтоб не допустить одновременного выхода и в приложении XIII тома, и в издании «Посредника»?

Чувство ревности, досады, огорчения за то, что *мне никогда ничего* он не сделает; старое чувство горя от малой любви Левочки взамен моей большой — все это поднялось с страшным отчаянием. Я бросила на стол корректуры, и, накинув легкую шубку, калоши и шапку, я ушла из дому. К сожалению или нет, но Маша заметила мое расстроенное лицо и пошла за мной, но я этого не видала сначала, а только потом. Я ушла к Девичьему монастырю и хотела идти замерзнуть где-нибудь на Воробьевых горах, в лесу. Мне нравилась, я помню, мысль, что в повести замерз Василий Андреич и от этой повести замерзну и я. Ничего мне не было жалко. Вся моя жизнь поставлена почти на одну карту — на мою любовь к мужу, и эта игра проиграна, и жить незачем. Детей мне не было жалко. Всегда чувствуешь, что детей любим *мы их*, а не *они нас*, и потому они проживут и без меня. Маша меня все время, оказалось, не упускала из глаз и вернула меня домой. Отчаяние мое не улеглось еще два дня. Я опять хотела уехать; взяла чужого с улицы извозчика на другое утро и поехала на Курский вокзал. Как могли догадаться дети дома, что я именно поехала туда,— не знаю. Но Сережа с Машей меня опять перехватили и привезли домой. Всякий раз домой мне было возвращаться стыдно и неприятно. Вечером накануне (это было 7 февраля) я была очень больна. Все чувства, жившие во мне, обострились до последней крайности. Смутно помню, что мне казалось, что рука Левочки кого коснется, того он и погубит. Стало мне болезненно жалко сошедшего с ума Хохлова, хотелось всех отмаливать от влияния Левочки. Я и теперь чувствую, что моя любовь к нему меня погубит; погубит мою душу. Если я от нее, т. е. от любви этой, освобожусь, я буду спасена, а то так или иначе — погибну. Он меня убил во мне самой, я теперь убита, не живу.

Когда я очень плакала, он вошел тогда в комнату, и в землю кланяясь до самого пола, на коленях, он кланялся мне и просил простить его. Если б хоть капля той любви, которая была тогда в нем, осталась бы и на долгий срок,— я могла бы еще быть счастлива.

Измучив мою душу, мне позвали докторов. Комично было то, что всякий дал лекарство по своей специальности. Нервный врач дал бром, по внутренним болезням — дал Виши и капли. Наконец позвали и акушера Снегирева; этот цинично сказал «о критическом периоде» и дал свое. Лекарств я не принимала. Мне не лучше. Пробегав трое суток, едва одетая в 16 градусов мороза, по улицам, продрогшая до костей, измученная нервами,— я совсем больна. Девочки отнеслись ко мне пугливо, Миша рыдал, Андрюша уехал свое горе передать Илье; Саша и Ваня по-детски смутились, Левочка встревожился,— но больше всех мне был мил Сережа своей спокойной лаской и отсутствием всякого осуждения. Левочка, христианин, от тебя видела больше осуждения, чем любви и жалости. А вся *история* только от моей беспредельной любви к нему. Он всегда ищет во мне *злобу*, а если б он знал, что ее-то и нет у меня, а других мотивов много; что делать, когда бог мне дал такой беспокойный и страстный ко всему темперамент? [22]

Очень добра была еще сестра Марья Николаевна, ласкова, и говорила, что я в исступлении своем говорила все правду одну, но преувеличенно. Да, но исступление это непоправимо и неизвиняемо! [23]

Теперь мы опять мирны. Лева уехал в санитарную колонию Ограновича [24] и не пишет ни слова. Он болезненно недоброжелателен к семье и не хочет иметь с нами никаких отношений. Может быть, это и лучше для его нервного состояния. Вчера был оттуда доктор и говорил утешительно. Ну, да бог даст, я не увижу смерти никого из детей моих, и бог возьмет меня раньше к себе, туда, где любовь не будет мученьем, а радостью.

И мне и «Посреднику» повесть отдана [25]. Но какою ценою!

Поправляю корректуры и с нежностью и умилением слежу за тонкой художественной работой. Часто у меня слезы и радость от нее.

22 февраля. Утро. Со вчерашнего вечера опять заболел Ваня. У него сегодня уже скарлатинная сыпь, болит горло и понос. Был Филатов и определил.

23 февраля. Мой милый Ванечка скончался вечером в 11 часов. Боже мой, а я жива! [26]

1 июня. Два года было 23 февраля, что умер мой Ванечка, и с тех пор, написав последнюю страницу в книге дневника, я закрыла ее так же, как закрыла свою жизнь, свое сердце, восприимчивость и радость жизни. И я не ожила, но полнейшее душевное одиночество снова пробудило желание писать дневник. Да и пускай останется на бумаге картина последнего времени моей жизни — главное, *замужней* жизни. Буду писать строго одни факты, а когда буду более расположена,— опишу и эти промежуточные два года моей столь значительной, по внутреннему ее содержанию, жизни.

Сегодня Троицын день. Ясно, красиво. С утра проводила Таню и Сережу в Москву на свадьбу Маши, которая будет завтра [1]. Потом читала корректуру XII уже части нового, печатаемого мною издания [2]. Лев Николаевич пишет статью об искусстве [3], и я его до обеда не вижу. В 2 часа обедали. В 3 часа меня стал Лев Николаевич звать ехать верхом. Я отказывалась; но потом мне ужасно захотелось ехать, а главное, одной оставаться было жутко и тоскливо. Мы поехали втроем (третий был Дунаев) и ездили по очень красивым местам Засеки. Были и на рудниках, где копает руду Бельгийская компания, были и в заброшенном «Мертвом царстве», спускались и поднимались в оврагах. Лев Николаевич был необыкновенно нежен со мной и заботлив, и я умилялась и трогалась этим, но прежде это его отношение дало бы мне огромное счастие, а теперь, когда я узнала по его дневникам его настоящее отношение ко мне,— я только умиляюсь его старческой добротой ко мне, и уж никогда не отдамся тем порывам то счастия, то отчаяния, которым предавалась, любя его,— до чтения его дневников. Когда-нибудь опишу эту историю с дневниками, перевернувшую всю мою сердечную жизнь [4].

Ездили мы часа три с половиной, было очень хорошо. Вернувшись, застали А. А. Зиновьева. Лев Николаевич читал с своими гостями немецкое письмо какое-то [5], я опять поправляла корректуры. Приехал Андрюша, и, увы! они оба с Мишей ушли на хороводы. У Саши гостит Соня Колокольцева, они гуляли с m-lle Aubert.

2 июня. Опять то же: корректуры с утра, вечером прогулка с Львом Николаевичем, Дунаевым и Маклаковым. Дунаев все говорил (очень громко) о вывозе и привозе товара из-за границы. Красивый закат: на чистом небе яркий шар солнца и одно черное облачко. Думала хорошо и вспоминала счастливое. А теперь наша жизнь больная. Да и в прямом значении Лев Николаевич что-то меня пугает: он худеет, у него голова болит — и эта наболелая ревность! Виновата ли я — я не знаю. Когда я сближалась с Танеевым, то мне представлялось часто, как хорошо иметь такого друга на старости лет: тихого, доброго, талантливого. Мне нравились его отношения с Масловыми, и мне хотелось таких же... И что же вышло!

Вечером были Зиновьев и Фере с женой. Ездила с Сашей на Козловку, встретила мисс Вельш. Луна, сыро, холодно... и как тоскливо!

3 июня. Приехали Маша с Колей женатые. Приехали Танеев и Туркин учить Мишу. Мучительный страх перед неприятностями по случаю приезда Сергея Ивановича заслонил все другие чувства. Маша мне жалка, и я потому чувствую к ней нежность и, конечно, буду ее и любить, и буду помогать ей в жизни, чем могу. Коля производит то же впечатление — хорошего мальчика, но мысль как о муже моей дочери сейчас же исключает хорошее чувство к нему. Это не сила, не поддержка в жизни... Ну, да увидим. *Сила* моего мужа меня сломила и убила и мою личность, и мою жизнь. А я ли не сильна была — в смысле энергии. Сейчас на душе хорошо и примирительно. Но больно было ужасно видеть ужас и болезненную ревность Льва Николаевича при известии о приезде Танеева. И страданья его мне подчас невыносимы [6]. А мои.......

4 июня. С утра тяжелый разговор с Львом Николаевичем о С. И. Танееве. Все та же невыносимая ревность. Спазма в горле, горький упрек страдающему мужу и мучительная тоска на весь день. Читала корректуры «Власти тьмы»; [7] прекрасное, цельное и не лживое произведение искусства. Потом пошла купаться, встретила Танеева, и это напомнило с грустью прошлогодние ежедневные веселые встречи. После обеда он играл Тане свои романсы. Я люблю и его музыку, и его характер: спокойный, благородный и добрый. Потом я переписывала для Льва Николаевича его статью об искусстве. Пришел он

меня звать с такой добротой гулять, и мы отлично прошлись. Тяжелая сцена с Андрюшей из-за денег. Он плакал, и мне было его жаль, но он мне неприятен своей слабостью — не мужскою.

Танеев сыграл две «Песни без слов» Мендельсона и перевернул всю душу. Опять переписывала Льву Николаевичу до сна.

Были Маша с Колей, жалкие, худые, слабые... Таня очень мне дорога и мила. Но куда девалась человеческая жизненная энергия, та, которая из меня просится наружу с такой силой?

5 июня. Уехал сегодня Сергей Иванович, и Лев Николаевич стал весел и спокоен, а я спокойна, потому что повидала его. Ревнивые требования Льва Николаевича прекратить всякие отношения с Сергеем Ивановичем имеют одно основание: это страдание Льва Николаевича. Мне же прекратить эти отношения — тоже страдание. Я чувствую так мало греховности и столько самой спокойной тихой радости от моих чистых, спокойных отношений к этому человеку, что я в душе не могу их уничтожить, как не могу не смотреть, не дышать, не думать. С утра читала корректуры, ждала Сергея Ивановича на балконе к кофе, и он пришел ровно в тот промежуток времени, когда я уходила в сад, на вышку, и беседовала в саду с Ванечкой, спрашивая его, дурно ли мое чувство к Сергею Ивановичу. Сегодня Ванечка меня отвел от него; видно, ему просто жаль отца; но я знаю, что он меня не осуждает; он послал мне Сергея Ивановича и не хочет отнимать его у меня.

Потом ходила с Марьей Васильевной купаться. Сила моя и легкость в ходьбе меня ужасают. После обеда Лев Николаевич, Сергей Иванович, Туркин и я — мы ходили гулять, я нарвала чудесный букет. Лев Николаевич очень горячо и хорошо толковал свои мысли об искусстве Сергею Ивановичу, и меня удивляло это после всей его ревнивой злобы. Мучаюсь тем, что не поправила Саше заданный ей мною перевод. Приехали Вера и Маша Толстые. Весь вечер работала: сначала прочли корректуру с Марьей Васильевной, а после ужина я часа три подряд переписывала статьи об искусстве Льва Николаевича.

У нас очень мало жизни в доме; мало людей, а главное, скучно без Сергея Ивановича.

6 июня. Ночь не спала от головной и спинной боли и невыносимой тоски. Верно, это физическое тяжелое состояние от моего критического женского периода. Ходили купаться с Таней, Верой и Машей Толстыми. Корректур нынче нет, и я весь день усердно переписываю для Льва Николаевича. Статья эта меня очень интересует и наводит на мысли.

Все ездили в Овсянниково, мы с Львом Николаевичем остались; я шла наверх писать, а он к себе, и мы остановились поговорить о Маше и о том, что ее, когда-то помогавшее ей жить, религиозное настроение в ней не удержалось. Лев Николаевич говорил, что *его* религиозное настроение повернуло всю его жизнь. Я говорю: может быть, внутренно, но внешне — нисколько. Он рассердился, стал кричать, что прежде он охотился, занимался хозяйством, учил детей и копил деньги, а теперь он это не делает. Я сказала, что очень жаль: тогда это было на пользу семье, хозяйство на пользу местности, так как он много посадил и улучшил, ученье детей и наживание денег на помощь мне; а теперь при той же жизни внешней, т. е. тех же комнатах, пище, обстановке, он после своих занятий катается на велосипеде (как все эти дни), ездит верхом на разных лошадях, каких хочет, и питается готовой, прекрасной пищей, о детях же не только не заботится, но очень часто забывает о их существовании. Все это его взорвало. Это жестокая правда, о которой я не должна ему поминать. Пусть его на старости лет утешается и отдыхает. Но он мне такие говорил упреки, например, что я испортила всю его жизнь, когда я жила только для него и детей,— что я не вынесла.

Такого душевного терзания я давно не испытывала; я убежала из дому, хотела убиться, уехать, умереть, все — только бы так не страдать душевно. Какое бы было счастье дожить тихо и дружно с добрым, спокойным человеком остаток своей жизни, а не терзаться то безумными сценами ревности, как третьего дня, или жестокими упреками обоюдными, как сегодня. А небо так ясно, погода, сияющая красотой, тишиной; природа богатая, сочная, яркая; точно все дошло до высшей степени ликованья в природе, чтоб доказать человеку, как он несостоятелен перед ней с своими страстями и тоской.

Вечером мы примирились без объяснений. Я пошла в сумерки уже купаться на Воронку, а Лев Николаевич приехал за мной в тележке и стал говорить добрым голо-

сом, что пора бы нам перестать так сильно и страстно любиться и так сильно ссориться. Никогда не дождусь спокойной, нежной, духовной дружбы. Шла по лесу вечером одна и все молилась и плакала, плакала и о Ванечке, и в связи с ним о той единственной в моей жизни святой, сильной любви, которой мы с ним любили друг друга. И теперь я никогда ни от кого ее не буду иметь, а вместо этого безумная, ревнивая плотская страсть, исключающая насилием все другие привязанности в моем сердце.

7 июня. Сегодня в первый раз проснулась к впечатлениям красоты природы, и чувство мое к ней было *девственно,* т. е. без воспоминаний, без сожалений о тех, с кем и через кого еще я любила эту яснополянскую прелестную природу. Недавно я создала себе целую теорию *о девственности* отношения к *религии, искусству и природе.*

Религия чиста и девственна, когда она не связана с отцами Иоаннами, Амвросиями или католическими духовниками (confesseur), а вся сосредоточена в одной моей душе перед богом. И тогда она помогает.

Искусство девственно и чисто, когда его любишь само по себе, без пристрастия к личности исполнителя (Гофмана, Танеева, Ге, к которому так пристрастен Лев Николаевич, к самому Льву Николаевичу и т. д.), и тогда оно доставляет высокое и чистое наслаждение.

Также и *природа.* Если дубы, и цветы, и красивая местность связаны с воспоминаниями о тех лицах, которых любил и с которыми жил в этих местах и которых со мною теперь нет, то природа сама по себе пропадает или принимает то настроение, в котором мы сами. Надо любить ее, как высший божий дар, как красоту, и тогда она дает тоже чистую радость.

С утра много переписывала Льву Николаевичу. Потом учила Сашу; с ней учиться приятно, но характер ее относительно — не меня, со мной она хороша, — а окружающих делается невыносим; она даже бьет свою гувернантку, и девочку, и Марью Васильевну, и кого попало.

Ездила утром со всеми купаться, опять переписывала, опять вечером купалась, стригла в саду аллеи, подвязывала липки и розы и провела день одиноко и спокойно.

Лев Николаевич тоже спокоен: он писал, ездил на велосипеде, потом верхом в Овсянниково, куда не доехал, встретив Машу и Колю у Козловки. Вечером он рассмат-

ривал с удовольствием рисунки в «Salon», который получает Таня. Таня ходила на Козловку с Марьей Васильевной. Миша верхом ездил в Горячкино к Кулешову, товарищу.

Была сухая гроза, жарко, вечером шел недолго дождь.

Ужасно хочется музыки, хочется самой играть, и все нет времени. Только сыграла сегодня две «Песни без слов» Мендельсона. Ох, эти песни! Особенно одна из них так и врезалась в мое сердце.

8 июня. Делаю страшные усилия, чтоб найти свою бодрость, и достигаю, если не для радости, то для работы. С утра корректура, потом пошла пешком купаться на Воронку. К обеду оделась (для чего и для кого? только, чтоб не опускаться) в белое платье, после обеда пошла на теннис (tennis), где играли Таня, Маша, Миша, Коля, Саша и Лев Николаевич. Пустота! Ни Черткова, ни Танеева. Пошла подвязывать и выстригать сушь в куртине розанов, нарвала букет Льву Николаевичу. Потом опять корректуры, вечером ездили купаться в катках, потом записывала счеты, сверяла оглавления в новом издании, и опять корректура. Теперь 2-й час ночи. Погода удивительная: тепло, ясно, жарко, красиво. Таня тоже бодрится. Бедная, ей так законно хочется хорошей любви: любви друга-мужа, любви детей. Последняя действительно дает радости чистые, хорошие, а первая радости нечистые, обманчивые и...

Вчера я легла в таком спокойном, хорошем настроении и тихо, дружески начала разговаривать с Львом Николаевичем. Он отвечал ласково и охотно. Говорит: «Какой у тебя сегодня голос милый, женственный, я не люблю, когда ты кричишь».

Корректировала сегодня «Крейцерову сонату», и опять то же тяжелое чувство; сколько цинизма и голого разоблачения дурной человеческой стороны. И везде Позднышев говорит: *мы* предавались свиной страсти, *мы* чувствовали пресыщение, *мы* — везде. Но женщина имеет совсем другие свойства, и нельзя обобщать ощущения, хотя бы половые; слишком разно отношение к ним мужчины и чистой женщины.

Рассветает, спать не хочется, бьет два часа, луна прямо светит в окно. Сегодня она светлая, стоит так высоко и как-будто элегантно светит, споря с июньским ранним рассветом.

10 июня. Вчера не писала, так монотонно-однообразно идут дни за днями. Вчера была М. А. Шмидт. Она вся живет фанатическим обожанием Льва Николаевича. Когда-то она была крайне православная; начитавшись статей Льва Николаевича, она сняла образа и лампады и повесила всюду его портреты и собрала целую коллекцию его запрещенных сочинений, которые переписывает за деньги для других. Она худа до невозможного, живет трудом непосильным, все сама делает, радуется на свой огород, на свою корову Манечку, телушку и на весь мир божий. Мы, женщины, не можем жить без кумиров, и ее кумир — Лев Николаевич. Мой был Ванечка, а теперь... вот и пуста жизнь. А Льва Николаевича я развенчала как *кумира*. У меня осталась к нему большая привязанность; мне было бы страшно тяжело, если б я лишилась этого его ежеминутного участливого отношения ко мне. Где бы он ни был, что бы ни делал, все бежит меня искать, и мне всегда радостно его видеть. Но *счастья,* настоящего счастья он мне не может уж дать.

Все то же: корректуры, купанье — утром, днем, вечером — все одно и то же. Перед обедом кроила и слаживала блузу полотняную Льву Николаевичу, вечером сверяла и составляла оглавления последних частей. После обеда я позвала Льва Николаевича, Туркина и юношу, гостившего у нас художника, погулять, и было хорошо с природой. Приехал Сережа на велосипеде из Никольского. Приехал Семен Иваныч на тележке для Маши. Погода чудесная: грозы, маленькие дожди, тепло, ясно, и пышно, свежо, зелено.

Душевное состояние подавлено; страшными духовными силами я заглушаю всякие воспоминания. Нынче вгляделась в портрет Ванечки и расплакалась. А утешенья нет, нет и нет. Телеграмма от Левы, он тревожится о семье. Любит ли он нас? Если любит, то почему так мучает? Сколько боли он мне сделал в короткое время! Таня тоже поднялась духом. Помоги ей бог, я очень ее люблю, чувствую и хотела бы ей помочь, да не в моей власти.

11 июня. Все бодры, веселы. Встала поздно, ночь не спала, пошла купаться с Сашей и miss Welsh. Читала с Марьей Васильевной корректуры, с садовником занималась яблонями, прививками, цветами и посадкой елочек. Сердилась на Дуняшу за испорченную трату муки отруб-

ной, которую я везла из Москвы для Льва Николаевича. Вечером с Таней ходила купаться, и говорили о половой любви. Ее это стало как будто тревожить, и я ужасно за нее боюсь. Она такая целомудренная по природе и, сохрани бог, выйдет замуж за какого-нибудь нелюбимого человека или брюзглого Сухотина. Вечером ходили по аллеям, Сережа и Семен Иваныч старик тут. Все были веселы, пели, шалили, плясали. Иду домой сегодня, Сережа играет, и вдруг поднялось болезненно в сердце желание той музыки, которая приводила меня в чудесное состояние и дала столько счастья. Вечером корректуры, немного фотографии, письма и приготовления к тульской поездке. 2 часа ночи.

12 июня. Была с Сережей и няней в Туле. Получала с няней ее проценты в сберегательной кассе, с Сережей устраивали Машины денежные дела [8], и для Миши прошение взяли, для назначения меня его попечительницей. Потом покупки для всех. Жара, пыль и тоска ужасная! Вспоминала прошлогоднее пребывание в Туле с Таней, Сашей и Сергеем Ивановичем. Наше катанье на лодке, обед на вокзале, возвращение ночью по поезду, неожиданное появление в Туле Андрюши, и беззаботное, радостное настроение. Приехала — всех застала веселыми, села за корректуры. Потом одна пошла купаться. Когда вышла из Заказа, меня поразил закат солнца. Чисто, ясно, тихо; торжественное солнце и казавшийся особенно темным лес. Какая красота! С грустью плавала под молочным туманом. Шла одиноко домой, было совсем темно и совсем не было жутко. Над бугорком Ванечки, где он бывало находил белые грибы, где мы с ним отдыхали, я всегда остановлюсь на минутку и прочту «Отче наш». Когда я теперь иду одна, я не бываю одинока — моя душа всегда с теми, кого я любила в жизни и кого уже нет со мной. И это неотъемлемо, что бы ни случилось со мной и как бы люди ни были строги ко мне.

Вечером приехала Ольга Фредерикс, и у нее с Сережей сентиментальные воспоминания о прошедшем, и оба несчастливы! Пожалуй, что Таня избрала лучшую долю.

Пересматривала с Туркиным старые фотографии, и опять сердце мое повернулось от сожаления о прошедшем.

Лев Николаевич весел и счастлив. Помоги мне бог сохранить его спокойствие и не взять на свою совесть

ничего, в чем бы я могла упрекнуть себя. Написала письмо Леве. Неприятные ошибки в оглавлении нового издания.

13 июня. Спала дурно, встала поздно, побежала купаться. Идут навстречу по дороге дети крестьянские, носили на покос обед мужикам; все больше маленькие, и так мне они стали все милы, эти ласковые, любопытные и серьезные глазки! Вспомнила Ванечку, иду с полным слез сердцем, прихожу в купальню, Таня говорит: «А я о вас сейчас думала». Я спрашиваю: «Что именно?» — «Да о Ванечке. Если *мне* так тяжело его вспоминать, как он плакал, оттопырив губки, и никогда от злобы или каприза, а всегда от горя, то каково *вам*». Я говорю: «Ты по поводу детей его вспомнила?» — «Да». И мы обе расплакались. Как часто я в сердце Тани неожиданно слышу и чувствую отголосок моего сердца и мысли. Мы не сговорились, а пережили в один и тот же момент и по одному и тому же поводу одно и то же чувство.

Саша без меня захлебнулась около купальни в реке, и Таня ее вытащила с большим трудом в купальню. Пришла домой, зашла к Льву Николаевичу. Он веселый и бодрый, отлично работалось ему сегодня. Потом писала часа четыре подряд, переписывая для Льва Николаевича об искусстве.

Вечером опять купались, приехал Маклаков. После ужина ездили в катках на завод Бельгийской компании около Судакова и смотрели машины, смотрели, как спускали расплавленный огненный чугун. Очень интересно, но грустно смотреть на этот ад, в котором день и ночь жарятся люди. Разбитная француженка, много людей, жара, камни и железо под ногами; сорвались лошади, их ловили. Лев Николаевич нежно заботлив обо мне, и это моя главная радость. Надолго ли? Тихая, свежая ночь, заря сходится с зарей, и воспоминания о прошлогодних поездках на катках.

Дома была большая досада: из Москвы прислали ноты не так переплетенные, а главная досада, что обложку с надписью Сергея Ивановича на его квартете сорвали и бросили. Я чуть не плакала.

Льву Николаевичу моя досада была неприятна, и я старалась сдерживаться, но у меня необузданный, горячий характер, и я все не выучусь владеть собой. Написала артельщику сердитое письмо и мало раскаиваюсь.

14 июня. С утра усердно учила Сашу; поправляла ей сочинение «О домашних животных», перевод с английского и спрашивала урок географии «О Китае». Она учится хорошо, внимательно, и мне с ней не трудно. Я люблю преподавание, и это дело мне привычно. Ходили купаться с Таней, Сашей и Марьей Васильевной. Потом обед, корректуры, и корректуры до самой ночи. Вечером с Сашей, мисс Вельш и m-lle Aubert и Марьей Васильевной опять бегали на Воронку купаться. Таня, Коля, Маша, Миша уехали в Пирогово верхами и в кабриолете, Маклаков и Туркин уехали в Москву. Вечером пили чай: Лев Николаевич, Сережа и я. Чувствую себя постоянно одинокой. С Львом Николаевичем общения мало. Он все утро сидит у себя и пишет до обеда, до двух часов. После обеда уезжает на велосипеде или верхом. Потом спит; потом ходил на Козловку, провожал киевского юношу [9], который, кажется, хотел у нас пожить, но Лев Николаевич ему дал сильно почувствовать, что это нельзя. Вернулся он уже после нашего ужина и ужинал один. Лег он рано, а я сижу поздно.

Живу природой и усиленным трудом; помимо этого, очень скучно и одиноко; но я стараюсь быть бодра перед другими и чувствую виноватость перед совестью и судьбой, давшей мне, относительно, все-таки так много.

15 июня. Всю ночь напролет не спала. К утру заснула, разбудили рыдания. Видела во сне, что Ванечкины игрушки разбирала с няней и плакала. Сильное горе или сильную любовь, как ни старайся, ничем не заглушишь. Бывают дни, когда жизнь не натянешь. Это как ткань, которую на что-нибудь натягиваешь: иногда жизни так много, что ее избыток, иногда точь-в-точь сколько нужно для счастья, а иногда не хватает, не натянешь — ткань, натягиваясь, вдруг и лопнет.

Пошла, вставши, проведать Льва Николаевича. Он делает пасьянс и говорит, что ему отлично работается. Потом он посмотрел на меня с улыбочкой и говорит: «Вот ты сказала, что я сгорбился, я и стараюсь держаться прямо»,— и сам вытягивается, выпрямляется.

Ночью был дождь, теперь ясно и свежий ветер. После кофе читала корректуры — скоро кончу все. Приехали П. А. Буланже и сестра Лиза с дочерью. Я им всем рада. Несмотря на холодный, северный ветер, мы два раза купались. Вечером разговоры с Буланже о Льве Николае-

виче как о великом реформаторе. Мы с сестрой не соглашались с отрицанием церкви и с мыслью в новой статье об искусстве о том, что степень значения произведения искусства зависит от степени его заразительности. Вопрос заразительности *кого*? уже уничтожает все. Мужика заражает гармоника и песнь, меня соната Бетховена или «Песнь без слов» Мендельсона, Страхова — «Руслан и Людмила», m-me Гельбиг — Вагнер, башкирца — его дудка.

Холодно, ветер, облачно.

16 июня. Встала поздно, Льва Николаевича не видала до обеда. Усиленно работала над корректурами. К обеду все вернулись из Пирогова усталые. Приехала сестра Лиза, разговоры о религии. Жалею, что высказала свое мнение. Надо блюсти свято свое внутреннее отношение, самое непосредственное к богу: надо брать от церкви, что внесено в нее святыми отцами и самим богом, и главное — нужны не формы, не правила нравственные или религиозные, — это второстепенно, — а первостепенно *строгое воспитание внутреннего чувства, которое бы руководило нашими поступками,* чтоб мы без компромиссов ясно и честно знали *наверное,* что́ хорошо и что́ дурно. Бегала купаться на Воронку с Марьей Васильевной, моей единственной собеседницей нынешнего лета; это почти что одиночество: она вульгарна, шумна и была бы несносна, если б не ее внутренняя доброта. Вечером опять корректуры — и вот и дню конец.

Холод, пасмурно и ветер.

17 июня. Вижу сон: будто я лежу в незнакомой комнате, на незнакомой постели. Входит Сергей Иванович, меня не видит и идет прямо к столу; на столе пачка бумажек, точно оторванных от записок, счетов — небольшие клочки. Он надевает очки и поспешно пишет на этих бумажках. Я боюсь, что он меня увидит, и лежу смирно. Но исписав все клочки бумаги, он их складывает, снимает и убирает очки и уходит. Я вскакиваю с постели, беру эти бумажки и читаю. В них подробное описание состояния его души: борьба, желания,— я все это быстро просматриваю,— и вдруг кто-то застучал, и я проснулась. Так я и не прочла всего. Очень было досадно проснуться, хотелось заснуть и прочесть — но, конечно, не удалось.

Опять чтение корректур, купанье в холодной воде и на холодном воздухе, одинокое возвращение домой по той

дороге, на которой пережилось столько в 35 лет моей замужней жизни. После чая ходили на Козловку все: Таня, Саша, Веточка, А. А. Берс, Туркин, мисс Вельш и мисс Обер. Шли хорошо, с Туркиным говорили о философии, и он мне рассказывал о новой английской философии и ее направлении. Думала о прошлогодних прогулках на Козловку же. Какая разница! Как тогда было бодро, весело, счастливо.

Разница и в том, что вместо прошлогодней изящной, прекрасной музыки, доставляемой Сергеем Ивановичем, в настоящую минуту Лев Николаевич фальшиво и громко стучит на фортепьяно аккорды, подбирая их, чтобы аккомпанировать Мишу, который на балалайке играет довольно ловко — но нелюбимые мною русские песни. И невольно просится сравнение — и неужели оно может быть в пользу последнего? Одному я рада, это что Миша дома, и хоть этим путем у него столь редкое общение с отцом. Опять буду читать корректуру, и вот еще день из жизни вон.

С Сашей все не ладится. Она груба, дика, упряма и измучила меня, оскорбляя всякую минуту все мои лучшие, человеческие чувства. Лев Николаевич ходил к умирающему мужику, Константину, два раза сегодня. Когда мы гуляли — он успешно писал и потом ездил на велосипеде. Он весел и бодр.

18 июня. Рождение Саши, ей 13 лет. Какое тяжелое воспоминание о ее рождении! Помню, сидели мы все вечером за чаем, еще Кузминские жили у нас, и была m-me Seuron гувернанткой и сын ее Alcide (умер, бедняга, холерой) и разговорились мы о лошадях. Я сказала Льву Николаевичу, что он все делает всегда в убыток: завел чудесных заводских лошадей в Самаре и всех переморил: ни породы, ни денег, а стоило тысячи. Это была правда, но не в том дело. Он всегда на меня нападал, на беременную, вероятно, мой вид был ему неприятен, и все время последнее он раздражался на меня. И на этот раз, слово за слово, он страшно рассердился, собрал в холстинный мешок кое-какие вещи, сказал, что он уходит из дому навсегда, может быть, уедет в Америку, и несмотря на мои просьбы — ушел.

А у меня начались родовые схватки. Я мучаюсь — его нет. Сижу в саду одна, на лавочке, схватки все хуже и хуже — его все нет. Пришел Лева, мой сын, и Alcide,

просят меня пойти лечь. На меня нашло какое-то оцепенение от горя; пришла акушерка, сестра, девочки плачут, повели меня под руки наверх, в спальню. Схватки чаще и сильней. Наконец в 5-м часу утра возвращается.

Иду к нему вниз, он злой, мрачный. Я ему говорю: «Левочка, у меня схватки, мне сейчас родить. За что ты так сердишься? Если я виновата, прости меня, может быть, я не переживу этих родов...» Он молчит. И вдруг мне блеснула мысль, не ревность ли опять какая, не подозрения ли? И я ему сказала: «Все равно, умру я или останусь жива, я тебе должна сказать, что умру чиста и душой и телом перед тобою; я никого, кроме тебя, не любила...»

Он поглядел, вдруг повернув голову, пристально на меня, но ни одного доброго слова он мне не сказал. Я ушла, и через час родилась Саша.

Я отдала ее кормилице. Я не могла тогда кормить ребенка, когда Лев Николаевич вдруг сдал мне все дела, когда я сразу должна была нести и труд материнский, и труд мужской.

Какое было тяжелое время! И это был поворот к *христианству!* За это христианство — *мученичество,* конечно, приняла я, а не он.

Встала сегодня поздно, пошла купаться с Таней и Марьей Васильевной. Холод ужасный. Сейчас 5 градусов только. Днем ленилась, прочла мало корректур, обдумывала и записывала материалы к повести. Вечером ездила в катках в Овсянниково, к Маше. С ней было приятно. На Козловке народ с песнями перетаскивал вагон для временного жилья,— через рельсы. Были с нами Берсы, отец и дочь, и Туркин, и Саша, и две гувернантки, Марья Васильевна, и Таня с Мишей верхом. Еще позднее проявляла фотографии Саши и Веточки, которых сняла сегодня днем.

Лев Николаевич утром купался в среднем пруду, потом писал. После обеда играл в tennis с девочками и Мишей. Потом ездил один на велосипеде и один верхом, выехал к нам навстречу. Пока я проявляла, он говорил с Берсом и Туркиным об искусстве: он очень этим теперь занят, и я во многом с ним совсем не согласна.

Еще Берс играл с Таней, она на мандолине, а то он играл танцы, и Миша и три девочки плясали, и я с Мишей сделала тур вальса так легко, что сама удивилась. Час пробило.

19 июня. Утром прямо, не одеваясь, начала копировать фотографии Саши с Веточкой. Потом проводила Веточку и ее отца и села за корректуры. Ходила купаться с Марьей Васильевной, вода очень холодна. Вчера вечером в 9 часов было только 5 градусов тепла. После обеда опять корректура. Ходили на Козловку за письмами. Все время говорила с учителем Миши, Туркиным, о воспитанье, о типах и характерах людей. На обратном пути встретили Льва Николаевича, провожавшего какого-то человека, сидевшего в остроге за стихотворение, написанное по поводу Ходынской катастрофы[10]. Лев Николаевич простился тут же с ним и домой пошел с нами, чему я была очень рада. Мне нездоровится, все бросает в жар, ноги болят — все это, говорят все, от критического периода. Самое ужасное — это тоска, перед которой часто чувствую себя бессильной. Еще раз во мне что-то сломилось.

Неприятное сегодня были порубки, и бедный грумантский мужик, оборванный, просил прощения и клапялся в землю. Мне хотелось плакать и было досадно на кого-то (сама не знала кого), кто меня поставил в эти условия против моей воли, что я должна хозяйничать, т. е. охранять леса, а чтоб их охранять, должна наказывать таких жалких мужиков. Никогда не любила, не хотела и не умела хозяйничать. Хозяйство — это борьба за существование с народом, — а на это я совсем не способна.

Решили: мужиков, совершивших порубки, заставить отработать, урядникку не доносить, и деревья, уже употребленные на постройку — им оставить.

Еще неприятно письмо Холевинской, ее сослали в Астрахань за запрещенные книги, которые она по записке Тани дала читать писарю в Туле. Холевинская озлоблена, измучена, просит у меня помощи[11]. Не знаю, что еще буду делать, но очень хотелось бы ей выхлопотать прощение.

Лев Николаевич лихорадочно пишет «Об искусстве», уже близок к концу, и ничем больше не занимается. Сегодня вечером он читал нам вслух французскую комедию из «Revue Blanche»[12].

20 июня. С утра корректуры, и весь день усиленно ими занималась, и о радость! кончила все. Шесть месяцев работала над корректурами, и сегодня конец. Хоро-

но ли только? Ходили купаться с Таней и Марьей Васильевной. В воде $12^1/_2$ градусов, и ночи холодные. Лев Николаевич ездил вечером в Тулу послать телеграмму Черткову в Англию [13]. Чертков что-то тревожится о *чувствах* Льва Николаевича к нему. Но как Лев Николаевич его любит! Вечером играла «Песни без слов» Мендельсона и, вслушиваясь в звуки, вспоминала, как их играл Сергей Иванович.

Еще позднее читала полученные мной письма от Левы из Швеции и от В. В. Стасова [14]. Потом наклеивала фотографии и написала письмо Леве.

Полное одиночество вдвоем с Львом Николаевичем было приятно, напомнило мои молодые года, с полным, чистым душевным спокойствием, даже апатией, но зато без греха, без эмоций и страстей.

Поглубже задушить все это и потуже забить то жерло, из которого все рвется и просится наружу вулкан моей необузданной натуры.

Таня переписывала, играла на мандолине и гитаре, Саша убирала аккуратно свою комнату, варила варенье и делала букеты. Миша ездил куда-то с 22 рублями, громко пел и стучал аккорды на рояле, переодевался в Сашино платье и мало занимался.

21 июня. Не спала, встала поздно, села заниматься с Сашей. Вижу — она вся бледная, у ней тошнота, головная боль. Так жаль, но урок расстроился. Ее рвало, и она легла. У ней бывают мигрени, как у отца. Позвала Таню и Марью Васильевну, пошли на Воронку купаться. Мерила платье, обедали. Приехали Оболенские, все играли в lawn-tennis, а я пошла одна бродить, посидела на вышке, побеседовала с Ванечкой, набрала цветов для его портрета. Иду домой, все мне навстречу, но я вернулась одна домой и села за фортепьяно расправить пальцы, хочу опять играть. Приехал Илюша; мне очень жаль его, я знаю, что дела его очень плохи; между тем мне слепо давать деньги своим детям, не руководя их делами, невозможно. Я никогда не знаю, для чего я даю и где предел. Пробовала я не отказывать — вижу, что предела их требованиям нет, а мне теперь надо уплачивать за издание и жить, и на это не хватает. Самое тяжелое в жизни — денежные дела.

Вечером ходили гулять на Груммонт, и очень было хорошо, красиво и спокойно на душе.

Если нет в жизни полного, безумного счастья, если не всегда *праздник* жизни, то хорошо полное спокойствие, и за это надо благодарить бога.

Мне нездоровится; с самого моего приезда сюда что-то во мне надломилось, и так я это чувствую до сих пор. Странное я в себе подстерегла чувство: точно я поджидаю предлога лишить себя жизни. Эту мысль я давно в себе воспитываю, и она делается все зрелее и зрелее. Я ее страшно боюсь, как боюсь сумасшествия. Но я люблю ее, хотя суеверие и просто религиозное чувство мешают мне. Я верю, что это грех, и боюсь, что душа моя вследствие самоубийства лишится общения с богом и, следовательно, и с ангельскими душами, и потому и с Ванечкой. И вот иду я сегодня и думаю: напишу сотни писем и всем разошлю — самым неожиданным лицам, и расскажу в этих письмах, почему я убилась. И вот я сочиняю эту исповедь, и она так трогательна, что мне самой над собой хочется плакать... И мне теперь страшно, что я могу так сойти с ума. Теперь всякий раз, как у меня горе, или упреки, или неприятности, я радостно думаю: а вот пойду на Козловку и убьюсь, а вы там как хотите. Страдать больше не хочу и не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Или жить без страданий, или умереть, и даже лучшее из всего, всего — умереть. Прости господи!

И сейчас обед писать: суп принтаньер* ах! как надоело! 35 лет, *всякий* день суп принтаньер... Я не хочу больше писать: суп принтаньер и тому подобное, а я хочу слушать самую трудную фугу или симфонию, хочу всякий день слушать самую сложную, гармоничную музыку, чтоб вся душа моя напрягалась от внимания и усилия понять: что автор хотел выразить этим таинственным, сложным музыкальным языком, чем он жил в самой глубине своей души, когда сочинял эти произведения.

Миша и Илья стучали на гитаре и рояле аккорды и громко кричали русские песни... Как речью можно выражать или простые потребности: хочу есть, хочу плясать, хочу целовать, или можно выразить самые сложные философские соображения: какое мое отношение к вечности? существует ли связь между моей душой и вечным началом — богом, каково это отношение...— так и в музыке. Простая мелодия, песнь — это простые слова, они по-

* весенний (от *франц.* printanière).

нятны и Илье, и Мише, и мужику, и ребенку. Сложная музыка, симфония, соната,— это философская речь, доступная только тонко развитому человеку. Как дорого бы я дала, чтоб вместо этой стукотни опять заслышать эти изящные звуки, которыми я жила прошлое лето. Да, то был *праздник* жизни. Спасибо судьбе и за те воспоминания.

22 июня. Прекрасный летний ясный день. С утра играла на фортепьяно гаммы, этюды и упражнения. Потом купались. Обедали Илья и Коля Лопухин. Потом опять час играла. После чая ходили мы, одни женщины, гулять. Саша грубо ворчала за то, что я ее отозвала от tennis'a, на который она только смотрела, гулять.

Таня пошла с нами, догнала нас, и я ей очень обрадовалась. Она говорит: «Меня все больше и больше тянет к вам, и я наконец так притянусь, что войду в первобытное состояние и начну вас опять сосать». Я тоже все больше и больше привязываюсь к ней. Илье я не дала денег, и он мне все говорил неприятное. Что напрасно отдал мне Лев Николаевич имение по купчей, а не пожизненно; что я к старости буду деньги любить, и т. п. Боже мой! неужели только и отношений с большими сыновьями, что деньги и деньги! От Андрюши тоже — только дай денег и денег! Ужасно!

Вечером написала 6 писем: Стасову, Холевинской, Андрюше, Кушнереву типогр., Раевской и в магазины.

23 июня. Природа наконец всю меня охватила своей красотой и вытеснила из меня много тяжелого, чем страдала душа, и осветила мою жизнь. Я долго была к ней тупа и равнодушна нынешнюю весну, все смотрела внутрь себя, а теперь это прошло, и так хорошо! Покос везде, запах сена, ясные дни, тоненький, ясный серпок луны (сегодня в Воронке отражался), пестрый народ, котлы на рогатках и шалаши в поле (ночлеги покосников), скотина отъевшаяся, и темная, зрелая и очень богатая в нынешнем году листва дерев.

Утром час играла упражнения, потом пошли купаться. После обеда от 3-го до 7-го часа переписывала для Льва Николаевича статью «Об искусстве». Написала очень много. После чаю ходили все гулять на Горелую Поляну,

потом вышли на мост, на шоссе. Под мостом, пройдя вдоль по речке — новая купальня, мы с Сашей купались, холодно, но хорошо. Домой вернулись в катках, Лев Николаевич нас встретил на велосипеде и потом жаловался, что устал. За обедом Миша резко разговаривал с Иваном, лакеем, отец ему заметил, Миша продолжал в том же тоне, и Лев Николаевич рассердился, взял свою тарелку и ушел к себе. Очень было неприятно. Получила от Андрюши письмо — опять требования денег, и только от него и толку. Какое все горе от детей! Только Таня горя не делает, от нее больше всего радости, но пока.

Вернувшись, нашли Марью Александровну. Она фанатически обожает Льва Николаевича и им только и живет. В этом обожании она черпает те силы, которыми она живет, работает и все переносит. А то где бы ей взять эти силы с ее истощенным, худеньким телом и ее болезнью? Какая сила во всякой любви! Это прямо стержень, на котором держится всякая жизнь.

Вечером, после ужина, Лев Николаевич прочел о последних днях Герцена[15], я дописала для Льва Николаевича свою главу, много говорили и вспоминали о Н. Н. Ге и спорили о его распятии[16]. Я ненавижу эту картину, а Лев Николаевич и Марья Александровна ее хвалили. Мы вдавались в крайности, и потому разговор этот скоро прекратился. Получила письмо от Левы из Швеции.

24 июня. С утра дождь, встала поздно, всю ночь болела правая рука. Очень хорошо учила Сашу, и она была внимательна. Ей, главное, нужно не учение, а развитие, о чем я и стараюсь. Мы учились часа два. Потом сидела с Марьей Александровной Шмидт и перешивала свое платье — рукава; мы с ней говорили о семейных наших делах, она очень участлива и добра. Ездила в катках с Сашей, Марьей Васильевной, мисс Вельш и Обер купаться. Лошади заминались, и было несносно. Вода холодная, чистая и прибыла от дождя. Лев Николаевич страшно сосредоточен в своей работе, и весь мир для него не существует. А я как была всю жизнь одинока с ним, так и теперь. Я нужна ему ночью, а не днем, и это грустно, и поневоле пожалеешь о прошлогоднем милом товарище и собеседнике. Лев Николаевич ездил верхом один в

Овсянниково, потом все сидел внизу. Я вошла к нему — он пасьянс разложил. Играла, когда никого дома не было, две сонаты Бетховена и «Песнь без слов» Мендельсона; ею я всегда заканчиваю — как молитвой, я очень ее люблю. От ужина до сих пор переписывала для Льва Николаевича и очень много переписала. Теперь 2 часа ночи, иду спать.

От Сухотина письмо — умерла его жена. Очень тяжелы и мне и Льву Николаевичу эти отношения и переписка Тани с Сухотиным.

25 июня. Ночь уж эту совсем не спала, все бросает в жар, точно обдаст всю жарким паром. Трудное я, физически, время переживаю. Играла часа два с лишком сонаты Моцарта и упражнения разные. Переписала много Льву Николаевичу. Не нравится мне его статья, и мне это очень жалко. Какой-то неприятный, даже злой задор в его статьях. Так я и чувствую, что нападает он на воображаемого врага (хотя бы Сергея Ивановича, к которому так ревнует меня), и вся цель его — уничтожить этого врага. Ходила пешком купаться на Воронку, тихо радовалась на природу и даже не разговаривала с Марьей Васильевной. День прошел, как и все лето идет — вяло и скучно. Приезжала Маша с Колей, пришла Надя Иванова. И люди, и все — тускло, тускло... Читаю французскую книжку отвратительную — просто валялась, я взяла и ужаснулась сладострастному ее содержанию. Уже заглавие одно: «Aphrodite» [17]. До чего развращены французы! Но зато какую верную оценку можно сделать женской и своей красоте тела, прочтя эту книгу.

Большое счастье — неведение, в котором красивая женщина находится до старости, о своей красоте, особенно тела, это оставляет в ней чистоту и свежесть моральную. А такие книги — гибель.

26 июня. Жара, покос, сильно болит голова. С утра ходила купаться с Надей Ивановой и говорила ей о том, что внутри, в самой глубине души каждого человека есть двигатель его жизни. У мужчин: любовь к славе, нажива, у редких — искусство, наука в чистом виде; у женщин главное — любовь, иногда фанатизм. В Шамордине монахиня посадила два дерева косточками апельсина, который ел о. Амвросий и плевал их. Она обожает эти два дерева

и живет ими; а была курсистка, дворянка. М. А. Шмидт боготворит Льва Николаевича. Лев Николаевич любит больше всего славу, и т. д.

После обеда играла с мисс Вельш, буду учить сонату Бетховена в mi b majeur. Очень приятно с ней заниматься. Таня и Саша ездили в Тулу. Приехал Сережа, завтра с Сашей еду к нему и к Илье. Весь вечер переписывала Льву Николаевичу. Его почти не видала, как всегда. Он ездил на велосипеде в Тулу, отдал его чинить, оттуда вернулся частью пешком, частью на обратных телегах. Здоровье мое все хуже и хуже.

30 июня. Вчера вечером вернулась от Сережи и Илюши, куда ездила с Сашей; хотела провести с Сережей день его рожденья, 28-го, и дать ему менее почувствовать его одиночество именно в этот день. Он мне очень жалок и трогателен тем, что несчастие его так смягчило: он кроток, тих и грустен, к людям более снисходителен и ласков. А сбежавшая сумбурная жена его ждет родов его ребенка и своим ледяным сердцем ни разу не пожалела своего мужа, ничем перед ней не виноватого. Жизнь Ильи и он сам на меня произвели безотрадное впечатление: четверо прекрасных детей (особенно Миша хорош) и какие будут те идеалы, которые им ставит отец? Лошади, собаки, как подвывали гончие? гоняли ли Бархатного? А потом при всяком удобном случае выпивка с бог знает каким сбродом людей,— и больше ничего. Если он не изменится, плохие вырастут дети. Соня, жена его, смутно это чувствует, и ее жалко. Она всячески выбивается из всего этого, много трудится — и он ей ни в чем не помощник, и она не справится одна с жизнью и с воспитанием детей.

В Никольском у Сережи — чудесная прогулка по живописным местам, гости, разговоры с Сережей о теории музыки, он мне кое-что сообщил о своих знаниях и дал прочесть кое-какие музыкальные брошюры и учебники. Рада была провести день с Варей Нагорновой. Читала на железной дороге книгу ужасную: «Les Demi-Vierges» Prévost [18], и почувствовала и стыд, и какое-то недомогание, почти физическое, которое у меня бывает, когда я прочту грязную книгу. Как ужасно отсутствие чистоты в любви, а как и самая возвышенная любовь приходит к тому же, к желанию обладания и близости. Но во французской книге не падение женщин огажено, а этот

полуразврат, т. е. *все,* только не самый последний шаг, и это хуже уж всего.

Вернувшись, застала Таню на Козловке; она ехала к Олсуфьевым, и я рада, что она хоть на время выйдет из своего тяжелого состояния, в которое попала под влиянием Сухотина, и хоть рассеется и увидит порядочных людей.

Дома застала Мишу в дизентерии очень сильной, и никто ему не помог ничем: Маша занята мужем молодым, Таня отъездом, а отец — у моих детей давно нет отца.

Сам же Лев Николаевич очень неприветлив, неприятен, и я очень огорчена тем, что увидала еще и еще, как спокойно равнодушен он ко мне и моей жизни, когда я сижу в семье и никого не вижу; и как для того, чтоб он замечал и ценил меня, ему нужно, чтоб была опасность потерять мою любовь или разделить ее, хотя самым чистым и невинным образом, но разделить с другим человеком. Как будто то, что я никого не вижу, может уничтожить в душе привязанности к другим или усилить их к нему!

Изо всего дня только и было сегодня приятного — разговор с Туркиным. Говорили о воспитании и характерах детей, об «Emile» Rousseau [19]. Потом о путешествиях, о Крыме он мне рассказал. Я много шила, и как-то пуст был день. Дождь льет с утра, и ничто не веселит.

2 июля. Вчера не писала. Заболел Лев Николаевич желудочно-желчным припадком. Я сидела, переписывала его же статью, прибежал Миша испуганный, говорит: «Папа кричит и охает от боли». Прихожу вниз, он сидит согнувшись и охает, и пот с него так и льет, пришлось тотчас же рубашку сменить. Сейчас же с Машей и Мишей мы принялись хлопотать: припарки из льняного семени, сода, ревень. Ничего не помогало, и всякие внутренние средства вызывали рвоту, и от рвоты — нестерпимые боли. Всю ночь он не спал, боль продолжалась, и мне ночью страшно стало за его жизнь. Я почувствовала, как я вдруг стану страшно одинока без него; и хотя я часто страдаю от того, что он любит меня физически больше, чем морально, но если не будет его постоянного участия, мне и жить не будет хотеться. Сегодня я перевязываю ему компресс, он ласкает рукой мои волосы, и потом, когда я кончу, он целует мои руки и все

следит за мной глазами, когда я убираюсь или готовлю ему что-нибудь в комнате.

Сегодня был доктор Руднев, нашел организм Льва Николаевича очень сильным, болезнь — острый желудочно-желчный катар и опасности никакой. Трудно будет выдержать Льва Николаевича на диете. Он и заболел от огурца и редиски, которые ел, несмотря на мою просьбу не есть теперь, когда эпидемия и у него уже болело под ложкой. Миша тоже нездоров еще: у него все еще продолжается дизентерия. Он очень тих, ребячлив и мил в своем нездоровье. Ходила купаться, тепло, сыро, чудесная лунная ночь — и так судьба устроила, что вместо прогулок, красоты природы, музыки — всего, что украшает жизнь, приходится возиться с компрессами и бороться со сном, с желанием радостей природы и т. д. Читала Льву Николаевичу вслух глупый рассказ из «Нового времени» [20] и сама кончила роман «Les Demi-Vierges».

3 июля. Льву Николаевичу сегодня лучше, боли прошли, желудок действовал, и отлегло от души то горе, которое произвела его болезнь. Но он еще лежал весь день. К нему приходил молодой человек, сектант, и он с ним много беседовал [21]. Как все сектанты — этот тоже очень односторонний, узкий, но много читал и интересуется отвлеченными вопросами и человеческой мудростью. Читал в издании «Посредника»: Эпиктета, Платона, Марка Аврелия и др.

Перешла сегодня в комнату Маши из своей спальни, где проспала 35 лет почти. Но стала желать больше уединения, и очень жарко в спальне было, а я все задыхаюсь, и меня и так в пот весь день бросает. Ходила вечером одна на Воронку купаться, Туркин мне вышел навстречу, думая, что мне жутко одной идти. Сидели все вместе вечером на балконе, жарко, луна необыкновенно красива, Маша с Колей уехали в Овсянниково.

Утром учила немного Сашу; она стала лучше, я ее напугала, что отдам в институт. Миша учится, очень приятен, но дик во многом, и меня это неприятно пугает: из ружья тушит свечи, собирается делать наливку, стучит на фортепьяно аккорды и громко, глупо и некрасиво выкрикивает песни. Может быть, еще молод и облагородится, станет утонченнее душой. Было короткое холодное письмецо от Сергея Ивановича, он приезжает в воскресенье.

Я еще не сказала Льву Николаевичу, боюсь его расстроить. Неужели он будет опять ревновать! Но мучительно это предположение, а главное, Лев Николаевич болен, и я так боюсь ему повредить. Если б Сергей Иванович знал, как он удивился бы! А я не могу преодолеть своего чувства радости, что будет музыка и будет приятный собеседник, веселый и порядочный. Он написал романсы для Тани и, наверное, очень любит ее.

4 июля. Здоровье всех лучше, но опять были неприятности. Миша за обедом упомянул о приезде Сергея Ивановича, Лев Николаевич весь вспыхнул и говорит: «Я этого не знал». После обеда опять тяжелые разговоры, упреки во лжи, требования искоренить какое-то мое особенное чувство к Сергею Ивановичу или прекратить всякие отношения. И это и другое — глупость. *Искоренять* чувства, если они существуют,— ни в чьей власти. Только *поступки* в нашей власти, и в этом мне ничего нельзя упрекнуть, как бы зло ни искали к чему придраться. Прекратить всякие отношения с порядочным, деликатным и добрым человеком — это значит его оскорбить без всякой причины и компрометировать свою жену тоже без всякой причины, не говоря уже *вины.*

Играла сегодня часа четыре и наслаждалась Моцартом. Совсем вечером ходила купаться с мисс Вельш. Приехал Померанцев. И его ругательски ругали; он ученик Сергея Ивановича.

Была гроза и дождь.

5 июля. Никакие ласки мои, ни мой внимательный нежный уход, ни мое терпение перед всеми грубыми и несправедливыми упреками Льва Николаевича не смягчают его раздражения за приезд Сергея Ивановича. Теперь я решилась молчать. Дело мое, личное, перед богом и моей совестью. Приехал Померанцев, Муромцева. Весь день провела праздно, в разговорах. Муромцева талантливая натура и потому понимает многое если не умом, то чутьем.

Лев Николаевич разговорился об искусстве перед Померанцевым, Муромцевой и Мишей, отрицая Вагнера, новую музыку, последние произведения Бетховена и проч. Его споры и доказательства всегда сопровождаются таким раздражением, что я не могу их слушать и ухожу.

6 июля. С утра разговоры с Муромцевой, потом поехали купаться. Жара такая, какой еще не было, и я это люблю. Возвращаемся домой, у леса встретили Сергея Ивановича и Юшу, идут по-прошлогоднему — купаться. Вернувшись, вошла к Льву Николаевичу. Он зол, неприятен, ревнив, и никакие самые кроткие и добрые речи не смягчили его.

Муромцева уехала. Она противно прижималась и цеплялась за Сергея Ивановича в катках, и я в ней увидала ее другую — нехорошую сторону.

Приехал Митя Дьяков, ушли все мальчики на хороводы. Вернулась Таня, милая и приятная. Сергей Иванович ничего не ел за ужином и говорил, что у него болит голова. Сохрани бог, если он что заметит!

10 июля. Пережила тяжелые, тяжелые испытанья. То, чего я так страшно боялась с Таней, — получило определенность. Она влюблена в Сухотина и переговорила с ним о замужестве. Мы случайно и естественно разговорились с ней об этом. Ей, видно, хотелось и нужно было высказаться. Она погибает и ищет спасения. С Львом Николаевичем тоже был у ней разговор. Когда я ему это впервые сообщила, то он был ошеломлен, как-то сразу это его согнуло, огорчило, даже не огорчило, а привело в отчаяние. Таня много плакала эти дни, но она, кажется, сознает, что это будет ее несчастье, и написала ему отказ.

Мои отношения с Львом Николаевичем опять исправились.

13 июля. Сегодня уехал Сергей Иванович. Эти дни все было мирно и хорошо. Сергей Иванович играл несколько раз. В первый раз, вечером 10-го, Лев Николаевич пошел к Тане говорить о Сухотине, а я попросила Сергея Ивановича мне сыграть сонату Моцарта. Мы были одни в зале, тихо было и хорошо. Он сыграл две, и прелестно! Потом сыграл прекрасный Andante из своей симфонии, я его раньше слышала в Москве и очень его люблю.

В тот же вечер, когда все собрались к чаю, он еще играл сонату Шопена. Никто в мире так не играет, как он. Это благородство, добросовестность, чувство меры, иногда стремление куда-то, как будто он, забываясь, отдается чему-то и тогда захватывает слушателя. На другой

день, 11-го, он опять играл: Рондо Бетховена, вариации Моцарта: «Ah! vous dirai-je, maman» *, потом Шуберта, из «Фауста» песнь Маргариты, и балладу Шопена, и полонез Шопена.

Очевидно, он старался выбирать то, что любит Лев Николаевич, игра его меня истерзала. Когда он доигрывал полонез, я уже не могла сдерживать свои слезы и так меня и трясло от внутренних рыданий. Вчера, 12-го, сонату Шопена он повторил.

Сегодняшним днем лето переломилось. Мне всю неделю так было хорошо с Сергеем Ивановичем. Мы ездили два раза на завод Бельгийской компании, ходили гулять по Горелой Поляне, кругом, и около шоссе под мостом купались. Еще ходили на шахты, прекрасная прогулка Засекой; еще вчера гуляли к Кочаку, на Лимонную посадку и сделали хороший круг. Ездили всякий день вместе купаться целой компанией. Сегодня и вчера я всех фотографировала, и то же делал Н. В. Туркин. Мои фотографии почти все удались хорошо. Я много раз снимала Сергея Ивановича, и на этот раз Лев Николаевич не сердился. Он вдруг затих, стал добр, ездил вчера и верхом и на велосипеде и на меня не сердится. Да и за что бы! Что дурного выйдет из моей дружеской привязанности к такому чистому, доброму и талантливому другу? Как жаль, что ревность Льва Николаевича испортила наши отношения!

Таня получила ответ от Сухотина, и он ей, очевидно, пишет ряд тех банально-нежных слов, которыми уже завлекал столько женщин! Мы с Машей сегодня плакали о безумной, слепой любви Тани.

Приезжал Андрюша на один час из Москвы. Все то же! Денег дай,— слабый, нежный и жалкий. Ходили вечером купаться. Порою сожмется сердце, и не хочется думать, что *никогда* не повторятся ни наши прогулки, ни музыка, ни тихое милое общество этого человека. Но и тут — что бог даст! Верю в божью волю и в *добрую* его волю.

Переписывала Льву Николаевичу немного, проявляла фотографии, мало видела Марью Александровну, о чем жалею. Второй час ночи, правый глаз плохо видит. Как страшна не смерть — я ее приветствую,— а немощная старость!

---

* Ах! я вам скажу, мама *(франц.)*.

Померанцев мне посвятил свои романсы, Танеев мне привез свои дуэты. Буду опять заниматься музыкой.

Погода меняется; эту неделю была страшная жара, а сегодня тепло, но дождь маленький и ветер к вечеру.

Какая была теплая, светлая и радостная неделя, если б не горе с Таней.

14 июля. С утра и весь день проявляла фотографии, копировала и работала на всех, кто меня просил. Вот и мой портрет *, вырезанный из неудачной группы с Таней. Но говорят, что я моложавее этого портрета, это оттого, что у меня яркие краски в лице. Ходили пешком купаться, северный ветер и ясное небо. Вечером я устала. Лев Николаевич меня позвал прогуляться, чему я была очень рада. Миша неожиданно откровенно и горячо начал мне рассказывать о том, как ему стало трудно от полового возбуждения, как он чувствует себя даже больным, желал бы остаться чист и боится, что не устоит. Бедные мои мальчики! У них нет отца, а что я могу советовать в таких делах? Я ничего не знаю из этой области мужской жизни. Таня была в Туле. Лев Николаевич весел, рассказывал, как он в Туле заехал на велосипеде в велосипедный круг, и все разговоры о гонках и о всем, что касается велосипедной езды. Его и это еще интересует! Чувствую себя вялой, писала письмо Леве, отвечала на разные деловые, выдавала жалованье, записывала счеты и немного переписала для Льва Николаевича его статью «Об искусстве». Бодрюсь и лихорадочно деятельна. Переписывала для Льва Николаевича до 3-х часов ночи.

15 июля. Встала поздно, копировала фотографии, ездила купаться с Сашей и гувернантками. Опять копировала, учила Сашу, очень хорошо сегодня шел урок, задала ей сочинение о *лесе*, и мы перечитывали разные отрывки Тургенева и других писателей, где описывается лес. Я ей указывала на красоты подробностей описаний, взятых автором из *непосредственных* впечатлений, а *не выдуманных*. Саша как будто все понимала. Поправляла ей перевод с английского о древних философах рассказ и спросила географию Америки.

---

* Сюда приклеена фотография: С. А. Толстая с Т. Л. Толстой. Под фотографией рукой С. А. Толстой сделана надпись: «Мне 53 года».

После чая мы все пошли пешком в Овсянниково. У нас в гостях шведский студент[22], хороший малый. Дорогой Николай Васильевич Туркин все фотографировал разные моменты с овцами, станцией, остановкой с нашими лошадьми. Хорошо бы, если б вышло. Посидели у Маши, вернулись в катках. Яркий, красный шар солнца на закате, чистое светло-голубое небо, свежо и красиво. Лев Николаевич и швед вернулись домой верхами. Лев Николаевич меня поразил сегодня, что выпил 8 чашек чаю вечером, и это после целой кастрюли геркулесовой овсянки, целой тарелки винегрету и компоту.

Сейчас 2 часа ночи, я все переписывала. Ужасно скучная и тяжелая работа, потому что, наверное, то, что написано мною сегодня — завтра все перечеркнется и будет переписано Львом Николаевичем вновь. Какое у него терпение и трудолюбие — это поразительно!

Думала много сегодня о Сергее Ивановиче после разговора о нем с Николаем Васильевичем, после восторженных о нем отзывов шведского студента, знавшего С. И. в Москве. Есть что-то в нем, что все любят. Думаю о нем спокойно; это всегда бывает, когда я его повидаю. Но не достает он мне в моей, особенно летней, жизни постоянно.

Хочется страстно музыки, хотя бы самой поиграть. Но то нет времени, то Лев Николаевич занимается, то он спит — и все ему мешает. Без личной радости, которая теперь у меня в музыке, скучно жить. Стараюсь себя уверять, что радость в исполнении *долга*, заставляю себя переписывать и делать все, что составляет мой *долг*, но иногда сламывается воля, хочется личных радостей, личной жизни, *своего* труда, а не труда над чужими трудами, как было всю жизнь,— и тогда я слабею и мне плохо.

16 июля. Встала поздно, вчера опять переписывала до 3-х часов ночи. С утра опять переписывала до обеда. После обеда пошла смотреть, как прививают яблони, потом с садовником прошла по посадкам и сделала разные полезные распоряжения. Набрала сыроежек, шла домой, встретила из яблочного сада хозяина, снявшего наш сад, и постыдно и больно кричала на него за то, что не ставят подпорки и яблони в большом количестве поломались. Решила подать жалобу земскому начальнику и не подала. Потом пошли купаться. Весь день была деятельна и бодра, и вдруг нахлынула волна такого болезненного отчаяния, что я ужаснулась. Надо жить бодро и вперед, вперед,

не оглядываясь, без сожаленья и с твердой верой в то, что бог делает все к лучшему. Шла по лесу домой и все молилась горячо, всей душой, отдаваясь воле и благости божьей.

Вечер весь наклеивала фотографии, завтра их все раздарю и больше так работать над фотографией не буду. Наклеила сегодня 80 штук.

Уехал Туркин, учитель Миши, и очень жаль, он был прекрасный человек и педагог. Тепло, ясно, чудесное лето! Лев Николаевич все сидит в своем кабинете, пишет статью, письма, читает, ездит купаться на велосипеде. Он ко всему и всем равнодушен.

17 июля. Все переписываю и копирую фотографии. Сегодня все раздала и на время прекращу это занятие. Ездили купаться, приезжали после обеда соседи из Судакова — Шеншины, ходили гулять вокруг посадки и на купальню. Чудесный вечер, чистый, ясный, темно-розовый закат солнца, грустная Таня, какой-то чуждый Левочка — и грусть на душе. Миша ездил крестить девочку Ивана-лакея. Саша варит варенье Маше, писала сочинение, весь день хохочет, толста, красна и груба всем. Были Маша с Колей, играли в tennis.

Приехала внучка Анночка с русской учительницей. Завтра приедет Соня с 3-мя мальчиками, а в субботу Илья. Они все уезжают от именин Ильи, когда у них в доме съезжались соседи и происходило пьянство. Люблю и хвалю Соню, что она старается отклонять от Ильи и от семьи все безобразное и безнравственное. Я рада внукам, особенно Мише. Сегодня мечтала провести день одна, писать, играть, читать — и вдруг гости, а теперь семья Илюши, и я займу свое время внучатами. Переписала длинную главу в 50 с лишком листков и кончила. Трудная и скучная эта работа. Ну, да все равно! Дотягивать свою жизнь *долга* до конца. А мало мне было радостей, а теперь еще и еще меньше.

18 июля. Уже 18 июль! Не знаю, хочу ли я, чтоб шло время или чтоб стояло. Ничего не хочу! Сегодня Таня сидит в зале на кресле и плачет горько; пришли мы с Марьей Александровной и тоже принялись плакать. Бедная! она не радостно, не смело любит, как любят молодые с верой в будущее, с чувством, что все возможно, все весело, все впереди! Она болезненно влюблена в старого,

ему 48 лет, а ей 33 будет, и слабого человека! Знаю я это именно *болезненное* чувство, когда от любви не освещается, а меркнет божий мир, когда это *дурно, нельзя* — а изменить нет сил. Помоги нам бог!

Приехала невестка Соня со всеми моими внучатами. Я им очень рада, но — увы! они не наполнят моей жизни, вся моя любовь к *детям* (своим) иссякла до дна; *этим* я уже жить больше не могу. Они все уехали в Овсянниково, трое маленьких мальчиков легли спать, а я упражнялась на фортепьяно, но приехали Оболенский с молодым графом Шереметевым и помешали мне. Мне всегда мешают, и это очень досадно и тяжело.

Сегодня и Лев Николаевич и я больны желудками и потому физически просто мрачны. Занималась много делами: написала самарскому управляющему, составила объявления в газетах о выходе нового издания, написала прошение земскому начальнику о порче яблонь, послала книги Леве, деловые бумаги, паспорты в Москву, отвечала Левенфельду в Берлин, записывала дела в Туле на завтра и проч., и проч. Все это нужно, но так скучно, скучно! Лев Николаевич утром писал, потом все лежит на диване в кабинете и читает. Внуки его не радуют, как и дети. Ничего и никого ему не нужно; а между тем вокруг него всякий заявляет свои права на жизнь, на движение, на свой, личный интерес в жизни...

20 июля. Вчера не писала, провозилась с внуками, потом с неудачными фотографиями до самой ночи. Спала дурно, мало. Сегодня день неудач. Саша что-то прищемила Анночку, Таня на нее напала, и Саша до того разрыдалась, что обедать не пошла. Мне стало досадно, что она расстраивает именинный обед Илюши, я велела ей, грозно крича на нее, выйти; она пошла, но рыдала весь обед и ничего не ела. Я вспомнила, как нежный Ванечка страдал бы, глядя на горе Саши; он не мог выносить ничьего горя, и так стало грустно, грустно. Мне мало было жалко Сашу, потому что перед обедом она одевалась и все время безжалостно изводила няню, и я это слышала из третьей комнаты.

Опять все то же: ездили купаться, и я много переписывала. К Льву Николаевичу у меня тихая нежность; в минуты затруднений и горя я все-таки льну к нему, ищу поддержки и утешения,— хотя знаю, что редко отзовется он и еще реже поможет. Боже мой, сколько трудных

душевных и семейных вопросов приходилось переживать и решать самой и одной!

Вот и сегодня: телеграмма от Андрюши: «Ради бога пришли 300 рублей денег». Что делать? Посоветовавшись со всеми, решили не посылать; а Илюша вызвался съездить в Москву и к Андрюше, в лагерь, завтра. Я ему очень благодарна.

Еще неудача: наш симпатичный Мишин преподаватель, Н. В. Туркин, никак не может продолжать уроков с Мишей. Сабанеевы — и муж, и жена — больны, и он один остается и для семьи, и для журнала «Природа и охота». Какая неудача для Миши! Это может повредить его экзамену в 7-й класс. Один он ничего не сделает, а какой еще попадется учитель!

Пробовали вечером дуэты и романсы Танеева, и ничего не вышло. Трудно и сложно, надо поучить сначала.

Жара страшная, на солнце 43 градуса, в тени 30. Семья Илюши мне очень приятна, и я благодарна милой Соне, что она приехала и привезла всех. Какая она хорошая, *настоящая,* и женщина, и мать, и жена; и характер у нее милый.

Таня и вчера, и третьего дня плакала, а сегодня как будто покойнее.

Поиграла и вчера и сегодня по часу. Но это так мало! Ничего — для успехов, но что-нибудь для нерв и развлечения.

21 июля. Вчера видела во сне Ванечку, худенького, лежащего, протягивающего мне бледную ручку; сегодня видела во сне Сергея Ивановича, тоже лежащего и с улыбкой протягивающего мне руки.

Маша говорила мне, что Илья очень огорчается, что в Киеве у сестры Тани, и у Философовых, и везде говорят о моей привязанности к Сергею Ивановичу. Как странно устроилось мнение общества! Кого-нибудь *любить* — это дурно. А меня не огорчают и не смущают толки эти. Я даже рада и горда, что мое имя связывают с именем такого прекрасного, нравственного, доброго и талантливого человека. Моя совесть спокойна; я чиста перед богом, мужем и детьми — как новорожденный младенец, как телом, так и душою, и даже помыслами. Знаю, что больше, лучше, сильнее Льва Николаевича я никого не любила и не могу любить. Когда я его увижу вдруг где-нибудь неожиданно, мне станет всегда радостно, я люблю всю его

фигуру, его глаза, улыбку, разговор, в котором никогда не услышишь ничего вульгарного (разве только в гневе, но забудем это), его вечное желание совершенствования.

Уехали Миша и Митя Дьяков в Полтаву к Данилевским. Уехал Илья в Москву к Андрюше, уехали Маша и Коля Оболенский к родным.

Купались, сняла опять группы в катках и в воде. Копировала вчерашние, переписывала для Льва Николаевича часа три сряду. Буря, ветер, пыль столбом, отдаленные раскаты грома и набат по случаю пожара где-то недалеко. Жара была томительная, в тени — 28 градусов, на солнце — 43, в комнатах — $20^1/_2$.

Таня не совсем здорова, бледна, и, боже мой, как мне ее жалко, и как я ее люблю! Так взяла бы, схватила, обняла, унесла бы куда-нибудь. Ах, вы мои старшие, любимые дети, Сережа и Таня, сколько любви, забот, мечты мы вам дали — а господь не оглянулся на вас! Мало счастья было на их долю.

22 июля. Опять всю ночь нездоровье Льва Николаевича. У него среди ночи сделался приступ холерины; рвота непрерывно часа четыре. Болей больших не было, и к утру прекратилось. Вчера он съел невероятное количество печеного картофеля, пил квас при боли под ложкой, а третьего дня пил Эмс и съел персик. Отсутствие гигиенических сведений и невоздержание Льва Николаевича изумительны при его уме.

Приехал Сережа, играл приятно на фортепьяно. Я живу как автомат: хожу, ем, сплю, купаюсь, переписываю... Своей жизни нет: ни почитать, ни поиграть, ни подумать — и так вся жизнь. Жизнь ли это? Hélas, la plus grande partie de notre vie n'est pas vie, mais *durée* *. Да я не живу, — je dure **.

Сережа сегодня говорит: «Мама́ впадает в детство, я ей подарю куклу и, так и быть, и фарфоровый сервиз». Это смешно, его слова, но мое впадание в детство совсем не смешно, а очень трагично. Я никогда не имела времени заняться самостоятельно чем бы то ни было, не было времени *собой* заняться. Приходилось подставлять свои

---

* Большая часть нашей жизни не есть жизнь, а времяпрепровождение *(франц.)*.

** я существую *(франц.)*.

силы и свое время на то, чего в данный момент требовала от меня семья: муж или дети. И вот подкралась старость, и я проработала на семью все свои умственные, душевные и телесные силы и осталась, как говорит Сережа, ребенком. Отработав на семью, я и ахнула, что не образовалась лучше, что не имею в руках никакого искусства, что мало знала людей и мало от них чему научилась — но все поздно.

Переменилась погода, ветер, серое небо. Написала письмо Туркину, переписывала целую главу для Льва Николаевича «Об искусстве». Еще день из жизни. Льву Николаевичу к вечеру лучше, он сидит в зале и с сыном Сережей играет в шахматы.

23 июля. С утра впечатление приезда Ильи с Андрюшей и нового учителя Миши — Соболева, который заменит Туркина. Как жаль Туркина! Этот живой, развязный, страстный химик, много говорил с Сережей об университете и химии. Андрюша опять прокутился у цыган, занял 300 рублей денег и очень мне тяжел и неприятен своей безобразной жизнью. Что-то с ним будет в жизни! Плох уж он очень, а главное, пьет, а пьяному ему море по колено. Илюша пришел сегодня в мою комнату и начал мне упрекать, что я переменилась, стала меньше детей любить, стала от них отстраняться. Я стала оправдываться, вспоминая им (тут были еще Таня, Соня и Андрюша), как я проводила время в вечном труде то с детьми, то с переписыванием и служением отцу их, и вспомнила тяжелое время, когда родился Ванечка: Лева экзамен зрелости держал, мальчики остались без гувернантки, я кормила с больными грудями плохенького ребенка, и весна, и отыскиванье учителей, и укладка, и слабость после родов, а Лев Николаевич ушел в Ясную пешком, меня бросил, несмотря на мои слезы и просьбы о помощи — и так сколько, сколько трудов, бессонных ночей, слез, сомнений я пережила, сколько весен прожила в городе, чтобы не покидать экзаменующихся сыновей,— а теперь только упреки и упреки. Я слушала, оправдывалась, да и не выдержала — разрыдалась.

И как мне ни упрекай дети — я никогда уже не буду, чем была. Все изнашивается, и мое материнское, страстное отношение к семье износилось. Не могу и не хочу больше страдать, глядя на их слабости, недостатки, их неудачные жизни. Мне легче с посторонними, мне нужны

новые, более содержательные и спокойные отношения с людьми; мне так *наболели* все семейные отношения!

Упрекали мне и за Сергея Ивановича. Пускай! То, что дал мне этот человек,— такой богатый, радостный вклад в мою жизнь; он мне открыл дверь в музыкальный мир, от которого я только после его игры стала находить радость и утешение. Он своей музыкой разбудил меня к жизни, которая после смерти Ванечки совсем ушла от меня. И он мне давал своим кротким и радостным присутствием душевное успокоение. И теперь, после того как я повидаю его, мне вдруг делается так спокойно, хорошо на душе. А они все думают, что я влюблена! Как у нас все умеют опошлить! Я, старая уже — и такое несообразное слово и мысли.

Ходили после чая гулять с Львом Николаевичем, Сережей, Таней, Сашей и гувернантками. Лев Николаевич говорил с Сережей неприятным, раздражительным тоном о значении науки. Я отошла подальше, я не выношу этого тона, который грозит всякую минуту перейти в тяжелый спор и даже ссору. Но Сережа был сдержан, и обошлось благополучно. Пришли — темно, играли мужчины в шахматы, я немного почитала — и весь день переписывала.

Стало холодно, северный ветер, сухо, к вечеру прояснило. Мы все-таки купались. Играть совсем не приходится, и очень скучно живется. Остригла внуков, повозилась с ними вечером; они очень милы, но не глубоко забирает меня это чувство *бабушки*. Надо опять спуститься к земле, полюбить земные интересы с детьми, а я уж ушла, меня детская жизнь перестала интересовать. Довольно ее было!

24 июля. Учила утром Сашу, поправила ей сочинение *Лес*. Потом купались. После обеда переписывала Льву Николаевичу и сейчас переписывала, кончила длинную главу. Вечером все играли в tennis: Илья, Андрюша, Лев Николаевич и Вака Философов. Внуки бегали с хлыстиками, Таня, Соня и я смотрели на игру и возились с тремя внуками: Мишей, Андрюшей и Илюшей. Я долго сидеть не люблю, принесла пилку и ножницы и стригла сухие и негодные ветки по аллее. Дождь нас всех домой вогнал. Ходила раньше по саду и смотрела печальное хозяйство плохого садовника. Дома разговаривала сначала с Ильей, потом с Андрюшей и Вакой. Главное, я внушала им страшный вред опьянения и горячо советовала совсем

бросить вино. Все ошибки и все дурные поступки моих сыновей, главное, от употребления вина. Таня была в Туле; приехала довольно оживленная; но мне грустно ее невеселое оживление. Она ушла, наша милая Таня, ушла от нас, от себя, от спокойной счастливой жизни и идет к погибели. Дойдет ли? И вернется ли когда опять? Ах, как все печально, печально!

Сейчас иду читать «Письма о музыке» А. Рубинштейна[23]. У Льва Николаевича какой-то *темный* — Ярцев. Ему, видно, невыносимо скучно с ним. Притом нездоровится, живот все у него болит и слабость. Лежит все внизу, и читает, и мрачен, серьезен очень. Его Таня сильно огорчает.

25 июля. Лев Николаевич все не совсем здоров желудком и потому мрачен, работать не может, не в духе, в чем даже у меня просил извинения. День сегодня провела довольно праздно. Переписывала романс Сергея Ивановича, который он написал по заказу Тани на слова Фета: «Какое счастье — ночь, и мы одни». Читала «Письма о музыке» А. Рубинштейна, мечтала поиграть, и не удалось. После чая, вечером, ужасно хотелось пойти далеко погулять. Таня и Соня катались на лодке, гувернантки с Сашей ездили на Козловку. У Льва Николаевича был посетитель, какой-то студент Духовной академии, присланный Анненковой[24]. Я позвала Льва Николаевича гулять, но уже кончился чудесный закат солнца, стало холодно, Лев Николаевич дошел до деревни, озяб и вернулся один домой, а я с Соней еще прошлась. Но какие это прогулки! Короткие, бессодержательные. И то спасибо Соне милой, она для меня пошла, и с ней всегда приятно. Покупали с Таней у старухи русские кружева. После ужина Лев Николаевич прочел нам французскую драму в «Revue Blanche»[25], довольно глупую. Завтра утром Соня с детьми уезжает, и мне очень это жаль. Они нисколько не мешали, а вносили много радости и оживления.

Сегодня сижу одна на балконе и думаю, как я хорошо обставлена: как красива Ясная Поляна, как спокойна моя жизнь, как мне предан муж,— как я независима касательно денег,— отчего же я не вполне счастлива? Виновата ли я? Я знаю все причины моей душевной боли. Я знаю, во-первых, что я скорблю о том, что дети мои не так счастливы, как бы я того желала, а что сама я, в сущности, страшно одинока. Муж мой мне не друг; он

был временами и особенно к старости мне страстным любовником. Но я с ним всю жизнь была одинока. Он не гуляет со мной, потому что любит в одиночестве обдумывать свое писание. Он не интересовался моими детьми,— это ему было и трудно, и скучно. Он никуда, никогда со мной не поехал, не переживал никакие впечатления вместе — он их пережил раньше и везде бывал. Я же покорно и молчаливо прожила с ним всю жизнь — ровную, спокойную, бессодержательную и безличную. И теперь часто болезненно поднимается потребность впечатлений искусства, новой природы, умственного развития, желания приобрести новые сведения и знания, желание общения с людьми — и опять все надо подавлять и молчаливо, покорно доживать жизнь без интереса личного и без содержания. Всякому своя судьба. Моя судьба была быть служебным элементом для мужа-писателя. И то хорошо: служила, по крайней мере, достойному жертвы человеку.

Ходила к больному мальчику, клала компресс на живот, давала лекарство, и так он мне охотно подчинялся во всем.

26 июля. С утра переписывала ноты, ходила купаться; очень холодно, ветер, приехали: англичанин Моод, Буланже, Зиновьев и Надя Фере. Моод тяжеловесен и скучен; Зиновьев способный, живой, но мало симпатичный; Буланже умный и добрый, очень предан Льву Николаевичу и всей нашей семье. Он очень занят теперь изданием книг «Посредника».

Говорили о смерти и разных отношениях людей к этому вопросу. Сама я отношусь к этому вопросу вот как: я давно чувствую свою душу вне тела, отрешившуюся от земных интересов. И это дало моему *духовному* «я» безграничный простор,— следовательно, беспредельность и вечность. Кроме того, моя несомненная связь с божественным началом так тверда, что я так и чувствую путь, по которому я вернусь к тому, откуда и изошла. У меня бывают иногда минуты такой радости, когда я подумаю о том таинственном переходе куда-то, где, наверное, уже не будет *тех* страданий, которыми я мучаюсь здесь. Я не умею выразить, но мне кажется, что когда я умру, я *стряхну* с себя все лишнее, всю тяжесть — и легко, легко станет,— и улечу куда-то.

Вечером много играла. С интересом и любопытством перечитывала разные места из Бетховенских сонат, учила

инвенцию Баха. Читаю и кончаю «Письма о музыке» А. Рубинштейна. Лев Николаевич все не совсем здоров. Его вегетарианская пища его недовольно питает. Он ездил на Козловку верхом и разговаривал много с гостями.

Рано утром уехала Соня с детьми. Андрюша ездил к Бибикову. Все обещает не пить, а двух дней не может прожить без пьющего и преступного общества, как эти Бибиковы. Таня как будто поспокойнее. Но как она похудела! Саша ходила с гувернантками за орехами. Стало холоднее. Огромное количество яблок; как красив их вид и сбор сегодня.

27 июля. Ходили утром купаться: в воде 14 градусов, на воздухе 11. Очень холодно. Льву Николаевичу все нездоровится, но он ездил верхом в Ясенки; Таня и я — мы ездили тоже верхом в Овсянниково. Чистый, яркий закат, луна,— к вечеру затихло, очень было хорошо. Я теперь так живу: сейчас, в данную минуту, хорошо,— ну и славу богу. Марью Александровну застала очень утомленную и даже угнетенную. Она слишком много работает. Опять Зиновьев, Моод и Буланже. Буланже вел со мной длинный разговор о том, что если б я по теории Льва Николаевича отдала бы все имущество и стала бы работать, то нам не дали бы ни работать, ни бедствовать, отовсюду явились бы и деньги, и помощь, и любовь к нам.

Какая наивность! Однако мы живем, пишем, болеем — и никогда никто, кроме меня и дочерей, ни попишет, ни за больным не походит, и ни в чем не поможет.

Поиграла немного. Поучила Inventions Bach'a и разобрала увертюру «Оберон», и сыграла любимые: «Мелодию» Рубинштейна, «Песнь без слов» Мендельсона и «Романс» Давыдова.

28 июля. Живу вяло и лениво, хотя внешне жизнь полна. Ходили купаться, приехали Гинцбург и И. Раевский, потом вечером Цингер, Александр Васильевич. Гинцбург хочет меня лепить во весь рост в виде маленькой статуэтки [26]. Он хвалил мой рост, фигуру; говорил, что я в 6 лет совсем не изменилась. Зачем все это? А что-то есть тщеславно приятное в этой лести, если это лесть. Все, и Лев Николаевич, играли в lawn-tennis, а я два часа играла на фортепьяно и отвела душу. После чая ходили гулять, на Горелую Поляну, перешли по жердочке

речку и вышли Засекой на шоссе. Потом сидели в казенном питомнике и вернулись домой, когда взошел прекрасно месяц, светлый и почти полный. А на западе заря вечерняя разлила по чистому небу такой чудесный розовый, нежный цвет, что глаза беспрестанно перебегали с луны на это розовое небо, и — и то и другое было прелестно. Англичанин Моод, кажется, считал своей обязанностью меня сопровождать и разговаривать; а как мне хотелось идти одной, молчать и думать...

Вечером играла в 4 руки с новым Мишиным учителем Соболевым 8-ю симфонию Моцарта и начали Септуор Бетховена, но не кончили.

Получила письмо от Сергея Ивановича. Я все его ждала, так как послала ему фотографии, а он, учтивый человек, должен был меня поблагодарить.

С Таней опять говорили о Сухотине, и опять было мучительно больно видеть, как она далеко с ним зашла. Лев Николаевич здоров, но не весел. Играл в tennis, теперь играет в шахматы с англичанином Моодом.

Досадно, что не едет домой Миша. Андрюша опять уезжает сегодня ночью в полк.

От Левы ласковое письмо. Скучает по России и робеет за жену, что ей тут не весело без ее родных. Всего не помиришь в жизни!

29 июля. Еще один скучный день! Что я делала? С утра неохотно учила Сашу, потом ходила купаться, это берет много времени, но поддерживает свежесть тела, и это очень приятно. После обеда писала письма: Леве и Сергею Ивановичу. Два раза переписала письмо к нему, и все выходило нескладно. Таня сегодня на меня рассердилась за то, что я о ее истории с Сухотиным написала Леве. А у меня сердце наболело тогда — я и сообщила сыну. Сама же она со всеми гувернантками и няней говорит об этом. Еще днем я шила шапку Льву Николаевичу из черного трико. Ходили гулять на Козловку: я отправила мои письма и послала Мише телеграмму, вызывая его. Вечером переписывала для Льва Николаевича. На фортепьяно не играла, и потому мне скучно.

Были весь день англичанин Моод, потом редактор «Северного вестника» Флетчер[27] (им нужно сотрудничество Льва Николаевича, и потому мне противно). Ходили все гулять, но Лев Николаевич с ними шел далеко от нас, женщин, и разговоров их я не слыхала. Да и ничего

нового или интересного и не услышишь. Надоело это умствование, ломка всего, отрицание и искание не истин — это было бы хорошо, а искание того, чего еще не было сказано человечеству, нового чего-то, удивительного, необыкновенного,— и это скучно. Хорошо, когда люди с болью сердца ищут истины для себя, это всегда почтенно и красиво, а для удивления других — это не надо. Всякий сам для себя ее ищи.

Опять ясные дни, страшно сухо и прелестные лунные ночи. Куда-нибудь бы *употребить* эту красоту природы! А то буднично идут дни...

30 июля. Какая красавица луна сейчас светит в мое окно! Как это бывало хорошо в молодости, когда, глядя на луну, в душе переговариваешься с любимым, отсутствующим человеком, зная, что и он смотрит на ту же луну, и она притягивает своей красотой и его и мои взоры, точно через нее идет таинственная беседа.

Играла сегодня часа четыре, и музыка меня тотчас же поднимает от земли, и то, что казалось досадно и важно, сделалось менее досадно и легче переносить. А сегодня были две досады: телеграмма от Данилевской, что Миша здоров, весел, а приедет только в субботу. Эта распущенность, отсутствие деликатности и добросовестности у Миши меня привели в отчаяние. Живет учитель, выхлопотала я ему у директора лицея экзамены осенью, и теперь Миша гуляет в Полтаве, а я переношу стыд перед учителем за сына и буду переносить стыд и перед директором. Нет, не могу больше нести всю эту тяжесть воспитания слабых, плохих сыновей! Они меня измучили. Я нынче просто плакала, когда получила телеграмму. Даже равнодушный ко всему, что касается детей, Лев Николаевич и тот вознегодовал. Послала третью телеграмму Мише, но уже почти две недели пропали!

Другая досада была Саша. Она стала очень плохо со мной учиться, и я дала ей переучить урок, она опять не выучила, и я ее не пустила с Таней верхом. Не люблю наказывать, но с Сашей все гувернантки потеряли терпение.

День прошел обычно: купалась, переписывала, играла. Лев Николаевич ездил верхом узнать в Мясоедове о погорелых. Приехал скульптор Гинцбург. Жара сегодня африканская и страшно сухо. Сова кричит пронзительно и гадко. А ночь чудесная, и тихо как!

31 июля. Все то же: переписывала Льву Николаевичу очень много. Местами интересно, а местами я совсем не согласна и бессильно сержусь, так как не решаюсь вступать в разговор с Львом Николаевичем. Он так сердится, когда кто с ним не согласен, что всякий разговор немедленно должен прекратиться. В его книге «Об искусстве» хороша та мысль, что искусство прежде служило церкви, религии, потому что она была искренна; а когда утратилась вера, тогда искусство не знало, чему служить, и заблудилось [28].

Но мне кажется, что это не новая мысль. Я помню, даже я, когда мне показывали храм Спасителя, сказала, что он мне не нравится, потому что видно, что весь он создан, включая главное — образа и всю живопись, без религиозного чувства, и потому храм языческий; а Успенский собор, напротив, весь дышит старинной, наивной, но настоящей верой,— и потому гораздо лучше, и это храм божий.

Ходили купаться, час я играла упражнения; вечером Лев Николаевич ездил верхом в Тулу за почтой, Таня тоже верхом в Ясенки. Приехал Гольденвейзер, играл мне все романсы, прелюды и все, что у меня есть переписанного из сочинений Сергея Ивановича. Отлично разбирает Гольденвейзер. Днем сегодня с меня лепил Гинцбург статуэтку. Пока очень дурно, безвкусно и непохоже. Что дальше будет? Миша не приехал, и очень досадно. Вечером шила себе рубашку и перешила шапочку Льву Николаевичу. Потом еще и еще переписывала. Скучно и нездоровится! Вечером Лев Николаевич играл в шахматы с Гольденвейзером. Лев Николаевич здоров и весел, слава богу! Письмо от Левы, возвращается 12-го.

1 августа. Переписываю сегодня сочинение Льва Николаевича «Об искусстве», и везде с негодованием говорится о слишком большом участии любви (эротической мании) во всех произведениях искусства. А Саша мне утром говорит: «А папа́ какой сегодня веселый, и все оттого веселые!» А если б она знала, что *папа́* всегда веселый все от той же любви, которую он отрицает.

Все ясные и очень сухие дни. Везде пыль и бедствие. Ходили купаться; стояла — позировала Гинцбургу. Гуляли вечером при лунном свете. Гольденвейзер прекрасно играл сонату Шопена с похоронным маршем. Какая чудесная, прочувствованная музыкальная эпопея! Тут

целый рассказ о смерти. И похоронный однообразный звон, и дикие звуки агонии, и нежные, поэтические воспоминания об умершем, и дикие крики отчаяния — так и следишь за рассказом. Надеюсь, что *это* настоящее искусство и с точки зрения Льва Николаевича. Еще Гольденвейзер играл прелюды Шопена, сонату Бетховена ор. 90, вариации Чайковского. Какое мне было удовольствие!

Приехали Оболенские. Таня уже начала кривляться с новым учителем. Как сильна привычка кокетства. Лев Николаевич сегодня часа три играл с азартом в lawn-tennis, потом верхом ездил на Козловку; хотел ехать на велосипеде, но он сломался. Да, сегодня он и писал много, и вообще молод, весел и здоров. Какая мощная натура! Вчера он мне с грустью говорил, что я постарела эти дни. Меня, пожалуй, не хватит для него, несмотря на 16 лет разницы, и на мою здоровую, моложавую наружность (как говорят все). Не играла, не читала, совсем не хватает ни на что времени с огромным трудом переписыванья. Вечером опять тоска напала, и я убежала гулять. Какое бессилие иногда перед страстностью каких-нибудь желаний; какое мучительное бессилие! Так должен себя чувствовать человек, если б его заперли, даже замуравили и выхода нет. Так я чувствовала себя после смерти Ванечки и теперь часто чувствую минутами. *Как* бывает больно, и *как* в эти минуты приветствуешь смерть!

2 августа. Утром вернулся Миша из Малороссии от Данилевских. Хотела его бранить за промедление, но не хватило духу: приехал счастливый от полученных им от путешествия разных впечатлений. Как это хорошо бывает в молодости: *новизна* впечатлений от природы, людей,— особенно природы. Потом хорошо ему было перебить жизнь, он последнее время волновался от своих половых, смущавших его, соблазнов.

Сегодня купалась с Надей Ивановой, далеко плавала. Потом долго и много переписывала, и Лев Николаевич сегодня мне сказал: «Как ты мне хорошо переписываешь и приводишь в порядок мои бумаги». Спасибо и за это; от него благодарности не скоро дождешься, как ни трудись. Стояла опять для статуэтки Гинцбурга; совсем непохоже, безвкусно, уродливо, и мне жаль моего потерянного времени. Статуэтка Льва Николаевича [29] тоже и непохожа и уродлива. Не даровитый он скульптор, этот Гинцбург. Вечером ходила с Сашей вдвоем на Козловку навстречу

лошади, возившей Машу с Колей. Бедная, бедная Маша с этим ушастым лентяем! И такая она болезненная, жалкая, худая. Вся забота на ней; а он гуляет, играет, кушает на чужой счет и ни о чем не думает.

У Льва Николаевича в гостях какой-то фабричный [30], и хотя Лев Николаевич все повторяет, что это очень умный человек, но ему, очевидно, с ним скучно, и он не знает, что с ним делать и куда его девать. Дочитала разговоры о музыке А. Рубинштейна и рассказывала дорогой Саше.

Вечером Соболев, учитель Миши, рассказывал интересно об уральских приисках золота, платины и проч. Тепло, тихо, лунно, хотя небо заволокло немного. Лев Николаевич сегодня огорчен: велосипед сломался, и он на нем не мог доехать до купальни, ездил верхом. Удивил он меня еще тем, что играл утром в lawn-tennis. Он, который своими утрами так дорожит, он так увлекся этой игрой, что с утра пошел играть. Сколько в нем еще молодого! Я теперь только могу увлекаться музыкой или работой в саду: пилить, сажать, вычищать плохие растения, но больше ничем.

3 августа. Разбирала утром мои письма к Льву Николаевичу и его ко мне. Надо переписать и отдать на хранение в Румянцевский музей, в Москве. Часть я уже отдала [31]. Купалась одна. Потом опять позировала; после обеда играла; только разбирала разные пьесы: Шумана, Бетховена, Чайковского. Одна внизу, тихо, хорошо. Вечером приводила в порядок и переписывала статью об искусстве для Льва Николаевича. Я ему всецело теперь служу, и он спокоен, счастлив. Он опять поглощает всю мою жизнь. Счастлива ли я этим? Увы! нет, я делаю, что должно, в этом есть доля счастья, но я часто и глубоко тоскую от других желаний.

4 августа. Целый день народ. Только встала, приехал к Льву Николаевичу француз, ездящий по Европе с геологическими целями; [32] воспитанный, но мало образованный, помещик, живущий в Пиренеях в своем именье. Потом приехал Касаткин — художник; показывал нам большое количество фотографических снимков с различных картин и рисунков, которые он привез из-за границы. Это доставило мне большое эстетическое удовольствие. Опять купалась одна, опять немного позировала. Лев Николаевич

тоже немного постоял для своей статуэтки, которую лепит Гинцбург — стоящую. Вечером ходили гулять; сухо, тихо, розовое небо заката, и теперь луна. Еще приезжали на полчаса два доктора из Одессы, едут на съезд врачей в Москву: один Шмидт, другой Любомудров, военный. Оба неприятные. Перед сном Гольденвейзер играл сонату Бетховена и «Карнавал» Шумана. Лев Николаевич жалуется на слабость, зяб, купался и пил очень много чаю. Напрасно он купается.

5 августа. Безостановочно летит жизнь, день за день. Сегодня пошла утром купаться, взяла Сашу и Верочку в тележке. Снимали фотографии стада и девочек с тележкой и лошадью. На это ушло много времени. После обеда два часа стояла для Гинцбурга, который лепил с большим азартом, но я все выхожу совсем непохожа. После обеда Касаткин, Соболев и я снимали фотографию с Льва Николаевича верхом. Но ни у кого не вышло: лошадь шевелилась у меня и недодержано. Вечером все пошли гулять, Лев Николаевич уехал верхом в Мясоедово дать деньги погорелым. Мы шли по деревне и заходили по избам. Таня хотела непременно зайти к сыну кормилицы Льва Николаевича, к Петру Осипову, мужику, читающему книги и газеты и презирающему господ и ученых, потому что считает себя выше их всех — умом. Пренеприятный мужик. Вернулись уж темно, проявляли фотографии, ужинали. Получила письмо от Андрюши и от Гуревич [33], просит меня о статье Льва Николаевича для журнала. При чем я! Он все всегда делал по-своему и большей частью нарочно против меня. А я Гуревич не люблю и ничего для нее не сделаю. В настоящую минуту он читает эту статью Касаткину, Гинцбургу, Соболеву и Гольденвейзеру. В чтении тяжел очень его язык. Сухо, ясно, тепло. Нездорова Маша, Таня все лелеет свою выдуманную мечту о посвящении своей жизни семье Сухотина, но она, слава богу, спокойна и веселее.

С Сашей сегодня был урок очень хороший. Поправляла ей сочинение «Описание сада нашего», опять географию спрашивала и долго толковала ей о различных образах правления.

6 августа. Страшно устала, переписав длинную главу для Льва Николаевича «Об искусстве». Гинцбург долго меня лепил, и тоже устала. Все притупляющие всю душу

занятия; усталость и труд при *чужом,* хотя и интересном труде. Но насколько радостнее и легче всякий свой *личный* труд. Ездила купаться с детьми: Сашей, Ленькой и Машкой. С детьми все так несомненно важно на свете, так радостно и равноправно. Вечером Гинцбург представлял портного (комическая мимика), потом речь англичанина и чтение немца. Все смеялись, некоторые себя на это нарочно подвинчивали, а я не умею смеяться и не понимаю комизма. Это мой недостаток. Гольденвейзер прекрасно играл концерт Грига: сильная, очень своеобразная вещь, мне очень понравилось. Потом играл две ноктюрны Шопена, что-то Шуберта и вальс Рубинштейна. Касаткин пишет маленький этюд с Тани[34]. Соболев нас сегодня опять снял, а я сделала несколько копий с его хороших негативов. Хотела тоже сегодня снимать, да времени совсем нет с переписыванием и позированием.

Маша и Коля тут. Маша очень жалка, бледна и худа, и так и хочется ей, бедной, помочь. О Тане не хочется писать. С ней все страшно. Миша очень взволнован сплетнями в Ясной: кто кого хочет сжить, своего поставить и т. д. Его это огорчает, а это так обычно! Лишь бы не вникать.

Лев Николаевич ездил верхом с Колей в Ясенки. Его тоже лепили, но очень непохоже. Вечером он прочел своим гостям три первые главы своей статьи «Об искусстве». Вечером, позднее, играл в шахматы с Гольденвейзером и сыном Сережей. Лев Николаевич здоров и бодр.

8 августа. Заболела Маша, Руднев думает тиф. С какой сильной болью сердца я приняла это известие; меня душит спазма в горле и слезы, знакомые, ужасные слезы от беспокойства и страха, всегда где-то готовые. Маша все видела во сне Ванечку, и, может быть, он и отзовет ее к себе, чтоб избавить от тяжелой, бедной и сложной замужней жизни с этим флегмой Колей. Хорошую, полезную и самоотверженную жизнь жила Маша до замужества, а что впереди — еще бог знает. Но лично ее страшно жаль, она такая жалкая с тех пор, как ушла из семьи. И невольно вспомнилась смерть Саши Философовой, тоже от тифа, и еще страшней стало.

В доме точно чад какой-то от гостей. Приехали Маклаковы: Маша и Николай, две сестры Стахович, две Наташи: Оболенская и Колокольцева. Потом Гинцбург, Гольденвейзер, Касаткин. За столом было 20 человек. Все

порознь очень приятны, и жаль, что сразу так много. Ни прогулок, ни единения,— ни работы, ни переписыванья, а так, толкотня какая-то. Опять меня лепили, опять копировала фотографии и купалась, но *дела* никакого не делаю, что-то уходит безвозвратно, что-то испортилось в жизни и приняло крутой оборот.

Вчера забыла дневник на столе: Лев Николаевич опять его читал и чему-то в нем огорчался. А чему бы *ему* огорчаться? Никого в мире не любила так, как его, и так долго!

Была телеграмма от Ломброзо[35], ученый-антрополог, приехавший в Москву на съезд врачей; он хочет приехать повидать Льва Николаевича.

Льва Николаевича тоже лепит Гинцбург, а во время сеанса читают его статью «Об искусстве». Очень хорошо в статье Льва Николаевича то, что он нападает на новейшее направление декадентов[36]. Надо остановить это бессмысленное и низкое направление искусства. И кому же как не ему.

11 августа. Три дня не писала. Третьего дня утром привезли из Овсянникова больную Машу. У нее брюшной тиф и уже несколько дней около 40 градусов жару. Сначала мы все очень испугались, но теперь приспособились к мысли о ее болезни. Руднев-доктор был и сказал, что тиф легкий, но очень ее жаль, она томится, мечется, ночи не спит. Вчера я у ней сидела до 3-х часов ночи и переписывала статью Льва Николаевича. Написала очень много, и у Маши сделались боли в животе. Лев Николаевич встал и хотел сам ставить самовар для припарок; но нашел еще плиту довольно теплой, чтоб греть салфетки в духовом шкапу. Мне всегда смешно, когда он возьмется за какое практическое дело, как он его делает примитивно, наивно и неловко. Вчера испачкал все салфетки сажей, спалил себе бороду свечой, и когда я начала руками ее тушить — на меня же рассердился.

В 3 часа ночи меня сменила при Маше — Таня. Утром приехал Ломброзо. Маленький, очень слабый на ногах старичок, слишком дряхлый на вид по годам, ему 62 года. Говорит на очень дурном французском языке, неправильно и с сильным акцентом, и еще хуже по-немецки. Он итальянец, очень ученый, антрополог и много работал по вопросу преступности людей. Я вызывала его на разговоры, но он мало дал мне интересного. Говорил, что пре-

ступность везде прогрессирует, исключая Англии. Что он не верит статистическим сведениям России, так как у нас нет свободы печати. Еще говорил, что изучал всю жизнь женщину и так и не мог понять ее. Про женщин, как он выразился — *la femme latine* *, сказал, что француженки и итальянки ни на какую работу не способны, что вся цель их жизни — наряды и желание нравиться. А что *la femme slave* **, и русские в том числе, способны на всякий труд и гораздо нравственнее. Про воспитание говорил, что оно почти бессильно перед врожденностью свойств, — и я с ним согласна.

Гинцбург уехал сегодня. Он кончил и мою и Льва Николаевича статуэтки. Вчера лепили Льва Николаевича, пришли три барышни, пристали к Васе Маклакову, чтоб он доставил им возможность видеть Льва Николаевича. Их и повели к нему. Он спросил их: не имеют ли они что его спросить, они сказали, что только хотят его видеть. И вот посмотрели и ушли. Потом пришел какой-то молодой человек, с тою же целью, но ему сказали, что Льва Николаевича дома нет. Затем, сидим, пьем чай, вдруг кто-то с велосипедом, весь облитый кровью идет и спрашивает Льва Николаевича. Оказалось, учитель Тульской гимназии упал с велосипеда и расшибся. Его свели в павильон, промыли раны, перевязали, и он с нами ужинал.

Уехали Наташи вчера, и теперь, завтра, почти никого не останется. Я очень желаю уединения. Вчера же Миша уехал в Москву за своим учителем, которого назначили присяжным в Москве. Все дни жарко, сухо ужасно и пыльно. Мне нездоровится, ломота во всем теле, болит печень и почки. Лев Николаевич здоров, играл сегодня долго в lawn-tennis. Неужели я никогда больше не буду ни весела, ни счастлива? Мне все неудача. Для моего удовлетворения мне хотелось немного: иметь возможность играть часа два на фортепьяно и иметь 5 дней свободных съездить в Киев повидать сестру Таню. Болезнь Маши помешала всему. И что она тут, в доме родительском, это еще естественно, я сама ее хотела перевезти к нам больную. Но что тут Коля приживает — это меня сердит, и мне все хочется от него отмахнуться, как от назойливой мухи. Не люблю эти флегматические, беззастенчивые в своей лени натуры приживалов.

---

* романская (латинская) женщина *(франц.)*.
** славянская женщина *(франц.)*.

13 августа. У Маши все жар, с утра и до вечера более 40 градусов. Так ее жаль, бедную, и какое бессилие перед строгим течением и упорством этой ужасной болезни. Я никогда прежде не видала такого тифа. Опять был доктор, Лев Николаевич вчера съездил за ним верхом; и доктор опасности не видит, а у меня все время тяжелый камень на сердце.

Очень много переписываю эти дни для Льва Николаевича его статью. Вчера заговорила о ней с ним, спрашивала его, как же он хочет, чтоб искусство существовало без специальных школ? Он их отрицает. Но с ним *разговаривать* никогда нельзя; он страшно раздражается, кричит, и делается так неприятно, что то, чем интересовался, отодвигается на задний план, и только желаешь: скорей чтоб он замолчал. Так было и вчера.

Когда были гости, он им читал эту статью, и никто ни слова не сказал; ну и правы все, будто со всем согласны. А есть превосходные мысли местами. Например, что искусство должно одухотворять, а не забавлять людей. Это несомненная истина. Что во всех школах должно быть преподаваемо и рисование, и музыка, и всякое искусство, чтоб всякий талантливый человек имел возможность найти свой путь. Опять прекрасная мысль.

Страшная жара и засуха. Рожь посеяли в пыль. Трава, листья — все засохло. Мы купаемся, и это очень облегчает. О Мише из Москвы нет известий.

14 августа. Приехали из Швеции Лева и Дора, веселые и счастливые. Слава богу. И у нас веселей будет. Был доктор, нашел Машу не опасной и очень утешал. Советовалась с ним о своем здоровье. Нашел мою нервную систему совершенно расстроенной и организм здоровый; прописал бром.

Лев Николаевич ездил верхом в Бабурино по вызову какой-то петербургской учительницы. День провела лениво, очень устала от ночи, сидела у Маши всю ночь до $4^1/_2$ часов. Очень она горела и металась, жар был 40 и 7. Ходила купаться, наклеивала фотографии, немного читала Taine'а «Philosophie de l'art» [37] и сидела с Машей. Все засуха страшная.

16 августа. Все тяжелее и тяжелее жизнь. Маше все плохо. Сегодня я встала совершенно шальная, до 5 часов утра, всю ночь, я простояла над ней в ужасе. Она страш-

но бредила, и так все утро продолжалось. В 5 часов утра я ушла к себе и не могла заснуть. И все неприятности со всех сторон. Таня ездила на свидание с Сухотиным в Тулу, и сидела с ним в гостинице, и ехала с ним по железной дороге. Она ни на минуту (с моей точки зрения) не отказалась от мысли выйти за него замуж. Миша не поехал в Москву, где его ждет учитель, не занимается и, очевидно, экзамена не выдержит. Вместо этого с ребятами и гармонией и этим молчаливым, бессодержательным Митей Дьяковым таскался до второго часа ночи по деревне. Приехал сегодня утром Андрюша и проживет тут $1^1/_2$ месяца. Собирается к Илье и в Самару, и это хорошо. Самое тяжелое — это с Львом Николаевичем. С ним ни о чем нельзя говорить, ему ничем не угодишь. Вчера был Буланже, и мы с ним переговорили, что хорошо бы статью Льва Николаевича «Об искусстве» пересмотреть с точки зрения цензуры, выкинуть все нецензурное, такого немного, и напечатать одновременно и в «Посреднике» и в полном собрании сочинений как XV том. Я не решилась говорить первая, я так боюсь этого тона раздражения почти постоянного, с которым Лев Николаевич говорит со мною, да и почти со всеми теперь, кто ему осмелится возражать.

Буланже переговорил и сказал, что Лев Николаевич согласен. Но когда я заговорила, то Лев Николаевич начал сердиться и говорить, что Чертков просил не выпускать никакого сочинения Льва Николаевича до тех пор, пока оно не выйдет на английском языке[38]. Опять Чертков, из Англии даже умеющий держать Льва Николаевича в своей власти.

Сегодня заговорили о Тане. Лев Николаевич говорил, что надо думать только о себе, чтоб не ошибиться относительно того, в какую сторону советовать и желать для Тани. Я же говорила, что нельзя же лгать, надо говорить непременно, что думаешь, если даже ошибаешься, и нельзя же не быть честной, ради осторожности. Не знаю, кто из нас прав; может быть, и он, но дело не в правоте, а в невозможности разговаривать без раздражения.

Сегодня же, выйдя из своего кабинета, Лев Николаевич прямо налетел на Мишу и наговорил и ему и Мите Дьякову много жестоких, хотя и справедливых слов. Но что он этим сделал? Если б он Мише твердо и спокойно сказал сегодня утром, чтоб он ехал в Москву и не ослабевал в своем решении готовиться к экзамену — насколько

бы это было лучше. Выговор же его вызвал тоже злобу в сыновьях; и они начали рассуждать, что отец только бранится, что заботы, участия, совета они от него никогда не имеют, а только злобу. Стали говорить, что право выговора они признают только за матерью, потому что мать одна о них заботится. Да, я заботилась, а что же я сделала, чего я достигла; я ничего не сумела! И Андрюша совершенно неудавшийся покуда, и Миша не тверд, и что-то еще из него будет!.. Ох, как все печально, печально...

Лева с Дорой устраиваются, разбирают вещи. Доре трудно, бедняжке, на чужой стороне и в нашей не очень-то радостной семье. Часто мне приходит мысль куда-нибудь бежать, я устала, устала страшно от жизни! Да уж, видно, надо нести тяжесть своего вечного труда и только *труда* — до конца. Надо бы опять переписывать для Льва Николаевича, но не могу еще, какое-то тяжелое к нему чувство за то, что он поработил всю мою жизнь и никогда ни обо мне, ни о детях не особенно заботился, а, главное, продолжает порабощать меня, а у меня уже нет сил работать и служить ему всячески.

Ночь сидела у Маши, а кроме того, переписала целую 5-ю главу. Я всегда работаю вдвойне.

Был маленький дождь, но тяжелый и очень теплый воздух. Читаю понемногу Taine'а. Я уже раньше начинала его читать, но Льву Николаевичу понадобились эти книги, и он их куда-то заложил, теперь я нашла и кончу. Хорошее определение у него искусства: «L'art a pour but de manifester le caractère capital, quelque qualité saillante et notable, un point de vue important, une manière d'être principale de l'objet»*.

Лев Николаевич Taine'а не хвалит [39]. А мне его советовал читать Сергей Иванович.

17 августа. С Львом Николаевичем совсем примирились (я, кстати, и не ссорилась, а огорчалась его отношением ко мне). Приехала сиделка к Маше, и Маше сегодня лучше, температура несколько раз падала до 38 и 6. Лева и Дора что-то не совсем здоровы и вялы. Жаль ее, бед-

---

* Цель искусства состоит в том, чтобы обнаружить основной характер, какое-нибудь выдающееся и заметное свойство, существенную точку зрения, главную особенность бытия объекта *(франц.)*.

ную, ей очень тяжело в России и без своих родных. Опять сухо, ветер, но воздух свежей с утра. С Таней шла с купанья и говорили о Сухотине. Она говорит, что ничего еще не решила окончательно. Миша вчера вечером уехал в Москву, а Андрюша куда-то таинственно. Переписываю опять Льва Николаевича, сижу с Машей; но в исполнении своих прямых обязанностей не нахожу уж удовлетворения и тоскую. Тяжелое известие о том, что у Ильи опять был пожар: сгорел весь урожай нынешнего года, сарай, инструменты и т. д. Ох, жизнь — какая тяжесть вообще! Тут Дунаев и Митя Дьяков. Я спрашивала себя сегодня, отчего я так тягочусь работой переписыванья для Льва Николаевича? Ведь это *несомненно* нужно. И я нашла ответ. Всякая работа требует интереса, насколько хорошо она сделана и как и когда она будет окончена. Я шью что-нибудь, я вижу результат; меня интересует процесс работы, насколько скоро, хорошо или дурно я это делаю. Я учу — я вижу успехи; я играю сама — я двигаюсь, вдруг пойму новое, открою красоты. Я не говорю уже о сочинении чего-нибудь, о картине, хотя бы самой первобытной,— а просто о явлениях в области труда ежедневной жизни. В переписывании же в десятый раз одной и той же статьи ничего нет. Сделать хорошо тут ничего нельзя. Окончания не предвидишь никогда; все перестанавливается и вновь, и вновь перетасовывается все одно и то же. Интереса, как в прежнее время, к ходу какой-нибудь *художественной* работы тоже нет. Я помню, как я ждала в «Войне и мире» переписки после дневной работы Льва Николаевича. Как лихорадочно спешила я писать дальше и дальше, находя все новые и новые красоты. А теперь скучно. Надо начать мне работать что-нибудь самостоятельно, а то я совсем зачахну душой.

18 августа. Вчера вечером прекрасно гуляли с Львом Николаевичем и Дунаевым. Шли через Засеку, потом по полотну железной дороги к Козловке. В лесу на меня нашла такая поэтическая тишина, какой давно в себе не помню. Потом я устала слишком, мы верст 12 прошли, и стало трудно и скучно.

Маше лучше. Была Марья Александровна Шмидт. Шел маленький дождь. Ходили купаться. Приехала вчера фельдшерица (т. е. третьего дня вечером) следить за состоянием пульса и здоровья Маши. Был доктор Руднев. Ходила к Леве в «тот» дом. Скучно хозяйничала с тюфя-

ками, вареньями, лампами — в доме порядок наводила. И потом переписывала для Льва Николаевича, переписывала очень много. Нижний передний зуб совсем расшатался, и я оттого не в духе. Ох, как не хочется стариться, а приходится мириться с этим. День провела бессодержательно, пойду читать Тэна.

21 августа. Все эти дни очень страшно за Машу. То был жар больше 40 градусов, а сегодня утром вдруг 35 и 6. Поили ее вином, шампанским. Днем ничего не могла пить, ото всего ее рвало. Посылали за доктором, к вечеру, после озноба, опять был жар 40 градусов. Все это ужасно! И жалко ее, бедную, истомилась она совсем. Приехала Лиза Оболенская, помогает ухаживать за Машей. Взяли фельдшерицу следить за общим состоянием и помогать ночью. Был скучный кн. Накашидзе, кавказский, брат той княжны Накашидзе, которая в Тифлисе передавала деньги духоборам и потом уехала в Англию, к Чертковым. Приезжает сегодня Митя Олсуфьев.

Второй день занимаюсь фотографией. Снимала цветы, сбор яблок, яблони, шалаш и т. д. Ходила с Рудневым гулять, закат солнца чистый, красивый, небо с розовыми облачками, окаймленными огненным ободком, и засуха ужасающая! Лев Николаевич ездил верхом по красивым местам Засеки. Статью свою об искусстве начал переправлять сначала. Он очень заботлив и нежен со мною, а я точно застыла, ничего не чувствую от беспокойства о Маше и от бессонных ночей, и нервна я ужасно.

Учила утром Сашу, но недостаточно. Она вышивает мне салфеточку и завтра подарит. Завтра, 22 августа, мое рождение и мне будет 53 года.

23 августа. Маше лучше, все повеселели. Но новый камень на сердце. Завтра приезжает Сухотин, и Таня взволнована. Лева с Дорой, Коля и Андрюша ездили в Тулу; там выставка кустарная. Вчера ходили на длинную прогулку в Засеку, на провалы, и вернулись в катках. Лев Николаевич трогательно, верхом, искал места красивые, чтобы пойти со мной гулять в день моего рождения и доставить мне удовольствие. И действительно, прогулка вчерашняя и места прелестные; но я так мучительно устала, что не могла этого скрыть, и выражала это, чем огорчила Льва Николаевича, и очень жалею. Впрочем, мы отдыхали долго у избы работающих в лесу мужиков, у

них горел яркий костер, темные вековые дубы были так величественно красивы, что я забыла свою усталость, и уже весело и бодро возвращалась назад. Толкусь с неудачными фотографиями, не переписываю эти дни и чувствую себя в этом очень виноватой. Приехал Буланже, уезжает Лиза Оболенская.

Завтра еду в Москву, мне там много дела, да и Мишу надо навестить и пробыть его два дня экзаменов. Ужасно не хочется, трудно, а чувствуется, что нужно.

26 августа. Второй день в Москве. Вчера ездила по банкам, получала проценты и внесла за залог именья Ильи 1300 рублей. И еще столько же надо вносить, а у него был пожар, и пропало 2 тысячи рублей задатку в Волынской губернии, где они с Сережей неосторожно хотели купить именье. Все это меня и сердит и огорчает. На все Илья был неспособен, как на ученье, так на управление делами и на всякое вообще *дело.*

У Мани, жены Сережи, родился 23-го сын. Бедный Сережа, и бедный этот мальчик у такой матери!

В Москве очень спокойно, но скучно, что никого еще нет. Приходил милейший Н. В. Туркин, и так хорошо мы с ним о воспитании детей беседовали. Сергея Ивановича еще нет в Москве, и меня очень огорчило, что я его не увижу.

Весь день сегодня не вставала с дивана и считалась с артельщиком. Цифры, цифры без конца и страшное напряжение ничего не просчитать и ничего не забыть.

Шел дождь, и стало холодно и пасмурно. Завтра у Миши экзамен, у меня дела в цензуре и дома с артельщиком.

28 августа. Сегодня рождение Льва Николаевича, и ему 69 лет. Кажется, в первый раз, с тех пор как я замужем, я не провожу этот день с ним, и мне это жаль. В каком-то он сегодня настроении! Вчера все думала о его статье «Об искусстве», и она меня мучает, потому что она могла бы быть так хороша, а в ней так много несправедливого, парадоксального и задорного.

Сегодня у Миши последние экзамены, и я жду его с нетерпением. Перейдет ли он в 7-й класс?

Усиленно занимаюсь здесь делами с артельщиком, считала, считала целых два дня. Была вчера в цензуре с книгой Спира для издания «Посредника»[40], делала

покупки, но ничего не сделала для дома, а тут очень грязно.

Жить мне здесь одной и спокойно и здорово, и я опять приеду 10 сентября. Стало холодно, т. е. свежо, и пасмурно. Была сегодня в бане.

31 августа. Все печально, и везде неудача. Миша остался в 6-м классе; Андрюша опять мне сделал тяжелую сцену в Москве, и сам, бедный, уехал в слезах к Грузинским с Мишей. Мне казалось, что он был немного выпивши, а то очень уж странно он переходил от крайней грубости к крайней нежности. Миша меня огорчил своим отношением к своей неудаче. Он нисколько не смутился, сейчас же отправился с Андрюшей, Митей Дьяковым и Борисом Нагорновым в сад, и они громко, нескладно, грубо пели песни. Совсем мои дети не такие, какими бы мы желали их: я хотела от них образование, сознание долга и утонченные эстетические вкусы. Лев Николаевич желал от них труда простого, сурового, простой жизни, и оба мы желали высоких нравственных правил. И ничего не удалось! Усталая, измученная и огорченная я приехала третьего дня утром домой, в Ясную Поляну. Лев Николаевич меня встретил недалеко от дома, сел ко мне на катки и не спросил ни разу о детях. Как мне это всегда больно! Дома пропасть гостей: Дунаев, Дубенский с женой (Цурикова), Ростовцев, Сергеенко. Все комнаты заняты, суета, разговоры. Очень мне это было утомительно. Все эти господа чего-то ждут от Льва Николаевича, и вот он надумал написать письмо и напечатать за границей[41]. Дело в том, что шведский керосиновый торговец Нобель оставил завещание, что все его миллионное богатство он оставляет тому, кто больше всего сделает для мира (la paix) и, следовательно, против войны. В Швеции по этому поводу был совет, и решили, что Верещагин своими картинами выразил протест против войны. Но по дознаниям оказалось, что Верещагин не по принципам, а случайно выразил этот протест. Тогда сказали, что Лев Николаевич заслужил это наследство. Конечно, Лев Николаевич не взял бы денег, но он написал письмо, что больше всех сделали для мира духоборы, отказавшись от военной службы и потерпевши так жестоко за это.

Я ничего не имела бы против такого письма, но оказалось, что в письме этом Лев Николаевич грубо и задорно бранит русское правительство, и некстати, не к делу, а

так, из любви к задору. Меня очень расстроило это письмо, на мои слабые нервы я просто пришла в отчаяние, плакала, упрекала Льва Николаевича, что он не бережет своей головы и дразнит правительство без нужды. Я даже хотела уезжать, потому что не могу больше жить так нервно, так трудно и под такими вечными угрозами, что Лев Николаевич напишет что-нибудь отчаянное и злое против правительства и нас сошлют.

Он тронулся моим отчаянием и обещал письмо не посылать. Сегодня он опять решил, что пошлет, но смягченное. А я вдруг стала равнодушна, просто из чувства самосохранения; нельзя же не спать ночи, как я не спала вчера, нельзя же вечно плакать и вечно мучаться. И везде горе. Был тут Илюша. У него был пожар, и он, очевидно, ждал от меня помощи. А я и так завалена платежами и за него только что внесла 1300 рублей в банк, и еще столько же будет нужно внести зимой. Денег он не просил, все только намекал, что ему очень плохо. Наконец он сказал Леве: «Я просил весной у мамá 1000 рублей (а я уже ему передавала 2500 за зиму), она не дала, я ничего не застраховал, и теперь сгорело все, а я ничего не получу». Лева ему сказал: «Ты сгорел, а мамá опять виновата, это несправедливо». И ушел. Я напомнила тогда Илюше, что и Сережа и он, ввиду того, что неприятно просить всегда у матери деньги,— решили, что я определенно и молча буду платить за залог именья 2000 рублей в год, и этим Илья удовлетворился вполне.

Теперь же он мне упрекнул, что я не дала ему в руки деньги, и сказал, что лучше бы я в банк не платила, а ему дала. Тогда я, к сожалению, страшно рассердилась, сказала даже, что это подлость, то просить платы в банк, то за это же упрекать. Так совестно, больно и грустно, что мы поссорились из-за денег, которых мне совсем не жаль, но у меня нет теперь.

1 сентября. Гости все уехали, так хорошо, что мы одни. Вчера вечером недолго, но неприятно мы поговорили с Львом Николаевичем. Мне очень нездоровилось, а он придирался ко мне, вспомнили о дневниках (все я собираюсь описать эту прошлую историю).

Сегодня мы дружны, я ему переписала две главы, убрала его комнату, поставила чудесный букет. Ходила с Сашей купаться: в воде 11 градусов, ночи холодные, ярко-лунные с мелкими облачками, проходящими по

луне; дни ясные, сухие и красивые. Таня была в Туле, на выставке. Маше лучше; Саша огорчилась, что пропал ее живой зайчик, живший в сарае. Лев Николаевич ездил верхом и принимал католического chanoine *, ездящего изучать русские монастыри [42].

Очень скучала по музыке весь день и живу *мечтой* о ней; скоро поеду в Москву, возьму рояль, буду играть и надеюсь, что Сергей Иванович придет и поиграет. Как будет это хорошо, даже от одной мысли этой оживаю.

Сегодня думала: какую местность мы больше всего любим? Ту, при которой есть такое место, куда не проникала человеческая рука, как, например: скалы, горы, море, большой лес, большая река, даже большие овраги. Опять мы любим *мечту* и в природе. Мы не любим сплошные поля, сады, луга, где всюду прошла рука человека; мы любим нетронутость, таинственность — мечту и в природе.

2 сентября. Убирала книги в библиотеке и приводила ее в порядок; купалась в 11-градусной воде, ходила с Верочкой; снимала в саду фотографии яблонь, сплошь покрытых яблоками, и переписывала письмо Льва Николаевича, переделанное и смягченное, о наследстве Нобеля в пользу духоборов. Я еще его не кончила, а сначала довольно умеренно. Мои шатающиеся два зуба приводят меня в дурное расположение духа, и перспектива фальшивых зубов — очень несносна. Что делать, надо привыкать стариться.

Иду ложиться, буду читать философское сочинение Spir'a. Был маленький дождь, но еще не холодно.

4 сентября. Надрываешься, надрываешься — и не натянешь жизни. Одиночество мы испытываем каждый член нашей семьи, хотя все дружно на вид. Лев Николаевич тоже жалуется на одиночество, на *покинутость.* Таня влюблена в Сухотина, Маша вышла замуж,— со мной давно уже нет полного единения — мы все устали жить, только служа Льву Николаевичу. Он чувствовал себя счастливым, поработив три женские жизни: двух дочерей и мою. Мы ему писали, ухаживали за ним, заботились усердно об очень сложном и трудном подчас при нездоровье — вегетарианском питании, никогда нигде не остав-

---

* каноник *(франц.)*.

ляли его одного. И теперь вдруг всякая из нас заявила свои права на личную жизнь, друзей его сослали[43], новых последователей нет — и он несчастлив.

Я напрягаю свои последние жизненные силы, чтоб помогать ему; я переписываю его статью и вчера переписала длинное письмо, в 15 страниц, о помощи духоборам наследством Нобеля;[44] я ухаживаю за ним; но мне невыносима иногда жизнь без личного труда, без личных интересов, без досуга, без друзей, без музыки — и я падаю духом и тоскую.

Лев Николаевич всегда и везде говорит и пишет о любви, о служении богу и людям. Читаю и слушаю это всегда с недоумением. С утра и до поздней ночи вся жизнь Льва Николаевича проходит безо всякого личного отношения и участия к людям. Встает, пьет кофе, гуляет или купается утром, никого не повидав, садится писать; едет на велосипеде или опять купаться, или просто так; обедает, или идет вниз читать, или на lawn-tennis. Вечер проводит у себя в комнате, после ужина только немного посидит с нами, читая газеты или разглядывая разные иллюстрации. И день за день идет эта правильная, эгоистическая жизнь без любви, без участия к семье, к интересам, радостям, горестям близких ему людей. И эта холодность измучила меня, и я стала искать, чем занять свою духовную жизнь, стала любить музыку, читать в ней и, главное, угадывать все те сложные человеческие чувства, которые в нее вложены; но музыке не только не сочувствовали дома, но на меня напали за нее с ожесточением, и вот я опять очутилась без содержания жизни и, согнув спину, часами, по десяти раз переписываю скучную статью об искусстве, стараюсь найти радость в исполнении *долга,* но моя живая натура возмущается, ищет личной жизни, и я бегу из дому в лес, бегу на Воронку и в страшный ветер бросаюсь в реку, в воде 9 градусов, и я нахожу маленькое удовлетворение в этой физической эмоции.

Лев Николаевич, не сказав мне ни слова, уехал верхом к Булыгину в Хотунку, за 16 верст. Приехал какой-то американец, профессор, я еще его не видала. Сейчас с ужасом пересмотрела бумаги Льва Николаевича и взяла переписывать. Сколько там опять работы!

Утром учила Сашу 1½ часа; поправляла ей ее сочинение «Поездка в Троице-Сергиеву лавру». Метила платки Миши, читала, кроила, весь день была занята, а чув-

ство — точно ничего не делала. Вот что значит ни к чему сердце не лежит.

Сегодня шла из купальни и думала опять, что человек только жив *мечтой*. Если б извозчик, проводя годами жизнь на козлах, в нелюбимом ему городе, не имел в голове мечты о деревне, о семье, о том, что происходит в его деревенском хозяйстве, как убрали сено, сколько копен ржи стало, купили ли корову или лошадь и т. д.— извозчик не выдержал бы этой жизни. А он выдерживает годами.

Так и во всем в жизни. А самая уж сладкая мечта — это царство небесное после смерти, или единение с богом, или соединение с умершими любимыми людьми.

Ах, Ванечка, сегодня случайно увидела лоскуток от его синенькой полосатой курточки и горько расплакалась. Зачем он оставил меня одинокую, без любви, на земле; я не сумела жить без него, и как часто я чувствую, что он унес мою душу, а мое грешное тело тяжело доживает свою земную жизнь.

8 сентября. Все суета какая-то. Наехали опять гости: Дунаев, Буланже, Сен-Джон, англичанин, присланный, кажется, Чертковым [45]. Буланже ссылают за границу; его нашли вредным, потому что он пропагандирует идеи Льва Николаевича и потому, что написал и напечатал в «Биржевых ведомостях» письмо о бедственном состоянии духоборов [46]. Вызывали его в Петербург в бывшее 3-е Отделение, т. е. полиция, действующая административным порядком, иначе говоря, произволом, — и там ему высказали.

Буланже очень умный, энергический и живой человек, и его испугались. Но что за деспотическое правительство у нас! Царя как будто нет, а какие-то тупые злючки вроде Горемыкина (министра внутренних дел) и Победоносцева делают поступки, навлекающие злобу на молодого царя, и это жаль. Лев Николаевич угнетен прыщиком, вскочившим у него на щеке, и много говорит о смерти. Как он боится ее, меня это пугает. Статья его «Об искусстве» приходит к концу, и у нас живет барышня, которая ее переписывает на машине Ремингтона, и хотят послать в Англию перевод и напечатать там у Черткова.

Таня уехала в Москву, просто ей хотелось проехаться, и она выдумала какие-то издания картин, которые должны быть изданы даже до отъезда Буланже, т. е. до 1 октября. А у меня выпал зуб, и я должна ехать встав-

лять, но не хочется двигаться, не хочется к зубному врачу ходить и возиться с своим ртом.

Эти дни занималась все фотографией для своей сестры Тани и для Буланже. Сегодня фотографировала яблочный сад и баб на работе в саду. Ходила купаться, и совсем мне не показалось холодно.

Заботы о постелях гостям, о еде, обо всем материальном очень надоели; вчера часа два поиграла на фортепьяно, насилу нашла время.

Андрюша и Миша ушли на деревню, где *образование* Сашки Арбузовой, и Миша не поехал в лицей, и мне досадно ужасно.

9 сентября. Очень хотелось играть на фортепьяно, читать, гулять, даже чай пить. И вместо этого я переписывала несколько часов сряду для Льва Николаевича его статью «Об искусстве», за что он, приехав от Зиссерман, куда ездил верхом, мне даже спасибо не сказал, а с досадой ушел, когда я просила его разъяснить мне неясное в его писании место.

Мне досадно, что я приношу жертвы, а этой досадой обесценивается мой труд. Я не дала его, я допустила, чтоб у меня его взяли. Как говорит Сенека: qu'il s'est laissé prendre, ce qu'il n'a pas su retenir *.

Сегодня теплый день, ясно, паутина летает и блестит, и я ходила купаться, а Лев Николаевич тоже ездил на велосипеде.

Какая странная история этого старого, отставного генерала Зюссермана. Ему было за 70 лет, он на войнах был, а погиб от дерева, которое рубили в саду, и оно упало ему прямо на голову и наповал его убило. Осталась вдова, дочери, сыновья. Как печально у них теперь!

Мучает меня то, что я с Сашей сегодня не занималась; много было хозяйственной суеты.

12 сентября. Второй день в Москве, в полном одиночестве с няней, и очень мне хорошо. Миша ходит в лицей, приходит только к обеду, Таня остановилась у Вульф, и я мало ее вижу. По утрам хожу к зубному врачу, который меня мучает мерками, горячей красной мастикой и прочими неприятностями вставных зубов. Настал тот тяжелый

---

* он допустил, что у него взяли то, что не сумел удержать *(франц.)*.

момент, что надо зубы вставлять, упал еще один передний зуб, и безобразия и неудобства я не выношу. Трудно будет и от фальшивых зубов, я уже это вижу. Хорошо мне здесь потому, что нет чуждых, тяжелых посетителей, посещающих Льва Николаевича, что нет сложных семейных и супружеских отношений ни с кем; что нет разговоров о духоборах, о правительстве, о статьях и письмах за границей, об обличении действий правительства; нет требований разных от моей личности и упреков... Как я ото всего устала, и как мне нужен отдых! Поиграла вечером и пописала немного материалы к повести, которую очень хочется написать[47]. Из дому известий не было еще. Здесь еще никого не видала, но очень хочется видеть Сергея Ивановича, а главное, слышать его игру. Очень надеюсь, что он придет в мои именины и поиграет мне.

14 сентября. Вчера была опять у зубного врача, день весь сидела дома, шила, читала, вечером играла на фортепьяно. Учу две вещи: инвенцию Баха в 2 голоса и сонату Бетховена. Плохо идет, долго надо учить. Вечером сговорились с Таней встретиться у Колокольцевых, чтоб там увидать Варю Нагорнову, но она не приехала еще из деревни. Там с детьми и молодежью болтали и даже плясали; я тоже с Сашей Берс прошлась вальс и глупо радовалась, когда мне говорили, что я необыкновенно легко вальсирую и хожу.

Сегодня провела день полный движенья. С раннего утра побежала по конке, с корзиной на Смоленский рынок покупать грибы. Грибов на торгу было очень много: я купила послать с Таней в Ясную Поляну, где таких белых грибов никто и не видал. Купила и винограду; все завезла к Вульф, где остановилась Таня, и потом, наняв извозчика, поехала на могилки Ванечки и Алеши с няней. Могилки эти всегда меня и умиляют и измучают воспоминаниями и болью, неизлечимой ничем.

Страстно захотелось умереть, юркнуть в ту неизвестность, куда ушли мои мальчики. Няня вздыхала и плакала; а я, прочитав «Отче наш» и сделав усилие соединиться духом с младенцами и попросив их о молитве перед богом за нас, грешных, убежала от терзавшего меня горя.

Желая сделать удовольствие няне, я пошла с ней и девочками из деревни в лес за грибами, но мы ничего не нашли. Вернувшись к обеду, я нашла компанию мальчи-

ков к Мише: Митя Дьяков, Саша Берс, Данилевские. После обеда мы с няней варили варенье, грибы, мариновали их и кончили поздно. Конец вечера проиграла, разбирала разные, подаренные мне романсы Танеева, Померанцева и Гольденвейзера. Кстати, Танеев был сегодня без меня с Юшей Померанцевым, и меня не застали. Меня так взволновал визит Танеева, страшно захотелось его видеть, и не знаю теперь, как я это устрою. Бог как-нибудь поможет; а не увижу — и то хорошо.

О доме ничего не знаю, Лев Николаевич не пишет, а Лева о нем не пишет, а только поручения.

15 сентября. Поздно встала, возилась по домашнему хозяйству. Вставляли рамы, мыли полы и двери, выколачивали мебель и тюфяки; потом наливали уксусом грибы, виноград, и проч. и проч. Ничего нельзя было делать, столько было суеты: поденные, маляры, полотеры, и во главе всех няня Анна Степановна. Потом пошла к зубному врачу, он вставил мне зубы очень удачно на вид, но мне так больно растерло губу, что придется опять пойти к нему. Как это все скучно! Пришла домой, узнаю, что Сергей Иванович опять был у меня и не застал. И опять меня это взволновало, захотелось общения с ним. Ходила, было, к князю Урусову в «Княжий двор», чтоб его видеть, но он, к сожалению, уже уехал в деревню. Заходила и в Конюшки, узнать, приехала ли Варенька или Маша Колокольцева, но никого нет. Захотелось вообще общества кого-нибудь близкого. Часов в 8 вечера пришел Сергей Иванович. Мы провели вечер вдвоем, Миша обедал со мной, а вечером ушел к Дьякову. Как жаль, что Лев Николаевич меня преследует за Сергея Ивановича. Какие у нас хорошие, полные содержания отношения! Серьезные, спокойные; сегодня весь вечер, не умолкая, мы говорили об искусстве, о музыке, о писании Льва Николаевича, которого он ужасно любит; о том, как лето провели, как сложна жизнь вообще, но как к старости все суживается и бесконечность, которая перед нами в молодости — бесконечность в целях, в достижении их, в силе умственной и физической, в возможности образования и т. д., эта бесконечность исчезает, и вместо нее воздвигается стена — предел сил и жизни.

И вот тогда эту бесконечность надо перенести за предел *этой* жизни и вступить в область *будущей* жизни. Я уже это сделала, хотя еще в очень слабой степени.

Помоги бог развить в себе это стремление к духовной и религиозной, загробной бесконечности (l'infini). Сергей Иванович сыграл мне свою прекрасную симфонию и очень меня ею взволновал. Прекрасное произведение, и благородного высокого стиля музыка его.

17 сентября. Именины мои, и весь день я глупо ими занята. Переставила мебель, купила цветов недорогих, все убрала, украсила, как в детстве, бывало, готовишься к празднеству. Мой милый Ванечка любил *справлять,* как он говорил языком няни, свои именины и чужие. Получила письмо Саши и обрадовалась ему. Левочка мне не пишет, он меня как будто игнорирует, и мне это больно. Вообще нынче очень *именинно* в доме; я и людей угощала, делала им пирог, гусь, чай с кренделями, и они очень все довольны. Вечером пришли: дядя Костя, Алексей Маклаков, С. И. Танеев, Померанцев, Курсинский; потом разные товарищи Миши: Голицын, Бутенев, Дьяков, Данилевские, Лопухин; пели хором, прыгали, боролись, ели, пили; дядя Костя просил Сергея Ивановича играть, я не решилась,— и он опять сыграл свою симфонию. С музыкой Сергея Ивановича то, что бывает с некоторыми людьми: чем больше их знаешь, тем больше любишь. Я, слушая в третий раз его симфонию, открываю в ней все новые красоты, и это очень интересно.

Была у тетеньки Веры Александровны. Она именинница, лежит в гриппе в постели и совершенно одна. Ее внучка, Вера Северцева, пока при ней, но она уезжает. Поучительно видеть, как, народив одиннадцать детей, остаешься одна на свете. К этому надо быть готовой и не роптать.

Сегодня немного читала, немного играла, покупала на рынке грибы; вообще пусто и бесплодно провела день.

18 сентября. Встала поздно, села играть на фортепьяно. Усердно учила инвенцию двухголосную Баха. Очень трудно. Потом, когда дождь перестал, пошла к зубному врачу и на фабрику Гюбнера покупать бумазей. Встретила совершенно неожиданно Сергея Ивановича. С первого взгляда я его не узнала, потом очень удивилась. Судьба со мной всегда играет в такие проделки. Он шел гулять к Девичьему монастырю, и я, разговорившись, прошла с ним до конки. На фабрику не попала, но к зубному врачу не опоздала. Сегодня он мне, кажется, устроил зубы сов-

сем хорошо. Сергею Ивановичу напрасно рассказала о том, как я хотела лишить себя жизни, замерзнув на Воробьевых горах. О причине и подробностях я, конечно, умолчала. Но острые и больные воспоминания вызвали потребность высказаться.

Против клиник поставили памятник Пирогову [48]. Безобразнейшее произведение искусства! Со всех сторон фигура сделана безобразно, не художественно.

Вернувшись домой, обедала с Мишей, потом играла на фортепьяно четыре часа сряду и очень устала. Пришел Миша с Бутеневым; Миша сел уроки готовить, а я вышивать метки, а Бутенев мне читал, заикаясь, французские «Pensées et Maximes» * вслух. Получила телеграмму поздравительную, запоздавшую, от своей семьи. Минутами меня тянет в Ясную; но как вспомню все сложности и трудности нашей семейной жизни, то опять не хочется ехать, а так бы сидела в тишине, одна, как сейчас. Одни чуждые посетители уж достаточны, чтоб не желать жить в Ясной.

19 сентября. Талантливый человек все понимание и чуткость душевную вкладывает в свои произведения, а к жизни относится вяло и равнодушно. Вчера вникала в романсы Сергея Ивановича. Их у меня теперь много. Музыка этих романсов не только соответствует настроению, но даже почти каждому слову (и какая сильная местами), а вместе с тем его, Сергея Ивановича, характер и стиль выдержаны вполне; я его музыку узнаю везде теперь. В жизни же он такой спокойно-несообщительный, не выражающий никаких чувств, редко высказывающий мысли свои и всегда на вид равнодушный ко всему и ко всем.

А мой еще гораздо, несравненно более талантливый муж! Какое удивительное понимание в его писаниях психологической жизни людей, и какое непонимание и равнодушие к жизни самых близких ему людей! Меня, детей, людей, друзей он совсем не знает и не понимает.

Ветер, пасмурно и грустно. Тянет к музыке и только к музыке. Нездоровится, одиноко, хочется любви, общения с людьми — а где их взять? И всякому хочется любви, а дать ее редко кто может. А то отдаешь ее горячо, самоотверженно, а ее не берут — не нужна любовь, а

---

* Мысли и изречения *(франц.)*.

только в тягость. И большей частью так: линии любви параллельные и не сходятся ═══════, а так ———————— ———————— не бывает почти никогда. И всегда один *любит*, другой *позволяет* себя любить.

22 сентября. Вернулась в Ясную Поляну. В Москве оставила Мишу и няню и пьяного Ивана. Мне жаль было лишиться моего одиночества, возможности играть и вернуться в лихорадочную жизнь, которую мне устроил Лев Николаевич. Здесь были молокане, у которых отняли детей за их сектантство. Лев Николаевич уже раз писал об этом государю молодому, но ничего из этого не вышло. Теперь он опять написал, но, к счастью, государь за границей, и письмо, вероятно, не дойдет [49]. Я сама бы сделала все на свете, чтоб успокоить матерей и утешить детей; но раз *ничего нельзя* сделать, зачем рисковать своей безопасностью. Потом письмо в газеты о помощи духоборам [50], и все ему хочется шума, гласности, риска. А не верю я его доброте и человеколюбию. Знаю я источник всей его деятельности. Слава и слава, ненасытная, безграничная, лихорадочная. Как поверить любви, когда Лев Николаевич своих детей, своих внуков — всех *своих* не любит, а так вдруг полюбил молоканских и духоборческих детей! У него чирей на щеке, он такой жалкий, подвязанный платком, мнителен он ужасно.

Без меня ездил два раза к доктору, и на третий его уже сюда привозили. Все твердил, что у него рак и он скоро умрет; был мрачен, плохо спал. Теперь ему лучше. Ах, бедный, как ему трудно будет расстаться с жизнью и выносить страдания! Помоги ему бог! Желала бы не видеть его конца и не переживать его.

Таня собирается в Ялту, все так же она слаба духом. Маша же слаба и телом, и духом. У Левы с Дорой все хорошо. Коля Оболенский уехал в Москву по делам.

Сейчас переписала Льву Николаевичу немного. Скопировала для Миши фотографии, скроила платьице для маленькой Веры, дочери Ильи-лакея. Ужасно хочется музыки, но только что я заикнулась, что поиграю, обе дочери враждебно на меня налетели.

26 сентября. Суетливо идут дни за днями. Свой свадебный день 23-го провела очень приятно, хотя и без всякого особенного торжества. Было 35 лет нашего супру-

жества, и как ни трудна подчас была моя сложная жизнь, благодарю бога за то, что мы остались чисты друг перед другом и теперь живем мирно и даже еще любовно. Приезжали мои два старших сына, и вся семья собралась, кроме Миши. Теперь и он приехал, чему я очень рада. Из посторонних были Сергеенко и Буланже с сыном 9-ти лет. Буланже уезжает в Англию 28-го, ссылается за распространение идей Толстого.

Лев Николаевич написал уже заключение к своей статье «Об искусстве» и опять переправил его, и я сейчас буду его переписывать. Кроме того, только что переписала ему письмо в «Русские ведомости»[51]. В разных газетах печатают, что немыслимо, чтобы на Казанском миссионерском съезде было предложено отнятие детей у сектантов. А так как это факт и родители отнятых детей приезжали к Льву Николаевичу с просьбой похлопотать о их деле, то Лев Николаевич и написал обо всем этом в «Русские ведомости». Напечатают ли — это большой вопрос.

Два дня жили тихо в семье; сегодня опять посетители: приехал офицер князь Черкасский, учитель гимназии Томашевич. Вчера вечером приехала Лиза Оболенская, и мы ходили с ней сегодня далеко гулять — что за красота была! Шли елочками, потом вдоль посадки и речки, вышли к купальне, прошли в большие елки и кругом вернулись лесной дорогой. Эти переливы из светло-желтого, и во всех тонах, к зеленому и часто красному и темно-бурому листвы осенней — необыкновенно красивы. А там, где елки, эти темные высокие елки, случайно выросли молодые березки; редкий лист самого светлого желтого цвета сквозит на темном фоне прозрачным кружевом. Мы с Лизой все останавливались и любовались даже вслух. Закат был чудесный, светлый и чистый. К Груммонту даль виднелась.

Дорогой я, вопрошаемая Лизой, ей рассказывала о всей истории моей привязанности к Сергею Ивановичу, о ревности Левочки, о том, что я теперь к нему испытываю, и рассказы эти меня взволновали, дома с Машей были тяжелые разговоры о ее будущей жизни и о том, что они будут жить в Покровском у его матери, а я это не одобряла и говорила, что ему, т. е. Коле, надо жить работая или служа, а не кормиться то у одной, то у другой матери. Они укладываются и едут в Крым, и Таня, и Коля, и Маша.

29 сентября. Вчера уехали в Крым Маша с Колей Оболенским. Мне мало было жаль, хотя вообще чувствую более любви к ним обоим, чем в начале их брака. Страх смерти Маши во время ее болезни меня к ней привязал. Коля же добрый, хороший мальчик, но вялый и ленивый. Работать он не хочет, не может и не умеет, и это неприятно видеть.

Были Вера и Маша Толстые. Приезжал из Тулы к Льву Николаевичу тюремный священник, болезненный, кроткий и наивный; говорил, что находит много общего с Львом Николаевичем в своих мыслях и хотел с ним побеседовать. Но меня удивило то, что для того, чтоб поехать к нам, надо было священнику просить разрешения у архиерея. Неужели до такой степени Льва Николаевича считают еретиком? Еще были молокане, они ездили в Петербург с письмами Льва Николаевича к Кони, и еще к разным лицам, которых в Петербурге не оказалось. Дело об отнятии у молокан детей теперь поступит в Сенат, и Кони надеется, что там решат детей возвратить родителям, но что дело может поступить в Государственный совет и тогда затянется года на два[52]. Рассказывали эти молокане, что девочка 2-х лет у монашенки, которая ее очень полюбила и сама негодует, что отняли ребенка у родителей, но хорошо за ней ходит. Девочка эта говорила отцу: возьмем скорей извозчика и уедем отсюда. Мальчики тоже в монастыре, но плохо ухожены, все в насекомых и в грязных рубашках. Просили позволения у монахов выйти за ворота лошадей посмотреть своих. Молоканам же, родителям, раньше свидания их с детьми, монахи сказали, что видеть детей можно только в церкви, и повели их туда. Но когда они пришли в церковь, детей там не было, а было то, что обращали там молокан к православию, и показали этим, чтоб они взяли пример. Настоятель обнял этих приезжих молокан, поцеловал их и сказал им: «Вот вы огорчены, что дети ваши отошли от вас, так и мать-церковь огорчена тем, что вы отошли от нее». Но молокане остались непоколебимы.

Сегодня все уехали: и Андрюша, и Лиза Оболенская, и Толстые, и молокане, и какой-то юноша — Попов, съездивший в Англию к Черткову. Идет дождь, тихо, уединенно и хорошо.

Одно горе: у Льва Николаевича его нарыв на виске не заживает; огромная гноящаяся шишка, красная, кровя-

ная. Три недели она все болит и что-то никаких перемен не представляет.

Дождь нас всех запер дома, и это хорошо для занятий. Надо сверять по поправленным главам дальнейшие главы «Об искусстве», чтоб послать переводчикам.

Третьего дня была в Туле по делу о вводе во владение сыновей, после смерти Ванечки, Ясной Поляной. Я была как попечительница Андрюши и Миши. Много было дела самого разнообразного.

Вчера сделали чудесную прогулку по Засеке, на Горелую Поляну и кругом мимо казенного питомника домой. Закат солнца был поразительно красивый. Народ по шоссе шумно возвращался в пустых, гремящих телегах с базара из Тулы; поденные толпой шли из казенного питомника, откуда высаживали деревца; и при всем этом шуме, точно праздничное, яркое, торжественное освещение солнечного заката прямо против нас всех, возвращающихся домой.

Вечером пили чай у Левы, во флигеле. Выходили на балкон, так было тепло, и чудесная лунная ночь, прозрачные облачка так и гнал южный ветер мимо луны, то открывая, то как бы завешивая ее прозрачной тканью. Сидели поздно, глупо гадали на картах Тане, Лизе Оболенской, Вере и мне. Шили, болтали как-то интимно и дружно. Так распускаются женщины *вовсю* — откровенно и слабо только тогда и только те, которые с детства до настоящей минуты любят и знают друг друга до самой глубины их жизни, характеров и событий. И так ближе всего я с моей сестрой Таней.

30 сентября. Уехала Таня в Крым, куда она везет сына Ильи — Андрюшу. Опустел мой дом, остались Саша и Лева с женой во флигеле. Мне страшно жаль Льва Николаевича. Сколько лет он проводил свои тихие осенние месяцы с своими дочерями: они служили ему, они писали ему, они вегетарианствовали, просиживали длинные, скучные осенние вечера с ним. А я в эти осенние месяцы уезжала с учащимися детьми в Москву, и скучала без мужа и дочерей, и сердцем жила все-таки с ними же, так как в семье моей все-таки любимые мои были Левочка — муж и Таня — дочь. И теперь все переменилось: Маша вышла замуж, а бедная Таня влюбилась, и эта плохая любовь к недостойному ее человеку истомила ее и нас. Она едет в Крым, чтоб одуматься хорошенько. Помоги

ей бог! Через 6 дней и я уеду с Сашей в Москву. Я дотягиваю как можно позднее, но ей пора учиться, она ничего не делает почти, а ей 14-й год. Жизнь Миши тоже меня озабочивает; я постоянно боюсь его нравственной порчи, и думается мне, что семейная обстановка все-таки лучшая для мальчика. Лев Николаевич остается с Левой, но я вижу, что ни тому, ни другому это не особенно приятно. Перевезу и устрою в Москве Сашу и опять вернусь к Льву Николаевичу. Как все это трудно и сложно! Молю бога не ослабевать в моих обязанностях, понимать, в чем они состоят, и выпутываться все с той же энергией из моей все более и более сложной и всесторонне трудной жизни.

Мелкий дождь, тепло; редкие листья все пожелтели, дуб и сирень еще зеленеют своими крепкими листьями. Убиралась сегодня по дому и хозяйству; копировала фотографию: отъезд Маши и Коли; все просили им дать, и я всем разошлю. Учила немного Сашу, которая очень дурно написала изложение. Вечер буду в 5-й раз переписывать «Заключение» к статье «Об искусстве» и буду шить свою денную рубашку, у которой износились кружева, и я делаю мелкие складочки и кружевные прошивки и браню себя за эту привычку к красивому и изящному.

Не позволяю себе, но очень тоскую по Тане. Это 33-летний друг, с которым связана и моя счастливая прошедшая замужняя жизнь. И горе, и радости — всему она сочувствовала, все переживала со мной. Ближе ее и нет никого.

2 октября. Осенняя тишина, листья желтые сплошь и золотятся на солнце; хороший провела день: утро читала Сенеку: «Consolation à Marcia и Consolation à Helvini». Убирала в библиотеке книги. После обеда пошли гулять на Козловку и обратно; грустна опустевшая дорога, по которой столько воспоминаний! Ох, не надо ни воспоминаний, ни сожалений!.. И зачем у меня такой характер, что впечатления разные жизни так избороздили глубоко мою душу. Вернувшись, узнала, что Лева уехал в Крапивну и Дора одна. Я побежала к ней и посидела с ней. Потом мне Левочка дал 10-ю главу своей статьи «Об искусстве», и я из одного экземпляра вносила поправки в другой. Трудная, напряженная механическая работа. Сидела три часа, радовалась, что он декадентов бранит и изобличает их обман. Дает примеры самых бессмысленных стихотворений Малларме, Гриффин, Фер-

херен, Мореас и других. Вечером меня Левочка для моциона пригласил играть в воланы, а я его просила поиграть со мной в 4 руки. И мы очень недурно сыграли септуор Бетховена. Как хорошо, как весело и как легко стало после музыки! Легли поздно, почитала в «Неделе» «О половой любви» Меньшикова[53]. Сколько ни рассуждай об этом вопросе — ничего не решит никто в мире.

Самое сильное, самое лучшее, самое мучительное — это только любовь и любовь, и все остальное группируется и руководится любовью. Художнику, ученому, философу, женщине, даже ребенку — всем любовь дает подъем духа, энергии, силы работать, вдохновения, счастья. Не говорю именно о *половой* любви, а о всякой любви. Я, например, в жизни любила сильнее, лучше, самоотверженнее всего своего маленького Ванечку. Затем все те привязанности к мужу и к другим лицам в моей жизни всегда были сильнее в области душевной, художественной и умственной, чем в области физического влечения. Начиная с мужа, как бы физически он ни отталкивал меня своими привычками неопрятности, невоздержания в дурных наклонностях чисто физических, мне достаточно было его богатого внутреннего содержания, чтоб всю жизнь любить его, а на остальное закрывать глаза. У...а[54] я полюбила за тот мир философии, в который он ввел меня, читая мне Марка Аврелия, Эпиктета, Сенеку и других. Впервые открылась мне им и с ним эта область высокого человеческого мышления, в которой я нашла столько утешения в своей жизни. К Сергею Ивановичу я привязалась тоже посредством не его личности физической, а его удивительного, музыкального таланта. То благородство, серьезность и чистота, которая в его музыке, очевидно, истекает из его души.

Из детей своих любимцем был Ванечка по той же причине: бестелесный, худенький, он весь был — душа: чуткий, нежный, любящий. Это был тончайший, духовный материал, конечно, не для земной жизни.

Помоги и мне бог выйти из области физической и самой духовно утончить свою душу и с очищенным сердцем перейти в ту область, где теперь мой Ванечка.

6 октября. Переехала с Сашей и m-lle Aubert в Москву. Вчера уезжала от Левочки с болью в сердце; давно мне не было его так жалко, как вчера. Одинокий, старый, сгорбленный (он все больше и больше сгибается, вероятно,

от сидячей жизни, от того, что пишет согнувшись, почти целыми днями).

Я убрала его кабинет, привела в порядок все его вещи, белье; приготовила ему все его маленькое хозяйство: овсянку, кофе, разные кастрюлечки, посуду и проч., и проч., мед, яблоки, виноград, сухари Альберт — все, что он любит. Прощался он со мной очень ласково, как будто робко; ему не хотелось со мной расставаться, и я дней через 6 поеду к нему, и мы вместе поедем в Пирогово к его брату, Сергею Николаевичу. Вся надежда на сына Леву и Дору, что они уходят за Львом Николаевичем. Нарыв его прошел, но теперь нос что-то заболел, и Лев Николаевич ужасно струсил. Надеюсь, что ничего серьезного.

Ходила сегодня к зубному врачу, потом к Колокольцевым, потом по делам Льва Николаевича в банк к Дунаеву, чтоб он передал письмо Льва Николаевича в газету об отнятых у молокан детях, взяв в «Русских ведомостях», которые не согласились печатать, передать в «С.-Петербургские ведомости», князю Ухтомскому [55].

Устала, пишу нескладно...

10 октября. Четыре дня не писала, прожила лихорадочные по суете и большого количества дел дни. Ни музыки, ни чтения, ни радости — ничего. Как я не люблю такой жизни! Много заняло времени писание Льва Николаевича. Вносила поправки из одного экземпляра в другой, чистый, переписала все «Заключение». Потом искала русских учительниц Саше, сегодня взяла С. Н. Кашкину, дочь бывшего Сережиного учителя музыки, Николая Дмитриевича Кашкина. Миша упал и ногу зашиб, лежит 3 дня, и в лицей не ходит, и ничего ровно не делает. Несноснейшее пьянство лакеев. Один спился и ушел, другой 3-й день пьян. Никогда ничего подобного не было, ужасно досадно и скучно.

Сегодня провел со мной вечер Сергей Иванович, и осталась какая-то неудовлетворенность от наших отношений, даже отчужденность. Мне не было с ним весело, а неестественно и даже минутами тяжело. Оттого ли, что я получила от Льва Николаевича хорошее письмо и перенеслась душой и мыслями в Ясную Поляну, к нему, оттого ли, что совесть меня мучила, что вмешательство Сергея Ивановича в мою жизнь столько причинило горя и может теперь еще огорчать Льва Николаевича, но что-то

изменилось в моем отношении к Сергею Ивановичу, хотя я в душе все-таки бравировала недовольство Льва Николаевича и уступить свою свободу действий и чувств не хочу, пока не чувствую в себе никакой вины.

Зубы совсем плохо сделаны и придется переделывать, и целая неделя езды к дантисту прошла даром. Опять досадно и скучно!

Завтра концерт чехов, играют Бетховена, квартет Танеева и Гайдна. Очень это весело.

11 октября. Получила письма: Льва Николаевича, Левы и Доры, все о том, что Лев Николаевич не совсем здоров, и решила ехать в Ясную Поляну сегодня же. Квартетный концерт был удивительно хорош. Бетховена квартет сыграли превосходно; квартет же С. И. Танеева был настоящим торжеством музыки. Что за прелестный квартет! Это последнее слово новой музыки; но такой серьезной, сложной, с неожиданными комбинациями гармонии, с богатством мыслей и умением. Я получила полное музыкальное наслаждение. Сергея Ивановича два раза вызвали; аплодировали и ему, и чехам, которые исполнили квартет безукоризненно. Под этим чудным впечатлением уехала я домой, уложилась и за четверть часа приехала на станцию железной дороги. Мне было радостно и на поезде, и утром на Козловской дороге, и весь 1-й день в Ясной, под музыкальным впечатлением.

(Записано после 11-го.)

20 октября. Прожила в Ясной Поляне с Львом Николаевичем от 12-го до 18-го. Здоровье его за эти дни совершенно поправилось. Он уже 17-го ездил верхом в Ясенки и перестал пить Эмс. Жили мы с ним внизу в двух комнатках; только одеваться и раздеваться я ходила наверх, в свою холодную спальню, и совсем распростудилась и захворала: сначала невралгией в голове, потом страшной невралгической болью в руке и плече, а наконец гриппом. Трудна и сера была жизнь этой недели в Ясной Поляне. На дворе сыро, пасмурно, темно. В доме пустынно, холодно, грязно. Сама больна, а писала целыми днями, не разгибая спины, так что были минуты, мне хотелось от усталости смеяться, кричать, плакать. Сначала я с поправленных десяти глав вносила поправки в чистые экземпляры; потом переписывала страшно много. Потом переписанное мною Лев Николаевич опять перемарал и переправил, и

я должна была вносить обратно его поправки в прежний экземпляр. Пишет он путанно, неразборчиво, мелко, не дописывает слов, знаков препинания не ставит... Какого напряжения стоит разбирать всю его путаницу с выносками, разными знаками и номерами!

При невралгии и насморке это было страшно тяжело. Последние два дня приехала М. А. Шмидт и мне немного помогла, так что мы *почти* все кончили, что нужно было переписать и исправить.

Прислуги не было никого, кроме крестьянского малого, почти идиота, который помощник кучера и приходил топить печку и ставить самовар. А иногда я и сама ставила самовар неумело и с досадой, потому что эти принципы Льва Николаевича — делать все самому — лишали меня возможности больше помогать и переписывать ему же. Комнаты мела тоже я и пыль вытирала, и насилу вычистила я эти две комнаты, запущенные в мое отсутствие в высшей степени беспорядка и грязи.

Обедать и ужинать ходили в благоустроенный, чистый и светлый флигель Доры и Левы. Там сначала было непривычно и чуждо, а под конец очень приятно и хорошо.

Левочка-муж был со мной ласков и добр. Трогательно завязывал на больной руке и плече компрессы, благодарил за переписыванье и на прощанье поцеловал даже мою руку, чего давно не делал.

Был еще тяжелый и неприятный переполох в Ясной Поляне во время моего там пребывания. Сосед, молодой негодяй Бибиков, человек пьяный, безнравственный и глупый, отрезал у нас купленную 33 года тому назад у его отца землю, на которой посадка 30-летняя; позвал землемера, поставил столбы с казенной печатью, вырыл межевые ямы и выкопал канаву. Кроме того, увез наш хворост, срубил две березы и утверждает, что земля продана не была, а его. Приезжал земский начальник, урядник, разговоры, прошения, всякие неприятности; бедный Лев Николаевич и Лева — оба очень расстроились, и потому мне особенно это было неприятно.

Дело теперь налажено, но неизвестно еще, как окончится. У нас правосудие плохое.

В Москву вернулась 18-го. Пробегала утро по делам, мерила платье, вечером была в 1-м симфоническом концерте. Играли все Мендельсона: 4-ю симфонию, потом «Сон в летнюю ночь» с хором, потом концерт с скрипачом. Но мне казалось, вяло дирижировал Сафонов.

19-го была свадьба Вани Раевского. Торжественная, грустная, но трогательная по отношению матери и сына. Оба чувствовали всю важность брака и первого как бы разрыва между ними, так как любовь сына разделилась еще на молодую жену. Ее я не поняла еще. Худенькая, болезненная, с робкой улыбкой. Довольно было скучно; очень я приняла к сердцу взволнованное состояние Елены Павловны. Она не могла не вспомнить покойного мужа при таком значительном для нее событии, и мы поговорили об этом и даже плакали. Давно не наряжалась я так, как вчера, и старое тщеславное чувство моей внешности на минуту меня захватило, но слабо.

Сергей Иванович упал, повредил ногу и лежит несколько дней. Не вытерпела, забежала к нему на минутку и сама испугалась, мне А. И. Маслова в симфоническом концерте сказала: зайдите непременно к Сергею Ивановичу, он очень вам будет рад.

Рад ли действительно? А может быть, совсем обратное. У него сидел А. А. Маклаков, и они играли в шахматы. Сергей Иванович был бледен, жалок, как наказанный ребенок. Жаловался, что даже не работается от отсутствия движения и воздуха.

Были письма от Тани и Маши. Все то же тяжелое чувство от дочерей. Маша с своим ленивым, неразумным мальчиком-мужем; Таня с своей болезненной влюбленностью в Сухотина. Точно я сразу потеряла обеих дочерей.

Саша с новой учительницей учится хорошо и старательно.

Бегала сегодня по поручениям Доры и по делу Бибикова к нотариусу. Дора беременна. Она очень нежна, внимательна и добра с Львом Николаевичем и со мной; и так жалка и трогательна своей беременностью и тошнотой.

Сегодня вечер провела с дядей Костей и с Маклаковым. Пусто и бесполезно, но они лучше многих все-таки.

21 октября. Ходила навестить Сергея Ивановича. Он упал и повредил ногу, которая распухла, и теперь он лежит уже несколько дней, и я не могла не пойти к нему. Как всегда, серьезно, просто и спокойно разговаривали. Он мне рассказывал о сектантах, самосжигателях, я ему рассказывала о декадентских сочинениях, из которых де-

лала выписки для Льва Николаевича в Ясной. Потом говорили о музыке, о Бетховене, и он мне рассказывал кое-что из его биографии и дал мне читать два тома из жизни Бетховена[56]. Как всегда, осталось от свидания с Сергеем Ивановичем спокойное, удовлетворенное и хорошее чувство. Он очень просил опять зайти; не знаю, решусь ли. Еще ходила к Наташе Ден — не застала ее. Видела ее бедный уголок. Все эти дочери наши уходят в бедную жизнь, чтоб отдаться и взять любимого человека. А жили в больших домах, с большим количеством прислуги, с хорошей пищей... Видно, ничего нет дороже любви. Была и у Елены Павловны Раевской. Она, видно, больно пережила свадьбу сына и теперь опять подбодрилась. Вечер провела у брата Саши с сестрой Лизой. Разговоры о хозяйстве, наживе, материализм крайний, отсутствие умственных и художественных интересов — ужасающи в моей сестре Лизе. Гости, фрукты, печенья, старательно устроенный чай, гостеприимство Анечки, миленькие девочки, Колокольцевы супруги — и в конце концов бесследно и бесполезно убитый день...

Было письмо от Льва Николаевича, холодное и чуждое. Он постарался ласково отнестись ко мне — и не вышло. Ему, должно быть, досадно, что я живу в Москве, а не с ним, в Ясной, где бы с утра до ночи переписывала ему. А я не могу, не могу больше! Я устала, стара; разбита душой и, может быть, уже избалована. Вспомню неделю, проведенную там: грязь на дворе, грязь в тех двух комнатах, где мы теперь жили с Львом Николаевичем. Четыре мышеловки, беспрестанно щелкавшие от пойманных мышей. Мыши, мыши без конца... холодный, пустой дом, серое небо, дождь мелкий, темнота; переходы из дома в дом к обеду и ужину к Леве, с фонарем по грязи; писание, писание с утра до ночи; дымящие самовары, отсутствие людей, тишина мертвая; ужасно тяжела, сера теперь была моя жизнь в Ясной. Здесь лучше, только надо *полезнее* жить и содержательнее.

23 октября. С утра у зубного врача — опять все сначала; потом была у тетеньки В. А. Шидловской, болтала много и напрасно с Машей Свербеевой. Дядя Костя обедал, потом пошли с ним навестить Сергея Ивановича. Было скучно и совестно, и это *наверное* в последний раз. Побыли там немножко, пришла туда с развязной шутливостью А. И. Маслова, еще стало скучнее и совестнее.

Уехала в концерт квартетный. Играли два квинтета Брамса, очень скучно, я даже дремала.

На душе тяжело; известие о болезни, очень, по-видимому, тяжелой, Андрюши меня очень расстроило. Думала много о Тане; сегодня с ней что-нибудь было особенное, очень уж много о ней думала. Получила письмо от М. А. Шмидт, что Лев Николаевич здоров и бодр; что у него мужики чай пили и проч. Мы легко живем врозь, а прежде этого не было. Но мне не легко без друга, без человека, который бы интересовался моей жизнью, с которым бы можно жить душой вместе. А Лев Николаевич жил со мной вместе *телом* и любил меня только плотской любовью. Эта сторона стала отживать, и вместе с этим отживает желание жить не разлучаясь.

Читала биографию Мендельсона[57] и взяла два тома биографии Бетховена. Но что биографии! Кто узнает душу человека? А творит он душой, и искусство живет духовной жизнью своего творца. Жизнь же материальная часто такая — или плохая, или ничтожная.

Что интересного в жизни Льва Николаевича? Что интересного в жизни Сергея Ивановича? Их любишь не за них, не за жизнь и внешность их, а за ту опять-таки *мечту* бесконечную, глубокую, из которой вытекает их творчество и которую любишь в них чувствовать и идеализировать.

Чувствую себя не нормальной, не уравновешенной. Сегодня так тосковала, что способна бы была убить себя или сделать что-нибудь совсем несуразное, крайнее...

24 октября. Опять у зубного врача. Встала поздно, чувствую себя тоскливо, по-старому, по-осеннему. Точно вокруг меня какие-то нити оборвались, и я одинокая, бесцельная, ничем не связанная, не занятая, никому не нужная... Маклаков привел вечером Плевако, известного адвоката. Как все люди исключительные бывают интересны, так и этот. Видно, он такой человек, которому *объяснять* ничего не нужно; он чуткий, все понимающий и серьезный. Голова широкая, лоб шишками выдающийся, сам широкий, некрасивый, но скорее симпатичный, хотя говорят о нем дурно.

Вечером начала первую главу повести. Я чувствую, что напишу ее хорошо. Но кому дать на суд? Мне хочется совсем секретно и написать, и напечатать ее.

Болит глаз, ложусь спать всякий день около 3-х часов. От моих ни от кого нет известий; а я всем писала вчера, посылая деньги. Стараюсь не тревожиться ни о ком. потому что слишком много на всех ушло бы тревожных сил. Ни за кого нерадостно и неспокойно...

25 октября. Ужасно хочется видеть Льва Николаевича, и весь день по нем тоскую. Часа четыре играла на фортепьяно, чтобы развлечься. Долго сидела у зубного врача, и он меня измучил, и все-таки больно от вставных зубов. Дожила я таки до этой муки, пришлось вставить несколько зубов, а как я этого боялась...

Заезжала к Маше Колокольцевой, говорили о Тане и Маше — моих дочерях, и опять растравила я свое сердце. Вечером пришли Померанцев и Игумнов. Игумнов много играл: и свою увертюру, и Скрябина сочинения, и фугу (органную) Баха, и Пабста кое-что. Разыгрывал романсы Сергея Ивановича Танеева и Юши Померанцева. Я сегодня тупа на музыку и вообще сонна. В понедельник хочу ехать к Льву Николаевичу и с ним в Пирогово.

26 октября. Возила Сашу и Соню Колокольцеву в общедоступный концерт памяти Чайковского. Оттуда там же, в Историческом музее, смотрели выставку картин русских художников. Выдающихся нет. Поражает преобладание осенних пейзажей. Осень была действительно прекрасная нынешний год. Лист держался долго, много было солнечных дней, и впечатление осени — золотое. Приехал Сережа. Как всегда моя сердечная нежность к нему сдерживается какой-то стыдливостью чувства. А всегда хочется его приласкать, сказать ему, как я его люблю, как мне больно его горе. Вечером пришел Гольденвейзер и Наташа Ден с мужем. Гольденвейзер играл превосходно. У него такая изящная, легкая игра: с таким вкусом. Nocturne Chopin, Рахманинова мелкие вещи, Schubert'a Impromptі и проч. Я очень наслаждалась; так много *искусства* было сегодня, и мне хорошо.

27 октября. Выпал снег, блестит белый, в саду, на солнце. Но уже нет того молодого подъема жизненной энергии и той простой непосредственной радости от *первого снега*.

Езда по делам, немного игры на фортепьяно и отъезд в Ясную Поляну.

2 ноября. Была в Ясной Поляне у Льва Николаевича. Утром 28-го ехала с Козловки в санях такая бодрая и готовая на любовь, на дело, на помощь по отношению к Льву Николаевичу. Было ясное солнечное утро: снег блестел, а на небе огромная луна заходила и ясное солнце вставало: красивое, волшебное впечатление утра!

А приехав в Ясную, все сразу не повезло и отбило мне крылья. Лев Николаевич не ласковый, суровый. Потом случилась неприятность: стала я, убирая комнату, заправлять одну из бесчисленных мышеловок, а она захлопнулась и палкой ударила мне в глаз, так что я упала и думала, что ослепну.

Вместо переписыванья Льву Николаевичу пришлось $1^1/_2$ дня лежать с компрессом на глазу. На другой день Лев Николаевич поехал в Тулу, верхом, было 15 градусов мороза, и это очень меня тревожило, и я лежала *одна* в большом каменном доме весь день с закрытыми глазами и с мрачными мыслями о детях своих и об отношении моем к Льву Николаевичу и детям.

Несколько раз вставала писать, глядя хоть одним глазом, переписала все-таки понемногу всю 12 главу «Об искусстве»; ходила во флигель к Леве и Доре обедать и ужинать, и там мне было хорошо.

На другой день мы поехали с Львом Николаевичем в Пирогово, к брату Льва Николаевича — Сергею Николаевичу. Но вечером, накануне нашей поездки, была между нами неприятная сцена, которая произвела тот *надрез* в наших отношениях, которые не проходят даром, а еще больше отдаляют людей, любивших друг друга, друг от друга. Что было? это неуловимо. Собственно ничего. Результат был тот, что я почувствовала опять тот лед сердца его, который столько раз в жизни заставлял меня содрогаться; почувствовала равнодушие полное ко мне, к детям, к нашей жизни. На вопросы мои, приедет ли он в Москву и когда, он отвечал уклончиво и неопределенно; на желание мое ближе, дружнее быть с ним, помогать ему в деле его писания, переписывать, посещать его, обставляя его и здоровой вегетарианской пищей, и заботой обо всем,— он брезгливо отвечал, что ему ничего не нужно, что он наслаждается одиночеством, что он ничего не просит, переписывать ему тоже не нужно — вообще он всячески хотел лишить меня радости думать, что я могу ему быть полезна, уж не говоря приятна. А нам, женщи-

нам, это дороже всего: почувствовать, что мы можем быть полезны или приятны близким нам людям.

Сначала я плакала, потом со мной сделалась истерика, и я дошла до того крайнего предела отчаяния, когда, кроме смерти, ничего не желаешь.

А главное, это ледяное отношение Льва Николаевича ко мне и порождает в сердце ту сильную потребность привязаться к кому-нибудь, заместить ту пустоту, которая остается в сердце от непринятой, отвергнутой нежности к тому, кого законно и просто можно любить. Это большой трагизм, который мужчины не понимают и не признают.

Кое-как совершилось примирение, когда я чуть не сошла с ума от напряженного горя и слез. На другой день, уже в Пирогове, я весь день писала и писала для Льва Николаевича. И все стало нужно: и теплая шапка, которую я догадалась взять, и фрукты, и финики, и мое тело, и мой труд переписыванья — все это оказалось более чем необходимо. Боже мой! Помоги мне до конца жизни Льва Николаевича исполнять *мой долг* перед мужем, т. е. служить ему терпеливо и кротко. Но не могу я заглушить в себе эту потребность дружеских, спокойно заботливых отношений друг к другу, которые должны бы быть между людьми близкими.

И несмотря на ту боль, которую мне сделал Лев Николаевич, я мучилась, что он 35 верст ехал верхом, и боялась его простуды и усталости! Теперь он остался в Пирогове у брата, а я вчера уехала из Пирогова; была в симфоническом концерте; прекрасно было: Чайковского серенада C-dur для струнных инструментов и концерт Шумана. Видела много народу, но Сергея Ивановича не было; у него все нога болит.

С Сашей все хорошо, только с m-lle Aubert она не ладит. Миша сообщил мне, что все двойки получает из extemporale, и я рассердилась, т. е. скорее возволновалась, упрекала ему, а он стал возвышать голос и был неприятен.

Очень меня взволновало вчера то, что Сережа был у своей жены, она его вызывала, и видел своего сына маленького, и когда я спросила: что именно было между ним и женой, он сказал: «всего понемножку», но отклонился от подробностей их свидания. Но мне кажется, он стал спокойнее.

Маня кашляет, едет в Cannes за границу.

Здесь в Москве мне спокойнее и лучше, но я сегодня возвращаюсь в Пирогово; послезавтра уедем в Ясную, там я пробуду один день, рождение Доры, и вернусь в четверг, 6-го утром в Москву, откуда уже не уеду. Хочет Лев Николаевич жить со мною врознь — его дело. Я должна воспитывать Сашу и влиять на Мишу; да я и не могу больше жить в Ясной. Прежняя жизнь с детьми была хороша, занята и содержательна; теперь же быть всецело *рабой,* да еще мало любимой (он никого не любит) Льва Николаевича, без *личного* труда, без личной жизни и интереса я уже не могу. Устала от жизни!

7 ноября. Планы мои не все сбылись. Я вернулась в Пирогово в понедельник утром, и уехали мы оттуда только вчера, в четверг. Тяжела была жизнь у брата Льва Николаевича. Это 71 года старик довольно свежий умом, но деспотичный в семье, страшный мизантроп, много читающий, всем интересующийся, но бранящий весь мир — кроме дворян. У него с языка не сходят слова: профессора — это с... дети, прохвосты... купцы — это разбойники, мошенники; народ — уж про народ и говорить нечего, все бранные слова на народ. Музыкальный мир — это тоже дураки, мерзавцы... Ужасно было с ним тяжело. Живут бедно, едят ужасно; бедные дочери, молчаливые перед деспотом отцом, ищут в жизни общения в их глуши с живыми существами. И вот Вера показывает крестьянским ребятам волшебный фонарь, учит крестьянского мальчика по-английски; потом они беседуют с мужиками, шорниками, столярами, о религиозных и философских вопросах. Прежде отец на это сердился, а теперь мать (цыганка) ужасно огорчается этому. Кроме того, у этих трех девушек 2 коровы, лошадь; они сами их кормят, доят и молоко едят, потому что вегетарианки.

Лев Николаевич там продолжал свое писание, а я ему целые дни переписывала. Вечером раз играла им на расстроенном рояле, и все были в восторге: давно никакой музыки не слыхали.

Мы хотели уехать во вторник, но шел дождь, была гололедица — и мы остались. На другой день страшный ветер, я боялась простудить Льва Николаевича, и мы опять остались. Но вчера дошла моя тоска до последних пределов, и мы решили ехать в Ясную. Был опять сильный ветер, Лев Николаевич все 35 верст проехал верхом, бодро и весело, а я ехала в розвальнях и так беспокоилась

о нем, как давно не беспокоилась. Так ничтожны мне показались на свете *все* другие интересы, привязанности, фантазии мои перед страхом простуды, болезни и возможности потерять мужа!

Доехали мы в три часа времени и слава богу не простудились. В Ясной Лева и Дора нас ласково встретили, и таким мне показалась Ясная Поляна раем перед Пироговом! Обедали у Левы, а вечером топили у себя печь; Левочка поправил еще 12-ю и 13-ю главы и дал мне вписать поправки в двойной экземпляр.

Пили весело вдвоем чай. Сегодня утром шел мягкий, пушистый снег, без ветра; в чистом воздухе слегка морозило. Пили вдвоем кофе, убирали свои комнаты, получили письма от всех почти детей и радовались этому; просматривали газеты, а потом я поехала опять в розвальнях на Ясенковскую станцию и в Москву. С Львом Николаевичем простились дружелюбно, и он благодарил меня даже, что я ему так много помогла, переписывая статью «Об искусстве». Сегодня отправили еще 12-ю и 13-ю главы в Англию к Мооду для перевода. С Львом Николаевичем остались опять Лева и Дора и старый его переписчик, Александр Петрович Иванов, отставной поручик, 19 лет тому назад пришедший просить на бедность и оставшийся тогда еще переписывать Льву Николаевичу его статьи после его нравственного переворота.

Дорогой в вагоне я все читала биографию Бетховена, удивительно меня заинтересовавшую. Это один из тех гениев, для которых центр всего мира — это их гений, творчество — и весь остальной мир — это обстановка, принадлежность к гению (accessoire). Через Бетховена я поняла лучше и эгоизм и равнодушие ко всему Льва Николаевича. Для него тоже мир есть то, что окружает его гений, его творчество; *он* берет от всего окружающего его только то, что служит служебным элементом для его таланта, для его работы. Все остальное он отбрасывает. От меня, например, он берет мой труд переписыванья, мою заботу о его физической стороне жизни, мое тело... А вся духовная сторона моей жизни ему совсем не интересна и не нужна, — и потому он никогда не вникал в нее. Дочери ему тоже служили, и он ими тогда интересовался; а сыновья ему совершенно чужие. И все это нам больно, — а мир преклоняется перед такими людьми...

В Москве много дела книжного, банкового — всякого скучного. Саша и Миша мне очень обрадовались, но они

плохи: учатся дурно, и Саша продолжает грубить гувернанткам.

Сегодня вечером успела еще поиграть немного...

10 ноября. Сегодня вернулась из Твери, куда ездила навестить Андрюшу. Вчера утром выехала. Андрюша встретил меня у ворот, он с утра меня ждал и всегда нежно выражает свою радость видеть меня. Он обжегся карболовой кислотой и лежал три недели; теперь все зажило. Мы провели очень хорошо день вместе. Я работала, он сидел со мной, и мы переговорили о многом интимном и его личном. Жизнь как будто отрезвила немного и развила Андрюшу. Он свеж, не пьет, не ведет беспорядочную жизнь и потому бодр и приятен. По его настоятельной просьбе хлопочу об его прикомандировке в Сумской полк в Москву.

Страшно была бы утомительна дорога, если б не биография Бетховена, которую читаю с все большим увлечением. Жизнь всякого человека интересна, а такого гения тем более!

Получила письмо и телеграмму от Тани. Она задержалась в Ялте по случаю нездоровья маленького Андрюши (внука). Приезжает Вера Кузминская, и я ей рада.

Получила письмо от Льва Николаевича. Пишет, что совсем кончает «Об искусстве» и хочет браться за новую работу. Еще пишет: думал о тебе и *понял тебя* (?) и мне стало тебя *жалко* [58]. Во-первых, *как* он меня понял. Он никогда не трудился понять меня и совсем меня не знает. Когда я его просила указывать мне что читать, он указывал мне, что *ему* интересно, а не что мне может быть интересно и полезно. В этом, т. е. чтении, мне много помог покойный князь Л. Урусов, а теперь помогает Сергей Иванович. Когда я чему-нибудь огорчалась — он приписывал это тому, что желудок не в порядке (у меня, такой здоровой); когда я чего-нибудь желала — он или игнорировал, или говорил, что я капризна или не в духе. А теперь он что-то во мне *понял* и *пожалел.* Мне оскорбительна жалость, и я не хочу ее. Если нет любви хорошей, настоящей, дружеской и чистой — мне ничего не надо, я окрепла и сама найду радости и смысл жизни.

11 ноября. Была в лицее узнать о Мише и выслушала тяжелые нападения на лень и дурное его поведение. Какая я несчастная, что всю жизнь я только слышу,

страдая, краснея от стыда, от всех директоров и учителей брань и унижение моим сыновьям.

Есть же такие счастливые матери, которые слышат обратное. Дома опять тяжелый разговор с Мишей, и я решилась сделать все возможное, чтоб отдать его совсем в лицей. Он противится, но я постараюсь настоять на своем.

Ездила по делам, мокрый снег, ветер. Вечером без пользы, но с интересом разбирала сонаты Бетховена и поиграла. Читаю все с увлечением биографию этого величайшего гения в музыке — Бетховена. Приехала Вера Кузминская, и мне не так одиноко. Впрочем, я не одинока: целый мир новой жизни во мне, и мне никого и ничего не нужно *для развлечения*. Я рада видать своих, рада и возвращению Тани и Льва Николаевича, но мало они мне прибавляют для моего внутреннего счастья. Увы! напротив...

12 ноября. Были с Сашей в консерватории на музыкальном вечере. Не утомительно и приятно было. Отличные пианистки выучиваются там. Директор Сафонов очень был любезен, взял меня под руку в антракте и пригласил к себе в кабинет; представил мне какого-то иностранного профессора музыки Риттера, и пришлось говорить по-немецки. Была у меня m-me Ден, а то никого почти не вижу. Утром была в бане. Никого и не хочется видеть.

13 ноября. Ездила по покупкам Доры, написала ей письмо, взяла у мисс Вельш 1-й урок музыки. Сегодня тоскливо и хочется ласкового дружеского общения с кем-нибудь, кого я люблю.

Приехала Вера Толстая; Вера Кузминская несчастна своими дурными отношениями с отцом. Миша ушел в театр, Саша готовит уроки. Пойду наверх, поиграю, все легче будет, а то мутится дух.

Много играла, весь вечер, но без пользы. Что за бесконечное наслаждение в музыке Бетховена!

14 ноября. Целый день, с утра, скучные счеты с артельщиком. Вечером пришел Ал. Маклаков, играли в 4 руки, но он чересчур плох. Пробовали симфонии Мендельсона, Шуберта (прелестная трагическая симфония), увертюры Мендельсона — и все неудачно очень выходи-

ло; даже плакать хотелось от бессилия исполнить порядочно хоть что-нибудь.

Приехал Андрюша на два дня. Ему показалось так одиноко и скучно после моего отъезда из Твери, что он приехал, отпросившись у эскадронного командира. Доброе письмо от Льва Николаевича[59].

Вера Кузминская получила письмо от матери, что женится М., которого она любила. Она очень плакала и вообще жалка. С отцом у ней отношения плохие, и вчера она над его письмом плакала.

Мороз 10, потом $7^1/_2$ градусов и ветер. Я не выходила сегодня. Завтра симфонический...

15 ноября. Целый день музыка, а удовольствия мало. Утром была с Верой и Сашей на репетиции. Очень не хотелось вставать и ехать, но для них это сделала. Днем сама поиграла упражнения. Был Миша Олсуфьев, расспрашивал о Тане и Сухотине. Я сказала, что она ему отказала. Слово за слово, разговорились о ней намеками разными, и он очень взволновался. Думал ли он когда на ней жениться? Верно, думал, но не решился. «Ваши дочери очень страстные, талантливые и содержательные, но на них страшно жениться», — сказал он. Я тоже ужасно взволновалась.

Обедала Боратынская и дядя Костя. Вечером у Миши были его друзья, а я ездила в симфонический концерт. «Карнавал» Глазунова, «Гарольд» Берлиоза, «Andante» Рубинштейна, хорошая певица пела Грига песни и Генделя что-то. В общем, весь концерт был скучный. С Мишей все неприятна его слабость. А утром он с добротой трогательно раскаивался. Что-то будет! А как тяжело, как тяжело!

То, что Левочка не приезжает, делается и грустно и досадно. С. И. Танеева не видаю, он с больной ногой, а я к нему не иду, потому что не хочу огорчать Левочку, хотя часто досадно, что он со мной не живет и радуется на свое одиночество без меня, а мои действия и привязанности стесняет. А на что я ему, если он не со мной?

16 ноября. Опять весь день музыка. С утра занялась счетами и записью, потом играла часа два с половиной и не могла справиться с VIII инвенцией Баха. После обеда просмотрела симфонии Шуберта и разобрала сонату Бетховена. Потом пришел Гольденвейзер, Дунаев и Варя

Нагорнова. Дунаев прочел нам рассказ Чехова[60], Гольденвейзер играл сонату («Appassionata») Бетховена, прелюдии и ноктюрны Шопена и играл очень хорошо; я люблю его изящную, умную игру, хотя эта же соната, когда я вспомнила, как ее играл Танеев, то это как небо от земли! Ах, это ужасное бессильное желание послушать опять игру этого человека — неужели *никогда* больше оно не удовлетворится! Когда ушел Гольденвейзер, мы с Варей попробовали сыграть «Трагическую симфонию» Шуберта; и как начали, так уже не оторвались. Играли мы больше вдохновением, а не умением. Откуда что бралось. Мы обе были в восторге. Милая, чуткая, талантливая и сочувствующая всему хорошему Варечка.

Уехал Андрюша; мне его всегда жалко. Миша был на цыганском концерте. Саша бегала и играла с Соней Колокольцевой. Известий сегодня ни от кого нет. Из дому я не выходила сегодня. Снег и на точке замерзания.

19 ноября. Брала 2-й урок музыки у мисс Вельш и не могла оторваться от фортепьяно и после урока проиграла еще 4 часа. Ужасно хотелось поиграть с кем-нибудь в 4 руки последнюю неоконченную симфонию Шуберта, но не с кем было. Вера Кузминская в истерическом состоянии была очень жалка. Сережа кашляет и все покупает какое-то имение с Степой, что мне крайне не нравится. Было письмо от Льва Николаевича; он пишет, что хотя скучает без меня, но ему хочется уединения для работы, так как он стар и жить и писать осталось недолго[61]. Для человечества эти аргументы, может быть, и очень важны, но для меня лично — надо делать большие усилия, чтобы думать, что писанье статей важнее моей жизни, моей любви и моего желанья жить с мужем, находить в этом счастье, а не искать его *вне* этого.

Вечером посетила тетеньку Шидловскую, ей за 72 года, и очень с ней скучно; но часто себя представляю в этом возрасте одинокой — и жутко делается.

Гололедица, езда по скользкой мостовой мучительна; вчера лил дождь, сегодня все замерзло и блестит днем на солнце, ночью в белом лунном свете.

Сейчас гадала на картах, и два раза мне вышла *смерть*. И вдруг мне страшно стало умереть; а я так недавно желала смерти. Ну, да будет на все воля божья! Немного раньше или позднее, не все ли равно.

23 ноября. Москва, Хамовнический пер. Начинаю книгу с тяжелого дня. Все равно на свете больше горя, чем радости. Вчера вечером Андрюша и Миша собрали большое общество мальчиков и пошли караулить привиденье в доме Хилковой на Арбате. Под этим предлогом пропадали всю ночь и вернулись домой в 9 часов утра. Всю ночь, до 8 утра, я их ждала с таким волнением, что задыхалась просто. Потом я плакала, сердилась, молилась... Когда они проснулись (в первом часу), я пошла к ним, делала им выговор, потом разрыдалась, сделалось у меня удушие и спазма в сердце и горле, и весь день я лежала, и теперь как разбитая.

Мальчики присмирели, особенно Миша; его совесть еще помоложе, почище. От Левы было письмо; огорчается, что отец злобно спорит, кричит и горячится.

От Тани телеграмма вчера из Севастополя, она едет домой. Что-то она будет делать! Бедная Маша не поправилась и все слаба и плоха. Получила от нее письмо. Сережа тих и очень приятен своим умом, музыкальной талантливостью и деликатностью.

Мороз и снег. Читаю 3-ю часть биографии Бетховена и в восторге от него. Взяла еще один, 3-й урок музыки и сейчас, от 11 до 1, упражнялась на фортепьяно.

24 ноября. С утра отправилась в лицей к директору по поводу Миши. Опять он требовал полного поступления, опять уговоры Миши, его несогласие — и на все руки отпадают.

Потом в Думе подавала заявление Миши для поступления в вольноопределяющиеся [62]. Потом свезла Лёвину статью в «Русские ведомости», — перевод с шведского [63].

Вернувшись, переоделась и поехала поздравить именинниц: Дунаеву, Давыдову и Ермолову. Я люблю этот светский блеск, красивые наряды, изобилие цветов, мягкие, учтивые и изысканные внешние формы речи, манер. Как всегда, везде и во все мои возрасты — общее удивление и выражение это мне — по поводу моей будто бы необыкновенной моложавости. Истомин особенно был изысканно любезен. Вернувшись, часа $1^1/_2$ играла на фортепьяно. Вечером был Раевский и брат Петя с дочерью. Ночью от 12 до 2-х опять играла. Мне хочется двигаться вперед и нет возможности найти время. Сережа играл очень приятно. 10 гр. мороза, луна.

Сергей Иванович ни разу у меня не был. Он что-нибудь слышал о ревности Л. Н. и вдруг изменил свои дружеские отношения ко мне на крайне холодные и чуждые. Как грустно и как жаль! А иначе объяснить его холодность и непосещение меня я не могу. Уж не написал ли ему что Л. Н.?

25 ноября. Вернулась из Ялты Таня, и духовно и телесно поправившаяся. Был Илюша, как всегда — за деньгами. Вечером Сергеенко, Дены, шум, разговор, я очень устала. Пропал день даром: ни игры, ни дел, ни чтения — ничего. Пробегала за покупками, послала часы Андрюше к именинам, послала внукам гостинцы, взяла себе билеты в концерты.

Таня говорит, что Л. Н. о жизни в Москве говорил как о *само*убийстве. Так как он будто бы для меня приезжает в Москву, то значит *я* его убиваю. Это ужасно! Я написала ему все это, умоляя его не приезжать[64]. Мое желание сожительства с ним вытекает из моей любви к нему, а он ставит вопрос так, что я его *убиваю. Я должна* жить тут для воспитания детей, а он мне это всегда ставит в упрек! Ох, как я устала от жизни!

26 ноября. Весь день провела в театрах. Утром возила Сашу, Веру Кузминскую и Женю Берс в театр Корша смотреть «Горе от ума». Играли очень дурно, и было мне скучно. Вечером Таня меня упросила ехать с ней смотреть итальянскую актрису Тину ди Лоренцо. Это красивая, с темпераментом итальянка, но, не зная языка и пьесы («Adrienne Lecouvreur»), не очень было интересно смотреть и слушать. Очень я утомилась, почти не играла сегодня, и теперь хотелось бы дома посидеть.

Был брат Петя с дочерью, Дунаев, Сулержицкий... Очень холодно, ветер, у Миши горло покраснело.

27 ноября. Сегодня провела время хорошо. С утра взяла у мисс Вельш 4-й урок музыки, ездила к ней по конке на Якиманку; зашла к Русановым, но ее не застала. Вернувшись, читала, т. е перечитывала еще раз 1-ю и 2-ю части биографии Бетховена, потом писала свою повесть, которой очень недовольна[65], и читала Сенеки «Consolation à Marcia». Я люблю это письмо, оно меня утешает[66]. После обеда хотела играть с Мишей сонату Моцар-

та со скрипкой, но подошел Сережа, и я его посадила. Очень мне было радостно и то, что Миша взял опять в руки скрипку, и просто весело было на них смотреть, на двух братьев, за моим любимым искусством. Миша стал играть хуже, но не совсем разучился. Хоть бы бог дал, чтобы он опять взялся за музыку. Сколько он узнал бы радости и утешения!

О Льве Николаевиче известий нет. Какая-то глухая тоска и забота о нем сидит в моем сердце; но рядом и недоброе чувство, что он добровольно живет врозь с семьей и сложил с себя уже очень откровенно всякое участие и заботу о семейных. Я ему больше писать не буду; не умею я так жить врозь и общаться одними письмами. О Сергее Ивановиче очень скучаю. Не знаю ничего о нем, здоров ли он или не написал ли еще Л. Н. что-нибудь. А то непонятно, почему он ни разу у меня не был. Очень много играла на фортепьяно, часа четыре всего, и это очень успокоительно. Живу Бетховеном все это время: его мыслями, душой, звуками, и все больше его люблю и им восхищаюсь сознательно и по-новому как-то.

29 ноября. Вчера получила длинное, доброе и благоразумное письмо от мужа [67]. Я очень старалась проникнуться им; но от него повеяло таким старческим холодом, что мне стало грустно. Я часто забываю, что ему скоро 70 лет и несоразмерность наших возрастов и степени спокойствия. На тот грех моя наружная и внутренняя моложавость еще больше мне мешает. Для Л. Н. теперь дороже всего *спокойствие;* а я жду от него порывистого желания приехать, увидать меня и жить вместе. Эти два дня я страшно по нем тосковала и мучительно хотела его видеть. Но опять я это пережила, что-то защелкнулось в сердце и закрылось...

Сегодня весь день провела в музыке. Утром ездила с Сашей на репетицию симфонического, а вечером опять в концерт. Играли 9-ю симфонию Бетховена, и я наслаждалась бесконечно. Еще мне доставила удовольствие увертюра Вебера «Оберон». Утром у двери неожиданно встретила С. И. и обрадовалась очень. Он придет завтра завтракать, назвался сам, и я не могу сказать, что я рада; это так мало времени; а у меня всегда в душе желание еще когда-нибудь пожить с ним долго, как жили те два лета, и, главное, его послушать! Обедал Стахович Алексей.

Опять за Таню страшно: что-то и он, и она не спокойны вместе, а он так красив и так страстно пел сегодня серенаду Дон-Жуана.

Перечитываю Сенеку и продолжаю читать биографию Бетховена. Она длинна, а времени мало.

30 ноября. Приходил завтракать С. И., принес с собой добродушное веселье, спокойствие и ласковость ко всем. Наблюдала его по отношению к Тане, но ничего не могла заметить.

Была еще Сафонова и ее две девочки у Саши, и Соня Колокольцева. Девочки весело катались в саду на коньках. Потом приехал из Ясной Маковицкий [68] и стал ломаным русским языком мне рассказывать, что Л. Н. бодр и много работает, и посылает длинную, длинную статью в «Северный вестник». Я ушам своим не верила, я просила его повторить, и он с особенным удовольствием это повторил.

Почти три года тому назад, за две недели до смерти Ванечки, была гадкая, страшная ссора у нас с Л. Н. за то, что он тихонько от меня отдал не мне, по моей просьбе, не Стороженко, по его просьбе (в пользу бедных литераторов), а Гуревич в ее журнал этот прекрасный рассказец «Хозяин и работник». Хотя я отстояла тогда и свои права для 14-го тома, и права изданий «Посредника», и мы выпустили этот рассказ одновременно с Гуревич, что ее страшно злило, но вся эта история тогда чуть не стоила мне жизни или рассудка [69]. И вот тогда он мне дал честное слово, чтобы никогда не делать мне больно воспоминанием этой истории,— *ничего не печатать в «Северном вестнике».* Неужели честное слово, ну хотя и просто обещание ничего для него не значат? Я хотела ему телеграфировать, напомнить об его слове, но раздумала. Но пережила я сегодня опять всю прошлую историю, всю боль, все страдания.

В первую минуту я хотела лишить себя жизни, потом хотела уехать куда-нибудь, потом проиграла на фортепьяно часов пять, устала, весь день ничего не ела и уснула в гостиной, как спят только в сильном горе или возбуждении — как камень повалилась.

Написать, рассказать весь трагизм моей жизни и моих сердечных отношений, моей любви к Л. Н. невозможно, особенно теперь.

10 декабря. Прошло десять дней с тех пор, как я писала свой дневник. Что было? Трудно собрать все события, тем более что все было тяжелое и многое еще новое и тяжелое открылось мне. Постараюсь все вспомнить.

2 декабря я была в концерте «Бетховенский вечер». Ауэр и д'Альбер играли четыре сонаты со скрипкой. Наслаждение было полное, и душа моя успокоилась на время. Но на другой день я увидала в газетах объявление «Северного вестника» о статье Л. Н. Кроме того, Таня со мной поссорилась, упрекая за мое мнимое отношение какое-то к С. И., а я его месяц до того не видала. Я оскорбилась страшно; меня мои домашние всегда умеют сделать без вины виноватой, если я, как делала всю жизнь, не рабски служу и покоряюсь всем требованиям семьи, а изберу какой-нибудь свой путь, как теперь избрала занятие музыкой. И это вина!

На другой день получена была телеграмма от Доры и Левы, что они едут, от Л. Н. ничего. Он не ехал, как он мне после сказал, от ревности к Сергею Ивановичу (какая теперь *ревность,* в наши-то годы, скорее *зависть*, что я полюбила еще одно искусство, а не только его, литературное, и посредством человека постороннего, а не его).

Я так нетерпеливо ждала Л. Н., так готова была ему писать, служить всячески, любить его, не доставлять ему никакого горя, не видать и С. И., если ему это так больно, что известие о том, что после месяца разлуки он не едет ко мне да еще печатает статью в «С. в.», привело меня в состояние крайнего отчаяния. Я уложила вещи и решила ехать куда-нибудь. Когда я села на извозчика, я еще не знала, куда поеду. Приехала на Петербургский вокзал, хотела ехать в Петербург, отнять статью у Гуревич; но опомнилась и поехала к Троице. Вечером, одна, в гостинице, с одной свечой в грязном номере, я сидела как окаменелая и переживала всю горечь упреков моему равнодушному к моей жизни и любви мужу. Я хотела себя утешить, что в 70 почти лет уже нельзя горячо чувствовать; но зачем же обман и тайные от меня сношения и статьи в «С. в.»? Я думала, что я сойду с ума.

Когда я легла и заснула, меня разбудил нянин и Танин голоса и стук в дверь. Таня почему-то догадалась, что я именно поехала к Троице, обеспокоилась и приехала ко мне. Я была очень тронута, но состояние моего отчаяния не изменилось. Таня мне сообщила о приезде Доры и Левы и о том, что Л. Н. приезжает на другой

день. И это уж меня не тронуло. Я слишком долго и горячо его ждала, а тогда уж сломалось во мне опять что-то и я стала болезненно равнодушна ко всему.

Таня уехала, а я пошла к обедне. Весь день (девять часов) я провела в церкви. Я горячо молилась о том, чтоб не согрешить самоубийством или местью за всю боль, постоянно причиняемую мне мужем; я молилась о смирении, о чуде, которое бы сделало наши отношения с мужем до конца правдивыми, любовными, доверчивыми; молилась об исцелении моей больной души.

Исповедь моя была перед богом, так как старец, схимник Федор, так дряхл, что не понимал даже моих слов; он всхлипывал поминутно от нервности и слабости. Что-то было очень таинственное, поэтическое в этом говении; в каменных проходах, келиях, простом народе, бродящих всюду монахах, в молитвах, длинной службе и полном одиночестве среди не знавшей меня толпы молящихся. Вернувшись, вечером я читала долго правила и молитвы по книге, находящейся в гостинице. На другое утро я причащалась в Трапезной церкви. Был царский день (6 декабря), и готовился роскошный для монастыря обед: четыре рыбных блюда, пиво, мед. Посуда: тарелки и кружки оловянные; на столах скатерти, служат послушники в белых фартуках.

Потом я, простояв молебен, пошла бродить по лавре. Цыганка нагнала меня на площади: «Любит тебя блондин, да не смеет; ты дама именитая, положение высокое, развитая, образованная, а он не твоей линии... Дай 1 р. 6 гривен, приворожу: иди за мной, Марью Ивановну все знают, свой дом. Приворожу, будет любить как муж...»

Мне стало жутко и хотелось взять у ней приворот. Но когда я вернулась домой, я перекрестилась и поняла, как это глупо и грешно.

Вернувшись в номер, мне стало тоскливо. Телеграммы, которой я ждала от Тани о приезде Л. Н., не было. Поев, я поехала на телеграф, и там были две непосланные телеграммы: одна от Тани, другая длинная, трогательная от Л. Н., который меня звал домой [70].

Я немедленно поехала на поезд.

Дома Лев Николаевич встретил меня со слезами на глазах в передней. Мы так и бросились друг к другу. Он согласился (еще в телеграмме упомянув об этом через Таню) не печатать статьи в «Северном вестнике», а я ему обещала совершенно искренно не видать нарочно С. И.,

и служить Л. Н., и беречь его, и сделать все для его счастья и спокойствия.

Мы говорили так хорошо, так легко мне было все ему обещать, я его так сильно и горячо любила и готова любить...

А сегодня в его дневнике написано, что я *созналась в своей вине* в первый раз и что это радостно!![71] Боже мой! Помоги мне перенести это! Опять перед будущими поколениями надо сделать себя *мучеником*, а меня *виноватой!* А в чем *вина*? Л. Н. рассердился, что я с дядей Костей зашла месяц тому назад навестить С. И., лежащего в постели по случаю больной ноги. По этой причине Л. Н. страшно рассердился, не ехал в Москву и считает это *виной*.

Когда я стала ему говорить, что за всю мою чистую, невинную жизнь с ним он может простить меня, что я зашла к больному другу навестить его, да еще с стариком дядей, Л. Н. прослезился и сказал: «Разумеется, это правда, что чистая и прекрасная была твоя жизнь». Но никто не видал ни слез его умиления, никто не знает нашей жизни, а в дневнике сказано о *вине* моей! Прости ему бог его жестокость ко мне и несправедливость.

У нас всякий день гости; скучно, суетно. Лева в Москве не в духе. Вчера были для Левы и Доры в Малом театре. Шел «Джентльмен» князя Сумбатова[72]. Сегодня обедает Beaunier, корреспондент французских газет «Temps» и «Débats»[73]. Играть на фортепьяно не приходится. Усиленно переписываю для Л. Н., поправляю корректуры и всячески служу ему.

Вчера ночью страшная невралгия...

11 декабря. Была Гуревич, плакала и представлялась несчастной перед Таней. Л. Н. к ней не вышел. Статью пока он у нее спросил назад. Что дальше будет! Я утратила всякое доверие к правдивости Л. Н. после всей этой обманной истории печатания статьи в «Северном вестнике».

Если б я не жила под семейным деспотизмом, поехала бы в Петербург на концерт Никиша. Музыка опять оставлена. Сегодня уехали в Ясную Дора и Лева. Он очень был раздражителен в Москве.

Вчера вечером был у Л. Н. немецкий актер Левинский, играл сонату Бетховена Гольденвейзер («Appassionata»), и я вспомнила опять, как неизмеримо лучше

играл ее Сергей Иванович. Видела его в концерте Игумнова; по какой-то насмешке судьбы мой билет кресла оказался рядом с его. Я свой купила 2 недели назад, а ему дал Игумнов в день концерта даровой. Бывают такие совпадения. Л. Н. я этого не сказала, чтоб его не огорчить. А мне было так все равно!

14 декабря. У Л. Н. болит что-то печень и плохое пищеварение. Боюсь, что он разболится, как и я болела эти дни. У меня было сильнейшее расстройство печени и желудка. Сегодня страшная метель, и, может быть, нездоровье Л. Н. к погоде.

Вчера, и еще день раньше, он, купив себе коньки, ходил кататься на коньках и радовался, что совсем не устает. И действительно, он бодр, но со вчерашнего дня на него нашло уныние, не знаю отчего. От Гуревич письмо отчаянное, что Л. Н. берет назад статью;[74] и, верно, Л. Н. на меня сердится за это. Чтоб не быть виноватой, я все время прошу Л. Н. делать все, что ему приятно, обещаю ни во что не вмешиваться, ни за что не упрекать. Он упорно, нахмурясь, молчит.

Была сегодня с Верой Кузминской и своей Сашей в опере «Орфей» Глюка. Очень хорошая опера, грациозная, мелодичная. Все в ней так чинно, прилично, воздушно: и хоры, и танцы, и декорации. Вчера была в симфоническом. Прелестная симфония (Pastorale) Бетховена, 1-й концерт Чайковского — остальное скучно.

В сущности, как я ни храбрюсь, в самой глубине души — скорбь о не совсем, не до конца хороших, дружных отношениях с Л. Н. и беспокойство за его здоровье. Все сделала и так искренно и горячо желала хороших отношений! Эх, как трудно, все трудно! Сегодня, когда я уезжала в театр, ко мне с рыданиями пристала какая-то аптекарская жена, прося сначала 600 руб., потом 400 руб. на поправление дел. Ей еще труднее. А мы все искушаем господа бога нашего...

16 декабря. Вечером страшно болела голова. Были две милые Масловы: Анна и Софья Ивановны. Участливые, добрые, живые. Потом Стахович и Горбунов. Сегодня обедала Лиза Олсуфьева и был Ф. И. Маслов, приносил виды Кавказа Л. Н. для его повести[75]. Потом Наташа Ден. Бегала по делам и покупкам. У Л. Н. грипп, и он не

в духе. Немного играла. Чудесный Rondo в сонате Бетховена.

Вчера ездила по светским визитам; везде один разговор: «Что пишет граф?», «Qu'est ce que vous faites pour rester toujours jeune?» * и т. д. Моя моложавость сделалась каким-то необходимым разговором со всеми на свете. А на что она мне? На душе, главное, не радостно; Л. Н. не ласков, и, главное, что-то есть в нем не высказанное, что он таит. Я все на свете бы для него делала, если б он ласково *просил* меня. А его злобный, молчаливый протест вызывает и во мне протест и желание оградить и создать свой душевный мир, свои занятия и свои отношения. С. И. не вижу и стараюсь о нем не думать.

Л. Н. охрип и кашляет.

17 декабря. С утра урок с мисс Вельш на фортепьяно. Потом визит Анненковой и баня. У Льва Николаевича грипп, ему не пишется, он молчаливо угрюм, неприятен и сегодня говорил об отъезде к Маше. Тяжела эта лихорадочная жизнь: если он приезжает, он сердится, что приехал, и все время опять куда-то стремится. Нет этого дружного, спокойного, семейного положения, которое я так бы любила; нет определенности...

В бане удивительное событие: здесь в Москве последнее время много говорили о семье Соловьевых каких-то, у которых умерло на одной неделе трое детей от скарлатины. И вот как раз мне привелось быть рядом в одном отделении с матерью этих детей. Мы разговорились, я мучительно вспоминала и рассказывала о смерти Ванечки и о том, какой выход (религиозный) я искала и отчасти находила в моем горе. Это ее утешало, и потом она спросила, кто я, и когда я сказала, она разрыдалась, бросилась меня целовать, просила меня еще побыть с ней. Милая, красивая и жалкая женщина.

Вечером гости: Чичерин, Лиза Олсуфьева, Маша Зубова, Анненкова, Русанова и С. И. Танеев. Его появление меня испугало из-за Льва Николаевича, и первое время было неловко и страшно. За чайным столом обошлось. Конечно, я рада была его видеть, но еще больше была бы рада его слышать. Но он не играл.

---

* Что Вы делаете для того, чтобы всегда оставаться молодой? (*франц.*)

Видела вчера сон: длинная, узкая зала, в глубине фортепьяно, и С. И. играет свое сочинение. Вглядываюсь, вижу: сидит у него на коленях Ванечка, и я сзади только вижу его кудрявую золотистую головку и белую курточку, и он прислонился к левому плечу С. И. И мне так радостно и спокойно на душе и от музыки, и оттого, что Ванечка у С. И. Стукнули ставнями, и я проснулась. Мотив музыки так ясно помнился мне и наяву; по недолго удержала я его в памяти.

И стало мучительно грустно, что нет Ванечки, что никогда не будет и той музыки, которая успокаивала мое горе, и что никогда не заживет горе Л. Н. от его ревности, и навеки испорчены, без всякой вины моей, и отношения с Л. Н., и простые, хорошие отношения с С. И. вследствие этой ревности. Как тяжела все-таки жизнь! Трудна.

Рассказал сегодня Лев Николаевич: в Кремле рожала женщина. Роды были трудные, она стала умирать, послали в Чудов монастырь за священником. Пришел с дарами иеромонах. Оказалось, что он был когда-то доктором и увидал, что при помощи щипцов и известной операции можно спасти и мать и ребенка. Была ночь; он пошел к себе в келью и принес хирургические инструменты. Операция была сделана этим иеромонахом, и роженица и ребенок были спасены. Говорят, что когда дело дошло до митрополита, монаха хотели расстричь, но потом только перевели в другой город и другой монастырь [76].

Соня Мамонова показала мне сегодня фотографический портрет сына двухмесячного Мани и Сережи. Мы оба с Л. Н. очень взволновались. Бедный и сын и отец.

18 декабря. Поздно встала, ходила пешком в банк по делам денежным детей. Чувствую себя больной и слабой духом и телом. После обеда играла немного, потом читала вслух, сначала брошюрку «Жизнь» [77], а потом Лев Николаевич читал мне и Соне Мамоновой вслух разбор новых французских пьес и их содержание [78]. Все хочется всем выдумать новое, основанное на эффектах и неожиданности, а содержания настоящего мало.

Таня была у Голицыных, рисовала, играла на мандолине; Миша дома. Натура бедная у Миши; сидит, тупо раскладывает пасьянс или бренчит все одно и то же на

рояле, какой-нибудь бедный мотив русской песни. Грустно! С Сашей было неприятно по поводу ее грубости mademoiselle и плохого французского extrait *. Обедали супруги Ден, Сережа Данилевский, вечером зашел Дунаев.

20 декабря. Вчера по покупкам к празднику, и нынче то же. Детям, внукам, невесткам, гувернантке — всем все надо. С трудом и скукою делаю все это. Вчера проснулась рыдая. Вижу во сне, что Ванечка вернулся и весело играет с Сашей, а я обрадовалась, бегу к нему. Потом он лег, и я нагнулась и начала его целовать, а он протянул ко мне губы, по его привычке. И я говорю ему: «Как тебя давно не было, как хорошо, что ты вернулся».

Так все было реально, так живо, что, когда я проснулась, я рыдала и долго после все плакала; Л. Н. удивился, а я не могу остановиться и плачу, плачу. Как болит во мне это горе! Говорят, что грех плакать по младенце; может быть!

Лев Николаевич вчера ездил верхом в типографию, где печатается в «Журнале философии и психологии» его статья «Об искусстве». Вчера же он катался на коньках, а вечером мы с ним ходили на телеграф послать телеграмму его переводчику в Англию [79].

Он все бодрится, а я ему привела лошадь верховую, чего ему очень хотелось.

21 декабря. Да, где оно, людское счастье?

Сегодня опять тяжелый, тяжелый день. Получила Таня письмо от Гуревич, все насчет того, чтоб Л. Н. дал ей статью [80]. Сережа, приехавший сегодня, и Таня напали на меня, что это я не хочу (мне так неприятны эти сношения с «Северным вестником»), и послали меня к Л. Н. просить, чтоб он оставил свое «Введение» к переводной статье Карпентера. Я пошла, говорю, чтоб Л. Н. дал эту статью, если и ему и всей семье этого так хочется. Я почти просила его согласиться. Но для Л. Н. это лучшее средство для достижения обратного, так как он из духа противоречия всегда сделает противное.

Но тут я неосторожно сказала что-то, что его отношения к Гуревич так же мне неприятны, как ему мои к Танееву. Я взглянула на него, и мне стало страшно. В последнее время сильно разросшиеся густые брови его

* изложения (*франц.*).

нависли на злые глаза, выражение лица дикое, а вместе с тем страдающее и некрасивое; его лицо только тогда хорошо, когда оно участливо-доброе или ласково-страстное. Я часто думаю, что бы он сделал со мной или с собой, если б я действительно хоть чем-нибудь когда-нибудь была виновата?

Благодарю бога, что он меня избавил от случая, греха и соблазна. Себе я не даю никакой цены; бог спасал. Днем ездила, визиты отдавала; вечером проводила Мишу в деревню, Веру Кузминскую в Киев, Соню Мамонову домой в Калужскую губернию; Таню в светский спектакль, сама с Сашей пошла на танцкласс к Бутеневым. Буднично и скучно. Вернувшись, застала у Льва Николаевича Чичерина. Днем поиграла часок.

Л. Н. сегодня утром у нас в саду разметал каток и катался на коньках; потом ездил верхом на Воробьевы горы и дальше. Ему что-то не работается.

25 декабря. Неужели я четыре дня не писала дневник? Многое случилось в эти дни. Третьего дня Лев Николаевич отправился на Николаевский вокзал, хотел перехватить отъезжающих: англичанина Синжона и Сулержицкого, которые повезли пожертвованные духоборам деньги, чтоб передать им. Их не застал, страшно устал, пришел пешком домой, озяб, лег, — и когда я вернулась домой, застала его уже больного. Был жар 38 и 5, через час 39 и 4 и еще через час 40 и 2. Накануне Л. Н. еще был в бане, и все вместе — он и захворал. Я сама поехала за доктором, привезла молодого Усова. Л. Н. охотно покорился осмотру, выслушиванью и проч. Предписали Эмс, как всегда, растирание всего тела горячим, горячее на живот. Все бросилось на кишки, печень и желудок. Все застужено от чрезмерного потения в работе. Все сделала, вчера уж было лучше: 38 и 6, сегодня 37 и 5; Лев Николаевич еще слаб, но уже болезнь уступила. Он ел, я ему в три часа снесла Эмс, а в 3½ — овсяный суп, пюре. Он говорит: «Как ты умна, что догадалась принести мне суп, я ослаб немного». Потом он с нами обедал; нас было мало: мы, старики, Сережа, Таня и Саша. Еще Саша Берс и m-lle Aubert. Но дружно, тихо и хорошо было, и Сережа, бедный, такой грустный это время! Перед обедом дети катались на коньках и смотрели зверей в Зоологическом саду, Л. Н. спал, а я играла, упражняясь усердно.

Получили анонимное письмо. Вот копия:

Граф Лев Николаевич!

Бесспорно, что секта Ваша растет и глубоко пускает корни. Как ни беспочвенна она, но при помощи дьявола и по глупости людей Вам вполне удалось оскорбить господа нашего Иисуса Христа, который должен быть нами отмщен. Для подпольной борьбы с Вами, подпольными же, мы образовали тайное общество «Вторых крестоносцев», цель которых — убить Вас и всех последователей — вожаков секты Вашей. Сознаем вполне, что дело это не христианское, но да простит господь и да рассудит нас за гробом! Как ни жаль бывает «своей» руки, но раз заражена она гангреной — приходится ею пожертвовать, жаль и Вас, как брата во Христе, но с уничтожением Вас зло должно ослабнуть! Жребий пал на меня недостойного: я должен убить Вас! Назначаю для Вас этот день: 3 апреля будущего 1898 года. Делаю это для того, что миссия моя — во имя великого святого и Вы можете приготовиться для перехода в загробную жизнь.

Легко, может быть, Вы поставите мне логично вопрос: почему агитация эта только против Вашей секты? Правда, все секты — «Мерзость пред господом!», но закопоположники их жалкие недоумки — не чета, граф, Вам; во-вторых: Вы — враг нашего царя и отечества!.. Итак до «3 апреля».

Второй крестоносец жеребьевой Жребий 1-й.

Декабрь 1897 г. Село Смелое.

На печати сургучом ЕС и дворянская корона. Штемпель из Павлограда 20 декабря.

Письмо это меня так беспокоит, что я ни минуты не могу его забыть. Думаю о нем сообщить екатеринославскому губернатору и здешнему обер-полицеймейстеру Трепову, чтоб приняли какие-нибудь меры. Если захотят, разыщут опасных людей.

Лев Николаевич не выразил беспокойства и говорит, что предупредить ничего нельзя и на все воля бога [81].

Вечером пришли Колокольцевы, Бутенев, Вера Северцева. У Льва Николаевича 38 и 5, и он слаб.

26 декабря. Проводила утром Таню и Сашу в Гриневку и Никольское. Сережа уехал вчера вечером. Спешили, укладывали ящики. Я послала все на елку внукам, потом

подарки и фрукты Доре и ящик с серебром и шубу своей Маше. Все это с Таней; и им корзиночку уложила с едой и фруктами на дорогу. Остались мы с Львом Николаевичем вдвоем; тихо и ничего, хорошо. Ему гораздо лучше, утром 36 и 9, вечером 37 и 5; он спросил вечером суп, печеное яблоко, бодрей и веселей. Меня преследует вчерашнее письмо.

Весь день провела за фортепьяно. Эта бессловесная, музыкальная беседа то с Бетховеном, то с Мендельсоном. Рубинштейном и проч., и проч. даже при моем плохом исполнении доставляет мне огромное удовольствие. Прерывали Митя Олсуфьев, и с ним мы откровенно, просто и дружно беседовали; потом моя холодная, благоразумная и красивая кузина Ольга Северцова и живая (с темпераментом), умная и талантливая М. Н. Муромцева. У ней есть много недостатков, но мне с ней всегда весело. Получила четыре приглашения и себе и детям: к Треповым, к Глебовым, к брату Саше и к Муромцевой с Кони и музыкантами. Она говорила, что зовет и С. И. Но я знаю, что он уехал в «Скит» работать [82].

Вечером приходила Анна Левицкая; потом я проявляла и испортила группу, которую вчера сняла у нас в саду. Завтра симфонический, и я радуюсь.

27 декабря. Была в симфоническом, играли все новые вещи для меня: Франка симфонию, Делиба «Le roi s'amuse», Глазунова в первый раз «Стеньку Разина» — поэму и проч. Новые вещи меня интересуют, но не радуют. Льву Николаевичу лучше, сегодня он выходил в сад и охотно ел. Трудно его, вегетарианца, кормить больного. Придумываешь усиленно кушанья. Сегодня дала ему на грибном бульоне суп с рисом, спаржу и артишок, кашку на миндальном молоке манную с рублеными орехами и грушу вареную.

Был у нас Давыдов Николай Васильевич; я ему говорила об анонимном письме, он один посмотрел на это довольно серьезно. Принимала разные светские визиты: Голицыну, Самарину, Ховриных и т. д. Вечером приятно разговаривала с молодой девушкой, С. Н. Кашкиной. Приходили: Анненкова, Дунаев, Сергеенко, Цингер, Попов; сидели с Л. Н., пока я была в концерте.

Л. Н. сегодня рассказывал, что в день, когда ему заболеть, он шел по Пречистенке и на него вскочила вдруг неожиданно серая кошка и, пробежав по пальто, села на

плечо. Л. Н., по-видимому, видит в этом дурное предзнаменование.

От Маши телеграмма, благодарит за шубу и серебро. Тепло, 2 гр., мокрый снег.

29 декабря. С утра занималась фотографией. Немного играла, упражнялась. После обеда играли с Львом Николаевичем в четыре руки Шуберта «Трагическую симфонию». Сначала он говорил, что это глупости, мертвое дело — музыка. Потом играл с увлечением, но скоро устал. Он слаб после болезни, все под ложечкой болит и похудел он, так мне нынче больно было на него смотреть. Вечером часа на два уезжала в концерт пианиста Габриловича. Играл он, конечно, хорошо, удивительно piano выделывает. Но я все время вижу его старание и умысел, и потому он меня не увлекал. Никого нет лучше Гофмана и Танеева.

Какое томление желать — и, может быть, никогда его больше не услыхать! Вернулись Андрюша и Миша из деревни. Андрюша кашляет и меня тревожит.

Вчера мы с Л. Н. ездили к брату Саше: Л. Н. играл в винт, а я слушала, как мне играла одна пианистка. Сыграла она и тот полонез Шопена, который нам играл летом С. И. Так меня всю и перевернуло от воспоминаний его чудесной игры и его милого общества. И все это кончено — и навсегда!

Была вчера у Столыпина старика. У него молодежь разная собирается и поют «Норму». Живой старик, а ему 76 лет!

Думала о том, что Л. Н., находя в церкви много лишнего, суеверного, даже вредного, отверг *всю* церковь. Так же в музыке, слушая разную чепуху, встречающуюся в последнее время у новых музыкантов, он отверг *всю* музыку. Это большая ошибка.

Как десятками лет отбросили все лишнее, весь музыкальный сор, и остались настоящие таланты, так и из теперешней музыки новой отбросят все лишнее и останутся единицы; в числе их будет, наверное, Танеев.

1898

1 января. Вчера встретили Новый год Лев Николаевич, Андрюша, Миша, Митя Дьяков, два мальчика Данилевские и я. Случилось, что Данилевская заболела, и

вместо того, чтоб у них была встреча Нового года, пришлось мальчикам быть у нас. Очень было приятно, дружно, тихо и хорошо. Мы пили русское донское шампанское, Лев Николаевич — чай с миндальным молоком.

Сегодня с утра играла и стерегла Мишу, чтоб он учился. Потом ездила к старой тетеньке Вере Александровне Шидловской, болтала с ней и кузинами своими; еще была у Истоминых. Обедали вдвоем с Львом Николаевичем. Он все не может справиться здоровьем, мало ел, только суп грибной с рисом и манную кашку на миндальном молоке и пил кофе. Он вял и скучен, потому что не привык быть болен и слаб. Как ему трудна будет дальнейшая слабость и потеря сил! Как ему хочется еще и жизни и бодрости. А скоро 70 лет, в нынешнем уже году в августе, т. е. через полгода. Он все читает один, в своем кабинете наверху, пишет немного писем; сегодня ходил к больному, обожающему его Русанову. На диване, в его кабинете, лежит черный пудель, недавно полученный Таней в подарок от графини Зубовой. Этого пуделя он и гулять брал.

Завтра приезжает наша Маша посоветоваться с доктором. Таня и Саша все еще в деревне; завтра они поедут, вероятно, в Ясную Поляну к Леве и Доре. Мне тоже хочется съездить в Ясную Поляну. Как я ее люблю, и как много хорошего я там пережила!

3 января. Вчера с утра приехали: Стасов, Гинцбург скульптор, молодой художник и Верещагин (плохой писатель). Стасов, пользуясь своими 74 годами, бросился меня целовать, приговаривая: «Какая вы розовая и какая стройная!» Я сконфузилась и не знала, как от него отделаться. Пошли наверх, в гостиную, разговаривали о статье Льва Николаевича «Об искусстве». Стасов говорил, что Л. Н. все вверх дном поставил [1]. Я это и без него знала, ведь он на то и бил!

Была неприятная короткая стычка у нас с Л. Н. по поводу моего упрека, что публика должна записаться на «Журнал философии и психологии» на два года, чтоб прочесть статью Л. Н., помещаемую в книге ноябрь — декабрь и в книге февраль — март; а что если б его вещи печатала я при его полном собрании сочинений, то я бы продавала за 50 коп. и все могли бы читать. Л. Н. начал при всех кричать, что: «Я не даю! Я всем даю!.. Мне упрекают с тех пор, как я все даром отдаю!»

А ничего он мне не дает: «Хозяина и работника» тайком от меня послал в «Северный вестник»;[2] тоже тайком теперь послал свое «Введение», которое вернул;[3] и статью об искусстве старательно охранял от меня,— бог с ним! Он прав, *его* произведения — *его* неотъемлемая собственность; но не кричи уж на меня.

Приехала вчера вечером Маша с Колей. Она всецело отдалась мужу, и для нее мы уже мало существуем; да и она для нас не очень много. Я рада была ее видеть; жаль, что она так худа; рада, что она живет любовью, это большое счастье! Я тоже жила долго этой простой, без рассуждений и критики, любовью. Мне жаль, что я прозрела и разочаровалась во многом. Лучше я бы осталась слепа и глупо-любяща до конца моей жизни. То, что я старалась принимать от мужа за любовь, была чувственность, которая то падала, обращаясь в суровую, брюзгливую строгость, то поднималась с требованиями, ревностью, но и нежностью. Теперь мне хотелось бы тихой, доброй дружбы; хотелось бы путешествия с тихим, ласковым другом, участия, спокойствия...

Вечером была в опере «Садко»[4]. Красивая, занимательная опера, музыка местами хорошая, талантливая. Автора безумно вызывали, овации были большие. Мне было приятно, но опять-таки лучше бы и музыку слушать, если б рядом со мной, как у многих, был тихий, добрый друг—муж.

Езжу и принимаю визиты без конца и очень этим тягощусь...

Вечер. Обедали у нас Стасов, Касаткин, Гинцбург и Матэ, один скульптор и другой гравер[5]. После обеда приехала Муромцева в желтом атласном платье и цветах, но в нетрезвом виде, и на меня навела ужас, как всегда, когда я вижу людей не в своем виде. Позднее приехали Римский-Корсаков[6] с женой, а Муромцева уехала.

Были разговоры об искусстве очень горячие и громкие. Стасов молчал, Л. Н. кричал, а Римский-Корсаков горячился, отстаивая *красоту* в искусстве и развитие для понимания его. Все это написано в его статье[7]. Мы никто не соглашались с Л. Н. в том, что он отрицал и красоту и известное развитие для понимания искусства. Корсаковы несколько раз поминали Сергея Ивановича и с таким же уважением и любовью, как и все к нему относятся, кроме моего свирепого мужа. Как он сегодня шумел

в разговоре! Я всегда боюсь, что он кого-нибудь оскорбит резкостью.

Устала от целого дня общения с людьми... Мальчики танцуют у Лугининых.

5 января. Вчера была на танцевальном утре в доме Щербатова, где собралось все так называемое *общество* Москвы. Поехала для Саши, которая утром вернулась с Таней от братьев из деревни, и посмотреть, как танцуют мои сыновья. Очень было веселое утро и такое стройное, ничего не оскорбляло.

Вечером поздно поехала на вечер к Муромцевой, чтоб ее не обидеть, и там меня очень почетно принимали; было пенье, музыка, и это было приятно. Но в этом хаосе общественной жизни я совсем одуреваю. Кроме того, больны все три дочери: у Маши головная страшная боль с истерическими припадками, у Саши нарыв в ухе был, очень болел и лопнул, у Тани флюс, лихорадочное состояние и мысли о Сухотине, который завтра приезжает.

Лев Николаевич опять здоров, гуляет и со мной ласков. Сегодня ходила пешком на ученическую выставку, ужасно плоха и только некоторые пейзажи не дурны и хорошо напоминают лето, лес и воду. Обедал у нас сегодня Репин и провел весь день до вечера. И, кроме него, было много гостей.

6 января. Ездила на Патриаршие пруды кататься на коньках и много каталась с Маклаковыми и Наташей Колокольцевой. Оттепель и шел дождь. Очень весело и здорово это катанье на коньках. Вечером читала, сидела с Сашей и слушала музыку неизвестного юноши Поля из Киева, который играл Льву Николаевичу и нам свои сочинения и очень талантливо [8]. Л. Н. невесел, потому что ему все еще не работается. Он тоже катался на коньках в каком-то приюте малолетних бесприютных детей; это уже не в первый раз. С утра плакала, вспомнив живого Ванечку, а к вечеру опять взяла тоска по многому, чего хочется в жизни и чего нет и никогда не будет...

Л. Н. все читает материалы кавказской жизни, природы, всего, что касается Кавказа [9].

8 января. Вчера обедал у нас Репин, все просил Льва Николаевича задать ему тему для картины. Он говорил, что хотел бы свои последние силы в жизни употре-

бить на хорошее произведение искусства, чтоб стоило того работать. Лев Николаевич еще ничего ему не посоветовал, но думает[10]. Самому ему не работается. Погода ужасная: ветер страшнейший, везде вода, больше чем весной бывает в Москве; 3 градуса тепла и темнота.

Вчера прочла отзыв хвалебный Кашкина об опере «Садко»[11], которая мне страшно нравится, и так захотелось поехать. Л. Н. меня уговаривал с добротой такой, чтоб я ехала, что я еще больше почувствовала себя виноватой от своего легкомыслия. Если б я не нашла билета, я даже бы обрадовалась. Но надо же такой случай: мой билет был *последний* в кассе. Это был 3-й ряд кресел, а мне хотелось балкон. Пошла наверх, попросила когонибудь мне обменить: внизу слишком громко, а у меня ухо болит. Кто-то меня окликнул: это была учительница Саши, Кашкина, милая девушка. Она послала брата вниз, а меня посадила между собой и матерью. В антракте еще меня окликнула А. И. Маслова. Она была тут же, в балконе бельэтажа, но дальше меня, и с кузиной, и с Сергеем Ивановичем. Я так и обмерла, вспомнив доброе уговаривание Л. Н. Со мной судьба всегда играет такие шутки. В театре 3000 человек; я страшно близорука, никого не вижу в 2-х шагах; увидать с партера сидящих во 2-м ряду балкона — нет возможности, и я все-таки очутилась там, где могла видеть Сергея Ивановича. Когда мы искали свои шубы, он со мной сказал два слова, что кончил симфонию свою для оркестра и что на днях приедет.

Вернувшись домой, я хотела сказать Л. Н., что я видела Сергея Ивановича, и никак не могла. Когда я вошла к нему, мне показалось лицо Л. Н. такое худое, грустное; мне хотелось броситься к нему и сказать, что я не могу никого любить больше его, что я все на свете готова сделать, чтоб он был спокоен и счастлив; но это было бы дико, и потом, кто поручился бы, что он, как Маша, думал бы дурное про меня, подумал бы, что я что-нибудь знала, подстроила, сговорилась...

Больна Саша; у ней нарыв в ухе, и очень мне жаль свою юную подружку моей теперешней жизни. Таню постарому горячо люблю, жалею и слежу с болью за ее сердечной борьбой. Андрюша уехал в Тверь, Миша в лицее. Л. Н. сейчас хотел проехаться верхом, но лошадь хромает, и он ушел пешком.

10 января. Была с Марусей Маклаковой на периодической выставке картин[12], и хотя мало хороших, но я люблю искусство. Кстати об искусстве: вчера А. Стахович, адъютант вел. кн. Сергея Александровича, говорил, что читали у великого князя статью Льва Николаевича «Об искусстве» и говорили с соболезнованием, что «жаль, что это вышло из-под гениального пера Льва Толстого». Еще говорили о нашей семье, и великий князь, встретивший меня у Глебовой в среду, сказал Стаховичу, что был поражен моей необыкновенной моложавостью. Я так к этому привыкла и так дешева эта похвала, что я уж ей не придаю никакой цены. Если б я хоть *что-нибудь* была больше, чем *моложавая жена* Льва Толстого, как я была бы рада! Я говорю в смысле духовных качеств.

Л. Н. спокоен, здоров, но все не может работать. Мы дружны, и просты наши отношения, как давно не были. Я так рада! Но надолго ли?

13 января. Вчера именины Тани. Готовили с утра *вечер.* Таня начала звать к себе гостей, я продолжала. Это *долг* светским отношениям. Днем разбираю картон, в утренней кофточке, растрепанная, ничего не слышу, вдруг передо мной Сергей Иванович и Юша Померанцев. Я так взволновалась, вся вспыхнула и ничего не могла сказать. Не велела никого принимать, а их пустили почему-то. Сидели почти час, говорили о «Садко», о Римском-Корсакове и др. Когда ушел Сергей Иванович, какое-то мучительно тоскливое чувство, что я, чтоб успокоить Л. Н., должна ненавидеть этого человека и, по крайней мере, относиться к нему, как к чужому совсем — а это невозможно.

Вечер был с пением Муромцевой-Климентовой, Стаховича, с игрой Игумнова и Гольденвейзера, с освещением, угощением, ужином, генералом, княгинями, барышнями, и было не весело, но и не скучно. Трудно было. Л. Н. играл в винт с Столыпиным, братом Сашей и др.

Сегодня уехали Маша и Коля.

14 января. Лев Николаевич стал бодрей эти два дня. Саша, слава богу, выздоровела и начала ученье. Миша сегодня тоже занимался и уехал в Малый театр смотреть «Борцы» М. Чайковского.

Живу *старательно,* но часто с глубоким отчаянием в душе... Помоги, господи!

16 января. Таня собирается в Петербург. Я намекнула было, что мне хотелось бы съездить на представления опер Вагнера в Петербург, но на меня Лев Николаевич за это излил такой злобный поток упреков, так язвительно говорил о моем сумасшествии касательно моей любви к музыке, о моей неспособности, глупости и т. д., что мне теперь и охоту отбило что-либо желать.

Весь день провела за счетами с артельщиком, очень внимательно привела в порядок свои книжные, детские и домашние дела, но очень устала и голова болит. Вечером поздно пошла прогуляться с Львом Николаевичем, проводили домой Марусю Маклакову, и с нами был Степа-брат и Дунаев.

Приехали Сережа и Илюша. Поздно вечером тяжелый разговор с Львом Николаевичем. Он все более и более делается тяжел своими подозрениями, ревностью и деспотизмом. Его сердит каждый мой самостоятельный шаг, каждое мое самое невинное удовольствие, каждый час, проведенный мною за фортепьяно.

Сегодня наша Таня и Маруся Маклакова пересматривали фотографии разных мужчин и переговаривались, за кого бы они пошли замуж. Когда дошли до портрета Льва Николаевича — обе закричали: «Ни за что, ни за что!» Да, трудно очень жить под деспотизмом вообще, а под ревнивым — ужасно!

17 января. До поздней ночи меня пилил Л. Н., говоря, что он просит *отпустить* его в деревню, что он мне не нужен, что жизнь в Москве для него убийство, и все в этом роде [13]. Слово *отпустить* не имеет значения, я его *держать* не могу. Если я желала, чтоб он приехал в Москву, то потому, что мне естественно и радостно жить с мужем, которого я привыкла любить, о котором привыкла заботиться. Чтоб он не мучился ревностью — я все сделала и все-таки не заслужила его доверия. Если б он уехал в деревню, он еще больше бы мучился; уехать всем нам — как же быть с Мишей и Сашей, не учить их? Думаешь, думаешь... А равнодушие и бездействие Льва Николаевича в воспитании своих детей всегда мне тяжело, и я ему ставлю это в упрек. Сколько отцов не только воспитывают сами детей, но еще и кормят их своим трудом, как мой отец. А Л. Н. считает, что даже *жить* с семьей для него убийство.

Ходила утром по делам в банк и за покупками. Ветер страшный, 6 градусов мороза. Приехал Илюша на собачью выставку и за деньгами; тут Сережа. Степа-брат уехал, приехала к нам Соня Мамонова.

Сегодня в банке, дожидаясь, читала газету, и до слез меня огорчает дело убийства рабочих взрывом газа на Макеевских шахтах в Харьковской губернии. Описание похорон, горе родных, убитые лошади, искалеченные люди — все это ужасно! Убиты те, которые без света, без радости, в вечной работе несли тяжелую трудовую жизнь под землей! А рядом пишут и кричат о деле Дрейфуса в Париже [14]. Как оно мне показалось ничтожно в сравнении с русской катастрофой.

18 января. Лев Николаевич чистил снег и поливал каток в саду и написал много писем. Он очень молчалив, необщителен и, верно, обидев меня, в письмах жалуется друзьям на меня же.

20 января. Вчера Саша утром собирала складчину для маленького сына отошедшего от нас лакея Ивана. Этого мальчика Леню обварили самоваром, и он лежит в больнице.

Как вышло удивительно третьего дня. Сыновья мои ушли в театр, Сережа смотрел «Садко» в театре Солодовникова. Напал на меня страх, что сгорит театр, и я говорю Льву Николаевичу, что я предчувствую пожар театра. И действительно, в ту ночь, когда разошлась публика, сгорел театр и обрушилась крыша.

Сегодня ездила с Сашей покупать ей башмаки и корсет. Потом разметала снег в саду на катке; Лев Николаевич присоединился ко мне, и мы вместе мели снег, а потом он стал кататься на коньках, а я села играть и упражнялась часа полтора.

Вечером было большое удовольствие. Мария Николаевна Муромцева привезла нам молодого пианиста Габриловича, и он нам играл целый вечер превосходно: балладу Шопена, ноктюрн его же, Impromptu Шуберта, Rondo Бетховена. Пришел Миша Олсуфьев, Маруся Маклакова. Лев Николаевич очень наслаждался музыкой и благодарил этого веселого, добродушного и талантливого двадцатилетнего мальчика.

Прочли с Соней Мамоновой, которая гостит у нас, разбор статьи Л. Н. «Об искусстве». Все критики сдержанно отзываются об этой статье [15].

21 января. Хотела и начала читать корректуру нового издания «Детства и отрочества», и оказалось, что не тем шрифтом набрано, и я отослала в типографию и велела набирать вновь [16].

Вечером разучивала усердно сонату Бетховена. Потом устала, пошла наверх к Льву Николаевичу, а у него фабричный, солдат и еще какой-то темный. Скууу-чно мне стало от этой вечной стены различных посетителей (да еще таких) между мной и мужем.

Весь день идут у нас с Соней Мамоновой и Львом Николаевичем разговоры о деревенской газете для народа. Цель газеты — дать *интересное* чтение народу [17]. События вроде крушения поездов, столкновения пароходов, несчастий в шахтах, приезд китайских, абиссинских и других заморских гостей; описания метеорологические, агрономические, исторические, потом сведения о своем царе и царской фамилии, краткое описание праздников и фельетон — легкое чтение. Лев Николаевич так увлекся этой мыслью, что выписал Сытина (издателя народных книг и картин), чтоб поговорить о материальной стороне дела. Главное, Л. Н. *меня* хочет вовлечь в эту газету. Я очень сочувствую мысли, но с *ним* я бы не могла вести дело, мы слишком разных направлений, а своей непрактичностью Л. Н. испортил бы мне все дело. Не как редактора, а только как сотрудника по беллетристике я взяла бы себе Льва Николаевича.

Устала, тоскливо, иду спать и жить душою и мыслями, той жизнью, которой не живу в действительности. Я сплю мало, но зато думаю, думаю, вспоминаю, даже еще о будущем думаю и чего-то жду от него.

Сегодня Миша выдержал греческий экзамен полугодовой.

22 января. Играла на фортепьяно целое утро, нервна до последней крайности, не спала всю прошлую ночь и лежала с открытыми глазами в темноте, боясь разбудить и потревожить мужа. Сижу я сегодня за фортепьяно и вдруг подумала, что Л. Н. может умереть, что его обещали

убить [18], и вдруг расплакалась... Как ни строг он со мной, как еще много у меня в сердце любви к нему.

Вечером была в концерте — квартет венских профессоров консерватории.

Л. Н. утром гулял с Таниным черным пуделем по саду: каток его растаял. Потом он получил письмо от дамы из Воронежской губ., что там голод, и она просит помощи и совета. Л. Н. написал письмо в «Русские ведомости» о голоде, но вряд ли напечатают [19]. Вечером он был у больного Русанова. Приходил Попов, он едет к Бирюкову и везет ему кое-что от Л. Н. Бирюков из Бауска едет в Англию [20]. Туда же вчера уехала Винер, бывшая сожительница князя Хилкова, тоже сосланного.

26 января. Все эти дни я была больна. Сначала была сильная невралгия в правой стороне головы, потом сильный жар, потом горло. Ездил доктор, молодой Усов, боялся дифтерита, но, по исследованиям, его не оказалось. Удивительные эти молодые доктора: Малютин лечил Сашу — денег не взял, и Усов не взял. Я им послала сочинения Л. Н. с его подписью. Таня все в Петербурге, и Л. Н. очень трогательно мне смазывал горло, так старательно и неловко. Он испугался моей болезни и вдруг стал такой унылый и старенький эти дни. Как мы все странно любим! Вот он, например, спокоен, счастлив, когда я тупо, тихо, скучливо сижу дома и работаю или читаю. Если же я оживлена, предпринимаю что-нибудь, общаюсь с кем-нибудь — он приходит в беспокойство, а потом сердится и начинает ко мне дурно относиться. А мне иногда так трудно вечно подавлять все горячие порывы моего живого, впечатлительного характера!

Вчера я лежала в постели, а к Л. Н. приехали опять три молоканина самарских просить писем рекомендательных в Петербург. Едут хлопотать опять об отнятых у них правительством детях, которых отдали в монастыри [21]. Бедные дети и матери! И что за варварское средство для обращения в православную веру! Это уж никого не убедит, а напротив.

Сегодня приехала моя сестра Лиза из Петербурга, привозила и читала свои статьи о тарифе, о финансах, о крестьянской общине. Ведь придет же в голову женщине заниматься такими вопросами! А она вся ушла душой в финансы России и постоянно общается с министром Витте. Л. Н. и Дунаев нашли многое очень умно, особен-

но о тарифе, недавно введенном в России и уже оказавшемся совершенно негодным [22].

Сегодня меня звали на музыкальный вечер к Муромцевой, и я не могла ехать. Пропустила симфонический в субботу, жалею об увертюре «Эгмонт» Бетховена. Уступила билет Сереже и рада, что ему было приятно.

Вчера в постели и сегодня читала корректуру «Детства», которое меня всякий раз приводит в умиление. Спина болит, ослабела, и внутренняя тоска сосет, не переставая.

Сейчас Л. Н. пришел и говорит: «Пришел посидеть с тобой». Он мне показал две семифунтовые гири, которыми хочет делать гимнастику и которые купил сегодня. Он очень вял и все повторяет: «Точно мне 70 лет». А ему и так в августе, т. е. через полгода, будет 70 лет. Днем он катался на коньках, разметал снег. Но ему умственно не работается, а это его больше всего огорчает.

27 января. День читала корректуру, вечером гости: Цуриков, Боборыкин-старик, бывший орловский губернатор, профессор Грот, Сулержицкий, Горбунов и проч. Очень я утомилась, еще больная, и не могла участвовать ни в разговорах и ни в чем. Л. Н. катался немного на коньках и поправлял корректуры «Искусства» [23].

28 января. Насилу встала, так дурно себя чувствую: и тошно, и все тело ломит, и голова болит. Все-таки много работала над корректурами и делами детей; и вчера и сегодня делала выписки из общей расходной книги в каждую отдельную книгу: Андрюши, Миши и Левы. Была у меня милая М. Е. Леонтьева, и мы с ней близко и откровенно разговаривали об очень серьезных жизненных вопросах.

Сергей Иванович присылал узнать о моем здоровье свою милую старушку няню, Пелагею Васильевну.

Л. Н. опять слишком усиленно разметал снег на катке и катался на коньках. Упражнения гирями тоже начались. Все вместе это сделало то, что опять заболела у него печень, он наелся чечевицы и овсянки не вовремя, а совсем потом не обедал. Сейчас я посылала за Эмсом и дала ему выпить, что он охотно исполнил. Сидит, читает; я теперь читаю «Désastre» Paul Margueritte и его брата. Кажется, это времен франко-прусской войны [24].

Приехала к Льву Николаевичу дама, Коган, и шел разговор о высоких вопросах человеческого назначения и счастия и о путях к нему.

Переписку и поправку работ (пока незначительных) производит теперь Сулержицкий, умный, способный и свободный юноша, когда-то учившийся живописи с Таней в школе на Мясницкой. Л. Н. очень доволен его работой.

29 января. Вернулась Таня из Петербурга. Она ездила для своих изданий картин [25] и очень приятно провела время. Была она у Победоносцева по поводу отнятых у молокан Самарской губ. детей. Победоносцев сказал, что местный архиерей перестарался, и прибавил, что он напишет об этом самарскому губернатору и *надеется, что дело это уладится.* Какая хитрость! Он притворился, что не знал, что Таня дочь Льва Николаевича, и когда она уже сошла с лестницы, то он ее спросил: «Вы дочь Льва Николаевича?» Она говорит: «Да».— «Так вы знаменитая Татьяна Львовна?» Таня ему на это сказала: «Вот то, что я знаменитая, я не знала» [26].

Приехал опять брат Степа с больной, глухой и жалкой женой. Их дело покупки именья в Минской губ. с Сережей свершилось. Вопрос, выгодно ли? Обедал у нас М. Стахович. Лев Николаевич весь день поправлял корректуру статьи «Что такое искусство?». Сейчас вечер, он ходил с черным пуделем гулять, а теперь ест овсянку на воде и пьет чай.

Весь день метель, три градуса мороза до пяти. Мне все нездоровится, спина болит. Часа два играла на фортепьяно, только разбирала. Разобрала много вальсов, ноктюрнов и прелюдий Шопена. Но как плохо! Сколько надо труда, чтоб хоть порядочно играть, а я так плохо играю и так тихо двигаюсь.

30 января. Сегодня я должна себе признаться, что влияние, воздействие на меня Сергея Ивановича несомненно. Сегодня он был у меня, мы мало сидели одни, тут был брат Степа и сын мой Сережа; но когда ушел Сергей Иванович, я почувствовала такое успокоение нерв, такую тихую радость, которые давно не испытывала. Дурно ли это? Ведь мы говорили только о музыке, о его сочинениях, о ключах альта, сопрано и тенора. Он толковал мне и Сереже различие этих ключей. Потом мы говорили об

успокоении совести, когда строго относишься к своим поступкам; о том, как особенно тяжело бывает после смерти близкого человека все то, в чем был виноват перед ним. Его ласковые, участливые расспросы о моей недавней болезни, о детях, о том, чем я была занята все это время,— все это было так просто, так спокойно и ласково, что прямо дало мне лишнее счастье. Как жаль, что ревность Льва Николаевича не допускает нашей дружбы, дружбы и Л. Н., и всей семьи с этим прекрасным, идеальным человеком. Сережа был очень мил с Сергеем Ивановичем, дружелюбен и прост. Сережа его хвалит и любил бы, если б не отец. О себе он рассказывал, что поправляет оперу, задумал новый квартет [27], послал симфонию в Петербург, где ее будут играть 18 или 20 марта. Как бы я поехала!

Была жена Степы; ее глухота очень тяжела. Переписывала для Льва Николаевича новые поправки в статью «Об искусстве», это заняло часа три. Потом обедала у нас Маруся Маклакова, читала мне корректуру «Детства». Получили «Родник» с статьей Левы «Яша Полянов» («Воспоминания детства») [28]. Мне очень трогательно читать их воспоминания с точки зрения детей моих: мне напоминает многое в его сочинении из той моей святой, трудовой жизни среди детей и служения мужу, которой я жила всю молодость. Но *вернуть* своей молодости я бы не хотела. Как много *грусти* в ней, как много *трагизма* в той самоотверженной, безличной жизни, полной напряжения, усилия и любви, с полным отсутствием чьей-нибудь заботы о *моей* личной жизни, о моих молодых радостях, об *отдыхе* хоть каком-нибудь... Не говорю уже о духовном развитии или эстетических радостях...

31 января. Выехала в первый раз после болезни. Внесла за Илюшу 1000 р. в Дворянский банк, получила проценты, вносила платы по разным местам. Скучные, но необходимые *дела.* Приехал Андрюша, опять разговоры о деньгах, о том, что ему еще и еще их нужно. Когда будет та счастливая минута, когда я отделаюсь от денежных мытарств от моих детей! Я думала, раздел меня оградит от них; раздел-то и погубил моих детей [29].

Л. Н. поправлял все утро корректуры «Искусства», потом усиленно чистил навалившийся снег с катка и, надев коньки, катался. Вечером он теперь охотно сидит с гостями, иногда уходит к себе почитать и отдохнуть.

1 февраля. Дурно спала, поздно встала, поправляла корректуру и вписывала в счетные книги вчерашние дела. Преодолела свою лень и поехала на каток, где каталась Саша моя и Андрюша с Мишей, на Патриаршие пруды. Застала там всех и много знакомых. Потом приехали и мои старшие: Сережа и Таня. С большим удовольствием катались на коньках. Лучше всего было кататься с Юшей Померанцевым. Какой хороший, веселый, открытый и талантливый этот Юша Померанцев. Я очень его люблю и вижу в нем хорошие свойства для будущего его.

Дети мои сначала конфузились, что я на коньках, особенно мальчики; но видя, как я незаметно и легко катаюсь, кажется, успокоились, и Андрюша даже прошелся со мной один круг.

Катанье меня все-таки утомило, и я спала после обеда, чего никогда не делаю. Проснувшись, застала гостей: Бутенева, Маслова, художника Касаткина, Баратынскую. Очень хорошо беседовали о славянофилах, об искусстве, о сектантах и Таниной поездке в Петербург. У Льва Николаевича опять болел желудок и печень, он думает — от яблок, а я уверена, что от вчерашней слишком усиленной работы — чистка снега. Он даже не обедал. Вижу с страданием, что он худеет; когда он спит, лежит такой весь маленький на постели, и кости выдаются резко на плечах и спине. Лицо у него эти дни свежее, и он бодр и силен в движениях, но худ. Очень стараюсь его питать получше, но трудно: вчера заказывала ему и спаржу и суп легкий пюре, а все-таки сегодня ему нехорошо. Душевно я стараюсь ничем его не расстроить, ни в чем ему не противоречу и никуда не хожу.

Говоря об искусстве, Л. Н. сегодня вспоминал разные произведения, которые он считает настоящими, например, «Наймичка» Шевченко, романы Виктора Гюго, рисунки Крамского, как проходит полк и молодая женщина, ребенок и кормилица смотрят в окно;[30] потом Сурикова рисунок, как спят в Сибири каторжники, а старик сидит — к рассказу Л. Н. «Бог правду видит». Еще вспоминал, не помню чей рассказ (тоже Гюго), о том, как жена рыбака родила двойню и умерла, а другая рыбачка, у которой 5 человек детей, взяла этих детей, а когда ее муж вернулся, она с робостью рассказывает о смерти матери и рождении двойни, а муж говорит: «Что ж, надо взять». И жена отдергивает занавес и показывает ему детей, уже

взятых ею [31]. И многое еще было упомянуто и пересужено.

Несмотря на нездоровье, Л. Н. все-таки покатался в саду на коньках и погулял немного с Дунаевым.

Мне скучно без музыки, но что делать!

2 февраля. Вчера поздно легли, и я не спала почти всю ночь. Давно не была я так высоко религиозно настроена. В душе моей пробудилось и какой-то широкой полосой прошло то чувство, которое было после смерти Ванечки. Как будто приподняла занавес и заглянула серьезно на тот свет, т. е. на то бестелесное, чисто духовное состояние, при котором все земное делается ничтожно. И это настроение привело меня к молитве, а молитва к успокоению.

Утром читала корректуру, потом пошла навестить Офросимову (Столыпину) и узнала, что она благополучно родила сына еще 31 января. Потом пошла к своей старой тетеньке, Шидловской, и с ней посидела. Обедали молодые Маклаковы. Вечером Таня, Саша и Маруся поехали в «Садко». Я было села поиграть, но приехал Андрюша, мне стало жаль его, и мы вдвоем посидели и хорошо побеседовали. Позднее, когда он, бедный, опять уехал в Тверь, в полк, я все-таки часа полтора поиграла. Л. Н. днем занимался, вечером читал письма духоборов и книгу о Мэри Урусовой, написанную ее матерью [32]. Потом он писал письма и очень радовался одиночеству.

Получила письмо от Маши и Левы [33]. Холодно, ветер, 12 градусов мороза.

3 февраля. Сегодня именины няни, и мы с ней избегали встретиться, чтоб не расплакаться, как прошлые два года, при воспоминании о Ванечке, который так горячо старался *справить,* как он выражался, няпины именины, просил купить ей чашку, платочек, сладостей. Весь день крепилась я от горя, душившего меня, и ни с кем об этом не говорила, только вечером села *заиграть* свою душевную боль теми музыкальными пьесами, которыми заиграл и усыпил мне горе дорогой за все это мне человек.

Ко Льву Николаевичу вечером собралась его компания: Горбунов, Попов, Меньшиков из Петербурга и еще какие-то два новые: один друг Буланже, другой — не знаю [34]. Молчаливые совершенно люди. Разговоров интересных не было; говорили об искусстве, вспоминали

разные содержательные картины. У Л. Н. насморк. Он спохватился утром в корректурах «Искусства», что ему что-то там пропустили; он пошел сначала к Гроту, потом в редакцию «Журнала философии и психологии» и восстановил пропуск.

4 февраля. Взяла урок у мисс Вельш, много играла, вечером был Меньшиков. Я заснула в гостиной, ушла и легла.

5 февраля. Я поехала в концерт консерваторских учеников. Опоздала, к сожалению, не зная, что начало в 8 часов. Просидела весь концерт рядом с Сергеем Ивановичем, и я люблю его разъяснения и комментарии на всякую почти музыкальную вещь. Подвезла его, и он веселился наивно, что лошадь шибко бежит.

Дома вдруг стало страшно, точно я скрываю что-то преступное. А мне так жаль стало Сергея Ивановича, в плохом пальто, ветер, холод, и так естественно было его подвезти. Притом он с палочкой, хромой от ноги.

Завтра он с Гольденвейзером будет нам играть в четыре руки свою симфонию и «Орестею».

6 февраля. Натянутый и довольно тяжелый вечер. Сергей Иванович и Гольденвейзер играли в четыре руки симфоническую увертюру «Орестеи», сочинение Танеева. Слушали все наши с снисходительным равнодушием. Было неловко, никто не похвалил: спасибо Льву Николаевичу, что он с своей обычной благовоспитанностью подошел и сказал, что *тема* ему нравится. Взволнованы и довольны были только Анна Ивановна Маслова и я. Мы слышали «Орестею» и слышали увертюру в оркестре. Фортепьяно нам было только напоминанием.

Л. Н. видела сегодня мало. Он читал, ходил к Гроту, носил корректуры «Искусства», писал много писем, а вечер провел с нами. Он бодр опять, но что-то есть в нем сдержанное и скрытое. Не знаю, куда он девал тетрадь своего последнего дневника, и боюсь, что отослал Черткову [35]. Боюсь и спросить его. Боже мой! Боже мой! Прожили всю жизнь вместе; всю любовь, всю молодость,— все я отдала Л. Н. Результат нашей жизни, что я *боюсь* его! Боюсь, не быв ни в чем перед ним виноватой! И когда я стараюсь анализировать это чувство *боязни*, то я

поскорей прекращаю этот анализ. С годами и развитием я слишком хорошо поняла многое.

Уже то, что он в дневниках своих последовательно и умно чернил меня, короткими ехидными штрихами очерчивая одни только мои слабые стороны, доказывает, как *умно* он себе делает венец мученика, а мне бич Ксантиппы.

Господи! Ты нас один рассудишь!

7 февраля. Читали с Марусей Маклаковой весь почти день корректуры «Отрочества» и «Что такое искусство?». Лев Николаевич все занят корректурами «Искусства», Сережа много играл вечером и иногда очень хорошо. Отчаянная метель весь день.

8 февраля. Опять Л. Н. жалуется на нездоровье. У него от самой шеи болит спина, и тошнит его весь день. Какую он пищу употребляет — это ужасно! Сегодня ел грибы соленые, грибы маринованные, два раза вареные фрукты сухие — все это производит брожение в желудке, а питанья никакого, и он худеет. Вечером попросил мяты и немного выпил. При этом уныние на него находит. Сегодня он говорил, что жизнь его приходит к концу, что машина испортилась, что пора; а вместе с тем я вижу, что отношение его к смерти очень враждебное; он мне сегодня напомнил немного свою тетку, Пелагею Ильиничну Юшкову, умершую у нас в доме. Она тоже не хотела умирать и враждебно, ожесточенно отнеслась к смерти, когда поняла, что она пришла. Л. Н. это не высказывал, но уныние, отсутствие интереса ко всему и ко всем показывают, что мысль о смерти и ему мрачна. Весь день он не выходил, спал днем у себя в кабинете, поправлял корректуры, читал. Сейчас вечер, у него сидит Грот, профессор, принес опять корректуры «Искусства». Л. Н. все мечтал поиграть в винт, и вот его все тошнит, и он так и не мог играть еще.

Заглянула ко Л. Н. сегодня вечером; сидят совсем чуждые мне люди: крестьянин, фабричный, еще какой-то *темный.* Это та стена, которая стала последние годы между мной и мужем. Послушала их разговоры. Один фабричный наивно спрашивает: «А что, Л. Н., вы примерно думаете о втором пришествии господа нашего Иисуса Христа?»

Миша мой исчез на весь день, и я очень недовольна его отлучками от дома. Но ему, восемнадцатилетнему

малому, скучно с фабричными, с стариками и без молодежи. Тяжеловесная и надутая Саша и слишком молода, и не интересна ему как товарка. Это не то, что была живая, участливая и умная Таня.

9 февраля. Сегодня Степа-брат разговаривал с Львом Николаевичем и Сережей. Я вошла — они замолчали. Я спрашиваю: о чем говорили? Они замялись...

Да, бедная, бедная я! Ему всегда мешало во мне именно то, что я любила все изящное, любила *чистоту* во всем — и внешнем, и внутреннем. Все это ему было не нужно. Ему нужна была *женщина* пассивная, здоровая, бессловесная и без воли. И теперь моя музыка его мучит, мои цветы в комнате он осуждает, мою любовь к всякому искусству, к чтению биографии Бетховена [36] или философии Сенеки он осмеивает... Ну, прожила жизнь, нечего поднимать в сердце все наболелое.

12 февраля. Два дня не писала. Много трудилась эти дни над корректурами статьи «Что такое искусство?». Вписывала переводы и поправки; кончила совсем корректуры «Детства и отрочества». Третьего дня вечером Л. Н. ходил к Русановым, а ко мне пришли его племянницы Лиза Оболенская и Варя Нагорнова, а художник Касаткин принес великолепные рисунки: иллюстрации Евангелия французского художника Тиссо. Мы все и Таня разглядывали эти интересные рисунки, очень оригинальные, замечательные в этнографическом отношении и полные фантазии [37].

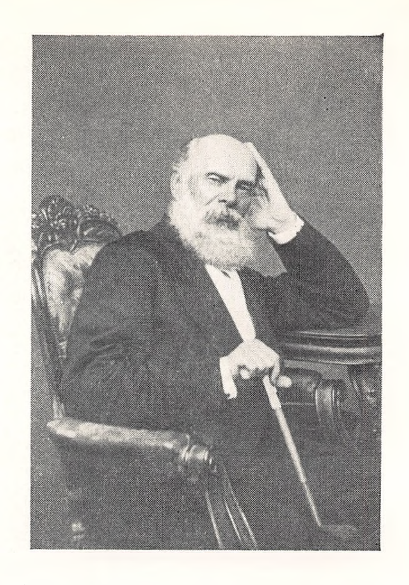
Вчера ходила пешком на Кузнецкий мост, вернувшись, вижу, что Л. Н. катается в саду на коньках. Я поскорей надела коньки и пошла с ним кататься. Но после Патриарших прудов в нашем саду все-таки тесно и невесело кататься. Л. Н. катается очень уверенно и хорошо; он стал опять бодрей и веселей дня три. Еду я вчера в концерт и ясно, ясно стала себе представлять то бедствие народное от неурожаев и бесхлебицы, о котором со всех сторон уже говорят усиленно. Все мне ярко представилось, точно я видела только что все это — детей, просящих есть, а есть нечего, матерей, страдающих от вида голодных детей, а самих тоже голодных,— и ужас на меня напал, какое-то бессильное отчаяние... Ничего не заставляет меня так страдать, как мысль о голоде детей. Вероятно оттого, что когда я кормила грудью детей своих,



С. А. Толстая. 1862 г. Москва.
Фотография М. Б. Тулинова.



Л. А. Берс — мать С. А. Толстой.
Фотография 1860-х годов.
М. Б. Тулинова.



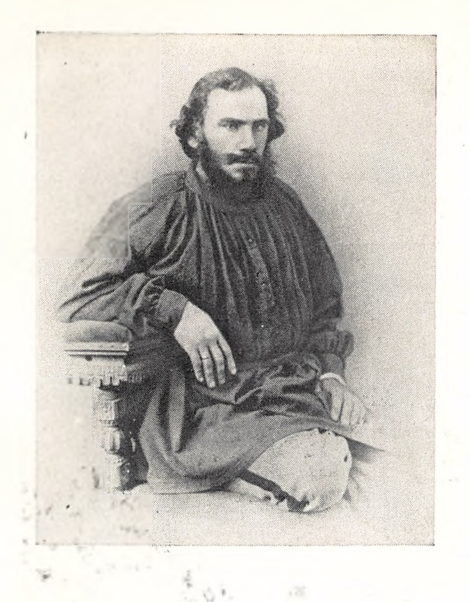
А. Е. Берс — отец С. А. Толстой.
Фотография 1860-х годов.
М. Б. Тулинова.



С. А. Берс и Т. А. Берс. Фотография начала 1860-х годов.



Дом Толстых в Ясной Поляне. 1896 г. Фотография С. А. Толстой.



Л. Н. Толстой. 1868 г. Москва.



Дом, в котором родился Л. Н. Толстой. Село Долгое. 1898 г.
Фотография П. В. Преображенского.

С. А. Толстая. 1889 г. Москва. Фотография фирмы Шерер и Набгольц.



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая в кругу своих детей. 1887 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.



Дети Л. Н. Толстого и С. А. Толстой: Сергей, Лев, Татьяна и Илья. 1870 г. Тула. Фотография Ф. И. Ходасевича.

А. А. Фет с женой М. П. Фет в Ясной Поляне. 1887 г. Фотография М. Л. Стаховича.

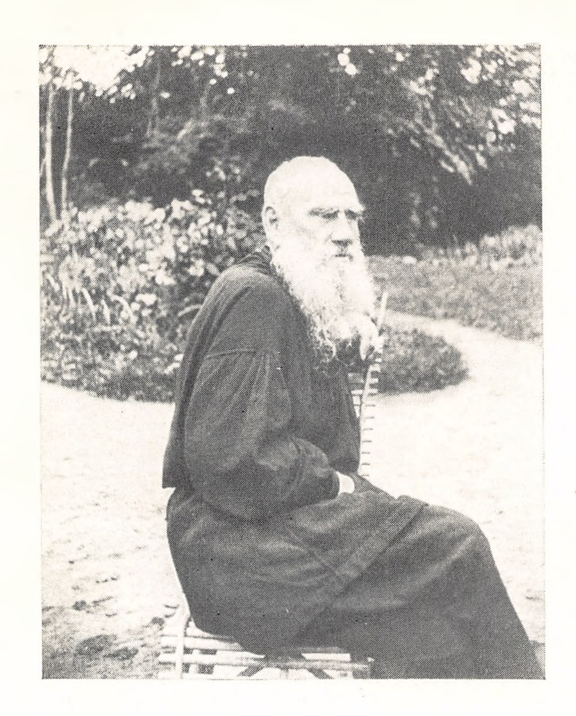


Ванечка Толстой. 1893 г. Москва.
Фотография фирмы Шерер и Набгольц.



Л. Н. Толстой среди крестьян в деревне Бегичевке. 1892 г.
Фотография И. Стадлинга.





Л. Н. Толстой. 1895 г.
Ясная Поляна.
Фотография
П. И. Бирюкова.

Река Воронка. Ясная Поляна. 1897 г. Фотография С. А. Толстой.



С. А. Толстая, С. И. Танеев, М. Л. Толстая, Т. Л. Толстая
и К. Н. Игумнов. 1896 г. Москва.



Л. Н. Толстой за работой в кабинете хамовнического дома. 1898 г.
Москва. Фотография П. В. Преображенского.



Л. Н. Толстой верхом на Тарпане во дворе хамовнического дома. 1898 г.
Москва. Фотография С. А. Толстой.



С. А. Толстая, Л. Н. Толстой, Т. А. Кузминская и Т. Л. Толстая. 1898 г.
Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. 23 сентября 1899 г. Ясная Поляна.
Фотография С. А. Толстой.

«Три Льва»: Л. Н. Толстой с сыном Львом Львовичем и внуком Левушкой. 1899 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.

В центре — Л. Н. Толстой и Ш. Саломон; за столом — С. Л. Толстой, Т. Л. Толстая, М. Н. Толстая; справа — С. А. Толстая. 1899 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.



Л. Н. Толстой, П. П. Трубецкой и И. И. Горбунов-Посадов. 28 августа 1899 г.
Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.



С. А. Толстая, Л. Н. Толстой, С. А. Берс, М. Л. Толстая и М. П. Берс в зале яснополянского дома. 1887 г. Фотография М. А. Стаховича.

то эта мысль, что ребенок голоден, у меня наболела, и мне теперь жалко не своих уж детей, а всех детей на свете.

Сегодня с утра большая неприятность с Мишей. Он не ночевал дома, я ему выговаривала, он стал отвечать, я рассердилась; потом он вышел, стал свистать что-то. Я совсем расстроилась, расплакалась, говорю ему: «Мать плачет, а ты свистишь, где же твое сердце?» Он смутился и раскаялся. Чтоб успокоить нервы и сердце, села играть «Патетическую сонату» Бетховена. Проиграла часа полтора, учила другую сонату; вошел Л. Н., я ему стала о Мише говорить, но его это не интересовало, а он принес мне работу — вносить поправки в статье «Что такое искусство?» из одного экземпляра в другой.

Это взяло часа два. Он пошел снести в типографию эти корректурные листы, а я стала с Верочкой устраивать комнату Доре и Леве.

После обеда немного поиграла; приехали Лева и Дора. Разговаривали, сидели вместе, приходил Грот, говорили о статье; она никому не нравится. Меня возмутило сегодня в этой статье осуждение Бетховена. Я недавно, читая его биографию, еще выше поставила и полюбила этого гениального Бетховена. Но моя любовь всегда немедленно будила ненависть в Льве Николаевиче, даже к умершим. Я помню, что, когда я читала и восхищалась Сенекой, он сейчас же сказал, что это был напыщенный, глупый римлянин, любивший красивые фразы[38]. Надо скрывать все свои чувства.

Бедная Таня что-то невесела; ездила с Сашей кататься на коньках, но не ободрилась. Сережа уехал к Олсуфьевым, и мне без него скучно, я очень его люблю.

Получила ласковое письмо от Андрюши. Написала Маше вчера; сегодня ее рождение, ей 27 лет. И она у меня *пятая*! Никак не могу чувствовать себя старой. Все осталось молодо: и впечатлительность, и рвение к труду, и способность любви, огорчения, и страстность к музыке, и веселье катанья на коньках или вечера. И так же легка моя походка и здорово мое тело, только лицо постарело...

13 февраля. Вечер весь занималась корректурами и вносила поправки и переводы в статью «Искусство». Вчера я разрешила Л. Н. послать Гуревич в «Северный вестник» его предисловие к переводу Сережи Карпентера о значении науки. Разрешила я потому, что хочу после

«Искусства» в 15-й том напечатать это рассуждение о науке; оно как раз по смыслу будет продолжением статьи[39]. Л. Н. очень обрадовался моему согласию.

Вечером Л. Н. писал много, много писем. Второй вечер он пьет соду, наевшись сухих блинов. Бедный! по принципу он не ест ни масла, ни икры. Это очень красиво — его воздержание, но если есть соблазн — то это хуже.

14 февраля. Суета масленицы. Ездила покупать все к вечеру, потом ездили кататься на коньках: Таня, Саша, Лева, я и Дора — только присутствовать, так как она беременна. Обедали в семье своей, все в таком хорошем, добродушном настроении, что было приятно. Л. Н. все работает над корректурами статьи «Искусство». Вечером он пошел навестить купца, старого семидесятидвухлетнего своего последователя, который болен раком в печени[40]. Купец этот жаловался Л. Н., что скучно жить с своими домашними, что и жена и сын *доскам* (т. е. образам) молятся.

Вечером собралось очень много детей и мальчиков; сначала все были вялы, потом играли в разные игры, шарады, пели хором, делали разные штуки гимнастические; некоторые мальчики сели играть в винт. Среди вечера приехали в домино и масках неизвестные люди (потом узнали, что это незнакомые нам Калачевы и Устиновы). Ничего из этого, как всегда, не вышло. Очень жалею, что не могу доставить какое-нибудь удовольствие Леве и Доре.

Мое настроение и моя *внутренняя* жизнь все та же: все то же всплывающее, вечное горе о Ванечке; еду вчера Новинским бульваром, и вдруг предстал в моем воспоминании *тот* страшный день, когда мы вдвоем с Л. Н. везли гробик Вани по этой же дороге... И всегда при этом я молюсь, чтоб бог мне помог очистить и возвысить свою душу до моей кончины, чтоб соединиться с моими умершими младенцами в боге...

И все та же любовь во мне к музыке, которая одна поддерживает во мне душевное равновесие и помогает жить. И все те же сердечные привязанности к некоторым людям, которые способствуют моей вере в хорошие качества людей и в ту помощь, которую они оказывают своими высокими душевными качествами.

Вечер окончился тем, что Гольденвейзер сыграл ноктюрн Шопена, этюд Листа и скерцо Шопена.

15 февраля. С утра валит снег, пасмурно; в доме тишина; Андрюша мне рассказывал ужасные вещи о разврате и падших женщинах. Очень грустно, что это может его интересовать. Л. Н. опять сидел за корректурами. Таня грустна, Саше нездоровится. Просидела день за хозяйственными делами, выписывала семена, что требует всегда много соображения и внимания. Никуда не выходила. Пыталась играть, но все мешали. Приезжала Глебова с П. Стаховичем. Не сужу теперь никого и прошу только бога: «Даждь мне видети прегрешения *мои* и не осуждати брата моего». Обедали Вера Соллогуб и Лева Сухотин, Андрюша, Миша были дома, было семейно и хорошо. Вечером все писала, пришли девочки Бельские и Бутеневы отец с дочерью. Л. Н. с ним и девочками играл в воланы; он здоров и весел. Разговаривали о «Декабристах», Л. Н., когда хотел о них писать, много читал, помнит и рассказывал всем нам [41].

Сережа вернулся от Олсуфьевых; бедный Андрюша уехал в Тверь. Как ему не хотелось! Когда играли в воланы, я опять с тоской вспоминала Ванечку. Как странно, чем меньше музыки — тем больше тоски по Ванечке, чем больше музыки — тем меньше тоски. Музыка Сергея Ивановича совсем уничтожает тоску. Совсем как весы с гирями: куда их переложишь, туда и перетянет.

16 февраля. Понедельник первой недели поста. Люблю я это время; люблю настроение деловой тишины и религиозного спокойствия. Любила и от близости весны — теперь утратила это чувство. Что мне весна! Она не прибавит, а убавит моего счастья своим беспокойным влиянием искания и желания счастья, которого нет и уж не будет.

Перешивала утром платье Саши; потом играла на фортепьяно часа два с половиной; перед обедом пошла к С. А. Философовой, с ней беседовала о детях, внуках, о горестях и разных семейных. Когда и от нее вышла, мне захотелось движенья, воздуха, одиночества, свободы — и я ушла ходить. Опоздала к обеду; на меня добродушно напали, все уже сидели за столом, и я поспешно съела свой постный обед. Буду поститься весь пост, если бог даст. После обеда все разглядывала картинки присланного Л. Н. журнала из Филадельфии. Разговаривали о покупках имений. Потом я взяла переписывать для посылки в Англию конец статьи Л. Н. об искусстве и прописала часа два [42].

Л. Н. читал вечером «Разбойников» Шиллера и восхищался ими [43]. На столе у него видела сегодня черную клеенчатую тетрадь, в которой, я знаю, начаты беллетристические рассказы [44].

17 февраля. Удалось утром опять поиграть часа два с лишком. Потом купила седло подарить завтра Леве к именинам, и куплю Льву Николаевичу мед, финики, чернослив особенный, груши и соленые грибы. Он любит иметь на окне запасы и есть финики и плоды просто с хлебом, когда голоден. Сегодня он много писал, не знаю что, он не говорит [45]. Потом катался на коньках с сыном Левой. Обедали весело и дружно. Вечером сидел Дунаев, я вышивала, так как дела никакого нельзя делать, когда какие бы то ни были гости. А гостей мне сегодня навязали всяких. Был какой-то Аристов к Л. Н. Лев Николаевич ушел в баню, пропадал с Сергеенко два часа, а я должна была выслушивать от этого господина Аристова бесконечные рассказы об орошении полей, разведении рыбы, о его семейных делах, давать ему совет о том, выдавать ли ему замуж свою двадцатидвухлетнюю дочь за богатого пятидесятилетнего старика. Странный вопрос совершенно чужой ему женщине, как я! Потом Сергеенко мне рассказывал о том, как он хочет напечатать книгу о Льве Николаевиче со всевозможными воспроизведениями его портретов, его семьи, жизни и т. д. [46]. Это неприятно при нашей еще жизни.

18 февраля. Именины Льва Николаевича и Левы. Л. Н. не признает празднеств вообще, тем более именины. Леве я подарила очень хорошее английское седло от Циммермана. Весь день просидела за работой: сначала перешивала и чинила серую фланелевую блузу Льва Николаевича; потом вышивала по белому сукну полосу, мою давнишнюю красивую, глупую работу. Когда все гости приходят, то лучше всего при этом шить, а то очень утомительно.

Обедали семейно; пришел дядя Костя Иславин, пришли племянницы Льва Николаевича — Лиза Оболенская и Варя Нагорнова. Сережа, Таня, Лева с Дорой, Миша и Саша — много детей собралось, и я люблю, когда семейные праздники празднуются.

Пили донским шампанским за здоровье именинников. Но впечатление дня — пустота.

Л. Н. ходил с корректурами «Искусства» в редакцию, потом поправлял предисловие к Карпентеру для «Северного вестника» [47].

Вчера вечером меня поразил разговор Л. Н. о женском вопросе. Он и вчера, и всегда против свободы и так называемой *равноправности* женщины; вчера же он вдруг высказал, что у женщины, каким бы делом она ни занималась: учительством, медициной, искусством — у ней одна цель: половая любовь. Как она ее добьется, так все ее занятия летят прахом.

Я возмутилась страшно таким мнением и стала упрекать Льву Николаевичу за его этот вечный,— столько заставивший меня страдать,— циничный взгляд его на женщин. Я ему сказала, что он потому так смотрел на женщин, что до 34 лет не знал близко ни одной порядочной женщины. И то отсутствие дружбы, симпатии душ, а не тел, то равнодушное отношение к моей духовной и внутренней жизни, которое так мучает и огорчает меня до сих пор, которое так сильно обнажилось и уяснилось мне с годами,— то и испортило мне жизнь и заставило разочароваться и меньше любить теперь моего мужа.

19 февраля. Весь день провел у нас Сергеенко; он пишет с Таней драму [48], а главное, составляет биографический сборник о Льве Николаевиче и все выспрашивает. Сегодня Л. Н. ему чертил план дома, который был в Ясной Поляне, в котором родился и рос Л. Н. и который он же продал за карточный долг помещику Горохову в селе Долгом. Он и теперь там стоит, полуразвалившийся, и Сергеенко едет туда с фотографом снять этот дом и поместить в сборник [49].

Когда Л. Н. чертил план этого дома, у него было такое умиленное, хорошее лицо. Он вспоминал: тут была детская, тут жила Прасковья Савишна, тут был большой отцовский кабинет, большая зала, комната *холостых,* официантская, диванная и т. д. Большой был дом. Сергеенко меня допрашивал, что бы могло быть приятно Льву Николаевичу ко дню рождения в нынешнем году, к 28 августа; Л. Н. будет 70 лет. Он думал купить этот дом, свезти его опять в Ясную и поставить на прежнее место в том виде, в каком он был. Или устроить приют для младенцев, у которых матери уходят на работы... Так ничего и не выдумали, а, по-видимому, есть где-то деньги на это.

Л. Н. где-то старательно прячет свой дневник. Всегда прежде я или догадывалась куда, или находила его. Теперь совсем не могу найти и ума не приложу, куда он его кладет.

20 февраля. Третий день метель наводит уныние. Занятия наши все те же: Лев Николаевич усердно переправляет 20-ю главу «Искусства», а я все играю на фортепьяно.

Миша в лицее говеет, а я ни разу не была в церкви на этой неделе, и мне это неприятно.

У Л. Н. были два посетителя — мужики, и что он с ними находит говорить! Сейчас 12 часов ночи, а он хотел нести корректуру к Гроту, на Новинский бульвар; насилу уговорили его остаться.

21 февраля. Утром урок музыки с мисс Вельш. Потом еще играла. Все метель. Пошла гулять, часа полтора ходила. Л. Н. все за корректурой 20-й главы. Сегодня он ездил с Анночкой, внучкой, в Румянцевский музей, показывал ей картины и этнографический отдел, восковые куклы в русских костюмах по губерниям. Вечером толпа народа: мальчики к Мише, дети к Саше и Анночке; Сулержицкий пел, какой-то консерваторский Сац играл на виолончели, Нагорнов на фортепьяно. Были минуты музыкально приятные, но я очень устала.

22 февраля. Ходила к Русанову больному и говорили о Л. Н., о вегетарианстве, о Черткове, которого не одобряли Русановы, говоря, что он ненормальный человек, что на него находят припадки сумасшествия, проявление которого: подозрительность, многословие, деспотизм, суетливость. И вообще в нем мало доброты. Еще ходила к Философовой. Все опять обедали у нас, были блины; до обеда за полчаса я вернулась, мне говорят, что тут граф Олсуфьев и Сергей Иванович Танеев. Я очень обрадовалась, побежала наверх. Они оба сидели с Таней, которая лежала на кушетке. Сергеей Иванович мне принес свое сочинение «Восход солнца» на слова Тютчева для четырех голосов [50] и сыграл мне это. Прекрасно сочиненное произведение, разделяющееся на два настроения: ожидание солнца и его ликующее появление.

Мы мало виделись и мало говорили. Наши беседы с ним опять будут в те одинокие вечера, когда я живу с Мишей и даже Сашей, но без Льва Николаевича и без

Тани. Таня вчера уже наговорила мне много злого по поводу посещения Сергея Ивановича. В чем могут мешать людям дружеские, симпатичные отношения!

23 февраля. День смерти Ванечки. Три года прошло. Как встала — пошла в церковь, молилась, думала об умерших младенцах, родителях, друзьях. Служили для меня панихиду. Потом пошли навестить Машу, жену повара. Она сегодня в родильном приюте родила мальчика. Потом пошла к Жиляевой, бедной курской помещице, у которой сын необыкновенно способный к музыке ученик Сергея Ивановича. Ее не застала, а хотела узнать, как ей живется. Купила цветов, поставила вокруг портрета Ванечки. Купила няне меду и баранок. Вернувшись, застала Л. Н., расчищающего снег с катка в саду. Потом он катался на коньках и так устал, что проспал весь наш обед и обедал один. Он кончил корректуры и больше «Искусством» заниматься не будет. Хочет новую работу начать; впрочем, начатого очень много, какой-то будет конец этих начал!

Вечером Л. Н. играл в карты, в винт, с графом Олсуфьевым, с моим братом Сашей и С. А. Философовой. Соню и Анночку я проводила сегодня домой. Приезжал из Тулы на один день Сережа.

На душе весь день грустно, грустно. Подхожу к церкви сегодня, и вдруг птицы так запели, съютившись на солнце где-то под крышей и около дверей церкви. И солнце яркое, веселое, уже весеннее, несмотря на мороз. Так и вспомнились слова Лермонтова: «И равнодушная природа красою вечною сиять!» [51]. Именно равнодушная, несмотря ни на какие человеческие чувства, несмотря на наши спутанные, измученные, но далеко не равнодушные сердца.

24 февраля. Опять Лев Николаевич жалуется на желудок; изжога, голова болит, вялость. Сегодня за обедом я с ужасом смотрела, как он ел: сначала грузди соленые, слепившиеся оттого, что замерзли; потом четыре гречневых больших гренка с супом, и квас кислый, и хлеб черный. И все это в большом количестве.

Я ем теперь с ним одну пищу, т. е. все постное по случаю великого поста, и все время у меня дурное пищеварение, а я ем вдвое меньше. Каково же ему, шестидесятидевятилетнему старику, есть эту не питательную, дующую его, пищу!

Было письмо от Сергея Николаевича, которое и Л. Н., и нас расстроило. Вера, его дочь, кажется, больна чахоткой[52]. Еще одна жертва принципов Л. Н.! Она недоедала, слабела; непосильно трудилась в школе, уча мальчиков, перекрикивала свой голос, рассказывая ребятам волшебный фонарь; и вот и она, и наша Маша погибают от болезни и слабости, от вегетарианства и переутомления. Я всегда предупреждала их, особенно Машу, что нет у них сил вынести болезнь, если она придет. Так и вышло.

Л. Н. читал о Кавказе, ему хочется писать кавказскую повесть, но нет энергии и сил[53]. Да хорошо ли у него на душе? Только и слышишь о его последователях: того сослали, тот болен, тот ослабел. Сегодня узнали, что Сниджона из Тифлиса выслали на родину. Это тоже последователь, англичанин, который возил деньги духоборам и исповедовал принципы Л. Н.[54].

Разбирала сегодня «Восход солнца», хор на слова Тютчева, музыка Танеева. Очень хорошо, торжественно и передает мысль в два момента различного настроения.

25 февраля. Л. Н. катался на коньках и писал много, много писем: к Бирюкову, к брату, к крестьянину и проч.[55]. Утром был у меня длинный урок музыки с мисс Вельш (2-й). Весь вечер корректировала 15-й том свой «Что такое искусство?». Пропустит ли мне цензура? Прочла 6 печатных листов и очень устала. Сулержицкий интересно рассказывал о кругосветном своем путешествии. Пили чай семейно и тихо: Л. Н., Миша, Саша, Таня и я, и еще Сулержицкий.

26 февраля. Получила утром «Русский листок», в котором корреспондент, проникнувший на днях к Льву Николаевичу, описывает свой с ним разговор, и очень неприятное впечатление на меня произвело, что там говорится о том, что Победоносцев по просьбе Тани обещал устроить дело молокан. Только не сказано, какое именно дело. Тоже напечатано мнение Л. Н. о Золя, Дрейфусе и всей этой истории[56].

Я начала рассказывать ⟨Л. Н.⟩ о концерте; он перебил меня неприятным образом, говоря, что это все вздор или что-то в этом роде. Я замолчала. Потом он мне сказал, что у него был Грот и они вдвоем провели вечер очень приятно.

27 февраля. Страшно болит рука, распухла жила как шишка, крепилась, чтоб даже не плакать.

Играл Игумнов вечером баркаролу Шопена и фантазию его же, и полонез Листа, и вариации на Шуберта. Прекрасно он стал играть и сам поумнел, какой хороший малый. Много ездила по делам и покупкам: заказывала ящики в Румянцевский музей, чтоб убрать еще туда дневники, рукописи и письма Льва Николаевича.

Льва Николаевича видела сегодня мало. Вечером у него были гости: Горбунов, доктор Буткевич и еще один, занимающийся немного делами «Посредника».

1 марта. Третьего дня ночью мы с Таней раздевались уже к ночлегу, прислуга вся спала, как вдруг продолжительно и зловеще прозвонил электрический звонок. Таня пошла к наружной двери, отперла — и потом надолго затихла. Я ее окликнула, она тихонько вошла в мою спальню и подала мне телеграмму.

«Наша Лиза скончалась. *Олсуфьевы*».

Впечатление этого известия я никогда не забуду. Тяжелое горе, что я никогда больше не увижу это светлое, милое создание, этого дорогого друга всей семьи нашей, боль за горе родителей, просто ужас перед тем, куда, зачем исчезла эта полезная во всех отношениях, дорогая всем девушка, все это годами будет подниматься в воспоминаниях и болезненно отзываться.

Таня и Сережа уехали вчера туда. Подробностей еще не знаем: умерла Лиза Олсуфьева скарлатиной, как и мой Ванечка.

Я много плакала, и слезы и теперь готовы в горле и в глазах. Таня не плакала, она как-то окаменела, и Сережа притих и, сидя час за фортепьяно вчера, перебирал тихо клавиши, а лицо такое грустное, грустное...

Да, *что* такое смерть? Куда-то уходим мы все и расплываемся опять в вечность все по той же Воле, по которой побыли и здесь, на земле.

Лев Николаевич тоже огорчен [57]. И странно, что по инерции течет все так же наша жизнь.

Вечером ездила на лекцию петербургского профессора Докучаева о сложных вопросах простоты строения земли, о законе притяжения и отталкивания и о вытекающей из этого закона борьбы, любви и т. д. Вернувшись, застала у нас всю семью Бутеневых, Писарева с женой, и С. А. Философову, и Касаткина, и князя Накашидзе,

высланного с Кавказа за сношение с духоборами. Болтали до ночи; но все это люди чрезвычайно порядочные и приятные; я им была рада.

Л. Н. расчищал каток в саду с Иваном, потом катался немного и перед обедом ездил верхом. Вечером спал и сидел охотно с гостями. Писал письма и опять переправил кое-что и прибавил в свою статью «Что такое искусство?» по моему уже изданию [58].

4 марта. Все эти дни горевала и плакала по Лизе. Была в клинике; профессор Левшин с своими ассистентами смотрел посредством лучей Рентгена, нет ли у меня в руке, которая очень болит, иголки. Но не нашли, а нашли аневризм артерии и сделали перевязку, и хотят делать разрез. Профессор Докучаев ездил со мной и сидел у нас вечер. Ненормальный и нездоровый умственно человек, сегодня приходил рассматривать мои фотографии и просил ему дать. Была и на панихиде по Лизе, в церкви, где собрались ее московские родные и друзья.

Вечером вчера нервы до того расстроились, что я не могла больше дома сидеть и поехала к милым старичкам, т. е. старушкам Масловым. Там видела Сергея Ивановича, но короткое время. Он очень непривлекательно ел колбасу, разговаривать не пришлось с ним, и он скоро ушел. Что он меня избегает, это, я думаю, несомненно. Но по какой причине? В концерте «Requiem'а» Верди у него был билет внизу, а он ушел на хоры... Может быть, потому, что был весь high life *, а он его избегает.

Вечером проявляла фотографию Льва Николаевича на коньках. Вышло плохо.

Неприятное известие о статье «Об искусстве». Светская цензура пропустила, а телеграмма из Петербурга, чтоб представить в духовную [59]. Значит, статья, т. е. вторая ее часть, навсегда потоплена. Досадно! И я ее уже набрала и корректировала, и все напрасно. Напечатают за границей.

7 марта. Л. Н. вял и придирчив. Ему не работается, его очень утомляют посетители, самые не нужные часто, и на мои просьбы не принимать, а иметь свои часы досуга, он с упорством отказывается; у него есть *любопытство*, которое заставляет его принимать всех, кто бы ни

---

* высший свет (*англ.*).

пришел, а кроме того, вечное упрямство, чувство противоречия, протеста мне.

Сегодня мне стало ясно то, что все сочинения Л. Н. последних лет есть сплошное противоречие, сплошной *протест*. Если он протестует *всему* человечеству, всему существующему порядку, то как же ему не протестовать мне, слабой женщине?

На концерте Гольденвейзера видела Сергея Ивановича. Сегодня была от него записочка, просил статью Л. Н., вторую часть, оставить ему на прочтение с М. И. Чайковским, к которому он на днях едет в Клин [60].

Сегодня утром был неприятный разговор с Л. Н. Он хочет делать все прибавки в свою статью, а я боюсь, что к прибавкам придерется цензура и опять остановит книгу, а я хочу печатать 30 000 экз. Слово за слово, упрекали друг друга; я упрекала за то, что лишена свободы, что он меня не пускает в Петербург; он упрекал, что я продаю его книги; а я на это говорила, что не я пользуюсь деньгами, а больше всего его дети, которых он забросил, не воспитал и не приучил к работе. Еще я говорила, что его верховую лошадь, его спаржу и фрукты, его благотворительность, велосипеды и проч.— все это я ему доставляю на эти же деньги, а сама меньше всех их трачу... Но я бы ему этого не сказала, если б он не кричал, что я забываюсь, что он может *запретить* мне продавать книги. Я сказала: очень буду рада, запрети, и я уйду на себя работать, в классные дамы, корректорши и т. д. Я люблю труд и не люблю свою жизнь, поставленную всю не по моему вкусу, а по инерции и по тому, как ее поставила семья — муж и дети.

Снимала Л. Н. верхом и потом занималась фотографией всячески. Кроила и слаживала платья Саше. Сегодня с С. А. Философовой ездила навестить старого дядю Костю.

Статья Л. Н. «Что такое искусство?» из духовной цензуры, говорят, вернулась. Кое-что вычеркнули, но пропустили. С Л. Н. дальше не ссорились. Напротив, устыдились и примирились.

8 марта. За чаем Л. Н., Сережа, Степа и я говорили о страхе смерти, отчасти по поводу статьи Токарского «Страх смерти», отчасти по поводу смерти Лизы Олсуфьевой. Л. Н. говорил, что существуют четыре рода страха смерти: страх перед страданиями, страх перед мучениями

ада, страх потери радостей жизни и страх перед уничтожением. У меня этих страхов мало: боюсь немного страданий, а главное, страшна *яма, крышка гроба, мрак...* Я люблю свет, и чистоту, и красоту. Могила же: мрак, грязь — земля и безобразие трупа.

Л. Н. ездил верхом к Гроту и к нам на Патриаршие пруды. Читает кавказские книги, а пишет ли — не знаю, боюсь спросить.

Статью пропустили, только вырезали два листка [61]. С. Трубецкой хлопотал и негодует на низменность, интриги и взяточничество почти попов, духовных цензоров.

Сегодня таяло, на точке замерзания.

В душе моей происходит борьба: страстное желание ехать в Петербург на Вагнера и другие концерты и боязнь огорчить Льва Николаевича и взять на свою совесть это огорчение. Ночью я плакала от того тяжелого положения *несвободы,* которое меня тяготит все больше и больше. Фактически я, конечно, свободна: у меня деньги, лошади, платья — все есть; уложилась, села и поехала. Я свободна читать корректуры, покупать яблоки Л. Н., шить платья Саше и блузы мужу, фотографировать его же во всех видах, заказывать обед, вести дела всей семьи,— свободна есть, спать, молчать и покоряться. Но я не свободна *думать* по-своему, *любить* то и тех, кого и что избрала сама, идти и ехать, где мне интересно и умственно хорошо; не свободна заниматься музыкой, не свободна изгнать из моего дома тех бесчисленных, ненужных, скучных и часто очень дурных людей, а принимать хороших, талантливых, умных и интересных. Нам в доме не нужны подобные люди, — с ними надо считаться и стать на равную ногу; а у нас любят порабощать и поучать...

И мне не весело, а трудно жить... И не то я слово употребила: *весело*, этого мне не надо, мне нужно жить *содержательно, спокойно,* а живу я нервно, трудно и малосодержательно.

9 марта. День сорока мучеников, в детстве моем и детей моих в этот день Трифоновна, наша старая кухарка в доме отца, и Николай, повар в Ясной Поляне, к утру пекли вкусные сдобные жаворонки с черными коринками вместо глаз и с поджаристыми клювиками. И в этом была поэзия. А потом прилетали и живые жаворонки; садились на проталинках, по бурым бугоркам и поднимались к

небу с своими серебристыми, нежными песнями. Я любила весну в деревне. Но тогда весна всегда приносила эти радостные, беспричинные надежды на что-то впереди... Теперь же она приносит грустные воспоминания и бессильные желания на невозможное... Ах, старость — не радость!

Вечером мне Л. Н. дал переписывать свой рассказ «Хаджи-Мурат» из кавказской жизни, и я была очень, очень рада, писала усердно, несмотря на боль в правой руке, но мне помешал Сергеенко; потом пришел Дунаев, дядя Костя, приехал брат Степа, Сережа. Много говорили о делах государства, о покупке флота за 90 миллионов. Сергеенко рассказывал, что флот заказан японцами англичанам за 130 миллионов, но японцы не могли уплатить в срок, так как деньги эти получались от Китайско-Русского банка, не выдавшего деньги вовремя. Время контракта было пропущено, и русское правительство предложило 90 миллионов и купило у англичан готовый флот.

Л. Н. ездил вечером верхом к мисс Шанкс переводить на английский язык письмо, написанное им в Америку кому-то [62]. Вообще он много писал писем и тяготился ими *.

10 марта. Не спала совсем ночь. К утру часа два заснула и встала поздно. Ах, эти ночи! с ужасающей ясностью обнажающие душевное состояние! Я измучилась совсем. Днем опять попадаешь в жизненный водоворот и в нем не опоминаешься. И потом опять ночь без сна и мысли, и муки...

Переписывала с большим удовольствием повесть Л. Н. «Хаджи-Мурат», кавказскую. Я думаю, что это будет очень хорошо: эпическое произведение, надеюсь, *без задора и полемики* тайной.

Больная рука правая очень устала, и я решилась вечером ехать в концерт камерной музыки. Играли два трио Бетховена и одну сонату c-moll со скрипкой. Очень было приятно, совсем не утомительно. Со мной была Маруся Маклакова. Вернувшись домой, застала Сергеенко, проф.

* Далее приклеена фотография: Л. Н. Толстой верхом на лошади во дворе хамовнического дома, на ней рукой С. А. Толстой надпись: «Мною снято 6 марта 1898 г. Москва, Хамовнический пер., 21».

Преображенского, Сулержицкого, Накашидзе, и Лев Николаевич имел вид очень усталый. Он сегодня опять письма писал, читал и просмотрел корректуры «Искусства» в моем издании. Он спокоен и здоров.

14 марта. Не вспомню, что было. Помню опять длинные бессонные ночи. Одну ночь я всю просидела до $4^1/_2$ часов утра и переписывала для Л. Н. «Хаджи-Мурата» с большим удовольствием. Дни все эти или сидела дома, за работой, за корректурой, или ездила по покупкам летних вещей. Л. Н., не переставая, пишет разные письма, которыми очень тяготится, и читает много, особенно кавказские сборники, доставленные ему Ф. И. Масловым[63]. Три вечера мною были проведены так разнообразно, что при кажущейся ровной моей семейной жизни, удивляешься, как значительно переживаешь свою внутреннюю жизнь. Л. Н. давно не был так нежен и добр ко мне. На другой же день тон его немедленно изменился. Я была страшно занята корректурами своего 15-го тома, работала весь день и не усмотрела его настроения. Вечером я продолжала с малыми отдыхами свой труд (надо было прочесть 12 печатных листов), и, зная, что все равно бессонницы не дадут мне спать, я просила мужа ложиться без меня, сама разделась, надела халат и туфли и обещалась войти тихонько, когда кончу корректуры. Напал на Л. Н. каприз, ложись спать, да и только. Работа у меня срочная, утром надо посылать в типографию; я не послушалась, продолжала работать. Он вскочил с постели, надел халат, ушел наверх, к себе в кабинет. Я продолжаю читать, не зная, что он ушел. Через полчаса приходит и начинает на меня кричать, что я его мучаю, что он хочет спать, а я ему не даю, что голова у него болит. Я все сидела, слушала, терпела, наконец, не дочитав последнего листа, пошла в спальню (я сидела рядом в столовой) и легла. Но тут нервы не вынесли. И усиленная работа, и неприятности, главное, несправедливость моего мужа ко мне — все это вызвало такое отчаяние в моей и так больной душе, что я вдруг почувствовала такую спазматическую боль в сердце и груди, что едва, уже в темноте, успела выговорить «умираю», как меня начало душить, сердцебиение усилилось, чувство страха, остановки жизни, спазма в сердце,— все это было ужасно. Такого удушия еще у меня никогда не было. Холодная вода к сердцу, старание овладеть собой помогли мне сократить

этот припадок. Лев Николаевич растерялся, потом начал сам дрожать и всхлипывать... Спали дурно, оба устали... и зачем, *за что* все это! Господи, помоги мне до конца беречь мужа и терпеть... На другое утро я же пошла к нему и выразила ему сожаление о случившемся. Он извинился как будто, но мир установился. Надолго ли?

Вчера приходил С. И. Танеев. Как сразу успокоительно и хорошо подействовало на меня его присутствие. Добрый, спокойный, уравновешенный и высоко талантливый человек. Он сыграл свою прекрасную симфонию и спросил Льва Николаевича его мнения о ней. Л. Н. отнесся серьезно и с уважением и стал излагать свои впечатления. А именно, что и в этой симфонии, и во всей новой музыке нет ни в чем последовательности: ни в мелодии, ни в ритме, ни даже в гармонии. Только что начнешь следить за мелодией — она обрывается; только что усвоишь себе ритм, он перебрасывается на другой. Чувствуешь неудовлетворенность все время; между тем в настоящем художественном произведении чувствуешь, что *иначе* оно не могло быть, что одно вытекает из другого, и думаешь, что «я сам точно так бы это сделал». Сергей Иванович слушал внимательно и с уважением, но его все-таки, кажется, огорчило, что его симфония не понравилась Л. Н. Сегодня он едет в Петербург, его симфонию будут там играть уже в оркестре [64].

Вчера утром, после нашей ночной неприятности, встала разбитая, и вдруг Л. Н. мне вводит Мишу, внука. Я очень обрадовалась этому чистому, свежему элементу — этому здоровому, милому, умному ребенку. Весь день вчера с ним провозилась: возила его в Зоологический сад, в игрушечные лавки, в кондитерскую, в Кремль. Он всему радовался, но ничему не удивлялся. Так что вчерашний день мне весь был от бога наградой за ночную неприятность от мужа.

17 марта. Вчера переписывала письмо Льва Николаевича «О помощи духоборам», желающим выселиться за границу. Л. Н. думает, что «Петербургские ведомости» его напечатают, а я уверена, что нет. Помощь двоякая: найти им место для выселения и собрать для этого денег [65]. Их 10 000 человек; сколько же нужно денег?

Вечером был знаменитый скульптор Антокольский. Говорили об искусстве: Л. Н. из своей статьи; Антоколь-

ский говорил, что лучшая задача искусства — изобразить *душу* человеческую[66]. Держу все корректуры 15-го тома, сегодня еще не принесли; скоро кончу. Опять переписывала письмо Л. Н., он его все перемарал. Езжу по делам и платьям к лету уже. С Л. Н. очень дружно и хорошо. Надолго ли? Собираюсь в Петербург на несколько дней послушать Вагнера и симфонию Сергея Ивановича Танеева. Ее будут играть в первый раз 21-го, и это его первая симфония.

Приехал Андрюша. Илья и маленький внук Миша уехали еще третьего дня вечером, и мне очень грустно было расставаться с Мишей, но не надо привязываться больше к детям, их слишком больно терять, если они умирают.

Л. Н. сегодня говорит: мне 32 года, я отлично спал и голова свежа. Жаль, что он свои духовные силы тратит на разные письма.

А вдохновенья на писанье настоящего нет как нет! Старость мешает, вероятно.

Все суровая зима. Сегодня с утра было 10 градусов мороза и ветер, и холод, несмотря на солнце.

18 марта. Все было хорошо, жили дружно. Сегодня читаю корректуру «Предисловия» Льва Николаевича к «Современной науке» Карпентера и вдруг вижу, что все не то, все изменено. Я очень удивилась и обиделась. Когда ее набирали в «Северном вестнике», я просила Л. Н. дать мне *последние* корректуры, чтоб я могла дать в набор 15-й части в окончательном виде статью Л. Н. Теперь я ему упрекнула довольно спокойно, что он меня обманул; он ужасно рассердился. Эти неприятности бьют по старым ранам, и делается невыносимо. Скрыл он от меня последнюю корректуру, чтобы соблюсти выгоду «Северного вестника» и не задержать его выхода. Внесение поправок в мой экземпляр все бы один-то день взяло.

Вечером много, много гостей: Бельская с дочерью, Толиверова с дочерью, Маклаков с сестрой, Варя Нагорнова, Горбунов. Толиверова, издательница «Игрушечки», хочет издавать журнал «Женское дело», и поднялся разговор о женском вопросе. Л. Н. говорил, что, прежде чем говорить о неравенстве женщины и ее угнетенности, надо прежде поставить вопрос о неравенстве людей вообще. Потом говорил, что если женщина сама ставит себе этот вопрос, то в этом есть что-то нескромное, не женственное и потому наглое. Я думаю, что он прав. Не *свобода* нам,

женщинам, нужна, а *помощь*. Главное помощь в воспитании сыновей, в влиянии на них, чтоб они были поставлены на правильный путь жизни, уменья работать, быть мужественными, независимыми и честными. Одна мать не может воспитывать сыновей, и оттого так плохо молодое поколение, что плохи отцы, ленивы на дело воспитанья и охотнее бросаются на всякое другое дело, отвиливая от самого важного — воспитания будущих поколений, долженствующих продолжать дела всего человечества и идти вперед.

2 апреля. Две недели прошло с тех пор, как я писала дневник! Отчего теперь жизнь идет так быстро и почти бессознательно — как сон? Если б я была более нормальна, я жила бы *сознательнее* и содержательнее. И потом, со временем, оглянувшись назад, как это всегда бывает, я пойму все прошедшее, оценю его и буду (опять как это всегда бывает) *сожалеть* и о прошлом, и о том *неумении* им пользоваться. И вся жизнь, за редкими исключениями, проходит в желаниях и сожалениях.

Завтра день, назначенный в анонимном письме для убийства Льва Николаевича. Конечно, я неспокойна, но и не вполне верю, что это может случиться. Приехали духоборы к Л. Н., два рослых, сильных духом и телом мужика. Мы их посылали в Петербург к князю Ухтомскому и Суворину, чтоб эти два редактора сильных газет им что-нибудь посоветовали и помогли. Они обещали, но вряд ли что сделают [67].

Л. Н. им пишет прошение на имя государя, чтоб их выпустили переселиться за границу, всех — изгнанных, призывных и заключенных духоборов [68]. Все это мне страшно, как бы нас не выслали тоже! Духоборы эти теперь сидят у Л. Н., и там же молодой фабричный Булахов, которого посылают с прошением и 300 руб. денег к сосланному вожаку духоборов — Веригину.

Была четыре дня в Петербурге. С осени запала у меня мысль поехать слушать симфонию Танеева, которую он мне несколько раз играл на фортепьяно,— в оркестре. Мне казалось, что она будет великолепна. Кроме того, я давно мечтала услыхать Вагнера, а в Петербурге как раз его давала немецкая приезжая опера. Сначала меня Л. Н. не пускал; этот протест вызвал тоску, бессонные ночи и апатию. Потом меня охотно отпустили, и я не получила от этой поездки никакого удовольствия. Дождь

лил не переставая; симфония Танеева была сыграна и дирижирована Глазуновым отвратительно; Вагнера я не слыхала; здоровье расстроилось; жизнь у сестры Берс с ее дурным отношением к мужу, к прислуге и с ее односторонним интересом к направлению финансов в России (странный интерес у женщины) — все это было скучно, неудачно, и я так счастлива была вернуться домой к Л. Н., к моей, свободной по духу нашего дома, жизни, что теперь нескоро нападет на меня желание уехать.

Всякий вечер нас кто-нибудь посещает: то был профессор Стороженко, много рассказывавший об иностранной литературе и новостях по этой части; тут же был молодой Цингер, умный и живой. Потом вечер сидел Грот, Сергеенко (не доверяю я этому человеку почему-то), Е. Ф. Юнге, о которой Л. Н. говорит словами Anat. France: «Une laideur terrible et grande» *. Но она талантливая, живая и умная женщина. Еще был молодой князь Урусов, Сережа, сын того, который умер и которого я так любила. Как-то Гольденвейзер был, играл чудесную сонату Шопена с Marche funèbre, и прелюдии, и ноктюрны.

Сегодня с утра полотеры, чистка замков, шум, посетители, духоборы. Сулержицкий, на солнце в саду ребята играют в пыжи; Саша с детьми Фридман поет, бренчит танцы на фортепьяно. Л. Н. с духоборами беседует и пишет длинное прошение государю. Я его переписала. Все эти дни обшиваю Л. Н. Заметила ему гладью платки, сшила новую блузу, буду шить теперь панталоны. Мои знакомые меня спрашивают, почему я *потухла*, стала молчалива, тиха и грустна. Я им ответила: «Посмотрите на моего мужа, зато он как бодр, весел и доволен».

И никто не поймет, что когда я *жива*, занимаюсь искусством, увлекаюсь музыкой, книгой, людьми,— тогда мой муж несчастлив, встревожен и сердит. Когда же я, как теперь, шью ему блузы, переписываю и тихо, грустно завядаю — он спокоен и счастлив, даже весел. И вот в чем моя сердечная ломка! Подавить, во имя счастья мужа, все живое в себе, затушить горячий темперамент, заснуть и — не жить, а durer **, как выразился Сенека о бессодержательной жизни. Сегодня вышел 15-й том «Об искусстве» из цензуры, и я написала объявления в газеты [69].

---

* Великая и ужасная некрасивость (*франц.*).

** существовать (*франц.*).

3 апреля. Ну, день почти прошел, уже одиннадцатый час ночи. Никаких покушений на жизнь Л. Н. не было. Утром шила Л. Н. панталоны, кроила их и тачала на машине. Потом Л. Н. собрался гулять, я пошла с ним, чтоб не тревожиться дома. Заходили к старому генералу Боборыкину, он пошел с нами и измучил меня разговорами при грохоте пролеток и тихой ходьбе. Потом в редакцию «Русских ведомостей» [70], потом калоши покупали, потом на Остоженку к Русановым. Я измучилась, устала и домой уже доехала на извозчике. Когда я хожу с Л. Н., я всегда, и зимой, и летом, и всю жизнь, мучаюсь. Он никакого не имеет отношения к своим спутникам: если задержишься на минутку, он все-таки бежит, приходится догонять, он не ждет, спешишь, задохнешься — просто наказанье. Охраняли его еще Сергеенко, Сулержицкий, потом приехал вечером Меньшиков из Петербурга; пришли братья Горбуновы, Накашидзе, Дунаев. Очень утомительна эта постоянная толпа людей. Так весь день и ушел на разговоры и на эту толпу. Ох, как я устала нервно: то духоборы были, вчера уехали, то этот страх за убийство Льва Николаевича. А тут еще крик молодежи весь вечер за игрой в карты, в винт. Вся жизнь идет не по моему вкусу. Жизнь и интересы Л. Н. настолько особенные, личные его, что детей не касаются; не могут же они интересоваться сектантами-духоборами, или отрицанием искусства, или рассуждениями о непротивлении. Им нужна их личная жизнь, по их инициативе. Не имея руководителя в отце, не имея идеалов, посильных им, они создают свою разнузданную жизнь с игрой в карты, с пустотой и развлечениями, вместо серьезного дела или искусства. У меня не хватает ни сил, ни уменья создать им жизнь лучше,— да и возможно ли с *все* отрицающим отцом!

5 апреля. Светло-Христово воскресение. Когда-то это был значительный, радостный день. В нынешнем году у меня не было ровно никакого *настроения.* Вчера вечером сидела молча, шила; Л. Н. читал, Саша ушла с Марусей Маклаковой к заутрене в приют, Таня тоже работала, и все я думала о том, что прежде, в молодости, жизнь делилась на периоды с перерывами какого-нибудь значительного, или казавшегося таким, события: вот праздники, а вот переезд в Ясную, или — что важнее — ребенок родился, или еще что. Теперь все расплылось в неуловимом,

скоро несущемся времени — и ничто не стало значительно, а как-то все равно, лишь бы не было неприятностей и горя. Очень трудно и волнительно жилось последние три года, после смерти моего ангела, милого Ванечки.

Сегодня с утра неприятности с Мишей и Андрюшей. Они требовали денег после того, как я им подарила по 15 рублей. Я сердилась, потом плакала. Миша раскаялся, Андрюша же как ни в чем не бывало, с глупым видом, в новом сюртуке, делал визиты. Ночью они ходили компанией на площадь слушать звон и смотреть на ход вокруг соборов. Как они безумно прожигают жизнь, не останавливаясь мыслями ни на чем и не ставя себе никаких нравственных вопросов.

Когда они меня расстроили, я пошла к Л. Н. и спросила его со слезами и отчаянием о каком-нибудь совете, как мне быть с сыновьями, требующими денег и грубящими мне. И как всегда, проповедуя на весь мир какие-то истины, он ни слова не умеет сказать семье и помочь жене.

Была у Колокольцевых, а потом весь вечер переписывала повесть Льва Николаевича «Хаджи-Мурат». Страниц 20 и даже больше написала. Л. Н. все зябнет и жалуется на недомогание, однако прокатился на Мишином велосипеде, когда все уехали из дома.

6 апреля. Посвятила свой день детям. Ходила на балаганы с Сашей, Верочкой (горничной), двумя детьми Литвиновыми и Колокольцевыми. И марионеток смотрели, и театр, и с гор катались, и на каруселях. После обеда катали яйца, и дети остались все очень довольны. Больна Таня, жар и флюс. От Маши письмо. Мальчики визиты делали. Я играла после обеда в четыре руки с В. Нагорновой квартет Танеева, и чем больше вникаешь в его музыку, тем больше любишь ее и его за благородную, глубокую душу.

Л. Н. ездил до обеда на велосипеде, утром писал о войне [71], вечером ездил верхом к умирающему купцу Брашнину. Ему и *любопытно* видеть, как умирают люди, самому не далеко, а кроме того, приятно и утешить умирающего участием.

7 апреля. Был Кони, завтра обедает. Моросит дождь, стало теплей. Письмо интересное от Меньшикова. Пишет, что правительство озабочено духоборами, но что

имя Льва Николаевича в связи с духоборами всех приводит в крайнее раздражение [72]. Полиция прислала в редакцию «Русских ведомостей» бумагу с запретом принимать деньги для духоборов на имя Льва Николаевича [73]. А сегодня все-таки оттуда принесли 300 р. Л. Н. очень добр и хорош, а мое сердце неспокойно и нерадостно.

9 апреля. Вчера был счастливый, радостный день. Утром встала рано, поехала с Сашей на репетицию концерта Никиш. Увертюра «Фрейшютца» была исполнена с таким совершенством, что я просто плакала от эмоции.

С репетиции шли пешком: Сергей Иванович, Гольденвейзер, Конюс, Игумнов, Саша, я, Преображенский, профессор. Болтали весело, выглянуло солнце, так было хорошо под впечатлением музыки и с радостными людьми, с весенней погодой! Обедали у нас Кони, Анатолий Федорович, профессор Грот, Саша, брат, Ден с женой, мисс Вельш. Кони превосходно рассказывал то об умершем И. Ф. Горбунове, известном рассказчике, повторял его комические рассказы, то случаи из судебной практики; рассказывал статистику самоубийств, говорил, что большинство падает на вдовцов и вдов, на весенние месяцы, на северных жителей...

Вечером опять с Сашей, с Марусей Маклаковой ездили в концерт Никиш. Огромное я получила наслаждение. Л. Н. провел день с гостями; утром работать не мог, писал письма, ездил на велосипеде и верхом. Умер тот старик купец Брашнин, к которому он все ходил, и сегодня Лев Николаевич говорит, что *любопытно* узнать о его последних часах. Все время ему было именно *любопытно* видеть это умирание старика.

Сегодня Л. Н. говорит, что доктор Рахманов очень интересовался его повестью («Воскресение»), о которой он с ним давно говорил, и вот он ему дал ее читать, а потом сам перечел и подумал, что если б ее напечатать всюду, то можно бы 100 000 руб. выручить для духоборов и их переселения. Но что он только подумал так, а в сущности нельзя этого сделать. Я все время молчала. *Право* его, а не мое, хотя странно было бы для всякой семьи, что после 36 лет нашей совместной жизни мы должны толковать о *правах.* Дети его будут нуждаться, работать он их не научил; а я не пропаду. Да и не то мне теперь нужно. Не деньги дают мне теперь счастье, о, конечно, не деньги!

10 апреля. Если б мне жить, как Лев Николаевич, я бы с ума сошла. Утром он пишет, значит, утомляется умственно, а вечером он не переставая разговаривает или, вернее, проповедует, так как слушатели его речей приходят большей частью посоветоваться или поучиться.

Сегодня после обеда было человек тринадцать. Два фабричных, три молодых школьных учителя, дама, занимающаяся сбытом русских кустарных производств в Англии, доктор, корреспондент «Курьера», Сергеенко, Дунаев и проч.

Приехал сегодня Сережа, сидит за фортепьяно и что-то сочиняет. Таня больна: флюс еще не прошел и живот болит. Андрюша уехал вчера. Весь день дождь идет. Ездила опять на дешевые товары, купила мебельной материи. Дома занималась *делами,* счетами, банковыми соображениями, отчетностью по попечительству и опеке над детьми, писала письма и т. д. Ни музыки, ни повести [74] сегодня не трогала.

Минутами в душе поднималась та знакомая эти последние года боль, от которой вряд ли я выздоровлю. Была Варечка.

15 апреля. Эти дни полны внешних событий: 11-го была очень хорошая лекция А. Ф. Кони об Одоевском [75]. При этом он рассказывал посторонние вещи, все умно, кстати, тонко и правдиво.

Вечером были у нас гости: проф. Преображенский нас фотографировал при магнии и читал целую лекцию о световых и цветовых иллюзиях. Я была утомлена и сонна, что редко со мной бывает. Днем еще была с Сашей на передвижной выставке; картин выдающихся нет, хороши последние пейзажи Шишкина [76], а бедность сюжетов и содержания — поразительные. Вчера провела два с половиной часа на выставке с.-петербургских художников, и там же огромная картина Семирадского: мученица, привязанная к быку, цирк, Нерон и т. д. [77].

Эту выставку смотрела с большим интересом. Огромное разнообразие пейзажей, переносивших меня то в Италию, то в Крым, то на Днепр, то на остров Капри или в восточные дикие страны, или в русскую, или в малороссийскую деревню, или на Кавказ. Все это чрезвычайно интересно, особенно мне, никогда не путешествовавшей. Написаны картины хорошо, старательно,— почти все, но не все талантливо. «Христианка Цирцея в цирке Неро-

на» — громадная картина в большую стену. О ней говорят разно и осторожно. По-моему, очень красиво, ярко, все размещение лиц и распределение цветов и положений — гармонично, умно; но все холодно; не жалко растерзанной христианки, не жалко быка с прекрасной головой; не досадно на Нерона, не чувствуешь впечатления на публику. Но выставка вообще доставила мне большое наслаждение.

Сегодня ездила по делам: отдала вещи в починку, переделку, переплет и т. д. Вечером был у нас князь Трубецкой, скульптор, живущий, родившийся и воспитавшийся в Италии. Удивительный человек: необыкновенно талантливый, но совершенно первобытный. Ничего не читал, даже «Войны и мира» не знает, нигде не учился, наивный, грубоватый и весь поглощенный своим искусством. Завтра придет лепить Льва Николаевича и будет у нас обедать.

Был Сергей Иванович, и так с ним просто, по-будничному, хорошо и спокойно. Говорил он с Сережей в моей комнате о переводе музыкального сочинения; Сережа его расспрашивал кое о чем [78].

Л. Н. объявил сегодня, что послезавтра он уезжает к Илюше в деревню, что ему в городе жить тяжело, что у него есть 1400 руб., которые он хочет раздать нуждающимся. Все это правильно, но мне так показалось грустно и одиноко жить одной с плохой Сашей и Мишей, которого никогда дома нет, что я просто расплакалась и умоляла Льва Николаевича не уезжать еще от меня, а пожить со мной хоть еще недельку. Если б он знал, как я слаба душой, как я всячески боюсь себя; боюсь и самоубийства, и отчаяния, и желания развлечь себя — я всего *боюсь*, себя боюсь больше всего... Не знаю, послушает ли он мою просьбу. Мне и при нем часто кажется так безрассветно, трудно жить на свете, так многое в семье, в отношениях с Л. Н. *наболело*, так я *устала* от вечной борьбы, от напряженного труда в делах, в доме, в воспитании детей, в изданиях книг, в управлении детскими имениями, в уходе за мужем и соблюдении семейного равновесия... Все это совсем незаметно для постороннего глаза, а для измученного сердца моего все это *так* заметно! Ведь разве не тяжело такое положение: Л. Н. мне постоянно внушает, что живет в Москве *для меня*, а ему это мученье! Значит, я его мучаю. А в Ясной Поляне он гораздо мрачней, ему все-таки самому жизнь в городе интересна и развлекательна и только иногда его утомляет.

16 апреля. Льва Николаевича лепил сегодня приезжий из Италии, итальянский даже подданный, князь Трубецко. Он, кажется, считается хорошим скульптором. Пока ничего не видно, бюст начат очень большого размера. Л. Н. опять стал со мной добр, и мы в хороших отношениях. Вчера вечером я была в очень нервном состоянии, почти ненормальном.

18 апреля. Приезжал Лева, вдруг продал дом через какого-то комиссионера и меня не предупредил. Мне стала страшна перемена, стали страшны хлопоты, жаль дома, и я его оставила за собой [79], сама теперь остаюсь почти без денег, с долгами за издание. Дом мне достается очень дорого, за 58 000 почти. Опять Трубецкой лепит Льва Николаевича, и теперь я вижу, что необыкновенно талантливо.

19 апреля. Сделали Тане очень болезненную операцию в носу, выдернули зуб и через отверстие сверлили нос и выпустили гной. Ей очень больно, она побледнела, ослабела, и очень ее жаль, хочется ее погладить, пожалеть, поцеловать, и ничего этого не делаешь, а только грустишь. Отказала сегодня m-lle Aubert и уже взяла другую гувернантку Саше, которая присмирела. Льва Николаевича все лепит Трубецкой, и очень хорош бюст: величественный, характерный и верный. Наивный этот Трубецкой, весь в искусстве, ничего не читал и ничем не интересуется, кроме скульптуры.

Приезжал С. Т. Морозов, болезненный купец, кончивший курс в университете и желающий жить получше. Он дал для голодных крестьян Льву Николаевичу 1000 рублей. Мы едем с Л. Н. в среду к Илье в Гриневку, где Л. Н. будет жить и помогать нуждам крестьян в тамошнем околотке.

20 апреля. Опять вынужденная суета жизни. Покупка дома прямо почти насилие надо мной; я видела, как Льву Николаевичу и детям было жаль дома, и Л. Н., никогда не высказывающий своего мнения, на этот раз прямо советовал мне его купить и даже сказал: «Жаль его продать». А мне он и дорог и невыгоден. Я здесь потеряла двух детей, и не очень-то я была счастлива эти последние годы моей жизни. Лучшее счастье в Ясной, первую половину моей замужней жизни.

Весь день провела по банкам, продавая бумаги и переводя деньги свои на Леву. Большое внимание нужно было, чтоб не продешевить бумаги и ничего не потерять. Дома к обеду опять пропасть народу: Преображенский, Трубецкой, Бутенев, Соня Мамонова, Миша Кузминский; вечером княжны Трубецкие, Колокольцевы и Сухотин!

Л. Н. писал письмо о войне — ответ какому-то итальянцу [80]. Не идет у него художественное произведение, трудно уж ему; притом он так привык *проповедовать,* что не может без этого жить. После обеда он позирует для скульптора Трубецкого. Бюст художественно задуман и превосходно начат. Но, к сожалению, Л. Н. спешит уехать, и бюст останется неоконченным. Мы уезжаем послезавтра; я вернусь в Москву, а Л. Н. переедет потом в Ясную. Все холодно.

21 апреля. Собирались завтра ехать с Л. Н. в Гриневку и Никольское к сыновьям, я так радовалась этой поездке, и весне, и внукам. Но поездку опять отложили до вечера, так как бюст еще не совсем окончен и жаль не дать его кончить, очень хорош. Поворот головы, характер всей фигуры, глаза — все это выразительно и прекрасно задумано, хотя та неоконченность, которой радуется скульптор, меня беспокоит. Лев Николаевич спешит особенно потому, что у него 2000 р. благотворительных денег, которыми он хочет помочь крестьянам в той местности, где хуже всего бедствие.

Утром была у нотариуса и в банке; вернувшись, укладывала свои и мужнины вещи. Закупила вегетарианской провизии, хлеба и проч. Вечером пришел Сергей Иванович, и были очень интересные и даже оживленные разговоры между ним и Л. Н. Тоже участвовал Трубецкой. Говорили об искусстве, о делах консерватории, о краткости жизни и уменье так распоряжаться временем, чтоб каждая минута была употреблена значительно: для пользы, для дела, людей,— прибавляю от себя,— и для счастья.

Мне так радостно было видеть, что Л. Н. перестал враждебно относиться к этому прекрасному человеку. Теперь он занят печатанием разных дел, касающихся любимой им консерватории, нападает на неправильное отношение к делам консерватории директора ее, Сафонова, и, не ссорясь ни с кем и не боясь никого, служит только

делу с своей честной и необычайно справедливой точки зрения.

Потом пришел В. Маклаков, и мы с ним философствовали о счастье. Вчера с Соней Мамоновой и сегодня с Маклаковым пришли к одному и тому же: счастье случайно и его мало; надо брать его, когда оно есть, благодарить судьбу за те малые мгновения этого счастья, не искать вернуть его, не скорбеть о нем, жить дальше, вперед; и даже в той будничной жизни с ее невзгодами находить удовлетворение, которое вполне возможно, если совесть спокойна, если живешь для дела, для людей, не делаешь ничего стыдного или безнравственного, не принужден раскаиваться.

Еще есть счастье — это самосовершенствование, это движение к религиозному и нравственному идеалу. Но я не люблю заглядывать в себя, и люблю людей и не люблю себя, и потому мне это тяжело.

Был П. И. Бартенев, принес мне книгу, письма моего прадеда, графа Завадовского [81], которого он мне очень хвалит. Интересный этот ходячий архив — Петр Иваныч Бартенев. Всех на свете знает; знает все родословные, все придворные интриги всех русских царствований, все гербы, родство, именья и т. п.

29 апреля. 23-го Трубецкой кончил бюст Льва Николаевича [82]. Он очень хорош. Вечером мы выехали с Л. Н. в Гриневку. Нас провожали: Дунаев, Маслов, моя Саша и Соня Колокольцева. Ехали мы в I классе; очень было тесно везде. Дорогой вечером разогревала Л. Н. овсянку, которую взяла с собой совсем сваренную. Он захотел сам возиться, схватил горячую крышку кастрюли и обжег три пальца. Я предложила воды, чтоб облегчить боль, он упрямо отказал. Тогда я молча все-таки принесла кружечку воды, и, когда он опустил в нее пальцы, ему сразу стало легче. Все-таки ночь от этого спал плохо.

В Гриневке нас встретили верхами сыновья Илья и Андрюша и пешком внуки — Анночка и Миша. Очень было весело их видеть и приехать в деревню. Л. Н. тотчас же приступил к делу: стал объезжать деревни и исследовать, где голод. Хуже всего в Никольском, и еще к Мценскому уезду. Хлеб едят раз в день и то не досыта. Скотина или продана, или съедена, или страшно худа. Болезней нет. Л. Н. устраивает столовые [83]. Посылали в Орел Анд-

рюшу узнавать цены хлеба. Много гуляли в Гриневке; я читала с Анночкой по-французски, шила мальчикам, смотрела за всеми четырьмя детьми, красила, рисовала с ними; присматривала за тем, чтоб плохой повар не слишком дурно готовил Льву Николаевичу. Но хозяйство у Ильи и Сони очень скудно и плохо; *мне* все равно, но я боюсь, что желудок Льва Николаевича не вынесет плохой пищи и он захворает.

Илья мне не понравился дома. Детьми совсем не занимается; с народом не добр; ничего серьезного не делает, любит только лошадей. Соня же с народом добра, лечит их, хлопочет, чтоб их прокормить, дает муки и крупы детям и бабам.

Были у Сережи-сына в Никольском. Сережа все жалок, очень. Много музыкой занимается и сочинил прекрасный романс, который спела Соня очень мило своим молодым, симпатичным голосом.

Расположение духа Л. Н. было не радостно. Что-то унылое, подавленное и недоговоренное было в наших отношениях, и это меня очень огорчало[84]. Более внимательной и кроткой, как я была с Л. Н. все последнее время, нельзя быть.

И так жаль мне было его оставлять в Гриневке. Но, может быть, лучше на время расстаться!

Заезжала я в Ясную Поляну и пришла после Гриневки в восторг от природы и местности яснополянской. Бегала по саду, в лес, рвала медунчики в Чепыже, сажала деревца в саду и цветы на грядки; убрала в доме, приготовляла комнату для приезда Льва Николаевича.

28-го, вчера, был там первый гром и куковала кукушка. Деревья чуть зеленеют; везде веселая, напряженная работа; сеют огород, окапывают яблони, чистят сады. Дора и Лева дружны и счастливы. Она — прекрасная женщина, уравновешенная и культурная. Тоже копаются в своем, вновь разведенном, садике, красят дом, готовятся к ее родам и к приезду родителей.

Сегодня утром вернулась в Москву и... грустно тут. Приехал Сергей Николаевич с дочерью Машей. Левочка будет жалеть, что не видал брата.

1 мая. Вчера не писала, бессодержательна жизнь. Сегодня с утра пришел гимназист I гимназии Веселкин и принес собранные его товарищами 18 р. 50 к. денег. Трогательны до слез эти пожертвования в пользу голодаю-

щих юными душами или бедными людьми. Потом вдова Брашнина принесла 203 р., а еще прислала мне из Цюриха одна Кóптева 200 р. Все это перешлю Льву Николаевичу.

Сегодня получила письмо от Сони, которая меня извещает о том, что Л. Н. здоров, продолжает обходить и объезжать нуждающихся и бодр;[85] но от него я еще не получила ни слова. Все мое горячее к нему отношение опять начинает остывать; я ему два письма написала, полные такой искренней любви к нему и желания этого духовного сближения; а он мне ни слова!

В саду сегодня вечером пили чай, собралось много гостей: Колокольцевы, Маклаковы, Аристов, Дунаев, наши Оболенские и Толстые, Горбуновы, Бутенев, Саша Берс, Марья Алекс. Шмидт и С. И. Танеев. Молодежь бегала по саду, визжали, гнилушки светящиеся там нашли; разговор о любви и хохот Маруси и Сергея Ивановича. Все это томительно, шумно, ничтожно. Невольно думала о серьезной жизни в Гриневке с воспитанием детей, помощью голодным, посевами, хозяйством и т. д. Потом в Ясной с весенними работами, спокойной, величественной весенней природой и интересом рождения нового ребенка у Доры.

Уехала сегодня m-lle Aubert, ее жалко, но не очень, такая она была бедная, бессодержательная натура!

3 мая. Была в Петровско-Разумовском, видела маленького сына Мани и Сережи и очень взволновалась. Очень милое выражение глаз у этого ребеночка. В Петровско-Разумовском застала пикник разных светских знакомых, и Саша огорчилась, что ее не позвали. Мы гуляли по саду и лесу. Обедали у старой тетеньки Шидловской, ей 77 лет, и она очень бодра. Вечер у Колокольцевых. Какой трагизм в материнстве! Эта нежность к маленьким (как я видела сегодня в Мане к ее сыну), потом это напряженное внимание и уход, чтоб вырастить здоровых детей; потом старание образовать их, горе, волнение, когда видишь их лень и пустое, бездельное будущее,— и потом отчуждение, упреки, грубость со стороны детей, и какое-то отчаяние, что вся жизнь, вся молодость, все труды напрасны.

Получаю часто письма от Л. Н. Он, по крайней мере, теперь хоть несколько сот голодных прокормит[86]. А то грех ему непростительный, что детей своих забросил,

5 мая. Получила сегодня два письма от Л. Н. Он бодр и здоров, слава богу. Пишет, что открыл восемь столовых и что денег больше нет [87]. Всегда мне казалось, что если одного, двух прокормить — и то хорошо, а не только несколько сот человек. А сегодня показалось так ничтожно девять столовых перед миллионами бедняков. Пожертвований мы не вызывали, Л. Н. уже не по силам много работать; а если б вызвать — денег нам дали бы много.

9 мая. Сегодня Соня Мамонова просила написать Сергею Ивановичу, чтоб он пришел вечером с ней повидаться. И он пришел — и наконец я дождалась этого счастья — он играл. Сонату Бетховена («Quasi una fantasia») и ноктюрн Шопена. Какое было счастье его слушать, и *как* он играл! Он был особенно нежно настроен сегодня, и было что-то такое глубокое, содержательное, рассказывающее что-то в его игре... Я знаю, что он играл для меня, и была ему так благодарна! Но зачем опять тревожить заснувшее на время к этим страшным впечатлениям сердце? Больно слишком...

Написала письмо Льву Николаевичу [88] и о нем болезненно думала. То наслаждение, которое я получаю от игры Сергея Ивановича, доставляет страдание моему мужу. И это мучительно думать. Почему нельзя всего помирить, со всеми быть счастливой, любящей; от всякого брать ту долю радости, которую он может дать.

Приехал Сережа; играл Сергею Ивановичу свой романс и потом играл с ним в шахматы.

10 мая. Утром читала корректуры, потом ходила за билетами в театр и к Дунаевым искать помощницу к Льву Николаевичу на дело помощи голодающим [89]. Предлагают Страхова, это было бы хорошо. Прочла сегодня письмо Черткова к Л. Н., желая узнать об умирающем Шкарване [90]. Все письмо не натуральное, все те же рассуждения о борьбе с плотью, о деньгах и грехе их иметь, а вместе с тем он всюду задолжал, а у Тани просит взаймы 10 000 руб. [91].

Все фальшь, фальшь, а я *ее-то* и не терплю. И кто из нас не борется со страстями? Да еще *как* борются! Иногда чувствуешь, что последние силы ушли на эту борьбу, и больше их негде взять. Да и какие у них страсти! Все

они какие-то прямолинейные, скучные... А есть страсти, молчи, а не кричи о них вечно.

Вечером были в театре с Сережей, Андрюшей и Сашей. Давали «Freischütz» в пользу голодающих консерваторские ученики[92]. Я сидела во втором ряду кресел, там же, где Сергей Иванович.

19 мая. Ясная Поляна. Много было движенья всякого эти дни: укладывалась, перевозила весь дом и Сашу с новой гувернанткой, m-lle Kothing, швейцаркой. Переехали все люди 15 мая, мы с Сашей приехали в Ясную 16-го утром, в пустой яснополянский дом. Второй год я так приезжаю! В тот же день прибыли лошади, корова, рояль, все ящики, и мы усиленно разбирались и убирались; обедали и ужинали в доме Доры и Левы, которые были очень приветливы. 17-го утром я уже уехала к Льву Николаевичу в Гриневку и так радовалась его увидеть, и детей, и внуков. Но мои горячие порывы всегда обдаются холодной водой. У Льва Николаевича сидел какой-то сектант, которому он читал свою статью; мой приезд помешал чтению, и Л. Н. было немного досадно, хотя он очень старался это скрыть. Я ушла в сад с этими миленькими внуками, Мишей и Андрюшей, и мы долго гуляли, бродили всюду, и я им рассказывала многое о цветах, яблонях, насекомых и просто из жизни — истории. Часа три я с ними наслаждалась. Когда после обеда я опять вошла к Льву Николаевичу, опять сектант сидел у него и говорил ему длинные стихи духовного содержания, которые составлены для пения сектантами; и опять Л. Н. с досадой уж просто меня выпроводил. Я ушла и заплакала: три недели почти мы не виделись; ни о нашей жизни в Москве, ни о детях, ни об экзаменах Миши, ни о Тане — ни о ком ему дела нет. Когда Л. Н. увидал, что я огорчилась, он пошел меня искать, начал смущенно оправдываться.

В Гриневке идет горячая жизнь, и мне жаль было, что я не могу в ней участвовать. Открыто двадцать столовых, кроме того, раздача идет муки; весь день народ с мешками на подводах: то привозят купленное: муку, картофель, пшено, то получают недельную выдачу и развозят по столовым. При мне картофель привезли и складывали для народных столовых. Соня, жена Ильи, усердно работает, хотя Л. Н. ее упрекает в бестолковости иногда. Взял у меня Л. Н. еще сотню рублей, это уже четвертая, и я

больше своих денег дать не могу. Эти сто рублей передали Сереже для помощи в Никольском. С начальством идет какая-то глупая путаница: орловский губернатор Трубников выдал Илье официальную бумагу с позволением открыть *столовые* и даже выразил благодарность за них. Земский же начальник запрещает их открывать, говоря, что у него тайное предписание не допускать открытия столовых, а арестовать и выслать всех тех, кто вздумает жить среди народа и помогать ему [93]. Каково правительство! И кто кого обманывает?

Сегодня вернулась в Ясную, побывав часа четыре в Туле для всяких дел: и по иску Бибикова о владении землей; [94] и о размытой на Чернском шоссе насыпи и о мосте; и о передоверии, межевании и т. д. Скучно и утомительно ужасно! Саша жила одна с гувернанткой, и мне сегодня было жаль ее.

Вечер пили все вместе чай на террасе, потом ходили встречать родителей Доры, которые приехали не тогда, а позднее, к ночи.

Л. Н. был в Гриневке не совсем здоров, у него болят верхние спинные позвонки и изжога. Сегодня ему было получше. Он очень занят развитием мускулов, делает гимнастику с гирями, ходил в пруд купаться и мылся на берегу; ест плохую пищу и мало,— а потом жалуется, пугается, стонет, закутается в ваточный халат и говорит о смерти, которой и не желает и боится.

Стало ясно и холодно, особенно по ночам. Яркая луна на чистом небе, опять сухо и пыль. Опять плохой урожай будет!

Телеграмма от Тани, она приедет завтра. Миша продолжает выдерживать экзамены, благодарю бога! Послезавтра поеду к нему.

20 мая. Ясная Поляна. Какой блеск, какая красота весны! Ясные, солнечные дни, лунные ночи, пышное, необыкновенное нынешний год, цветение сирени, особенно белой; осыпающийся цвет яблонь, соловьи...— все это опьяняет, восхищает, и ловишь эти мимолетные впечатления красоты весенней природы, и бесконечно жаль их.

Приехали вчера добродушные Вестерлунды, родители Доры. Как она им рада, милая девочка с ее брюшком, домашними хлопотами, заботами о их комфорте.

Приехала сегодня утром моя Таня, что-то бледная и вялая; и все у ней разговоры о любви, о желании иметь

детей, о трудности выносить девичество; трудности, о которой особенно ей наговорила Вера Толстая, которая вся возбуждена и готова на всякую любовь и, главное, на деторождение. Бедные девушки, они не знали в молодости, что их ждало в зрелости.

Сегодня рождение Левы, ему 29 лет. Мы у него обедали, пили шампанское, и Дора радовалась и все украсила цветами.

Еду завтра в Тулу по делам противного Бибикова, который затеял отрезать у нас землю; а вечером еду в Москву. Сегодня отправила повара с провизией к Льву Николаевичу; написала ему длинное письмо [95]. Завтра отправляю Сашу с гувернанткой к сестре Лизе, а то ей не с кем тут оставаться, Таня уезжает 22-го к отцу в Гриневку.

С Таней мне просто, хорошо. Мы друг друга до конца знаем, понимаем и несомненно любим.

Передо мной портрет Льва Николаевича с таким выразительным взглядом, который все меня к себе притягивает. И, глядя на него, я вспоминаю его упреки, его поцелуи, но не могу припомнить искренне-ласковых слов, дружелюбно-доверчивого отношения...

Были ли они когда?.. У меня был порою страстный любовник или строгий судья в лице моего мужа, но у меня никогда не было друга — да и теперь нет, менее чем когда-либо.

Ах, как соловьи поют!

Ходили сегодня с Сашей гулять по лесам; набрали немного грибов в посадке, ландыши еще так чудесно цветут в Чепыже. Люблю я ландыши, такой благородный цветок.

Какая тихая лунная ночь! И опять стало жарко днем и тепло ночью. Перечла жизнь и учение Сократа [96] и с новой стороны поняла его. Все великие люди схожи: гениальность есть уродство, убожество, потому что она исключительна. В гениальных людях нет гармонии, и потому они мучают своей неуравновешенностью.

22 мая. Приехала утром в Москву.

25 мая. Троицын день. Миша уехал к Мартыновым. Экзамены выдерживает с натяжкой. Ездила с няней на могилки Алеши и Ванечки в Никольское. Посадили цве-

ты, обложили дерном, прочла я «Отче наш» и попросила в душе моих младенцев молить бога о моей грешной и больной душе.

Ясный, веселый день, праздничный народ. Ходила с девочкой в ближайший женский монастырь, болтала с монахинями. Одна из них — *влюбленная* в Христа с самой юности и помешана на том, чтоб остаться в полном смысле слова *Христовой*, а не чьей-нибудь, невестой.

Чисто разведенный садик, близость деревни и дач, гармонии, народ — никакого *настроения* не чувствовалось. Вернулись поздно вечером в Москву.

26, 27, 28, 29-го в Москве; корректуры, одиночество, грусть. Раз вечером на этих днях играю в угловой комнате, и так мне захотелось видеть и послушать Сергея Ивановича, и через несколько времени вижу в окне три фигуры, не узнаю сначала, потом узнала и не удивилась. Это были Маслов, Танеев и Померанцев. Маслов ушел раньше; потом Померанцев играл мне, потом и Сергей Иванович стал играть: играл свои романсы, свой квартет в четыре руки с Юшей.

29-го он опять пришел ко мне вечером вместе с Гольденвейзером. Но просидел очень мало времени и, какой-то взволнованный, торопливо ушел.

30 мая. Акт в консерватории. Жаркий солнечный день. Соната Шумана, концерт Сен-Санса и несколько маленьких вещей, прекрасно сыгранных ученицами консерватории — Фридман, Бесси и Гедике-учеником,— мне доставили большое удовольствие. Не было ни одного человека, кто бы меня ни приветствовал словами: «Какая вы сегодня молодая», или: «Какая свеженькая», или: «На вас смотреть — станет весело, легко, свежо...» Это сделало больше всего мое светлое, новое, очень бледно-лиловое кисейное платье. Но разговоры о моложавости моей и приветствия ласковые публики мне всегда, к стыду моему, приятны.

Сафонов заставил меня, умоляя, присутствовать на каком-то заседании. У него не хватало членов музыкальных. Я ничего не поняла из его отчетов, что-то подписывала, и мне было совестно.

Приезжаю домой, выхожу на балкон, вижу — сидит на лавочке в саду Сергей Иванович и читает газету. Я страшно обрадовалась. Для нас с Мишей был накрыт

в саду обед; поставили третий прибор. Как мы весело, хорошо обедали. Всем есть хотелось; а в саду было так уютно, свежо! После обеда втроем, т. е. с Мишей, ходили по саду. Сергей Иванович рассказывал о Кавказе. Миша уезжал на другой день на Кавказ и интересовался рассказами. Потом Миша уехал, мы остались вдвоем: пили вместе чай; Сергей Иванович мне сыграл вариации, написанные его учеником, Колей Жиляевым. Потом мы сидели и разговаривали так, как разговаривают люди, до конца доверяющие друг другу: серьезно, искренно, без застенчивости, без глупых шуточек; говорили только о том, что действительно нас интересует обоих. Ни разу не было неловко или скучно.

Какой был вечер! Последний в Москве, а может быть, и в моей жизни.

В девять часов он стал собираться уходить, и я не стала его удерживать. Он, прощаясь, только тихо и грустно сказал: «Когда-нибудь надо уходить». Я ничего не ответила, мне хотелось плакать. Я проводила его до двери и ушла в сад. Потом я все уложила, убрала, заперла, и мы в 12 часов ночи уехали в Ясную.

31 мая. Утром тяжелый приезд в Ясную. Ни Тани, ни Льва Николаевича, и три телеграммы — он болен, лежит у Левицких! Он обещал никуда не ездить, а съехаться со мной в Ясной и вместо этого уехал с Соней (невесткой) в коляске странствовать по соседям и будто бы изучать положение страны в смысле голода и будущего урожая. Были они у Цуриковых, у Афремовых и у Левицких, где Л. Н. уже слег в жару, с дизентерией [97].

1 июня. Лев Николаевич не приехал; проплакав весь день, я поехала больная с Марьей Александровной Шмидт сначала через Козловку в Тулу, потом Сызрано-Вяземской дорогой до Карасей. Там рано утром наняла ямщика и поехала к Левицким. Лев Николаевич плох, все дизентерия, слабость, ехать домой немыслимо.

2, 3, 4, 5 июня. У Левицких. Прекрасная семья, занятая, либеральная в хорошем смысле, особенно он, умный, твердый человек.

Трудный уход и забота за больным Л. Н. в чужом доме, с сложной вегетарианской пищей. Посылала за доктором, давали висмут с опием, компрессы. Скучно, холод-

но, тоскливо и досадно. Лев Николаевич поехал уже больной. Что за легкомыслие, и как не совестно в чужом доме дать столько забот с непривычными для посторонних, сложными требованиями миндального молока, сухариков, овсянки, покупного хлеба и проч.

6 июня. Вернулись в Ясную, я очень кашляю, слаба, измучена и устала от трудного ухода за Львом Николаевичем.

Ночевали у Ершовых, которых не было дома. Ужасное событие! Тулубьева, рожденная Ершова, молодая женщина, от тоски бросилась в воду и утопилась. Я позавидовала ее храбрости. Жить очень, очень трудно.

8 июня. Родился сын у Доры в 12 ч. 45 мин. Как она, бедная, страдала, как умоляла отца о чем-то, горловым, молодым голосом, громко болтая по-шведски. Лева был очень с ней нежен, бодрил ее, а она так хорошо, любовно к нему относилась, прижималась, как будто прося разделить ее страдания. И он разделял, и так нормально, хорошо родился этот маленький Лев.

11 июня. Поставила рояль в мастерской Тани. Играла сегодня часа три и плакала ужасно от бессилия, желания послушать еще когда-нибудь музыку Сергея Ивановича. Ведь были же эти два счастливых лета! [98] Зато после какого страшного несчастия — смерти Ванечки — послано мне было это утешение! Благодарю тебя, господи, и за то.

Приехали Маша с Колей и Илья с Мишей, внуком. Мы с ним гуляли вдвоем по Черте, рвали ночные фиалки, говорили о разлуке с няней, о гнездышке, которое мы берегли с Ванечкой — сначала с яичками, потом с птичками. Очень было тихо, хорошо на душе, особенно после моих слез и моего отчаяния.

Ужинал у нас Вестерлунд и Лева, и стол был длинный, что я люблю, привыкла так. Мечтаю ехать к сестре Тане и заехать к Масловым. Удастся ли? Когда Ф. И. Маслов со мной прощался в Москве, он меня очень звал и за что-то горячо благодарил. Люблю я эту семью, утешающую, твердую, добрую и ласковую. Все они безбрачные, но при тихой поверхности, наверно, не без внутренних тревог и волнений прожита жизнь всякого из них. Как мне хотелось бы в их тихую пристань, где Сер-

гей Иванович, наверно, мне поиграл бы и где мы с ним опять побеседовали бы о самых серьезных и задушевных вопросах жизни и смерти.

Л. Н. все не поправляется от болезни. Он вял, сонлив и притих совсем, не проявляя ни радости, ни горя, ни злобы, ни любви. Эта последняя болезнь точно испугала его, и он, точно увидав возможность умереть, ужаснулся этого.

Вопрос о голоде, столовых, пожертвованиях как будто вдруг перестал его интересовать [99]. Вестерлунд нашел в Льве Николаевиче увеличенную печень и велел ему пить воду Виши очень горячую по утрам.

12 июня. Поздно встала; играла упражнения внимательно и вижу, что очень отстала. Ходила с внуком Мишей в елочки и в Чепыж, мы набрали грибов, рыжиков и березовых. Тишина лесная, цветы, ясное небо, солнце — все это как хорошо! Потом опять играла. После обеда посидели с Мишей на вышке, а потом ездили в кабриолете с Сашей к столяру и на могилки моих младенцев, тетушек и родителей Л. Н., рвали во ржи васильки; дорогой смеялись, болтали, шутили с детьми. Вечером Л. Н., на балконе сидя, задавал нам задачи и вспоминал свою любимую о косцах. Вот она.

Было два луга: большой и малый. Пришли косцы на большой луг, косили все полдня. На вторую половину дня отправили половину косцов на малый луг. К концу дня большой луг был весь скошен, а на малом лугу осталось работы на одного человека на один день.

Сколько было косцов? 8 человек. $^3/_4$ косцов скосили большой луг; $^3/_8$ косили малый, т. е. $^2/_8$ косцов и $^1/_8$, т. е. один человек. Если один человек составляет $^1/_8$, то всех было восемь человек.

Это одна из любимых задач Льва Николаевича, и он ее всем задает.

Думала сегодня: отчего женщины не бывают гениальны? Нет ни писателей, ни живописцев, ни музыкальных композиторов. Оттого, что вся страсть, все способности энергической женщины уходят на семью, на любовь, на мужа,— а главное, на детей. Все прочие способности атрофируются, не развиваются, остаются в зачатке. Когда деторождение и воспитание кончается, то просыпаются художественные потребности,— но все уже опоздано, ничего нельзя в себе развить.

Девушки часто развивают в себе духовные и художественные способности и силы; но это развитие остается единично, не может идти дальше, в следующие поколения, потому что девушки не дают потомства. Бывают часто гениальные люди от старых, развитых раньше, матерей, и Лев Николаевич один из таких. Его мать была не молода, когда родила его да и когда выходила замуж.

13 июня. Опять как будто судьба позволила жить и радоваться, если только сердце мое больное способно еще на радость. Но, слава богу, все здоровы и дружны, Лев Николаевич сегодня ездил верхом в Ясенки; и он рад, что поздоровел и что и ему еще бог позволил жить, и жить даже бодро. Только что начинаю устраиваться, убирать дом, устанавливать мебель, гулять. Сегодня с внуком Мишей ходили в посадку, рвали цветы, грибы, ягоды; много о Ванечке с ним говорили; я ему рассказывала о его жизни и плакала.

Потом я опять гуляла с Вестерлундами, Левой и Илюшей. С Илюшей тихо и хорошо разговаривали о его делах и переезде на зиму к теще. Очень он, бедный, запутался в делах хозяйственных и денежных.

Чудесный был ясный вечер; пропасть везде цветов, делали букеты на завтра.

Завтра крестят маленького внука Льва.

14 июня. День провела со всеми своими детьми: в 1 час дня крестили маленького внука Льва. Дора очень волновалась, а деды — шведы — ужасались дикости русских крестин.

Обедали все у нас, на воздухе, очень торжественно, с букетами и фруктами на столе, с шампанским и прекрасной солнечной погодой. Потом все играли в теннис, и Л. Н. тоже; он не унывает; здоровье его, слава богу, совсем поправилось. Вечером уехали и Маша с Колей и Илья с Мишей, которого мне ужасно было жаль отпускать. Но чувство, что он *не мой,* что любить его только горе, что воспитывать его буду не я — все это заставляет меня бояться этой привязанности, и я удаляюсь от Миши умышленно.

Играла сегодня три часа подряд, разучивала полонез Шопена As-dur; трудно, но какое это чудесное произведение! Позднее приехала Надя Фере, очень приятно пела.

Прочла рассказ сына Левы в «Новом времени»: «Прелюдия Шопена» [100]. У него не большой талант, а маленький, искренно и наивно. Кончила день с Л. Н. слишком молодо.

17 июня. Опять все трудно и грустно! Вспомнила невольно когда-то сказанные мне французским философом Charles Richet слова: «Je vous plains, madame, vous n'avez pas même le temps d'être heureuse»* [101].

Опять и вчера, и сегодня припарки, компрессы, ухаживанье за больным Львом Николаевичем... Он после своей дизентерии не был воздержан, ел много и жадно; ездил, вопреки запрету докторов, на велосипеде, купался, слишком утомлялся верховой ездой, и вчера у него начались страшные боли в желудке, упорная, мучительная рвота, а сегодня жар, 38 и 2 было вечером, весь день он ровно ничего не ел, стонет вот уже сутки и очень нетерпелив.

От упрямства и невоздержания он сокращает свою жизнь и заедает и мой век. На этот раз мне стало досадно; только что с напряженным вниманием я старательно выходила его от дизентерии, и опять он слег. Сама я тоже больна, слишком утомляюсь и огорчаюсь. У меня кашель, болит под ложечкой.

Л. Н. в постели принимал каких-то супругов из Воронежа, приехавших, как к духовному врачу, с ним о чем-то советоваться. Это его утомило.

Вчера, до заболеванья Льва Николаевича, с Сашей в первый раз купались и жалели, что мало кто пользуется такой чудесной купальней и вообще нашей яснополянской удобной летней жизнью. Разговорились с ней и смеясь решили, что когда будем жить по своей воле, то у нас будет много, много всякого народу, которые будут жизнью наслаждаться вокруг нас, а мы на них будем радоваться.

18 июня. Рожденье Саши, ей 14 лет. Невыносимо жаркий день, 40 градусов тепла было на солнце в два часа дня. Л. Н. все нездоров, изжога, жар до 38 и 3 был сегодня. К вечеру стало лучше, температура пала до 37 и 5, и он ел сегодня два раза овсянку и пил кофе.

---

* «Я жалею вас, сударыня, у вас даже нет времени быть счастливой» (*франц.*).

Сбегали с Сашей бодро на Воронку купаться. Такой был красивый, тихий вечер, что я не переставая любовалась природой, небом и луной.

Вернувшись, застала Льва Николаевича, диктующего статью газетную Тане, которую, впрочем, раздумали посылать.

Дело вот в чем: приехали в Ясную шесть человек гимназисток и гимназистов, привезли 100 р. для нуждающихся крестьян. Л. Н. послал их к священнику, попечителю здешних мест, и священник указал на особенно бедных. Гимназисты купили в Ясенках муки, которую и выдавали беднейшим. Явился становой и урядник и строго запретили купцу в Ясенках выдавать муку мужикам по запискам от нас или гимназистов [102]. Просто безобразие! Не смей никто в России милостыню подать бедным — становой не велит. Мы с Таней глубоко возмущались, и обе охотно бы поехали прямо к царю или его матери и предостерегли бы их от того возмущения, которое может подняться в народе от озлобления к подобным мерам.

Приехали девочки Толстые и М. А. Шмидт.

20 июня. Лев Николаевич все болен. Жар небольшой, 37 и 8, но все жжет его, и он худеет и слабеет. Боли в животе только при движении или нажимании. Вчера на ночь долго растирала ему живот камфарным маслом, потом положили компресс с камфарным спиртом. На ночь дала висмут с содой и морфием. Ел он сегодня овсянку, рисовую кашу на миндальном пополам с простым молоком (обманом) и яйцо, которое, после трех дней, уговорил его съесть доктор Вестерлунд.

Был исправник по поводу приезда из Харькова гимназистов и гимназисток для какой-то помощи народу и работы в народе. Все без видов, а сегодня приехали две еще девочки с той же целью, из которых одной 13 лет. Их всех выслали, а я упрекала исправнику резко, что он запретил купцу в Колпне отпускать по запискам муку народу. А записки выданы по указанию священника беднейшим жителям наших мест, и мука уплачена.

Еще приехал из Англии Х. Н. Абрикосов и рассказывал о Черткове и всех тамошних жителях русских немало нового и интересного.

Ходили купаться с Таней и Сашей. Жара страшная, сухая гроза, тучи, молнии, дождя нет, страшная засуха,

Урывками эти дни поиграла немного в мастерской, на дворне.

Очень сегодня я затосковала о Льве Николаевиче. Думаю, если он и поправится от *этой* болезни, то ему скоро 70 лет; и все-таки он долго прожить не может, и вдруг я останусь одна, без него на свете. Такая вдруг беспомощность мне показалась во мне, такое ужасающее одиночество, что я чуть не разрыдалась. Как ни трудно мне подчас с Л. Н., но все-таки он меня одну любил, он был мне опорой и защитой, хотя бы даже и от детей. А тогда? Трудно, грустно мне будет ужасно! Дай бог ему пожить подольше, и мне без него или не жить совсем, или как можно меньше.

Прочла четыре листа корректур, глаза слабеют.

21 июня. Со всеми болезнями и горестями напутала в издании 15-го тома девятого, дорогого издания и очень этим взволновалась; не знаю еще, как выпутаюсь. Я забыла, что то, что составляло *добавление* к 13-й части, тоже не вошло в дорогое издание, и начала прямо с 14-й части. Теперь придется добавлять в конце, внося все без системы и без последовательности годов [103]. Слишком много должна вмещать моя голова, и все идет хорошо, пока все благополучно. «И на старуху бывает проруха», говорит пословица; и вот у меня «проруха», а все от болезней Льва Николаевича и разъездов по разным местам, где он жил, куда ездил и где болел.

Посылала за Надей Ивановой, читала с ней корректуры. Часа три играла на фортепьяно. Льву Николаевичу получше, со всяким днем температура ниже, сегодня 37 и 3, но он очень жалуется на слабость и был сегодня не в духе, на все сердился. Начал есть, в виде лекарства, по совету Вестерлунда, по яйцу в день, и ему это неприятно, но слабость и немощь тоже неприятны [104].

Вечером ходили все купаться. Возвращалась я одна, сумерками, лесом, и так вдруг затосковала душа о Ванечке, о сестре Тане, о многом утраченном в жизни, об утраченном и испорченном в моем собственном сердце, о том, что еще друг — моя дочь Таня — уйдет от меня, порвет со мной ту сильную, тридцатичетырехлетнюю любовную связь, которая была между нами.

И вдруг рыдания поднялись в моей груди и горле, я стала громко стонать среди леса, одна; я думаю, птицы, и те перепугались от моих воплей и слез. Самые боль-

ные — это одинокие слезы и страдания, о которых никто никогда не узнает. Потом мне стало страшно, я все слышала в лесу чьи-то еще другие стопы. Это умершие чьи-нибудь души мне вторили или отсутствующие.

Приезжал Дунаев и с ним Дитерихс, брат Гали Чертковой, только что оставивший военную службу по убеждениям.

Затмение луны, на которое я смотрю в окно... Уже стало меньше...

22 июня. Весь день у крыльца бабы с просьбами: муки, денег, хлеба поесть просто, чайку, лекарства и т. д. Стараюсь терпеливо удовлетворить просящих, но очень утомляюсь. Помощи ни в чем, ниоткуда. Бегаю весь день к Л. Н. вниз, бегаю по делам — и к вечеру совсем без ног. Растирала Л. Н. живот, а в это же время мечтала о море, и скалах, и горах в Норвегии, куда звал нас уезжающий завтра Вестерлунд.

26 июня. Вчера провела тяжелый очень вечер. Наш сосед, юный Бибиков, оттягал у нас купленную у его отца землю; теперь приходится защищаться, началось судебное дело. Вчера нужно было собрать окольных свидетелей, и собрали только из Телятинок, деревни Бибикова, нашего якобы врага. По всему видно, что свидетели, судья, землемер — все подкуплены и угощены были вчера Бибиковым. Допрос тоже производили мошеннически. Сначала я горячилась, а потом просто пришла в недоумение: суд, допрос, присяга,— и все это одно мошенничество.

Просидела из любопытства до самой ночи в избе старосты. К концу допроса двенадцати крестьян все как будто стали сконфужены и смиреннее: и судья, и крестьяне. Слишком очевидна наша правота [105].

Писала прошение в тульскую чертежную, прося о восстановлении границ нашей земли, а то крестьяне ежегодно забирают больше и больше нашей земли.

Л. Н. все мне не нравится своим здоровьем. Сегодня у него желудок расстроился опять, и что-то он зяб вечером. Притом слабость еще большая.

Лева-сын тоже раздражителен и нервен, и писательство его такое же нервное. Я хотела бы для него больше спокойствия, жизнерадостности, меньше самоуверенности и душевной суеты.

Дора с младенцем Львом очень трогательны и милы.

Радостно было вчера то, что когда меня не было дома и поднялся ветер с ужасной грозой, Л. Н. очень тревожился обо мне, не ужинал, просил послать пролетку и теплое платье. Вот когда его не будет, не будет ничьей обо мне заботы, и это очень тяжело.

Уж и гроза была! Со всех четырех сторон молнии, ветер пролетку воротил, когда мы ехали из Телятинок домой, и вдали зловещее зарево пожара.

Много пожаров и много погорелых ходят к нам за помощью.

Тихая какая ночь, и луна светит в открытое окно. Я люблю это ночное одиночество с моими мыслями и в душевном общении с умершими и отсутствующими любимыми существами.

27 июня. Грозовая несносная атмосфера; все мы от жары и наэлектризованного воздуха совсем расслабли. У Л. Н. опять ноет под ложечкой. Боже мой! помоги мне не роптать и нести свои обязанности до конца достойно и терпеливо.

Делала ему сегодня ванну, сама все приготовила, положила градусник, потом чай приготовила в зале, и он очень ободрился. Хотелось мне очень ехать к Сереже, на денек; завтра его рождение, но не решаюсь оставить мужа. Пыталась сфотографировать внука, но не удалось, он заснул, потом гроза помешала. Учила инвенции Баха, но всего один час удалось играть. Больные бабы, дела, работа; написала по просьбе Л. Н. одно письмо крестьянину [106].

Маруся Маклакова уехала с Илюшей. Купались в белом густом тумане вечером с Сашей и Марусей.

Вестерлунд говорил, что я очень избаловала мужа. Сегодня меня поразило в записной книге Л. Н., что он пишет о женщинах.

«Если женщина не христианка — она страшный зверь» [107].

Вывод из того, что я всю свою личную жизнь отдала ему в жертву, подавила в себе все желания — хотя бы к сыну съездить, как сегодня, и так всю жизнь. А муж мой везде видит зверство.

Зверство настоящее в тех мужчинах, которые ради своего эгоизма поглощают всецело жизни жен, детей, друзей — всех, кто попадаются на пути их жизни.

28 июня. Приехал с Кавказа Миша, восхищенный своей поездкой, природой величественной Кавказа, радушием жителей, весельем, которое и ему и Андрюше там доставляли. С ним приехал Саша Берс, возмужавший и подурневший. Миша и Лева уехали к Сереже, к его рожденью.

Жизнь моя идет все так же мучительно скучно. Льва Николаевича я почти не вижу, он все один в своем кабинете, пишет без конца письма во все стороны и ткет усердно паутину своей будущей славы, так как эти письма будут составлять огромные томы. Я на днях читала его письмо к сектанту и ужаснулась *фальши* тона этого письма. Дневник он уже неохотно пишет, он знает, что я могу его прочесть, а письма разлетаются по всему миру, а дома копируются дочерями.

Он очень осунулся, похудел и присмирел.

Он нашел, что доктор Вестерлунд и мужик немецкий, и буржуазен, и туп, и отстал на 30 лет в медицине; а не видел он доброты этого доктора, его самоотверженную жизнь на пользу человечества, его желание помочь каждой бабе, каждому встречному; его заботу о жене, о дочери, его бескорыстность.

29 июня. Льву Николаевичу равномерно, потихоньку, но лучше. Сегодня он гулял, принес букет васильков. Пишет все письма целыми днями.

1 июля. Приехала Анненкова, были сегодня в Овсянникове. Там сидели у Марьи Александровны и потом у Горбуновых. У Марьи Александровны над ее постелью висит большой портрет Льва Николаевича. Она фанатичка его мыслей и по-женски все-таки в него влюблена и потому может выносить такую суровую рабочую жизнь. Без этого она давно бы умерла, так слаб ее организм, так она худа. Я ее люблю за ее пылкую природу. Анненкова спокойная и добрая по природе.

Сегодня не купалась, играла полчаса, написала 6 писем, из которых одно Сергею Ивановичу с запросом, куда ему послать книгу, английский перевод «Что такое искусство?» Л. Н., о которой он меня просил[108].

Лев Николаевич сегодня первый день совсем хорошо себя чувствует, и спал хорошо, и что-то усердно писал.

Своей жизнью я очень недовольна: проходят дни в болтовне (в сущности для меня скучной), в мелких делах раздачи лекарств, денег, забот о еде, хозяйстве, дел по книгам и имениям,— без мысли, без чтения, без искусства, без настоящего дела, которое могло бы иметь благотворные последствия...

Приехали к Мише Бобринский Лев и Бутенев, в коляске, тройкой: один как будто много выпил, другой курил толстые сигары, и Льву Николаевичу это было и жалко и смешно.

Приехал несимпатичный еврей Левенфельд, написавший и продолжающий писать вторую часть биографии Льва Николаевича [109].

Видеть очень хотела бы сына Сережу; Таня на время от нас ушла сердцем, но и она вернется. Мои двое старших детей — мои любимые. Они друзья моей всей почти замужней жизни и моей молодости.

2 июля. Читали драму Тани: очень *умно*, но безжизненно,— ни в кого не веришь и никого в этой драме не любишь [110].

Вечером разговоры с Левенфельдом. Он мне рассказывал об «Этическом обществе» в Берлине. Полный атеизм, забота о материальном благосостоянии людей. Забота эта хороша бы была, если б она получила широкое, всемирное распространение, но почему при этом им помешала вера в бога? Без мысли о боге я бы утратила всякую способность что-либо понять и что-либо любить. Мне нужна эта идея бога и вечности.

4 июля. Третьего дня просидела до трех часов ночи и писала с удовольствием свою повесть «Песня без слов». Вчера часа три играла на фортепьяно, сегодня тоже. Вспомнила сегодня о романсах Танеева, потому что Саша по дороге в купальню их все напевала, я взяла их разбирать.

Лев Николаевич ходил сегодня на завод с Дунаевым за 6 верст и обратно. Как живо он восстановил свои силы и здоровье! Слава богу!

Непростительно тоскую и везде слышу запах трупа, и это мучительно. Только музыка меня спасает от тоски и от запаха этого.

5 июля. Прекрасная прогулка с Л. Н., Дунаевым, Анненковой и тремя барышнями чужими, по Горелой Поляне, Засекой, под мост на шоссе, опять Засекой, Козловкой и домой. Ясный, красивый вечер. Все больна Таня, и все сердце болит, пойдешь, сидишь с ней и думаешь: «Неужели скоро мы расстанемся навсегда?»

6 июля. Дождь, холод; Таня все лежит от болей в животе. Прошлась по саду, нарвала для Тани чудесный букет. Поиграла часа два с половиной, но плохо. Весь день поправляла корректуры. Много мне беготни и мелких, скучных дел: документы надо посылать в управу; жалованье людям, грибы, малину покупать; больных лечить; нищим подавать; обед и ужин заказывать; с Дорой и внуком посидеть; работы девушкам раздать; переписать бы следовало эти дни Льву Николаевичу, а тут пропасть корректур. За Таней походить, а она упрямится лекарство принимать.

12 июля. Уехала из дому по гостям. Первое — заехала к дочери Маше и измучилась душой, глядя на нее. Сгорбленная, слабая, худая, как скелет, нервная, с всегда готовыми слезами. Жизнь крайне бедная, еда отвратительная.

13 июля. Рано утром приехала в Селище, к Масловым. Федор Иванович меня встретил на станции, вся семья была вставши и встречала меня, и Сергей Иванович тоже. Прелестные места, Брянские леса, ключи, речка Навля, все это широко, красиво, особенно сосновые с дубом леса. Ходила всюду с Анной Ивановной. Вечером читали «О голоде», прекрасную статью Льва Николаевича[111], всем очень понравившуюся. Сергей Иванович исполнил мою мечту, сыграл мне As-dur-ный полонез Шопена, и еще два раза. Два же раза он сыграл Шуберта «Morgenständchen» и что-то Генделя. Какое было наслаждение его слушать! Сам он у Масловых мне не понравился: какая-то и внешняя и внутренняя распущенность в привычной с детства обстановке людей, уже состарившихся, и природы приглядевшейся. На другой день, 14-го, ездили все в лес, фотографировали меня в дупле одной из вековых лип, вечером занимались с Анной Ивановной фотографией и рано разошлись.

15 июля. С утра рано все встали, Анна Ивановна проводила меня в карете до станции Навля, и вечером поздно меня встретила в Киеве сестра Таня. Ночевали с ней в городе, утром на извозчике приехали в Китаев.

16 июля. Ласковый прием у Кузминских; хорошенькая, благоустроенная дачка, милые мальчики, радушный хозяин Саша и любимая, горячо, глубоко любимая сестра Таня. При виде Митечки сердце больно перевернулось: это был друг, ровесник и первый товарищ детства покойного Ванечки. И Митя уже большой, десятилетний мальчик, а Ванечки нет!

Ходила гулять в Китаевский лес: вековые сосны, дубы старые, горы, монастыри... Ходили с Сашей, Верой и Митей и Володька мальчик. Купались в пруду монастырском, пили чай, лазили по горам. Хорошо быть в гостях, все ново, забот никаких...

17, 18, 19, 20 июля. Жила все дни у Кузминских. Был пикник с дачниками на остров Днепра; ходили все в народный театр в Китаеве. Купались в Днепре. 20-го были с сестрой Таней в самом Киеве, смотрели Владимирский собор. Лучшая там картина «Воскрешение Лазаря» Сведомского. Картины Васнецова — особенно крещение Владимира и крещение народа — ниже всякой критики. Вообще отсутствие изящества форм поражает всюду. Например, ноги Евы в раю, когда ее соблазняет змий,— это что-то ужасное.

Прелестно место, где стоит памятник Владимиру, и вид на Днепр вниз очень хорош. Вообще памятники древние, например, Богдану Хмельницкому в Киеве же, насколько лучше новых, как, например, безобразный памятник Пирогову на Девичьем поле.

Еще ходила в пещеры. Я на этот раз решилась и как вдруг заробела, когда мы прошли несколько этого безвоздушного, темного, подземельного пространства, откуда не было уже возможности поворота и которое освещалось только теми свечами, которые были в наших руках. И пришло мне в голову, что дьявол мне заграждает путь, а монах, водивший нас, в то же время мне сказал: «Чего вы, матушка, заробели, тут жили люди, а вы пройти боитесь. Вот церковь, молитесь». И я стала машинально креститься и стала твердить слова молитвы, и действи-

тельно страх вдруг совсем прошел, и я уже шла с интересом. Поразительны круглые окошечки в замуравленные пещерные комнатки, куда добровольно замуравливали себя святые люди, которым пищу подавали в эти окошечки раз в день и которые и умерли в этих затворах — *живых* могилах.

Семья сестры моей, Кузминской, произвела на меня самое отрадное впечатление. Позавидовала я одному, что отец так заботится о сыновьях и вместе с тем так с ними дружен. Вот уж исполняют поговорку: служба службой, дружба дружбой. Кроме того, обоюдная заботливость у супругов тоже очень трогательна.

Из Киева я уговорила сестру Таню ехать со мной в Ясную, и это была мне огромная радость.

22, 23, 24, 25 июля. Утром рано приехали с Таней в Тулу 22-го: дождь шел, свежо, лошади не высланы. Взяли извозчика, приехали — и тут начались неприятности: целый ряд неприятностей от Л. Н., что я заехала к Масловым и видела там Сергея Ивановича [112]. А между тем, уезжая, я спросила Л. Н.: если ему неприятно, то я не заеду. Я, прощаясь, нагнулась к нему, сонному, поцеловала его и просто, откровенно сделала ему этот вопрос. А он не просто, зло и не откровенно в первый еще раз сказал: «Отчего же, разумеется, заезжай», а второй раз сказал: «Это твое дело».

У преддверья пещер в Киеве, на стене написана огромная картина, изображающая сорок мытарств, через которые перешла душа умершей святой Феодоры. Изображены вперемежку: группа двух ангелов с душой Феодоры в виде девочки в белом одеянии, с группой дьяволов во всех возможных безобразных позах. И дьяволы эти — все сорок групп — изображают сорок грехов, подписанных по-славянски под этими группами чертей.

Так вот Л. Н. все эти сорок грехов, наверно, приписал мне в эти три-четыре дня, которые он меня бранил.

Наверху этой картины изображена уже одна душа, т. е. одна девочка в белом одеянии, упавшая ниц на ступенях возвышения, на котором изображен Христос, сидящий с апостолами. Далее врата рая — и наконец самый рай в виде сада. Целая поэма, очень интересная, воображаю, для народа особенно.

Потом стало у нас тише. Я старалась, чтоб не отравить сестре ее пребывание в Ясной. Мы с ней много разго-

варивали, и она меня осуждала за мое пристрастие и к Сергею Ивановичу, и к музыке, и за то, что огорчаю мужа.

Трудно мне покорить свою душу требованиям мужа, но надо стараться.

28 июля. Свезла в Ясенки сестру Таню. Она уехала в Киев, кажется довольная своим пребыванием в Ясной. Мы, если можно, стали еще дружней. Я осиротела — а прильнуть не к кому.

Ходила одна по лесу, купалась и плакала. К ночи опять начались разговоры о ревности и опять крик, брань, упреки. Нервы не вынесли, какой-то, держащий в мозгу равновесие, клапан соскочил, и я потеряла самообладание. Со мной сделался страшный нервный припадок, я вся тряслась, рыдала, заговаривалась, пугалась. Не помню хорошенько, что со мной было, но кончилось какой-то окоченелостью.

29, 30 июля. Пролежала полтора суток в постели, без еды, без света в темной комнате, без мысли, без чувства, без любви и ненависти, и испытала могильную тишину, безжизненность и мрачность. Ко мне заходили все, но я никого не любила, ни о чем не жалела, ничего не желала, кроме смерти.

Сейчас толкнула стол, и на пол упал портрет Льва Николаевича. Так-то я этим дневником свергаю его с пьедестала, который он всю жизнь старательно себе воздвигал.

31 июля. Лев Николаевич уехал верхом за 35 верст в Пирогово к брату Сергею Николаевичу.

1, 2 августа. Чувствую радость одиночества и комфорта жизни с каким-то небывалым еще во мне ощущением.

3 августа. Вчера и третьего дня усиленно переписывала повесть Л. Н. «Отец Сергий», высокого стиля художественное произведение, еще не оконченное, но хорошо задуманное. Тут есть мысль из «Жития святых», как один святой искал бога и нашел его в самоотверженной в труде и работе, самой заурядной, но смиренной женщине. Так и здесь, отец Сергий, гордый, прошедший все пе-

ринетии жизни монах, нашел бога в Пашеньке, уже старой женщине, знакомой еще в детстве и ведущей трудовую для семьи жизнь на старости лет.

Есть и фальшь в этой повести: это конец — в Сибири. Надеюсь, что так не останется. Очень уж все хорошо задумано и построено.

Писала вчера с половины второго до пяти часов утра, ночь всю пропереписывала, стало светло, и голова кружилась, но я все кончила, и Л. Н., приехав, может работать над этой повестью [113].

Он хочет сразу написать и напечатать три повести: «Хаджи-Мурат», «Воскресение» и «Отец Сергий», и все это как можно дороже продать в России и за границей, и весь сбор денежный отдать на переселение духоборов [114].

Это обидно для нас, для его семьи, лучше бы Илюшесыну и Маше помог; они очень бедствуют. Кстати, два духобора сюда приехали, и я их должна скрывать в павильоне [115], и мне это крайне неприятно.

Ветер, сухо, ясно и красиво.

Сидела у Доры, вникала в маленького Льва, внука, пропало во мне это непосредственное, животное почти, страстное чувство к маленьким детям, и в внуках я только люблю *мечту* будущего и продолжение нашей жизни.

5 августа. Вчера переписывала статью Л. Н. Все то же отрицание всего на свете, и под предлогом христианских чувств — полный социализм [116].

Сегодня с утра была в Туле: столько было дела в чертежной, у нотариуса, искала учителя Мише, покупки, дела в банке и управе. Я так устала, что шаталась на ногах. Мечтала дома отдохнуть, и вдруг толпы гостей: Сергеенко, две барышни Дитерихс, сестра Лиза с дочерью и гувернанткой, Звегинцева с дочерью Волхонской и князем Черкасским, мальчики,— ужинали неожиданно все, и я заробела. Еще приехал Гольденвейзер и играл вечером Шопена, и поднялись во мне опять все музыкальные чувства, то прекрасное настроение и возбуждение, которым я жила эти два года.

Шум, крик, безумие молодого веселья. Очень устала. А Л. Н. весел, тоже возбужден и радуется и гостям, и балалайке Миши Кузминского, и болтовне княгини Волхонской, и всему, что составляет развлечение жизни.

11 августа. Третий день больна: и все члены ломит, и голова болит, и желудок, и грудь заложило. Не сплю совсем и не ем ничего.

Вчера среди дня встала с постели, мне совестно было валяться больной без дела, и через силу почти переписала всю статью Льву Николаевичу. Он же работает над «Воскресением» — ненавистной мне повестью. Может быть, он ее исправит.

Тут Горбунов, Гольденвейзер, приехал Орлов-Давыдов, которого Л. Н. ждал; я сидела на балконе, хотела воздухом подышать, но страшно слаба; а Л. Н. вдруг уходит спать и мне оставляет на полтора часа гостя.

Я сказала, что пойду лягу, а графа пусть Л. Н. проводит к молодежи. И действительно, у меня сил нет болтать с гостями, которых я вижу в первый раз и которые приезжают не ко мне, а к писателю Льву Толстому.

Неприятное известие о том, что цензура арестовала последний, только что напечатанный мною том дорогого издания. Без хлопот не обойдется. Написала в Петербург Соловьеву, главному цензору [117].

19 августа. Пролежала в постели больная до вчерашнего дня, и то едва встала. Был сильный жар, боли в животе. Все это время смутно пролетало в памяти. Очень все ласково за мной ходили, постоянно были со мной, предупреждали все мои желания, жалели меня. Был день, когда я думала, что я умираю, но я этому была рада. Но вот встала и опять в водовороте жизни с ее требованиями, заботами, горем и трудностью разрешения неразрешимых вопросов.

Читаю интересную книгу «Le Réveil de l'Ame». Прочла еще книгу Anatole France: «La Buche» и «La fille de Clémentine». Я не скучала болезнью, хорошо было сосредоточенное одиночество, много мыслей и отсутствие забот материальных.

Чудесная, ясная погода, лунные ночи, пропасть цветов; вообще хорошо бы, если б не люди и их злоба, пороки, соблазны, ревность, лень и т. д.

До умиления радовалась сегодня красоте природы и погоды и жалела, что слаба и не могу ни купаться, ни гулять, ни радоваться активно. Приехал М. О. Меньшиков. Миша увлечен фотографией, чему я очень рада. Андрюша писал отказ выдуманной кавказской невесте и очень этим озабочен [118]. Таня у Олсуфьевых и в Москве. Л. Н. ездил

верхом в Засеку и хотел узнать о мясоедовских погорелых, но его не пропустили через полотно железной дороги по случаю проезда государя, бывшего в Москве на открытии памятника Александру II.

Играла с Сашей в четыре руки симфонию Гайдна, очень плохо она разбирает. Поправляла статью немецкую Левенфельда о его вторичной поездке в Ясную Поляну[119] и копировала Мишины фотографии. Болит под ложкой.

21 августа. Стараюсь после болезни войти в жизнь, но ничто не интересует. Готовимся к 28-му, не знаю, сколько будет гостей, и это хуже всего. Поиграла сегодня немного на фортепьяно, и знакомое, столь любимое мною успокоение нерв и души так хорошо вспоминалось, и вспомнилось все то, что дала мне музыка эти года. Красота лета, лунных ночей, цветов — все это грустно действует своим неудержимо быстрым течением и несомненным ходом к осени, холоду и зиме. Гулять еще не в силах, купаться нельзя. Лев Николаевич ездил далеко верхом, в Мясоедово, вчера его не пропустили через железную дорогу, ждали проезда царя.

Маленький внук Лев захворал свинкой, был Руднев. Андрюша гриппом болен. Миша увлечен фотографией.

Меньшиков прожил несколько дней, но разговоров мало от него было интересных на этот раз. Сегодня он Маше говорил, что не одобряет того, что Л. Н. начал усиленно выпрашивать у богачей деньги для помощи духоборам[120]. А я вообще никогда не могла понять, как можно жить, писать и говорить всегда так противоречиво, как это делает Л. Н.

Третьего дня ему лошадь наступила на ногу. Как он испугался вечером боли, как охал, не спал, растирал, клал компрессы, смотрел температуру — видно, очень испугался, а вышло ровно ничего, он уже опять бодро бегает и ездит верхом.

22 августа. Мое рождение, мне 54 года. Таня, Маша и Саша сделали мне подарки: Таня и Саша свои работы, что приятно, а Маша купила столик, что неприятно, я знаю, что у ней денег нет, и мне жаль, что она их тратит на ненужные мне вещи. Но, может быть, чувства ее были хорошие. Она плоха все: то голова, то под ложечкой болит, то еще что... Прислушивается к своему телу, просто *неврастения.*

Тут Зося и Маня Стахович, милые, живые девушки. Приехала утром Вера Кузминская, потом к вечеру моя золовка, Марья Николаевна. Обедали у нас Дора и Лева, и рождение вышло довольно торжественно. Когда все ушли гулять к Фере в Судаково, я пошла подстричь молодые плодовые деревья, потом часа два поиграла, одна, в мастерской. Л. Н. вечером был очень оживлен и блестящ, рассказывая всем, как бы задавая всякому темы для повестей: Мать, Купон, Кузмич — Александр I, и другие [121].

Тепло, ясно. Миша нас фотографировал, и меня с большим букетом.

24 августа. Ветер, дождь, холод, все дома, много было разговоров. Всех интересует объявленное русским царем желание всемирного разоружения и мира. Л. Н. даже получил из Америки от «World» запрос о его мнении, и он отвечал, что это пока *слова*, а что прежде надо уничтожить подати, воинскую повинность и многое другое [122]. А я думаю, что надо воспитать несколько поколений с отвращением к войне, чтоб она исчезла.

Приезжал мюнхенский профессор, румяный, коренастый немец [123]. Приехал от духоборов Сулержицкий и едет в Англию за сведениями, а те, т. е. духоборы, 7000 человек, ждут в Батуме на берегу моря решения, от кого же? От Черткова — куда им ехать [124]. Все это легкомысленно, страшно и нехорошо.

Л. Н. много беседовал с немцем. Он пишет свое «Воскресение», и ему переписывает очень кстати явившийся Александр Петрович.

Я очень озабочена приближающимся днем рожденья Льва Николаевича, боюсь множества народа и хлопот. Волнует меня и мой переезд в Москву: мне жаль нарушить жизнь тихую в Ясной и страшно за танеевские истории.

26, 27 августа. В Туле с золовкой Марьей Николаевной весь день. Покупки провизии, сенников, посуды и т. д. для приезда.

Приехали опять духоборы; все чего-то ждут извне, каких-то милостей царя по их прошению, а вместе с тем помощи от Льва Николаевича [125]. Выходит все это очень странно и бессмысленно, ибо помощь одного исключает помощь, участие другого.

Как прошел день 28 августа 1898 г. Льву Николаевичу минуло 70 лет. С утра, еще в постели, я поздравила его, и он имел вид именинника. Собралась вся семья с женами и детьми, отсутствовала только жена Сережи — Маня с сыном, да меньшие мальчики Ильи — Андрюша и Илюша. Приехали и гости: Потапенко, Сергеенко, князь Волхонский, Мих. Стахович, Миташа Оболенский, князь Ухтомский, Муромцева с Гольденвейзером и проч., и проч. Обедали около сорока человек; П. В. Преображенский начал было пить белым вином за здоровье Льва Николаевича и говорил неловкую речь, которую все замолчали умышленно. *Пить* за Л. Н. нельзя, он проповедует общество трезвости. Потом кто-то предложил тост за меня. И вдруг веселое, единодушное, даже ласковое и шумное питье за мое здоровье привело меня в такое волнение, что даже сердце забилось. Обед был веселый и сохранил вполне *семейный* характер, чего мы и желали. Утром Л. Н. писал «Воскресение» и был очень доволен своей работой того дня. «Знаешь,— сказал он мне, когда я к нему вошла, — ведь он на ней не женится, и я сегодня все кончил, т. е. решил, и так хорошо!» Я ему сказала: «Разумеется, *не* женится. Я тебе это давно говорила; если б он женился, это была бы *фальшь*» [126].

Получено было около ста телеграмм от самых разнообразных лиц. Вечером взошло солнце, и мы все, с детьми, внуками и гостями, пошли гулять. Потом Муромцева много пела, но была неприятно возбуждена. Гольденвейзер играл очень плохо. К ужину еще подъехали гости, но продолжало быть семейно, просто и благодушно.

Очень умен, прост и приятен был князь Ухтомский. Говорил, что статья «О голоде» Льва Николаевича очень понравилась молодому государю, но когда Ухтомский спросил, можно ли ее напечатать в «Петербургских ведомостях», то государь сказал: «Нет, лучше не печатать, а то нам с тобой достанется» [127].

Странно, что декларация государя о мире связана в понятиях иностранцев с именем Льва Николаевича, и приписывают влияние его мыслей на государя [128]. А вместе с тем это несправедливо, вряд ли государь думал или читал что-либо Льва Николаевича о войне; а просто совпадение.

День 28-го кончили опять с пением хора и поодиночке. Устали все очень, и хлопот о ночлеге и еде было немало...

29 августа. Все люди перепились и перессорились. Погода дождливая: здесь еще сыновья, внуки, Ухтомский и еще кое-кто. Миша поехал в Москву на переэкзаменовку.

30 августа. Получила утром умное и милое письмо от Сергея Ивановича, показала его Льву Николаевичу, который нашел то же. Сергей Иванович писал, что можно не быть последователем Л. Н., но, прочтя его сочинения, приходишь в тревожное состояние, и мысли Л. Н. постепенно, незаметно входят в человека и уже остаются в нем [129]. Через час после письма приехал и сам Сергей Иванович. Гости почти все уехали накануне, сыновья и Соня тоже. Вечером, поспав немного, Сергей Иванович сыграл партию в шахматы с Л. Н., а потом сел играть на фортепьяно. И играл же он в этот вечер! Лучше, содержательнее, умнее, серьезнее, полнее — играть невозможно. И Л. Н., и Машенька (не говорю про себя) пришли тоже в восторг. Играл Сергей Иванович Шумана «Davidsbündler» (кажется), сонату Бетховена op. 30, потом Шопена мазурку, потом баркаролу и «Près d'un Ruiseau» Рубинштейна, арию Аренского. Лев Николаевич говорил, что такое исполнение есть высшее, последнее слово в музыке; лучше играть нельзя, как играл Сергей Иванович. Я на другой день, 31-го, заболела и слегла в жару. Сергей Иванович утром уехал, я посмотрела термометр, у меня 38 и 4. Как трогательно испугался Лев Николаевич моей болезни! Милый, дорогой мой старик! Кто может больше любить меня, кому я так нужна, как ему! Я до слез была тронута и, лежа в постели, молила бога продлить его, дорогую мне, жизнь.

Проболев весь день, я не могла ехать, как думала, в Москву к Мише и по делам.

1 сентября. Мне лучше. Чудесный, теплый день; богатство садовых цветов, ярких, душистых... Опять я жизнерадостна сегодня, опять люблю людей, природу, солнце. Умиляюсь душой перед той нежной любовью, которую мне выказали, радуюсь моему выздоровлению.

Взяла фотографический аппарат и бегала всюду, снимая и природу, и внуков, и Л. Н. с сестрой, и лес, и купальную дорогу — и всю милую яснополянскую природу...

Вечером живо уложилась, набрала поручений, взяла Сашины букеты и поехала в Москву. Л. Н. и Саша проводили меня в катках на Козловку. Я нервна до слез и устала. Простилась трогательно с Левочкой и уехала с няней. Ночью в наше купе случайно зашел Сережа. Он вернулся в Ясную переговорить с отцом и едет в Англию по делам духоборов, так как по переписке дело их переселения не двигается, и мы не знаем, насколько Чертков серьезно и умело ведет дело; да и денег мало [130]. Кстати о деньгах. Левочка тихонько от меня вел переговоры с Марксом (издателем «Нивы») о своей повести. Маркс предложил по нотариальному условию, чтоб *исключительно* иметь право на повесть, 1600 р. за лист. Когда я это услыхала, я сказала, что Льву Николаевичу нельзя это делать, раз он напечатал, что отказывается от всяких прав [131]. Но это продается в пользу духоборов, и потому Л. Н. думает, что это хорошо, а я говорила, что дурно. И вот теперь, вдруг, в день моего отъезда, Л. Н. согласился, и Маркс давал без условий ограничения его прав 500 р. за лист, на что Л. Н., кажется, и согласится [132].

2 сентября. Приехала с няней утром в Москву. Дома темно, мрачно, дождь шел, уныние на душе... Разобралась, наняла извозчика, поехала по покупкам. Тряслась, тряслась... ох!

Но вечером осветили дом, везде цветы у меня, все чисто убрала, пианино взяла. Пришел Миша — переэкзаменовка кончилась успешно, он ходит в седьмой класс, но о чем-то умалчивает. Вечером стало веселей. Пришел Саша Берс, Данилевский, дядя Костя, Юша Померанцев, Сергей Иванович,— стало совсем весело.

Поразил меня Сергей Иванович одной вещью. Говорит мне, что когда я была летом у Масловых, я его глубоко обидела, посмеявшись, что у него обувь на велосипеде некрасивая, в белых чулках, и я сказала, что он шута из себя изображает.

3 сентября. Опять покупки, дела... Был Сережа, уехал в Англию... Все дождь перепадает. Никого не было. И Миша, и я — мы ездили в баню.

4 сентября. Весь день провела в халате, со счетами, с артельщиком, проверяя продажу книг и вписывая всё по разным счетным книгам; даже не гуляла. Но пришел

дядя Костя обедать и помешал кончить, что очень досадно, так как я от этого не уеду завтра, вероятно, в Ясную, еще выехать надо будет кое-куда.

Вечером пришли скучнейшие, чуждые совсем супруги Накашидзе, было досадно, потому что пришел Сергей Иванович, и благодаря этим чужим да крикливому Дунаеву нам с Сергеем Ивановичем не пришлось даже поговорить, и мы перекинулись несколькими фразами, нам одним понятными, и, кроме того, он указал мне в арии Баха, которую я теперь разучиваю, затрудняющие меня трудности. Эту арию Баха очень любит Л. Н., и я хотела бы ее выучить, чтоб ему ее получше сыграть. Раскинула сегодня карты, гадая на себя. И мне вышла смерть трефового короля. Я ужаснулась, и мне вдруг так захотелось к Левочке, опять быть с ним, не терять ни минуты жизни с ним, дать ему побольше счастья,— а между тем, когда ушел Сергей Иванович, мне стало грустно, что я долго его не увижу. И вот, измученная внутренним разладом, мне захотелось немедленно бежать куда-нибудь, чтоб лишить себя жизни. Я долго стояла в своей комнате с страшной борьбой... Если б кто мог в такие минуты заглянуть и *понять,* что делается в душе человека... Но постепенно страдание перешло в молитву, я долго молилась упорно, вызывая в себе лучшие мысли — и стало легче. Из дому нет писем, и мне грустно.

5 сентября. Была у тетеньки; у Веры Мещериновой умирает пятилетний ребенок от дизентерии. Вера Северцева шьет приданое и выходит замуж за Истомина (тип Молчалина). Опять дела весь день и покупки. Миша уехал к Грузинским. Вечером пришла Маруся Маклакова, умная, живая. Мы вместе весело делали запись продажи книг, спешили безумно, потом я поехала на поезд и — опоздала. Ночью вернулась, холод, ветер, насилу дозвонилась и легла.

6 сентября. Утром кое-что исправила в вчерашних ошибках расчета с артельщиком и уехала скорым. Дома хорошо, ласково, спокойно душой, привычно, — и я счастлива быть дома. Заставляю себя постоянно молиться, надеюсь в слабостях моих на помощь божью.

Приехало много Оболенских: Лиза и ее трое детей.

7 сентября. Лев Николаевич здоров, бодр и, кажется, спокоен. Я очень его люблю, мне хорошо с ним, и я охотно не поехала бы совсем в Москву. Там тревожно, и нет сил на эту тревогу.

11 сентября. Вот уже сколько дней прошло, и очень было хорошо эти дни: семейно, весело, хотя бездельно. Стахович оживляет всех: все девочки от него в восторге.

Сестра Марья Николаевна очень приятна, дружественна, участлива и весела. Я очень ее люблю. Третьего дня вечером они вдвоем с Л. Н. вспоминали детство, и так весело. Машенька рассказывала, как раз они ехали все в Пирогово, а Левочка — тогда мальчик лет 15 — бежал, чтоб всех *удивить,* пять верст за каретой; лошади бежали рысью, и Левочка не отставал. Когда остановили карету, то он так дышал, что Машенька расплакалась.

В другой раз он хотел *удивить* барышень: в Казанской губернии в с. Панове, именье дяди Юшкова, бросился одетый в пруд, но, не доплыв до берега, попробовал дно, дна не оказалось, он стал тонуть, бабы убирали сено и граблями его спасли.

А то его заперли на Плющихе, в Щербачевом доме, за наказанье. Ему было двенадцать лет, и он выпрыгнул в окно со второго этажа. Прислуга внизу увидала, его подняли, положили в постель, и он сутки проспал.

Да, *удивить, удивить* всех... и всю жизнь так было. И *удивил* весь мир так, как никто!

Уехали Оболенские; у Л. Н. грипп, по ночам лихорадит. Была Марья Александровна Шмидт и священник тюремный из Тулы [133]. Ветер, сыро. Стахович всякий день возит конфекты, груши, персики, сливы. Это неприятно, но молодежи вкусно. Эти дни занималась фотографией, и слишком упорно. Живу жизнью семьи, а на дне сердца что-то гложет: сожаление о чем-то, желание музыки, безумное, болезненное.

12 сентября. В доме совершенный разгром. Лакей влюбился в портниху Сашу и женится на ней; Верочка, шестнадцатилетний младенец, выходит замуж 18-го числа за приказчика. Повар уходит, кухарку свезли в больницу, Илья и няня в Москве. Никогда так не было. А гости без перерыва все приезжают и гостят. Сегодня приехал еще Ф. И. Маслов и Дунаев.

Л. Н. читал вечером ту повесть, над которой он теперь работает: «Воскресение». Я раньше ее слышала, он говорил, что переделал ее, но все то же. Он читал нам ее три года тому назад, в лето после смерти Ванечки. И тогда, как теперь, меня поразила красота побочных эпизодов, деталей и фальшь самого романа, отношения Нехлюдова к сидящей в остроге проститутке, отношения автора к ней; какая-то сентиментальная игра в натянутые, неестественные чувства, которых не бывает [134].

13 сентября. Дождь весь день и гости. Приезжал англичанин mr. Right, кажется, и Иванова, глупая старая дева, верящая в спиритизм. Эти гости — страшная повинность и тяжесть, налагаемая на семью, особенно на меня. Интересно мне было только одно, что они были в Англии у Черткова и всей этой сосланной колонии русских и нашли, что жизнь их страшно тяжелая, что с ними оставаться долго невозможно, так тяжела нравственная атмосфера их отношений между собой и их жизни вообще. Л. Н. это от меня тщательно скрывал, но я это всегда чувствовала...

Уехал Маслов; гуляли по дождю, который безнадежно льет и льет. Пошла было поиграть, но страшный стук в окно меня испугал: это Лев Николаевич пришел меня звать слушать чтение конца его повести. Мне жаль было оставлять игру, жаль было расстаться с арией Баха, которую я изучала и в красоту которой вникала, но я пошла.

Странное влияние музыки, даже когда я сама играю: вдруг начинает мне все уясняться, находит на меня тишина счастливая, делается спокойное, ясное отношение ко всем тревогам жизни.

Совсем не то впечатление производит на меня чтение повести Л. Н. Меня все тревожит, все дергает, со всем приводит в разлад... Я мучаюсь и тем, что Л. Н., семидесятилетний старик, с особенным вкусом, смакуя, как гастроном вкусную еду, описывает сцены прелюбодеяния горничной с офицером. Я знаю, он сам подробно мне о том рассказывал, что Л. Н. в этой сцене описывает свою связь с горничной своей сестры в Пирогове. Я видела потом эту Гашу, теперь уже почти семидесятилетнюю старуху, он сам мне ее указал, к моему глубокому отчаянию и отвращению. Мучаюсь я и тем, что герой, Нехлюдов, описан как переходящий от падения к подъему нравственному,

и вижу в нем самого Льва Николаевича, который, собственно, сам про себя это думает, но который все эти подъемы очень хорошо описывал в книгах, но никогда не проводил в жизни. И описывая и рассказывая людям эти свои прекрасные чувства, он сам над собой расчувствовался, а жил по-старому, любя и сладкую пищу, и велосипед, и верховую лошадь, и плотскую любовь...

Вообще в повести этой,— как я и прежде думала,— гениальные описания и подробности и крайне фальшивое, кисло-фальшивое положение героя и героини.

Повесть эта привела меня в тяжелое настроение. Я вдруг решила, что уеду в Москву, что *любить* и это дело моего мужа я не могу; что между нами все меньше и меньше общего... Он заметил мое настроение и начал мне упрекать, что я ничего не люблю того, что он любит, чем он занят. Я ему на это ответила, что я люблю его искусство, что повесть его «Отец Сергий» меня привела в восторг, что я интересовалась и «Хаджи-Муратом», высоко ценила «Хозяина и работника», плакала всякий раз над «Детством», но что «Воскресение» мне противно.

— Да вот и дело мое духоборов ты не любишь...— упрекнул он мне.

— Я не могу найти в своем сердце сожаление к людям, которые, отказываясь от воинской повинности, этим заставляют на их место идти в солдаты обедневших мужиков да еще требуют миллиона денег для перевоза их из России...

Делу помощи *голодающим* в 1891 и 1892 году, да и теперь, я сочувствовала, помогала, работала сама и давала деньги. И теперь, если кому помогать деньгами, то только своим смиренным, умирающим с голоду мужикам, а не гордым революционерам — духоборам.

— Мне очень грустно, что мы во всем не вместе,— говорил Л. Н.

А мне-то! Я исстрадалась от этого разъединения. Но *вся* жизнь Льва Николаевича — для чуждых мне людей и целей, а *вся* моя жизнь — для семьи. Не могу я вместить в свою голову и сердце, что эту повесть, после того как Л. Н. отказался от авторских прав, напечатав об этом в газете, теперь почему-то надо за огромную цену продать в «Ниву» Марксу и отдать эти деньги не внукам, у которых белого хлеба нет, и не бедствующим детям,

а совершенно чуждым духоборам, которых я никак не могу полюбить больше своих детей. Но зато всему миру будет известно участие Толстого в помощи духоборам, и газеты, и история будут об этом писать. А внуки и дети черного хлеба поедят!

15 сентября. Вчера мне стало так грустно, что у нас с Л. Н. нехорошие отношения были накануне, и так он на этот раз кротко перенес мои суждения о повести и мои упреки о продаже ее, что я по какому-то внутреннему, сердечному толчку пошла к нему вниз, в кабинет, и выразила ему сожаление о резких словах моих и желание быть *вместе,* быть дружными. И мы оба расплакались, и оба почувствовали, что, несмотря ни на какие *внешние* разъединения, *внутренно* мы были все эти тридцать шесть лет связаны *любовью,* а это дороже всего.

Сегодня укладывалась, собираюсь завтра в Москву; очень волнуюсь о Мише. Пробегала сегодня часа три по лесу, собирала мелкие рыжички в еловой посадке, рвала цветы, умилялась красотой природы, неба, солнца. Погода прояснилась.

17 сентября. Москва. Вчера вечером приехала в Москву.

Сегодня ездила утром купить провизии, потом по визитам, а вечером собрались мальчики, Мишины товарищи, а ко мне Наташа Ден, мисс Вельш, Гольденвейзер, Дунаев с женой, Маклаковы, дядя Костя и Сергей Иванович. Юша Померанцев мне говорил, что он играл сегодня часа три, чтоб мне вечером играть. Маруся его просила, он долго отказывался, но потом сыграл «Davidsbündler» Шумана. Но мальчики рядом играли в карты, их крик раздражал Сергея Ивановича, и он это выразил с досадой. «Я приду к вам как-нибудь и поиграю вам одной, — сказал он мне.— Мне это приятней».

Я поблагодарила его и теперь жду этого счастья.

18 сентября. Весь день покупки, исполнение поручений, вечером была Елена Павловна Раевская.

19 сентября. Сидела в трех банках, платила за Илью, выручила деньги, которые положила пять лет тому назад на имя Ванечки. Милый, ему не нужны теперь ни деньги

и ничего земного! Когда-то я перейду в это блаженное состояние!

Письмо от Машеньки: она пишет, что Левочка был грустен в день моих именин [135]. Это потому, что он знал, что Сергей Иванович будет играть, и опять он ревновал меня. А что же может быть невиннее, чище этого эстетического наслаждения — слышать такую удивительную музыку.

Сама играла сегодня до трех часов ночи. Миша уехал в Ясную Поляну. Разговор три часа подряд с Сергеенко. Раскаиваюсь в лишних словах.

20 сентября. Была с утра в Петровско-Разумовском у Мани и восхищалась сыном Сережи — тоже Сережей. Что за симпатичный, милый ребенок: деликатный, веселый, умный. Я для него чужая, а он обошелся со мною, точно давно знал и любил меня, а ему только год. Лаская мать, он сейчас же так же ручками ласкал меня, чтоб не обидеть. Давая яблоко няне в рот, он сейчас же пихал это яблоко и мне в рот. Совсем как Ванечка, который, разнося конфекты, никогда не обносил лакеев и вообще прислугу, а всех угощал подряд. И всех ровно ласкал и любил.

Вернувшись, узнала, что приходил Сергей Иванович, и мне было жаль, что я его не видала. Вечером заходил Гольденвейзер. Играла три часа.

22 сентября. Приезжали Илья и Андрюша приготовить меня к приему Ольги Дитерихс, которой Андрюша сделал предложение [136].

Взяла сегодня гувернантку Саше, пожилую даму, мать трех дочерей. Возилась с практическими делами, часа три поиграла.

Сделала ошибку: сама завезла книги Сергею Ивановичу. Очень раскаиваюсь, но эти дни я опять ошалела: не сплю до четырех часов ночи, запах трупа, тоска одиночества душевного, суета жизни, искание за что-нибудь уцепиться, как спасение от этой тоски. Писала письмо Тане — и плакала. Разговаривала с Андрюшей — и плакала. Говорила с Мишей об упадке его духа, поощряла его — и опять мне было тяжело. И захотелось откуда-нибудь участия, совета, мнения. Я передала книги в руки Сергею Ивановичу, сообщила ему о свадьбе Андрюши и

по этому поводу услыхала от него столько спокойной мудрости, что сразу стало легче.

С Андрюшей проболтали до трех часов ночи.

23 сентября. Свадебный день, тридцать шесть лет я замужем за Львом Николаевичем, и мы сегодня врозь.

Грустно, что вообще мы не настолько вместе, как бы я того желала. И сколько с моей стороны было попыток этого душевного единения! Связь между нами прочная, но не на том основана, на чем бы я того хотела. Я не жалуюсь, хорошо и то, что он так заботлив обо мне, так ревниво меня охраняет, так боится потерять меня. И напрасно. Кого бы и как бы я ни любила, никого на свете я не могла бы даже *сравнить* с моим мужем. Слишком большое место он всю мою жизнь занимал в моем сердце.

27 сентября. Живу в Москве. Пришел дядя Костя, Маруся, Дьяков и Мещерский, Сергей Иванович. Мы с ним прошлись по саду, и я его спрашивала во многом совета. Дорогой друг он! Серьезно, обдуманно относился он к моим вопросам и сомнениям, говорил, что советует делать, утешал меня. После завтрака он играл сонату Бетховена, Andante из концерта Чайковского. Играл безумно хорошо, особенно последнее. И его посещение с советами, участием и музыкой дало мне надолго силу жить, бодрость духа и спокойствие души.

Вечером я была на свадьбе Веры Северцевой и испытала дурное чувство тщеславия. Все меня ставили и сажали на первое место, все хвалили мой наряд и мою моложавую наружность. Венчали Веру в церкви дома губернатора: были и великий князь Сергей, и великая княгиня Елизавета Федоровна. Вера была проста, серьезна и трогательна. Ей хочется всем внушить, что она будет счастлива за Истоминым.

28 сентября. Ясная Поляна. Вернулась в Ясную Поляну, домой. Как было мрачно ехать темнотой, по таявшему снегу, по тяжелой дороге, свернув с шоссе к церкви. Я ехала из Ясенок. На душе тяготила забота об оставленном в плохом настроении и упадке духа Мише. Но зато как весело было войти в освещенный веселый яснополянский дом, полный любимыми и любящими людьми. Первое — пошла в кабинет Левочки, и мы бросились друг к другу, как во времена молодости, и несколько раз поцеловались, и глаза Л. Н. светились такой радостью и лю-

бовью, как давно не было. Потом Варю Нагорнову я рада была видеть, и Машенька еще не уезжала в монастырь, и Миша Стахович был опять.

Он привез из Орла обратно Льва Николаевича, который ездил туда посмотреть тюрьму для своей повести [137]. Вечером сидели за работами, чтением и беседой. Было семейно, весело, дружно.

3 октября. Вчера вечером с отцом и сыном — двумя Львами играла симфонии Бетховена и Шуберта. Снимала фотографию маленького внука Льва. От Миши письмо, хандрит, кутит, просится в Ясную опомниться — я позволяю приехать, но поможет ли это?

Таня с Верой Кузминской уехала в Москву дать ответ Сухотину. Думаю о ней непрерывно, страдаю и боюсь. Какой-то будет этот ответ? Л. Н. погружен в работу, все отделывает «Воскресение» и послал переводить за границу несколько глав. Сегодня он все беседовал с странником, высланным за стачки, сидевшим в остроге четыре месяца. Л. Н. так впился в его рассказы.

5 октября. Были известия о Тане. Она отказала будто бы Сухотину, но оба плакали; и няня пишет и Миша говорит, что она и теперь тоскует и плачет.

Приехал Миша, затосковал, закутил в Москве, приехал в семью, в деревню опомниться. Были интересные французы: m-r и m-me de Gercy. Социалисты крайние, поджигатели стачек в Париже, люди не религиозные, но очень пылкие, дружные друг с другом; настоящие французы по живости, темпераменту, способности жить всецело для своей цели и вне себя [138].

Приезжал еще из редакции «Нива» торговаться с Л. Н. за его повесть «Воскресение». Л. Н. просит 1000 рублей за печатный лист и без огражденья прав собственности издателя. Но до сих пор редакция «Нивы» еще на это не согласна. Мне до того противны эти торги за сочинения Л. Н. и особенно после того, что он напечатал в газетах отречение от своих прав, что я едва сдерживаю свое негодованье и остаюсь в хороших отношениях с Л. Н. Он вошел в прежнюю колею: опять пишет художественное произведение и опять хочет за него больше денег. Только прежде деньги были законно отданы в семью, теперь же выдуманы какие-то единомысленные духоборы, и деньги пойдут им, и все газеты об этом будут

печатать. Гораздо естественнее жалеть своего Власа на деревне, у которого и дети, и корова умирают с голоду. Сегодня и чужие французы прослезились и дали им 1 рубль.

6 октября. С утра разговор с Мишей о его беспорядочной жизни за последнее время, его раскаяние и желание сделаться лучше и вести более порядочную жизнь. Трогательно то, что он искал спасения в семье, в деревне, т. е. природе — и как будто нашел его.

Приехал художник Пастернак; его вызвал Л. Н. для иллюстраций к «Воскресению», которые хочет сделать для французской «Illustration», кажется. Живой, умный и образованный человек — этот Пастернак [139].

Опять приезжал управляющий «Нивы». Л. Н. вел с ним переговоры о продаже «Воскресения». Писали и переписывали условия, торговались — и ничем не кончили. Льву Николаевичу хотелось взять 20 000 р. Но двадцати печатных листов не выйдет, другое же еще ничего не готово, так и отложили писать условие еще на неделю [140].

Когда шли эти переговоры внизу, я сидела наверху и переписывала это самое «Воскресение»; мне хотелось облегчить Маше труд переписки, ей Л. Н. дает слишком много работы. И вот Л. Н. несколько раз всходил наверх и начинал разговор о своей продаже. Я все молчала. Наконец высказала опять свое мнение.

Когда я была еще девочкой, Л. Н., проиграв на китайском биллиарде 1000 рублей, пришел и рассказал нам об этом, прибавив, что запродал Каткову «Казаков» и получил эти деньги. И я горько расплакалась.

И всегда, когда шли денежные переговоры за сочинения Л. Н., когда я уже была замужем, меня глубоко огорчала эта торговля души человеческой, близкой мне и создавшей гениальные произведения, ценящиеся на рубли и копейки. И теперь осталось то же.

Продажа *книг* не так тяжела. Тут большая публика, охотно покупающая любимого автора или непокупающая. А в журналах — эксплуататор-редактор весь свой интерес видит в наибольшем приобретении денег посредством любимого писателя.

Весь день метель. Насыпало много снегу. Вечером читал нам Л. Н. рассказ А. Чехова «О любви». Очень талантливо, тонко описан самый обыденный случай любви постороннего человека к молодой замужней женщине,

ставшего другом всего дома: мужа, детей, прислуги. А между тем любовь между ними растет без слов, без связи и высказывается при разлуке тем, что они бросаются друг другу в объятия, плачут, целуются и — расстаются [141].

Сколько такой молчаливой страсти, трагически-мучительных чувств любви проходят между честными людьми, не высказываясь *никогда*. А эти чувства самые сильные!

17 октября. С воскресенья вечера, т. е. с 11-го, мы с Сашей в Москве. Она серьезно и хорошо принялась за учение, ведет себя хорошо. Дай бог, чтоб так продолжалось. За Мишей следить очень тяжело. Постоянное напряжение и страх, что он сделает что-нибудь дурное. Я чувствую, что он считается с моим беспокойством о нем, чувствую ответственность, неумение, и все это утомительно для души. Живу в постоянных занятиях: то овес продаю по образцу, то дом убираю, то книжные дела, работа. Переписываю дневники Льва Николаевича, и это большое терзание для души.

Два дня живу музыкой. Опять охватило меня это пьянство, и оно меня чарует.

Вчера утром — репетиция. Вчера вечером Маклаковы и дядя Костя увлекли меня в духовный концерт. Прелестна была музыка к молитве «Верую во единого бога».

Сегодня опять утром репетиция, ездила с дядей Костей. Антракт из оперы «Орестея» С. И. Танеева безумно хорош.

Из дому внешние известия хорошие; о внутренней же жизни Левочки-мужа и Тани очень тревожусь и интересуюсь. Муж меня удаляется потому, что продал в «Ниву» за 12 000 рублей в пользу духоборов свою повесть «Воскресение». Я эту торговлю не одобряю, и он это знает, а сам не одобряет моей музыки. Грустно! Все стало врозь. Кто виноват?

20 октября. Приехал Сережа-сын, хочет покупать имение. Я очень ему рада и люблю его. Играл Грига прелестно. Получила хорошее письмо от Л. Н. [142], хотела ему писать, но голова болит, как-то застыла от напряжения всех нерв. Миша стал лучше; говорили с ним о внутренней борьбе и совершенствовании, я ему упрекала, что он не стремится к этому, а он сказал: «Почем ты знаешь?» — и слезы были в голосе. Он еще не безнадежен.

Вчера Сергеенко, сегодня опять он с дочкой. Звал меня гулять, звал в театр... Похоже, чтоб я с *ним* пошла! И скучно, и несимпатичен он.

Напала на меня настоящая осенняя тоска. Работаю страшно над собой,— но чувствую, что скоро так или иначе погибну. Что-то назрело в сердце мучительное и безвыходное...

Была у меня на днях княгиня Цертелева, рожденная Лавровская, певица. Она потеряла единственного двадцатидвухлетнего сына, и мы много говорили о безысходности горя. Сколько горя на свете! Я утешала ее, как могла, а у самой в душе тоже все дверки заперты, — бейся о стены, пока разобьешься.

Тепло, серо, сыро.

22 октября. Когда что-нибудь созреет, то и отваливается. Созрела тоска — и вчера отвалилась. Написала письмо Льву Николаевичу нехорошее;[143] сегодня получила от Левы, он пишет, что у папа́ голова болит и он очень утомлен заботами о духоборах и писанием повести[144]. И к чему эти духоборы! Как неестественно. А у самих у нас постоянная забота о семье; им бы, детям нашим, нужен был отец, заботящийся о них, а не искать по всему миру каких-то сектантов. Хороша русская пословица: «Матушка Сохья, по всему миру сохне, а дома не емши сидят». А Л. Н. даже и не *сохне.*

Сегодня на фотографии вгляделась в Л. Н., в его худые, старческие руки, которые я так часто целовала и которые меня столько раз ласкали, и так стало по нем грустно, захотелось от него именно *старческой* ласки, а не любовной.

Вчера пришел дядя Костя, Маруся, Сергей Иванович. Прекрасно провели вечер: читали стихи Тютчева; восхищаясь им, Сергей Иванович был нежен, вдохновлен как будто и предложил сочинить романс на какое-нибудь стихотворение. Выбрали все неудачно, наконец наугад Маруся открыла стихи: «О, не тревожь меня укорой справедливой...», и Сергей Иванович сейчас же сочинил, написал и сыграл романс на эти слова. Талантливый человек.

Рассказ Померанцева о том, что на Арбатской площади солдат не отдал чести пьяному офицеру, а офицер шашкой зарубил тут же солдата до смерти. Какое безобразие и зверство!

23 октября. Вечером три часа играла, 4 часа переписывала дневник Льва Николаевича. Копию в Ясную, оригинал в Румянцевский музей. Разговор о Л. Н. Сережа говорит: «Отдайте права издания сочинений папа́». Я говорю: «Зачем? Награждать богатых издателей? Это ложь» [145].

26 октября. Утром приехала в Ясную, через Козловку. Дождь, слякоть, все серо; озябла, промокла. Дома все спят. Вошла к Л. Н. Комната темная; он вскочил, начал меня целовать.

По утрам ⟨Л. Н.⟩ писал усердно свою повесть «Воскресение»; говорит, что последние дни не мог работать, все думал обо мне и утро моего приезда видел меня во сне. Изредка приходил ко мне, улыбался и целовал меня. Таня и Вера очень милы и веселы. Таня деятельна, смешлива и шаловлива, как по-старому — привлекательно и радостно. Обманывали они Дунечку тем, что спрятали все из кладовой в шкап, а она, приехав из Тулы, думала, что все украли, хотела идти к гадалке. Помучив ее, ей открыли с хохотом шкап и показали и варенье, и хлеб, и все прочее. А то селедку принесли из Левиного дома и опять с хохотом стали ее есть. Вообще настроение в Ясной хорошее, и мне было весело, и хорошо, и беззаботно.

27 октября. Л. Н. ездил навестить М. А. Шмидт в Овсянникове, я гуляла с Дорой по купальной дороге, потом одна, в саду. Сделала кое-какие распоряжения. Мороз, ветер; не веселая и не тихая погода. Обедали у Левы. Вечером читали вульгарную повесть Сергеенки «Дэзи», и когда нас коробило от разных невозможных по тону мест, то мы страшно хохотали [146]. Л. Н. играл с Левой в шахматы и тоже смеялся. Ночь плохо спали, холодно; у Л. Н. насморк. Мы дружны, просты друг с другом. Я много расспрашивала о «Воскресении» и одобрила перемены конца и других мест. *Фальши* все меньше. Переписываю дневники Л. Н. и не люблю его, какой он был. Разврат без раскаяния; нелюбовь к людям; тщеславие.

28 октября. Нежно и дружно простились сегодня утром с Л. Н., Таней, Верой, Левой. Морозно, ветрено. Кучер Андриан дорогой в Ясенки рассказывал ужасную историю об убийстве четырех людей на Косой (Рудако-

вой) Горе. Все испортилось от близости от нас этого завода Бельгийской компании. Ехала скучно, читала Максимова о ссыльных каторжных, их переезде, жизни и проч. [147]. Мрачное впечатление!

30 октября. Москва. Суета: Сережа приехал с Цуриковым, Сулержицкий приехал от духоборов с Кавказа, интересно рассказывал; Андрюша уехал в Петербург. Миша страшно ленив, апатичен и учиться, очевидно, не хочет. Сережа его сегодня хорошо, по-отечески, уговаривал заниматься и опомниться. Вечером пришла Маруся Маклакова. Чувствую пустоту жизни, а весь день занята чем-то неотложным. Читала «О влиянии музыки на человека и животное».

31 октября. Утром немного играла, потом ездила, вечером была с Сашей в квартетном концерте. Трио Чайковского — прелесть, но играл какой-то Кваст плохо.

Получила от Маши и Льва Николаевича ласковые письма [148]. Разговаривала очень хорошо с Цуриковым об отношениях супругов, когда их убеждения не во всем одинаковы, пришли к тому, что и так можно хорошо прожить жизнь вместе.

Сережа и Цуриков уехали. Сережа собирается с Сулержицким на Кавказ помочь духоборам подняться ехать в Канаду.

Видела мельком Сергея Ивановича неожиданно в концерте. Мы едва поздоровались, и он даже не совсем учтиво продолжал свой разговор с каким-то стариком.

6 ноября. Все время два интереса: болезненная, напряженная забота о Мише, и устройство вечера в честь *Толстого.* Л. Н. прислал отрывок из прекрасно задуманной повести «История матери». Сюжет тот, что мать восьми детей, прекрасная, нежная, заботливая мать остается одинока к старости и живет при монастыре с горьким, непризнанным, драматическим сознанием, что вся жизнь убита на детей, и не только ей нет счастья от них, но и сами они несчастливы.

Вечер устраивает «Общество народных развлечений» под председательством Кирпичникова, а помощница его, Погожева, была сегодня у меня. Завтра везу отрывок в цензуру; [149] просили и еще будут просить Сергея Ивановича играть. Он мне говорил: «Если б я мог Льву Никола-

евичу этим доставить удовольствие, то я потратил бы на это время и силы. Но *для кого* я буду играть и что можно сыграть, кроме «Крейцеровой сонаты»?» В воскресенье он и Лавровская приедут меня потешать музыкой вечером, и я ужасно радуюсь этому.

Шью, чиню белье, крою; сшила себе юбку черную шелковую, перешила Саше кое-что, играла много, но два дня совсем не касалась. Сегодня получала деньги детей, платила зубному врачу за Андрюшины зубы, купила Саше на ротонду, купила растения, а свои пересаживала в новые горшки. Были Сафонова, Сулержицкий, поехавший в Ясную, Алексей Митрофаныч, Погожева и умная М. А. Сабашникова, с ней было приятнее всего.

Здоровье лучше, на душе спокойнее.

8 ноября. Начинаю еще одну, пятую, книгу дневников. Неужели я проживу столько, чтоб закончить эту толстую книгу? И при каких обстоятельствах кончу я ее? Вчера день не писала. Была в симфоническом, довольно скучном концерте, оттуда шли пешком при звездном небе втроем: Маруся, я и Сергей Иванович. Теперь время, когда сыплются с неба звездные дожди. Мы хотели с Марусей в бинокли смотреть, Сергей Иванович случайно к нам присоединился. Но звезды мерцали неподвижно, небо только точно все колыхалось. Вернувшись домой, я долго стояла в саду и, в первый раз увидав небо в бинокль, поразилась этим величественным зрелищем бесчисленных звезд.

Сегодня с утра ездила к брату и за билетами в театр. Потом приготовила все к вечеру. Вечером пришел Сергей Иванович, приехала Лавровская, брат с женой и еще кое-кто, и я весь вечер наслаждалась музыкой. Лавровская пела романсы Сергея Ивановича — из них некоторые прелестные, особенно один: «Бьется сердце непокорное»...[150] Столько страсти, столько силы, полноты содержания. Потом Сергей Иванович сыграл сонату Бетховена.

Финал был исполнен до того своеобразно и совершенно, что лучше нельзя. Да, это огромная власть у людей — такой музыкальный дар!

В начале вечера я прочла всем отрывок, присланный мне Львом Николаевичем для его вечера. Отрывок прекрасный, художественный, доставивший всем огром-

ное наслажденпе. Все сказали, что я хорошо читала, и мне это доставило удовольствие.

Какое сегодня было прелестное, теплое утро! Я ехала вдоль бульваров: яркое солнце, зеленая трава, темно-голубое небо. Полная иллюзия весны! Но только иллюзия; день, два — и смерть всей природе; все покроется снегом. Так старческая «Последняя любовь» в стихотворениях Тютчева. Так же сильно молодо вспыхнет ярким солнцем эта последняя любовь и *должна* замереть перед снегом седины, беззубого рта, морщин, бессилия и т. п. Не приветствую тебя, старость!

Вчера в симфоническом было крайне неприятно, что когда я стала просить Сафонова отпустить Гржимали (первую скрипку) для того, чтобы он сыграл на нашем Толстовском вечере «Крейцерову сонату», он схватил мои обе руки, начал их прижимать к своей груди, говоря, что «для вас все на свете сделаю», но Гржимали отпустил только от уроков, а я с негодованием отняла руки, отлично поняв, что Сафонов хотел перед присутствующими показать свою (несуществующую) интимность с *графиней Толстой,* женой знаменитого человека.

Теперь буду его опасаться и избегать. Была у Погожевой; она занята народными школами, развлеченьями для народа, чтением, чайными и т. д. Хорошая, полезная женщина.

9 ноября. Я помню, что я как-то думала и говорила, что есть у человека старческий возраст, в котором стоишь между двух дорог и колеблешься: идти нравственно в гору, т. е. к совершенствованию, или под гору, т. е. к слабости, к попущению себя. И вот я чувствую, что иду по последнему пути, и мне и страшно, и грустно. Мне хочется развлекаться, хочется наряжаться; в душе не весело, удовлетворения нет, а все стремишься к какому-то удовлетворению и счастью.

Получила письмо от мужа, доброе, ласковое [151], и совестно мне чего-то стало, хотя я, слава богу, ни в чем не виновата перед ним, разве только в легкомыслии.

10 ноября. Миша пришел к обеду сердитый и неприятно придрался, что нет свежего калача. Вечером мы были с ним в театре, давали «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого [152]. Играли хорошо, хотя был шарж на

всем, перехитрили желание реализма, кричали, суетились на сцене. Был Сергей Иванович. Много пришлось говорить с ним сегодня вечером, и никогда я больше не убедилась, как сегодня, что он человек совершенно неподвижный, безжизненный, бесстрастный. Не в смысле брани, а прямо, констатируя то, что есть, про него можно сказать, что он только «жирный *музыкант»,* как Л. Н. его часто называл в припадке ревности — и больше ничего. Внешняя доброта его — это внутреннее равнодушие ко всему миру, исключая звуков, сочинения музыки и слушанья ее.

11 ноября. Пришел Миша поздно домой, а я сидела, шила и все ждала его. Он пришел с таким трогательным и, кажется, искренним раскаянием, целовал меня, умолял не плакать, а я уж не могла остановить накипевших страданий, что я успокоилась на этот раз.

А сама я тоже плоха. Боюсь мании траты денег, боюсь глупости наряжания себя, — и все это теперь составляет тот *мой* грех, от которого не могу удержаться.

13 ноября. Вчера обедали у меня С. А. Философова, Е. П. Раевская, дядя Костя, Гольденвейзер. Прочли статью Д. А. Хомякова о предисловии Л. Н. к сочинениям Мопассана, и там же упоминается о статье Л. Н. «Об *искусстве»* [153]. Слово *«католицизм»,* вставленное ввиду цензуры вместо *«церковность»,* очевидно, сбило Хомякова, и он не понял потому общего характера статьи Льва Николаевича.

Записываю позднее. Выехали 13-го в Ясную Поляну: Маруся, Саша, Миша и я. Очень все радовались этой поездке, всю дорогу смеялись. Приехали на Козлову Засеку с почтовым в 11 часов вечера, ехали при луне по страшной грязи, и дождь моросил, и туман белый. Но хорошо в деревне и очень хорошо в Ясной Поляне. Застали всех здоровыми, ласковыми. Маша, кажется, ничего. Доктора говорят, что могло движение ребенка вовсе не быть, а еще будет, а она себе *вообразила* движение или просто соврала и себе, и нам. Она очень весела и бодра, и такая беленькая, нежная и хорошенькая.

Л. Н. был со мной очень нежен и страстен, на что я не могла ему ответить.

14 ноября. Говорили много с Левочкой-мужем о Мише, обо мне, о работе Л. Н. Он говорит, что со времен «Войны и мира» не был в таком художественном настроении, и очень доволен своей работой над «Воскресением». Ездил он верхом в Ясенки, бодр, крепок телом и очень приятен духом, и все это оттого, что работает над свойственным его натуре *художественным* трудом.

15 ноября. Весь день жила с природой. Дождь угомонился, грязь страшная, но тихо, тепло, гуляли с Верой Кузминской в еловой посадке; чудо, как хорошо в этих молодых, зеленых елочках. Вечером, т. е. после обеда, ходили все гулять далеко: вышли Чепыжем, в елки опять, кругом посадки и купальной дорогой домой. Пришли темно, пили чай у Левы, любовались внуком, прелестный мальчик. Вечером читали вслух «Сахалин» Чехова[154]. Ужасные подробности телесного наказания! Маша расплакалась, у меня все сердце надорвалось. Кончили день опять дружно, ласково.

16 ноября. Проснулась в горьких слезах. Страшно не хотелось возвращаться в Москву, главное, расставаться с Л. Н. Мы на этот раз трогательно, до конца искренно встретились и провели эти дни так дружно, участливо друг к другу, даже любовно.

Уезжать от Тани тоже было жаль, я ее очень люблю; да и Ясную Поляну, тихую, привычную, красивую Ясную Поляну, жаль было оставлять. Л. Н. удивился, что я плачу, и начал меня ласкать и сам прослезился и обещал приехать сюда в Москву 1 декабря. Мне очень этого хочется, но это будет дурно — вызывать сюда его, отрывать от его успешных занятий, от той помощи, которую ему оказывают дочери, переписывая ему, и Александр Петрович, так хорошо помогающий ему своей перепиской. Постараюсь не быть эгоисткой и оставить Л. Н. в Ясной. Но мне показалось, что и ему хочется — скорее нужно в город для каких-то сведений к его повести.

Выехали скорым поездом, ехали с Сашей и Марусей сначала уныло, грустно, потом легче.

В Москве Миша встретил, но тотчас же начал собираться куда-то. Я очень огорчилась. Еще больше огорчилась я, когда он вернулся в третьем часу ночи, и мне пришлось опять делать ему выговор и почувствовать, что

все напрасно, что все мои жертвы — жизнь в Москве, уговаривание и увещевание Миши, призыв к труду, к лучшей, более нравственной жизни — все это напрасно, все это он *не хочет* принять во внимание.

Приехав, ждала его, чинила белье и грустила.

17 ноября. С утра сажала с Марусей и Иваном привезенные из Ясной Поляны березки и липы. Посадили всего около семидесяти деревцев, подстригали акации, рубили сушь, мели дорожки и расчищали место для катка. Тепло и тихо, дождя нет, солнце на минуту выглянуло, птицы щебетали. Очень хорошо и в саду, лучше, чем если б его не было.

18 ноября. Вчера ночью Миша опять не вернулся домой до трех часов; я его ждала, слушала, не спала потом всю ночь, мучаясь о нем. Утром отправилась к директору лицея [155], просила взять Мишу в полный пансион. «Nous jouons gros jeu»*,— ответил он мне, подразумевая, что Миша тогда вовсе уйдет. Миша вернулся пристыженный, говорил, что я права во всем, что он забывает совместить в себе мысль о моем беспокойстве с его опаздыванием и сиденьем у товарищей. Вечером вдруг приносит мне три груши.

Вышло неприятно с переписанным отрывком [156].

Сергеенко выпытывает изо всех сил для биографии Л. Н. [157], а я все молчу.

Событие дня — письмо Льва Николаевича ко мне [158]. Привезла Вера Толстая. Умиленное, полное любви письмо. А у меня *умиленье* прошло, поддерживать его — больно. Вперед, вперед в жизни, — и поскорее к концу. *Ничего* больше не даст жизнь. Листья опадают, старость — лучше уж скорее конец.

19 ноября. Утром Пастернак привез из Ясной хорошие вести и доброе письмо от Л. Н. [159]. Но ему не пишется, и он вял. Уж не мой ли приезд ему повредил? Весь день сидела дома. Часа три играла, потом написала три письма: Льву Николаевичу [160], Степе-брату и Андрюше. Много шила, переделывала рукава на меховой кофточке Саши. Миша пришел в хорошее настроение, получил еще 5 из

* «Мы сильно рискуем» (*франц.*).

греческого и 5 из закона божьего. Был у Барановых. Саша тоже мила. Поправила на время своих детей, и легче на душе, точно дело сделала. Немного переписывала дневники Л. Н. Вообще я в спокойном и будничном духе.

22 ноября. Если стоны души можно передать дневнику, то могу только стонать и стонать. Миша совсем погибает. Раскаяния его минутные. Третьего дня опять пропадал всю ночь до седьмого часа утра у цыган, вчера посидел дома, сегодня опять пропал. Где он, с кем он — ничего не могу дознаться. Всякий день новые товарищи, какие-то дикие, неизвестные.

Делала скучные необходимые визиты. Играла, писала. Маруся с Сашей пошли к Масловым; я не пошла, хотя знала, что там Сергей Иванович. Велела им ехать, а не идти, а они пришли и привели с собой Сергея Ивановича. Я очень рассердилась на Марусю; потом Сергей Иванович играл свой квартет, ноктюрн Шопена. Он успокаивал мой гнев, он был ласков, добр со всеми,— добродушно весел. Но и он не успокоил моего страдающего о Мише сердца. Недаром я плакала, уезжая из Ясной Поляны. Как мне не хотелось расставаться с Л. Н., как нужна была его помощь, защита от жизни, от самой себя... Он прав перед человечеством: он *великий писатель.* Но мне от этого не легче, он мне не муж, в смысле помощи, он, главное, не отец своих воспитывающихся детей, и это ужасно для матери.

24 ноября. Поздравляла именинниц: Ермолову, Давыдовых, Дунаеву, посетила Наташу Ден, родившую сына и заболевшую после родов. У Ермоловой тщеславно веселилась и тем приветливым приемом, который мне все делали, и красотой цветов, нарядов, изящных форм светской жизни и общества. Разговаривала с великой княгиней Елизаветой Федоровной, этой красивой, милой и приветливой женщиной.

25 ноября. Таскалась все утро по дождю по Москве. Тоска, безумное, бесцельное нервное шлянье по грязи без цели, но тоска — ох! — невыносимая. Вечером легла и заснула. Встала, пришла Саша: «Ты больна, мама?» Я говорю: нет. Она бросилась меня целовать. «Если б ты знала, какая ты хорошенькая, розовая, после сна». Неужели я еще *хорошенькая?* Или это любовь ее видит красоту в

любимой матери? Вечером театр: «Моцарт и Сальери» и «Орфей»[161]. Был Сергей Иванович с нами, Маруся, Саша, и Гольденвейзер, и Бутенев. Еще в ложах были знакомые. Сначала было интересно и весело, но ужасное пение в «Орфее» навело опять скуку, и я насилу досидела.

27 ноября. Письма из дому: от Льва Николаевича — он все-таки собирается сюда, в Москву, 1 декабря;[162] потом от Тани. Мое к ней пропало, так досадно! А я отговаривала в нем Л. Н. ехать в Москву[163]. Мне ужасно подумать, что он будет страдать от городской жизни: посетители, шум, уличная суета, отсутствие досуга, природы, дочерей и их помощи — все это ему ужасно. А *мои* интересы воспитанья детей, музыка, мои знакомые, мои выезды, хотя и редкие, в концерты и театр — все это прекратить мне трудно, а его раздражает. Переписывать же ему его переправляемые им без конца писанья я уже и по зрению, и по приливам крови к голове — уже не могу, как прежде, и это тоже его будет сердить и огорчать, а в Ясной пишут дочери, Александр Петрович и Коля Оболенский. Еду в Ясную отговаривать его или привезти самой, если он будет настаивать ехать.

Была утром Погожева, объявила, что вечер Толстовский разрешен, но не упоминать, что он в *честь* Толстого, не позволят читать о Толстом, а только из его произведений, и прочие грубые и глупые оговорки.

Вечером пришел С. И. Танеев. Мы пили чай: Саша, Миша и я.

Как я ему обрадовалась! Больше всего люблю, когда он так придет просто, и только для меня. Сочинил сегодня для пенья двух хоров прекрасную, содержательную вещь на слова Тютчева и пришел мне ее сыграть и напеть[164]. Потом сыграл Andante из своей симфонии. Сидели, тихо разговаривали, прочли статью критическую музыкальную. Как всегда с ним просто, спокойно, содержательно проведешь время. Мы очень дружны, и жаль, что ревность Л. Н. так тяжело падает на наши столь чистые, простые, дружеские отношения с Сергеем Ивановичем.

28 ноября. Узнала в квартетном концерте о смерти Насти Сафоновой, семнадцатилетней старшей дочери, ужасно это меня поразило.

Играл Гольденвейзер «Трио» Рахманинова, потом чудесный квинтет Моцарта с кларнетом. Много знакомых, Сергей Иванович.

Письмо открытое о приезде Льва Николаевича 1-го [165]. Мы с Сашей обрадовались ужасно и даже прыгали и кружились вместе.

29 ноября. С утра у Сафоновых. Одна дочь лежит мертвая, другая, Саша, опасно больна. Четыре доктора ничего не понимают. Похоже на воспаление брюшины. Привезла им Флерова. Приехал из Петербурга отец, отчаяние тупое, без слез — матери. Ужасное впечатление! Саша с Марусей на выставке. Вечером играла много, девочки в зале кривлялись всячески, особенно Маруся, и были бешено веселы. Уехала в первом часу в Ясную Поляну.

30 ноября. В Ясной Поляне. Таня охрипши и легкий жар. Маша все неопределенна, но спокойна и здорова на вид. Л. Н. ездил третьего дня в Пирогово (35 верст) верхом и верхом же на другой день вернулся, и оттого уставши и вял. Обещав приехать в Москву 1 декабря, он теперь как будто отвиливает от этого приезда. А я так приготовилась к радости привезти его в Москву и пожить с ним. Привезла и хлеба отрубного, и фиников, и спирт — все для дороги; велела в Москве приготовить комнату, обед, фрукты, хотела сама ему уложить вещи, устроить ему переезд в Москву как можно незаметнее. К вечеру уже было решено, что он не едет; я плакала, и голова у меня разболелась, так что совсем слегла. Не то больно, что ему не хочется в Москву,— я это вполне понимаю и предлагала ему не ехать до Рождества,— а больно, что он пишет: «*Нынче получили твое письмо к Тане* (в котором я предлагаю ему не ехать в Москву). *Я непременно приеду 1-го курьерским и радуюсь мысли быть с тобой».* И после такого письма, когда все мои чувства давно сдержанного ожидания его приезда вдруг вылились навстречу радости его видеть и пожить с ним, тогда он опять отказывается ехать.

1 декабря. Я опять в Москве. Не спала всю ночь от тяжелого сомнения: «1-го приеду в Москву»,— писал мне Л. Н. Сегодня 1-е, я еду со скорым и думаю: неужели он не уложится утром и не поедет со мной? Сердце билось, всю меня бросало в жар, и утром он встал, пошел вниз и ни слова мне не сказал. Я встала около 10 часов, узнаю,

что Л. Н. не укладывается и не едет. Слезы меня так и душат. Одеваюсь, велю запрягать — он ни слова. Поднимается суета: Марья Александровна Шмидт, Таня, Л. Н.— зачем я еду? Как зачем? Да я так и собиралась, и лошади за нами выедут, и дети, и внуки ждут в Москве. Рыданья меня душат неудержимо. Беру свои мешочки, иду пешком, велю лошадям меня догонять, боюсь всех расстроить своим видом, не хочу дать Льву Николаевичу удовлетворения в том, чего он каждый год добивается, т. е. вида моего горя от его нежелания жить со мной в Москве. Но это делается невозможно: именно это-то его отношение жестокое и приводит меня в отчаяние. Вижу, с лошадьми и Лев Николаевич в полушубке. «Не езди, погоди». Возвращаемся домой. Он начинает мне мораль читать противным тоном, а меня рыданья душат. Посидели полчаса, во мне происходила адская боль и борьба с отчаянием. Таня пришла. «Я понимаю, что вам больно», — говорит она. Наконец уехала, простившись со всеми и прося меня простить. Никогда во всю жизнь я не забуду этого переезда до Ясенков. Какой был ветер ужасный! Перегнувшись пополам, я так рыдала всю дорогу, что голова треснуть точно хотела. И как они все меня пустили в таком виде! Одно меня удержало от того, что я не легла под поезд,— это то, что меня не похоронили бы возле Ванечки, а это моя idée fixe. В вагоне все пассажиры на меня узрились — так я плакала всю дорогу, потом задремала. Ничего я весь день во рту не имела. Домой приехала — унылая встреча детей и внуков, и опять я плакала. Получила телеграмму от Л. Н.: «Как доехала Соня, приеду завтра»[166].

2 декабря. Вечером получила от Льва Николаевича письмо:[167] он просит прощенья за свою якобы невольную жестокость, за недоразумение, за свое утомление и другие разные причины, почему он не поехал и так меня измучил. Потом он и сам приехал... У меня невралгия правого виска, у меня болит вся внутренность, я не спала всю ночь, все во мне застыло, оцепенело как-то. Ни злобы, ни радости, ни любви, ни энергии жизни — ничего нет. Все хочется плакать, и жаль мне даже своей свободы, своего здоровья и своих друзей, которых теперь, если и придется видать, то не так, как когда я одна и когда они мне всецело принадлежат. Один день страданий убил во мне все!

Стараюсь исполнять *свой долг*. Буду ухаживать за Л. Н., буду ему переписывать, буду служить его плотской любви,— в другую я уж не верю, а эта — вот-вот и ей конец. И что тогда?!!! Терпенье, вера, добрые люди.

4 декабря. Вчера пролежала больная весь день. Не вынес организм неприятностей. Все перевернулось внутри: желчь поднялась, желудок расстроился, висок невралгией болел, тошнота. Так день из жизни вон.

Сегодня с утра ездила на похороны Саши Сафоновой. Бедная пятнадцатилетняя девочка, талантливая, горячая, умерла в страшных страданиях через три дня после умершей сестры, тоже девочки на семнадцатом году. На мать мучительно было смотреть. Осталось еще шестеро детей, но эти были старшие.

Дома уныло. Л. Н. недоброжелателен, своя жизнь с детьми, занятиями, музыкой, *моими* друзьями — вся остановилась; при жизни же Л. Н., кроме тупой переписки и тяжелого, гнетущего весь дом настроения, ничего пока нет.

5 декабря. Все то же уныние, даже дети — внуки не развлекают. Заболел Миша — инфлюэнца; но все страшно после Сафоновых девочек, и в докторов совсем перестаешь верить, их было так много там. Приехал от Сережи духобор спрашивать совета у Л. Н., не ехать ли партии духоборов вместо Канады в Канзас, откуда прислан человек их звать туда. Л. Н. отсоветовал менять намерение и ехать все-таки в Канаду [168].

Был неприятный разговор: Соне (невестке) хотелось музыку хорошую послушать. Я предложила позвать Лавровскую, Гольденвейзера, Танеева и устроить дома музыкальный вечер. Мы с Соней робко сказали Льву Николаевичу, что нам музыки хочется. Он сделал сердитое лицо, сказал: «Ну, так я уйду из дому». Я говорю: «Сохрани бог тебя так изгонять, лучше не надо и музыки». Он говорит: «Нет, это еще хуже, точно я мешаю». Слово за слово, вышло очень тяжело, но о музыке, конечно, и думать нечего.

6 декабря. Ездили с Соней, Сашей и внуками в театр: «Майская ночь» Римского-Корсакова. Не выдержан характер музыки: то лиризм, то речитативы, то русский или, вернее, малороссийский трепак, и ничто ничем не

связано, и мало красивых мелодий. То, что интересует в новой музыке, сложность гармонии, как у Танеева,— этого нет, а что *восхищает* — богатство мелодий, тоже нет. В общем, было скучно. Да и пустота в голове, не выздоровела еще я от душевного потрясения.

10 декабря. Отношения с Л. Н. стали лучше, но я уж не верю в их чистоту и прочность. Переписываю следующие главы «Воскресения». Глаза болят, досугу совсем нет, а я все переписываю.

Ездила в банк с Андрюшей, передала ему все его дела и деньги. Подарила ему шубу, 2000 р. денег и заказала дюжину серебра для его невесты. За все мои хлопоты и подарки не только он мне спасибо не сказал, но вид имел недовольный.

12 декабря. Переписывала весь день. Вечер — квартетный концерт. Прелестно квартет Шумана. Слепота, жутко.

13 декабря. Пригласила Лавровскую петь, Танеева играть и близких друзей слушать: Раевскую, Колокольцевых, дядю Костю, брата с женой, Масловых и проч. Играл Сергей Иванович прелестно, аккомпанировал тоже. Лавровская пела много и хорошо. Было бы очень приятно, даже весело, если б не чувствовался в Льве Николаевиче злобный протест всему задуманному мною развлечению.

14 декабря. Писала, переписывая Льву Николаевичу, 7 часов, не сходя с места; отвечала его письма. Голова закружилась. Приехал Н. Н. Ге. Лев Николаевич не весел и не приятен. Жалуется на боль в пояснице. Миша огорчает: все вечера и ночи пропадает по балам, день до трех спит, в лицее не был.

15 декабря. Весь день с артельщиком счеты и контроль книжной продажи. В пять — с Сашей крестили мальчика Ден с волосиками густыми. Потом посетители, баня. Вечером Л. Н. нам читал вслух Jerome'а перевод — плохо. Полная оттепель.

16 декабря. Опять с утра счеты с артельщиком. Привела в большой порядок все практические дела, ответила письма, все книги счетные учла. Приехала Варя Нагорнова, я ей очень рада; Н. Н. Ге тут, добрый, умный неудачник. Опять Л. Н. читал нам Джером Джерома вслух и так хохотал сам, как я давно не видала его смеющимся.

19 декабря. Приехали с вечера в театре Корша, который должен был считаться вечером чествования семидесятилетия Толстого. Жалкий, неудачный вечер! Плохое пение, плохое чтение, плохая музыка и отвратительные живые картины, в которых ни правды, ни красоты, ни художества — ничего. Почему-то делали страшные овации Михайловскому; потом начали кричать Толстого, потом послать телеграмму... Все это пошло, казенно, настоящего крика сердца толпы не чувствовалось. А сам Л. Н. уехал сегодня один в Ясную Поляну с почтовым поездом. Утром он занимался, потом в час поел овсяный суп, попил кофе и уехал, прося только Н. Н. Ге проводить его. Он заезжал на Мясницкую по просьбе Трубецкого, чтоб мастер из Италии, бронзовщик, мог бы поправить по натуре кое-что в бюсте Льва Николаевича [169].

Была утром на репетиции симфонического, а вечером прослушала опять весь концерт, кроме симфонии Бородина. Видела Сергея Ивановича, у нас с ним дружно, просто и доверчиво. Это лучшие отношения с людьми.

Приехали Илюша и Андрюша. Андрюша огорченный такой. Летом на Кавказе он легкомысленно сделал княжне Гурьели предложение, а потом письменно отказался от него. Княжна эта стрелялась, теперь ее родные заступились за нее, и Андрюша боится дуэли или убийства. Все только горе с ними! Миша уехал в Орел и оттуда к Илье и в Ясную.

Княжна эта умерла* [170].

20 декабря. Узнала, что участвующие во вчерашнем так называемом Толстовском вечере и Илья-сын с ними поехали в Эрмитаж ужинать, т. е. пьянствовать — и это *чтят Толстого!* Безобразие возмутительное!

Ездила сегодня с Сашей в консерваторский концерт памяти Рубинштейна: вещей хороших исполнили мало;

* Эта фраза приписана позднее.

хороша, драматична ария из «Ифигении» Глюка. Шли славно домой пешком с Сашей, А. И. и Сергеем Ивановичем, бодро, весело, болтали, смеялись. Мягкий мокрый снежок, все бело, луна сквозь облака... как хорошо было! Я упала, но ничего...

Дома волнительные разговоры о том, что стрелялась княжна Гурьели, которой Андрюша на Кавказе делал предложение и потом отказал. Боится мести родственников кавказских.

23 декабря. Выехали с Сашей и Сонечкой в Ясную Поляну. Илья тоже ехал с нами. Дорогой тесно, Илюша юродствовал, шутил, всех смешил. В Ясенках Таня и Лева. Досада с уехавшим багажом; у Левы тяжелый и для него и для окружающих его характер, и он этого не замечает. Ехали по воде, оттепель и мало снегу.

Дома Маша, худая, слабая, жалкая до слез. Коля при ней тоже жалкий. Таня бодрится, но не забыла еще своей несчастной любви и оттого тоже несчастная.

Л. Н. на этот раз тоже жалкий, потому что нездоров. Болит у него поясница, и лихорадит его слегка. Приехала я бодрая, счастливая тем, что спокойно проживу в Ясной Поляне, в семье, без душевных тревог, без увлечений музыкой, не одиноко — приехала с радостным чувством, что буду со Львом Николаевичем, но так все угнетены, что сразу стало грустно.

24 декабря. Ясная Поляна. Встала рано, опять растирала спину и поясницу Л. Н., дала ему пить Эмс; и опять моя близость его волновала. Погода плохая, ветер, сыро, хотя 3 градуса мороза. Л. Н. бодрей и мог опять немного заниматься, а те дни ничего не писал, совсем ослабел и завял. Без меня ему не пишется, он легко заболевает, плохо спит и дряхлеет.

Сегодня он другой человек, и я ему это сказала, и он с улыбкой согласился. Мне здесь хорошо, только все мои не бодры; боюсь, что на всех и против общей кислоты духа — одной *моей* бодрости не хватит. Ходила в «тот дом» к Доре и Леве и наслаждалась миленьким, симпатичным шестимесячным внуком — Левушкой. Ходила по саду с сентиментальным, как всегда, чувством к Ясной Поляне, к воспоминаниям молодости да и последних годов и с молитвенным настроением.

Последнее время я слаба духом, не готова ни к какому горю, ни к какому несчастью. В душе размягченность и жалость ко всем и всякому, виноватость и неспособность к протесту, к терпению, к спокойствию и, главное, отсутствие религиозного настроения. Слишком переполнена душа чем-то другим.

Таня, Лева, Саша и Соня Колокольцева ходили кататься на коньках. Весь пруд замерз без снега, и я жалею, что не взяла из Москвы свои коньки.

25 декабря. Рождество. Ясная Поляна. С утра все были в праздничном настроении: готовили подарки, раскладывали привезенные из Москвы угощения. Лучший момент дня был моя прогулка по лесам, особенно хорошо в молодой елочной посадке. Три градуса мороза, тишина, и минутами выглядывало наконец пропавшее за всю осень солнце. Все покрыто выпавшим за ночь свежим, чистым снежком, молодые елочки, зеленые и тоже слегка запушенные снегом, на горизонте черная, широкая полоса замерзшего на зиму старого леса Засеки, и все тихо, строго, неподвижно, серьезно. Я глубоко наслаждалась; лучше всего — в природе и в искусстве. Как хорошо это знает Сергей Иванович. А в семье, на людях, столько ненужного раздражения, столько наболелого, злого...

Обедали семейно, хорошо, весело. М. А. Шмидт приехала. К пяти часам у Доры и Левы была елка, чай, угощение. Бедная Дора устала, но ей, девятнадцатилетней, почти девочке, необходим *праздник*, и ей было все удачно и весело. Маленький внук Левушка пугался и удивлялся. Славный, симпатичный ребеночек.

К восьми часам стало грустно: у Л. Н. поднялась температура до 38, и это всякий вечер было раньше, но только до 37 и 7, а сегодня хуже. Все приуныли.

26 декабря. Всю ночь у Л. Н. был жар. Он так вскрикивал, стонал и возился, что я ни одного часа не могла спать. Дуняшка говорит: «Ведь они очень уж нежны, не то что вы». Действительно, трудно встретить более нетерпеливого и эгоистичного больного. А главное — упрямого. Вчера ревень не принял, сегодня принял в 11 часов. Теперь хинин от его лихорадки на полный желудок принимать нельзя, и вот опять на сутки затянется — и все из

упрямства, нежелания послушаться меня и вовремя принять слабительное. Ох, как надоело, как скучно и трудно поднимать всю энергию, чтоб опять *убеждать*, *настаивать*, сердиться, все с той же целью — спасти его же и помочь ему же, брюзжащему, сердящемуся, упрямому человеку, которому отдаешь всю свою жизнь, убивая в себе все личное — хотя бы простые потребности спокойствия, досуга для чтения, для музыки, не говоря уже о том, что я никогда нигде не была, ни за границей, ни по России.

Пришел какой-то тульский мастеровой, принес удивительную картину крестьянина-иконописца. Картина аршина в полтора, карандашом, изображает сидящего в середине Льва Николаевича; налево школа, дети; за ними ангел, выше — Христос на облаках, ангелы и дальше еще мудрецы: Сократ, Конфуций, Будда и проч. Направо церковь и перед ней виселица с повешенными. На первом плане архиереи, священники, камергер, тут же дальше на заднем плане военные пешком и верхом. Типы разных народностей, читающих книги, на самом первом плане почему-то турок в чалме читает большую книгу. Л. Н. не похож лицом, но похож общим типом. Сидит, поджав ногу.

Тяжелые рассказы о яснополянских мужиках: брат обокрал брата, вдова убила незаконного своего ребенка, отец просовал в тесную щель клети своего малолетнего сына и велел ему красть и подавать себе вещи; в нашей библиотеке разбили рамы, и ребята таскали книги. Все досадно, все больно. О, власть тьмы!

Слегка морозит. Тихо, спокойно, если б не люди и их пороки. Как я стала любить тишину, тихих людей, тихие отношения с ними!

Читаю чудесную книгу о буддизме под заглавием «The Soul of a people» [171]. Какие прекрасные истины и простые встречаются в буддизме. Их как будто и сам знаешь, но напоминание о них, лаконизм в выражении — все это восхищает душу.

Я только что писала, что люблю *тишину*, и вспомнила подчеркнутые в этой книге слова: «...the greatest good for your heart is to learn that beyond all this turmoil and fret is the great Peace» *.

---

* величайшее благо для вашего сердца состоит в знании того, что выше всей этой суеты и обмана есть великий покой (*англ.*).

Письмо от Сережи, прекрасно описывающее отъезд духоборов из Батума, с Сулержицким. 2000 человек уехали, и Сережа теперь тоже отъехал (была телеграмма) с 2000 духоборами, все в Канаду [172]. Страшно мне за Сережу, но хорошо его дело — красиво, достойно, интересно. Какое безумное это дело правительства — выпустить такое прекрасное население с окраины России! И прекрасный, нравственно воспитанный народ, без ругани, без преступлений. Отъезд их имел характер чего-то страшного и торжественного, как пишет Сережа. Запели гимны, пароход отчалил — и что ожидает это семитысячное население, поехавшее на двадцатипятисуточный переезд в неизвестные места, без языка, без лишних денег... Удивительная стойкость. Но вера ли это, в смысле религии?

Много, много гуляла; тишина и неподвижность в природе поразительные; легкий мороз, мало снегу, так что везде пройти по лесу можно, не только по полям. Прекрасно!

Приезжали вечером гости: Стаховичи Зося и Павлик и С. Н. Глебова. Льву Николаевичу лучше, стало всем веселее.

27 декабря. Утром гуляла, сидела с внуком Левушкой, немного переписывала дневники Л. Н. Выехали в пять в Гриневку к Илье: Таня, Саша, Соня Колокольцева и я. В Гриневке Миша худой, какой-то неспокойный и неясный. С Соней и Ильей хорошо, благодушно. Дети, кроме Анночки, спали.

28 декабря. С утра все устраивали елку, дарили подарки, три внука здоровые, белокурые малыши — весело пока на них смотреть. Но внуки не то, что дети. Это все повторенье пережитых детских жизней, без непосредственной любви, заботы, *мечты*, искания своего и любимого мужа сходства. Мечты о будущем детей не сбываются, а пока они есть — хорошо.

Ходили много гулять, снег молодой, ночью выпавший, блестел по бесконечным полям на ярком солнце; тихо, чисто, хорошо. Ушла далеко одна и думала о всем том, что и кого люблю. На душе тоже чисто, спокойно и хорошо.

Вечером гости, великолепная елка (я все привезла из Москвы), соседи, дворовые, крестьяне. Песни, пляски, ряженые; нелепое представление «Царя Максимилиана и непокорного сына Адольфа». Саша и Анночка нарядились и под масками плясали. Саша толста, неграциозна, скучно на нее смотреть. Хорошо у Ильи то, что пускают в дом *всех,* веселись кто хочет. Еды нанесли пропасть — ешь целый день и пей все гости. На ночлег принесли сена в контору и полушубков на пол, и все полегли спать. Гостеприимно, беспорядочно, добродушно и широко живут, но я бы так не могла.

29 декабря. Чудесный день, густо покрыты все деревья и вся природа инеем, все бело, небо и земля слились в одно белое царство. Много гуляла одна, дети на салазках катались с гор. У Ильи один настоящий интерес в жизни, главный, это лошади и собаки, и это очень грустно. Уехали в шесть часов, увезли Анночку-внучку. В Ясную ехать было жутко от Ясенков; я отвыкла от зимней деревенской дороги; а из Гриневки до станции немного плутали и приехали опять к дому. В Ясной хорошо. Л. Н. здоров и страстен.

30 декабря. Метель с утра. Маша бедненькая бледна, худа и тиха; такая на вид нежная, и я в душе умилялась на нее и любила ее очень, глядя на нее.

Булыгин кричит о чем-то с Колечкой Ге, что надо детей увезти воспитывать в Швейцарию; они народили незаконных детей, не крестили их, обоим около сорока лет, теперь не знают, как быть с детьми.

31 декабря. Последний день года. Какой-то будет этот Новый год! С утра у Маши схватки. Ждем мучительно разрешения ее мертвым ребенком или выкидыша. Десятый час вечера; тут акушерка, и ждем доктора Руднева. В доме тихо, и все в мучительном ожидании.

Без пяти минут двенадцать Маша разрешилась недоношенным, четырехмесячным сыном.

Все повеселели, встретили Новый год всей семьей, которая налицо, благодушно, спокойно. Прощай, старый год, давший мне много горя, но и радостей немало. Привет тем, кто мне их дал.

1 января. Недовольна я началом года. Встали поздно; поехала с детьми: Сашей, Соней Колокольцевой и внуками Анночкой и Мишей на розвальнях в лес с фотографией. Очень было хорошо в лесу и весело с детьми. Снимались, смеялись; сломалась оглобля, сильная Саша ее привязывала. Вернулись к обеду. Вечером пошли к Доре и Леве чай пить, там елку опять зажгли. Дома дети и прислуга обоих домов нарядились и плясали, сначала под плясовую на рояле, потом под две гармонии. Я ушла посидеть к Маше, потом проявляла фотографии. Шила блузу Льву Николаевичу.

К ужину собрались все; после играли в рублик, и Лев Николаевич, и все до одного принимали участие. Все это весело, но душа иного просит и по другом тоскует — и это больно и жаль.

Опять оттепель, два градуса тепла, вода, лужи и ветер.

Был Волхонский, женатый на Звегинцевой, Маша благополучна, слава богу. Лев Николаевич плохо работает. Он всю жизнь, всякое духовное настроение объясняет физическими причинами и в себе, и во мне, и во всех.

4 января. Вечером опять гости: Черкасских трое, Волхонских двое, Болдыревы — Мэри бесконечно мила. Гармонии, пляска, хор песен неудачный... Скука! В мои года и с моими требованиями духовными все это тяжело. Жаждешь серьезных отношений с людьми, серьезной музыки — а уж никак не гармоний, которые я всегда ненавидела. Противная старая княгиня Черкасская, старая грешница, не хотящая стариться. Разбудили с ней Машу, и у ней сделалась истерика. Ужасно досадно и жалко, я косвенно виновата, зашумела вместе с этой старой каргой.

Лев Николаевич опять был в хорошем духе в смысле работы.

5 января. Днем фотографией занималась, написала длинное письмо Сереже [1], о котором скучаю. Он теперь должен быть в Атлантическом океане.

6 января. Уехала с Соней Колокольцевой в Москву. Дома хорошо, тихо. Ласковая няня, привычное одиночество с своим дорогим, внутренним миром, воспоминания тихих, дружеских бесед по вечерам.

7 января. Весь день делала покупки и дела в Москве. В ночь уехала в Тулу. Читала вечером «Начала жизни» Меньшикова о значении детских жизней [2].

8 января. С утра в Туле одна, в номере Петербургской гостиницы. Уныло, и волновалась грустно о женитьбе Андрюши [3]. Читала присланную Льву Николаевичу французскую брошюру об Авг. Конте — письмо к Э. Зола. Проповедь мира, братства, социологии.

Приехали сыновья: худенький Лева, напущенно веселый Илья, взволнованный Андрюша и совершенно дикий Миша, не получивший мундира, ищущий фрака, бестолковый, шумный и эгоистичный.

Благословляли мы с Ильей тут же в номере. Андрюша как во сне, растроганный, но не понимающий сам, почему он женится и как будет потом. Ольгу не пойму еще. Свадьба всегда страшна, таинственна и трогательна. Мне хотелось все время плакать.

Обед у Кунов, проводы на вокзале, все подпившие. Лев Николаевич в полушубке приехал верхом на тульский вокзал. Публика окружила нас: Толстой и свадьба. Очень любопытно для всякого. Провожали до Ясенок; ехали оттуда с Таней в пролетке. Немного мело, снегу мало, лунно. Дома у Маши головная боль, уныло. Милая Дора, худой и любимый мною Лева, вялый Коля, Колечка Ге, смелая Маруся. Но ничего, хорошо. Приехали с нами Дитерихсы. Лев Николаевич стал любить свою знаменитость. На вокзале он смотрел на публику с удовольствием, я это заметила. Он здоров, но что-то холодно с ним.

9 января. Ясная Поляна. Весь день укладка в Ясной Поляне, уборка дома. Сидела с Левушкой во флигеле, очень люблю я эту крошку. Тепло, тает и дождь. Снег почти сошел. У Льва Николаевича болит поясница, растирала ему вечером усиленно. Все идет та же работа над «Воскресением». Маше лучше, пробовала вставать.

10 января. Приехали скорым в Москву. Опять теснота в вагонах. Ехали: Лев Николаевич, я, Саша, Таня, Маруся Маклакова. Села к нам миленькая Мэри Болдырева (рожд. Черкасская). Очень дружно с Львом Николаевичем, просто, как я это люблю, без страха с моей стороны, без всяких придирок и задних мыслей с его стороны. Если

б всегда так было! В Москву он поехал, по-видимому, легко и даже охотно.

Читала дорогой комедию Зудермана «Тихий уголок» [4]. Нездоровится все время. Утомила меня дорога, укладка, раскладка, уборка дома, забота обо всех,— да и вообще вся *жизнь* последнего времени была лихорадочная и утомительная.

11 января. Совсем расхворалась. Грипп, грудь все жжет, голова болит. У Льва Николаевича все болит поясница. Мы все так же дружны и спокойны.

12 января. Именины Тани. С 12 часов дня все гости, скучные, неинтересные. Шоколад, болтовня, бесконечное количество мальчиков — студентов, товарищей Миши и т. д. Здоровье все хуже. Ждала весь день Сергея Ивановича — он не был; говорят, что он в Клину, занят с М. И. Чайковским постановкой балета П. И. Чайковского «Спящая красавица». Вечером Маша Колокольцева, Лиза Оболенская и пианист Игумнов, приехавший из Тифлиса. Он играл «Тарантеллу» и «Ноктюрн» Шопена, балладу Рубинштейна, Andante из сонаты Шуберта, Мендельсона что-то, но так вяло, что я не узнала его игры. Или я так была нездорова, что не могла слушать.

Льва Николаевича мало видела сегодня. Он много писал писем и занимался своим писанием [5]. Все жалуется на поясницу, и я опять растирала его.

13 января. Миша приехал, рассказывал, как вчера в Эрмитаже и у Яра пьяные студенты, судейские, старики и всякий народ, празднующий Татьянин день (праздник университета), плясали двести человек трепака. Как не совестно! Половину дня пролежала.

14 января. Льву Николаевичу хорошо, и он пишет с утра, пьет чай и спокоен. Явился Александр Петрович и опять переписывает ему. Я рада, а то мне было бы слишком теперь трудно.

Прекрасно провели вечер: Лев Николаевич читал нам вслух два рассказа Чехова: «Душечка» и другой, забыла заглавие — о самоубийце, очерк скорей [6]. Пришел Игумнов (пианист) и отлично играл, все больше Шопена: баркаролу, балладу, ноктюрн, мазурку. Лучше всего исполнена была им прекрасная баркарола.

15 января. Вечером пришли: М. И. Чайковский, две англичанки [7], Накашидзе, Гольденвейзер, Померанцев, Танеев. Он долго о чем-то говорил с Львом Николаевичем, так и не знаю о чем [8]. Потом Лев Николаевич опять прочел отлично всем «Душечку» Чехова, и все очень смеялись. С Сергеем Ивановичем не пришлось говорить, да и не то, когда много народу. Лев Николаевич относился к нему хорошо, слава богу.

16 января. Телеграмма от Сулержицкого, что он с духоборами благополучно прибыл в Канаду, что страна им понравилась и что их очень хорошо там приняли. Теперь Сережа наш должен прибыть туда через шесть дней. Жду его телеграммы с нетерпением, постоянно о нем думаю и даже гадаю.

Была сегодня с Чайковским на репетиции балета Чайковского «Спящая красавица». Премилая музыка, великолепно поставлено, но я устарела для балета, и мне стало скучно, и я уехала.

17 января. У Льва Николаевича был Мясоедов [9] и смотритель тюремного замка в Бутырках, который дал ему очень много указаний по технической части тюремного дела, заключенных, их жизни и проч.— все это для «Воскресения» [10].

18 января. Вчера написала число, сегодня не стоит писать дневник. Вечером гости: Болдыревы, Гольденвейзер, Накашидзе и один интересный — Б. Н. Чичерин. Он нам читал свою статью о напрасно обвиненных двух стариках-хлыстах в его местности, и на суде из многочисленных свидетелей отклонили его одного, хотя не имели права, и старик обвиненный был на службе лесником у Б. Н. Чичерина. К Льву Николаевичу приходил массажист в 8 часов вечера, и Л. Н. совестно как будто.

Опять приходил тюремный смотритель для сведений по тюрьме, пересыльных и проч.

19 января. С утра дела: вносила за Илью деньги в банк, уплатила кое-что. Лев Николаевич бодр и разговаривает с тюремным надзирателем. Голова болит.

20 января. Всю ночь не спала. Утром радостное известие — телеграмма от Сережи из Канады, что он благополучно прибыл с духоборами в Канаду, что умерло трое на корабле, один родился, и появилась оспа, вследствие чего карантин.

Была на периодической выставке картин:[11] Трубецкого скульптурные вещи очень талантливы. Премии за декадентские картины меня возмутили. Прекрасные есть пейзажи, и два женских портрета хороши: Морозовой и Муромцевой. Еще цветы полевые — прелестны.

У Льва Николаевича были темные: Никифоров, Кутелева, акушерка, бывшая на голоде, какой-то Зонов, Ушаков...

21 января. Была на бельгийской выставке [12]. Все как-то холодно, ничего не забирает, мало чувства, мало красок, мало страсти. Я стала любить пейзажи. Люблю иностранные выставки потому, что я точно съезжу в ту страну, откуда картины: видишь костюмы, дома, нравы, работы, игры — не говорю уже о видах. Сегодня меня поразил *замок Вальзен* на скале.

Вечером был Танеев и играл. Это для меня высшее счастье теперь. Превосходно он сыграл фугу Баха, полонез Шопена; потом Rondo Бетховена, два вальса Шопена, Impromtu.

Лев Николаевич ездил сегодня до обеда верхом, я очень беспокоилась, что он долго не возвращался. Вечером третий раз приходил массажист и делает ему массаж поясницы.

22 января. Сделала сегодня семь визитов, а вечером опять гости и гости. Страшно утомлена. Заходила к Сергею Ивановичу поблагодарить за вчерашнее удовольствие и узнать о его пальцах, которые он вчера сильно повредил, играя нам.

Анненковы, молчаливый Ростовцев, милый Давыдов, жалкая Боратынская, студент Сухотин, Бутенев-père *, а вообще висок болит невыносимо, и потому скучно, и я вяла, и тоска страшная на душе.

От Андрюши доброе письмо, и Ольга приписывает [13]. Пока они тихо счастливы. Что-то будет дальше!

---

* отец (*франц.*).

С Львом Николаевичем весь день не приходится общаться. С утра он пишет, потом гуляет, вечером уходил к Мише в лицей, потом гости, как стена, нас вечно разъединяют, и это скучно. Миша скучает, не спит в лицее, и я боюсь, что он там не удержится.

23 января. Тихо, уединенно проведенный день. И все успела: и почитать «Смерть и бессмертие в представлении греков», и поработать, и часа четыре на фортепьяно поиграть, и с Львом Николаевичем посидеть, даже переписать ему немного с корректур поправленных. Весь вечер ни души не было, прелесть как хорошо! Таня возила Сашу на вечер танцевальный, и Миша ездил,— Миша Мамонов, трогательный, умный мальчик; я люблю детей, сама никогда не доросла до взрослых, и дети благодарные, незлобивые и любопытно-участливо смотрят на мир божий. Соня Мамонова гостит у нас, ее прекрасный характер и воспитание очень приятны в общении с ней.

24 января. 10 градусов мороза, ясно. Утром неудачные визиты, вечером толпа гостей: Нарышкины, Ермолова, кн. Голицына, гр. Соллогуб, Стахович, Олсуфьев, мальчики, Свербеева и проч.— 30 человек всего. Я лежала от невралгии, и Таня меня подняла и позвала к гостям. Както, как будто нечаянно, но очевидно Таня и устроила этот вечер с Соней Мамоновой. Лев Николаевич все время присутствовал, читал дамам вслух Чехова «Душечку», разговаривал оживленно со всеми. Потом Гольденвейзер играл сонату Моцарта и кое-что Шопена. Легли поздно, Миша меня позвал разговаривать о том, в силах ли он будет выдержать жизнь в лицейском пансионе. Я уверена, что он уйдет.

25 января. Весь день просидела дома. Но все посетители мешали делать что-либо. Пришли братья Олсуфьевы, читали «Воскресение», пили чай. Потом обедал Стахович. Он что-то мрачен. Таня ездила с Треповой смотреть «Чайку» Чехова [14].

Болтала с девочками Толстыми, играла днем одна, вечером с Сашей, потом с Таней с фисгармонией. Был Б. Н. Чичерин и Страхов. Льву Николаевичу опять делали массаж; заехал доктор Усов его навестить. Пояснице легче, сам Л. Н. суетился очень, чтоб послать к своему

«Воскресению» эпиграфы из Евангелия и просил меня написать об этом Марксу, в редакцию «Нивы» [15].

Ветер, мороз, костры на улице. Сегодня, сидя за обедом, упрекала себя, что не умею быть вполне счастлива. Был сегодня горячий разговор. Лев Николаевич говорил, что дорого иметь принципы и совершенствоваться духовно, а что поступки при этом могут быть слабые, вытекающие из страстей людских. А я говорила, что если можно при принципах грешить и падать нравственно, то на что мне их ставить вперед. Лучше без принципов иметь правильное внутреннее чувство, направляющее всегда волю в сторону того, что хорошо.

Лев Николаевич говорил, что совершенствование духовное само приведет человека к хорошей жизни. А я говорила, что пока он себя совершенствует, он двадцать раз и больше поступит дурно. Лучше сразу знать, что хорошо, что дурно, и не грешить, не дожидаясь какого-то особенного совершенствования. Только очень порочным людям нужен этот долгий путь, а кто не порочен, тому легче, проще просто не падать и не грешить.

Второй час ночи. Лев Николаевич зачем-то сейчас посылал к Маклакову [16] и велел разогреть себе поесть. Сколько он всегда суеты вносит в жизнь и сам того не замечает.

26 января. Переписывала поправленные корректуры «Воскресения» для Льва Николаевича, и мне был противен умышленный цинизм в описании православной службы. Например, что «священник протянул народу золоченое изображение креста, на котором *вместо виселицы* был казнен Иисус Христос». Причастие он называет *окрошкой* в чашке. Все это задор, цинизм, грубое дразнение тех, кто в это верит, и мне это противно. Немного почитала, немного переписывала дневники. Гостей никого не было, такое счастье!

29 января. Те дни не помню: делали визиты с Таней, немного играла, тоска и забота о всех отсутствующих детях. Сегодня кроила, шила, очень устала. Думала о Сереже-сыне и вспомнила, как он сочинил и мне играл свой романс «Мы встретились вновь после долгой разлуки...» и кончается строфа: «...мы жали друг другу холодные руки, и плакали, плакали мы...» [17] Знаю я, что он свое

душевное состояние выразил и выплакал в этом романсе. Он *неловок*, но глубок в своих чувствах, да и во всех своих способностях. Он не умел *воспользоваться* своими качествами. Мы, женщины, особенно его жена, любим иногда и с мужьями играть в *роман*. Сентиментально погулять, пойти куда-нибудь, просто даже быть ласкаемыми духовно. Но этого от Толстых не дождешься. Сколько раз, когда сама чувствуешь прилив душевной нежности к мужу,— если, сохрани бог, ему это выразить, то он даст такой брезгливый отпор, что и стыдно и грустно станет за свое чувство. И сам ласкает только тогда, когда в нем проснется нежность,— но не та, увы!

Утром была на репетиции, нашла удовольствие в пении Лавровской Баха. Она поет хорошо, и так мне по настроению было ее серьезное, немного мрачное пение, в пустой зале, никто и ничто не нарушало моего молчаливого одиночества.

Вечером Лев Николаевич пошел с Дунаевым в баню, а я пошла к Масловым и часок посидела с Варварой Ивановной и Юлией Афанасьевной. Это мои две любимицы в их семье, участливые, добрые и умные.

30 января. С утра все шила: сначала кушак кучеру, потом себе юбку шелковую на машине. У Льва Николаевича был старик Солдатенков, привез ему денег 5000 рублей серебром для духоборов [18]. Мне очень не нравится это выпрашивание денег у богатых людей после того, как Л. Н. написал отрицательную статью о *деньгах*, считая их *злом* и отрекаясь от них [19]. Это все равно, что теперь, из духа противоречия, он бранит музыку, а М. И. Чайковский говорил мне, что есть письмо Льва Николаевича к Петру Ильичу Чайковскому, в котором он пишет, что признает музыку высшим искусством и дает ей в мире искусства *первое* место [20].

Я часто про себя думаю: как не *стыдно* Льву Николаевичу всю жизнь проводить в крайних противоречиях. Все *идейно* и все с целью. Главная же цель все *описать*, как и летом, статья о голоде [21] превосходная. И, может быть, он и прав, всякому свой путь и свое дело.

Была на днях в лицее, говорила с директором. Этот прекрасный человек (Георгиевский) относится к Мише лучше отца. Миша в хорошем настроении, но из пансиона опять вышел, приходящим, но принялся учиться. 12 градусов мороза, ясно, красиво, иней в саду на деревьях.

Вечером завезла Мишу Мамонова в лицей и довольно неохотно поехала в симфонический концерт. Впечатление же и удовольствие от него было неожиданно очень большое. Это было пятисотое симфоническое собрание, играли то же, что в первом, при открытии этих симфонических концертов, под управлением Н. Рубинштейна [22]. Четвертая симфония Бетховена и кантата Баха меня всю охватили и привели в восторг. С радостью я почувствовала, что, помимо всяких соображений, всяких человеческих влияний и отношений, музыка сама по себе, девственно и чисто, доставляет мне духовное наслаждение.

31 января. С утра гости. Савва Морозов с женой приезжал, Лев Николаевич продолжает, к моему неудовольствию, выпрашивать деньги духоборам у богатых купцов [23].

1 февраля. Лев Николаевич жалуется на поясницу, он, вопреки приказанию доктора, ездил опять верхом к Русанову и повредил больному органу. Обедал Юнге, дядя Костя. Вечером пришли Дунаев, Алмазов, студент Струменский, и опять все разговоры: о разоружении, о том, что искренен ли был государь, говоря о мире, о марксизме, о музыке. Я не скучала, говорили интересно и без раздражения. Е. Ф. Юнге — умная, талантливая, всем интересующаяся женщина.

2 февраля. Днем каталась на коньках с Сашей, Марусей и знакомыми. Как мне было легко и весело кататься! Обедали без Льва Николаевича, он теперь всегда опаздывает и обедает один. После обеда я села шить, позвала Льва Николаевича со мной посидеть, он сказал, что пойдет к себе читать. Мне почему-то стало ужасно грустно, и я заплакала. В сущности никто так не одинок, как я. С утра одна, обедаю одна, вечер одна. Поневоле будешь уходить в концерт и общаться с людьми, которые хоть поговорят серьезно и участливо со мной.

Почувствовал ли Л. Н. мое огорченное сердце, не знаю, но он скоро сошел ко мне, но у меня сидела Анненкова.

Чудесный концерт чехов. Устраиваю трио у себя в воскресенье и приглашала нынче музыкантов [24].

3 февраля. Много ходила без толку, с тревогой в душе. К обеду радость — получено письмо от Сережи из Канады. У них на пароходе оказалась оспа; духоборов с Сережей ссадили на 19 дней на маленький остров, и карантин теперь. О себе мало он пишет; но, видно, устал, утомлен от роли переводчика, от морской болезни, заботы и проч.

Вечером экстренное симфоническое, знаменитый и крайне противный пианист Падеревский. Был Сергей Иванович.

Дома у Льва Николаевича был Русанов молодой, делал массаж, потом чужой Матвеев и Бутенев. Прочла Микулич (Веселитской) «Встреча с знаменитостью», воспоминания ее о Достоевском, и очень хорошо [25].

4 февраля. С утра суета: заехала милая Маня Стахович, потом пришла с фотографией А. И. Маслова, снимала картинки евангельского содержания, которые нам принес Бутенев, какого-то князя Гагарина иллюстрации Евангелия, очень хорошая [26]. Потом долго возилась с испорченным аппаратом, снимала Анну Ивановну; тепло, вода 4 градуса тепла, мы снимали в саду, на воздухе.

Пришла Маруся, переписывала Льву Николаевичу. Миша дома, говорил о тошноте, в лицей не пошел. Обедали Анненкова и Сергеенко. Поехала вечером опять чехов слушать. Прекрасно играли, но хорош был только квартет Бетховена. Встретились с Сергеем Ивановичем, где шубы снимают. Неприятный разговор о том, что вчера вечером он шел, потом ехал с М. Н. Муромцевой, и рассказ об этом с каким-то глупым смехом. Меня взорвало: какое мне до этого дело! Я очень была строга и брезглива с ним, и он это понял, сконфузился и ушел. А что-то екнуло в сердце, и это досадно, досадно на себя.

Дома застала Льва Николаевича стоящим у стола чайного, длинного, в зале накрытого, и вокруг приехавших из Самарской губернии молокан. Дунаев, Анненкова, Горбунов, Накашидзе, еще крестьянин какой-то, все пили чай, и Лев Николаевич что-то толковал им об Евангелии Иоанна, и до меня шла беседа религиозная.

Не понимаю религиозных разговоров; они нарушают мое высокое, не выразимое никакими словами отношение к богу. Как нет определенного понятия о вечности, о беспредельности, о будущей жизни — этого не расскажешь никакими словами, так нет и слов для выражения моего отношения, моих чувств к отвлеченному, неопреде-

лимому беспредельному божеству и вечной моей жизни в боге.

А церковь, а обряды, образа — все это мне не мешает; это то, среди чего я с детства привычна вращаться, когда душа моя настроена к богу, и мне бывает хорошо и в церкви, и во время говенья, и я люблю маленький образок Иверской божьей матери, который всегда висит над моей кроватью и которым тетенька Татьяна Александровна благословила Льва Николаевича, когда он ехал на войну.

Молокане ночуют у нас, и мне неприятно.

5 февраля. Скучнейший концерт Падеревского, утром визиты, фотография Анны Ивановны Масловой. Разговор интересный с Сафоновым и Скрябиным о музыке. Мучительная тоска весь день: не могу примириться с тем разрывом, который я сама устроила с Сергеем Ивановичем. Не спала всю ночь.

7—27 февраля. Двадцать дней я не писала дневника, и, как всегда это бывает, тут-то и было много событий, впечатлений и значительных минут. 7-го утром получила из Киева от Веры Кузминской телеграмму: «Воспаление легких, мама плоха». В понедельник утром я уехала в Киев [27]. А в воскресенье Гольденвейзер, Алмазов и Сац играли 3-е трио Бетховена, сонату Грига, молодая Вера Алмазова пела, была Л. И. Веселитская, Анненкова и вообще гости, что было крайне тяжело [28]. В Киеве застала сестру Таню с ползучим воспалением обоих легких, слабую, с воспаленным лицом, красивую, страдающую и обрадованную мне. Описывать ее болезнь, мое влияние духовное на нее, мои чувства ужаса потерять лучшего друга и мое *открытие* неожиданное, *что такое смерть*? Все это я не буду. Верно описать свои чувства и мысли можно только непосредственно, и это написано в моих письмах.

Вернулась я в Москву 19-го. Заезжала в Ясную Поляну заглянуть в Левино симпатичное мне гнездышко с Дорой и Левушкой и взглянуть на Ясную Поляну, всегда мне дорогую и красивую.

В Москве застала всех здоровыми. Лев Николаевич сейчас же до слез огорчил меня, сказав: «Вот хорошо, ты приехала, я теперь поеду к Олсуфьевым». Усталая и измученная киевской поездкой, я не удержалась и расплакалась. «А я-то радовалась пожить с тобой теперь спокойно!» Он испугался моим слезам и стал говорить, что

ему, разумеется, тоже радостно быть со мной, что он не уедет, и пока не уехал. Таня-дочь жалка мне до боли. Все спринцует свой нос через пробитое отверстие выдернутых зубов. Это угнетает ее дух; а и так она все тоскует по Сухотине и не может отделаться от чувства к нему. Целый ряд несчастий не больших, но отравляющих жизнь. От Сережи интересные письма о жизни с духоборами в карантине. Еще их не пустили в Канаду [29].

Живет у нас художник, ничтожный французик, совершенно бесполезный; пустили его жить без меня. Фамилия его Sinet [30].

Видела Сергея Ивановича у Масловых случайно. С ним опять дружно и хорошо.

10 марта. И опять давно не писала. 28 февраля я заболела инфлюэнцей, слегла в постель и пролежала восемь дней. Болезнь осложнилась воспалением верхушки левого легкого.

Что было интересного — кажется, ничего. В три часа ночи раз Левочка побежал сам за доктором П. С. Усовым. У меня был очень сильный жар, и я задыхалась. И мне приятно было, что Левочка испугался и дорожит мною. Саша была неловко заботлива и нежна. Маруся Маклакова ловко, решительно и самоотверженно ходила за мной и ночевала две ночи.

Лев Николаевич ежедневно ездит на Мясницкую в мастерскую Трубецкого, который одновременно лепит его и верхом на чужой лошади и маленькую статуэтку [31]. Это утомительно, и я удивляюсь, что он соглашается позировать. По утрам все пишет свое «Воскресение». Он здоров и бодр; все так же упрямо и молча ест свой завтрак один, в два часа, и обед тоже один, около $6^{1}/_{2}$ часов и даже в 7. Мы его никогда не видим, повар улавливает моменты, когда *графу* кушать подать, и люди никогда не знают покоя и досуга.

Приходили сегодня три барышни, желающие ехать помогать лично голодающим в Самарской губернии, и Лев Николаевич им дал письмо к Пругавину [32]. Была из Винипега телеграмма от Сережи, просящего денег для духоборов в Канаде. А Лев Николаевич деньги пожертвованные послал уже Черткову для переселения кипрских духоборов, тоже в Канаду [33]. Мои все симпатии на стороне голодных русских и казанских татар, умирающих от цинги, голода, пухнущих и страдающих; им бы надо побольше

помощи, а не духоборам, которые *сами* себе сделали трудной жизнь.

11 марта — по 21 июня. 11 марта обморок в симфоническом концерте. Слегла до 8 апреля. И потом все ложилась и была долго слаба. Собственно, здорова я и не была с самого приезда из Киева. 27 февраля совсем свалилась инфлюэнцей, потом через силу ходила и опять слегла.

21 июня. Три почти месяца не писала дневника. Я не жила это время, я болела и душой и телом. Доктора говорили про *ослабление деятельности сердца*; пульс иногда был в минуту 48, я угасала и чувствовала тихую радость от этого медленного ухождения из жизни. Много было любви, участия ко мне всей семьи, и друзей, и знакомых во время моей болезни. Но я не умерла: бог велел еще жить. Для чего?.. Посмотрим.

Вспоминаю, что было значительного во все эти три месяца? Да ничего особенного. Сережа благополучно вернулся из Канады [34], и это была радость. Было чудесных три концерта под управлением Никиша, ⟨дирижера⟩ филармонического берлинского концерта — и это было огромное удовольствие.

14 мая Лев Николаевич переехал в деревню, т. е. поехал с Таней в Пирогово, а 19-го в Ясную. Я с Сашей переехала в Ясную Поляну 18 мая. 20 мая уехала в Вену бедная Таня с Марусей; в Вене Hajek ей делал операцию, она очень страдала, а я о ней вдвое.

30 мая уехал Лева с Дорой и Левушкой в Швецию. Живем в Ясной с Андрюшей и его женой Ольгой; с Сашей и мисс Вельш; Ник. Ник. Ге, который непрерывно переписывает для Льва Николаевича «Воскресение», и Мишей с его учителем, студентом-мальчиком, по фамилии Архангельский.

Заезжал из Москвы Сергей Иванович и Лавровская. Сергей Иванович играл мою любимую сонату Бетховена, d-moll и ноктюрн Шопена с шестью диэзами — все подобрал мое любимое,— и еще кое-что; а на другой день свой новый квартет, и интересно его растолковывал сыну моему Сереже. Только и было радости.

А потом заболел Лев Николаевич желудком, очень страдал целый день, 14 июня, и до сих пор не справится.

Холодное, дождливое лето.

Лев Николаевич очень однообразно живет, работая по утрам над «Воскресением», посылая готовое к Марксу в

«Ниву», поправляя то корректуры, то рукопись. Он пьет Эмс, худ, тих и постарел в нынешнем году.

Отношения наши очень хорошие: тихие, участливые друг к другу, без упреков, без придирок,— если б всегда они были таковы! Хотя иногда мне грустна некоторая чуждость и безучастие.

Вчера было мне тяжелое впечатление от следующего события: Лев Николаевич отдал одному самоучке крестьянину переплетать книги. В одной из них оказалось забытое письмо. Смотрю, на конверте синем рукою Л. Н. написано что-то, а конверт запечатан. Читаю и ужасаюсь: он пишет на конверте ко мне, что он решил лишить себя жизни, потому что видит, что я его не люблю, что я люблю другого, что он этого пережить не может... Я хотела открыть конверт и прочесть письмо, он его силой вырвал у меня из рук и разорвал в мелкие куски.

Оказалось, что он ревновал меня к Т... до такого безумия, что хотел убить себя. Бедный, милый! Разве я могла любить кого-нибудь больше его? [35] И сколько я пережила этой безумной ревности в своей жизни! Сколького я лишилась из-за нее! И отношений с лучшими людьми, и путешествий, и развития, и всего, что интересно, дорого и содержательно.

Третьего дня опять был обморок. Жду и приветствую тебя, смерть, — не чувствую в ней никакого предела. Жду ее, как смену одного момента (наша земная жизнь) вечности на другой; и этот другой *любопытен*, как сказал мне мой друг.

Душа моя изболела от раздвоения. В ней столько накопилось тоски, раскаяния и желания любви и жизни другой, что выдержать долго такое напряжение трудно.

«Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне».

Жарко, сегодня купалась в первый раз.

26 июня. Еще одно предостережение. Вчера несколько раз меня душило, и к вечеру и ночи такой сделался припадок задушения, что с трудом выносила страдания. Главное, жутко и независимо от себя бурные явления икоты, зевоты, давишься, хватаешь воздух,— а дыханья нет и нет. Потом прошло. Причин было довольно: письмо о самоубийстве Льва Николаевича, Миша третьего дня вечером излил целый поток упреков за *несочувствие* ему и *непонимание* его.

Все, что у меня было любви материнской, энергии, уменья — все я употребила и ничего не сделала. Видно, я *не сумела*, а не *не хотела*.

И то, что я не умела воспитать детей (вышедши замуж девочкой и запертая на 18 лет в деревне), меня часто мучает.

Вчера, играя «Вариации» Бетховена, я вспомнила, как Андрюша на днях полушутя сказал: «Мама, поучи меня музыке, опять подзатыльнички будешь давать...» И вспомнив это, мне стало невыносимо грустно. Теперь, если б у меня были дети, я не могла бы их пальцем тронуть, так я умиляюсь детьми; а молодая я преследовала *цель*, дети были и ленивы и упрямы, с ними трудно было, а так хотелось всему и побольше их научить, а дела всякого много, время идет даром, все это волновало, и я теряла терпенье и хлопала их, хоть слегка — мать вреда и боли большой никогда не причинит,— но все же они это только и помнят, и мне захотелось вдруг сказать: «Простите меня, мои дети, я жалею, что хлопала вас по вашим нежным детским затылочкам; теперь я не могла бы этого делать, да поздно!»

Собираюсь сегодня к старшим сыновьям и к внукам. Если в дороге умру — опять приветствую тебя, смерть, я совсем готова к ней. А что-то меня заткнуло, дыханья нет совсем, и жутко только физически.

Лев Николаевич запнулся на месте суда в Сенате в своем «Воскресении» и очень желал бы кого-нибудь расспросить о заседаниях в Сенате, и шутя всем говорит: «Найдите мне сенатора». Льва Николаевича точно нет: он живет один, весь в своем деле. Гуляет один, сидит один, приходит в половине обеда или ужина только поесть и опять исчезает. Видно все время, что работает мысль; и это его стало очень утомлять. Он переработал, и я ему советовала сделать перерыв. Хотя его желудочное здоровье лучше, но он очень похудел, одряхлел и ослаб за эту болезнь. Вчера он в первый раз купался.

4 октября. Рожденье Тани, она поехала вчера в Москву, куда поехал и Сухотин, и опять она хочет решить окончательно: выйти или не выйти за него замуж. Бедная! прожила до 35 лет, блестящая, умная, любимая всеми, талантливая, веселая — и не нашла счастья. Очень она стала жалка: худа, бледна, нервна. В Вене лечение ее

не принесло, по-моему, никаких результатов. Все опять приходится промывать через зубное отверстие в нос и лоб, и общее состояние плохо.

Живут у нас уже более двух недель внуки Ильичи, и мы на них радуемся и умиляемся. Да, внуки милы,— но это не *свои* дети! Не поднимется уже в сердце та материнская *больная* любовь, как не зацветет вторично в лето яблоня.

Была два раза в Москве; в первый раз учитывала с Н. Н. Ге артельщика, прокравшегося в 6000 рублях. Во второй раз хлопотала об определении Миши в Сумской полк. Была у великого князя Сергея Александровича, просила принять Мишу сверх вакансий. Он был изысканно вежлив и любезен, и, несмотря на незаконность этого зачисления, Мишу приняли в Сумской полк.

С артельщиком учет был нравственно очень тяжел. Надо было поступить и по-христиански, и по справедливости, и не подорвав хороших и вместе авторитетных отношений. И бог помог мне в этом.

Видела часто Сергея Ивановича. Наши отношения доверчивой дружбы, кажется, твердо установились. Лев Николаевич же ревновать перестал. Какие романы в наши годы?! Смешно.

Думала зимовать в Ясной, если б Мишу не приняли в полк, стоящий в Москве; теперь же не решаюсь его покинуть и опять буду жить в Москве. Лев Николаевич говорит, что ему все равно, где жить. Надеюсь, что он искренен.

Его жизнь все так же однообразна: утром пишет, в два обедает, потом спит, гуляет или верхом ездит, вечером читает.

Здоровье его лучше.

11 октября. Еще прошло несколько занятых, однообразных дней в Ясной Поляне. Было одно письмо от Тани; пишет, что она спокойна и счастлива, сознавая, что отдает себя в хорошие руки. Значит, она решилась выйти замуж за Сухотина [36].

Третьего дня вечером Лев Николаевич ушел гулять, не сказав мне ни куда, ни как. Я думала, что он уехал верхом, а эти дни у него кашель и насморк. Поднялась буря со снегом и дождем; рвало крыши, деревья, дрожали рамы, мрак — луна еще не взошла,— его все нет. Вышла

я на крыльцо, стояла на террасе, все ждала его с такой спазмой в горле и замиранием сердца, как в молодые годы, когда, бывало, часами в болезненной агонии беспокойства ждешь его с охоты. Наконец он вернулся, усталый, потный, с прогулки дальней. По грязи идти было тяжело, он устал, но храбрился. Я тут разразилась и слезами и упреками, что он себя не бережет, что мог бы мне сказать, что ушел и куда ушел. И на все мои слова горячие и любящие он с иронией говорил: «Ну, что ж, что я ушел, я не мальчик, чтоб тебе сказываться».— «Да ведь ты нездоров».— «Так мне от воздуха только лучше будет».— «Да ведь дождь, снег, буря...» — «И всегда бывает и дождь, и ветер...»

Мне стало и больно и досадно. Столько любви и заботы я даю ему, и такой холод в его душе!

Живу так: утром работа, письма. От 12 до 2 позирую для моего портрета, который очень грубо и плохо пишет Игумнова. После обеда гуляю или копирую фотографии; учу Сашу по-немецки через день. Потом играю, и вечером переписываем с Ольгой ежедневно для Льва Николаевича «Воскресение». Вчера играли с Ольгой в четыре руки 5-ю и 8-ю симфонии Бетховена. Что за красота, богатство звуков! Я была вполне счастлива и спокойна после музыки.

Осень грязная, холодная. Собираюсь в Москву.

31 декабря. Последний день грустного года! Что-то принесет новый?

14 ноября вышла замуж наша Таня за Михаила Сергеевича Сухотина. Надо было этого ожидать. Так и чувствовалось, что она все исчерпала и *отжила* свою девичью жизнь.

Событие это вызвало в нас, родителях, такую сердечную боль, какой мы не испытывали со смерти Ванечки. Все наружное спокойствие Льва Николаевича исчезло; прощаясь с Таней, когда она, сама измученная и огорченная, в простом сереньком платье и шляпе, пошла наверх, перед тем как ей идти в церковь,— Лев Николаевич так рыдал, как будто прощался со всем, что у него было самого дорогого в жизни.

Мы с ним в церковь не пошли, но и вместе не могли быть. Проводив Таню, я пошла в ее опустевшую комнатку и так рыдала, пришла в такое отчаяние, в каком не была со смерти Ванечки.

Гостей никого почти не было: свои дети, кроме Левы и Маши, его дети: два сына, и еще кое-кто.

Так как не нашли спального помещения в вагонах, то нельзя было Тане и Сухотину уехать в тот же день за границу, и Таня осталась еще сутки в родительском доме, а Сухотин уехал ночевать к сестре.

На другой день мы их проводили в Вену, оттуда они переехали теперь в Рим. Счастлива ли она? Не пойму я из ее и длинных писем. Они больше описательные.

Лев Николаевич горевал и плакал по Тане ужасно и наконец заболел 21 ноября сильнейшими болями в желудке и печени, пульс упал на двое суток, температура была 35 и 5. Давали возбуждающие средства, вино, кофе и кофеин обманом сыпали в кофе, гофманские капли и проч. Лечил милый, симпатичный Павел Сергеич Усов, лечивший и меня прошлой весной. Описывать, как мы ходили за Львом Николаевичем, каких нравственных и физических трудов это мне стоило — теперь всего не опишешь. Трудно было нравственно. Избалованный лестью и восхищением всего мира, он принимал мои почти непосильные труды только за должное... Но не *знаменитость* мужей нужна нам, женам, а их ласковая любовь.

Теперь уже почти шесть недель прошло, и Льву Николаевичу лучше. Но вряд ли он вполне оправится. Остались атония кишок, больная печень и сильный катар желудка.

Лечили его: Эмс, порошок Церна, шипучий порошок Боткина, кофеин, вино. Потом Киссинген Ракоччи. Да еще я забыла: вначале три дня он пил Карлсбад, и дали раз (с большим трудом и слезами я добилась, чтоб он выпил) горькую воду, Франц-Иосиф.

Во все время болезни Льва Николаевича большим отвлечением от горя служило мне рисование. Я никогда раньше не училась и не рисовала акварелью, а тут, по просьбе сына Ильи, скопировала ему с рисунков Сверчкова две лошади: Холстомер в молодости и Холстомер в старости [37]. Вышло настолько удачно, что все меня преувеличенно хвалили, и я радовалась этому.

Душевно я много перестрадала. В первый раз в жизни я *ясно* себе представила, что могу лишиться мужа и остаться совсем одинока на свете. И это доставило мне мучительную боль сердца. Если б постоянно об этом думать, можно опять самой заболеть.

Живут у нас Миша с Колей и Андрюша с Ольгой, которая беременна на пятом месяце и только что похоронила отца.

И с этой стороны одно горе: Андрюша грубо, деспотично и придирчиво обращается с этой милой, умной и кроткой Ольгой. Я не могу видеть ее страданий и ее несчастья; постоянно браню и упрекаю его, а он похож более на сумасшедшего, чем на нормального человека. У него тоже больная печень, и эта бедная женщина много еще пострадает от этой наследственно-несчастной больной печени; Лев Николаевич тоже ею страдал, а от него и я.

Тяжела вообще жизнь! Где счастье? Где спокойствие? Где радость? В мире детей, куда я только что заглянула, съездив к внукам в Гриневку, где делала елку, где вникала в этот милый, серьезный мир детей, которые невольно заставляют верить в жизнь, в ее важность и значительность. Да еще в тихой, чистой природе, с которой опять пожила эти три дня, любуясь бесконечными белыми полями и блестящим на ярком солнце инеем, покрывшим леса и сады.

Живу изо дня в день; цели нет, нет и серьезности отношения к жизни, от которой страшно устала. Пишу длинный роман, и меня это интересует [38]. Стараюсь, если не услаждать, то не отравлять жизнь окружающих меня. Стараюсь вносить мир и любовь среди семьи и людей.

Слепнут и болят глаза. И в этом и во всем: *да будет воля* твоя! Конец 1899 года.

1900

5 ноября. Почти год не писала дневника. Пересчитывать события года — не буду. Самое тяжелое было — ослабление зрения. Сделался в левом глазу разрыв жилки и, как говорил глазной профессор, внутреннее кровоизлияние, почти микроскопическое. У меня постоянно перед левым глазом черное кольцо, ломота в глазу и зрение отуманивается. Случилось это 27 мая, и затем запрещение чтения, писания, работы и всякого напряжения. Тяжелые полгода бездействия, бесцельного лечения, отсутствие купанья, света, умственной жизни...

Играла мало, хозяйничала мучительно и много. Сажала яблони и деревья, смотрела с страданием на вечную борьбу за существование с народом, на их воровство и

распущенность, на наше несправедливое, богатое существование и требование работы в дождь, холод, слякоть не только от взрослых, но и от детей за 15, иногда 10 коп. в день.

Переехала с Сашей в Москву 20 октября, бодрая, готовая на все хорошее, на общение с людьми, на радость видать любимых людей и друзей. Теперь опять упала духом.

Лев Николаевич уехал из Ясной Поляны к дочери Тане, в Кочеты, 18 октября и вернулся от нее в Москву уже 3 ноября, конечно, больной. Дороги все замерзли после месяца дождя и слякоти, и езда сделалась невозможно тряска. Он шел пешком к станции, заблудившись, по незнакомой дороге, четыре часа подряд, потный, потом сел на тряскую долгушу и так доехал до станции. Теперь опять боли в животе, усиленное растирание его и прочее.

И только и радости от его приезда. Он мрачен, мнителен, работать не мог все время с тех пор, как мы расстались. А до нашей разлуки как он был бодр, весел, энергичен, с какой радостью писал свою драму «Труп» [1] и вообще работал.

Когда я встретила его на железной дороге, он на меня пристально посмотрел, а потом сказал: «Как ты хороша, я не ожидал, что ты так хороша!»

Вчера и сегодня приводил в порядок свои бумаги и книги. Приходили *его* друзья: Горбунов, Накашидзе, Буланже, Дунаев и проч. Затевают журнал с бездарными писаками вроде Черткова и Бирюкова, а Льва Николаевича будут тянуть за душу [2].

Была у Миши в новом его именье, и как-то жалко мне его было, так он по-детски робко и неумело начинает жизнь. Была летом у Тани, осенью у Андрюши. Все *начинают* новые жизни. Сегодня с Сашей и Мишей Сухотиным были на репетиции «Ледяного дома» Корещенки [3]. Была В. И. Маслова, Маклаковы, Сергей Иванович и проч. С Сергеем Ивановичем что-то новое. Видимся редко, а встречаемся — как будто не расставались.

На душе всю осень тоскливо, ни снегу, ни солнца, ни радости жизни — точно спишь тяжелым сном. К чему-то проснешься,— к новым ли радостям, к смерти или опять тяжелое горе разбудит унылую душу? Посмотрим...

Вечером готовила клистир с касторовым маслом и желтком для Льва Николаевича, пока он, разговорив-

шись, внушал Гольденвейзеру, подобострастно слушавшему его, что в Европе высшие власти стали беззастенчиво смелы и наглы в своих распоряжениях и действиях [4].

6 ноября. Встала рано, поехала в Крутицкие казармы хлопотать, по просьбе и слезам матери, о солдате Камолове, чтоб его оставили в Москве. Подъехала к большому зданию, на дворе рекруты молодые, их жены, матери — толпа людей. Спрашиваю у солдата, где воинский начальник? «Вон идет»,— показал мне солдат. И действительно, идут двое. Если б я две минуты опоздала, ничего бы нельзя сделать, а тут я передала просьбу, которую приняли очень любезно, и поехала хлопотать о гонораре автору за «Плоды просвещения». Эти деньги всегда шли или на голодающих, или на пожары народные. Теперь туда же пойдут. Получила 1040 рублей за несколько лет [5].

Приехала домой усталая, села за счеты по изданиям. Помешали Е. П. Раевская, гимназист Окулов, просящий купить билеты на спектакль, племянник офицер Берс, потом Варя Нагорнова, которой я очень обрадовалась. Так и бросила свои дела. Вечером пришел Дунаев, Лев Николаевич сошел к нам вниз, посидел, поговорил. С Варей сыграли Вторую симфонию Бетховена, Larghetto — прелесть! Когда я вышла в столовую, Александр Петрович, переписчик Льва Николаевича, стоит пьяный и бранится возле двери столовой. Я начала его тихо уговаривать, чтоб он шел спать, но он еще больше бранился, так что пришлось более энергично усмирять его. Это такое для меня нравственное страдание! Вообще вид пьяных пугал меня с детства, и до сих пор хочется всегда плакать, глядя на них. Лев Николаевич их выносит легко, а в молодости, я помню, он потешался, глядя на пьяные выходки спившегося старого дворянина-монаха Воейкова, и заставлял его прыгать, болтать вздор, выделывать разные штучки, над которыми смеялся.

И вот все впечатление бетховенской симфонии потонуло в впечатлении пьяного Александра Петровича.

12 ноября. Утром пошла в свой приют, где я попечительницей [6], вникала сегодня особенно в типы детей, собранных кое-где на улицах, в кабаках, детей, случайно родившихся от погибших девушек, от пьяниц, с врожденным идиотизмом, припадками, пороками, истеричных, ненормальных... И пришло мне в голову, что не так пре-

красно то дело, в котором я участвую. Нужно ли было спасать и оберегать те жизни, которые в будущем ничего не обещают? А по уставу приюта мы должны их держать только до двенадцати лет.

Вернулась домой, невралгия замучила — то в одном месте, то в другом. Села учить пятую сонату Бетховена, помешал Глебов, дочь которого выходит замуж за Мишу. Потом Лавровская. Говорят, что она глупа, а я в ней вижу много хорошего, сердечного и артистического.

Приехал Сережа, сидит целыми днями, углубившись в шахматные задачи. Странно! Вечером с Сашей на «Плоды просвещения» в Малый театр. Не люблю комизма, не умею смеяться — это мой недостаток. Вернувшись, застала дома Игумнова, он играл, к сожалению, без меня, и милого доктора Усова, игравшего в шахматы с Львом Николаевичем.

Идет мокрый и обильный снег. Наконец!

Третьего дня, 10-го, был Сергей Иванович и играл свою симфонию в четыре руки с Гольденвейзером [7].

9-го были с Сашей, Варей Нагорновой и Мишей Сухотиным в концерте Тоньо и Ауэра.

Сегодня Лев Николаевич рассказывал, как он по случаю дурной дороги, уезжая от Тани из Кочетов, пошел пешком на станцию и заблудился, не зная дорог. Увидал мужиков и попросил его проводить, они боялись волков и не пошли, один согласился проводить до большой дороги, на которой нагнали уж его ехавшие на станцию Свербеевы и Сухотин. Но все-таки проплутал он часа четыре и вернулся в Москву совсем больной и разбитый.

Кроме того, прищемил палец в вагоне, ехав туда, и до сих пор ходит в клинику на перевязку, ноготь сошел и писать не мог три недели.

13 ноября. Приехала Таня с мужем, была у Снегирева, который нашел ее беременность вполне благополучной. Лев Николаевич, увидав Таню, до того обрадовался, что точно не верил своим глазам и все приговаривал: «Приехала? вот удивительно!»

Лев Николаевич, Михаил Сергеевич, Миша и Сережа уехали вечером в баню. Сидели с Таней, она стала чужда, вся ушла в материальные заботы о сухотинской семье. Она сама нынче сказала: «Я стала совершенная Марфа» [8].

Были еще молодые Маклаковы: Маша и Николай. Вечером Лев Николаевич играл в шахматы с Михаилом

Сергеевичем. А Сережа даже жалок: с утра молча сидит перед шахматной доской с серьезным лицом, решает задачи, и так до ночи.

У меня на душе все тоскливо, а в теле невралгические боли. Жить трудно, и очень: тот внутренний огонь, который мог бы еще подогревать жизнь, тот ее и пожирает, потому что приходится душить прорывающееся наружу пламя.

Лев Николаевич сегодня опять начал писать, первый день, что он мог работать [9]. Пожил со мной, с моей о нем заботой и сразу и поздоровел и умственно просветлел.

15 ноября. Нездоровится, насморк, ломота, голова болит. Сижу дома третий день. Сегодня часа три играла: Etudes «Auf Flügeln des Gesang's» Мендельсона, сонату Бетховена. Были гости весь день: Писаревы, Раевский и Цингер, Нарышкины брат с сестрой, Бутенев с дочерью, Маруся, Петровские, Дунаев, Буланже, Страхов, Горбунов... Тяжелая сутолока при больной голове; забота о еде, разговоры.

Таню вижу мало, она вся в муже. Лев Николаевич не совсем здоров, живот болит и не обедал. И он, и я — мрачны. Он боится и недоволен, когда я видаю Сергея Ивановича, а я скучаю и без него и без его музыки и не хочу огорчать Льва Николаевича, но не могу и не скучать. Все это грустно и непоправимо.

20 ноября. Вчера гости: один с острова Явы, говорит по-французски, другой с мыса Доброй Надежды, говорит по-английски. Рассказывал первый интересное то, что в столице Явы — электрическая конка, опера, высшие учебные заведения, а в провинции есть людоеды и настоящие идолопоклонники. Начитался этот малаец философских сочинений Льва Николаевича и приехал *нарочно*, чтоб его видеть и поговорить с ним [10].

Дом весь полон: приехала невестка Соня с двумя мальчиками, Андрюшей и Мишей, живет Таня с мужем и пасынком; Юл. Ив. Игумнова, Сережа, Миша. Вчера происходило два романа: Миша с Линой, которая вчера в первый раз провела у нас в доме весь день, милая, серьезная девушка; и Саша, влюбленная в Юшу Нарышкина. К чему *это* поведет — совершенно неизвестно.

Я люблю, когда вокруг меня идет жизнь горячая, живая; но я уже не могу участвовать в ней, как прежде.

Своя, кипучая, вечно сердечная жизнь во всех ее проявлениях и в отношениях и к семье и к посторонним лицам сожгла все мое сердце, и оно устало.

Навестила вчера больную Марусю, потолклась дома,— послушала игру Гольденвейзера (соната «Appassionata» Бетховена, Шопена и проч.) с удовольствием, но легла с пустой душой, и все еще нездоровится. Лев Николаевич тоже кашляет и насморк; по вечерам увлекается шахматной игрой и целыми часами играет то с Михаилом Сергеевичем, то с Сережей, с Гольденвейзером и проч.

21 ноября. Утро, как всегда, суетливое. Была у Глебовых, Лина славная, милая.

Вечером Соня уехала с внуками в «Руслан и Людмила», я учила E-dur'ный этюд Шопена и «Auf Flügeln des Gesang's» Мендельсона. Потом приехала Мартынова, пришел Гольденвейзер и Танеев.

Играли в четыре руки «Симфонию» Моцарта. Жаль, что Сергей Иванович не играл один. Лев Николаевич был очень разговорчив и хорош с Сергеем Ивановичем, и я радовалась. Люблю их обоих.

22 ноября. Копировала фотографии, мерила платья, много ходила пешком. Зашла к Сергею Ивановичу посмотреть гимнастические приспособления. Он мне сыграл свои два вновь оконченные сочинения для хора. Сразу не разобралась в них, как всегда: один на слова Тютчева, другой на слова Хомякова «Звезды» [11].

Как всегда, впечатление его intérieur'а такое хорошее: сидит ученик, Жиляев, сосредоточенный, занятый корректурами нот, нянюшка спит в полутемной своей комнатке, и вышел ко мне ласковый, серьезный, спокойный Сергей Иванович. Поговорили спокойно-серьезно; всем он так просто и ласково поинтересовался: и Таней, и Львом Николаевичем, которого нашел грустным и похудевшим, и нашей жизнью суетливой, тревожащей меня и расстраивавшей мои нервы.

Вечером был Суворин с Оболенским, доктор Рахманов, которого Сухотины берут к себе в деревню. Говорил Суворин с Львом Николаевичем о том, как увеличилось число читающей публики и какой большой спрос на книги.

Приехала поздно Соня, болтали с Таней, Жули (Игумновой) и Соней и легли около двух часов ночи.

23 ноября. Уехала сегодня Таня с мужем обратно домой, в деревню, с намерением приехать рожать в Москве. Расстались мы с ней, во всяком случае, до конца января, и если б не апатия, то разлука с ней слишком была бы опять болезненна. Уезжают и Сережа, и Миша, и завтра Соня с внуками. И опять апатия такая, что никого не жаль, никому я особенно не рада, а вместе с тем постоянное чувство чего-то безвозвратно потерянного, беспомощное, плаксивое состояние души, пустота, бесцельность существования и отсутствие близкого друга, отсутствие любви, заботы.

С трудом выпытываю и догадываюсь я, *чем* живет мой муж. Он не рассказывает мне больше никогда ни своих писаний, ни своих мыслей, он все меньше и меньше участвует в моей жизни.

24 ноября. Сегодня с утра суета опять: Соня с внуками уезжала; приехал шумный мой брат Степа; Сережа меня упрекает, что я отказываюсь ехать к нотариусу именно нынче. Потом сошел Лев Николаевич усталый вниз завтракать, пришел тоже шумный Сулержицкий, приехал Буренин. Говорили о театре, о современной литературе; хотелось вслушаться, но гул голосов вокруг мешал.

Потом досада с дурно сшитым платьем; потом визиты к именинницам Екатеринам. Екат. Мих. Давыдова больна. Екат. Фед. Юнге плачет, что сына взяли на три года в солдаты. Екат. Адольф. Дунаева безнадежно оплакивает умершего любимого деверя. У Екат. Петр. Ермоловой веселей: цветы, наряды дам, светский блеск. У родных Свербеевых и их окружающих благодушно, но пусто.

Вечером была у больной Маруси, а Лев Николаевич ходил на музыкальный вечер в дом сумасшедших [12]. Мне часто его жалко: ему как будто хочется иногда и музыки, и развлечения, а блуза и принципы мешают идти в концерт, театр или еще куда.

Позднее сидели дома, пили чай: Лев Николаевич, два моих брата, Сережа и я. Говорили о концерте в пользу приюта [13], я хотела бы сама прочесть отрывок из сочинений неизданных Льва Николаевича, но мои домашние против.

27 ноября. Опять была больна: лежала весь день 25-го, вчера до трех часов лежала, едва встала, едва ходила, ни мысли, ни желаний, тоска... Вечером кн. Ширинский-Шихматов, секретарь «Нового времени» Спесерев, Дунаев, еще кто-то. Говорили о собаках-лайках, о пожаре Мю-

ра и Мерилиза, скучно! Лев Николаевич днем ходил к Чичерину, еще не оправившемуся от обжогов пожара, бывшего в его доме, в имении Караул. Уехал Сережа.

Сегодня мне немного легче, весь день считалась с артельщиком, контролировала его продажу книг, принимала отчеты по всему. Он хотел меня обмануть на 1000 рублей, но я вовремя это усмотрела. Помогали мне Марья Васильевна и Жули. Лев Николаевич все читает книги, посылаемые ему со всего мира, сам ничего не пишет, жалуется на вялость.

Вечером ездил с Дунаевым в баню на своей лошади; приехав, ужинал один, как всегда, с большим аппетитом; он весел, бодр духом,— отчасти оттого, что так тиха и безжизненна я. Он не любит и всегда боится моего оживления.

Сегодня лежу еще в постели, слышу, гудит ветер и вдруг пропел петух. И ярко возникло в воспоминанье утро Светло-Христова воскресенья в Ясной Поляне; я взглянула в окно, стоит петух красный на куче соломы и поет. Я открыла форточку, вдали благовестили, и тогда никто у нас в доме не отрицал церкви, и никто не бранил и не осуждал православия, как вчера Лев Николаевич осуждал его, говоря с Ширинским-Шихматовым. Церковь — это та идея, которая хранит божество, призывая к содействию всех верующих в бога. Церковь создала своих отцов, молящихся, постящихся, взывающих к богу очищенной душой словами такой молитвы, как, например, «Господи, владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми,— дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне»...

30 ноября. С утра ездила покупать внукам фуфайки, башмачки, шерсть на одеяла, Доре и Вареньке платья, дешевку-посуду. Крою второй день белье и все детское приданое Таниному будущему ребенку, и не весело, а страшно, и работа надоела.

Был секретарь приюта, что-то не ладится приют. Вчера мальчика привезли — не взяли по младости.

Была сегодня в квартетном. Бетховен все. У Льва Николаевича были гости. С князем Цертелевым он играл в шахматы, потом все его друзья: Дунаев, Буланже, Горбунов, студент Русанов, художник Михайлов; Лев Николаевич им читал вслух статью крестьянина Но-

викова[14]. Он что-то слаб и говорит: «Надоело мне мое *тело*, пора от него избавиться». Нашлась пропадавшая собака Белка, и все радуются.

3 декабря. Ничего не было особенного. Была в пятницу, 1-го, на репетиции концерта Зилоти (дирижером), Шаляпина и Рахманинова; видела там Сергея Ивановича, какого-то странного, насмешливого и недоброго. Вчера был концерт, интересный по программе: увертюра «Ромео и Джульетта» Чайковского, его же элегия, концерт Рахманинова новый, исполненный автором на рояле, «Сон на Волге» Аренского и прелестное пение Шаляпина, хотя выбор плохой песен.

Было жарко и скучно на хорах.

Лев Николаевич эти два дня немного бодрей, играл в шахматы с Гольденвейзером, который потом поиграл Шопена хорошо, но безжизненно.

Был Зилоти, не играл, но интересно говорили с ним о дирижерстве, о музыке вообще, о музыке Рахманинова и Танеева, которого он, как и я, высоко ценит, как композитора и ученого (музыкально).

Хлопочу с приютом, но безуспешно. Была сегодня в приюте, и мне так стало жаль этих детей, в первый раз с тех пор, как я попечительницей. Хотелось бы сделать концерт, чтоб добыть денег, да трудно, опоздала, да и дело непривычное. Была у Стрекаловой, говорила с княжной Ливен о ее вчерашнем концерте, все допрашивала. Была у бедной, потухающей к этой земной жизни Е. П. Раевской, у Масловых, у Лавровской. Не играла почти, не работала, не читала.

Беспокоюсь о Сереже; его выбрали гласным[15], он хотел приехать 1-го, и вот его нет. Был Миша и уехал к Илье на охоту за лосями.

4 декабря. Лев Николаевич сегодня говорит, что стал пробуждаться к работе и чувствует себя лучше. Он шутя говорил, что из него выдыхается *Пузин*, и он умнеет. А Пузин — из дворян, барышник лошадьми, молодой неуч, живущий у Сухотиных. Лев Николаевич занимал его комнату и спал на его постели, когда гостил у Сухотиных, и потом говорил, что душа Пузина вошла в него и что он не может работать и поглупел, как Пузин. Сегодня же это прошло. А просто пожил Лев Николаевич в привычной обстановке, с моими заботами, и ему стало опять хорошо и духом и телом.

Поздравляла именинниц — Варвар: сидела долго у Масловых, благодушно, ласково, интеллигентно, просто. Шоколад, угощение, гости. Пришел Сергей Иванович и сразу внес оживление.

Потом поехали к Сафоновой: купчихи, наряды, поп, ненатуральный тон. А она сама проста и симпатична. Потом поехали к моей милой Варечке Нагорновой. Низменная среда, она, как алмаз, светится, жара, шум, теснота и старательные разговоры со стороны родственников жены ее сына.

Вечером поучила этюд Шопена, поиграла упражнения. Приехала Лина Глебова с матерью, Шаховской с разговорами о женском вопросе и малаец с англичанином [16]. Очень озабочена концертом для приюта.

5 и 6 декабря. Лев Николаевич пишет письмо государю с просьбой дать возможность женам духоборов, выселившихся с прочими в Канаду, соединиться с мужьями, сосланными в Якутск за отказ от воинской повинности [17]. Лев Николаевич опять уныл, худ, в нем весу осталось только 4 пуда 13 фунтов, а какой был мощный человек!

Отдавала необходимые визиты, рассылала приглашения на заседание в моем приюте и просьбы об уплате членских взносов. Если б было веселей на душе, энергичнее хлопотала бы о концерте, а руки так и отпадают.

6-го собралась молодежь к Саше, и я им прочла отрывок повести, которую Лев Николаевич мне дал для концерта в пользу приюта. Большое было наслаждение читать, очень художественно, хотя мотивы повторялись много раз [18]. Болтала слишком с молодым П. Волхонским и раскаялась в этом.

7 декабря. Позвали Льва Николаевича к Глебовым слушать концерт 23-х балалаечников под управлением Андреева. Тут же в их оркестре жалейки, гусли, волынки.

Прекрасно выходило, особенно русские песни; потом вальс, «Warum?» Шумана. Лев Николаевич изъявил желание послушать, и это было устроено для него. Милые дети Трубецкие. Вечером В. И. Маслова, Дунаев, Усов.

Вышла маленькая неприятность с Львом Николаевичем. Мы собрались провести праздники у Илюши, близко от Москвы, а Лев Николаевич заявил желание ехать в Пирогово к Маше и брату. К Илье близко к Москве, я могла бы ухаживать, беречь Льва Николаевича. В Пиро-

гове же — трущоба: Сергей Николаевич, этот деспот и гордец, страдает ужасно. Льву Николаевичу его жалко, он будет страдать, глядя на брата; кроме того, утомление дороги, плохая пища, жизнь опять врозь со мной, без моих забот — все это меня огорчило, и я ему высказала, что он мне все праздники отравит, если уедет, что я не могу, да и совсем не желаю ехать в Пирогово, которое не люблю, а хочу ехать к внукам, к Илье, Андрюше, Леве.

Лев Николаевич упорно и холодно молчал. Это новая, убийственная манера. А я проплакала до четырех часов ночи, стараясь его не будить.

8 декабря. Ездила исполнять поручения детей и в баню. Кучер на Кузнецком мосту круто повернул лошадь, опрокинул сани, сам слетел с козел и меня вывалил. Самое бойкое место: конки звенят, летят экипажи, толпа собралась вокруг меня. Ушибла локоть, ногу и спину, но, кажется, ничего. Льва Николаевича это взволновало, и я была рада. Шила ему на больной палец лайковые пальцы, принесла наверх, он взял, притянул меня к себе и поцеловал с улыбкой. Как редко он теперь ласков! Но и на том спасибо.

Вечером гости: Гагарина, Гаяринова, Горбунов, Семенов — крестьянин-писатель, Мартынова. Лев Николаевич затеял разговор с Софьей Михайловной о детях вообще. Она их любит и идеализирует, а Лев Николаевич говорит, что и дети и женщины эгоисты и что людей самоотверженных встретишь только среди мужчин. Мы, женщины, говорили, что только среди женщин есть самоотверженные, и спорили дурно.

10 декабря. Заседание в приюте, лестное для меня тем, что все члены мне говорили, что я душа их общества, что со мной весело работать, что во всех их я возбуждаю энергию своим горячим отношением к делу.

А мне веселей всего было то, что когда показывали детей жене нашего *благодетеля* приютского — Цветкова, то самые маленькие вскакивали ко мне на руки и обнимали меня за шею и ласкали. Значит, я *симпатична* детям, и это мне дороже всего.

Вечером концерт. Играли антракт «Орестеи» Танеева, вещь превосходная, играл оркестр Литвинова плохо. Собинов пел романс Юши Померанцева, посвященный мне.

Делала весь концерт справки о том, когда свободна

зала Собрания, узнавала цены, условия и прочее. Была в деловом настроении, хочу устроить благотворительный концерт в пользу своего приюта, но не знаю, удастся ли. Домой ехала с Сергеем Ивановичем опять случайно, мы встретились на лестнице, и я его умоляла играть в моем концерте, но он отказывался и был, как всегда, эгоистичен, логичен и вполне прав в своих доводах.

«Я сочиняю теперь и играть не могу. Чтоб играть, надо два месяца учить вещь; детей ваших приютских мне совсем не жаль, а я должен убить два месяца времени, чтоб сыграть четверть часа». Вполне прав, а жаль, что никто не соглашается играть и петь.

Дома застала Глебову с дочерью, Лазурского, Гольденвейзера. Приехали сегодня добрый Илья с своими прибауточками вечными, ребячливый Миша с граммофоном, забавившим всех: противно-гнусящее повторение звуков. Приехал и Сережа, прекрасно сыграл вещь Грига и очень весь приятен. Лев Николаевич, к ужасу моему, видимо, стал стареть и слабеть; жалуется на желудок опять, устает от прогулок и уныл иногда просто физически.

Пропасть поручений от Тани, свои дела и вообще суета жизни. Завтра надо ехать в Ясную, не хочется и трудно; тоже все болит: рука, нога, спина.

17 декабря. Вчера вечером вернулась из Ясной Поляны и страшно утомилась и душой и телом. Застала внука Левушку в жару, Дору беспокойную и тоже нездоровую; Лева при мне уехал в Петербург, где купил дом, и очень грустно было видеть беспокойство матери над день и ночь стонущим и жалующимся ребенком.

Два дня уплачивала за прежние поденные работы, вписывала в книгу, проверяла счета. Потом ходила по хозяйству. Везде борьба с народом, воровство, столь справедливое со стороны бедствующего народа, а неприятно. Особенно досадно было, что грумантские мужики срубили березы на берегу пруда, где мы так часто делали пикники, пили чай и удили рыбу. Жалко было мужика, выдергавшего яблони у риги, он просил прощенья, а уже дело без меня передано уряднику.

Пробыла у Доры почти четыре дня, нянчила детей, но тяжело мне переживать свои старые впечатленья на внуках. Из Ясной поехала к Марии Алекс. Шмидт в Овсянниково и оттуда в Таптыково, на лошадях 20 верст, к Ольге. Морозный вечер, красный закат солнца, резко

очерченная половина луны, бесконечное снежное пространство, иней, все молчаливо, строго, холодно в природе, и к ночи свирепый мороз в 24 градуса. Я очень озябла, было мрачно и одиноко на душе. Марья Александровна после болезни как будто тяготится своей трудовой жизнью. Молодой Абрикосов живет аскетом, непонятно зачем и для чего именно тут, в чужой деревне, без цели, без дела, работая какой-то рундук для мужика за деньги, когда у его отца кондитерские, богатое именье в Крыму и роскошь.

В Таптыкове застала Ольгу одну, Андрюша на волчьей охоте. Сидит, как птичка в клетке, одна с девочкой своей. Мне жаль ее стало. Ночевала, уехала на другой день; мороз все 24 градуса. Вагоны холодные, лежала, думала — и все не весело.

Дома, в Хамовниках, застала Льва Николаевича, играющего с Сухотиным в шахматы, худого, нездорового на вид, и мне стало еще грустнее, и так жаль его. Сухотин уехал сегодня за границу с доктором и сыном. Таню оставил в деревне с его детьми.

23 декабря. Прошло еще несколько тяжелых, напряженных дней. Болезнь Левушки оказалась туберкулезным воспалением мозга. Теперь он умирает, и еще одно милое существо, к которому я привязалась душой, уйдет из этой жизни. И *этот* ребенок по своему тонкому моральному складу был не для этого мира, как и мой Ванечка.

Лев Николаевич все осаждаем людьми. Вчера приехали пятнадцать американок и два американца смотреть знаменитого Толстого. Я их не видала, не до них было.

Еще приезжали молокане-сектанты, желающие переселиться в Канаду, по примеру духоборов, и обратились за советами к Льву Николаевичу. Эти толпы людей очень утомляют его, и он рад бывает, когда приедут люди *своего* круга, как Бутенев, или когда кто-нибудь играет с ним в шахматы, как сегодня сын Илья и Вас. Маклаков.

Илья привез маленького внука Мишу, и мне это было приятно. Была Анна Ивановна и говорила мне, что Сергей Иванович во вторник, после урока, собирался ко мне, но проискал книгу так долго, что опоздал и не мог прийти. Как это похоже на него!

Умирает еще С. А. Философова, и Соня к ней уехала. Как стало жутко, как страшно всего! Смерть, горе, страданья со всех сторон!

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЕЗДКА К ТРОИЦЕ

1860 июнь 14. Выехали мы в четыре часа утра, в дурном расположении духа и сонные. Люба [1] и я сели в шарабан, мама́ [2] на козлы, а Лизы две [3] и Саша [4] в телеге. Всю дорогу мы молчали и дремали. Только раз монотонность дороги прервана была хохотом в телеге, возбужденным Сашей. В Мытищах, по обыкновению, напали на нас бабы с предложениями напиться чайку под березками, в холодочке, уверяя, что нельзя не напиться мытищинской водицы. В Братовщину мы прибыли в 9 часов утра, как и предполагали, и остановились в лучшем постоялом дворе. Только что приехали, расположились с съестными припасами и съели целый пирог с грибами в одно мгновение. Затем принесли самовар. Я стала покуда разглядывать картины, развешанные по стенам. Они изображали портрет государя и государыни и митрополита. Кроме того, были две картины с французскими надписями и две духовного содержания. Саша лежит и читает Забавный календарь. Лиза петербургская и Люба хлопочут по хозяйственной части, мама́ моет посуду, а Лиза наша всем мешает, блажит, просит есть и покушается украсть из мешка карамели. Напившись чаю, я и Люба отправились спрашивать у мужика, по какому случаю стоит здесь часовня. Он взошел в избу и стал рассказывать целую историю, как в 12-м году перенесли с этого места церковь на другое, как потом хотели на этом месте строить трактир, но священник и церковный староста донесли владыке, т. е. митрополиту. Владыка запретил и велел на том месте, где был престол, поставить часовню. Мы схлопотали себе купанье. Нас сведет на речку Скалду дочь хозяина, 17-летняя девушка, по поводу которой отец ее, очень словоохотливый крестьянин, вел длинный философический разговор. Как трудно выдавать дочерей замуж, как не узнаешь людей и как люди обманывают. Судил он верно и по-русски. Он говорил, что у них обычай платить

отцу за жену и что отец, в свою очередь, должен давать приданое. Теперь мы пойдем отдыхать, вероятно, не заснем. Потом выкупаемся, пообедаем и поедем в 4 часа. Я все время ждала и желала соседей. Мое желание исполнилось. Через тоненькую деревянную стенку пьют чай какие-то господа. Толстый господин, госпожа такого же объема, старушка и сухопарая, белокурая дочка. У них что-то ужасно тихо. Соседи не веселые. Я забавлялась, глядя, как они высаживались из брички. Им подставили скамейку, и они один за другим, хромая и охая, выгружались из экипажа. Мне здесь надоело, пора в дорогу. Да что-то вообще тяжело на душе. Ничто особенно не веселит, как бывало. (Нет действия без причины.) Стараешься забыться, да гадкие мысли так и лезут в голову.

Как предполагали, так и сделали. В 4 часа мы выехали из Братовщины. В телегу села Люба, я и Саша, а остальные поместились в шарабане. Дорогой мы вели довольно веселый, или, вернее сказать, приятный разговор. Остановились у часовни, где ели блины. Мы болтали с деревенскими девушками, которые в огромном количестве окружили нас. Спрашивали, как мы приходимся сродни, есть ли между нами замужние, когда воротимся, и проводили нас с благословениями и всевозможными добрыми желаниями, говоря, что редко встретишь таких негордых господ.

Прибыли к Троице в 9 часов вечера. Нам дали просторный, порядочный номер. Вид на всю лавру. Погода отличная, тихо, тепло, как-то располагает к мечтательности. Странное впечатление произвел на меня в сегодняшнюю поездку Троице-Сергиевский монастырь. Я никогда не въезжала сюда с таким благоговением, с такою верою. Вот что значит иметь горе. Мне кажется, я буду молиться, и с молитвою улетит все мое горе, все мои заботы, Правда говорится, что «вера спасительна». Хоть смешны покажутся мои рассуждения, но что же делать, когда у меня осталось только одно утешение, одно спасение, это моя вера и молитва. Положилась я на бога, и теперь, зажмуря глаза, пойду свой жизненный путь под его произволом и благословением. Мне трудна жизнь, я не умею руководить собою. Сколько раз я имела хорошие намерения, сколько раз решалась на что-нибудь твердо, но силы мои слабели, и я невольно должна была отказаться от своих намерений. Но я в самом деле замечталась. Я так глупо, так странно расположена. Кругом меня все хлопочут, суетятся, мы только что пили чай, а теперь

готовим ночлег. Люба приготовила мне и себе рядом постели. Вещи все уложены, и мы скоро ляжем спать.

У меня все вертится в голове одна молодая дама, которая стояла на крыльце гостиницы. Она была вся в трауре и держала на руках маленькую девочку, новорожденную, вероятно, дочь, потому что она две капли воды похожа на мать. Вероятно, у этой дамы умер муж, мне это первое пришло в голову, не знаю почему. Она очень хороша собой, черная, совершенно в моем вкусе, и такая скучная, несчастная, даже жалко стало. Да мне нынче как-то все скучно и всех жалко; все дурные мысли; как бы их прогнать. Сейчас пойду спать. Уже Люба зовет меня.

15 июня. Мы встали сегодня в 7 часов, и мама́ насилу подняла меня и Любу. Мы спали вместе, устроили себе двухспальную постель, и все дразнили нас, что мы супруги. Я Любу звала моим мужем, и мы все целовались.

Как встали, напились чаю и пошли к обедне. Везде гуляли, осматривали, т. е. показывали кузинам все замечательные церкви, строения, места и проч. У обедни мы были в церкви св. Сергия. Пели отлично, и говорил один монах довольно дельную проповедь о вере и благочестии. Здесь встретили мы Головина, в сопровождении которого пошли гулять. Ходили везде, где только стоит быть, накупили образов, игрушек и разных подарков домой. Потом пошли купаться в купальню семинаристов, на пруду, где предурная вода. Теперь половина третьего, и мы будем сейчас обедать. Часа в четыре выйдем домой. Не знаю, радоваться домой или скучать; вообще мною овладела такая тоска, такая хандра, что мне все чудится в дурном виде.

Вечер 15 июня 1860. Снова мы возвращаемся домой. Уехали мы из Троицы, нас проводил Головин, был вообще очень мил и любезен. В пещерах около села Талицы мы останавливались прогуляться по этим пещерам. Там сыро, холодно, какие-то низенькие своды, так что я несколько раз раскаивалась, что пошла. Я ехала на козлах, сама правила и смешила этим проезжих и прохожих. Когда мы приехали в Братовщину, к нашим прежним хозяевам, мы созвали огромное количество мальчишек и девчонок и заставили их петь.

Много было смеху с ними, так что и меня рассмешили. Одно только жалко, что мальчишки сейчас же с деньгами,

которые мы им дали, пошли играть в орлянку. Слишком рано развивается у них страсть к игре. После нас заставил их петь какой-то джентльмен, постоялец, наш сосед. Он стоит в ближайшем постоялом дворе.

После чаю мы пошли с Любой прогуливаться по дороге. Всего наглядишься в деревне. Приехал около нас, на постоялый двор, зять хозяина, совсем пьяный. Сам хозяин, также мертвецки пьяный, прохаживается около дома, бранится, шатается и болтает всякий вздор. Бабы только жалуются да плачут. А другие, постарше, так привыкли, что молчат и терпеливо сносят все.

Сноха хозяина нашего дома говорит, что теперь редко найдешь не пьяных мужей. Что у них и кабак и трактир и что поневоле идешь, как есть поощрение. Я все с ней говорила за воротами, на лавочке, и возилась с ее дочкой Таней, прехорошенькой, белокурой четырехлетней девочкой. Она очень умненькая и бойкая, и я все заставляла ее говорить французские слова, что выходило очень смешно. Теперь я пойду спать, Лиза, мама, Люба и другая Лиза уже все лежат. Теперь 10 часов, а в 2 утра, или, вернее, ночи, мы выйдем. За стеной слышно храпение Саши, которому завидует мама, Люба тоже заснула. Мы себе втроем, т. е. я, Люба и Лиза петербургская, постелили на пол сена, покрыли ковром и простынями и на этом будем спать.

В Мытищах, по дороге домой, будем пить чай, а дома очутимся не прежде 8 или 9 часов утра. Я вовсе не радуюсь домой, мне стало все равно. Напротив, мне бы хотелось уехать куда-нибудь подальше, хотелось бы даже провалиться куда-нибудь, умереть, что-нибудь, только не вспоминать, что было. Мне было так хорошо, так отрадно, так весело, но не долго длилось все это, теперь стало так тяжело жить на свете! Жить воспоминаниями страшно и не смею. Стараюсь, напротив, все забыть, а забывать не хватает сил и жалко. Что делать, как действовать? Не знаю и кидаюсь во все стороны, бьюсь, как птица в клетке.

Как кстати могу сказать стих Лермонтова:

И скучно и грустно,
И некому руку подать.

Протяни мне кто-нибудь руку, дай совет, сообразный моему положению, я охотно послушаюсь.

В Мытищах пили чай и кофе и поехали в 6 часов. Теперь наконец дома. Я очень рада; всех нашли здоровыми и веселыми.

ЖЕНИТЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО

ПОЕЗДКА В ИВИЦЫ И ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

В начале августа 1862 года мы, три сестры, были страшно обрадованы известием, что моя мать с маленьким братом Володей и нами, тремя девочками, собирается ехать на лошадях в ходивших в то время анненских каретах к отцу своему, нашему деду, Александру Михайловичу Исленьеву [1].

Дедушка Исленьев (описанный Львом Николаевичем в «Детстве» в лице «папа́») жил в то время в имении своем «Ивицы», Одоевского уезда, единственном, оставшемся от большого состояния, и то купленном на имя его второй жены, мачехи моей матери, Софии Александровны, рожденной Ждановой. Эта Жданова описана у Льва Николаевича в «Детстве» под именем «La belle Flamande» *.

Все три дочери моего деда от второго брака [2] были тогда молодые девушки, и со второй из них я была очень дружна.

Имение деда моего отстояло от Ясной Поляны приблизительно в 50-ти верстах. В Ясной Поляне находилась в то время сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна, приехавшая из Алжира [3], и так как моя мать была лучшим другом детства Марии Николаевны и им, естественно, хотелось повидаться, то мать моя, с детства не посещавшая Ясную Поляну, решила непременно заехать туда. Это привело еще нас в больший восторг, и мы с сестрой Таней радовались, как радуются очень молодые всякой перемене и передвижению. Сборы были оживленные, шились нарядные платья; укладывались и с нетерпением ждали дня отъезда.

День отъезда я совсем не помню. Смутны и мои воспоминания о дороге — станции, перепряжка лошадей, еда на скорую руку и усталость от непривычки к дорогам. Приехали мы в Тулу к сестре моей матери, тетеньке Надежде Александровне Карнович, жене тульского предводителя дворянства. Ходили осматривать город Тулу, который мне показался очень скучным, грязным и неинтересным. Но надо было ничего *не пропустить* и добросовестно отнестись ко всему во время нашего путешествия.

---

* Прекрасная фламандка *(франц.)*.

После обеда мы поехали в Ясную Поляну. Был уже вечер. Погода была прекрасная. Дорога Засекой[4], по шоссе, такая живописная, и так ново, так просторно и непривычно для нас, городских девочек, было это впечатление первобытной природы.

Мария Николаевна и Лев Николаевич встретили нас шумно-радостно. Сдержанная и любезная тетенька Татьяна Александровна Ергольская встретила нас французскими учтиво-любезными приветствиями, а приживалка ее, старушка Наталья Петровна[5], то молча гладила меня по плечу, то, подмигивая, заигрывала с моей меньшой сестрой Таней, которой было в то время 15 лет.

Нам отвели внизу большую комнату со сводами, не только просто, но и бедно меблированную. Вокруг этой комнаты стояли диваны, выкрашенные белой краской, с очень жесткими подушками вместо спинок и такими же сиденьями, все обитое полосатеньким, синим с белым, тиком. Тут же стояло длинное кресло, с такими же подушками, и тоже белое. Стол был простой, березовый, сделанный домашним столяром. В потолок сводов вделаны были железные кольца, на которые вешали в старину седла, окорока и прочее, когда при деде Льва Николаевича, князе Волконском, комната эта была кладовой[6].

Дни уже были не очень длинные. Это было в начале августа. Мы едва успели обежать сад, и нас Наталья Петровна повела на малину. В первый раз в жизни нам пришлось есть малину с кустов, а не из решет, в которых привозили нам на дачу малину для варенья. Малины на кустах уже было мало, но я очень любовалась красотой этих красных ягод в зелени и наслаждалась их свежим вкусом.

НОЧЛЕГ И КРЕСЛО

Когда стало смеркаться, мать послала меня вниз разложить вещи и приготовить постели. Мы с Дуняшей[7], горничной тетеньки, занялись приготовлением к ночлегу, как вдруг вошел Лев Николаевич, и Дуняша обратилась к нему, говоря, что троим на диванах постелила, а вот четвертой места нет.

— А на кресле можно,— сказал Лев Николаевич и, выдвинув длинное кресло, приставил к нему широкую квадратную табуретку.

— Я буду спать на кресле,— сказала я.

— А я вам постелю постель,— сказал Лев Николаевич

и неловкими, непривычными движениями стал развертывать простыню. Мне было и совестно, и было что-то приятное, интимное в этом совместном приготовлении ночлегов.

Когда все было готово и мы пришли наверх, сестра Таня, усталая, свернувшись, спала на диванчике в комнате тетеньки. Володю тоже уложили спать. Мамá беседовала с тетенькой и Марией Николаевной о старине. Сестра Лиза вопросительно встретила нас глазами. Всякую минуту этого вечера я помню живо.

В столовой с большим итальянским окном косенький, маленького роста лакей, Алексей Степанович [8], накрывал ужин. Величавая, довольно красивая Дуняша (дочь дядьки Николая [9], описанного в «Детстве») помогала ему и что-то расставляла на столе. Дверь в середине стены была отворена в маленькую гостиную с старинными розового дерева клавикордами, а из гостиной были отворены двери, с таким же итальянским окном, на маленький балкон, с которого был прелестный вид, потом, во всю мою последующую жизнь, привлекавший мои взоры. И поныне я любуюсь им.

Я взяла стул и, выйдя на балкон одна, села любоваться видом. То настроение, которое охватило меня в то время, я не забывала никогда, хотя никогда не сумею его описать. Было ли то впечатление настоящей деревни, природы и простора; было ли это предчувствие того, что случилось полтора месяца после, когда я уже хозяйкой вступила в этот дом; было ли это просто прощание с свободной девичьей жизнью или все вместе,— не знаю. Но настроение мое было очень значительное, серьезное, счастливое и какое-то новое, беспредельное.

Все собрались ужинать. Лев Николаевич пришел звать и меня.

— Нет, благодарю вас, я не хочу есть,— сказала я,— здесь так хорошо.

Из столовой слышался притворный, капризный, шутливый голос моей, всеми балованной и привыкшей к этому, сестры Тани. Лев Николаевич вернулся в столовую, но, не кончив ужинать, пришел опять ко мне на балкон. О чем мы говорили,— я подробно не помню; помню только, что он мне сказал: «Какая вы вся ясная, простая». И мне это было приятно.

Как хорошо спалось в длинном кресле, приготовленном мне Львом Николаевичем. С вечера я вертелась в

нем, было немного неловко и узко от двух сторон локотников, но я смеялась в душе каким-то внутренним весельем, вспоминая, как Лев Николаевич готовил мне этот ночлег, и засыпала с новым, радостным чувством во всем моем молодом существе.

ПИКНИК В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Радостно было и утреннее пробуждение. Хотелось всюду обежать, все осмотреть, со всеми поболтать. Какой был легкий дух и тогда в Ясной Поляне! Лев Николаевич хлопотал, чтоб нам было весело; Мария Николаевна очень этому сочувствовала. Запрягли так называемые катки — длинный экипаж-линейку. В корню был рыжий Барабан, пристяжная — Стрелка. Потом оседлали старинным дамским седлом гнедую Белогубку, а Льву Николаевичу — очень красивую белую лошадь, и стали собираться на пикник.

Приехали еще гости: жена тульского архитектора, Громова, и Сонечка Бергхольц, племянница начальницы тульской женской гимназии Юлии Федоровны Ауэрбах. Мария Николаевна, счастливая, что с ней были ее два лучших друга, моя мать и Громова, была в особенно игривом и веселом настроении: острила, шутила и бодрила всех. Мне Лев Николаевич предложил ехать верхом на Белогубке, чего мне очень хотелось.

— А как же, у меня здесь амазонки нет,— сказала я, оглядывая свое желтенькое платье с черными бархатными пуговками и таким же поясом.

— Это ничего,— сказал Лев Николаевич, улыбаясь,— здесь не дачи, кроме леса, вас никто не увидит,— и подсадил меня на Белогубку.

Казалось, что счастливее меня никого нет на свете, когда я скакала рядом с Львом Николаевичем по дороге в Засеку, где теперь наша ближайшая станция, а тогда был сплошной лес. Когда, позднее, я всю жизнь ездила по тем же местам, я их никогда не признавала теми же самыми. Тогда все было другое, что-то до того волшебно-прекрасное, чего не бывает в обыденной жизни, а что бывает только в известном, духовно приподнятом настроении. Мы приехали на какую-то полянку, где стоял стог сена. На этой полянке, в Засеке, впоследствии мы сколько раз с моими детьми и с семьей моей сестры Тани пивали

чай и справляли пикники, но это была уже другая полянка, другое она имела освещение.

Мария Николаевна пригласила всех лезть на стог и оттуда скатываться, на что все охотно согласились. Вечер прошел весело и шумно.

На другое утро мы уехали в село Красное, раньше принадлежавшее моему деду, Исленьеву [10]. Там похоронена моя бабушка [11]. И моя мать хотела непременно посетить те места, где она родилась и выросла, и поклониться могиле своей матери, похороненной возле церкви. Нас неохотно отпускали из Ясной Поляны и взяли с моей матери честное слово, что на обратном пути мы снова заедем, хотя бы на один только день, в Ясную Поляну.

СЕЛО КРАСНОЕ

В село Красное мы поехали на наемных лошадях, в карете, которую нам дала Мария Николаевна. Мы недолго были там.

Помню церковь и памятник, на котором надпись: «Княгиня София Петровна Козловская, рожденная графиня Завадовская». И ясно представилась мне жизнь моей бабушки: сколько она перестрадала от первого мужа, пьяного князя Козловского, за которого ее выдали замуж насильно, и от незаконного брака с моим дедом, Александром Михайловичем Исленьевым, и в этой одинокой деревенской обстановке с ежегодным рождением детей [12] и с вечным страхом, что дед мой, предаваясь игорной страсти, проиграет все свое состояние и принужден будет выехать из своего имения, что и случилось с ним под конец его жизни.

Старый священник и дьячок Фетис — оба еще помнили Софию Петровну и с умилением говорили о ней. «Я взял на душу грех и перевенчал их тайно,— рассказывал нам старый священник.— Очень уж она меня просила».— «Хоть перед богом, если не перед людьми, хочу быть женою Александра Михайловича»,— говорила она.

А про дьячка Фетиса рассказывали, что его несли хоронить, а он ожил, выскочил из гроба и пошел домой. Как сейчас вижу я его сухую фигуру и жиденькую, заплетенную седую косичку на затылке. Я никогда не видала в Москве дьячка с косичкой, но меня ничто в жизни тогда уже не удивляло. Все было фантастично и волшебно-прекрасно.

Из Красного, покормив лошадей, мы поехали в той же карете в Ивицы, к деду. И там прием нам был торжественно-радостный. Дедушка, быстро шагая, не поднимая ног, как-то скользя мягкими сапожками, все время шутил и называл нас «московскими барышнями». Он имел привычку двумя пальцами — средним и указательным — щипать наши щеки и, подмигивая, сказать что-нибудь шуточное, причем он щурил свои узенькие смеющиеся глаза. Так и вижу его мощную фигуру с черной ермолкой на лысой голове и с большим горбатым носом на румяном бритом лице.

Софья Александровна, его вторая жена, поражала нас всегда тем, что курила длинную трубку, причем нижняя губа ее отвисала, и от прежней красоты ее только оставались ее черные блестящие и очень выразительные глаза.

Красивая Ольга, их вторая дочь, на вид спокойная и холодная, повела нас наверх, в приготовленную для нас комнату. Там, за шкапом, была моя постель, и вместо столика был поставлен около простой деревянный стул.

На другой день нашего приезда нас возили к каким-то соседям, где были барышни, очень приветливые, но совершенно чуждые нам по всему. То были настоящие деревенские барышни тургеневских повестей. И весь быт тогдашних помещиков был еще полон духа крепостного права. Жизнь помещиков была очень проста, без железных дорог, с замкнутой, терпеливой удовлетворенностью теми интересами, которые входили в их жизнь: хозяйственные дела, соседи, охота с борзыми и гончими, женские рукоделия и изредка незатейливые, но веселые празднования семейных и церковных праздников.

Наш приезд в Одоевский уезд произвел некоторое впечатление. Приезжали многие нас посмотреть, устраивали пикники, танцы, катанья.

На другой же день нашего пребывания в Ивицах неожиданно явился верхом на своей белой лошади Лев Николаевич. Он проехал 50 верст и приехал бодрый, веселый и возбужденный. Мой дед, любивший Льва Николаевича, да и вообще всю семью Толстых, по дружбе с графом Николаем Ильичом Толстым, особенно радостно и любовно приветствовал Льва Николаевича.

Было что-то очень много гостей. Молодежь, после дневного катанья, вечером затеяла танцы. Тут были и

офицеры, и молодые соседи-помещики, и много барышень и дам. Все это — толпа неизвестных нам, чужих и чуждых лиц. Но что было за дело? Было весело, и только и надо было. Танцы на фортепьяно играли, чередуясь, разные лица.

— Какие вы здесь все нарядные,— заметил Лев Николаевич, глядя на мое белое с лиловым барежевое платье, с светло-лиловыми бантами на плечах, от которых висели длинные концы лент, называемые в то время «Suivez moi» *.— Мне жаль, что вы при тетеньке не были такие нарядные,— прибавил с улыбкой Лев Николаевич.

— А вы что ж, не танцуете? — сказала я.

— Нет, куда мне, я уже стар.

На двух столах старички и дамы играли в карты. Когда потом все разъехались и разошлись, столы остались открытыми, свечи догорали, а мы все еще не шли спать, потому что Лев Николаевич оживленно разговаривал и удерживал нас. Но мамá нашла, что всем пора отдохнуть, и строго велела идти спать. Мы не смели ослушаться. Уже я была в дверях, когда Лев Николаевич меня окликнул:

— Софья Андреевна, подождите немного!

— А что?

— Вот прочтите, что я вам напишу.

— Хорошо,— согласилась я.

— Но я буду писать только начальными буквами, а вы должны догадаться, какие это слова.

— Как же это? Да это невозможно! Ну пишите.

Лев Николаевич счистил щеточкой все карточные записи, взял мелок и начал писать. Мы оба были очень серьезны, но сильно взволнованы. Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его. Мы оба молчали.

ЧТО ПИСАЛ МЕЛОК

«В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.», — написал Лев Николаевич.

«Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья»,— прочла я.

* «Следуйте за мной» (*франц.*).

Сердце мое забилось так сильно, в висках что-то стучало, лицо горело,— я была вне времени, вне сознания всего земного: мне казалось, что я все могла, все понимала, обнимала все необъятное в эту минуту.

— Ну, еще,— сказал Лев Николаевич и начал писать:

«В в. с. с. л. в. н. м. и в. с. Л. З. м. в. с в. с. Т.».

«В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру, Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой»,— быстро и без запинки читала я по начальным буквам.

Лев Николаевич даже не был удивлен. Точно это было самое обыкновенное событие. Наше возбужденное состояние было настолько более повышенное, чем обычное состояние душ человеческих, что ничто уже не удивляло нас.

Послышался недовольный голос матери, звавшей меня спать. Мы наскоро простились, потушили свечи и разошлись. Наверху за шкапом я зажгла маленький огарок и принялась писать свой дневник, сидя на полу и положив тетрадь на деревянный стул. Я тут же вписала слова Льва Николаевича, написанные мне начальными буквами, и тут же смутно поняла, что между им и мной произошло что-то серьезное, значительное, что уже не может прекратиться. Но я не дала ходу ни своим чувствам, ни своим мечтам по разным причинам. Я точно заперла на ключ все случившееся в этот вечер, с тем, чтобы спрятать до времени то, что еще не должно видеть света.

Когда мы уехали из Ивиц, мы снова на один день заехали в Ясную Поляну. На этот раз там весело не было. Мария Николаевна собиралась уезжать с нами вместе в Москву, оттуда за границу, где она оставила своих детей, и тетенька Татьяна Александровна, страстно любившая свою Машеньку, была грустна и молчалива. Ей всегда тяжела была разлука с той, которую она с детства воспитала и любила, как дочь, и которая так глубоко была несчастна с ее родным племянником, сыном ее сестры Елизаветы Александровны [13], графом Валерианом Петровичем Толстым. Меня смущало отношение Льва Николаевича ко мне и подозрительные взгляды сестер и окружающих. Мать моя, казалось, тоже была чем-то озабочена. Маленький Володя и сестра Таня устали и стремились скорее домой.

Послали в Тулу нанять большую анненскую карету (названные так по их содержателю, Анненкову). Внутри ее было четыре места и сзади два, как в крытой пролетке с верхом. Мы, старшие девочки, с сожалением оставляли Ясную Поляну. Простились с тетенькой и Натальей Петровной и искали Льва Николаевича, чтоб проститься с ним.

— Я еду с вами,— сказал он просто и весело.— Разве можно теперь оставаться в Ясной Поляне? Будет так пусто и скучно,— прибавил он.

Не отдавая себе отчета, почему мне вдруг стало так весело, почему таким все светилось счастьем, я побежала объявить новость матери и сестрам. Решено было, что в заднем, наружном месте будет все время ехать Лев Николаевич, а мы с сестрой Лизой будем чередоваться: одну станцию поедет она, другую — я, и так до Москвы.

И вот мы едем, едем... Помню, вечером, мне страшно хотелось спать. Я зябла, куталась и чувствовала такое спокойное счастье возле любимого мною с детства, привычного друга семьи, любимого автора «Детства», и теперь такого ласкового и еще более симпатичного. Он рассказывал мне длинно и красиво о Кавказе, о своей жизни там, о красоте гор и первобытной природы, о своих подвигах. Мне так хорошо было от его голоса, равномерного, но как будто горлового, издалека откуда-то, и нежно растроганного. И я то минутами засыпала, то опять просыпалась, и все тот же голос рассказывал мне красиво и поэтично свои кавказские сказки. Мне совестно было за свою сонливость, но я была еще так молода, и хотя жаль было не все услыхать, что рассказывал Лев Николаевич, я все-таки минутами не могла преодолеть сна. Ехали всю ночь. Внутри кареты все спали, и только изредка переговаривались моя мать с Марией Николаевной или пищал во сне маленький Володя.

Но вот стали подъезжать к Москве. Последняя станция опять моя, и я должна ехать со Львом Николаевичем в заднем, наружном месте. На последней станции подходит ко мне моя сестра Лиза и просит уступить ей ехать в наружном месте.

— Соня, если тебе все равно, уступи мне,— просила она.— В карете так душно.

Мы вышли из станции и стали все садиться по местам. Я полезла в карету.

— Софья Андреевна! — окликнул меня Лев Николаевич, — ведь теперь ваша очередь ехать сзади.

— Я знаю, но мне холодно, — уклончиво ответила я, и дверка кареты захлопнулась за мной.

Лев Николаевич постоял минуту, как бы задумавшись о чем-то, и сел на козлы.

На другой день Мария Николаевна уехала за границу, а мы вернулись в Покровское, на нашу дачу, где ждали нас отец и братья.

ПОСЛЕДНИЕ ДЕВИЧЬИ ДНИ И ПОВЕСТЬ

Вся прежняя жизнь моя стала другая. Та же обстановка, те же люди, та же я — по внешности. Но куда-то ушло мое личное «я», то самое чувство, овладевшее мною еще в Ясной Поляне и Ивицах, продолжало владеть мною. Мое «я» попало в беспредельное пространство, свободное, ничем не ограниченное и всемогущее. Я доживала эти последние девичьи дни какой-то особенной силой жизни, освещенной ярким светом и особенным пробуждением души. Еще в два периода моей жизни я испытала эту силу духовного подъема. И эти редкие, периодические, особенные пробуждения души убедили меня больше, чем что-либо, что душа живет своей отдельной жизнью, что она бессмертна и что смерть есть освобождение души, когда она покинет тело.

Приехав с нами из Ясной Поляны в Москву, Лев Николаевич нанял себе квартиру у какого-то немца-сапожника и поселился у него. В то время он был занят школьной деятельностью [14] и журналом под названием «Ясная Поляна», цель которого была чисто педагогическая, преимущественно для народных школ. Продолжался он только один год [15].

Лев Николаевич приходил к нам в Покровское почти ежедневно. Иногда привозил его к нам мой отец, ездивший часто в город по обязанностям службы. Раз Лев Николаевич пришел и сказал нам, что был в Петровском парке во дворце и подал через дежурного флигель-адъютанта письмо государю Александру II по поводу оскорбления, нанесенного ему без всякого повода жандармским обыском в Ясной Поляне [16]. Это было 23 августа 1862 года. Государь находился в то время в Петровском парке по случаю маневров на Ходынском поле.

Мы много гуляли и беседовали с Львом Николаевичем, и он меня раз спросил, пишу ли я свой дневник. Я сказала, что пишу давно, с 11-летнего возраста, и, кроме того, написала в прошлое лето, когда мне было 16 лет, длинную повесть.

— Дайте мне прочесть ваши дневники,— просил меня Лев Николаевич.

— Нет, не могу.

— Ну, так дайте повесть.

Повесть я дала. На другое утро я спросила его, читал ли он ее? Он мне ответил спокойно и равнодушно, что просмотрел ее. А в дневнике его впоследствии я прочла по поводу чтения моей повести следующее: «Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты» [17]. И потом он мне рассказал, что не спал ночь и очень его взволновало мое суждение о лице повести, князе Дублицком, в котором он узнал себя и про которого говорилось, что «князь необычайно непривлекательной наружности, и в нем переменчивость суждений».

Помню, раз мы были все очень веселы и в игривом настроении. Я все повторяла одну и ту же глупость: «Когда я буду государыней, я сделаю то-то», или: «Когда я буду государыней, я прикажу то-то». У балкона стоял кабриолет моего отца, из которого только что выпрягли лошадь. Я села в кабриолет и кричу: «Когда я буду государыней, я буду кататься в таких кабриолетах».

Лев Николаевич схватил оглобли и вместо лошади рысью повез меня, говоря: «Вот я буду катать свою государыню». Какой он был сильный и здоровый показывает этот эпизод.

— Не надо, не надо, вам тяжело! — кричала я. Но мне было очень весело, и мне нравилось, что Лев Николаевич такой сильный и катает меня.

Какие были тогда чудесные лунные вечера и ночи. Как сейчас вижу я ту полянку, всю освещенную луной, и отражение луны в ближайшем пруду. Были какие-то стальные, свежие, бодрящие, августовские ночи... «Какие сумасшедшие ночи»,— часто говаривал Лев Николаевич, сидя с нами на балконе или гуляя с нами вокруг дачи. Не было между нами никаких романических сцен или объяснений. Мы так давно знали друг друга. Общение между нами было так легко и просто. И точно я спешила доживать какую-то чудесную, свободную жизнь, ясную, ничем

не спутанную девичью жизнь. Все было хорошо, легко, ничего не хотелось, никуда я не стремилась.

И вот опять и опять приходил к нам Лев Николаевич. Иногда, когда он поздно у нас засиживался, родители мои оставляли его ночевать. Раз мы пошли его провожать,— это было в самом начале сентября,— и когда надо было уже с ним расстаться и возвращаться домой, сестра Лиза поручила мне пригласить Льва Николаевича ко дню ее именин, 5 сентября. Я как-то задорно-настойчиво стала его звать; он сначала отказывался, удивлялся и спрашивал: «Почему вы именно на 5-е зовете?» Объяснить я не смела. Меня просили об именинах не упоминать.

Лев Николаевич обещал и к общей нашей радости пришел. С ним всегда все было интересно и весело.

Сначала я посещения его относила не к себе. Но начинала сознавать, что меня забирает к нему серьезное чувство. Помню раз, сильно взволнованная, я прибежала наверх в нашу девичью комнату с итальянским окном, с видом на пруд, дальше на церковь, на все то, что так привычно и дорого было с самого рождения (я родилась в Покровском), стою у окна, а сердце так и бьется. Взошла сестра Таня и сразу поняла, что я не спокойна.

— Что с тобой, Соня? — участливо спросила она.

— Je crains d'aimer le comte *, — быстро и сухо ответила я ей по-французски [18].

— Неужели? — удивилась Таня, совсем не подозревавшая моего чувства. Она даже огорчилась. Она знала мой характер. Для меня и тогда и после всегда «aimer» ** значило не забавляться этим чувством, а скорее страдать.

В МОСКВЕ

Между 5 и 16 сентября мы всей семьей переехали в Москву. Как всегда, покинув дачу и жизнь с природой, в Москве мне все сначала казалось скучно, тесно, замкнуто, и это угнетающе действовало на душевное состояние. Перед отъездом у нас был обычай прощаться с любимыми местами и в короткий срок обежать как можно больше таких мест. В этот год я действительно навсегда простилась с милым Покровским вместе с моей девичьей жизнью.

---

* Боюсь, что я люблю графа (*франц.*).

** любить (*франц.*).

В Москве опять начались почти ежедневные посещения Льва Николаевича. Раз вечером я тихонько вошла к матери за перегородку в ее спальне. Она была уже в постели. Сколько раз, бывало, приедешь откуда-нибудь с вечера или из театра, и мама́ весело скажет: «Ну, рассказывай». И начинаешь ей повествование о проведенном вечере или в лицах представляешь то, что видела в театре. На этот раз мы обе были невеселы.

— Ты что, Соня? — спросила меня мать.

— Вот что, мама́. Все думают, что Лев Николаевич женится не на мне, а он, кажется, меня любит,— робко сказала я.

Моя мать почему-то рассердилась и напала на меня.

— Вечно воображает, что все в нее влюблены,— почему-то напустилась она на меня.— Ступай, уходи и не думай глупостей.

Меня огорчило подобное отношение матери к моей откровенности, и я после этого уже ни с кем не говорила о Льве Николаевиче. Отец тоже сердился, что Лев Николаевич, посещая так часто наш дом, не делал по старому русскому обычаю предложения старшей дочери, и был холоден с Львом Николаевичем и недобр со мной. Положение в доме было натянутое и тяжелое, особенно для меня.

14 сентября Лев Николаевич мне сказал, что должен мне сообщить нечто очень важное, но не успел мне сказать, что именно. Догадаться было нетрудно. Разговаривал он со мной в этот вечер долго. Я играла на рояле в гостиной, а он стоял, прислонившись всей фигурой к печке, и как только я замолкала, он повторял: «Играйте, играйте...» Музыка мешала другим слышать его слова, а руки мои дрожали от волнения, и пальцы путались, играя чуть ли не в десятый раз все тот же мотив вальса «Il Baccio», который я выучила наизусть, чтоб аккомпанировать пенью сестры Тани.

Предложения мне тогда Лев Николаевич еще не делал, и я подробно не помню теперь его речи. Помню, что смысл его слов был таков, что он меня любит, что хочет на мне жениться. Но все были только намеки. А в дневнике он писал:

«12 сентября 1862 года. Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, если это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях...»

«13 сентября 1862 года... Завтра пойду как встану и все скажу, или застрелюсь... 4-й час ночи... Я написал ей письмо и отдам завтра, т. е. нынче 14-го. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможным. Боже мой, помоги мне!..» [19]

Прошел еще день 15-го. 16 сентября, в субботу, вечером, приехали кадеты: мой брат Саша и его товарищи. В столовой пили чай и кормили голодных кадетов. Лев Николаевич весь этот день провел у нас и, выбрав от посторонних глаз минутку, вызвал меня в комнату моей матери, где никого в то время не было.

— Я хотел с вами поговорить,— начал он,— но не мог. Вот письмо, которое я уже несколько дней ношу в кармане. Прочтите его. Я буду здесь ждать вашего ответа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Я схватила письмо и стремительно бросилась бежать вниз, в нашу общую, девичью комнату, где мы жили все три сестры. Вот содержание его:

«Софья Андреевна, мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собою это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или недостанет духу сказать вам все. *Ложный взгляд вашего семейства* на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. *Повесть ваша засела у меня в голове,* оттого что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастье, что ваши *отличные* поэтические требования любви... что я не завидую и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В Ивицах я писал: *«Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость, и именно вы».* Но и тогда и теперь я лгал перед собой. Еще тогда я мог бы оборвать все и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что напутал у вас в семействе; что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком потеряны. И я не могу уехать и не смею остаться. Вы честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради бога не торо-

пясь, скажите, что мне делать? Чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, если бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучаться, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время. Скажите, как *честный человек,* хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, *смело* вы можете сказать: *да,* а то лучше скажите: нет, ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать: *нет,* но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно!» [20]

Письмо это я хорошенько не прочла сразу, а пробежала глазами до слов: «Хотите ли вы быть моей женой». И уже хотела вернуться наверх, к Льву Николаевичу с утвердительным ответом, как встретила в дверях сестру Лизу, которая спросила меня: «Ну, что?» — «Le comte m'a fait la proposition»*,— отвечала я ей быстро. Вошла моя мать и сразу поняла, в чем дело. Взяв меня решительно за плечи и повернув к двери, она сказала:

— Поди к нему и скажи ему свой ответ.

Точно на крыльях, с страшной быстротой вбежала я на лестницу, промелькнула мимо столовой, гостиной и вбежала в комнату матери. Лев Николаевич стоял, прислонившись к стене, в углу комнаты и ждал меня. Я подошла к нему, и он взял меня за обе руки.

— Ну, что? — спросил он.

— Разумеется, да,— отвечала я.

Через несколько минут весь дом знал о случившемся, и все стали нас поздравлять.

ИМЕНИНЫ. НЕВЕСТА

На другой день, 17 сентября, были именины моей матери, Любови Александровны, и мои. Все московские родные, друзья и знакомые приезжали нас поздравлять, и всем объявляли о нашей помолвке. Старый профессор университета, учивший нас с сестрой французскому языку, узнав, что за Льва Николаевича выхожу замуж я, а не моя старшая сестра, наивно сказал:

— C'est dommage, que cela ne fut m-lle Lise, elle a si bien étudié**.

---

* Граф сделал мне предложение (*франц.*).

** Как жалко что не Лиза, она так хорошо училась (*франц.*).

Маленькая Катя Оболенская бросилась меня обнимать и сказала обратное:

— Как я рада, что вы выходите замуж за такого хорошего человека и писателя.

Невестой я была только неделю: от 16 до 23 сентября. Возили меня по магазинам, и я равнодушно примеряла платья, белье, уборы на голову. Приходил ежедневно Лев Николаевич и принес мне раз свои дневники. Помню, как тяжело меня потрясло чтение этих дневников, которые он мне дал прочесть, от излишней добросовестности, до свадьбы. И напрасно: я очень плакала, заглянув в его прошлое.

Помню, раз, вечером, мама́ с сестрами поехала в театр. Давали «Отелло», и играл знаменитый тогда трагик Ольридж. Мать моя прислала и за нами коляску, чтобы мы тоже приехали в театр. Помню мое чувство, что я немного боялась Льва Николаевича, боялась, что он во мне, глупой, ничтожной девчонке, скоро разочаруется. И мы почти всю дорогу молчали.

А то раз он пришел днем, а я сижу с своей подругой, Ольгой З. [21], в зале, у окна, и она горько плачет.

Лев Николаевич удивился:

— Точно вы ее хороните,— сказал он.

— Все кончено, вы ее увезете, и она для нас всех пропадет,— сказала она по-французски, не в силах остановить своих слез.

Эта неделя прошла, как тяжелый сон. Для многих свадьба моя оказалась горем, и Лев Николаевич страшно торопил свадьбой. Моя мать говорила, что нужно сшить если не все приданое, то хотя бы все самое необходимое.

— Да ведь она одета,— говорил Лев Николаевич,— да еще всегда такая нарядная.

Кое-что сшили мне наскоро, главное — весь свадебный наряд, и назначили свадьбу на 23 сентября, в 7 час. вечера, в дворцовой церкви. У нас шли спешные приготовления, но и у Льва Николаевича было много хлопот. Он купил прекрасный дормез, заказывал фотографии всей моей семьи, подарил мне брошку с брильянтом. Снял и свой портрет, который я просила вделать в подаренный мне отцом золотой браслет. Еще немало ему было хлопот и неприятностей с неким г. Стелловским, которому Лев Николаевич продал тогда свои сочинения [22]. Но от подарков и нарядов я большого восторга не испытывала,— не

то меня интересовало. Я вся была поглощена своей любовью и страхом потерять любовь Льва Николаевича. И этот страх и потом, во всю мою жизнь, оставался в моем сердце, хотя, благодаря бога, в 48 лет нашей супружеской жизни мы сохранили эту любовь.

Когда мы со Львом Николаевичем говорили о нашем будущем, он предлагал мне избрать, где я хочу быть после свадьбы: остаться пожить в Москве, с родными, ехать ли за границу или прямо в Ясную Поляну. И я избрала последнее, чтоб сразу начать серьезную, семейную жизнь *дома*. И Лев Николаевич, по-видимому, был этому рад.

СВАДЬБА

Наступил и день свадьбы, 23 сентября. Я весь день не видала Льва Николаевича. Только на минутку забежал он, и мы сидели с ним на уложенных уже каретных важах, и он начал меня мучить допросами и сомнениями моей любви к нему. Мне даже казалось, что он хочет бежать, что он испугался женитьбы [23]. Я начала плакать. Пришла моя мать и напала на Льва Николаевича. «Нашел когда ее расстраивать,— говорила она.— Сегодня свадьба, ей и так тяжело, да еще в дорогу надо ехать, а она вся в слезах». Льву Николаевичу стало как будто совестно. Он скоро ушел и обедал в этот день с своими посажеными отцом и матерью: Василием Степановичем и Прасковьею Федоровною Перфильевыми. Они его и благословили, и сопровождали в церковь. Шафером Лев Николаевич пригласил Тимирязева, а брат Сергей Николаевич уехал в Ясную Поляну приготовлять все к нашему приезду и встретить нас там.

Со стороны Льва Николаевича приехала к свадьбе еще его тетка, Пелагея Ильинична Юшкова. Она ехала со мной в карете, и тут же был с образом мой маленький брат Володя.

В седьмом часу мои сестры и подруги начали меня одевать. Я просила не брать парикмахера, причесалась сама, а барышни закололи мне цветы и длинную тюлевую вуаль. Платье было тоже тюлевое, по тогдашней моде, с очень открытой шеей и руками. Все это окружало меня как облако, так все было тонко и воздушно. Худые плечи и руки несложившейся еще девочки имели жалкий и костлявый вид. Но вот я готова, ждем от жениха посланного шафера с объявлением, что жених в церкви. Прохо-

дит час и больше,— нет никого. В голове моей мелькнула мысль, что он бежал,— он был такой странный утром. Но вместо шафера является взволнованный, засуетившийся, косенький лакей Алексей Степанович и требует, чтоб поскорей раскрыли важи и достали оттуда чистую рубашку. Приготовив все для свадьбы и отъезда, забыли оставить чистую рубашку. Посылали купить, но было воскресенье, и все магазины были заперты. Пока ее свезли, пока оделся и приехал в церковь жених, прошло еще много времени. Явился наконец и шафер жениха, объявив, что жених в церкви. Началось прощание, слезы, рыдания, и меня совсем расстроили.

— Что мы будем делать без нашей графинюшки! — приговаривала няня, с раннего детства называвшая меня так, вероятно потому, что я носила имя моей бабушки, графини Софии Петровны Завадовской.

— А я без тебя умру с тоски, — говорила моя сестра Таня.

Маленький брат Петя смотрел на меня отчаянно своими грустными черными глазами. Моя мать избегала меня и усиленно хозяйничала с свадебными приготовлениями. У всех на душе было невесело от предстоящей разлуки.

Отец был нездоров. Я пошла к нему в кабинет проститься, и он казался смягченным и растроганным. Приготовили хлеб-соль, мать взяла образ мученицы Софии; рядом с ней стоял мой дядя Михаил Александрович Исленьев, брат моей матери, и они благословили меня.

Торжественно и молча поехали мы все в церковь, в двух шагах от дома, где мы жили [24]. Я плакала всю дорогу. Зимний сад и придворная церковь Рождества Богородицы были великолепно освещены. В дворцовом зимнем саду меня встретил Лев Николаевич, взял за руку и повел к дверям церкви, где нас встретил священник. Он взял в свою руку наши обе руки и подвел к аналою. Пели придворные певчие, служили два священника, и все было очень нарядно, парадно и торжественно. Все гости были уже в церкви. Церковь была полна и посторонними, служащими во дворце. В публике делали замечания о моей чрезмерной молодости и заплаканных глазах.

Обряд нашего венчания прекрасно описал Лев Николаевич в романе своем «Анна Каренина», когда он описывал свадьбу Левина и Кити [25]. Он ярко и художественно изобразил и внешнюю сторону обряда, и весь психологический процесс в душе Левина. Что касается меня,

я уже столько за все дни пережила волнений, что, стоя под венцом, я ничего не испытывала и не чувствовала. Мне казалось, что совершается что-то несомненное, неизбежное, как всякое стихийное явление. Что все делается так, как нужно, и рассуждать уж нечего.

Моими шаферами были брат Саша и его бывший товарищ по корпусу П.[26], тогда уже гвардейский офицер.

Обряд кончился, нас поздравляли, и мы уже вдвоем со Львом Николаевичем поехали в карете домой. Он был ласков и, по-видимому, счастлив... Дома, в Кремле, приготовлено было все то, что обычно бывает на свадьбах: шампанское, фрукты, конфеты и проч. Гостей было немного, только родные и самые близкие друзья.

Меня переодели в дорожное платье. Престарелая наша горничная Варвара, которую шутник, старый друг отца, доктор Анке, прозвал «Устрицей» и которая ехала со мной, суетилась с лакеем Льва Николаевича, Алексеем, и окончательно укладывала все вещи.

ПРОВОДЫ И ОТЪЕЗД

Привели шестерку почтовых лошадей с форейтором, впрягли в новенький дормез, только что купленный Львом Николаевичем, увязали на верх кареты черные, глянцевитые, перетянутые ремнями важи, и Лев Николаевич начал торопить отъездом.

Что-то тяжелое, мучительное подступило мне к самому горлу и душило меня. Я вдруг в первый раз ясно почувствовала, что я *навсегда* отрываюсь от своей семьи, от тех, кого так сильно любила, с кем прожила всю свою жизнь. Но я сдерживала свои слезы, свое горе. Начались прощания. Это было ужасно! Прощаясь с больным отцом, я уже не могла не плакать. Прощаясь с сестрой Лизой, я пристально посмотрела ей в глаза; она тоже прослезилась. Сестра Таня по-детски громко плакала, и ей вторил брат Петя, слишком много, нарочно выпивший шампанского, чтобы не почувствовать своего горя, как объяснил он сам, и его увели спать. Сошла я вниз, поцеловала и перекрестила своего двухлетнего спящего братца Вячеслава, простилась и с няней, Верой Ивановной, которая с рыданиями бросилась меня целовать и в лицо, и в плечи, и куда попало. Сдержанная старушка Степанида Трифоновна[27], прожившая в нашей семье более 35-ти лет, учтиво пожелала мне счастья.

Но вот и последние минуты. Я нарочно оставила свое прощание с матерью под конец. Уже совсем перед тем, как мне сесть в карету, я бросилась ей на шею. Мы обе рыдали. В этих слезах, в этом прощании была и обоюдная благодарность за все хорошее, что мы своей любовью дали друг другу, было и прощение за невольные огорчения, была и скорбь разлуки с любимой матерью, и ее материнское желание мне счастья.

Когда я наконец решилась оторваться от моей матери и, не оборачиваясь, стала садиться в карету, она вскрикнула таким раздирающим голосом, что долго потом, да и во всю свою жизнь, я не забыла этого крика, стона ее сердца, от которого точно оторвали что-то.

Осенний дождь лил не переставая; в лужах отражались тусклые фонари улиц и только что зажженные фонари кареты. Лошади нетерпеливо стучали копытами, а передние с форейтором тянули вперед. Дверку кареты захлопнул за нами Лев Николаевич. На заднее место вскочил Алексей Степанович и влезла престарелая «Устрица» Варвара. Зашлепали лошади по лужам, и мы поехали. Забившись в уголок, вся разбитая от усталости и горя, я, не переставая, плакала. Лев Николаевич казался очень удивленным и даже недоумевающе-недовольным. У него настоящей семьи — отца, матери — не было, он вырос без них, и понять меня, как мужчина, он тоже не мог. Он мне намекал, что я его, стало быть, мало люблю, если так тяжело расстаюсь с своей семьей. Он тогда не понял, что если я так страстно и горячо люблю свою семью, то ту же способность любви я перенесу на него и на наших детей. Так и было впоследствии.

Когда выехали из Москвы за город, стало темно и жутко. Я никогда прежде никуда не ездила ни осенью, ни зимой. Отсутствие света и фонарей удручало меня. До первой станции, кажется, «Бирюлево», мы почти не разговаривали. Помню, что Лев Николаевич был как-то особенно бережно нежен со мной. В Бирюлеве нам, молодым, да еще титулованным, приехавшим шестериком в новом дормезе, открыли царские комнаты, большие, пустые, с красной триповой мебелью и такие неуютные. Принесли самовар, приготовили чай. Я забилась в угол дивана и молча сидела, как приговоренная.

— Что же, хозяйничай, разливай чай,— говорил Лев Николаевич.

Я повиновалась, и мы начали пить чай, и я конфузилась, и все чего-то боялась. Ни разу я не решилась перейти на «ты», избегала как-либо назвать Льва Николаевича и долго после говорила ему «вы».

ПРИЕЗД В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Ехали мы от Москвы до Ясной Поляны немного менее суток и на другой день к вечеру приехали домой, чему я была очень рада. И так странно. Я *дома*, и где же? В Ясной Поляне.

Первое мое впечатление, когда я вошла на лестницу дома, в котором мне суждено было прожить полвека, было — тетенька Татьяна Александровна, с образом Знамения божией матери, и рядом с ней брат Сергей Николаевич с хлебом-солью. Я поклонилась им в ноги, перекрестилась, поцеловала образ и тетеньку. Лев Николаевич сделал то же. Потом мы пошли в ее комнату, где была Наталья Петровна. С этого дня началась моя жизнь в Ясной Поляне, откуда я почти не выезжала первые 18 лет [28]. В дневнике своем Лев Николаевич тогда написал: «25 сентября 1862 г. Неимоверное счастье! Не может быть, чтоб это кончилось только жизнью!» [29]

МОИ ЗАПИСИ РАЗНЫЕ ДЛЯ СПРАВОК

1870

Ясная Поляна, 14 февраля. На днях, читая биографию Пушкина [1], мне пришло в голову, что я могла бы быть полезна для потомства, которое будет интересоваться биографией Левочки, и записывать не вседневную его жизнь, а жизнь умственную, насколько я способна следить за ней. Мне и прежде это приходило в голову, да времени у меня мало.

Теперь начать хорошо. «Война и мир» кончено и ничего еще серьезно не предпринято.

Все лето прошлое он читал и занимался философией; восхищался Шопенгауэром [2], считал Гегеля пустым набором фраз [3]. Он сам много думал и мучительно думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа; что для него все кончено, умирать пора и проч. Потом эта мрачность прошла. Он стал чи-

тать русские сказки и былины. Навел его на это чтение замысел писать и составлять книги для детского чтения для четырех возрастов, начиная с «Азбуки» [4]. Сказки и былины приводили его в восторг. Былина о Даниле Лавчанине навела его на мысль написать на эту тему драму. Сказки и типы, как, например, Илья Муромец, Алеша Попович и многие другие, наводили его на мысль написать роман и взять характеры русских богатырей для этого романа. Особенно ему нравился Илья Муромец. Он хотел в своем романе описать его образованным и очень умным человеком, происхождением мужик и учившийся в университете. Я не сумею передать тип, о котором он говорил мне, но знаю, что он был превосходен [5].

После чтения былин и сказок, именно все это последнее время, он перечитал бездну драматических произведений. И Мольера, и Шекспира, и Пушкина «Бориса Годунова», которого не хвалит и не любит [6], и сам все собирается писать комедию. Он даже начал ее и рассказал мне довольно пустой сюжет, но я знаю, что это не серьезная его работа. Он сам на днях сказал мне: «Нет, испытавши эпический род (т. е. «Война и мир»), трудно и не стоит браться за драматический». Но я вижу, что он только и думает о комедии и все свои силы направил на драматический род [7].

15 февраля. Вчера вечером много говорил Левочка о Шекспире и очень им восхищался; признает в нем огромный драматический талант [8]. Про Гете говорил, что он эстетик, изящен, пропорционален, но что драматического таланта у него нет, что в этом он слаб и все собирается поговорить с Фетом о Гете, которым Фет так восхищается. Еще Левочка говорил, что когда Гете рассуждает, философствует, тогда он велик.

Нынче утром Л. зазвал меня в кабинет, когда я проходила мимо, и говорил много об русской истории и исторических лицах. Я застала его за чтением истории Петра Великого — Устрялова [9].

Типы Петра Великого и Меншикова очень его интересуют. О Меншикове он говорил, что чисто русский и сильный характер, только и мог быть такой из мужиков. Про Петра Великого говорил, что он был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначен был ввести Россию в сношение с Европейским миром. В истории он ищет сюжета для драмы и записыва-

ет, что ему кажется хорошо. Сегодня он записал сюжетом историю Мировича, хотевшего освободить Иоанна Антоновича из крепости. Вчера он сказал мне, что опять перестал думать о комедии, а думает о драме, и все толкует: как много работы впереди![10]

Мы с ним сейчас катались на коньках, и он добивается уметь делать все штуки на одной и двух ногах, задом, круги и проч. Это его забавляет, как мальчика.

24 февраля. Наконец, после долгих колебаний, сегодня Л. приступил к работе. Вчера он сказал, что когда думает серьезно, тогда ему представляется не драматическое, а опять эпическое.

На днях он был у Фета, и тот сказал ему, что драматический не его род, и, кажется, теперь мысль о драме и комедии оставлена.

Сейчас, утром, он написал своим частым почерком целый лист кругом. Действие начинается в монастыре, где большое стечение народа и лица, которые потом будут главными [11].

Вчера вечером он мне сказал, что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой, и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины [12]. «Теперь мне все уяснилось»,— говорил он. Давно придуманный им характер из мужиков образованного человека вчера он решил сделать управляющим.

Он говорил: «Меня упрекают в фатализме, а никто не может быть более верующий, чем я. Фатализм есть отговорка, чтоб делать дурное, а я верю в бога; в выражение Евангелия, что ни один волос не спадет без воли божьей, оттого и говорю, что все предопределено».

Мы не получаем ни газет, ни журналов, Л. говорит, что не хочет читать никаких критик. «Пушкина смущали критики,— лучше их не читать». Нам даром посылают «Зарю», в которой Страхов так превозносит талант Л. [13]. Это его радует. Еще Рис посылает немецкую газету [14], вот и все. «Revue des deux Mondes» мы выписываем и читаем.

9 декабря. Сегодня в первый раз начал писать, мне кажется, серьезно. Не могу выразить, что делалось у него в голове все время его бездействия. Была мысль писать о путешествующем по России человеке, была мысль о взятом из крестьян и образованном человеке. А тут теперь в том начале, которое он мне нынче прочел, опять замысел о гениально умном человеке, гордом, хотящем учить других, искренно желающем приносить пользу, и потом, после нескольких времени путешествия по России, столкновения с людьми простыми, истинно приносящими существенную пользу, после разной борьбы, приходящему к заключению, что его желание приносить пользу, как он это понимал,— бесплодно, и потом переход к спокойствию ума и гордости, к пониманию простой, существенной жизни, и тогда — смерть [15].

Я, по крайней мере, так поняла то, что он мне нынче говорил и растолковывал.

В настоящую минуту Л. сидит с семинаристом в гостиной и берет первый урок греческого языка. Ему вдруг пришла мысль учиться по-гречески.

Все это время бездействия, по-моему умственного отдыха, его очень мучило. Он говорил, что ему совестно его праздность не только передо мной, но и перед людьми и перед всеми [16]. Иногда ему казалось, что приходит вдохновение, и он радовался.

Иногда ему кажется — это находило на него всегда вне дома и вне семьи,— что он сойдет с ума, и страх сумасшествия до того делается силен, что после, когда он мне это рассказывал, на меня находил ужас.

Дня три тому назад он воротился из Москвы [17]. Он нам покупал куклы, игрушки к елке, полотна и проч. Вернувшись, он все говорил: «Какое счастье быть дома, какое счастье дети, как я ими наслаждаюсь».

Он учит Сережу математике и иногда выходит из себя [18]. Всегда просит его останавливать, когда он слишком раздражится.

1871

27 марта. С декабря упорно занимается греческим языком. Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот. Читал прежде Ксенофонта, теперь то Платона, то «Одис-

сею» и «Илиаду», которыми восхищается ужасно. Очень любит, когда слушаешь его изустный перевод и поправляешь его, сличая с Гнедичем, перевод которого он находит очень хорошим и добросовестным. Успехи его по греческому языку, как кажется по всем расспросам о знании других и даже кончивших курс в университете, оказываются почти невероятно большими.

Иногда, проверяя его перевод, я замечаю в двух-трех страницах едва ли два, три слова и иногда непонятый оборот речи [19].

Писать ему хочется, и часто говорит об этом. Мечтает, главное, о произведении столь же чистом, изящном, где не было бы ничего лишнего, как вся древняя греческая литература, как греческое искусство... Я не могу объяснить, хотя понимаю ясно, в каком роде его задуманное произведение. Он говорит, что не трудно написать что-нибудь, а трудно *не* написать. Т. е. удержаться от лишнего пустословия, от которого почти никто никогда не удерживается.

Мечтает написать из древней русской жизни. Читает Четьи-Минеи, житие святых и говорит, что это наша русская настоящая поэзия. Здоровье его плохо. Всю зиму хворал. Была боль в коленке ужасная; лихорадка, которой много содействовало слишком напряженное занятие греческим языком, в чем и он сознался сам; и теперь сухой, короткий и редкий кашель, в котором он не сознается и сердится, когда говорю ему о нем. «Никакого нет»,— всегда говорит, а меня это больше всего мучает.

1873

16 января. Замысел мой я не выполнила и не записывала, что занимало все это время, а главное, как был занят ум Л. Он составил четыре детские книги [20], занимался с уверенностью, гордостью и твердым убеждением, что дело его и полезно и хорошо. «Азбука» эта имеет страшный неуспех, который ему очень неприятен и особенно смутил и сердил его сначала. К счастью, это не мешает ему заниматься. Вчера он говорил: «Если б мой роман потерпел такой неуспех, я бы легко поверил и помирился, что он не хорош. А это я вполне убежден, что «Азбука» моя есть необыкновенно хороша, и ее не поняли» [21].

Занят он теперь чтением материалов из истории времен Петра Великого[22]. Его вдруг охватило какой-то бессознательной потребностью избрать себе умственную деятельность именно из этого времени. Как это подкралось — было даже незаметно. Он записывает в разные записные книжечки все, что может быть нужно для верного описания нравов, привычек, платья, жилья и всего, что касается обыденной жизни, особенно народа и жителей вне двора и царя. А в других местах записывает все, что приходит в голову касательно типов, движения, поэтических картин и проч. Эта работа мозаичная. Он вникает до таких подробностей, что вчера вернулся с охоты особенно рано и допытывался по разным материалам, не ошибка ли, что написано, будто высокие воротники носились при коротких кафтанах. Л. предполагает, что они носились при длинных верхних платьях, особенно у простонародья. Вечером мы читали вслух записки о свадьбах и обычаях русских времен Алексея Михайловича[23]. Левочка очень ценит и хвалит историю Устрялова как труд вполне добросовестный.

31 января. Чтение материалов продолжается. Типы один перед другим возникают перед ним.

Написано около десяти начал, и он все недоволен. Вчера говорил: «Машина вся готова, теперь ее привесть в действие»[24].

19 марта. Вчера вечером Л. мне вдруг говорит: «А я написал полтора листочка и, кажется, хорошо». Думая, что это новая попытка писать из времен Петра Великого, я не обратила большого внимания. Но потом я узнала, что начал он писать роман из жизни частной и современной эпохи. И странно он на это напал. Сережа все приставал ко мне дать ему почитать что-нибудь старой тете вслух. Я ему дала «Повести Белкина» Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись идти вниз, отнести книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной. На другое утро, во время кофе, Л. взял эту книгу и стал перечитывать и восхищаться. Сначала в этой части (изд. Анненкова) он нашел критические заметки и говорил: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться». Потом он перечитывал вслух мне о старине, как помещики жили и ездили по дорогам[25], и тут ему объяснился во многом быт дворян во времена и Петра

Великого, что особенно его мучило; но вечером он читал разные отрывки и под влиянием Пушкина стал писать. Сегодня он продолжал дальше и говорит, что доволен своей работой [26].

В настоящую минуту он ушел смотреть лисицу, с двумя сыновьями, учителем Федором Федоровичем и дядей Костей [27]. Лисица эта бегает всякий день недалеко от дому, около мостика.

Погода ясная, чудесная. Днем яркое солнце, ночью ослепительные звезды и крутой серп молодого месяца.

4 октября. Роман «Анна Каренина», начатый весною, тогда же был весь набросан. Все лето, которое мы провели в Самарской губернии [28], он не писал, а теперь отделывает, изменяет и продолжает роман [29].

Крамской пишет его два портрета и немного мешает заниматься. Зато споры и разговоры об искусстве всякий день [30].

Вчера мы вместе поехали в Шаховское к Оболенским, он кашлял, и я боюсь за него. Он поехал дальше на охоту, а я вернулась сегодня домой. (Рожденье Тани, ей 9 лет.)

20 ноября. Сейчас Л. Н. мне рассказывал, как ему приходят мысли к роману: «Сижу я внизу, в кабинете, и разглядываю на рукаве халата белую шелковую строчку, которая очень красива. И думаю о том, как приходит в голову людям выдумывать все узоры, отделки, вышиванья; и что существует целый мир женских работ, мод, соображений, которыми живут женщины. Что это должно быть очень весело, и я понимаю, что женщины могут это любить и этим заниматься. И конечно, сейчас же *мои мысли* (т. е. мысли к роману) Анна... И вдруг мне эта строчка дала целую главу. Анна лишена этих радостей заниматься этой женской стороной жизни, потому что она одна, все женщины от нее отвернулись, и ей не с кем поговорить обо всем том, что составляет обыденный, чисто женский круг занятий».

Всю осень он говорил: «Мой ум спит», и вдруг неделю тому назад точно что расцвело в нем: он стал весело работать и доволен своими силами и трудом. Сегодня, не пивши еще кофе, молча сел за стол и писал, писал более часу, переделывая главу Алекс. Алекс. в отношении Лидии Ивановны и приезд Анны в Петербург [31].

ЗАПИСКИ О СЛОВАХ, СКАЗАННЫХ Л. Н. ТОЛСТЫМ ВО ВРЕМЯ ПИСАНЬЯ

21 ноября 1876 года. Подошел и говорит мне: «Как это скучно писать». Я спрашиваю: «Что?» Он говорит: «Да вот я написал, что Вронский и Анна остановились в одном и том же номере, а это нельзя, им непременно надо остановиться в Петербурге, по крайней мере, в разных этажах. Ну, и понимаешь, из этого вытекает то, что сцены, разговоры и приезд разных лиц к ним будет врозь, и надо переделывать».

1877

3 марта. Вчера Л. Н. подошел к столу, указал на тетрадь своего писанья и сказал: «Ах, скорей, скорей бы кончить этот роман (т. е. «Анну Каренину») и начать новое. Мне теперь так ясна моя мысль. Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так в «Анне Карениной» я люблю мысль *семейную*, в «Войне и мире» любил мысль *народную*, вследствие войны 12-го года; а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле *силы завладевающей*». И сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.

Много разных сведений слышны со всех сторон о переселенцах. Так, например, в прошлое лето жили мы в Самаре и поехали раз вдвоем к казакам, верст 20 от нашего Самарского хутора. Встречаем мы целый обоз, несколько семейств, дети, старики, все веселые. Мы остановились и спросили старика: «Куда вы?» — «Да на новые места едем из Воронежской губернии. Наши уже давно ушли на Амур, а теперь пишут оттуда, вот и мы идем туда же».

Это очень взволновало тогда и заинтересовало Льва Николаевича. Теперь ему рассказали на железной дороге другой случай: поехали человек сто или больше тамбовских крестьян в Сибирь, по своей воле. Пришли на степь около Иртыша, им сказали, что тут земля киргизская и им сесть тут нельзя. Они пошли немного дальше.

И вот мысль будущего произведения, как поняла ее я, а кругом этой мысли группируются факты, типы, еще не ясные даже ему самому [32].

Сегодня пришел Л. Н. с утренней прогулки и говорит: «Как я счастлив». Я спросила: «Чем?» Он говорит: «Во-первых, тобой, а во-вторых, своей религией. И не Бобринский [33], не граф. Ал. Андр. Толстая обратили меня своим христианством, а материалист Захарьин (доктор) и вчерашний (наш гость) Левицкий. Захарьин своим искренним желанием быть религиозным, а Левицкий чтением рассказов о русской истории с новой, оригинальной и прекрасной точкой зрения — именно религиозной».

Он рассказывает исторические факты в том тоне, что прежде русские были не христиане и жили для нужд своих и бог карал их, и потом они стали христиане и стали жить для души своей... Чтение это очень тронуло Л. Н., и сегодня он говорит, что он и не мог бы жить долго в той страшной борьбе религиозной, в какой находился эти последние два года, и теперь надеется, что близко то время, когда он сделается вполне религиозным человеком, но не как... [34] (Мне помешали, и я не помню, что хотела написать.)

25 августа. Л. Н. уехал в Москву искать детям русского учителя [35]. Все более и более укрепляется в нем религиозный дух. Как в детстве, всякий день становится он на молитву, ездит по праздникам к обедне, где мужики всякий раз обступают его, расспрашивая о войне; [36] по пятницам и средам ест постное и все говорит о духе смирения, не позволяя и останавливая полушутя тех, кто осуждает других. Ездил в Оптину пустынь 26 июля и остался очень доволен мудростью, образованием и жизнью тамошних монахов — старцев [37].

Вчера он мне говорит: «Умственный клапан мой открылся, но зато и голова ужасно болит». Его очень волнует неудача в Турецкой войне и положение дел в России, и вчера он писал все утро об этом. Вечером он мне говорил, что знает, какую форму придать своим мыслям, именно написать письмо к государю [38]. Пусть напишет, но форма рискованна и посылать нельзя.

12 сентября. Л. Н. говорит: «Пока война, ничего не могу писать, так же, как если пожар в городе, то нельзя ни за что взяться, и все тянет туда». Поехал сегодня на охоту с борзыми и оттуда, т. е. со станции Лазарево, в свое имение — Никольское, по хозяйству.

25 октября. Л. Н. уехал на охоту с борзыми, но все утро мне рассказывал, как понемногу нанизывается одна мысль за другой для нового произведения. Не могу еще ясно понять, *что* именно он будет писать,— да, кажется, ему самому не ясно еще, но, как я понимаю, главная мысль будет народ и сила народа, проявляющаяся в земледелии исключительно. Сегодня он мне говорил: «А эта пословица, которую я прочел вчера, мне очень нравится: *«Один сын не сын, два сына — полсына, а три сына — сын».* Вот для моего начала эпиграф. У меня будет старик, у которого три сына. Одного отдали в солдаты, другой так себе, дома, а третий, любимый отца, выучивается грамоте и смотрит вон из мужицкого быта, что больно старику. И вот она, семейная драма, в душе зажиточного мужика, для начала». Потом, кажется, этот выучившийся сын-мужик придет в столкновение с людьми другого, образованного круга, и потом ряд событий. Во второй части, как говорит Л. Н., будет переселенец, русский Робинзон, который сядет на новые земли (Самарские степи) и начнет там новую жизнь, с самого начала мелких, необходимых, человеческих потребностей.

«Крестьянский быт мне особенно труден и интересен, а как только я описываю свой — тут я как дома»,— говорит Л. Н.

«Анна Каренина» печатается и скоро выйдет в особом издании [39]. И сегодня Л. Н. сказал: «И в новом будет проведена та же мысль последовательно...» Но какая?

26 декабря. 6 декабря ночью, в 3 часа, у нас родился сын Андрей. Событие это как будто сняло какие-то умственные оковы с ума Л. Н., и неделю тому назад он начал писать в большой переплетенной книге какое-то религиозно-философское сочинение. Я еще его не читала, но сегодня он сказал брату Степе: «Вот то, что я пишу в большой книге, составляет мою цель доказать несомненную необходимость религии» [40].

Я люблю его аргумент, который он приводит о пользе христианства всем спорящим, о том, что законы общественные — законы всех коммунистов, социалистов будто выше законов христианства, и этот аргумент его потому и записываю. Именно: «Если б не было учения христианства, которое вкоренилось веками в нас и на основании которого сложилась вся наша общественная жизнь, то не было бы и законов нравственности, чести, желания рас-

пределить блага земные более ровно, желания добра, равенства, которое живет в этих людях».

Настроение Л. Н. сильно изменяется с годами. После долгой борьбы неверия и желания веры — он вдруг теперь, с осени, успокоился. Стал соблюдать посты, ездить в церковь и молиться богу. Когда его спрашивают, почему именно он избрал эти обряды для исполнения верований, он говорит: «Я буду стараться и желаю достигнуть всех законов церкви, а пока исполняю какие могу». И всегда спрашивает нас: «Ты будешь исповедоваться?» — «Буду».— «Тебя спросит священник на духу, ешь ли ты постное?» — «Спросит».— «Стало быть, или это надо исполнять, т. е. есть постное, или надо лгать».

Характер Л. Н. тоже все более и более изменяется. Хотя всегда скромный и малотребовательный во всех своих привычках, теперь он делается еще скромнее, кротче и терпеливее. И эта вечная, с молодости еще начавшаяся борьба, имеющая целью нравственное усовершенствование, увенчивается полным успехом.

1878

8 января. «Со мной происходит что-то похожее на то, когда я писал «Войну и мир»,— сказал мне сейчас Лев Николаевич с какой-то полуусмешкой, отчасти радостной, отчасти недоверчивой к словам, которые он сказал. — И тогда я, собираясь писать о возвратившемся из Сибири декабристе, вернулся сначала к эпохе бунта 14 декабря, потом к детству и молодости людей, участвовавших в этом деле, увлекся войной 12-го года, а так как война 12-го года была в связи с 1805 годом, то и все сочинение начал с этого времени». Теперь Льва Николаевича заинтересовало время Николая I, а главное — Турецкая война 1829 года. Он стал изучать эту эпоху; изучая ее, заинтересовался вступлением Николая Павловича на престол и бунтом 14 декабря.

Потом он мне еще сказал: «И это у меня будет происходить на Олимпе, Николай Павлович со всем этим высшим обществом, как Юпитер с богами, а там где-нибудь в Иркутске или в Самаре переселяются мужики, и один из участвовавших в истории 14 декабря попадает к этим переселенцам — и «простая жизнь в столкновении с высшей» [41].

Потом он говорил, что как фон нужен для узора, так и ему нужен фон, который и будет его теперешнее религиозное настроение. Я спросила: «Как же это?» Он говорит: «Если б я знал — как, то и думать бы не о чем». Но потом прибавил: «Вот, например, смотреть на историю 14 декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать».

1 марта. Все время Л. Н. занимается чтением времен Николая Павловича и, главное, заинтересован и даже весь поглощен историей декабристов. Он ездил в Москву и привез целую груду книг и иногда до слез тронут чтением этих записок [42]. Сегодня он уехал в Сергиевское по делам вспомоществования семействам ратников.

1879

18 декабря. Пишет о религии, объяснение Евангелия и о разладе *церкви с христианством* [43]. Читает целые дни, постное ест по средам и пятницам; весь пост есть запретил Захарьин, по случаю головных болей, происходящих будто от желудка.

Все разговоры проникнуты учением Христа.

Расположение духа спокойное и молчаливо-сосредоточенное. Декабристы и вся деятельность в прежнем духе совсем отодвинута назад, хотя он иногда говорит: «Если буду опять писать, то... напишу совсем другое, до сих пор все мое писание были одни этюды» [44].

1881

31 января. У нас был Юрьев (редактор «Русской мысли»). Когда я осталась с ним наедине, а Лев Николаевич, по своему обыкновению, взяв стакан с чаем, ушел в кабинет заниматься от завтрака до обеда (от 12-ти до 5-ти), Юрьев стал меня спрашивать, почему Л. Н. бросил писать «Декабристов». Никогда ясно не обдумав сама, почему это так случилось, я задумалась, но потом разом окинула воспоминанием и живо рассказала ему. Юрьев сейчас же горячо начал мне говорить: «Ваш рассказ драгоценен, запишите его непременно».

Слушаюсь Юрьева и записываю.

Л. Н. серьезно занимается только зиму. Изучив материалы, набросав кое-что для «Декабристов», он не успел еще написать ничего серьезного, как уже наступило лето. Чтоб не терять времени и вместе с тем здорово его употреблять, он стал делать продолжительные и длинные прогулки по проходящему от нас в двух верстах шоссе (Киевский тракт), где летом можно всегда встретить множество богомольцев, идущих со всех концов России и Сибири на богомолие в Киев, Воронеж, Троицу и прочие места.

Считая свой язык русский далеко не хорошим и не полным, Л. Н. поставил в это лето своей целью изучать язык в народе. Он беседовал с богомольцами, странниками, проезжими и все записывал в книжечку народные слова, пословицы, мысли и выражения. Но эта цель привела к неожиданному результату.

Приблизительно до 1877 года религиозное настроение Л. Н. было неопределенное, скорее равнодушное. Неверия не было полного никогда, но и веры *определенной* тоже не было. Это страшно мучило Л. Н. (он написал свою религиозную исповедь в начале нового сочинения).

Придя в близкое столкновение с народом, богомольцами и странниками, его поразила твердая, ясная и непоколебимая их вера. Ему стало страшно за свое неверие, и он вдруг всей душой пошел той же дорогой, как народ. Он стал ходить в церковь, есть постное, становиться на молитву и исполнять все церковные обряды. Это продолжалось довольно долго.

Но Л. Н. скоро увидал, что источник добра, терпения, любви в народе не исходил из ученья церкви; и он сам выразился, что когда он увидал *лучи*, он по лучам добрался до настоящего *света* и увидал ясно, что свет в христианстве — в Евангелии. Всякое другое влияние он упорно отвергает и с его слов делаю это замечание.

«Христианство живет в преданиях, в духе народа, бессознательно, но твердо». Вот его слова.

Тогда же мало-помалу Л. Н. увидал с ужасом, какой разлад между церковью и христианством. Он увидал, что церковь как бы рука об руку с правительством составила заговор тайный против христианства. Церковь молится и благодарит бога за побитых людей, празднуя победу, тогда как в Ветхом завете сказано: «Не убий». А в Евангелии: «Люби ближнего, как самого себя». Церковь выносит и покровительствует даже присяге, а Христос сказал: «Не

клянись». Церковь дала людям обрядность, которой люди должны спасаться, и поставила преграду христианству; истины ученья о царстве божьем на земле затмились тем, что людей усиленно убеждали о их несомненном спасенье посредством крещенья, причастия, постов и проч.

Вот что пришло в голову Льву Николаевичу. Он стал изучать Евангелие, переводить его и комментировать[45]. Работа эта продолжается второй год и доведена, кажется, до половины. Но он стал, как он говорит, счастлив душой. Он познал (по его выраженью) *«свет»*. Все миросозерцание осветилось этим светом. Взгляд на людей стал таков (как он сам говорил), что прежде был известный кружок людей *своих, близких,* а теперь миллионы людей стали братьями. Прежде было именье и богатство *свое,* а теперь кто беден и просит, тому надо давать.

Всякий день садится он за свою работу, окруженный книгами, и до обеда трудится. Здоровье его сильно слабеет, голова болит, он поседел и похудел в эту зиму.

Он, по-видимому, совсем не так счастлив, как бы я того желала, а стал тих, сосредоточен и молчалив. Почти никогда не прорывается то веселое, живое расположение духа, которое, бывало, увлекало всех нас, его окружающих. Приписываю это усталости от тяжелого напряженного труда. Не то, как бывало, когда описывалась охота или бал в «Войне и мире», он, веселый и возбужденный, имел вид, как будто сам побывал и участвовал в этих увеселениях. Ясность и спокойствие личного его состояния души несомненно, но страдание о несчастиях, несправедливости людей, о бедности их, о заключенных в тюрьмах, о злобе людей, об угнетении — все это действует на его впечатлительную душу и сжигает его существование.

ПОЧЕМУ КАРЕНИНА АННА И ЧТО НАВЕЛО НА МЫСЛЬ О ПОДОБНОМ САМОУБИЙСТВЕ?

У нас есть сосед лет 50-ти, небогатый и необразованный — А. Н. Бибиков. У него была в доме дальняя родственница его покойной жены, девушка лет 35-ти, которая занималась всем домом и была его любовница. Бибиков взял в дом к сыну и племяннице гувернантку — красивую немку, влюбился в нее и сделал ей предложение. Прежняя любовница его, которую звали *Анна* Степановна, уехала из дома его в Тулу, будто повидать мать, оттуда с узелком в руке (в узелке была только перемена

белья и платья) вернулась на ближайшую станцию — Ясенки, и там бросилась на рельсы, под товарный поезд. Потом ее анатомировали. Лев Николаевич видел ее с обнаженным черепом, всю раздетую и разрезанную в Ясенковской казарме. Впечатление было ужасное и запало ему глубоко. Анна Степановна была высокая, полная женщина, с русским типом и лица и характера, брюнетка с серыми глазами, но не красива, хотя очень приятная [46].

1877

ССОРА Л. Н. ТОЛСТОГО С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ

Отношения Льва Николаевича к Тургеневу в первое время литературного поприща Л. Н. в Петербурге были самые хорошие. Тургенев признавал в нем талант, писал к сестре Льва Николаевича, Марье Николаевне, самые лестные о нем отзывы, они часто видались и были, повидимому, дружны, несмотря на то, что Тургенев был 10-ю годами старше и, казалось, неохотно видел в Толстом соперника на литературном поприще [47].

Раз Тургенев и Толстой встретились у Фета, в Степановке Орловской губернии Мценского уезда. Разговор шел о благотворительности. И Тургенев сказал, что дочь его, воспитанная за границей, делает много добра, помогая бедным. Л. Н. сказал, что он не любит той благотворительности, которая, подражая англичанам, выбирает своих бедных (my poors) и отделяет систематически известную, малую часть своего состояния. Что настоящая благотворительность есть та, которая вытекает от сердца и непосредственно, отдаваясь чувству, делает добро.

Тургенев сказал: «Стало быть, вы находите, что я дурно воспитываю дочь?» Л. Н. ответил на это, что он думает то, что говорит, и что, не касаясь личностей, просто выражает свою мысль. Тургенев рассердился и вдруг сказал: «А если вы будете так говорить, я вам дам в рожу» [48].

Л. Н. встал и уехал в Богослов, станция, находившаяся между нашим именьем — Никольским и именьем Фета — Степановкой. Оттуда Лев Николаевич послал за ружьями и пулями, а к Тургеневу письмо с вызовом за оскорбление. В письме этом он писал Тургеневу, что не желает стреляться пошлым образом, т. е. что два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по-

настоящему и просит Тургенева приехать в Богослов к опушке леса с ружьями.

Всю ночь Лев Николаевич не спал и ждал. К утру пришло письмо от Тургенева, что, напротив, он не согласен стреляться, как предлагает Толстой, а желает дуэль по всем правилам. На это Лев Николаевич написал Тургеневу: «Вы меня боитесь, а я вас презираю и никакого дела с вами иметь не хочу».

Прошло несколько времени. Лев Николаевич, живя в Москве, как-то раз пришел в одно из тех прелестных расположений духа, которое в жизни его находит на него иногда — смирения, любви, желания и стремленья к добру и всему высокому. И в этом расположенье ему стало невыносимо иметь врага. Он написал Тургеневу письмо, в котором жалел, что их отношения враждебны, писал, что «если я оскорбил вас, простите меня, мне невыносимо грустно думать, что я имею врага». Письмо было послано в Петербург, к книгопродавцу Давыдову, который имел дела с Тургеневым. Но оно не дошло еще до Тургенева, как он из Парижа написал Льву Николаевичу письмо, в котором упрекал его: «Вы всем рассказываете, что я трус и не хотел с вами драться. Так я требую за это удовлетворения и буду с вами драться, когда приеду в Россию» (что-то через 8 месяцев, кажется).

Лев Николаевич написал ему, что это так смешно и глупо вызывать драться через 8 месяцев, что я на это могу ответить вам тем же презрением, как и прежде, а если вам нужно себя оправдать перед публикой, то посылаю вам другое письмо, которое можете показывать кому хотите. В письме этом Лев Николаевич писал: «Вы мне сказали, что вы меня ударите по роже, а я отказался драться».

Письмо это было написано под влиянием чувства, что если у Тургенева нет личной настоящей чести, а нужна честь для публики, то вот ему для этого это письмо; но что Лев Николаевич стоит выше этого и мнение публики презирает. И на это Тургенев сумел быть слаб. Он отвечал, что считает себя удовлетворенным [49]. О письме, посланном через книгопродавца Давыдова, так и неизвестно — получил ли его Тургенев. Тем и кончилась эта ссора, но враги остались, к сожаленью, непримиримы, до— [50].

Написано со слов Льва Николаевича Толстого
23 января 1877 года.

ПРИМИРЕНИЕ ГР. ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО С ИВАНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ТУРГЕНЕВЫМ

Написано 12 августа 1878 года. Все более и более приходя в религиозное расположение, Льву Николаевичу стало грустно думать, что есть человек, с которым он как будто в враждебных отношениях, и он весной раз написал Тургеневу письмо в Париж, в котором просил его забыть, если было что-либо враждебное в их отношениях, вспомнить только те хорошие отношения, которые существовали во время вступления Л. Н. на литературное поприще, когда он любил его искренно, и даже писал: «Простите меня, в чем я был виноват перед вами». Тургенев ответил таким же душевным письмом, отвечая: «Охотно жму протянутую вами руку...» и обещал, когда будет в России, приехать к нам [51].

Теперь, только что мы вернулись из Самары, 6 августа, мы получили телеграмму, что Тургенев будет к нам 8-го числа [52]. Лев Николаевич поехал его встречать в Тулу, и о встрече их я ничего не знаю. Тургенев очень сед, очень смиренен, всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе и возвышенных предметов. Так он описывал статую *Христос* Антокольского [53], точно мы все видели его, а потом рассказывал о своей любимой собаке Пегас с одинаковым мастерством. В Тургеневе теперь стала очень видна слабость, даже детская, наивная слабость характера. Вместе с тем видна мягкость и доброта. Вся ссора его с Львом Николаевичем мне объяснилась этой слабостью.

Например, он наивно сознается, что боится страшно холеры. Потом нас было 13 за столом, мы шутили о том, на кого падет жребий смерти и кто ее боится. Тургенев, смеясь, поднял руку и говорит: «Que celui qui craint la mort, lève la main» *.

Никто не поднял, и только из учтивости Л. Н. поднял и сказал: «Eh bien, moi aussi je ne veux pas mourir»** [54].

Тургенев пробыл у нас два дня. О прошлом речи не было: были отвлеченные споры и разговоры, и, на мой взгляд, Л. Н. держал себя слегка почтительно и очень любезно, не переходя никакие границы. Тургенев, уезжая, сказал мне: «До свиданья, мне было очень приятно у вас».

Он сдержал слово «до свиданья» и опять приезжал в начале сентября [55].

---

* Кто боится смерти, пусть поднимет руку (*франц.*).
** Я тоже не хочу умирать (*франц.*).

СМЕРТЬ ВАНЕЧКИ[1]

За несколько дней до кончины Ванечка удивлял меня тем, что начал раздаривать свои вещи, прилагая к ним записочки своей рукой «на память Маше от Вани» или «повару Семену Николаевичу от Вани» и проч. Потом раз снял со стены своей детской разные картиночки в рамках и снес их в комнату брата Миши, которого он страстно любил. Он взял у меня гвозди и молоток и повесил все свои картинки в Мишиной комнате. Он так любил Мишу, что был до отчаяния несчастлив и горько плакал, если, поссорившись с Мишей, тот не сразу хотел с ним мириться. Насколько Миша любил маленького Ванечку, не знаю; но со временем он назвал его именем своего первого сына.

Незадолго до своей смерти раз Ванечка смотрел в окно, вдруг задумался и спросил меня: «Мама, Алеша (умерший мой маленький сын) теперь ангел?»

— Да, говорят, что дети, умершие до семи лет, бывают ангелами.

А он мне на это сказал:

— Лучше и мне, мама, умереть до семи лет. Теперь скоро мое рождение, я тоже был бы ангел. А если я не умру, мама милая, позволь мне говеть, чтобы у меня не было грехов.

Слова эти болезненно запали мне в душу. 20 февраля дочь Маша вызвалась вместе с няней повести Ванечку в клинику к профессору Филатову, который назначил нам для приема этот день. Вернулись они веселые, бодрые. Ванечка объявил мне с восторгом, что ему позволено все есть, много гулять и даже ездить. После завтрака он пошел с Сашей гулять и потом прекрасно ел за обедом. Намучившись, глядя на болезнь Ванечки, все в доме были веселы. Таня и Маша, не имея своих семей, всю способность материнской любви перенесли на маленького брата.

Вечером 20-го Саша и Ванечка попросили сестру Машу читать им переделанный для детей рассказ Диккенса «Большие ожидания» под заглавием «Дочь каторжника»[2]. Когда пришло время идти спать, Ванечка пришел ко мне прощаться и поразил меня своим грустным, усталым видом. Я спросила его о чтении.

— Ах, не говори, мама. Так все грустно, ужас! Эстелла вышла замуж не за Пипа.

Мы пошли с ним вниз в детскую, он зевал и говорил мне с такой грустью и со слезами на глазах:

— Ах, мама, опять *она, она* — лихорадка.

Я поставила градусник, t° — 38,5. Жаловался Ванечка на боль в глазах; я думала, начинается корь. Когда я убедилась, что Ванечка опять заболевает, я заплакала, и, увидав мои слезы, он сказал:

— Не плачь, мама, ведь это воля божия.

Незадолго до этого он просил меня растолковать ему молитву «Отче наш», и я особенно горячо толковала ему, что значат слова и их смысл: «Да будет воля твоя».

Потом он попросил меня дочесть ему начатую нами сказку Гримма, кажется, что-то о вороне. Я исполнила его просьбу. Вошел в детскую сын Миша, а я вышла в спальню. Мише, как я узнала после, Ванечка сказал:

— Я знаю, что теперь я умру.

Ночью он очень горел, но спал. Утром послали за доктором Филатовым, и он тотчас же определил, что у Ванечки скарлатина. Жар достиг уже 40°, присоединились боли в животе и сильнейший понос, объясняемый тем, что скарлатина осложнилась дифтеритом кишок.

В 3 часа ночи Ванечка проснулся, посмотрел на меня и сказал:

— Извини, милая мама, что тебя разбудили.

Я ему говорю:

— Я выспалась, милый, мы с тобой по очереди сидим.

— А теперь чей черед будет, Танин?

— Нет, Машин.

— Позови Машу, иди спать.

Заботливо посылал меня мой милый мальчик и начал меня целовать крепко, крепко, нежно, вытягивая свои сухие губки и прижимаясь ко мне. Я спросила его:

— Что у тебя болит?

— Ничего не болит.

— Что же, тоска?

— Да, тоска.

После этого он почти уже не приходил в сознание. Жар на другой день достиг 42°. Филатов обертывал его в простыни, намоченные в горчичной воде, сажал и в теплую ванну, но ничего не помогало, головка свисала беспомощно на сторону, как у покойника, потом стали холодеть ручки и ножки; он еще раз открыл свои глазки, как бы удивившись чему-то, и затих. Это было в 11 часов вечера 23 февраля.

Левочка, муж мой, увел меня в комнату Тани, сел со мной на кушетку, и я совсем потеряла сознание, положив

свою голову ему на грудь. Мы точно оба замерли в отчаянии.

В самые последние минуты при Ванечке были моя дочь Маша и Мария Николаевна, монахиня, все время молившаяся. Няня, обезумев, как я, от горя, лежала на кровати и изредка всхлипывала, как мне потом рассказывали. Таня то входила, то убегала из детской.

Когда Ванечку одели в белую курточку и расчесали его длинные, белокурые, кудрявые волосики, мы с Левочкой решились войти в детскую. Ванечка лежал на кушетке, я положила ему на грудку образок, кто-то зажег восковую свечу и поставил у головки.

Скоро весть о смерти всеми столь любимого Ванечки распространилась среди наших родных и знакомых. Прислали множество цветов и венков, вся детская была точно сад. О заразе никто не думал. Милая, сердечная Сафо Мартынова, у которой своих было четверо детей, тотчас же приехала, плакала с нами и приняла горячее участие в нашем горе. А мы все как-то особенно страстно примкнули друг к другу в любви нашей к покойному Ванечке. Мария Николаевна жила с нами и так душевно, религиозно утешала нас. В Дневнике Льва Николаевича в то время записан крик его сердца:

«*26-го февраля.* Похоронили Ванечку. Ужасно! Нет, не ужасно, а великое душевное событие. Благодарю тебя, Отец» [3].

На третий день, 25 февраля, Ванечку отпели, заколотили гробик, и в 12 часов дня отец с сыновьями и Павлом Ивановичем Бирюковым вынесли гробик и поставили на наши четырехместные большие сани. Сели мы с мужем друг против друга и, провожаемые друзьями, тихо двинулись.

В письме к сестре Тане пишу впоследствии, описывая ей все события смерти Ванечки: «И вот, Таня, все время без единой слезы, пока отпевали Ванечку, я держала его ледяную головку в руках, согревала его мертвые щечки руками и поцелуями, и я не умерла от горя, и теперь, хоть и плачу над этим письмом, но живу и буду, верно, долго жить с этим камнем на сердце» [4].

Молча везли мы с Левочкой наше последнее любимое дитя, нашу светлую будущность. Когда мы стали подъезжать к Покровскому кладбищу близ с. Никольского, куда везли хоронить Ванечку рядом с его братом Алешей [5],

Левочка начал вспоминать, как он, влюбленный в меня, часто ходил и ездил по этой самой дороге в Покровское, где мы тогда жили на даче. Он умилялся и плакал и ласкал меня и словами и воспоминаниями, и мне было так хорошо от его любви.

Похороны. В селе Никольском, близ Покровского, было много народа, и местного, и прибывшего на похороны. Было воскресенье, школьники гуляли по деревне, любуясь венками и цветами.

С саней сняли гробик, опять же Лев Николаевич и сыновья. Все плакали, глядя на старого сгорбленного, убитого горем отца. При похоронах, кроме семьи нашей, были еще: Маня Рачинская, Соня Мамонова, Коля Оболенский, Сафо Мартынова, Вера Северцева, Вера Толстая и многие другие. Все громко рыдали.

Когда гробик опускали в яму, я опять потеряла всякое сознание, точно и сама куда-то провалилась. Говорили потом, что сын Илюша загораживал от меня эту ужасную яму, а кто-то держал меня за руки. Мой муж Левочка, обняв меня, прижал к своей груди, и я долго оставалась так в каком-то оцепенении.

Опомнилась я от веселых криков множества крестьянских детей, которым няня по моему поручению раздавала разные сладости и калачи. Дети смеялись, роняли и подбирали опять пряники. Я вспомнила, как Ванечка любил всех угощать и что-нибудь праздновать, и разрыдалась в первый раз после его смерти.

Тотчас же после похорон художник Касаткин приехал на могилу, когда уже все разъехались, и набросал два этюда со свежей могилы [6]. Один он подарил мне, другой — Тане, написав при этом очень милое, сердечное и поэтическое письмо с любовью к Ванечке, которого называл «прозрачным» [7].

Вернулись мы, осиротелые, в наш опустевший дом, и помню я, как Лев Николаевич внизу, в столовой, сел на диван, принесенный раньше для больного Левы и, заплакав, сказал:

— Я думал, что Ванечка один из моих сыновей будет продолжать мое дело на земле после моей смерти.

И в другой раз — приблизительно то же:

— А я-то мечтал, что Ванечка будет продолжать после меня дело божие. Что делать!

И мне было еще тяжелее смотреть на его глубокую скорбь, чем страдать самой.

Пишу сестре про Льва Николаевича:

«Левочка согнулся совсем, постарел, ходит грустный с светлыми глазами, и видно, что и для него потух последний светлый луч его старости. На третий день смерти Ванечки он сидел рыдая и говорил: «В первый раз в жизни я чувствую безвыходность» [8].

Ванечка из всех детей был больше всех лицом похож на отца. Те же глубокие, вдумчивые и светлые глаза, та же серьезность духовного внутреннего содержания. Както раз, расчесывая свои вьющиеся волосы перед зеркалом, Ванечка обернул ко мне свое личико и с улыбкой сказал: «Мама, я сам чувствую, как я похож на папу».

После похорон. В первую же ночь после смерти Ванечки я вскочила ночью в каком-то ужасе от галлюцинации запаха, и долго после преследовал меня этот запах, хотя спавший тогда со мной муж мой уверял меня, что никакого запаха нет, что мне это так кажется. А то вдруг я слышала голос Ванечки, нежный и ласковый. Бывало, помолюсь с ним богу, мы перекрестим друг друга, и он мне скажет:

— Поцелуй меня покрепче, положи свою головку рядом с моей, подыши мне на грудку, чтобы я заснул с твоим дыханьицем.

Нет любви чище, сильнее и лучше любви матери и ребенка. Со смертью Ванечки кончился в нашем доме детский милый мирок. Саша осиротелая ходила одиноко и грустно по дому, не зная, куда прислониться душой. Она была дика и необщительна по характеру. Ванечка же, наоборот, любил людей, любил писать письма, угощать, праздновать, дарить, и как многие любили его!

Даже холодный Меньшиков писал о нем: «Когда я видел вашего маленького сына, то думал, что он или умрет, или будет гениальнее своего отца» [9].

Много, много чудесных писем я получила с соболезнованием о смерти Ванечки и о нем самом. Н. Н. Страхов пишет Льву Николаевичу: «Он много обещал, может быть, наследовал бы не одно ваше имя, но и вашу славу. А как был мил — сказать нельзя» [10].

Некто Жиркевич, писатель, пишет: «Один писатель из Петербурга, не знающий ни вас, ни Льва Николаевича, ни Ванечку, пишет о последнем самый восторженный отзыв, как о чудном существе, подававшем большие надежды. Все матери и отцы сочувствуют горю вашему, и мой голос тонет в шуме всеобщих сожалений» [11].

Вот и отзыв Мих. Ал. Стаховича: «Жалко и самого Ванечку, милого, трогательного и интересного ребенка, которого я мало видел, но который невольно запоминался своим отличием от банальных детей своим настойчивым, серьезным взглядом, содержательностью своих детских выходок и речей» [12].

Ольга Андреевна Голохвастова писала о Ванечке: «Милый, умный, чуткий, бледный Ванечка» [13].

Софья Алексеевна Философова утешала меня, уверяя, что я стольким дорога и нужна, и прибавляя: «Вы своей ясной, искренней и страдающей душой еще более внесете добра» [14].

Анна Григорьевна Достоевская мало видела Ванечку, но писала мне о нем: «Это было богато одаренное существо с нежным отзывчивым сердцем» [15].

Пешкова-Толиверова, напечатавшая в «Игрушечке» рассказ Ванечки [16], писала: «Он, как живой, стоит передо мной, бледненький, скромный, но с пытливыми глазками» [17].

Успокоительно подействовал на меня наш старый друг кн. С. С. Урусов, несомненно уверяя меня о блаженном райском состоянии души Ванечки. Он сам так твердо верил, такой был православно-религиозный человек, что заражал и меня этой верой.

Многие молились за Ванечку и за нас в церквах и домах, и особенно сочувствовали нам отцы и матери, сами потерявшие детей, как Александра Алексеевна Чичерина, рожд. гр. Капнист, потерявшая единственную девочку; как баронесса Е. И. Менгден, у которой умерли два взрослых сына, и др.

. . . .

В то время я писала сестре: «Я ищу утешение в том, что страданиями я перехожу в вечность, что страдания эти нужны для очищения моей души, которая должна соединиться с богом и Ванечкой, который весь был любовь и радость, и я кричу: «Да будет воля твоя!» Если это нужно для перехода моего в вечность, но несмотря на этот постоянный подъем духа и на искренний крик сердца отдаться в волю божью, нет мне в этом утешения, и ни в чем, ни в чем» [18].

Почему-то Лев Николаевич отрицал во мне почти всякую религиозность. Его раздражало то, что я все время ходила по церквам, монастырям и соборам. Помню, как я постом провела 9 часов сряду в Архангельском соборе, то

стоя на службе, то сидя на приступках с богомолками, странниками и какой-то женщиной интеллигентной, которая, как я, потеряв уже взрослого сына, искала утешение в молитве и храме божьем.

Возвращаясь раз домой из Кремля в Хамовнический переулок, я все время шла под дождем, промокла, простудилась и надолго заболела. А до того времени мы с Сашей говели, и, вероятно, и это было не по сердцу Льву Николаевичу. Пишет он в Дневнике:

«*27 марта 1895 г.* Соня все также страдает и не может подняться на религиозную высоту. Причина та, что она к животной любви к своему детищу привила все свои духовные силы» [19].

Почему *животной* любви? Много у меня было детей, но именно к Ванечке в наших обоюдных чувствах преобладала духовная любовь. Мы жили с ним одной душой, понимали друг друга и постоянно уходили, несмотря на его возраст, в область духовную, отвлеченную.

Он трогательно относился тогда ко мне [20]. Помню, он позвал меня раз идти навестить его сестру Машеньку в ее именины, 25 марта, и мы придумывали с ним, что ей подарить. Я вспомнила, что ей хотелось иметь будильник, чтоб не просыпать церковных служб, и мы вместе купили будильник и подарили ей, чему она была очень рада, так же, как и нашему посещению.

А то помню еще, что, под предлогом купить книг в тюрьму, Лев Николаевич пригласил меня пойти на вербу, в вербную субботу. Он думал, что меня это развлечет. Купила я тогда искусственных белых цветов, ветку белой сирени, которая сохранилась и поныне и висит на большом Ванечкином портрете.

Побывав у сестры своей Марии Николаевны, Лев Николаевич писал в своем Дневнике, что «Машенька стала добрее с тех пор, как она в монастыре. Что это значит? Как соединить язычество с христианством? Не могу вполне уяснить себе...» [21] Такой же язычницей он считал и меня, только потому, что я с Машенькой не отреклась от церкви. А я всегда думала, что плоха та вера, для которой так много значит форма и обстановка. И как может помешать моей вере то место, куда веками люди сходились во имя бога, хранили эту идею божества; приносили в храмы свои горести, радости, духовные настроения, надежды, сомнения — все, чем жило и живет человечество.

КОММЕНТАРИИ

В настоящее издание включены Дневники С. А. Толстой за 1862—1910 гг. С. А. Толстая вела Дневник с перерывами: нет, или почти нет, записей за 1869, 1880, 1881, 1884, 1888, 1889, 1893, 1896, 1898, 1905, 1906, 1907, 1909 гг. Дополняют Дневники впервые печатаемые избранные записи из Ежедневников С. А. Толстой за 1905—1919 гг., содержащие ценные сведения для изучения биографии Л. Н. Толстого, проблемы увековечивания его памяти, создания мемуарной литературы о Толстом. В Приложениях напечатаны мемуарные очерки, написанные С. А. Толстой в разные годы и относящиеся, в основном, к тем периодам, которые не освещены в Дневнике.

Первое (и единственное) издание Дневников С. А. Толстой вышло в 1928—1936 гг. в 4 частях: ч. I (1862—1891), изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1928; ч. II (1891—1897), изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1929; ч. III (1897—1909), изд. «Север», М., 1932; ч. IV (1910), «Советский писатель», М., 1936. Издание было подготовлено Г. А. Волковым, С. Л. Толстым, М. А. Цявловским.

В настоящем издании текст Дневников заново сверен по автографам. Восстановлена часть купюр предыдущего издания и сделан ряд новых редакторских купюр — в основном, записи сугубо интимного характера или записи, касающиеся живущих ныне лиц и их родственников. Купюры в тексте не обозначаются.

Составителями и авторами комментариев широко использованы материалы, хранящиеся в Рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого. Иллюстративный материал подобран Т. К. Поповкиной в фондах Музея.

Дневники и комментарии к ним подготовлены: Дневники 1862—1891 гг.— Б. М. Шумовой; Дневники 1891—1897 гг.— И. А. Покровской; Дневники 1898—1909 гг. и Ежедневники 1905—1909 гг. — О. А. Голиненко; Ежедневники 1910 г. (январь — май) — Н. И. Азаровой; Дневники 1910 г., Ежедневники 1910 г. (июнь — декабрь) и Ежедневники 1911—1919 гг. — С. А. Розановой. Нумерация комментариев дана в пределах каждого года. В комментариях принято сокращение: Дневники — *Дн.*; Ежедневники — *Е*.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Б. вед. — «Биржевые ведомости».

Булгаков — В. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., Гослитиздат, 1960.

ВЕ — «Вестник Европы».

ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого.

Гольденвейзер — А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. Кн. 2. М., 1923.

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея.

Гусев — Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., «Художественная литература», 1973.

Гусев, Материалы, I—IV — Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 гг. М., Изд. АН СССР, 1954 (I); то же — с 1855 по 1869 гг. М., 1957 (II): то же — с 1870 по 1881 гг. М., 1963 (III); то же — с 1881 по 1885 гг. М., 1970 (IV).

ДСТ —Дневники С. А. Толстой, ч. I—IV. М., 1928—1936.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом).

Кузминская — Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1973.

Летописи — «Летописи Государственного Литературного музея».

ЛН — «Литературное наследство».

Моя жизнь — С. А. Толстая. Моя жизнь. Машинопись. ГМТ.

Н. вр. — «Новое время».

ПС — «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., изд. Общества Толстовского музея, 1914.

ПСС — Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в 90 томах. М., Гослитиздат, 1928—1958.

ПСТ — С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. 1862—1910. М. — Л., «Academia», 1936.

ПТГ — «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Преписка». М.—Л., «Academia», 1930.

РВ — «Русский вестник».

Р. вед. — «Русские ведомости».

Р. сл. — «Русское слово».

Т. Л. Сухотина — Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1976.

ТЕ — «Толстовский ежегодник».

И. Л. Толстой — И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., «Художественная литература», 1969.

С. Л. Толстой — С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1975.

Толстой в воспоминаниях — «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», в 2-х томах. М., Гослитиздат, 1960.

Толстой. Переписка — Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. М., «Художественная литература», 1962.

Тургенев. Письма — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28-и томах. Письма. Изд. АН СССР.

ЯЗ — Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Рукопись. ГМТ.

ЯЗ, I, II — Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Изд. «Задруга», вып. 1, М., 1922; вып. 2, М., 1923.

ЯПб — Яснополянская библиотека.

Ясн. сб. — «Яснополянский сборник». Тула.

1862
(Стр. 37—44)

[1] *П.*—М. А. Поливанов. Он был увлечен С. А. Берс и, по-видимому, имел намерение на ней жениться. См. об этом: *Кузминская*, с. 65—74; 133—136.

[2] Перед свадьбой Толстой, не желая скрывать от невесты свое прошлое, принес ей свои старые дневники. Чтение их произвело на 17-летнюю С. А. Берс тяжелое впечатление. См. Приложение: «Женитьба Л. Н. Толстого», с. 475 наст. тома.

[3] А. М. Исленьев, дед С. А. Толстой, приезжал в эти дни в Ясную Поляну с дочерью Ольгой.

[4] Г. С. Толстой — сын С. Н. Толстого и М. М. Шишкиной, считался «незаконным», так как его родители не были обвенчаны. Венчание состоялось лишь 7 июня 1867 г.

[5] Т. А. Ергольская.

[6] По-видимому, С. А. Толстая цитирует несохранившееся письмо отца, или это не совсем точно переданные строчки из его письма к ней от 5 октября 1862 г.: «Тебе была бы жизнь очень трудная, если б ты не попала такому мужу, который так нежно тебя любит и всегда будет тебе служить верной опорой» (*ГМТ*).

[7] Никольское-Вяземское — имение Толстых в Чернском уезде Тульской губ. Принадлежало старшему из братьев Толстых — Н. Н. Толстому, после смерти которого (в 1860 г.) перешло к Л. Н. Толстому.

[8] С. А. Толстая была дружна с О. А. Исленьевой, но в письме к сестре Т. А. Берс 12 октября 1862 г. признавалась: «Ты знаешь, какая я ревнивая всегда была. Ну, злит меня все: что она с ним играет, что она ему нравится. Ты понимаешь, что я же не могу думать, что он меня не любит, но так неприятно. Я рада, что она уезжает в воскресенье» (*ГМТ*).

[9] В этой записи выразилось отношение С. А. Толстой к «школьным занятиям» Толстого и к его общению с крестьянами. По ее мнению, новые условия семейной жизни должны были вытеснить

из жизни Толстого все другие интересы, кроме практических, семейных. Толстой писал в Дневнике: «Все это время я занимаюсь теми делами, которые называются практическими только. Но мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать. И потому собой не доволен и не ясен в отношениях с другими. Журнал решил кончить, школы тоже — кажется. Мне все досадно и на мою жизнь и даже на нее» (*ПСС*, т. 48, с. 47). Но сам же Толстой всегда называл это время «счастливым периодом своей жизни» (см.: *ПСС*, т. 54, с. 94).

[10] Студенты-учителя Яснополянской школы и других школ, открытых Толстым в Крапивенском уезде.

[11] Н. П. Охотницкая.

[12] Эта запись перекликается с письмом Толстого к Т. А. Берс от 23 марта 1863 г., где он пишет о превращении его жены в «холодную фарфоровую куклу» (см.: *ПСС*, т. 61, с. 10—13). Дневниковая запись С. А. Толстой и письмо Толстого отражают их душевное состояние в первые месяцы семейной жизни. Об этом см. подробнее в книге: В. А. Жданов. Любовь в жизни Льва Толстого, кн. I. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1928, с. 98—106.

[13] Очевидно, С. А. Толстая прочитала вновь или вспомнила запись Толстого в Дневнике 13 мая 1858 г. о яснополянской крестьянке Аксинье Базыкиной: «Я влюблен, как никогда в жизни» (*ПСС*, т. 48, с. 15). Толстой изобразил ее в рассказах «Идиллия», «Тихон и Маланья» (*ПСС*, т. 7) и в повести «Дьявол» (*ПСС*, т. 27).

1863

(Стр. 45—65)

[1] Видимо, С. А. Толстая вспомнила резкие слова, сказанные ею во время происшедшей накануне ссоры, о которой Толстой записал 8 января: «С утра платье. Она вызывала меня на то, чтоб сказать против, я и был против, я сказал — слезы, пошлые объяснения» (*ПСС*, т. 48, с. 49).

[2] *Г. А. Ауэрбах* — знакомый Толстых, жил близ Тулы в своем имении Горячкино. В 1860-е гг. часто приезжал в Ясную Поляну вместе с женой. «Я их боялась, — вспоминала С. А. Толстая, — и чуждалась, как очень умных» (*Моя жизнь*, кн. 2, с. 21—22).

[3] Т. А. Берс.

[4] А. А. Берс.

[5] 23 декабря 1862 г. Толстые приехали в Москву и остановились в гостинице Шеврие, в Газетном переулке, где прожили до 8 февраля 1863 г. Во время пребывания в Москве они почти ежедневно бывали в Кремле у Берсов.

[6] А. А. Базыкина (см. коммент. 13 к *Дн.* 1862 г.).

[7] Толстой записал в Дневнике 15 января об этой ссоре: «Последний раздор оставил маленькие следы (незаметные) или может быть — время. Каждый такой раздор, как ни ничтожен, есть надрез — любви» (*ПСС*, т. 48, с. 50).

[8] С. А. Толстая читала записи в Дневнике Толстого за 3 января — 3 марта 1863 г. 23 февраля он записал: «Люблю все лучше и больше» (*ПСС*, т. 48, с. 52).

[9] С. А. Толстая читала письма Толстого к В. В. Арсеньевой. В 1856—1857 гг. он собирался жениться на Арсеньевой и в письмах к ней подробно рисовал их будущую семейную жизнь, называя себя Храповицким и ее Дембицкой (см. письма от 12—13 и 19 ноября 1856 г. — *ПСС*, т. 60, с. 108—110 и 114—120). Этот роман нашел отражение в повести «Семейное счастие» (см. статью П. А. Журова «Л. Н. Толстой и В. В. Арсеньева». — *Ясн. сб.*, 1976, с. 119—135).

[10] В это время Толстой намеревался построить винокуренный завод вместе со своим соседом, помещиком А. Н. Бибиковым, владельцем имения Телятинки. В мае 1863 г. небольшой завод был пущен в ход, но просуществовал не более полутора лет.

[11] В письме к сестре от 13 февраля 1863 г. С. А. Толстая писала: «Мы совсем делаемся помещиками: скотину закупаем, птицу, поросят, телят. Приедешь — все покажу. Пчел покупаем у Исленьевых. Меду — ешь, не хочу» (*Ясн. сб.*, 1976, с. 158).

[12] Личность *В. В.* установить не удалось.

[13] А. И. Банникова, горничная С. А. Толстой.

[14] В Ясную Поляну приехали Т. А. и А. А. Берсы, А. М. Кузминский и А. Л. Шостак.

[15] С. А. и Л. Н. Толстых беспокоило увлечение Т. А. Берс А. Л. Шостаком, с которым она познакомилась в Петербурге весной 1863 г. Толстые нашли предлог и удалили молодого человека из Ясной Поляны (см.: *Кузминская*, с. 205—213).

[16] А. А. Берс и А. М. Кузминский.

[17] 28 июня 1863 г. у Толстых родился сын Сергей. «Страдания продолжались весь день, они были ужасны, — вспоминала С. А. Толстая. — Левочка все время был со мной, я видела, что ему было очень жаль меня, он так был ласков, слезы блестели в его глазах, он обтирал платком и одеколоном мой лоб... Я промучилась еще час и родила в 2 часа ночи 28-го июня своего первенца. Лев Николаевич громко рыдал, обняв мою голову и целуя меня» (*Моя жизнь*, кн. 2, с. 88, 89—90). Испытанное им состояние Толстой пытался описать в Дневнике 5 августа 1863 г., но запись осталась незаконченной (см.: *ПСС*, т. 48, с. 55—56). Отчасти оно

нашло отражение в описании родов Кити («Анна Каренина», ч. 7, гл. XV).

[18] 18 июня 1863 г. Толстой писал в Дневнике: «Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю... Я в запое хозяйства погубил невозвратимые 9 месяцев, которые могли бы быть лучшими, а которые я сделал чуть ли не из худших в жизни... Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с матерьяльными условиями — жена, дети, здоровье, богатство» (*ПСС*, т. 48, с. 54, 55).

[19] Перед родами к С. А. Толстой приехала ее мать Л. А. Берс. Тогда же приезжали Т. А. и А. А. Берсы.

[20] В связи с болезнью С. А. Толстой в дом взяли кормилицу, что вызвало недовольство Толстого.

[21] Вспоминая впоследствии это время, С. А. Толстая писала: «Он озлобился на меня, уходил из дому, целые дни оставляя меня одну, без помощи, все его сердило» (*Моя жизнь*, кн. 2, с. 93), а Толстой с раздражением писал в Дневнике, что характер жены «портится с каждым днем» (*ПСС*, т. 48, с. 56; см. также с. 54). Только спустя два месяца он, успокоенный и счастливый, увлеченный работой над романом, записал: «*6 октября.* Все это прошло и все неправда. Я ею счастлив». И здесь же: «Выбирать незачем. Выбор давно сделан. Литература — искусство, педагогика и семья» (*ПСС*, т. 48, с. 57).

[22] Так в доме Берсов называли Л. Н. Толстого до его женитьбы.

[23] В семье Берсов предполагали, что Толстой женится на старшей дочери — Е. А. Берс. См. Приложение: «Женитьба Л. Н. Толстого».

[24] Толстой ревновал жену к А. А. Эрленвейну, учителю школы, организованной Толстым в деревне Бабурино. 18 июня 1863 г. он записал в Дневнике: «Нынче ее видимое удовольствие болтать и обратить на себя внимание Эрленвейна и безумная ночь вдруг подняли меня на старую высоту правды и силы. Стоит это прочесть и сказать: да, знаю — ревность...» (*ПСС*, т. 48, с. 54).

[25] Наталья Казакова — кормилица сына Толстых Сергея.

[26] Намерение Толстого пойти на войну (в то время еще не была кончена война за покорение Кавказа) известно только из этого упоминания. По-видимому, Толстой больше к этому не возвращался.

[27] В. П. Толстой, муж М. Н. Толстой.

[28] Ср. запись в Дневнике Толстого 3 марта 1863 г.: «Нынче ей скучно, тесно. Безумный ищет бури — молодой, а не безумный. А я боюсь этого настроения больше всего на свете» (*ПСС*, т. 48,

с. 52). Эти же настроения присутствуют в записях в дневнике С. А. Толстой 19 и 24 декабря 1863 г.

[29] *Alexandrine* — двоюродная тетка Л. Н. Толстого А. А. Толстая. Толстой познакомился с ней в 1853 г.; их дружеская переписка, продолжавшаяся 47 лет, представляет исключительный интерес по разнообразию ее содержания и той откровенности, с какой Толстой раскрывал перед А. А. Толстой свои взгляды, творческие замыслы, душевные волнения. Толстой сам называл ее своей лучшей автобиографией. Перечитывая копии этих писем в последний год своей жизни, Толстой говорил: «Когда я оглядываюсь на свою долгую, темную жизнь, воспоминание об Alexandrine — всегда светлая полоса» («Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». СПб., изд. Толстовского музея, 1911, с. VI).

[30] В письме, начатом 17 октября 1863 г., Толстой писал А. А. Толстой: «У меня лежит начатое на 4-х страницах письмо к вам, но я его не пошлю» (*ПСС*, т. 61, с. 23). Письмо неизвестно, очевидно, в нем Толстой откровенно писал о своей семейной жизни, поэтому его содержание так взволновало С. А. Толстую. В отправленном же письме (от 17...31 октября 1863 г.) он писал: «Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтоб все шло по-прежнему» (там же, с. 24).

[31] Очевидно, имеется в виду один из набросков начала «Войны и мира».

[32] Речь идет о романе между Т. А. Берс и С. Н. Толстым, продолжавшемся с лета 1863 по июнь 1865 г. См.: *Кузминская*, с. 218—230; 299—304; 351—366.

[33] С. Н. Толстой приезжал в Ясную Поляну из своего имения Пирогово; в 1863 г. ему было 37 лет.

[34] К началу романа С. Н. Толстого с Т. А. Берс М. М. Шишкина 15 лет была его гражданской женой, и у них было несколько детей.

1864

(Стр. 65—67)

[1] *Бабушка* — так Толстой шутя называл А. А. Толстую, хотя она была старше его только на 11 лет. Симпатии их были взаимны. В 1857 г. Толстой пережил искреннее увлечение ею, о чем говорят дневниковые записи от 11 мая и 22 октября 1857 г.: «Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели бы Александрин была 10-ю годами моложе. Славная натура» и: «Прелесть Александрин, отрада, утешенье. И не видал я ни одной женщины, доходящей ей до колена» (*ПСС*, т. 47, с. 127 и 160).

[2] С. А. Толстая имеет в виду свою младшую сестру Т. А. Берс, которой в октябре 1863 г. исполнилось 17 лет, и девятимесячного сына Сергея.

[3] Настроение С. А. Толстой было вызвано отъездом Толстого в Никольское-Вяземское с заездом к С. Н. Толстому в Пирогово.

[4] 4 октября 1864 г. у Толстых родилась дочь Татьяна.

[5] 26 сентября 1864 г. на охоте Толстой упал с лошади и вывихнул правую руку. Тульские врачи вправили руку, но неудачно, поэтому 21 ноября Толстой уехал в Москву на консультацию с врачами, и там 28 ноября ему произвели новую операцию.

1865

(Стр. 68—76)

[1] Е. Н. Банникова, в замужестве Орехова, горничная у Толстых.

[2] А. А. Базыкина (см. коммент. 13 к *Дн.* 1862 г.).

[3] Т. А. Ергольская гостила у М. Н. Толстой в Пирогове.

[4] Письмо от 8 марта 1865 г. (*ГМТ*; упоминается — *ПСС,* т. 61, с. 76).

[5] По признанию С. А. Толстой, она «Машеньку недолюбливала» (см. письмо Толстых к Т. А. Берс от 24 марта 1865 г. — *ПСС*, т. 61, с. 77—78).

[6] *Зефиротами* в семье Толстых называли дочерей М. Н. Толстой — Варю и Лизу, подолгу гостивших в Ясной Поляне в 1864—1866 гг. О происхождении этого прозвища см.: *ПСС*, т. 83, с. 39.

[7] 15 марта 1865 г. у С. Н. Толстого скончался сын Николай (р. в 1863 г.); Толстой ездил на похороны.

[8] Повесть Толстого «Казаки» была напечатана в *РВ*, 1863, № 1. С. А. Толстая читала, вероятно, статью Е. Маркова «Народные типы в нашей литературе» («Отечественные записки», 1865, № 1—2) или статью Д. И. Писарева «Прогулка по садам российской словесности» (*Р. сл.*, 1865, № 3). «Критика Маркова — плохо», — записал Толстой в Дневнике в этот день (*ПСС*, т. 48, с. 61).

[9] Первая часть «Войны и мира» под заглавием «1805 год» была напечатана в *РВ*, 1865, № 1—2. Вторая часть была закончена лишь к ноябрю того же года.

[10] Очевидно, С. А. Толстая читала записи в Дневнике Толстого 17—25 марта 1865 г. о воспоминаниях наполеоновского маршала Огюста Фредерика Луи де Мармона (см.: *ПСС*, т. 48, с. 60—62): «Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse, de 1792 à 1832»,

t. I—IX, Paris, 1856—1857 (*ЯПб*). Это издание послужило Толстому одним из источников для «Войны и мира» (см.: *ПСС*, т. 16, с. 69 и 145).

[11] Свадьба была назначена на 29 июня. См. далее коммент. 13.

[12] С. Н. Толстой уехал в Пирогово с сыном Гришей и его воспитателем Г. Ф. Келлером.

[13] С. Н. Толстой внезапно прекратил свои посещения Ясной Поляны, а Толстому он написал, что не может покинуть М. М. Шишкину и детей: «Я все эти несчастные десять дней лгал, думая, что говорил правду, но теперь, когда я вижу, что надо окончательно кончить с Машей, я вижу, что мне это совершенно невозможно» (*ГМТ*). Узнав об этом, Т. А. Берс сама отказала ему. Сообщая об этом родителям, она писала: «Не удивляйтесь и не горюйте об этом, иначе я сделать не могла, у меня бы всегда это было на совести, а теперь, может быть, все будет к лучшему» (цит. по кн.: *Кузминская*, с. 354—355). Толстой назвал это письмо «чу́дным», а ее поступок «великодушным» и «высоким» (*ПСС*, т. 61, с. 87).

[14] Толстой разделял чувства С. А. Толстой к брату. Он писал ему: «Не могу не уделить хоть малую часть того ада, в который ты поставил не только Таню, но целое семейство, включая и меня» (*ПСС*, т. 61, с. 86).

[15] М. Н. Толстая с Варей и Лизой.

[16] М. А. Арбузова.

[17] Т. А. Ергольская.

1866

(Стр. 76—80)

[1] Толстые приехали в Москву 21 января 1866 г. С. А. Толстая хотела «показать своих детей своим родным», а Толстой «оживить в себе воспоминания о свете и о людях» (см. его письмо к А. А. Толстой. — *ПСС*, т. 61, с. 128). Первое время они жили у Берсов, а 3 февраля поселились в отдельной квартире на Б. Дмитровке в доме Хлудова (ныне Пушкинская ул., д. 7), где прожили до 6 марта.

[2] Очевидно, С. А. Толстая имеет в виду М. А. Поливанова, с которым она встретилась в этот приезд в Москву. «Боже мой, какую сцену мне сделал Лев Николаевич, — писала она позднее, — за мое будто бы бестактное отношение к этому человеку. А я просто была не натуральна, мне неловко было с ним, и я без ума боялась ревности Льва Николаевича» (*Моя жизнь*, кн. 2, с. 200—201).

[3] В этот приезд Толстой много занимался в библиотеках, посещал Училище живописи, ваяния и зодчества, где брал уроки скульптуры у Н. А. Рамазанова.

[4] П. А. Берс.

[5] «Летом этого же 1866 года, — вспоминала С. А. Толстая, — Лев Николаевич взял в управляющие какого-то разорившегося молодого дворянина, из кадет. У него была хорошенькая, бойкая жена, стриженая нигилистка, любившая много говорить и умствовать. Не помню их фамилии; звали ее Мария Ивановна» (*Моя жизнь*, кн. 2, с. 211—212).

[6] Толстой принял участие в судьбе солдата Василия Шибунина, который дал пощечину ротному командиру за жестокое обращение с ним и был предан военно-полевому суду. Он выступал защитником на суде и через А. А. Толстую ходатайствовал перед Александром II о помиловании Шибунина. Хлопоты не увенчались успехом, и 9 августа 1866 г. Шибунин был казнен.

В 1908 г. по просьбе П. И. Бирюкова, писавшего биографию Толстого, Л. Н. Толстой написал воспоминания о суде над солдатом в виде письма к Бирюкову (*ПСС*, т. 37, с. 67—75). Письмо начиналось признанием Толстого, что этот случай имел на всю его жизнь «гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни».

[7] Констанция Львовна, дочь акушерки С. А. Толстой М. И. Абрамович.

[8] Флигель, где с 1859 по 1865 г. была школа; впоследствии был назван «домом Кузминских».

[9] Толстой пробыл в Москве с 10 по 18 ноября. В письмах к С. А. Толстой из Москвы он подробно описывал все свои занятия: чтение масонских рукописей в Румянцевском музее, переговоры с художником М. С. Башиловым об иллюстрациях к «Войне и миру» и с типографией Каткова — об отдельном издании «1805 года»; писал он и о посещениях гимнастического заведения Пуаре (см.: *ПСС*, т. 83, с. 114—131).

[10] Зимой 1866/67 г. Т. А. Берс была тяжело больна (предполагали чахотку). Поездка Т. А. Берс за границу задержалась из-за смерти жены Дьякова. За границу она выехала вместе с семьей Д. А. Дьякова в апреле 1867 г.

[11] 17 сентября — день именин С. А. Толстой. Толстой сюрпризом пригласил военный оркестр из Ясенок, где стоял полк, и устроил танцевальный вечер; у Толстых был в этот день командир полка П. А. Юноша и офицеры (см.: *Кузминская*, с. 411—413).

[12] Бóльшая часть рукописей «Войны и мира» переписана С. А. Толстой.

1867

(Стр. 80—83)

[1] 12 ноября 1866 г. в Ясную Поляну приехала гувернантка для детей англичанка Ханна Терсей. Первоначальная неловкость была вызвана, как писала С. А. Толстая мужу в Москву, «обоюдным незнанием языков» (см.: *ПСТ*, с. 67). Вскоре гувернантку полюбили все, а ее воспитанница Т. Л. Толстая писала спустя много лет о своей привязанности к ней, сохранившейся на всю жизнь (см.: *Т. Л. Сухотина*, с. 43).

[2] В письме к М. С. Башилову от 8 января 1867 г. Толстой сообщал: «Мое дело хорошо и довольно быстро подвигается вперед — так быстро, что у меня кончены (начерно) 3 части (одна напечатана, та, к которой вы делаете картинки, и две в рукописи) и начата 4-я и последняя. Ежели какое-нибудь неожиданное несчастье не помешает мне, то я буду готов к осени со всем романом» (*ПСС*, т. 61, с. 155). Роман не был закончен к осени 1867 г. — переработка первой черновой редакции потребовала от Толстого еще почти трех лет напряженного труда.

[3] См. коммент. 11 к *Дн.* 1866 г.

1870

(Стр. 83)

[1] Л. Л. Толстой родился 20 мая 1869 г. в Ясной Поляне. В семье Толстых его называли Лелей или Левой.

1871

(Стр. 84)

[1] Муж Т. А. Кузминской А. М. Кузминский был назначен прокурором в Кутаиси. С. А. Толстая тяжело переживала отъезд сестры.

[2] 9 июня 1871 г. Толстой уехал в Москву, а оттуда (в сопровождении С. А. Берса) 11 июня — в Самарскую губернию, в деревню Каралык близ Бузулука. Здесь он прожил шесть недель и 2 августа вернулся в Ясную Поляну. О пребывании Толстого в Самарской губернии см.: С. А. Берс. Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом. Смоленск, 1893, с. 52—57.

1872

(Стр. 85—86)

[1] В Москву Толстой выехал 28 марта. Московская жизнь вызвала в нем такое «отвращение ко всей этой праздности, роскоши, к нечестно приобретенным и мужчинами и женщинами средствам», что он решил «никогда не ездить в Москву» (см. письмо к А. А. Толстой от 31 марта 1872 г. — *ПСС*, т. 61, с. 281).

[2] М. Н. Банников, объездчик.

[3] Корректуры отправлялись в Москву, в типографию Ф. Ф. Риса, куда в конце декабря 1871 г. «Азбука» была сдана для печатания.

[4] Толстой в письме к А. А. Толстой признавался, что ему надо «жить в 10 лицах по 100 лет», чтобы сделать то, что «необходимо», и что «Азбука одна может дать работы на 100 лет» (*ПСС*, т. 61, с. 283).

[5] Н. М. Нагорнов, с лета 1872 г. — муж старшей дочери М. Н. Толстой.

[6] Единственное упоминание об этой поездке Толстого.

[7] М. Л. Толстая, годовалая дочь Толстых.

[8] С. А. Берс.

[9] Письмо Толстого (оно не сохранилось) было адресовано его поверенному в Москве, через посредство которого он отобрал оригинал «Азбуки» у Ф. Ф. Риса и «прекратил печатание» (см. письмо к Н. Н. Страхову от 27 мая 1872 г. — *ПСС*, т. 61, с. 289). «Азбуку» решено было печатать в Петербурге. Взять на себя заботу об ее издании Толстой просил Страхова (см.: там же, с. 287—290). «Азбука» была напечатана в типографии Замысловского и вышла в свет в начале ноября 1872 г.

[10] Письмо не сохранилось. В *ДСТ*, I, с. 104, эта фраза ошибочно была прочитана как: «Сегодня писал Ливену и Саше», что дало основание упомянуть в *ПСС* (т. 61, с. 384) о двух несохранившихся письмах: к издателю Ливену и А. А. Берсу.

1873

(Стр. 87—88)

[1] Толстой поехал в Москву для переговоров с типографией М. Н. Каткова о печатании 3-го издания Собрания своих сочинений. 16 или 17 февраля он вернулся в Ясную Поляну. «Сочинения Л. Н. Толстого» в 8 частях, изд. 3-е, вышли из печати в ноябре 1873 г.

[2] П. Л. Толстой родился 13 июня 1872 г.

[3] Ф. Ф. Кауфман, воспитатель сыновей Толстого. Вспоминая о нем, С. Л. Толстой писал: «Это был малообразованный, но порядочный и добродушный человек лет тридцати пяти» (*С. Л. Толстой*, с. 35).

[4] 11 февраля к Толстым приехала гувернантка Эмили Табор.

[5] «Его задушило горло, — писал Толстой С. Н. Толстому 10 ноября,— то, что они называют круп» (*ПСС*, т. 62, с. 52). Это была первая смерть в семье Толстых за 11 лет, и все очень тяжело переживали ее. Толстой писал А. М. Кузминскому, что он чувствует «пустоту в доме» (там же, с. 56).

1875

(Стр. 88—89)

[1] П. И. Юшкова.

[2] Толстой в письмах к А. А. Фету и Н. Н. Страхову, написанных 26 октября 1875 г., объяснял свое состояние собственным нездоровьем, «нездоровьем домашних» и тем, что он «кидался от одной работы к другой, но ничего почти не сделал» (*ПСС*, т. 62, с. 208, 210). Позднее в «Исповеди» Толстой писал: «На меня стали находить сначала минуты отчаяния, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать» (*ПСС*, т. 23, с. 494). Эти настроения Толстого связаны с его религиозными исканиями конца 1870-х гг. (см. коммент. 34 к Приложению: «Мои записи разные для справок»).

1876

(Стр. 90—91)

[1] 3 сентября Толстой вместе с племянником Н. В. Толстым выехал из Ясной Поляны. 7 сентября они прибыли в Самару, и в тот же день по железной дороге Толстой поехал в Оренбург, чтобы купить лошадей для предполагаемого конного завода. В телеграмме из Оренбурга от 12 сентября Толстой сообщал, что он здоров и что ему «очень интересно» (*ПСС*, т. 83, с. 231).

[2] С. А. Берс.

[3] 24 октября 1876 г. С. А. Толстая начала писать биографию Толстого. Работа продолжалась (с перерывами) до конца 1878 г. См. *Дн.* 27 февраля 1877 г. и за октябрь — ноябрь 1878 г. Черновые варианты опубликованы Е. С. Серебровской: «Три биографических очерка Толстого. Очерки, составленные Софьей Андреевной со слов Толстого и им выправленные» (*ЛН*, т. 69, кн. 1, с. 497—516). См. коммент. 37 к *Дн.* 1878 г.

[4] Летом 1876 г. И. М. Нагорнов гостил в Ясной Поляне.

[5] Телеграмма от 17 сентября (*ПСС*, т. 83, с. 231). 20 сентября Толстой вернулся в Ясную Поляну. Поездка его была «очень хороша», «очень интересна», как по приезде он писал Страхову и Фету (*ПСС*, т. 62, с. 286, 287).

[6] И. Л. Толстой вспоминал о гувернере Жюле Ре, как о «грубом и тупом» человеке (*И. Л. Толстой*, с. 66).

1877

(Стр. 92)

[1] См. *Дн.* 17 сентября 1876 г. и коммент. 3.

[2] В *РВ*, № 2 за 1877 г. печатались гл. XIII—XXIX шестой части «Анны Карениной».

[3] 25 февраля 1877 г. С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Левочка ходил на лыжах и... упал и ударился головой о дерево, и удар был настолько силен, что он ошалел, и была шишка на одном месте и шрам на другом. С тех пор у него все болит голова и приливы очень сильные, и меня очень беспокоит его состояние. Может быть, это и не от ушиба, а от усиленного писанья и даже просто нервно, но я его упросила ехать к Захарьину, и он поехал и обещал серьезно заняться своим здоровьем» (*ГМТ*).

1878

(Стр. 92—107)

[1] Н. В. Толстой приезжал со своей невестой Н. Ф. Громовой.

[2] В это время Толстой очень аккуратно исполнял все церковные обряды.

[3] *Анни* — гувернантка Анна Филлипс.

[4] *Л. Д. Урусов* — старый знакомый семьи Толстых; в 1876—1885 гг. — тульский вице-губернатор. «Урусов опять стал нашим частым посетителем, — писала С. А. Толстая Т. А. Кузминской 3 октября 1878 г., — и Левочка ему всегда рад. Они вместе охотились в воскресенье, вместе играли в шахматы, и разговоры целый день самые интересные» (*ГМТ*).

[5] O. F e u i l l e t. Le Journal d'une femme. Paris, 1878. Толстой считал Фелье «огромным талантом» (см.: *ПСС*, т. 48, с. 21).

[6] А. Г. Мичурин, учитель музыки.

[7] В. И. Алексеев.

[8] Десятилетняя приемная дочь В. И. Алексеева Лиза Маликова.

[9] Этот вариант «Декабристов» начинается словами: «1824 года января 23 было назначено к слушанию в Департаменте духовных

и гражданских дел Государственного совета и в общем собрании...» (опубл.: *ПСС*, т. 17, с. 288—291).

[10] Осенью 1871 г. Толстой купил у Н. П. Тучкова 2500 десятин земли в Бузулукском уезде Самарской губ. В апреле 1878 г. он присоединил к ним еще соседний участок в 4022 десятин, купленный у Р. Г. Бистрома. А. А. Бибиков был управляющим имений Толстого с 1878 по 1884 г.

[11] A. Dumas. Les trois Mousquetaires. Nouvelle Edition. Paris, 1875 (*ЯПб*). С. Л. Толстой вспоминал: «По вечерам отец иногда читал нам по-французски «Три мушкетера» Александра Дюма, пропуская неподходящие для детей места. Мы с жадностью слушали его» (*С. Л. Толстой*, с. 53).

[12] Толстой писал Н. Н. Страхову 27 октября 1878 г.: «У нас все хорошо. Мы с женой очень дружны, как всегда, когда у нас пойдет настоящая жизнь...» (*ПСС*, т. 62, с. 445).

[13] Работа продолжалась до конца ноября. См. коммент. 37.

[14] В *ЯПб* сохранились книги: М. Ю. Лермонтов. Демон. Ангел. Русалка и др. Портрет. Биография. Белинский о поэзии Лермонтова. «Русская библиотека», II. СПб., 1874, и А. С. Пушкин. Сочинения. С приложением материалов для его биографии. Т. 1. СПб., изд. П. В. Анненкова, 1855.

[15] Вероятно, книга: П. Кулиш. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых, и из его собственных писем, 2 тома, СПб., 1856, или его же: Опыт биографии Н. В. Гоголя со включением до сорока его писем. СПб., 1854.

[16] V. Cherbuliez. L'idée de Jean Têterol. Paris, 1878. Толстой с похвалой отзывался о произведениях В. Шербюлье (см.: *ПСС*, т. 62, с. 18).

[17] Эта и последующие записи за 21—24, 27 и 29 октября 1878 г. относятся к работе над «Декабристами». 31 октября Толстой написал новое начало — см. запись 1 ноября.

[18] *Левашники* — особое пирожное, которое делал в Ясной Поляне повар Н. М. Румянцев. См.: *И. Л. Толстой*, с. 49.

[19] L. Tolstoy. The Cossacks: a tale of the Caucasus in 1852. Translated from the Russian by Eugene Schuyler. London, 1878 (*ЯПб*). Толстой писал И. С. Тургеневу об этом издании: «...очень хорошо переведено» (*ПСС*, т. 62, с. 446).

[20] В письме к А. А. Фету от 27 октября 1878 г. Толстой писал о А. А. Навроцком: «Он, кажется, очень порядочный человек, но в голове у него, разумеется, полный, т. е. обычный, сумбур» (*ПСС*, т. 62, с. 450).

[21] *Колпик* — имя лошади. В «Анне Карениной» у Левина Колпик «маленькая, буланая и добрая» лошадка (ч. 2, гл. XIII).

[22] См.: *ПСС*, т. 62, с. 445—447, с окончательной датой 27 октября.

[23] Ch. Dickens. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, his relatives, friends and enemies. In two volumes. Leipzig, 1844 (*ЯПб*).

[24] Ср. письмо Толстого к А. А. Толстой о детях от 26 октября 1872 г. (*ПСС*, т. 61, с. 332—335).

[25] См. коммент. 37.

[26] П. Н. Крюкова, дочь повара Н. М. Румянцева.

[27] Новое начало «Декабристов» сохранилось в двух редакциях (*ПСС*, т. 17, с. 291—297 — вариант № 21, и вторая редакция — там же, с. 47—55). В обеих редакциях упоминается будущий декабрист Захар Григорьевич Чернышев.

[28] М. Д. Дьякова.

[29] A. Theuriet. La Maison des deux Barbeaux.— «Revue des Deux Mondes», 15 avril et 1 mai 1878 г. В письме к Л. П. Никифорову от 20—21 июля 1890 г. Толстой рекомендовал Терье среди других авторов, произведения которых «годятся... для «Посредника» (*ПСС*, т. 65, с. 130).

[30] Ch. Dickens. Dealings with the firm Dombey and Son; wholesale, retail and for exportation. In three volumes. Vol. I. Leipzig, 1847 (*ЯПб*).

[31] F. Fabre. Le Roman d'un peintre.— «Revue des Deux Mondes», 1 et 15 juin, 1 juillet 1878 г.

[32] *Акулька* — внучка М. А. Арбузовой. *Дядя Сергей* — С. П. Арбузов.

[33] Водевиль В. А. Соллогуба «Мастерская русского живописца». — В. А. Соллогуб. Сочинения, т. IV. М., 1856, с. 123—171.

[34] Д. Д. Оболенский во время русско-турецкой войны разорился на постройке сахарных заводов, в 1878 г. был предан суду за растрату, оправдан, но объявлен несостоятельным должником. Дело это тянулось несколько лет.

[35] «По Московско-Курской ж. д. проезжал Александр II. Из опасения покушения на него по железной дороге пускались три одинаковых царских поезда; в котором из них ехал царь — было неизвестно» (*ДСТ*, I, с. 198).

[36] *Григорий* — буфетчик, временно служивший в Ясной Поляне, фамилия не установлена.

[37] Толстой также считал, что в таком виде биографический очерк С. А. Толстой не годится, хотя и назвал его «превосходным» (см. письмо к Н. Н. Страхову от 23 ноября 1878 г. — *ПСС*, т. 62, с. 454). Очерк был сокращен Толстым и 28 ноября отослан Страхову (см. там же, с. 455—457). Он был напечатан с присланными позднее добавлениями в серии «Русская библиотека», вып. IX. СПб., изд. М. М. Стасюлевича, 1879.

1879

(Стр. 107)

[1] Имеется в виду четвертое издание «Сочинений Л. Н. Толстого» в 11-ти томах, в изд. братьев Салаевых, 1880.

1882

(Стр. 108—109)

[1] В сентябре 1881 г. семья Толстых переехала в Москву в связи с поступлением в университет старшего сына. Квартиру сняли в доме Волконского в Денежном (ныне Малый Левшинский) переулке и прожили там зиму 1881/82 г.

[2] С. Л. Толстой поступил в университет на отделение естественных наук; Т. Л. Толстая была принята в Школу живописи, ваяния и зодчества. Сыновья Илья и Лев поступили в частную гимназию Л. И. Поливанова на Пречистенке (теперь улица Кропоткина).

[3] Толстому тяжела была жизнь в городе. 5 октября 1881 г. он записал в Дневнике: «Прошел месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву... Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют» (*ПСС*, т. 49, с. 58). О состоянии Толстого С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской 14 октября 1881 г.: «Левочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам à la lettre ⟨буквально⟩ плакал иногда, и я думала просто, что я с ума сойду» (*ГМТ*).

[4] Разногласия Толстого с семьей обострились при переезде Толстых в Москву. Толстой чувствовал себя одиноким в своих духовных исканиях. О своем состоянии он писал Н. Н. Страхову в марте 1882 г.: «Я устал ужасно и ослабел. Целая зима прошла праздно. То, что, по-моему, нужнее всего людям, то оказывается никому не нужным. Хочется умереть иногда» (*ПСС*, т. 63, с. 94). Такой же одинокой чувствовала себя и С. А. Толстая, привыкшая к душевному единению с мужем. «Ты мне не пишешь, что у тебя на душе и о чем ты думаешь, и что тебе хорошо и что дурно, что скучно и что радостно?» — упрекала она его в письме от 17 сентября 1882 г. (*ПСТ*, с. 202). Т. А. Кузминской она писала, что Толстой — «человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди», а она — «толпа, живет с теченьем толпы», и что она, видя свет, который несет Толстой, не может «идти скорее», так как ее «давит толпа, и среда, и привычки» (письмо от 30 января 1883 г., *ГМТ*).

[5] 10-месячный ребенок Толстых.

[6] Муж Т. А. Кузминской А. М. Кузминский в это время был председателем Петербургского окружного суда.

[7] Толстой ездил в Москву по делам ремонта и перестройки дома, купленного им летом 1882 г. у И. А. Арнаутова в Долго-Хамовническом переулке (ныне ул. Льва Толстого). 8 октября в Москву переехала вся семья и зимами жила там до 1901 г.

1883

(Стр. 109—110)

[1] С конца 1882 г. до января 1884 г. Толстой работал над трактатом «В чем моя вера?» (*ПСС*, т. 23). Первое издание (1884) было арестовано и запрещено; впервые напечатано в России только после первой русской революции, в 1906 г. (в журнале «Всемирный вестник», № 2, и в отдельных изданиях «Всемирного вестника» и «Посредника»).

1885

(Стр. 110)

[1] Толстой и Л. Д. Урусов в течение двух недель (с 11 марта 1885 г.) путешествовали по Крымскому побережью (см. письма Толстого к С. А. Толстой за март 1885 г. — *ПСС*, т. 83, с. 492—502).

[2] В Севастополе Толстой был во время Крымской войны с 7 ноября 1854 г. до середины ноября 1855 г.

1886

(Стр. 110—114)

[1] В начале августа 1886 г. Толстой ушиб ногу во время работ в поле, началось воспаление надкостницы, продолжавшееся до октября. «Я теперь хожу свободно, только прихрамывая»,— сообщал он Н. Н. Ге в начале ноября (*ПСС*, т. 63, с. 403).

[2] С. Л. Толстой писал по поводу этой записи: «Неопределенность требований Льва Николаевича по отношению к Софье Андреевне была одна из причин разлада между ними. Л. Н. требовал упрощения жизни, но не указывал на предел этого упрощения и редко давал конкретные советы. Вопросы о том, где и на что жить всей его семье, что делать с имениями, чему учить детей и т. п., оставались вопросами» (*ДСТ*, I, с. 200).

[3] К. Н. Зябрев, беднейший крестьянин Ясной Поляны.

[4] Нищенствующая крестьянка Ясной Поляны.

[5] А. П. Иванов, переписчик у Толстого, страдавший запоями.

[6] В октябре — ноябре 1886 г. Толстой писал драму «Власть тьмы» по сюжету, рассказанному ему Н. В. Давыдовым. Эта ра-

бота «очень занимала» Толстого (см. его письмо к Н. Н. Ге. — *ПСС*, т. 63, с. 403). 25 ноября пьеса была сдана в набор; в течение декабря 1886 г. Толстой правил корректуры. Впервые пьеса была опубликована в издательстве «Посредник» в феврале 1887 г. под заглавием: «Власть тьмы, или Коготок увяз — всей птичке пропасть» (*ПСС*, т. 26).

[7] С. А. Толстая читала книгу: L. Diogène. La vie des plus illustrés philosophes de l'antiquité... Paris, 1841 (*ЯПб*, пометы Толстого).

[8] С. А. Толстая писала в «Моей жизни», что ее связывали с Урусовым «любовь к Льву Николаевичу и его интерес к религиозным работам», а отношение к ней Урусова «было рыцарски любезное, иногда немного восторженное. Никогда ни словом, ни жестом мы с ним не выразили друг другу ничего в смысле романа» (*Моя жизнь*, кн. 3, с. 552, 554).

[9] Сочинение Толстого «Исследование догматического богословия» (*ПСС*, т. 23), над которым он работал в течение 1879—1884 гг.; в России оно было запрещено; впервые напечатано в Женеве, в издании Элпидина (ч. 1 — 1891, ч. 2 — 1896) под заглавием «Критика догматического богословия».

[10] В это время И. Л. Толстой увлекся С. Н. Философовой, на которой он женился в феврале 1888 г. Толстой относился к этому браку «и с радостью и страхом вместе» (*ПСС*, т. 64, с. 117).

[11] См. коммент. 6 к *Дн.* 1887 г.

[12] *«Родник»* — ежемесячный, иллюстрированный журнал для детей. СПб., 1882—1894 (*ЯПб*).

[13] *Родные отголоски.* Сборник стихотворений русских поэтов. С рис. И. Панова, гравир. Паннемакером. Париж — СПб., изд. П. Полевого, 1875 (*ЯПб*).

[14] Крестьянка Ясной Поляны.

[15] Молодой учитель И. Б. Файнерман поселился в деревне Ясная Поляна летом 1885 г. И. Л. Толстой писал, что это был «искренний последователь отца, бескорыстный и убежденный идеалист. Он жил в деревне, работал для крестьян, не требуя за свой труд никакой платы, кроме самой простой, суровой пищи, и мечтал об учреждении христианской общины» (*И. Л. Толстой*, с. 196). Впоследствии, под псевдонимом Тенеромо, И. Б. Файнерман написал несколько книг о Толстом весьма недостоверного содержания.

[16] Письма Н. Н. Ге к М. Л. и Т. Л. Толстым, написанные в сентябре — октябре 1886 г. (см.: *ПТГ*, с. 75—78 и 80—81). Толстой писал Н. Н. Ге: «Вчера получили ваши письма, дорогой друг. Спасибо вам за то, что пишете моим девочкам...» (*ПСС*, т. 63, с. 399).

1887

(Стр. 114—124)

[1] 1 марта 1887 г. полиция арестовала пять студентов (Осипанов, Генералов, Андреюшкин, Канчер, Волохов), участников готовящегося покушения на Александра III. На другой день был арестован старший брат В. И. Ленина — Александр Ульянов и другие участники покушения. В апреле их судили, пять человек, в том числе А. И. Ульянова, приговорили к смертной казни и 8 мая 1887 г. казнили.

[2] 3 февраля 1887 г. А. А. Стахович писал С. А. Толстой, что он читает в Петербурге «Власть тьмы» с целью познакомить с ней большее число влиятельных лиц и тем оказать давление на цензуру. 27 января он читал пьесу в присутствии Александра III, тот нашел ее «чудной вещью» и рекомендовал к постановке на сцене императорских театров (см.: А. А. Стахович. Клочки воспоминаний («Власть тьмы», драма Л. Н. Толстого). — *ТЕ*, М., 1912, с. 27—47). Толстой писал Стаховичу: «Меня очень радует то участие, которое вы принимаете в деле пьесы, но к результатам совершенно, совершенно равнодушен» (*ПСС*, т. 64, с. 9).

[3] В начале ноября 1886 г. С. А. Толстая выехала к умирающей матери в Ялту; после смерти Л. А. Берс она вернулась в Москву.

[4] С конца 1886 до июня 1887 г. Толстой с перерывами работал над повестью «Ходите в свете, пока есть свет. (Повесть из времен древних христиан)» и вступлением к ней, озаглавленным «Беседа досужих людей» (*ПСС*, т. 26). Впервые была напечатана в 1892 г. М. К. Элпидиным в Женеве, в России — в 1893 г. в сборнике «Путь-дорога. Научно-литературный сборник в пользу общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам». СПб., изд. Сибирякова.

Толстой был недоволен этим своим произведением. «Мысли там добрые, — писал он Черткову, — но написано не художественно — холодно» (*ПСС*, т. 86, с. 49).

[5] Так первоначально назывался трактат Толстого «О жизни» (*ПСС*, т. 26). Началом работы послужило большое письмо Толстого к А. К. Дитерихс о жизни и смерти (см.: *ПСС*, т. 85, с. 392—396), написанное в конце сентября 1886 г. Работа продолжалась в течение всего 1887 г.

Толстой был увлечен работой. «Месяца полтора ни о чем другом не думаю ни днем, ни ночью», — писал он Черткову 2 апреля 1887 г. (*ПСС*, т. 86, с. 42). Отвечая на вопрос В. В. Майнова, какое из своих сочинений он считает более важным, он ответил 17 октября 1889 г.: «Не могу сказать, какое из двух: В чем моя вера? или О жизни» (*ПСС*, т. 64, с. 317). Отдельное издание книги

1888 г. было запрещено и уничтожено цензурой. Впервые книга появилась в издании М. К. Элпидина в Женеве, в 1891 г.

[6] Имеется в виду шестое издание «Сочинений Л. Н. Толстого». Части I—XII. М., наследники бр. Салаевых, 1886, вышедшее вслед за пятым изданием того же года.

[7] С. Л. Толстой в то время служил членом Тульского отделения Крестьянского банка от земства.

[8] Письмо В. Г. Черткова к Толстому от 18—20 февраля 1887 г. (*ПСС*, т. 86, с. 33).

[9] С. А. Толстая имеет в виду книгоиздательство «Посредник», основанное Толстым вместе с В. Г. Чертковым и П. И. Бирюковым в 1884 г. с целью печатать художественную и научно-популярную литературу для народного чтения. По вопросам, связанным с распространением произведений Толстого, изданных «Посредником», Чертков писал Толстому 25 февраля 1887 г. (*ПСС*, т. 86, с. 36—37).

[10] 14 марта 1887 г. на заседании Московского психологического общества в университете Толстой читал реферат «Понятие жизни» — краткое изложение его книги «О жизни». В нем он подверг критике господствующую религию и мораль и обосновал свое новое миропонимание (см.: *ПСС*, т. 26, с. 753—754). Реферат Толстого был опубликован в газете *Р. вед.*, 1887, № 78, 21 марта.

[11] С. Л. Толстой писал в своих воспоминаниях: «Вегетарианцем он стал особенно после своего знакомства с позитивистом и вегетарианцем Вильямом Фрейем, посетившим его осенью 1885 года. Тогда же мои сестры, Таня и Маша, также перешли на «безубойное питание». Моя мать считала, что вегетарианство вредно, в чем была неправа: отцу при его заболеваниях печени оно было несомненно полезно. А сестрам — не вредно» (*С. Л. Толстой*, с. 145).

[12] Вероятно, это «Сочинения графа Л. Н. Толстого», части I—XI и отдельно ч. XII, М., 1886, издание шестое.

[13] В «Московских ведомостях» № 270 от 12 декабря 1869 г. объявлялось: «Продается «Война и мир». Соч. гр. Л. Н. Толстого, 2-е изд. М., 1868—1869 гг. Цена за все шесть томов 10 руб. серебром и с пересылкою».

[14] В письме от 18—20 февраля 1887 г. В. Г. Чертков писал Толстому: «Не знаю, как благодарить бога за все то благо, какое я получаю от этого единения с женой. При этом я всегда вспоминаю тех, кто лишен возможности такого духовного общения с женами, и которые, как казалось бы, гораздо, гораздо более меня заслуживают этого счастья» (см.: *ПСС*, т. 86, с. 33).

[15] И. Л. Толстой отбывал воинскую повинность вольноопределяющимся в Сумском драгунском полку, стоявшем в Хамовнических казармах.

[16] См. коммент. 10. Н. Н. Ге — сын художника Ге — жил в это время во флигеле Хамовнического дома Толстых и помогал С. А. Толстой в издании сочинений Толстого.

[17] В конце 1886 г. актриса Александринского театра М. Г. Савина обратилась к Толстому с просьбой разрешить поставить в ее бенефис драму «Власть тьмы». Получив разрешение, Савина в начале 1887 г. приезжала к Толстому в Москву для получения от него указаний по поводу сценического воплощения драмы. В феврале 1887 г. в Александринском театре началась подготовка к постановке пьесы. В письме к С. А. Толстой от 12 марта 1887 г. А. А. Потехин (с 1882 г. — управляющий драматическими труппами Александринского театра в Петербурге и Малого театра в Москве) сообщал, что «для изучения типа и подробностей крестьянских построек и всей обстановки, равно как и для приобретения характерных местных костюмов для всех действующих в пьесе лиц, были командированы в Тульскую губернию, именно в ту местность, где находится Ясная Поляна, два специалиста» (*ГМТ*). Очевидно, упоминаемое С. А. Толстой лицо — один из этих специалистов. Другими сведениями о них мы не располагаем.

[18] Вначале Александр III разрешил пьесу к постановке, но К. П. Победоносцев написал царю письмо с резким отзывом о пьесе и добился отмены разрешения. После 17 репетиций, 22 марта 1887 г., М. Г. Савина сообщила А. А. Стаховичу, что «назначенная на сегодня генеральная репетиция не состоялась и «Власть тьмы» отложена на неопределенный срок» (см.: «К истории запрещения постановки «Власти тьмы». Письма к А. А. Стаховичу». — *Летописи*, кн. 2. М., 1938, с. 266—267). В тот же день А. А. Потехин сообщил об этом С. А. Толстой (письмо от 22 марта, *ГМТ*), а 31 марта написал самому Толстому (см.: *Толстой. Переписка*, с. 508—509). Лишь 18 октября 1895 г. пьеса «Власть тьмы» впервые была поставлена на сцене Александринского театра с Савиной в роли Акулины.

[19] Григорий — слуга в доме Толстых.

[20] См. коммент. 12.

[21] С. А. Толстая вспоминает письмо Толстого к М. А. Энгельгардту (декабрь 1882 г. — январь 1883 г.), в котором Толстой писал: «Вы, верно, не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми окружающими меня» (*ПСС*, т. 63, с. 112). 21 марта 1909 г. С. А. Толстая признавалась, что она «ужасно оскорбилась этим письмом» (*Гусев*, с. 244).

[22] Очевидно, С. А. Толстая увидела письмо Толстого к Н. Л. Озмидову от 12 июня 1887 г. (*ПСС*, т. 64, с. 51—53). Подробно об Озмидове см.: *ПСС*, т. 63, с. 310—311.

[23] «Темными» С. А. Толстая называла единомышленников Толстого.

[24] Фамилию установить не удалось.

[25] Американский путешественник и писатель Джордж Кеннан посетил Толстого 17 июня 1886 г.; он рассказывал о жизни политических ссыльных в Сибири и беседовал с Толстым об учении непротивления злу насилием. Его воспоминания были опубл.: G. Kennan. A visit to Count Tolstoi.— «The Century», New York, 1887, № 34.

[26] Сумской драгунский полк в это время находился в селе Владыкино под Москвой.

[27] С. А. Толстая имеет в виду книгу В. М. Флоринского «Домашняя медицина. Лечебник для народного употребления», с 1881 по 1892 г. имела пять изданий.

[28] Драматический актер В. Н. Андреев-Бурлак посетил Толстого 20 июня 1887 г.; о его рассказе, послужившем толчком к написанию «Крейцеровой сонаты», см. *Дн.* 28 декабря 1890 г.

[29] С И. Ф. Горбуновым, известным актером, рассказчиком и писателем, Толстой был знаком с 1850-х гг. 13 и 28 марта 1886 г. Горбунов был у Толстых в Хамовниках и «много рассказывал» (см.: И. Ф. Горбунов. Сочинения, т. III. СПб., 1907, с. 460).

[30] Н. Страхов. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887 (*ЯПб*, с дарственной надписью). Толстой книгу одобрил (см. его письмо к Н. Н. Страхову от 3 марта 1887 г. — *ПСС*, т. 64, с. 23).

[31] Н. Н. Страхов гостил в Ясной Поляне с 26 июня по 2 июля.

[32] Трактат «О жизни»; см. коммент. 5.

[33] С. Л. Толстой ездил в самарские имения Толстого с целью привести в порядок дела по управлению имением (см.: *С. Л. Толстой*, с. 158—161).

[34] П. И. Бирюков прожил в Ясной Поляне «дня четыре», и Толстому было с ним «очень радостно — все радостнее и радостнее» (*ПСС*, т. 86, с. 68).

[35] Приемная дочь П. Д. и О. А. Голохвастовых — Варвара (Арочка).

[36] Фамилия учителя не установлена.

[37] Толстой и А. А. Толстая остались довольны этой встречей, несмотря на существовавшие в это время между ними серьезные расхождения по религиозным вопросам. Толстой «оставался кроток во все время моего пребывания в Ясной Поляне, — писала А. А. Толстая, — хотя прений между нами было немало» («Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». СПб., изд. Тол-

стовского музея, 1911, с. 33). «Мы, слава богу, прожили с ней дней 10, не сталкиваясь, — писал Толстой Черткову, — а любовно и так же и расстались» (*ПСС*, т. 86, с. 70).

[38] Последняя редакция трактата «О жизни» датирована Толстым: «3 августа 1887 г.». Об изменении заглавия трактата Толстой писал Черткову 4 августа 1887 г.: «Павел Иванович милый вчера уехал и увез в типографию статью о жизни. Начал я писать о жизни и смерти, а когда дописал, оказалось, что вторую часть заглавия пришлось выкинуть, потому что для меня, по крайней мере, это слово потеряло совершенно то значение, какое я ему придавал в заглавии» (*ПСС*, т. 86, с. 70).

[39] Первый портрет, подаренный С. А. Толстой, — «Л. Н. Толстой за письменным столом» — находится в Ясной Поляне; второй — «Л. Н. Толстой в кресле, с книгой в руке», датированный Репиным «1887. 13—15 августа. Ясная Поляна», находится в *ГТГ*. Т. Л. Толстая писала Е. А. Олсуфьевой по поводу этого портрета: «В первый день своего приезда Репин рисовал папа́ в альбом во всяких позах, чтобы привыкнуть к нему, а вчера начал большой его портрет масляными красками. Сегодня уже вся голова написана, и чудно, и по мастерству, и по выражению. Он сумел поймать то доброе, мягкое выражение, которое у папа́ бывает и которое ни Ге, ни Крамской не сумели передать» (*ГМТ*).

[40] С. А. Берс с М. П. Берс.

[41] Толстой считал первую часть «Мертвых душ» «прекрасным литературным произведением» (*ПСС*, т. 38, с. 50) и признавал у Гоголя «огромный талант» (т а м ж е).

[42] С. А. Толстая решила сдать рукописи Толстого на хранение в одно из московских архивохранилищ. С согласия Толстого 1 сентября 1887 г. она поместила их в Московский Румянцевский музей (ныне Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина). См. вступительную статью В. А. Жданова к книге «Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого». М., 1955, с. 5—17.

[43] В дневнике приклеен засушенный цветок.

1890

(Стр. 124—138)

[1] М. Л. Толстая была очень близка к отцу. И. Л. Толстой вспоминал: «Она сердцем почувствовала одиночество отца, и она первая из всех нас отшатнулась от общества своих сверстников и незаметно, но твердо и определенно перешла на его сторону» (*И. Л. Толстой*, с. 195).

[2] 26 ноября 1890 г. Толстой ездил в Крапивну на заседание Тульского окружного суда по делу четырех яснополянских кре-

стьян, убивших в пьяном виде своего односельчанина конокрада Гавриила Балхина.

Перед судом Толстой посетил крестьян в тюрьме. Суд показался ему «стыдной комедией» (*ПСС*, т. 51, с. 110). Присутствие Толстого на суде повлияло на приговор. «Одного совсем оправдали, а трем очень смягчили», — писал Толстой А. В. Алехину 2 декабря 1890 г. (*ПСС*, т. 65, с. 197).

История с убийством конокрада, вероятно, послужила материалом для описания убийства крестьянина Ивана Миронова в повести «Фальшивый купон» (ч. I, гл. XIV—XV).

[3] *Овсянниково* — усадьба Т. Л. Толстой, в пяти верстах от Ясной Поляны. С священником села Овсянниково у С. А. Толстой была тяжба.

[4] *Ванечка* — двухлетний сын Толстых.

[5] Сказка Н. С. Лескова «Час воли божьей» впервые была напечатана в «Русском обозрении», 1890, № 11, с. 115—140. Сюжет сказки был заимствован Лесковым у Толстого (см. запись в Дневнике Толстого 12 июня 1898 г. — *ПСС*, т. 53, с. 198). Прочитав сказку, Толстой писал Лескову, что ему «очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка», но он нашел в ней «много лишнего, несоразмерного» (*ПСС*, т. 65, с. 198).

[6] «Дневник молодости» Л. Н. Толстого с пропусками был впервые издан В. Г. Чертковым (М., 1917). Полностью опубликован — *ПСС*, т. 46 (1847—1854) и т. 47 (1854—1857).

[7] П. И. Бирюков собирался жениться на М. Л. Толстой. С. А. Толстая была против этого брака.

[8] С. Л. Толстой пишет в своих воспоминаниях: «Образ жизни отца в 80-х годах, особенно начиная с 1884 года, постепенно изменился. В Москве он стал рано вставать, сам убирать свою комнату, пилить и колоть дрова, качать воду из колодца, бывшего во дворе дома, и подвозить к дому эту воду в большой кадке на салазках. Тогда же он научился сапожному ремеслу у сапожника и стал шить обувь в своей маленькой комнате перед кабинетом» (*С. Л. Толстой*, с. 145).

[9] Толстой записал в Дневнике 15 декабря 1890 г.: «Нынче утром вышел, и меня встретил Илья Болхин с просьбой простить: их приговорили на 6 недель в острог. Очень стало тяжело, и целый день сжимает сердце... Надо уйти» (*ПСС*, т. 51, с. 111).

[10] В 1897 г. М. Л. Толстая вышла замуж за Н. Л. Оболенского, а Т. Л. Толстая в 1899 г. — за М. С. Сухотина. К этим бракам Л. Н. и С. А. Толстые отнеслись неодобрительно.

[11] Дневник 19 октября 1852 г. (*ПСС*, т. 46, с. 146).

[12] *Саша* — шестилетная дочь Толстых.

[13] В письме к Т. А. Кузминской (от 14 декабря 1890 г.)

С. А. Толстая писала: «У нас гостит англичанин Диллон, который перевел повесть Левочки, дал ему Чертков, неоконченную и плохую: «Ходите в свете, пока есть свет». По поводу этого перевода «Figaro» напечатал очень оскорбительную для меня статью, в ноябре, в № 21, и так как за меня заступиться некому, то я хочу напечатать письмо, которое прилагаю, и очень прошу Сашу попросить M. Villot поправить мое письмо и послать в какую-нибудь распространенную, как «Figaro», франц. газету» (*ГМТ*). Опровержение С. А. Толстой было напечатано в «Figaro» (см. *Дн.* 9 января 1891 г.).

[14] С. Л. Толстой так комментирует этот эпизод: «Сомнительно, чтобы Лев Николаевич посоветовал ей «пугнуть крестьян», как она пишет. Ему крайне неприятны были подобные дела по охране имущества, ему формально еще принадлежавшего» (*ДСТ*, I, с. 208—209).

[15] Восьмое издание «Сочинений Л. Н. Толстого» в 11-ти томах. М., 1889. Часть двенадцатая отдельно — «Произведения последних годов». М., 1889. Часть тринадцатая отдельно — «Произведения последних годов». М., 1890.

К середине декабря 1890 г., когда С. А. Толстая начала держать корректуры 13 тома, цензурного разрешения на печатание «Крейцеровой сонаты» в этом томе не было. О дальнейшей судьбе «Крейцеровой сонаты», истории ее печатания см. в коммент. к *Дн.* за февраль — июнь 1891 г.

[16] В Дневнике Толстого имеется запись об этом ночном разговоре: «Вчера лег и не мог спать. Сердце сжималось... Встал с постели в два, пошел в залу ходить. Вышла она, и говорили до пятого часа... Кое-что высказал ей. Я думаю, что надо заявить правительству, что я не признаю собственности и прав, и предоставить им делать, как они хотят» (*ПСС*, т. 51, с. 113).

[17] В завещании, написанном Толстым в Дневнике 27 марта 1895 г., он писал: «Дневники мои прежней холостой жизни, выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить... Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь: жизнь моя была обычная дрянная... жизнь беспринципных молодых людей, но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучило меня сознанием греха, производят ложноодностороннее впечатление и представляют... А, впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен богом и хоть под старость стал, хоть немного, понимать и любить его» (*ПСС*, т. 53, с. 15). См. коммент. 6.

[18] Слово *темные* прижилось в доме Толстых, его употребляла не только С. А. Толстая, но и сам Толстой. 18 декабря 1890 г. он писал Н. Н. Ге (сыну): «У нас все это последнее время темные посетители: Буткевичи, Поша, Русанов, Буланже, Попов, Хохлов, которые еще теперь здесь» (*ПСС*, т. 65, с. 209). Е. И. Попова С. А. Толстая называет восточным, так как по происхождению он был грузин.

[19] А. М. Новиков — учитель Андрея и Михаила Толстых в 1889—1891 гг.

[20] Ф. Р. Егоров.

[21] Н. Н. Философова (в замужестве Деп), сестра С. Н. Толстой.

[22] В это время Толстой работал над трактатом «Царство божие внутри вас» (*ПСС*, т. 28). В июне 1890 г. Толстой начал предисловие к «Катехизису непротивления» Адина Баллу (см. письмо Толстого к А. Баллу от 30 июня 1890 г. — *ПСС*, т. 65, с. 113—114). Предисловие постепенно разрасталось; Толстому «хотелось бы ясно и коротко выразить значение непротивления для христианства» (см.: *ПСС*, т. 65, с. 166). Статья «о противлении злу, о церкви и воинской повинности» (там же, с. 189) выросла в социально-обличительную книгу, которая была напечатана за границей в 1893 г. В России трактат был запрещен и впервые напечатан в 1906 г. в издании «Русское свободное слово».

[23] У И. Л. и С. Н. Толстых 20 декабря 1890 г. родился сын Николай, умер в детстве.

[24] Письмо А. А. Фета к С. А. Толстой от 21 декабря 1890 г., начинающееся словами: «Дорогая Графиня, я не виноват, что я поэт, а Вы мой светлый идеал. Разбираться по этому делу надо перед небесным судом, и если слово поэт значит дурак, то я и этому смиренно покорюсь. Дело не в уме, а в счастии, а носить в сердце дорогих людей — великое счастие» (*ГМТ*). Резкая запись С. А. Толстой о Фете случайна: она всегда была дружески настроена к нему, навещала его в месяцы его смертельной болезни (сентябрь — ноябрь 1892 г.) и подробно рассказала об этом в *Моей жизни*, кн. 6.

[25] Толстой неодобрительно относился к предстоящему замужеству М. А. Кузминской. 9 января 1891 г. он писал ее матери: «Маша твоя очень мила, но страшна: страшно так ставить всю жизнь на одну карту, как она делает, что я ей и говорю» (*ПСС*, т. 65, с. 218). Свадьба М. А. Кузминской с И. Е. Эрдели состоялась 25 августа 1891 г.

[26] Книга: E. Rod. Le sens de la vie. Lausanne. 1889, была прислана Толстому автором в феврале 1889 г. и «захватила» его «искренностью и силой выражения» (см.: *ПСС*, т. 64, с. 230). Страницы о войне и государстве Толстой называет «поразительными»,

«удивительными» (*ПСС*, т. 51, с. 35). В октябре 1890 г. Толстой перевел высказывания Рода о войне из этой книги и включил их, наряду с высказываниями Мопассана и Вогюэ, в VI главу трактата «Царство божие внутри вас» (*ПСС*, т. 28, с. 122—124).

[27] Л. Д. Урусов, умерший в 1885 г.

[28] Какие справки делала С. А. Толстая для А. А. Толстой — установить не удалось.

[29] См. коммент. 28 к *Дн.* 1887 г. Начатая в 1887 г., повесть «Крейцерова соната» (*ПСС*, т. 27) была закончена в 1889 г. Впервые была напечатана в ноябре 1890 г. в Женеве, в издании М. К. Элпидина. В России была напечатана в 1891 г. См. коммент. 15.

[30] С. А. Философова, мать жены И. Л. Толстого.

1891
(Стр. 138—218)

[1] Толстой читал отрывки из трех первых глав трактата «Царство божие внутри вас» (*ПСС*, т. 28, с. 1—67).

[2] В тот же день, 7 января 1891 г., Толстой написал Бирюкову письмо, выражая надежду, что возбуждение Софьи Андреевны скоро пройдет и что, «когда она увидит, что ни в Маше, ни в вас, ни во мне нет никакой перемены, она сама вернется к старому» (*ПСС*, т. 65, с. 214).

[3] С М. Ф. Егоровым.

[4] Отдельная, 13-я, часть «Сочинений Л. Н. Толстого» (вышла в 1890 г.) включала повесть «Крейцерова соната», комедию «Плоды просвещения», статьи «О переписи в Москве», «Так что же нам делать?» и другие произведения.

[5] П. В. Засодимский послал Толстому рассказ «Перед потухшим камельком» («Северный вестник», 1891, № 1, с. 247—279) и в письме от 28 декабря 1890 г. спрашивал, может ли такое произведение «хоть сколько-нибудь отклонить человека от зла» (*Толстой. Переписка*, с. 657). Толстому рассказ понравился, он прочел его «про себя и другой раз своим домашним» (письмо к П. В. Засодимскому от 13 января 1891 г. — *ПСС*, т. 65, с. 219).

[6] См. коммент. 13 к *Дн.* 1890 г. и *Р. вед.* № 8 от 9 января 1891 г.

[7] В. С. Соловьев. О лирической поэзии. По поводу последних стихотворений Фета и Полонского. — «Русское обозрение», 1890, № 12, с. 626—654 (*ЯПб*).

[8] Н. Н. Ге — сын художника, приехавший в Ясную Поляну 1 января.

[9] А. М. Новиков.

[10] Осенью 1884 г. Толстой отказался от собственности на землю и имущество и от прав литературной собственности. Он выдал С. А. Толстой доверенность на ведение дел и издание его сочинений, написанных до 1881 г.

[11] И. М. Клобский (Клопский) впервые посетил Толстого 1 января 1889 г. вместе с Ф. А. Страховым. Жил в Толстовских земледельческих общинах. О нем упоминает А. М. Горький в «Моих университетах». Толстой писал Н. Н. Ге (сыну) 23 января 1891 г.: «После вас был Клобский. И представьте, он стал очень, очень хорош. Я был очень рад его видеть, и особенно таким» (*ПСС*, т. 65, с. 226). См. также запись в Дневнике Толстого 15 января 1891 г. (*ПСС*, т. 52, с. 4).

[12] *Петр Васильевич* — повар у Толстых.

[13] М. Н. Зиновьева, младшая дочь Н. А. Зиновьева.

[14] В письме к Толстому от 11 января 1891 г. из Москвы баронесса В. И. Икскуль просила разрешения напечатать в начатой ею серии книг для народного чтения «под девизом «Правда» рассказы Толстого «Холстомер» и «Поликушка». На следующий день она писала об этом же С. А. Толстой (*ГМТ*). Возможно, что с этим связана запись в Дневнике Толстого 15 января: «Тревожился тем, что Соня не даст права печатания моих сочинений...» (*ПСС*, т. 52, с. 4).

[15] И. Л. Толстой просил С. А. Толстую, чтобы она «для него и его семьи купила по соседству с Никольским имение Гриневку» (*Моя жизнь*, кн. 6, с. 6). Имение Гриневка (Чернского уезда Тульской губ. в ста верстах от Ясной Поляны) по разделу 1892 г. перешло к И. Л. Толстому.

[16] Возможно, С. А. Толстая читала книгу: Б. Спиноза. Этика, изложенная геометрическим методом и разделенная на пять частей, в коих рассуждается: I. О Боге. II. О природе и начале души. III. О начале и природе аффектов. IV. О рабстве человеческом или о силе аффектов. V. О власти разума или о человеческой свободе. Пер. с лат. проф. В. И. Модестова. СПб., 1886. В *ЯПб* сохранилось четвертое издание (СПб., 1904).

[17] См. коммент. 3 к *Дн.* 1890 г.

[18] С. А. Толстая читала корректуру 13-го тома «Сочинений Л. Н. Толстого», куда входили «Крейцерова соната» и Послесловие к «Крейцеровой сонате». Набранный без цензурного разрешения, том был запрещен. См.: *Дн.* 28 февраля и коммент. 38.

[19] Письмо Н. Н. Ге неизвестно. Ответ Толстого от 29 января см.: *ПСС*, т. 65, с. 233.

[20] Рассказ Л. Л. Толстого «Монтекристо» был напечатан в журн. «Родник», 1891, № 4. Рассказ «Любовь» — в «Книжках Недели», 1891, март, под псевд. Л. Львов. Толстой писал о них сыну

30 ноября 1891 г.: «У тебя, я думаю, есть то, что называют талант и что очень обыкновенно и не ценно, т. е. способность видеть, замечать и передавать, но до сих пор в этих двух рассказах не видно еще потребности внутренней, задушевной высказаться... В обоих рассказах ты берешься за сверхсильное, сверхвозрастное, за слишком крупное... Попытайся взять менее широкий, видный сюжет и постарайся разработать его в глубину, где бы выразилось больше чувства, простого, детского, юношеского, пережитого» (*ПСС*, т. 65, с. 195).

[21] Деревенский способ «катания на скамейках» состоял в том, что скамья переворачивалась и перевернутое вниз сидение служило санным полозом.

[22] В Дневнике 25 января 1891 г. Толстой записал: «...стал думать, как бы хорошо писать роман de longue haleine (продолжительный), освещая его теперешним взглядом на вещи. И подумал, что я бы мог соединить в нем все свои замыслы, о неисполнении которых я жалею, все, за исключением Александра I и солдата: и *разбойника*, и *Коневскую*, и *Отца Сергия*, и даже *переселенцев* и *Крейцерову Сонату, воспитание*. И *Миташу*, и *записки сумасшедшего*, и *нигилистов*» (*ПСС*, т. 52, с. 5—6).

Замысел был частично осуществлен в романе «Воскресение». Другие сюжеты использованы в произведениях: «Посмертные записки старца Федора Кузмича», «Фальшивый купон», «Мать». См.: Н. Н. Гусев. Незавершенные художественные замыслы Толстого. — В кн.: «Сборник Государственного Толстовского музея». М., 1937.

[23] Об этом чтении упоминает Т. Л. Толстая в письме к Е. А. Олсуфьевой от 14 февраля 1891 г.: «Папа́ и мама́ очень бодры и стараются услаждать нам жизнь, мама́ всякими питиями и едами, а папа́ чтением нам вслух «Дон-Карлоса», которого, между прочим, мы не одобрили» (*ГМТ*). Возможно, Толстой читал драму по изданию: Schiller. Sämmtliche Werke in einem Bande. Stuttgart u. Tübingen, 1840 (*ЯПб*).

[24] Paul Bourget. Physiologie de l'amour moderne. Paris, 1891 (*ЯПб*).

[25] А. Н. Бекетов. Питание человека в настоящем и будущем. СПб., 1879. Толстой советовал Черткову издать эту статью в «Посреднике». «Непременно нужно», — писал он 15 мая 1891 г. (*ПСС*, т. 87, с. 92). В 1893 г. брошюра вышла в издательстве «Посредник» в серии «Для интеллигентных читателей».

[26] Дневники Толстого за 1854—1857 гг. (*ПСС*, т. 47), переписанные С. А. Толстой, хранятся в *ГМТ*. Вспоминая позже об этой работе, она писала: «Переписывала старые дневники Льва Николаевича, чтобы были двойные экземпляры... Я прониклась

мыслью, что все, что вышло из-под пера Льва Николаевича, должно быть сохранено, и потому непременно в двух экземплярах» (*Моя жизнь*, кн. 6, с. 19).

[27] В 90-е гг. М. Л. и Т. Л. Толстые устроили в каменном домике у входа в усадьбу Ясная Поляна школу. По доносу священника школа, как не разрешенная официально, была закрыта, и занятия происходили в «том доме», т. е. в левом флигеле большого дома.

[28] 14 февраля 1891 г. Толстой записал в Дневнике: «Сейчас и нынче, как и все дни, сидел над тетрадями начатых работ о науке и искусстве и о непротивлении злу, и не могу приняться за них» (*ПСС*, т. 52, с. 8).

[29] Толстой записал об этом в Дневнике 11 февраля 1891 г.: «В «Open Court» статья о Бутсе и обо мне, как об образцах фарисейства... Очень больно было, и теперь больно, когда пишу. Но не следует, чтоб было больно, и могу стать в то положение, чтоб не было больно; но очень трудно» (*ПСС*, т. 52, с. 6—7).

[30] 14 февраля 1891 г. Толстой записал в Дневнике: «...опять стал читать дневник, который переписывает Соня. И стало больно. И я стал говорить ей раздражительно и заразил ее злобой. И она рассердилась и говорила жестокие вещи. Продолжалось не более часа. Я перестал считаться, стал думать о ней и любовно примирился» (*ПСС*, т. 52, с. 7).

[31] См. *Дн.* 1890 г. и коммент. 29.

[32] Видимо, С. А. Толстая имела в виду свою болезнь (родильную горячку) сразу же после родов, продолжавшуюся в очень тяжелой форме в течение месяца. Отношения между С. А. Толстой и М. Л. Толстой были сложными и неровными. Стремление М. Л. Толстой служить простым людям, иногда оказывавшееся не по силам ей из-за слабого здоровья, вызывало раздражение матери. Она не всегда верила в искренность ее побуждений, считая, что она выдумывает «всегда себе занятие выше ее сил, и именно такое, какое ее должно было мучить» (*Моя жизнь*, 1893, кн. 6, с. 16—17). С. А. Толстая не поддерживала ее увлечения медициной, связанное с посещением больницы. Личные привязанности дочери, ее страстный темперамент также вызывали недовольство С. А. Толстой. М. Л. Толстая чувствовала его, страдала и всегда старалась, уступив матери, смягчить ее.

[33] Письмо от 12 февраля 1891 г., в котором Л. Л. Толстой сообщал о своем настроении. «Последнее время, — писал он, — плодом моих размышлений у меня явилось оптимистический взгляд на жизнь и людей. Все мне кажутся хорошими, что раньше я никак бы не мог подумать. Это очень приятное чувство. Мне кажется, что оно зависит, как и все на свете, от личного настроения

и состояния духа...» (*ГМТ*). Письмо А. А. Толстой от 11 февраля 1891 г. (*ГМТ*) — ответ на приписку Толстого к письму Т. Л. Толстой от 20 января 1891 г. (*ПСС*, т. 65, с. 224—225). Свое впечатление и вызванные этим письмом мысли Толстой записал в Дневнике 14 февраля (*ПСС*, т. 52, с. 7—8).

[34] В письме М. А. Стаховича к С. А. Толстой от 13 февраля 1891 г. (*ГМТ*) сообщалось о дуэли, состоявшейся между гвардейскими офицерами Вадпольским и Ломоносовым (последний был смертельно ранен).

[35] Н. Н. *Ге* заехал в Ясную Поляну по пути в Петербург, куда он вез на XIX передвижную выставку свою новую картину «Совесть» (первоначально называлась «Иуда» или «Предатель»). «Хорошо, задушевно, но не так сильно и важно, как «Что есть истина?»,— писал Толстой П. И. Бирюкову 21 февраля 1891 г. (*ПСС*, т. 65, с. 255). Картина находится в *ГТГ*.

[36] Речь идет о рассказе П. Е. *Накрохина* «Вор» («Книжки Недели», 1890, декабрь). В январе 1891 г. Чертков прислал его Толстому. Прочитав рассказ, Толстой писал Черткову 15 января: «Превосходно. И художественно прекрасно и трогательно. Кто автор? Лучше назвать «Часы» (*ПСС*, т. 87, с. 68—69). В издании «Посредник» в 1892 г. рассказ был напечатан под заглавием «Часы».

[37] Я. П. Полонский прислал Толстому сборник своих стихотворений «Вечерний звон». Стихи 1887—1890. СПб., 1890 (*ЯПб*). В письме от 16 февраля он писал: «Недавно издал я небольшой сборник последних моих стихотворений и при всем моем желании Вам послать его — колебался. Ну вот, думал я, как я пошлю ему свой «Вечерний звон», если я знаю, что на писание стихов он смотрит, как на самое пустое занятие» (цит. по кн.: *Летописи,* кн. 12, М., 1948, с. 217. Сверено с автографом *ГМТ*). 26 февраля Толстой отвечал Полонскому: «Я прочел книгу, и больше всего — очень мне понравилось — первое стихотворение «Детство». Правда, что я иначе смотрю на стихи, чем как я смотрел прежде и как смотрят вообще; но я умею смотреть и по-прежнему» (*ПСС*, т. 65, с. 259).

[38] 25 февраля 1891 г. был наложен арест на часть XIII «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». «Произведения последних годов. М., 1891», за помещение в ней «Крейцеровой сонаты», которая вышла в свет в июне 1891 г. по распоряжению Александра III, разрешившего печатание «Крейцеровой сонаты» в «Собрании сочинений Л. Н. Толстого», но запретившего отдельные издания. См. *Дн.* 22 апреля, «Моя поездка в Петербург».

[39] Ф. Д. *Нефедов*, «*Евлампеева дочь*» (повесть). В кн.: «В память С. А. Юрьева. Сборник, изданный друзьями покойного». М., 1891, с. 312—396 (*ЯПб*).

[40] Лесная сторожка, в пяти верстах от Ясной Поляны.

[41] Статья «О непротивлении», которая позднее переросла в трактат «Царство божие внутри вас». В 1894 г. трактат был впервые издан на русском языке в Берлине в издании А. Дейбнера (см.: *ПСС*, т. 28).

[42] О больном крестьянине деревни Телятинки Сергее хлопотал и Толстой. В письме к С. А. Толстой от 1 апреля 1891 г. он сообщал: «Из Сергиевского я нынче получил ответ о мужике больном, условный, что принят, если не хронический, и потому я решил везти его в Тулу. Руднев обещал принять и обратить на него внимание» (*ПСС*, т. 84, с. 71). 11 апреля 1891 г. больной умер от гангрены ноги.

[43] А. А. Смирнов. На закате (рассказ).— «Русское обозрение», 1891, № 1.

[44] Spinoza. Oeuvres. Paris, 3 тома (год не обозначен). Т. 1. Introduction critique. Т. 2. Vie de Spinoza. Notice bibliographique. Traité théologico-politique. Traité politique. Т. 3. Ethique. De la réforme de l'entendement. Lettres (*ЯПб*). О чтении Спинозы С. А. Толстая вспоминает в «Моей жизни»: «В то время я снова начала много читать и изучать философию Спинозы. У меня была даже, подаренная мне давно князем Урусовым, карта, по которой я посредством геометрии должна была лучше понимать теорию этого философа. Но это было тогда не по моим умственным силам, и разобраться в этом я не могла. Первая часть — история еврейского народа — мне показалось скучно. Но объяснение понятия о боге меня вполне удовлетворяло, и вторая часть «Этика» меня очень заинтересовала, особенно рассуждения о власти и о чудесах поразили меня... Но я Спинозу не полюбила и с трудом дочла его, хотя больше всего интересовало меня все отвлеченное, мысли мудрецов, а не разборы и критики таких произведений» (*Моя жизнь*, кн. 6, с. 7—8).

[45] См. *Дн.* 4 февраля и коммент. 20.

[46] Вогюэ. По поводу «Крейцеровой сонаты».— «Русское обозрение», 1890, № 12 (*ЯПб*).

[47] «Книжки Недели», 1891, №№ 3—5.

[48] *Вячеслав* — В. А. Берс.

[49] Толстого посетил Джемс Крилмен, приехавший в Россию изучать славян. В письме к Л. Ф. Анненковой 12 марта 1891 г. Толстой писал о нем: «...я ужасно устал от него: надо говорить на языке, на котором говоришь с трудом, а человек, по взглядам своим вполне мирской, мало интересен для меня. А между тем, оставить его одного, уйти, когда он ни с кем говорить не может и приехал для этого — совестно. Соня и Таня помогают мне»

(*ПСС*, т. 65, с. 267). Подробнее о посещениях Крилменом Толстого (1891 и 1903 гг.) см.: *ЛН*, т. 75, кн. 1, с. 427—434.

[50] С. А. Толстая хотела получить аудиенцию у царя в связи с запрещением XIII тома и просила А. А. Толстую узнать, возможно ли это. А. А. Толстая ответила письмом от 12 марта 1891 г. (*ГМТ*).

[51] Вернувшись из Москвы, С. А. Толстая сообщала С. Л. Толстому в письме от 17 марта: «Я сегодня приехала из Москвы, куда сбегала на два дня узнать об арестованной 13-й части. Дело очень плохо: 18 000 книг запечатаны, и неизвестно, что с ними будет. Все статьи 12-го старого тома запрещены. Я выпустила в продажу 12 частей с оговоркой: «По независящим от издательницы обстоятельствам 13-я часть не может быть выпущена» (*ГМТ*).

[52] Мысли Шопенгауэра о писательстве (из «Parerga und Paralipomena» за подписью *L.— Р.* вед., 1891, № 80, 23 марта.

[53] С 21 по 29 марта 1891 г. в помещении Тульского дворянского собрания была открыта XVIII выставка картин Товарищества передвижных выставок.

[54] Раздел в семье Толстых произошел в связи с отказом Л. Н. Толстого от прав собственности. В письме от 21 апреля к Т. А. Кузминской С. А. Толстая сообщала об этом событии: «Все это время шли разговоры о разделе, и все еще не совсем решили, как делиться. Есть в этом разделе что-то грустное и неделикатное по отношению к отцу. Да дело не мое, не я затеяла» (*ГМТ*). Свое отношение к разделу Толстой выразил в письме к Н. Н. Ге (сыну) 17 апреля 1891 г.: «Я должен буду подписать бумагу, дарственную, которая меня избавит от собственности, но подписка которой будет отступлением от принципа. И все-таки подпишу, потому что, не поступив так, я бы вызвал зло» (*ПСС*, т. 65, с. 289). Дарственную бумагу Толстой подписал 17 апреля 1891 г. В июле 1892 г. раздел был завершен. Акт хранится в *ГМТ*.

[55] С. Л. Толстой служил земским начальником в Чернском уезде, Тульской губ. Он так вспоминал о своей службе: «Я не сочувствовал реакционному законодательству о земских начальниках и впоследствии признавал ошибкой в моей жизни свою службу в этой должности. Поступил же я потому, что хотел быть самостоятельным, интересовался жизнью крестьян и думал, что так как известное управление и суд необходимы в деревне, то я мог бы приносить известную пользу, действуя по возможности независимо от губернских властей и не применяя или смягчая применение одиозных статей нового закона» (*С. Л. Толстой*, с. 180).

[56] В это время Толстой работал над статьей «О непротивлении» (см. коммент. 41). В письме от 17 апреля 1891 г. к Н. Н. Ге

(сыну) он сообщал: «Пишу с большим усилием, но очень медленно подвигаюсь: не знаю, предмет ли важен, требования ли от себя велики, или ослабли силы, но очень медленно работаю. Зато терпенья, упорства много, по 20 раз переделываю» (*ПСС*, т. 65, с. 289).

[57] Статья «О жизни», печатавшаяся отдельной книгой, была запрещена постановлением Синода от 8 апреля 1888 г. за неверие в божественность Христа и недоверие к догматам христианства. Статья «Так что же нам делать?», подготовленная для журнала «Русская мысль», № 1, была запрещена цензурой в 1885 г. Главы из книги «О жизни», о которых упоминает С. А. Толстая, были напечатаны в «Неделе», 1889, №№ 1—4, 6.

[58] *Н. вр.*, 1891, № 5431, 12(24) апреля.

[59] XIX выставка картин Товарищества передвижных художественных выставок и ежегодная выставка Академии художеств.

[60] М. А. *Новоселов*, студент Московского университета, последователь Толстого, нелегально напечатал на гектографе и распространил статью Толстого «Николай Палкин». Он писал Толстому в конце 1887 г.: «Все лето провел в Тверской губернии в деревне: пахал, косил, жал... а дома занимался, главным образом, перепиской и проверкой Евангелия, изданием «Николая Палкина» (я не просил вашего разрешения, так как всегда слышал от вас, что вы ничего не имеете против распространения всех ваших произведений» (*ГМТ*). В конце декабря 1887 г. на квартире Новоселова при обыске статья была обнаружена, и Новоселов вместе с несколькими знакомыми арестован. Толстой, узнав об этом, принял деятельное участие в хлопотах о его освобождении, «указывая на незаконность их ареста, когда он, главный виновник, остается на воле...» (см. об этом подробнее: П. И. Бирюков. Мои два греха. — В кн.: «Толстой. Памятники творчества и жизни». 3. М., 1923, с. 51—53; Л. П. Никифоров. Воспоминания о Толстом. — В кн.: *Толстой в воспоминаниях*, т. I, с. 328).

[61] Имеется в виду деятельность изд-ва «Посредник». См. об этом в статье В. К. Лебедева: «Книгоиздательство «Посредник» и цензура (1885—1889)». — «Русская литература», 1968, № 2, с. 163—170.

[62] 18 апреля Толстой записал в Дневнике: «Соня приехала дня три тому назад. Было неприятно ее заискиванья у государя и рассказ ему о том, что у меня похищают рукописи. И я было не удержался, неприязненно говорил, но потом обошлось...» (*ПСС*, т. 52, с. 27).

[63] В связи с запросом читателей о новом издании сочинений Толстого П. А. Гайдебуров, редактор-издатель газеты «Неделя» и журнала «Книжки Недели», в письме от 21 апреля 1891 г. спраши-

вал С. А. Толстую, что можно сообщить об этом в газете. Ответ С. А. Толстой неизвестен.

[64] Письмо к И. Н. Дурново от 27 апреля (черновик *ГМТ*). См. *Дн.* 15 мая.

[65] Л. Л. Толстой был один год студентом медицинского факультета Московского университета, потом перешел на первый курс филологического факультета. Весной по болезни оставил университет. В письме к С. А. Толстой от 26 апреля Л. Л. Толстой писал о том, что не смог больше вынести процедуры экзаменов в университете, не смог смириться с тем, что надо «зубрить хронологию, имена, цифры и славянскую грамматику...». «Что же я буду делать? — пишет он. — Во-первых, я и не делал до сих пор ничего, так что, во всяком случае, хуже не будет. А во-вторых, год — воинская повинность. А потом? А потом — это уже слишком далеко загадывать...» (*ГМТ*).

[66] P. E n f a n t i n. La vie éternelle, passée, présente, future, Paris, s. d. Посылая эту книгу, Л. П. Никифоров писал Толстому 25 апреля 1891 г.: «Что касается до «Вечной жизни», то я был бы вам очень и очень благодарен, если бы Вы при чтении сделали свои отметки хороших и дурных мест и свои примечания. Если Вы найдете, что она заслуживает перевода, то я постараюсь его докончить, хотя вряд ли цензура его пропустит. Меня очень интересует, как Вы вообще отнесетесь к ней. Я эту книгу люблю» (*ГМТ*).

[67] С июля 1890 г. по май 1893 г. Толстой работал над трактатом «Царство божие внутри вас». См. *Дн.* 2 марта и коммент. 41.

[68] Письмо от В. Ф. Орлова, учителя железнодорожной школы под Москвой, привез Толстому А. И. Костерев, знакомый Орлова. В письме сообщалось о том, что Костерев очень хотел видеть Толстого и говорить с ним. Толстой записал о нем в Дневнике: «Господин, которому я не нужен и который мне не нужен. Тяжело, что не можешь обойтись любовно» (*ПСС*, т. 52, с. 29).

[69] В т. XIII, о разрешении на издание которого хлопотала С. А. Толстая, входила статья Толстого «Для чего люди одурманиваются?», в которой содержались указанные цитаты. Статья была уже ранее опубликована в качестве предисловия к книге: П. С. А л е к с е е в. О пьянстве. М., 1891 (издание журнала «Русская мысль»).

[70] Письмо И. Н. Дурново к С. А. Толстой от 6 мая (*ГМТ*).

[71] Письмо А. В. Алехину от 14 мая 1891 г. (*ПСС*, т. 65, с. 296—300) в ответ на письма Алехина.

[72] 22 мая Толстой записал в Дневнике: «Диктовал Тане начало «Записок матери». Много, но не хорошо. Надо писать от себя. А то стеснительно» (*ПСС*, т. 52, с. 32).

[73] А. А. Фет с женой провели в Ясной Поляне два дня (20—21 мая 1891 г.). По возвращении в Воробьевку Фет писал С. А. Толстой: «Как и всегда, я унес впечатление могучих перстов графа, и я готов, подобно Моисею, носить на лице покрывало для того, чтобы толпа глазами не выпила из меня сообщенные мне силы. Благодаря Вас за роскошную хлеб-соль, я вынужден вспомнить: «...не о хлебе едином жив будет человек...» Вы и прелестная Татьяна Андреевна еще раз заставили меня громогласно высказать эту истину, которою я бессознательно живу всю жизнь... Для меня, как и для всех, не новость, что Вы обе с Татьяной Андреевной femmes du foyer ⟨радушные хозяйки⟩, но я всегда счастлив, когда услышу серебристый звон ваших поэтических сердец. При вас обеих и я возрождаюсь, и мне кажется, что моя старость только сон, а наступает действительность, т. е. вечная юность» («Русская литература», 1971, № 3, с. 99).

[74] Издатель газеты «Курский листок» — С. А. Фесенко.

[75] Муж Л. Ф. Анненковой — К. Н. Анненков.

[76] По-видимому, скульптор Л. А. Бернштам, о котором А. С. Суворин сообщал Толстому 21 ноября 1889 г.: «В Париже есть русский скульптор, Бернштам, человек талантливый, делавший бюсты с Ренана, между прочим, и других. Он пишет мне, что он желал бы сделать ваш бюст, для чего готов приехать из Парижа к вам. Его удерживает только сомнение, согласитесь ли вы позировать несколько раз» (*ГМТ*). 27 ноября 1889 г. Толстой ответил Суворину: «Если можно избавить меня от скульптуры, то, пожалуйста, избавьте» (*ПСС*, т. 64, с. 335).

[77] Рихард Дейренфурт, вероятно, привез по поручению Левенфельда корректуру его книги: Leo Tolstoi. Sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung. Berlin, 1892. 2 июня Толстой записал в Дневнике: «Нынче был немец от Левенфельда, очень тяжел» (*ПСС*, т. 52, с. 36). О чтении присланных корректур см. там же, с. 38.

[78] См. коммент. 84 к *Дн.* 18 июня.

[79] «Царство божие внутри вас».

[80] В «Северном вестнике» за 1891 г., № 6, был напечатан рассказ М. Майкова «История одного брака». В № 5 — продолжение рассказа М. Альбова «В тихих водах». Какую повесть читала С. А. Толстая, установить не удалось.

[81] См. коммент. 77 к *Дн.* 3 июня.

[82] Л. Н. Толстой. Вторая русская книга для чтения. Изд. 18-е. М., 1891.

[83] Павильоном называли небольшой деревянный домик с тесовой крышей, построенный в 1888 г. в яснополянском парке. Домашние врачи и М. Л. Толстая вели здесь прием больных. Позднее,

в летнее время в нем жили гости. В 1908 и 1909 гг. в доме жил Н. Н. Гусев.

[84] В апреле 1891 г. Толстой получил от В. Г. Черткова книгу: Howard Williams. The Ethics of Diet, by London, 1883 (*ЯПб*). 11 апреля он писал жене: «...читал прекрасную книгу, историю суждений древних о вегетарьянстве» (*ПСС*, т. 84, с. 78). Продолжая читать эту «прекрасную нужную» книгу, Толстой писал Черткову о своем желании написать к ней предисловие (*ПСС*, т. 87, с. 84), а в письме к нему от 6 мая сообщал: «Ethics of Diet» наши домашние взялись переводить, и я помогаю» (там же, с. 85). Над переводом книги работали С. А. Толстая, Т. Л. и М. Л. Толстые (см.: *ПСС*, т. 84, с. 79), закончили перевод другие лица. «Для предисловия» (*ПСС*, т. 87, с. 95) Толстой 7 июня ходил на бойню. Начатое предисловие переросло в статью «Первая ступень» (*ПСС*, т. 29). В 1893 г. в «Посреднике» (в серии «Для интеллигентных читателей») вышел русский перевод книги: Хауард Уильямс. Этика пищи, или нравственные основы безубойного питания для человека. Со вступительной статьей «Первая ступень» Л. Н. Толстого (*ЯПб*, пометы).

[85] Рисунок И. Е. Репина «Софья Андреевна с младшими детьми Сашей и Ванечкой» (*ГМТ*). С. Л. Толстой писал о нем: «В этом рисунке так мало сходства с оригиналами, что если бы не было надписи, я бы не узнал в нем свою мать, сестру и брата» (*С. Л. Толстой*, с. 327).

[86] См. коммент. 38 и 51 к *Дн.* 28 февраля и 13 марта. Вероятно, это был дополнительный тираж.

[87] Французская промышленная выставка (с большим художественным отделом) была открыта в Москве весной 1891 г.

[88] В письме от 11 июля Толстой прислал жене проект текста объявления в газетах от ее или от его имени об отказе от авторских прав на сочинения, написанные с 1880-х гг., которые вошли в части XII и XIII (*ПСС*, т. 84, с. 81—82). После разговора с женой по этому поводу Толстой записал в Дневнике 14 июля: «Не понимает она, и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание, позор мой. Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины. Видно, так надо. И без меня истина сделает свое дело» (*ПСС*, т. 52, с. 44).

[89] И. Е. Репин пробыл в Ясной Поляне с 29 июня по 16 июля. За это время он вылепил бюст Толстого (*ГМТ*), написал два портрета: эскиз «Толстой на молитве» (*ГТГ*) и «Толстой за работой в кабинете под сводами» (*ИРЛИ*), и сделал несколько рисунков. По мнению С. Л. Толстого, эти работы Репина были менее удачны, чем прежние. С. Л. Толстой объяснял это влиянием на художника

импрессионизма. Репин, по его словам, «стал дополнять действительность своим воображением» (*С. Л. Толстой,* с. 327—328).

[90] С. А. Толстая писала позднее: «Если когда-либо будут ставить памятник Льву Николаевичу, то ни одна из всех скульптурных работ всех бравшихся за изображение Льва Николаевича не передает настоящего его облика. Лучше других — маленький бюст с сложенными руками, работы Трубецкого» (*Моя жизнь,* кн. 6, с. 114).

[91] В письме к редакторам газет «Русские ведомости» и «Новое время» от 16 сентября Толстой писал: «Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с *1881 года* и напечатаны с XII тома моих полных сочинений издания 1886 года и в XIII томе, изданном в нынешнем 1891 году, равно и все мои неизданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения» (*ПСС,* т. 66, с. 47). Опубликовано 19 сентября в *Р. вед.*, № 258 и в *Н. вр.*, № 5588.

[92] В *ЯПб* сохранились следующие издания, включающие драму Лермонтова «Странный человек»: Лермонтов. Сочинения. Изд. Глазунова, 5-е, исправленное и дополненное, под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1882, т. I, т. II; М. Ю. Лермонтов. Полное собр. соч. Общедоступное издание Ф. И. Анского. М., 1891.

[93] «Новая азбука» Толстого, впервые изданная в 1875 г., переиздавалась много раз. С. А. Толстая работала над очередным, 17-м изданием (1891).

[94] Сказка «Липунюшка» взята Толстым из сб-ка И. А. Худякова «Великорусские сказки» (вып. II. М., 1861), сокращена и стилистически переработана. Впервые напечатана в «Первой русской книге для чтения». М., 1875 (см.: *ПСС*, т. 21, с. 120—121; с. 630).

[95] «Я ее не видала, она у Маши», — писала Софья Андреевна дочери Татьяне Львовне 29 июля (*ГМТ*). В Дневнике 31 июля Толстой отметил: «Была Ларионова, курсистка из Казани, которой я имел счастье быть полезным» (*ПСС*, т. 52, с. 47). В письме, посланном Толстому на следующий день, М. Ларионова писала: «Я вчера только не успела сказать вам, какое вам спасибо! Это старая история, что мне до приезда к вам было все равно — жить или не жить. Я именно стремилась найти выход из животной жизни — и не находила. А теперь я ожила!.. Мне вчера не только пожать вам горячо руку и сказать *спасибо* хотелось — мне плакать хотелось от любви к вам» (*ГМТ*).

[96] Толстого посетили психолог Шарль Рише и писатель Октав Гудайль. Об их посещении Ясной Поляны см.: «Вестник иностранной литературы», 1891, декабрь, с. 318—322 (Гудайль), и заметку

в «Неделе», 1891, № 36 (Рише). Толстой отметил в Дневнике 27 августа: «Мало интересны» (*ПСС*, т. 52, с. 50).

[97] 20 июня 1891 г. Н. С. Лесков в связи с обострившимся голодом в России обратился к Толстому с письмом, в котором спрашивал: «Как Вы находите — нужно ли нам в это горе встревать и что именно пристойно нам делать? Может быть, я бы на что-нибудь и пригодился, но я изверился во все «благие начинания» общественной благотворительности и не знаю: не повредишь ли тем, что сунешься в дело, из которого как раз и выйдет безделье? А ничего не делать,— тоже трудно. Пожалуйста, скажите мне что-нибудь на потребу» (*Толстой. Переписка*, с. 540). Отвечая Н. С. Лескову 4 июля, Толстой писал, что «против голода одно нужно, чтобы люди делали как можно больше добрых дел... Если Вы спрашиваете, что именно вам делать? — писал Толстой,— я отвечаю: вызывать, если вы можете... в людях любовь друг к другу, и любовь не по случаю голода, а любовь всегда и везде» (*ПСС*, т. 66, с. 12).

А. И. Фаресов, сотрудник «Нового времени», получивший от Лескова копию письма, без разрешения Лескова, опубликовал выдержку из нее в искаженном виде в газете «Новости» (№ 244, 4 сентября), затем она была перепечатана в «Новом времени» (№ 5574, 5 сентября). Эти публикации вызвали злобные нападки на Толстого. 6 сентября Лесков написал Толстому извинительное письмо, в котором объяснял всю историю с публикацией письма.

[98] E. Rod. Les Trois Coeurs. Paris, 1890 (*ЯПб*).

[99] Повесть С. А. Толстой «По поводу «Крейцеровой сонаты» (*ГМТ*). С. А. Толстая так вспоминала об этой работе: «Когда я держала корректуру «Крейцеровой сонаты», в 13-й части, повести, которая мне никогда не нравилась по своей грубости отношения к женщинам Льва Николаевича, она навела меня на мысль написать самой по поводу «Крейцеровой сонаты» роман. Все чаще и чаще приходила эта мысль и так овладела мной, что я не могла уже удержаться и написала эту повесть, которая не видала света и сейчас хранится в моих бумагах» (*Моя жизнь*, кн. 6, с. 8).

[100] Имеются в виду письма Толстого: В. П. Золотареву, М. А. Новоселову, Е. И. Попову, П. Г. Хохлову от 8 октября 1891 г. (*ПСС*, т. 66, с. 50—55).

[101] В Пирогово Толстой с дочерью выехал 17 сентября. С 18 по 22 сентября они побывали в деревнях Крапивенского, Богородицкого и Ефремовского уездов Тульской губ. О деятельности Толстого на голоде в 1891—1892 гг. см. его статьи в *ПСС*, т. 29 (см. также: *Т. Л. Сухотина*, с. 201—216).

[102] Вероятно, к помещице Бырдиной (или Бурдиной).

[103] 15 октября Толстой послал Н. Я. Гроту статью «О голоде»

для опубликования в «Вопросах философии и психологии». Ноябрьская книжка журнала, в которую вошла статья Толстого, была арестована, и статья отправлена в Главное управление по делам печати. С большими сокращениями была напечатана в «Книжках Недели», 1892, январь, под заглавием «Помощь голодным».

[104] Просьба С. А. Толстой была удовлетворена. Письмо ее от 15 октября и ответное письмо И. И. Воронцова-Дашкова см.: *Летописи,* кн. 12, М., 1948, 2, с. 106—107. Гонорар за постановки пьес Толстого употреблялся на благотворительные цели.

[105] А. П. Каневский работал в толстовских земледельческих общинах. Направляясь пешком на Кавказ, в колонию «Криница», посетил Ясную Поляну. 24 октября 1891 г. Толстой записал в Дневнике: «Уехал Каневский. Трогательный человек своей простотой и самоотверженностью. Пришел из Москвы без копейки денег. Я отправил его к отцу с 4-мя рублями. Он две ночи ночевал» (*ПСС*, т. 52, с. 56).

[106] Л. Л. Толстой не смог применить в Самарской губ. тот же метод помощи голодающим, который был принят Толстым. Он был вынужден раздавать продовольствие на руки крестьянам, что не спасало их от голода так, как если бы они пользовались столовыми. Толстой был недоволен таким решением. Он писал сыну 23 декабря 1891 г.: «Главное же пойми, что ты не призван прокормить 5000 или 6 тысяч или x^n количество душ, а призван наилучшим образом распределить ту помощь, какая попала тебе в руки. Делаешь ли ты это перед своей совестью?» (*ПСС*, т. 66, с. 120). В «Моей жизни» С. А. Толстая приводит выдержки из неизвестных писем Льва Львовича к отцу об условиях работы в Самарской губ.: «Какие тут столовые, — писал он, — когда нужен хоть маленький кусочек хлеба...» «Можно бы открыть столовые, я согласен, что они нужнее раздачи, но давай нам 100 солдат пекарей, 10 вагонов привара и целую толпу людей...» (*Моя жизнь,* 1892, кн. 6, с. 196). Позже Толстой пожалел, что он был слишком резок в отношении деятельности сына, и написал ему об этом (письма не сохранились). В письме к С. А. Толстой от 10 января 1892 г. Л. Л. Толстой пишет об этих «горячих» письмах отца, которые заставили его «еще внимательнее вникнуть в свои действия» (*ГМТ*). См. также: Л. Л. Толстой. В голодные года. Записки и статьи. М., 1900.

[107] *Р. вед.*, 1891, № 303, 3 ноября.

[108] В *Р. вед.*, 1891, № 306, 6 ноября была напечатана статья Толстого «Страшный вопрос». В реакционной газете «Московские ведомости», №№ 308, 310 и 312, 7, 9 и 11 ноября, публиковались статьи, осуждающие деятельность Толстого и его семьи по оказанию помощи голодающим.

1892
(Стр. 218—221)

[1] Статья Толстого «О голоде» (*ПСС*, т. 29), переданная им для публикации в журнал «Вопросы философии и психологии», была запрещена цензурой, и Толстой послал ее Э. Диллону, корреспонденту английской газеты «Daily Telegraph». В переводе Диллона статья публиковалась в нескольких номерах газеты 12—30 января (ст. ст.) в виде писем под заглавием «Почему русские крестьяне голодают?». «Московские ведомости» (№ 22 от 22 января) в редакционной статье, озаглавленной «Граф Лев Толстой о голодающих крестьянах», привели одно из «писем» (окончание гл. IV и почти полностью гл. V) в неточном обратном переводе с английского, отметив, что «письма» Толстого «являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя». С. А. Толстая 23 января послала «Письмо к издателю «Московских ведомостей» с опровержением, но оно не было напечатано.

[2] 26 ноября от воспаления легких скончался И. И. Раевский, друг и помощник Толстого в работе на голоде. 28 ноября Толстой написал статью — некролог «Памяти И. И. Раевского» (*ПСС*, т. 29) и 29 ноября писал дочери: «У меня большое горе — умер мой друг, один из лучших людей, которых я знал, умер на моих руках, в неделю, от инфлюэнцы. Мы с ним вместе работали и полюбили друг друга больше, чем прежде» (*ПСС*, т. 66, с. 100).

[3] В. М. Величкина — врач, революционерка. Познакомилась с Толстым в январе 1892 г. и работала с ним на голоде (см.: Вера Величкина. В голодный год с Львом Толстым. — *Толстой в воспоминаниях*, т. I, с. 500—526).

[4] Письма С. А. Толстой к И. Н. Дурново, Е. Г. Шереметевой, А. М. и Т. А. Кузминским в газ. «Правительственный вестник» были написаны 8 февраля. В ответном письме от 13 февраля Дурново сообщал: «При всем желании исполнить Вашу просьбу, я затрудняюсь допустить обнародование доставленного мне Вами опровержения по той причине, что оно, вызывая по существу своему вполне основательные возражения, несомненно породит дальнейшую полемику, весьма нежелательную по соображениям, до общественного порядка относящимся» (*ГМТ*). Другие ответные письма также хранятся в *ГМТ*.

[5] Письмо Толстого в «Правительственный вестник» от 12 февраля, написанное по настоянию С. А. Толстой (*ПСС*, т. 66, с. 160—162), напечатано не было, под предлогом недопустимости полемики в этой газете. По совету Н. Я. Грота 100 экз. этого письма, отпе-

чатанного на гектографе, С. А. Толстая разослала в периодические издания и многим правительственным и частным лицам (*Моя жизнь*, кн. 6, с. 230). Опубликовали его «С.-Петербургские ведомости», № 66, 8 марта, «Русская жизнь», № 66, 8 марта, «Новое время», № 5757, 9 марта, «Новости», № 67, 9 марта, «Московский листок», № 69, 10 марта. См. также письма Толстого к Э. Диллону от 29 января (*ПСС*, т. 66, с. 144—145) и к С. А. Толстой от 9 и 28 февраля (*ПСС*, т. 84, с. 117 и 128—129).

[6] См. *Дн.* 21 сентября 1891 г. и коммент. 99.

1893

(Стр. 221—222)

[1] В. Г. Чертков одно время хранил часть рукописей Толстого у своего бывшего сослуживца по лейб-гвардии конному полку Д. Ф. Трепова. С. А. Толстая писала в «Моей жизни»: «В этом же году ⟨1893⟩ Чертков, зная, что у него могут быть обыски, отдавал на хранение запрещенные сочинения и рукописи Льва Николаевича Д. Ф. Трепову, своему другу. Когда он их у него взял — я не знаю. Это было начало деспотического, но крайне благоговейного и любовного отношения Черткова к Льву Николаевичу» (*Моя жизнь*, кн. 6, с. 41). После ссылки Черткова в 1897 г. рукописи произведений Толстого, написанных после 1880 г., с согласия Толстого переправлялись в Англию к Черткову, где они хранились в специальном железобетонном помещении, построенном близ Крайстчерча под Лондоном. В 1913 г. эти рукописи были доставлены в Петербург, в Библиотеку Академии наук, а в 1926 г. переданы в *ГМТ*.

[2] С. А. Толстая так объясняет в «Моей жизни» эту, по ее словам, «безумную» страницу своего дневника: «Писал Лев Николаевич в то время свою статью «О религии»; некто П. А. Буланже ее переписывал, и жили Лев Николаевич и Маша в Ясной Поляне вдвоем, как будто никогда в Москву и не собирались. К их пребыванию в деревне я относилась недоброжелательно, потому что очень скучала без мужа. Конечно, всем покажется естественным и законным, что Лев Николаевич искал для своих трудных работ уединения и тишины, но мне от этого не было легче. Одно, что я старалась — это не показывать своего недовольства и нетерпения свидеться с Львом Николаевичем... Но я не претерпелась, а нервное возбуждение мое стало переходить в какое-то озлобление, в мистицизм, и мне вдруг показалось, что дьявол овладел Львом Николаевичем и охладил его сердце» (*Моя жизнь*, кн. 6, с. 54—55).

1894
(Стр. 222—224)

[1] 2/14 марта 1894 г. С. А. Толстая писала Т. Л. и Л. Л. Толстым: «Папа́ с Дунаевым ходил на грибной рынок к реке, купили сухих грибов в подарок Толстым пироговским и себе часть. Это они себе пикничок устроили. Там очень много народу — мужиков приезжих, и вообще папа́ интересовался этим рынком» (*ГМТ*).

[2] С. А. Толстая печатала 9-е издание произведений Толстого.

[3] Mr-s Humphry W a r d. Marcella, New York, 1894.

1895
(Стр. 224—238)

[1] V e r n e, J u l e s. Vingt milles lieues sous les mers, I-re et 2-me parties. Paris (б/г) (*ЯПб*). В 1873—1874 гг. эти и другие романы Жюля Верна Толстой читал старшим детям (см.: *И. Л. Толстой*, с. 91—92).

[2] С. И. Фонвизин. «Сплетня».— *ВЕ*, 1895, №№ 1, 2.

[3] Брат Толстого С. Н. Толстой с семьей жил в то время в Москве.

[4] В середине декабря 1894 г. С. А. Толстая получила из Ясной Поляны телеграмму о том, что воры влезли в дом через окно, «поломали сундуки, шкафы, все открыли, разбросали, украли много вещей, платье, одеяла, пальто и прочее» (*Моя жизнь*, кн. 6, с. 77—78). На несколько дней она выезжала в Ясную Поляну.

[5] Г р и м м, братья. Сказки. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1893 (*ЯПб*).

[6] Л. И. Веселитская (Микулич), не списавшись заранее, приехала в Москву повидаться с Толстым. Не застав его, она провела несколько дней с М. Л. и С. А. Толстыми и уехала домой (см.: В. М и к у л и ч. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 83—85).

[7] В конце декабря 1894 г., по инициативе Черткова, Толстой снялся в фотографии Мея вместе с Чертковым, Бирюковым, Горбуновым-Посадовым, Трегубовым и Поповым. В Дневнике Толстой записал 31 декабря 1894 г.: «Был здесь Чертков. Вышло очень неприятное столкновение из-за портрета. Как всегда, Соня поступила решительно, но необдуманно и нехорошо» (*ПСС*, т. 52, с. 157).

[8] Письмо из Никольского-Обольянова от 8 или 9 января (*ПСС*, т. 84, с. 234—235).

[9] Очевидно, С. А. Толстая перечитывала эти письма в связи с подготовкой к передаче рукописей в Румянцевский музей. См. также *Дн.* 10 апреля 1863 г. и коммент. 9.

[10] Толстой познакомился с Б. Н. Чичериным зимой 1856/57 г. Время особенной их близости относится к 1858 г. В своих воспоминаниях Чичерин писал: «Мы жили душа в душу. Я и теперь не могу без умиления перечитывать его старые письма. От них веет такою свежестью, искренностью и молодостью, они так хорошо рисуют его в эту первую пору развития его таланта и так живо переносят меня в это далекое время... Однако и в то время уже проявлялась у него погубившая его впоследствии наклонность к резонерству. Уединенная жизнь в деревне еще более развила в нем эту болезнь. Его занимали высшие вопросы бытия, а подготовки для решения их не было никакой. Он и предавался своеобразному течению мысли, перемешанной с фантазией» (Б. Н. Чичерин. Из воспоминаний. Москва сороковых годов. — В кн.: *Толстой в воспоминаниях*, т. I, с. 83—84). Известно 14 писем Толстого к Чичерину и 30 писем Чичерина (см.: «Письма Толстого и к Толстому». М., 1928, а также *ПСС*, тт. 60, 62, 65 и 68 (письма Толстого к Чичерину).

[11] А. А. Берс с женой Анной Александровной (урожд. Митрофанова).

[12] A. Daudet. Les Rois en exil (написан в 1879 г.). В каком издании читался роман, неизвестно.

[13] Аристон (от *греч.* aristos) — механический музыкальный инструмент типа музыкального ящика.

[14] С 1 по 18 января Толстой с дочерью Т. Л. Толстой пробыл у А. В. и А. М. Олсуфьевых в их имении Никольское-Обольяново. «Хорошо прожил у Олсуфьевых», — записал Толстой в Дневнике (*ПСС*, т. 53, с. 4). Толстой работал там над рассказом «Хозяин и работник», совершал прогулки по окрестностям, встречался с художником Р. С. Левицким, с Апраксиными (в усадьбе Ольгово). Эта поездка благотворно подействовала на физические и духовные силы писателя (см.: П. И. Нерадовский. Встречи с Толстым. — В кн.: *ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 130—138; М. Ф. Мейендорф. Страничка воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом. — В кн.: *Толстой в воспоминаниях*, т. II, с. 63—66).

[15] Представители земства Тверской и ряда других губерний обратились к Николаю II с адресами, в которых выражали свою готовность принять участие во внутреннем управлении Россией. В ответ на это Николай II 17 января 1895 г. выступил перед представителями земства и назвал это желание «бессмысленными мечтаниями». На это выступление Толстой откликнулся статьей ⟨«Бессмысленные мечтания»⟩ (*ПСС*, т. 31, с. 185—192). Толстой отказался также подписать петицию петербургских и московских общественных деятелей Николаю II о свободе печати.

[16] Толстой принял участие в совещании представителей либеральной интеллигенции по вопросу обсуждения протеста против речи Николая II. Совещание было собрано по инициативе Д. И. Шаховского и происходило на квартире Н. Ф. Михайлова — издателя журн. «Вестник воспитания». Ни к каким практическим решениям собравшиеся не пришли. «Напрасно были, — записал Толстой в Дневнике 29 января. — Все глупо и очевидно, что организация только парализует силы частных людей» (*ПСС*, т. 53, с. 4).

[17] Б. Н. Чичерин. Пространство и время. — «Вопросы философии и психологии», 1895, кн. XXVI.

[18] Вероятно, несохранившийся ответ на письмо П. П. Кандидова (учителя сыновей Толстого — Андрея и Михаила) от 29 января 1895 г., в котором он рассказывал о своей жизни у матери в г. Елатьме, Тамбовской губ., куда он уехал из Москвы за месяц до этого. В конце письма он просил С. А. Толстую написать о жизни всей ее семьи.

[19] «Смерть Ивана Ильича» (*ПСС*, т. 26), писавшаяся в 1884—1886 гг., впервые была напечатана в «Сочинениях гр. Л. Н. Толстого», часть XII. Произведения последних годов, М., 1886.

[20] В этой записи С. А. Толстая соединяет два посещения Тургеневым Ясной Поляны. Эпизод на тяге относится к началу мая 1880 г. См. об этом: *И. Л. Толстой*, с. 153—155; *Т. Л. Сухотина*, с. 248—249. Эпизод с танцами — к августу 1881 г. См.: *И. Л. Толстой*, с. 151—152; *Т. Л. Сухотина*, с. 249—251.

[21] В «Северном вестнике», 1894, № 12, опубликована переложенная Толстым с английского сказка американского писателя Поля Каруса «Карма», с предисловием Толстого, а в 1895 г., № 1, статья «Религия и нравственность» под заглавием «Противоречия эмпирической нравственности».

[22] Об этой тяжелой ссоре Толстой писал Н. Н. Страхову 14 февраля: «Рассказ мой наделал мне много горя. Софье Андреевне было очень неприятно, что я отдал даром в «Северный вестник», и к этому присоединился почти безумный припадок (не имеющий никакого подобия основания) ревности к Гуревич... Она была близка к самоубийству, и только теперь 2-й день она опять овладела собой и опомнилась» (*ПСС*, т. 68, с. 32—33). Далее Толстой просит Страхова «замолвить где-нибудь словечко объяснения» о том, что рассказ будет напечатан не только в «Северном вестнике», но и в издании С. А. Толстой и в «Посреднике», что он считал справедливым. Переживания этих дней подробно отражены в Дневнике Толстого за 7, 15 и 21 февраля (*ПСС*, т. 53, с. 4, 7, 8—9).

[23] Вспоминая позднее (в 1912 г.) свое душевное состояние в эти дни, С. А. Толстая писала: «Со временем я ясно поняла, что

мое крайнее отчаяние было не что иное, как предчувствие смерти Ванечки, которая и последовала в конце февраля. Точь-в-точь в такое же состояние я впала в лето, предшествовавшее кончине Льва Николаевича. Такие периоды настроения вне нашей власти. Причин же горя всегда найдется достаточно в жизни. Вопрос в том, насколько хватит силы их переживать и владеть собой» (*Моя жизнь*, кн. 7, с. 18).

[24] Л. Л. Толстой был помещен в лечебницу для нервных больных, основанную доктором М. П. Ограновичем вблизи Звенигорода (под Москвой). 21 февраля Толстой записал в Дневнике: «Вчера Огранович помог мне отнестись справедливее к Леве. Он объяснил мне, что это скрытая форма малярии — гнетучка. И мне стало понятно его состояние и стало жаль его, но все не могу вызвать живого чувства любви к нему» (*ПСС*, т. 53, с. 10).

[25] Рассказ «Хозяин и работник» вышел одновременно в трех изданиях: «Посредник», «Сочинения гр. Л. Н. Толстого», изд. 9-е, приложение к 13 тому, и в «Северном вестнике», 1895, № 3.

[26] В эти тяжелые для семьи Толстых дни М. Л. Толстая писала А. Н. Дунаеву: «Мама́ страшна своим горем. Здесь вся ее жизнь была в нем, всю свою любовь она давала ему. Папа́ один может помогать ей, один он умеет это. Но сам он ужасно страдает и плачет все время» (письмо от конца февр. — март, *ГМТ*). Подробнее см.: *Т. Л. Сухотина*, с. 400—404; *И. Л. Толстой*, с. 216—218. См. также Приложение «Смерть Ванечки».

1897

(Стр. 239—335)

[1] М. Л. Толстая 2 июня 1897 г. вышла замуж за Н. Л. Оболенского. Об отношении родителей к своему замужеству она писала Л. Ф. Анненковой 8 мая 1897 г.: «Мама́ была сначала против моего замужества, так как он очень беден, т. е. ничего не имеет и немного моложе меня, папа́ же очень любит моего будущего мужа и находит, что он лучший, кого я могла выбрать. Но он жалеет меня и грустит по мне, но мне никогда не высказывает своих мыслей, не дает советов и совершенно отстраняется. Мне очень радостно, что он любит Колю и, главное, верит в него, но мне, конечно, страшно больно подумать о том, что придется расстаться с ним...» (*ГМТ*).

[2] «Сочинения гр. Л. Н. Толстого», тт. I—XIV. Издание десятое. М., 1897.

[3] В январе 1897 г. Толстой приступил к работе над трактатом «Что такое искусство?». Завершенный в 1898 г. трактат впервые был напечатан в журн. «Вопросы философии и психологии»

(гл. I—V в ноябре — декабре 1897 г., гл. VI—XX в январе — феврале 1898 г.). Первое отдельное издание вышло в XV части соч. Толстого, М., 1898, а также выпущено «Посредником» в этом же году. Все издания вышли с большими цензурными изъятиями. Первое бесцензурное издание появилось в 1898 г. в Лондоне на английском яз. в переводе Э. Моода с предисловием Толстого.

[4] Вероятно, С. А. Толстая имела в виду дневниковые записи Толстого, относящиеся к периоду ее дружбы с С. И. Танеевым после смерти младшего сына Ванечки. 4 февраля 1897 г. Толстой записал в Дневнике: «Соня без меня читала этот дневник, и ее очень огорчило то, что из него могут *потом* заключить о том, что она была нехорошей женой. Я старался успокоить ее — вся жизнь наша и мое последнее отношение к ней покажет, какой она была женой. Если она опять заглянет в этот дневник, пускай сделает с ним, что хочет, а я не могу писать, имея в виду ее или последующих читателей и писать ей как будто свидетельство» (*ПСС*, т. 53, с. 133). См. также *Дн.* 14 декабря 1890 г. и коммент. 11.

[5] Возможно, письмо Евгения Шмита, не сохранившееся в архиве, на которое Толстой ответил 11 июня 1897 г. (*ПСС*, т. 70, с. 94).

[6] О своем отношении к С. И. Танееву С. А. Толстая писала в «Моей жизни»: «После смерти маленького сына Ванечки я была в том крайнем отчаянии, в котором бываешь только раз в жизни; обыкновенно подобное горе убивает людей, а если они остаются живы, то уже не в состоянии так ужасно страдать сердцем вторично. Но я осталась жива и обязана этим случаю и странному средству — музыке... Отравившись музыкой и выучившись ее слушать, я уже не могла без нее жить... Но сильнее, лучше всех на меня действовала музыка Танеева, который первый научил меня своим прекрасным исполнением слушать и любить музыку... Иногда мне только стоило встретить Сергея Ивановича, послушать его бесстрастный, спокойный голос — и я успокаивалась... Состояние было ненормальное. Совпало оно и с моим критическим периодом. Личность Танеева во всем моем настроении была почти ни при чем. Он внешне был мало интересен, всегда ровный, крайне скрытный и так до конца непонятный совершенно для меня человек» (*Моя жизнь*, кн. 3, из гл. «Три эпохи», с. 556, 560, 561).

[7] «Власть тьмы» вошла в XII часть 10-го издания «Сочинений Л. Н. Толстого» (1897).

[8] По разделу имений между детьми Толстого (в 1891 г.) часть, принадлежавшая М. Л. Толстой, составляла 57 000 р. Вначале отказавшись от нее, после замужества М. Л. Толстая решила принять свою долю. Эти деньги должен был выплатить ей залогом имения Никольского-Вяземского С. Л. Толстой. Еще раньше

С. А. Толстая, предполагая, что дочь со временем возьмет свою долю, приняла ее на себя, и С. Л. Толстой дал обязательство выплатить эти деньги матери. Теперь С. А. Толстая должна была часть денег, выплаченных С. Л. Толстым, и обязательство на остальную сумму его долга перевести на М. Л. Толстую.

[9] Кто был посетитель, установить не удалось.

[10] 19 июня в Ясную Поляну приезжал Н. А. Чудов, по словам Толстого, «человек... умный, горячий и хорошо пишущий, за что он и пострадал много и продолжает страдать» (*ПСС*, т. 72, с. 179). Чудов преследовался за нелегальные стихотворения, распространявшиеся в гектографированном виде. По поводу Ходынской катастрофы он написал стихотворение «Николаю II-му на память о коронации». В нем были такие строки:

Злая совесть — тебя не тревожит
В тайниках недоступных дворцов,
Или ты и не видел, быть может,
Этих тысячи ста мертвецов?

Без тебя они в землю зарыты,
Но печалься и помни весь век,
Что *тобою* безвинно убиты
Слишком тысяча сто человек!

(*ГМТ*)

Свое посещение Толстого Чудов тогда же описал в очерке и послал его Толстому с письмом 25 июня: «Прилагаемая статья была уже набрана и досыта урезана цензурою, когда я задал себе вопрос: «Хорошо ли я поступаю? ...Если Вы запрещаете, не откажите написать до выпуска воскресного № ...» (*ГМТ*). Ответ Толстого неизвестен, но, очевидно, возражений с его стороны не было. Статья была напечатана в «Орловском вестнике», 1897, № 171, от 29 июня, под заглавием «День в Ясной Поляне». Во время ссылки в Вологодскую губ. (1899, 1900) Чудов обращался за помощью к Толстому (см.: *ПСС*, т. 72, с. 179, 180, 547).

[11] М. М. *Холевинская*, земский врач Крапивенского уезда Тульской губ., в марте 1896 г. была арестована в Туле и заключена в тюрьму за распространение запрещенных произведений Толстого. Поводом к аресту послужила найденная при обыске визитная карточка Т. Л. Толстой с надписью: «Дать неизвестному, но надежному человеку «В чем моя вера?» Толстого». Эту книгу Толстой намеревался дать тульскому рабочему И. П. Новикову. Не найдя у себя свободного экземпляра, Толстой попросил Т. Л. Толстую помочь удовлетворить просьбу Новикова. Т. Л. Толстая, вспомнив, что книга должна быть у Холевинской в Туле, послала Новикову свою карточку с просьбой к Холевинской дать книгу подателю

записки. Толстой принял самое горячее участие в деле освобождения Холевинской. В апреле 1896 г. им были написаны письма министру внутренних дел И. Л. Горемыкину и министру юстиции Н. В. Муравьеву с изложением всего дела (*ПСС*, т. 69, с. 83—87, 89). 28 марта 1896 г. Толстой обратился за помощью к А. Ф. Кони: «Если можете, помогите нашему милому и бедному другу — женщине врачу... Пора бы, кажется, привыкнуть к нашему русскому беззаконию и жестокости, но всякий раз поражаешься, как чем-то новым и неожиданным. Так оно бессмысленно и фантастично» (там же, т. 69, с. 78). В начале апреля 1896 г. Холевинская была освобождена и выслана в Астрахань. В письме к С. А. Толстой от 30 мая 1897 г. Холевинская описывает свое тяжелое физическое состояние и просит С. А. Толстую «употребить старание, чтобы было смягчено... наложенное на нее наказание» (*ГМТ*). «Неприятным» для Софьи Андреевны письмо было, видимо, потому, что несколько раз Холевинская упоминает о том, что несет незаслуженное наказание из-за «необдуманного поступка Татьяны Львовны».

[12] Romain Coolus. L'Enfant malade. Pièce en 4 actes dont un prologue. Acte I-er. — «Revue Blanche», 1897, № 97, 15 juin (*ЯПб*).

[13] В письме от 19 июня н. ст. В. Г. Чертков упрекнул Толстого за то, что он не ответил на несколько писем. 20 июня Толстой послал Черткову телеграмму с сожалением, что он задержал ответ, и в тот же день письмо от 19 июня (*ПСС*, т. 88, с. 30—34).

[14] В письме к С. А. Толстой от 16 июня 1897 г. В. В. Стасов благодарил ее за приглашение приехать в Ясную Поляну. К письму был приложен фотографический снимок с бюста Л. Н. Толстого, сделанного Гинцбургом и выставлявшегося в то время на художественной выставке в Венеции (см.: «Неопубликованные письма В. В. Стасова». — «Искусство», 1958, № 10, с. 65).

[15] Н. А. Белоголовый. Три встречи с Герценом (*Р. вед.*, 1897, №№ 167 и 171, от 19 и 22 июня).

[16] Картина Н. Н. Ге «Распятие» (начата в 1884 г., завершена в 1894 г.), выставлявшаяся на передвижной выставке в Петербурге в 1894 г., тогда же вызвала много споров и толкований. По распоряжению Александра III, сказавшего якобы о ней: «это бойня», картина была снята с выставки и запрещена. 14 марта 1894 г. Толстой писал художнику: «То, что картину сняли, и то, что про нее говорили, — очень хорошо и поучительно. В особенности слова «это бойня»... Снятие с выставки — ваше торжество. Когда я в первый раз увидал, я был уверен, что ее снимут, и теперь, когда живо представил себе обычную выставку с их величествами и высочествами, с дамами и пейзажами и nature

morte'ами, мне даже смешно подумать, чтобы она стояла» (*ПСС*, т. 67, с. 81—82). Т. Л. Толстая в Дневнике 17 февраля 1894 г. пишет о картине: «Распятие» производит на всех громадное впечатление... Представлена та минута, когда Христос умирает... Оба распятые человека стоят на земле. Разбойник не пригвожден, а прикручен веревками. Он очень хорошо написан, но я должна сказать, что на меня это не произвело сильного впечатления. Мне это жаль. Это потеря свежести, душевной впечатлительности» (*Т. Л. Сухотина*, с. 222—223).

[17] Louis Pierre. Aphrodite. Paris, 1894 *(ЯПб)*. Об отрицательном отношении Толстого к этой книге см. в ст. «Что такое искусство?» (*ПСС*, т. 30, с. 89).

[18] Prévost. Les Demi-Vierges. Paris, 1894 (*ЯПб*).

[19] Rousseau J. J. Oeuvres. Paris, т. 9, 1822 (*ЯПб*).

[20] Возможно, рассказ Н. Ежова «Свидание». — *Н. вр.*, 1897, № 7665, 1(13) июля.

[21] С. В. Шидловский, крестьянин-штундист из села Кишенцы Уманского уезда Киевской губ. В письме к П. И. Бирюкову от 14 июля Толстой писал: «Появились новые друзья в Киевской губернии. Один из них, Шидловский, был у нас. Очень мне понравился» (*ПСС*, т. 70, с. 104).

[22] Кто был у Толстых, установить не удалось.

[23] А. Рубинштейн. Музыка и ее представители. Разговор о музыке. М., 1891.

[24] В. В. Лонгинов, впоследствии ректор Харьковской духовной семинарии.

[25] Gustave Guiches. Snob (actes I et II). — «Revue Blanche», 1897, № 99, 15 juillet (*ЯПб*).

[26] Гипсовый экземпляр статуэтки хранится в *ГМТ*.

[27] А. Л. Флексер (псевд. А. Волынский).

[28] Имеется в виду статья «Что такое искусство?».

[29] Гинцбург вначале не решался просить Толстого позировать ему и вылепил статуэтку по фотографиям, которые сделала для него С. А. Толстая. Увидев работу скульптора, Толстой согласился позировать. Вспоминая об этом, Гинцбург писал: «Лев Николаевич охотно позировал, потому что у него была любовь к искусству, к художникам, а такое отношение к искусству важно для успеха работы, — оно приободряет художника, поднимает его настроение. Однако не все позирующие так относятся к художникам и к их работе» (Скульптор Илья Гинцбург. Воспоминания, статьи, письма. Л., 1964, с. 61). Экземпляр (в бронзе) хранится в *ГМТ*.

[30] П. А. Булахов, бывший старообрядец. По словам Толстого, «силач нравственный и умственный» *(ПСС*, т. 53, с. 149). 22 марта

1897 г. Толстой писал о нем Черткову: «Сейчас был... у Булахова, помните, фабричный, умница...» (*ПСС*, т. 88, с. 19).

[31] См. коммент. 42 к *Дн.* 1887 г. В 1888—1889 гг. С. А. Толстая передала на хранение в Румянцевский музей рукописи и письма Толстого. В 1904 г. ей пришлось переменить место хранения и перевезти их в Исторический музей. В 1915 г. они вновь были возвращены в Румянцевский музей и находились там до 1939 г., когда были переданы в *ГМТ*.

[32] Толстой отметил в Дневнике 7 августа: «Наивный и глуповатый французик» (*ПСС*, т. 53, с. 149). Других сведений нет.

[33] Письмо Л. Я. Гуревич к С. А. Толстой от 3 августа 1897 г. (*ГМТ*).

[34] По приглашению С. А. Толстой Н. А. Касаткин гостил в Ясной Поляне с 4 по 7 августа. Присутствуя на сеансах И. Я. Гинцбурга, Касаткин написал этюд (масло), на котором изображены мастерская, работающий Гинцбург, позирующая для барельефа Т. Л. Толстая (*ГМТ*).

[35] 15 августа Толстой отметил в Дневнике: «Был Ломброзо, ограниченный наивный старичок» (*ПСС*, т. 53, с. 150). О посещении Ясной Поляны Ломброзо написал воспоминания («Мое посещение Толстого», Женева, изд. Элпидина, 1902), отрывок из которых опубл. в кн.: *Толстой в воспоминаниях*, т. II, с. 99—100.

[36] Критика Толстым искусства конца XIX в. содержится в X гл. трактата «Что такое искусство?» (см.: *ПСС*, т. 30).

[37] H. Taine. Philosophie de L'art. Paris, t. 1. Sixième édition, 1893. Пометы рукой С. А. Толстой; t. II. Septième édition, 1895 (*ЯПб*).

[38] В письме от 8 августа (н. ст.) В. Г. Чертков писал Толстому: «...возврат истрачиваемых на ⟨издание⟩ денег находится в прямой зависимости от успеха наших английских изданий ваших писаний. А этот успех в большой степени зависит от того, чтобы мы действительно были *первыми* издателями ваших новых писаний и чтобы как-нибудь другие переводчики каким-нибудь косвенным путем не могли себе приобресть русского списка того, что вы пишете, раньше нас или хотя бы одновременно с нами... Нам важно иметь список каждого вашего нового писания по возможности недели за три до его распространения в России в рукописи» (*ГМТ*). 8 августа Толстой ответил Черткову: «В том, что все мои писания поступят прежде всего к вам и вы будете распоряжаться их переводами и изданиями, — не может быть сомнения» (*ПСС*, т. 88, с. 46).

[39] Толстой читал «Философию искусства» Тэна, работая над статьей «Что такое искусство?», в которой он цитирует понятие

Тэна о красоте (*ПСС*, т. 30, с. 52) и полемизирует с ним в вопросе определения искусства.

[40] «Очерки критической философии» А. Шпира в переводе с французского Н. А. Бракер и с краткой его биографией, составленной переводчицей, были изданы «Посредником» в 1901 г. (*ЯПб*).

[41] 29 августа 1897 г. (дата авторизованной копии, *ГМТ*) Толстой написал открытое письмо в шведскую газету «Stokholm Tagblatt» с отказом от Нобелевской премии. По мнению Толстого, премия должна была быть присуждена духоборам. В октябре 1897 г. газета опубликовала письмо Толстого. На русском языке оно было напечатано в журн. «Свободная мысль» (Женева), 1899, № 4 (*ПСС*, т. 70, с. 148—154). Говоря о «керосинном торговце» Нобеле, С. А. Толстая спутала шведского инженера Альфреда Нобеля с Л. Э. Нобелем, известным нефтепромышленником.

[42] Сведений о посетителе нет.

[43] Друзья и единомышленники Толстого — Бирюков, Трегубов и Чертков за «пропаганду и незаконное вмешательство в дело сектантов» и за распространение подписанного ими и Толстым воззвания «Помогите!» с призывом принять участие в помощи духоборам (см.: *ПСС*, т. 39, с. 192—196) были высланы: Чертков — в Англию, Бирюков и Трегубов — в Курляндскую губ.

[44] См. *Дн.* 31 августа и коммент. 41.

[45] А. К. Син-Джон, бывший офицер индийской службы. По поручению В. Г. Черткова ездил на Кавказ для передачи духоборам денег, пожертвованных английскими квакерами. Находился в переписке с Толстым.

[46] П. А. Буланже был выслан за границу за сношение с кавказскими духоборами. Его статья о положении кавказских духоборов, написанная по материалам, собранным Л. А. Сулержицким и Ф. X. Граубергером, была напечатана в статье И. Н. Ясинского «Секта, о которой говорят». — *Б. вед.*, 1897, № 213, 6 августа (утрен. выпуск). В октябре 1897 г. он выехал в Англию.

[47] Вероятно, имеется в виду повесть «Песня без слов» (*ГМТ*). Писалась в 1895—1898 гг. и посвящена поре увлечения С. А. Толстой музыкой и дружбе с С. И. Танеевым после смерти сына Ванечки.

[48] Памятник Н. И. Пирогову был сооружен в 1897 г. у клиник его имени в Москве скульптором В. О. Шервудом.

[49] 18 сентября 1897 г. к Толстому приезжали самарские молокане с просьбой похлопотать о возвращении отнятых у них детей. Первый их приезд к Толстому был в мае этого же года. Толстой приложил все усилия, чтобы помочь им. Дважды он писал письма Николаю II и многим влиятельным лицам и друзьям. Только в

феврале 1898 г. дети были возвращены, благодаря хлопотам Т. Л. Толстой, бывшей в январе 1898 г. у К. П. Победоносцева специально по этому делу (см.: *ПСС*, т. 70, с. 72—75; с. 140—141, а также в кн: *Т. Л. Сухотина*, с. 229—233).

[50] См. *Дн.* 31 августа и коммент. 41.

[51] В «Русских ведомостях», № 221, 12 августа, была опубликована корреспонденция из Казани о третьем Всероссийском съезде миссионеров, на котором предлагалось ходатайствовать об издании закона об отнятии детей у сектантов и воспитании их в епархиальных приютах. «Новое время» (№ 7748, от 22 сентября) опровергло это сообщение. В связи с этим Толстой написал 26 сентября письмо в редакцию газеты *Р. вед.*, подробно сообщив известные ему факты о насильственном отнятии детей у молокан (*ПСС*, т. 70, с. 154—155). Письмо Толстого не было опубликовано. См. также коммент. 49 к *Дн.* 22 сентября.

[52] Приезжавшим в мае молоканам Толстой дал написанное им 10 мая письмо к Николаю II, а также письма к А. Ф. Кони, А. В. Олсуфьеву, А. С. Танееву, К. О. Хису и А. А. Толстой с просьбой оказать им содействие и, главное, передать его письмо царю (*ПСС*, т. 70, с. 76—80). Опасаясь репрессий, молокане уничтожили письма. 18 мая Толстой вновь написал указанным выше лицам и передал письма через П. А. Буланже (там же, т. 70, с. 83—85). Сведения о передаче дела о молоканских детях в Сенат С. А. Толстая приводит из ответного письма А. Ф. Кони к Толстому от 25 сентября (*ГМТ*).

[53] Статья М. О. Меньшикова «О половой любви» («Книжки Недели», 1897, № 9), часть его большой статьи «Элементы романа» («Книжки Недели», 1897, №№ 6—12).

[54] *У . . . а* — Л. Д. Урусов.

[55] См. коммент. 51. Толстой изменил свое намерение (*ПСС*, т. 84, с. 293) и написал 6 октября отдельное письмо к редактору газеты «С.-Петербургские ведомости», которое было опубликовано в этой газете — № 282, 15 октября (см.: *ПСС*, т. 70, с. 162—163).

[56] Nohl. Baethovens Leben, 1864—1877. Русский перевод: Б. Нооль. Бетховен, его жизнь и творения, 1892, 3 тома. В письме к Л. Н. Толстому 10 ноября 1897 г. С. А. Толстая писала об этой книге: «Как это интересно, как многое мне открылось и навело на разные мысли. Как много интереснее мне будет теперь слушать его музыку» (*ПСТ*, с. 684).

[57] Что именно читала С. А. Толстая о Мендельсоне, установить не удалось.

[58] Письмо от 8 ноября 1897 г. (*ПСС*, т. 84, с. 299—300).

[59] Письмо от 11 ноября 1897 г. (*ПСС*, т. 84. с. 300—301).

[60] Видимо, рассказ А. П. Чехова «В родном углу» (*Р. вед.*,

1897, № 317, 16 ноября). 17 ноября С. А. Толстая писала Т. Л. Толстой: «Дунаев прочел вслух мне рассказ новый Чехова» (*ГМТ*).

[61] Письмо от 17 или 18 ноября 1897 г. (*ПСС*, т. 84, с. 302).

[62] В 1898 г. М. Л. Толстой оставил лицей и поступил на военную службу вольноопределяющимся.

[63] Сведений о статье найти не удалось.

[64] С. А. Толстая писала Л. Н. Толстому 25 ноября: «Я думала, Левочка, что ты приедешь с Таней, но ты, по-видимому, этого до такой степени не желаешь, что оттягиваешь свой приезд насколько можешь. Таня говорила даже, что ты говорил, будто жизнь твоя в Москве — *самоубийство*. Так как ты ставишь вопрос, что ты приезжаешь для меня, то это не самоубийство, а я тебя убиваю, и вот я спешу тебе написать, что ради бога не приезжай; твой мучительный приезд лишит нас обоих спокойствия и свободы. Ты будешь считать себя постепенно *убиваемым*, я буду считать себя *убийцей*... не будем друг друга убивать упреками и требованиями, и будем дружелюбно переписываться, и посещать я тебя буду, когда успокоюсь нервами» (*ПСТ*, с. 690—691).

Толстой записал об этом в Дневнике: «От Сони огорченное письмо. Я дурно сделал, что сказал, а Таня дурно сделала, что передала» (*ПСС*, т. 53, с. 166).

[65] См. *Дн.* 12 сентября и коммент. 47.

[66] См.: «Sénèque le Philosophe...», Paris, 1860, t. 1, p. 83—115 (*ЯПб*).

[67] Письмо от 26 ноября (*ПСС*, т. 84, с. 304—306).

[68] 28 ноября в Ясную Поляну вторично (первый раз — в августе 1894 г.) приезжал Д. П. Маковицкий, руководивший в Венгрии словацким издательством «Посредник». Вероятно, приезд был связан с делами издательства. В этот день Толстой записал в Дневнике: «Нынче утром приехал Маковицкий, милый, кроткий, чистый» (*ПСС*, т. 53, с. 166). 30 ноября Маковицкий посетил в Москве С. А. Толстую и рассказал ей об отсылке Толстым в журнал «Северный вестник» предисловия к переводу статьи Э. Карпентера «Современная наука». Через несколько дней по требованию жены Толстой взял предисловие назад. А два месяца спустя С. А. Толстая дала согласие на печатание статьи в журнале («Северный вестник», 1898, № 3, с. 199—206).

[69] См. *Дн.* 21 февраля 1895 г.

[70] Телеграмма Толстого от 6 декабря: «Хотел ехать, но чувствую себя слабым. Приезжай, пожалуйста, нынче, причин страдания нет. Отвечай» (*ПСС*, т. 84, с. 306).

[71] 7 декабря Толстой записал: «Вчера еще и еще говорили, и я слышал от Сони то, чего никогда не слыхал: сознание своей

вины. Это была большая радость... Что бы ни было дальше. Уж это было, и это большое добро» (*ПСС*, т. 53, с. 169).

[72] Комедия «Джентльмен» А. И. Сумбатова-Южина.

[73] А. Бонье (André Beaunier), французский критик и публицист, приезжавший к Толстому познакомиться с ним, его учением, жизнью и рассказать об этом на страницах газеты «Temps». Он провел у Толстого несколько дней, написав впоследствии серию очерков под общим названием «Неделя в Москве. Вблизи Толстого», напечатанных в газете «Temps» в январе 1898 г. Накануне посещения Толстого в Ясной Поляне Бонье из Москвы писал ему 7/19 декабря 1897 г.: «Во Франции, особенно среди молодежи, у вас имеется большое число поклонников, которым нравится не только ваш литературный гений, но которые страстно ищут в ваших произведениях... направление для лучшего устройства жизни. Я из тех самых» (перевод с франц., *ГМТ*). Подробнее о посещении Бонье см. в публикации В. Я. Лакшина «Вблизи Толстого». — *ЛН*, т. 75, кн. 2, с. 79—97.

[74] Об отказе печатать предисловие Толстой сообщил А. Л. Флексеру в письме 5 декабря (*ПСС*, т. 70, с. 208). По словам Л. Я. Гуревич, отказ этот мог вызвать недоверие к журналу подписчиков, которые «будут искать объяснения в неудовольствии Льва Николаевича на журнал или на членов редакции». Гуревич в письме от 14 декабря умоляла С. А. Толстую просить Толстого дать в журнал любое другое произведение, «которое показало бы, что предисловие не попало только по случайным обстоятельствам» (*ГМТ*). См. также коммент. 68 к *Дн.* 30 ноября.

[75] Повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат».

[76] Подробнее рассказ Толстого приводится в воспоминаниях А. Цингера «Ненаписанный рассказ Толстого» (см.: *Толстой в воспоминаниях*, т. II, с. 143—146).

[77] Л. Бух. Жизнь. СПб., 1898 (*ЯПб*).

[78] Вероятно, в связи с работой над трактатом «Что такое искусство?» (см.: *ПСС*, т. 30, гл. X и приложение 1).

[79] 19 декабря Толстой отослал письмо Э. Мооду (*ПСС*, т. 70, с. 217—218), 20 декабря телеграмму Черткову (*ПСС*, т. 88, с. 69). Телеграмма Мооду неизвестна.

[80] Письмо Л. Я. Гуревич к Т. Л. Толстой от 20 декабря (*ГМТ*). См. также коммент. 68 и 74 к *Дн.* 30 ноября и 14 декабря.

[81] Письмо хранится в *ГМТ*. В Дневнике 21 декабря Толстой записал: «Вчера получил анонимное письмо с угрозой убийства, если к 1898 году не исправлюсь. Дается срок только до 1898 года. И жутко, и хорошо» (*ПСС*, т. 53, с. 172).

[82] Танеев ездил работать в Гефсимановский скит близ Троице-Сергиевской лавры (ныне Загорск) под Москвой.

[1] В. В. Стасов писал Е. М. Бем 9 января 1898 г.: «Я тоже в неописанном восторге от этой чудной вещи «Что такое искусство?», невзирая на то, что там с иным не согласен. У нас там даже происходил великий спор и состязания насчет Рихарда Вагнера (о котором Лев неумело говорит в этой статье)» (сб. «Забытым быть не может», М., 1963, с. 175).

[2] См. *Дн.* 21 февраля 1895 г.

[3] См. *Дн.* 30 ноября и 21 декабря 1897 г.

[4] Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» шла в Московской частной русской опере С. И. Мамонтова.

[5] По свидетельству В. В. Стасова, гравер В. В. Матэ принес Толстому в подарок альбом своих гравюр, среди которых были портреты Толстого с рисунков И. Е. Репина (В. В. Стасов. Письма к родным, т. III, ч. 1. М., 1962, с. 202).

[6] Знакомство Толстого с Н. А. Римским-Корсаковым состоялось по инициативе В. В. Стасова, приехавшего вместе с Н. А. Римским-Корсаковым в Москву на премьеру его оперы «Садко».

[7] Суждения Толстого о красоте изложены в II—VII главах «Что такое искусство?» (*ПСС*, т. 30, с. 32—80).

[8] С пианистом, композитором и музыкальным критиком В. И. Полем Толстой познакомился в декабре 1897 г. и дважды беседовал с ним об искусстве (см.: В. Поль. Встречи с Толстым. — «Новый мир», 1960, № 12, с. 244—247).

[9] В этот период Толстой продолжал работать над повестью «Хаджи-Мурат». 13 января Толстой записал в Дневнике: «Все пытаюсь найти удовлетворяющую форму «Хаджи-Мурата» и все нет» (*ПСС*, т. 53, с. 176).

[10] 3 февраля Толстой через С. А. Стахович рекомендовал И. Е. Репину следующий сюжет картины: «Это момент, когда ведут декабристов на виселицу. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом, скорее личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли уже вдвоем к виселице» (*Т. Л. Сухотина*, с. 229). И. Е. Репин сделал эскиз «Декабристы».

[11] Н. Д. Кашкин. «Садко» — опера-былина в семи картинах Н. А. Римского-Корсакова» за подписью Н. К — ин (*Р. вед.*, 1898, № 7, 7 января).

[12] XVII периодическая выставка Общества любителей художеств в Историческом музее.

[13] 20(?) января 1898 г. Толстой писал Л. Л. и Д. Ф. Толстым: «У нас нехорошо только в смысле городской суеты. Часто вспо-

минаю и об уединении среди чистого снега и неба... Я не могу набраться энергии для работы» (*ПСС*, т. 71, с. 260).

[14] Альфред Дрейфус — французский офицер генерального штаба, обвиненный в шпионаже в пользу Германии. Процесс по делу Дрейфуса проходил с 1894 по 1906 г. и закончился его оправданием.

[15] В январе 1898 г. многие газеты перепечатали из журнала «Вопросы философии и психологии» отрывки из первых глав статьи «Что такое искусство?» со своими критическими замечаниями.

[16] «Сочинения Л. Н. Толстого», тт. I—XVI. Изд. 10-е. М., 1897, т. I. К подготовке и выпуску этого издания С. А. Толстая приступила в 1897 г. и в течение 1898 г. правила корректуры.

[17] Сведений о «деревенской газете» нет.

[18] См. *Дн.* 25 декабря 1897 г.

[19] Письмо от З. С. Соколовой, из села Никольского, Воронежской губ. В письме редактору «Русских ведомостей» 4 февраля 1898 г. Толстой называл еще несколько уездов, в которых голодают крестьяне, и призывал «помочь этой нужде» (*ПСС*, т. 71, с. 270—271). Письмо Толстого вместе с письмом З. С. Соколовой было напечатано в *Р. вед.*, № 39, 8 февраля.

[20] П. И. Бирюков, сосланный в 1897 г. в Бауск за участие в помощи духоборам (см. коммент. 43 к *Дн.* 1897 г.), получил разрешение выехать за границу в январе 1898 г. Очевидно, через Е. И. Попова Толстой послал ему письмо (не датировано) и полученную им на имя П. И. Бирюкова «карточку японцев» (*ПСС*, т. 71, с. 262). Сведений о японцах нет.

[21] Толстой составил прошение Николаю II от имени одного из приехавших молокан — Ф. И. Самошкина — и просил находившуюся в то время в Петербурге Т. Л. Толстую принять участие в хлопотах (см. письмо к Т. Л. Толстой от 25 января и текст прошения. — *ПСС*, т. 71, с. 263—264). Тогда же он написал А. Ф. Кони с просьбой оказать содействие молоканам (там же, с. 265).

[22] Статьи Е. А. Берс «Дифференциальный тариф», «Арифметика дифференциальных тарифов» и «Великорусская община» вошли в ее книгу: «О причинах разорения земледельческой России». СПб., 1899 (*ЯПб*).

[23] Для издания в журн. «Вопросы философии и психологии», кн. I, 1898.

[24] Роман братьев Paul et Victor Margueritte «Le Désastre». Paris, 1897. Книга была прислана Толстому авторами с дарственной надписью: «Г-ну Льву Толстому, с благоговением от его почитателей. Поль и Виктор Маргериты» (*ЯПб*).

[25] Т. Л. Толстая ездила в Петербург узнать, раскупается ли составленный ею альбом: «Картинная галерея «Посредника». «По-

следний луч», картина Ж. Бретона и другие картины французских художников», М., 1898 (в альбоме 12 репродукций). Кроме того, она готовила альбом немецкой живописи, издание которого не осуществилось.

[26] Подробнее об этом см. в кн.: *Т. Л. Сухотина*, с. 229—233. В конце февраля 1898 г. отобранные у молокан дети были возвращены родителям.

[27] Очевидно, С. И. Танеев поправлял для нового издания оперу «Орестея» (1895) (вышла в изд. М. П. Беляева в 1900 г.) и говорил, вероятно, о четвертом струнном квартете, работу над которым он начал в июле 1898 г.

[28] «Родник», 1898, №№ 1—4 (оттиски хранятся в *ЯПб*).

[29] См. *Дн.* 22 апреля 1891 г. и коммент. 54.

[30] Рисунок И. Н. Крамского «Встреча войск», 1879 (Художественный музей г. Иваново).

[31] С. А. Толстая передает содержание рассказа В. Гюго «Бедные люди», который Толстой переработал для «Круга чтения» (см. кн.: «Толстой — редактор». М., 1965, с. 268—273).

[32] «Princesse M. Ouroussoff. Histoire d'une âme». Souvenirs recueillis par sa mère. Paris, 1904. Вероятно, Толстой читал ее в рукописи.

[33] Письма М. Л. Оболенской от 30 января и Л. Л. Толстого от 31 января (*ГМТ*).

[34] Кроме посетителей, названных С. А. Толстой, были Н. Я. Тароватый, М. Ф. Гуленко и Л. А. Сулержицкий (*ПСС*, т. 53, с. 178).

[35] Речь идет о тетради с дневниковыми записями с 28 октября 1895 г. по 17 декабря 1897 г. (*ПСС*, т. 53). С. А. Толстая была против передачи Дневника В. Г. Черткову для копирования, не желая, чтобы его читали и переписывали посторонние люди. Позднее этот Дневник вместе с рукописями Толстого был передан С. А. Толстой на хранение в Румянцевский музей (см. коммент. 42 к *Дн.* 1887 г.).

[36] Прочитав книгу Нооля «Бетховен, его жизнь и творения», 1892 (3 тома), С. А. Толстая писала Толстому 19 ноября 1897 г. в Ясную Поляну: «После чтения биографии Бетховена я прозрела уже окончательно, что люди, служащие человечеству и получающие за это высший дар — славу, уже не могут отказаться от этого соблазна и откладывают все, что стоит на дороге к этой славе и мешает этому служению» (*ПСТ*, с. 688). 26 ноября 1897 г. Толстой ответил жене: «Несправедливы... рассуждения твои... что цель моей деятельности есть слава. Слава может быть целью юноши или очень пустого человека... Человек же не глупый и поживший — я считаю себя таким — не может не видеть,

что единственное благо, одобряемое совестью, есть работание той работы, которую я лучше всего умею делать и которую... я считаю полезной людям... Вот этакой деятельности я желаю тебе... и деятельность эта для тебя никак уже не в игрании на фортепиано и слушании концертов» (*ПСС*, т. 84, с. 304—305).

[37] Тиссо. Жизнь нашего господа Иисуса Христа. 365 композиций по 4 Евангелиям с примечаниями и объяснительными рисунками. Тур, 1896—1897, 2 тома (Tissot. La vie de notre seigneur Jesus Christ. Tours, 1896—1897).

[38] В сентябре 1882 г. С. А. Толстая читала на французском языке: «Oeuvres complètes de Sénèque» trad. par Y. Baillard, 1860—1861, Paris, v. 2 (*ЯПб*, с пометами Толстого). Толстой ценил Сенеку как представителя стоицизма, неоднократно упоминал о нем в письмах и сочинениях. Изречения Сенеки включил в «Круг чтения» (*ПСС*, тт. 41—42).

[39] В период работы над статьей «Что такое искусство?» Толстой написал Предисловие к переведенной его сыном С. Л. Толстым статье Э. Карпентера «Современная наука». По признанию Толстого, Предисловие к статье Карпентера «уясняло» ему его «работу об искусстве» (*ПСС*, т. 71, с. 274).

[40] И. П. Брашнин.

[41] См. *Дн.* за октябрь 1878 г.

[42] В английском переводе Э. Моода статья Толстого «Что такое искусство?» («What is art?») появилась в виде приложения к журналу «The new order» в трех выпусках. В первом (январь 1898) выпуске — главы I—IX; во втором (март 1898) — X—XIV; в третьем (май 1898) — XV—XX.

[43] Работая над статьей «Что такое искусство?», Толстой перечитывал произведения мировой классики и в том числе пьесы Шиллера. В. Ф. Лазурский записал 14 февраля 1898 г.: «За чаем он ⟨Толстой⟩, полный интересов своего эстетического сочинения, говорил о том, что подбирает примеры из всемирной литературы для того, чтобы указать образцы истинного, по его мнению, искусства» («Дневник В. Ф. Лазурского».— *ЛН*, т. 37/38, с. 495).

[44] В черной клеенчатой тетради на лл. 1—8 — первоначальный набросок статьи «Где выход?» с авторской датой: «17 мая 1897 г. Яс. Пол.» (*ПСС*, т. 34). Далее наброски к пятой редакции «Хаджи-Мурата» (январь 1898 г.).

[45] В Дневнике 19 февраля 1898 г. Толстой отметил: «За это время все исправлял и дополнял и портил последние главы об Искусстве» (*ПСС*, т. 53, с. 182).

[46] П. А. Сергеенко начал готовить книгу «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой».

[47] Статья Э. Карпентера «Современная наука» с предисловием Толстого напечатана в «Северном вестнике», 1898, № 3. См. также коммент. 39.

[48] Драма «Сандра». Она не была напечатана (*ГМТ*).

[49] Дом был продан Толстым осенью 1854 г. В книге П. А. Сергеенко «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой» (М., 1898) воспроизведены снимки общего вида дома и нескольких комнат, сделанные фотографом П. Преображенским. Чертеж Толстого хранится в *ГМТ* и опубликован в *ЛН*, т. 69, кн. 1, с. 505.

[50] С. И. Танеев, «Восход солнца», на стихи Ф. И. Тютчева «Молчит сомнительно Восток...» (1865).

[51] Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

[52] Толстой ответил на это письмо 25 февраля 1898 г. (*ПСС*, т. 71, с. 293).

[53] 25 февраля 1898 г. Толстой записал в Дневнике: «...ничего не могу писать, хотя не перестаю думать о Хаджи-Мурате» (*ПСС*, т. 53, с. 184).

[54] А. Син-Джон под влиянием идей Толстого оставил службу в армии и поселился в земледельческой колонии на юге Англии. В сентябре 1897 г. приехал в Москву, чтобы передать деньги, пожертвованные английскими квакерами в пользу духоборов. Желая ближе познакомиться с духоборами, он поехал на Кавказ; там он был арестован и выслан из России.

[55] В этот день Толстой написал 10 писем (*ПСС*, т. 71, с. 286—296; т. 88, с. 79). Среди них упомянутые письма к П. И. Бирюкову, С. Н. Толстому и С. О. Красовскому.

[56] Корреспонденция «Полчаса у графа Л. Н. Толстого». — «Русский листок», 1898, № 57, 26 февраля. О посещении Т. Л. Толстой Победоносцева см. *Дн.* 29 января 1898 г. Об отношении Толстого к делу Дрейфуса см. в статье Толстого «О Шекспире и о драме» (*ПСС*, т. 35. с. 260—261).

[57] Толстой писал 28 февраля 1898 г. А. В. и А. М. Олсуфьевым: «...не могу сейчас без слез писать и думать об милой, милой, удивительно милой и незаметно нежно любимой мною вашей Лизе» (*ПСС*, т. 71, с. 297).

[58] Толстой вносил исправления и дополнения в корректуры т. 15 «Сочинений Л. Н. Толстого» (10-е изд.). В журнальную публикацию статьи они не вошли.

[59] Об этом Толстому сообщил Н. Я. Грот в письме от 3 марта 1898 г. (*ГМТ*). См. коммент. 61.

[60] Записка С. И. Танеева от 7 марта 1898 г. (*ГМТ*).

[61] В гл. VI—XX статьи «Что такое искусство?» цензурой были сделаны большие купюры и внесены в текст изменения, искажав-

шие мысль Толстого. Толстой считал статью «изуродованной» (письмо к В. Г. Черткову от 17 марта 1898 г. — *ПСС*, т. 88, с. 84). Гл. VI—XX напечатаны в кн. I журнала «Вопросы философии и психологии» (1898).

[62] Письмо Толстого к Дж. Гибсону, члену общины «Христианское содружество» от 11 марта 1898 г. (*ПСС*, т. 71, с. 306—310).

[63] См. *Дн.* 16 декабря 1897 г.

[64] См. *Дн.* 2 апреля.

[65] Духоборы, получив разрешение от русского правительства на переселение за границу, обратились к Толстому с просьбой помочь им. 17 марта Толстой написал письмо в редакцию «С.-Петербургских ведомостей» с обращением к обществу о помощи духоборам и одновременно письмо редактору этой газеты Э. Э. Ухтомскому (*ПСС*, т. 71, с. 314—318). Обращение напечатано не было. Копия С. А. Толстой хранится среди черновиков письма Толстого (*ПСС*, т. 71, с. 317).

[66] После встречи и беседы с Толстым М. М. Антокольский опубликовал статью «По поводу книги графа Л. Н. Толстого об искусстве» (журн. «Искусство и художественная промышленность», 1898, №№ 1 и 2, октябрь — ноябрь).

[67] 30 марта 1898 г. духоборы П. В. Планидин и Д. Чернов приезжали к Толстому посоветоваться о предстоявшем им переселении. Редактор «С.-Петербургских ведомостей» Э. Э. Ухтомский, сочувствовавший духоборам, выдвинул проект переселения их в Туркестан. Духоборам проект не понравился.

[68] См.: *ПСС*, т. 71, с. 345—347. Прошение не было подано. См. *Дн.* 26, 27 августа и коммент. 125.

[69] «Сочинения графа Л. Н. Толстого». Часть пятнадцатая. Изд. 1-е., 1898. Объявление о выходе книги было помещено в *Р. вед.*, 1898, № 94, от 5 апреля.

[70] По-видимому, в этот день в редакции газеты Толстому были переданы деньги, пожертвованные на помощь переселяющимся духоборам. См. *Дн.* 7 апреля и коммент. 73.

[71] См. *Дн.* 20 апреля и коммент. 80.

[72] Письмо М. О. Меньшикова от 6 апреля 1898 г. (*ГМТ*).

[73] В *Р. вед.*, № 93, 4 апреля, было помещено сообщение о поступивших пожертвованиях в пользу духоборов. Распоряжением обер-полицмейстера Трепова сбор пожертвований был запрещен. 21 апреля 1898 г. газета была закрыта на 2 месяца.

[74] Повесть «Песня без слов» (*ГМТ*).

[75] Лекцию о В. Ф. Одоевском А. Ф. Кони читал в Историческом музее. См. *Р. вед.*, 1898, № 100, 13 апреля.

[76] XXVI выставка картин Товарищества передвижных художественных выставок.

[77] Шестая выставка картин петербургского Общества художников. Картина Г. И. Семирадского — «Нерон и христианская Цирцея».

[78] По предложению С. И. Танеева С. Л. Толстой перевел с английского языка книгу Э. Праута «Музыкальная форма», Москва — Лейпциг, ⟨1900⟩ (*ЯПб*) (см.: *С. Л. Толстой*, с. 383).

[79] После раздела имущества между С. А. Толстой и детьми в 1891 г. дом Толстых в Москве принадлежал Л. Л. Толстому. См. *Дн.* 22 апреля 1891 г.

[80] В конце марта или в начале апреля 1898 г. Толстой получил от издательств «La Vita Internazionale» (Милан) и «L'Humanité Nouvelle» (Париж) анкету с вопросами об отношении к войне и милитаризму. В ответ на письмо Толстой начал писать статью, получившую название «Carthago delenda est» («Карфаген должен быть разрушен», *ПСС*, т. 39) и законченную 23 апреля 1898 г. В переводе на итальянский язык она была напечатана в журнале «La Vita Internacionale», 20 сентября н. с. 1898 г.

[81] Вероятно, речь идет о статье И. С. Листовского «Биография графа П. В. Завадовского» (журн. «Русский архив», 1883, кн. 2).

[82] Бюст Л. Н. Толстого работы П. П. Трубецкого — гипсовая копия хранится в *ГМТ*.

[83] Толстой пробыл в Гриневке с 24 апреля по 27 мая. Сын Илья Львович, сопровождавший его во время поездок, позднее писал, что при обследованиях «самую трудную работу — распределение количества едоков из каждой крестьянской семьи — отец почти везде производил сам, поэтому целые дни, часто до глубокой ночи, разъезжал по деревням» (*И. Л. Толстой*, с. 226). Всего было открыто 20 столовых. О своей работе по оказанию помощи голодающим в 1898 г. Толстой написал статью «Голод или не голод?» (*ПСС*, т. 29).

[84] 27 апреля 1898 г., в день отъезда жены, Толстой записал в Дневнике: «Мне хорошо. Немного нездоров. Соня нынче утром уехала — грустная и расстроенная. Очень ей тяжело. И очень ее жалко и не могу еще помочь» (*ПСС*, т. 53, с. 191).

[85] Письмо С. Н. Толстой от 29 апреля 1898 г. (*ГМТ*).

[86] Письма от 29, 30 апреля и 1 мая 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 308—311).

[87] Письмо от 3 мая 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 311—312).

[88] Письмо от 9 мая 1898 г. (*ПСТ*, с. 701—702).

[89] Об этом просил Толстой в письме от 6 мая 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 315). В Гриневку приехала Е. П. Муравская — студентка-математик.

[90] Письмо В. Г. Черткова от 2 мая (н. ст.) 1898 г. Об А. А. Шкарване в нем не упоминается (*ГМТ*).

[91] В письмах к Т. Л. Сухотиной от 8 и 9 мая (н. ст.) 1898 г. из Англии В. Г. Чертков просил одолжить ему деньги (*ГМТ*). 14 июля Толстой сообщил А. К. Чертковой, что его сын Л. Л. Толстой согласен дать заимообразно В. Г. Черткову нужную сумму (*ПСС*, т. 88, с. 108—109).

[92] Опера К.-М. Вебера «Волшебный стрелок» («Freischütz»).

[93] В апреле 1898 г. орловский губернатор А. Н. Трубников дал разрешение И. Л. Толстому на открытие одной столовой для нуждающихся крестьян. В это же время он отправил мценскому уездному исправнику секретное предписание вести наблюдение за столовой. В своих донесениях исправник А. А. Иванов, сообщая о деятельности Л. Н. и И. Л. Толстых по оказанию помощи крестьянам, писал, что помещики встревожены этим и утверждают, что голода в их местах нет (см. «Новый мир», 1956, № 7, с. 275—276). 19 мая 1898 г. А. Н. Трубников послал И. Л. Толстому письмо с просьбой столовых больше не открывать (*ПСС*, т. 84, с. 319—320), См. также: *И. Л. Толстой*, с. 224—227.

[94] См. *Дн.* 26 июня.

[95] С. А. Толстая писала 20 мая 1898 г.: «Милый Левочка, все думаю о твоем нездоровье и мучаюсь, что ничего о тебе не знаю... Как ваши дела со столовыми? ...Побывав у вас, я опять втянулась в ваши интересы» (*ГМТ*).

[96] Вероятно, С. А. Толстая читала книгу: А. М. Калмыкова. Греческий учитель Сократ. М., изд. «Посредник», 1886 (*ЯПб*; 2-е изд. — 1891 г.). В 1885 г. книга была отредактирована Толстым, а глава VII написана им полностью (*ПСС*, т. 25, с. 429—461).

[97] 27 мая 1898 г. Толстой и С. Н. Толстая выехали из Гриневки в Ефремовский уезд, чтобы осмотреть посевы. В этот день Толстой писал жене: «Решил, что необходимо это сделать и распределить поступающие ко мне деньги наилучшим образом» (*ПСС*, т. 84, с. 322). По дороге он заболел дизентерией и вынужден был остановиться у знакомого помещика П. И. Левицкого в имении Алексеевское. Оттуда 30 мая С. А. Толстой были посланы две телеграммы (*ПСС*, т. 84, с. 323).

[98] С. И. Танеев жил в Ясной Поляне летом 1895 и 1896 гг.

[99] Толстой писал 7—10? июня 1898 г. С. Н. и И. Л. Толстым: «Пожалуйста, продолжайте дело, как начато, и даже расширяйте, если есть настоящая необходимость. Я могу прислать еще 300 рублей. ...Пожалуйста, Илюша, пришлите мне расчет остальных денег поаккуратнее, так, чтобы можно было послать в газеты» (*ПСС*, т. 71, с. 376).

[100] *Н. вр.*, 1898, №№ 7996, 8002 и 8009, 3, 9 и 16 июня. Толстой находил рассказ «глупым и бездарным» (*ПСС*, т. 53, с. 199).

[101] Французский физиолог и психолог Шарль Рише посетил Ясную Поляну 20 августа 1891 г.

[102] По поводу этого события Толстой написал «Письмо в редакцию» (*ПСС*, т. 90, с. 138).

[103] Л. Н. Толстой. Сочинения. Изд. 9-е, т. I—XIII, М., 1893. В 1898 г. к этому изданию С. А. Толстой был выпущен дополнительный 14 том (а не 15-й). В него включены сочинения 1887—1898 гг. без соблюдения строгой хронологической последовательности.

[104] В этот день Толстой записал в Дневнике: «16-го заболел очень сильно. Никогда не чувствовал себя столь слабым и близким к смерти. Совестно пользоваться тем уходом, который окружающие дают мне. Ничего не мог делать» (*ПСС*, т. 53, с. 199).

[105] В результате судебного процесса земля осталась за Толстыми (*ПСТ*, с. 683).

[106] Письмо неизвестно.

[107] Точный текст записи Толстого в Записной книжке за апрель 1898 г.: «Женщина может быть свободна только если она христианка. Освободившаяся женщина не христианка есть ужасный зверь» (*ПСС*, т. 53, с. 331).

[108] Статья Толстого под заглавием «What is art?» вышла в трех выпусках в виде приложения к журналу «The new order» (январь, март и май 1898 г.).

[109] Р. В. Левенфельд работал над 2-м изданием (а не второй частью) книги «Лев Н. Толстой, его жизнь, произведения, миросозерцание» (Берлин, 1892). В письме к С. А. Толстой от 11 июня (н. ст.) 1898 г. он писал: «Хотел бы воспользоваться вашей помощью и цензурой» (*ГМТ*).

[110] Вероятно, речь идет о драме «Сандра», которую Т. Л. Толстая писала вместе с П. А. Сергеенко.

[111] Статья Толстого «Голод или не голод?» — газ. «Русь», 1898, №№ 4 и 5, 2 и 3 июля.

[112] См. письмо Толстого к В. Г. Черткову — *ПСС*, т. 88, с. 109—110 и Дневник 17 июля 1898 г.— *ПСС*, т. 53, с. 203.

[113] В июне 1898 г. Толстой возобновил работу над повестью «Отец Сергий», начатой в 1890 г., но, вернувшись в Ясную Поляну, к работе над ней не приступал, и при жизни Толстого она не печаталась (*ПСС*, т. 31).

[114] Толстой наметил к изданию остававшиеся еще не законченными и требовавшие доработки три произведения: «Отец Сергий», «Дьявол» и «Воскресение», но затем остановил свой выбор на «Воскресении», над которым работал до конца 1899 г.

[115] Духоборы П. В. Планидин и С. З. Постников. приехавшие 3 августа в Ясную Поляну, были без паспортов и скрывались от властей.

[116] Статья «Две войны» (*ПСС*, т. 31). Впервые — опубликована в Англии В. Г. Чертковым в «Листках Свободного слова», 1898, № 1.

[117] Речь идет о XIV томе девятого издания «Сочинений Л. Н. Толстого». См. *Дн.* 21 июня. Книга вышла в 1898 г.

[118] См. *Дн.* 19 декабря.

[119] Р. В. Левенфельд, гостивший в Ясной Поляне 1 и 2 июля 1898 г. (см. коммент. 109), прислал С. А. Толстой свою статью об этом посещении. 25 августа (н. ст.) 1898 г. он писал ей: «Прошу прочесть и вычеркнуть, что найдете нужным» (*ГМТ*). На русском языке под заглавием «У графа Толстого» она была напечатана в *Б. вед.*, 1898, № 244, 10 сентября.

[120] В начале августа 1898 г. Толстой обратился с письмами к московским богачам Л. И. Бродскому, В. А. Морозовой, С. Т. Морозову, А. М. Сибирякову, К. Т. Солдатенкову, призывая их пожертвовать деньги для переселения духоборов (*ПСС*, т. 71, с. 417—424).

[121] На эти сюжеты Толстой писал повести: «Записки матери» (*ПСС*, т. 29) — начата в 1891 г.; «Фальшивый купон» (*ПСС*, т. 36) — начата в 1880-е гг. и «Посмертные записки старца Федора Кузмича» (*ПСС*, т. 36) — 1905 г. Все повести остались незаконченными.

[122] Нью-йоркская газета «The Sunday World» 19 августа 1898 г. направила Толстому телеграмму в связи с опубликованием обращения русского правительства к другим державам собраться на мирную конференцию в Гааге. Толстой ответил 20—22? августа (*ПСС*, т. 71, с. 430).

[123] Имя его неизвестно. Толстой в этот день записал в Дневнике: «Баварец рассказывал про их жизнь. Он хвалится высокой степенью свободы, а между тем у них обязательное и религиозное грубо-католическое обучение. Это самый ужасный деспотизм» (*ПСС*, т. 53, с. 210).

[124] В. Г. Чертков был членом комитета, созданного английскими квакерами в Лондоне для помощи духоборам. По предложению Толстого, для выяснения условий поселения в Канаде и определения цены переезда, к В. Г. Черткову в Англию 29 августа 1898 г. поехали духоборы Н. С. Зибаров и И. П. Обросимов.

[125] См. письмо Толстого к духоборам от 27 августа 1898 г. (*ПСС*, т. 71, с. 433—434). В письме Толстой обещал содействовать передаче царю ранее составленного им прошения (см. *Дн.* 2 апреля и коммент. 68).

[126] В первой законченной редакции (1895) роман завершался женитьбой Нехлюдова на Катюше и отъездом их в Лондон (*ПСС*, т. 33, с. 93—94).

[127] Статья была напечатана в газете «Русь», 1898, № 4 и 5, 2 и 3 июля, за что редакции министром внутренних дел было сделано первое предостережение.

[128] См. *Дн.* 24 августа.

[129] Письмо к С. А. Толстой от 27 августа 1898 г. (*ГМТ*).

[130] Толстой дал сыну подробный список поручений для передачи В. Г. Черткову (*ПСС*, т. 88, с. 120—121). Кроме того, С. Л. Толстой должен был выяснить, сколько денег можно получить за издание переводов «Воскресения» (*ПСС*, т. 71, с. 439).

[131] См. *Дн.* 19 сентября 1891 г.

[132] О дальнейших переговорах с А. Ф. Марксом см. *Дн.* 6 октября и коммент. 140.

[133] Д. Е. Троицкий.

[134] 6 и 7 августа 1895 г. в Ясной Поляне Толстой читал «Воскресение» родственникам и гостям.

[135] Письмо М. Н. Толстой от 17 сентября 1898 г. (*ГМТ*).

[136] См. *Дн.* 8 января 1899 г.

[137] Не получив разрешения на осмотр тульской тюрьмы, Толстой поехал в Орел и там после ходатайства М. А. Стаховича посетил орловскую тюрьму (*Гусев,* с. 88).

[138] Вероятно, редактор парижского еженедельного журнала «Le Monde illustré» с женой. Толстой советовался с ними об оплате издания французского перевода романа «Воскресение» (см. письмо Толстого к В. Г. Черткову. — *ПСС*, т. 88, с. 130).

[139] Л. О. Пастернак прожил в Ясной Поляне несколько дней. Позднее он вспоминал, что хотел «дать не простые иллюстрации к такому-то месту... ...а художественное, сильное воспроизведение живой русской жизни, какое давал Толстой в портретах различных слоев русского общества» (см. кн.: Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., 1975, с. 194). Роман напечатан во французской газете «Echo de Paris» в 1899 г.

[140] В Ясную Поляну приезжал уполномоченный А. Ф. Маркса Ю. О. Грюнберг. Окончательное заключение договора было отложено по просьбе Толстого. 12 октября 1898 г. он написал А. Ф. Марксу, что согласен отдать роман для «Нивы», определив гонорар в 1000 рублей за печатный лист, с уплатой аванса в 12 000 рублей, а не в 20 000, как хотел раньше (*ПСС*, т. 71, с. 466—467).

[141] Рассказ был напечатан в журн. «Русская мысль», 1898, кн. VIII.

[142] Письмо от 19 октября 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 329).

[143] Письмо от 21 октября 1898 г. (*ПСТ*, с. 711—712).

[144] Письмо Л. Л. Толстого из Ясной Поляны, без даты (*ГМТ*). Толстой работал над «Воскресением».

[145] С. Л. Толстой убеждал мать отказаться от права получать гонорар за сочинения Толстого, написанные до 1881 г., и разрешить их безвозмездное издание. Об отказе Толстого от авторских прав см. *Дн.* 19 сентября 1891 г.

[146] П. А. Сергеенко. Дэзи. М., 1899.

[147] С. Максимов. Сибирь и каторга. СПб., 1891, в 3-х частях (*ЯПб* — 1 и 3 части).

[148] Письмо М. Л. Оболенской от 29 октября 1898 г. (*ГМТ*) и Толстого от 30 октября 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 330—331).

[149] Отрывок из неоконченной повести «История матери» (*ПСС*, т. 29, с. 251—259, под заглавием «Мать») прислала Т. Л. Толстая. 3 ноября 1898 г. она писала: «Милая мама̀, ...мы весь вечер переписывали отрывок, который посылаю вам для «Толстовского вечера». ...Отрывок папа́ просит дать читать Владимиру Немировичу-Данченко, — папа́ слышал, как он читает, и ему понравилось» (*ГМТ*). Вл. Ив. Немирович-Данченко выступил с чтением этого отрывка на концерте 19 декабря 1898 г. в театре Корша.

[150] С. И. Танеев, «Бьется сердце беспокойное» — романс на слова Н. А. Некрасова.

[151] Письмо от 2 ноября 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 333—334).

[152] Пьеса шла на сцене Московского Художественно-общедоступного театра (ныне — МХАТ).

[153] Д. А. Хомяков. Граф Л. Н. Толстой. Предисловие к рассказам Мопассана. — «Русский архив», 1898, № 11.

[154] «Остров Сахалин». — «Русская мысль», 1893, №№ 10—12, 1894, №№ 2—7.

[155] Директором Катковского лицея был Л. А. Георгиевский.

[156] Речь идет об отрывке из произведения Толстого «Вступление к истории матери». См. *Дн.* 6 ноября и коммент. 149. (Подробнее см.: И. А. Покровская. Судьба двух произведений. — «Октябрь», 1978, № 2.)

[157] См. *Дн.* 17 февраля и коммент. 46.

[158] Письмо от 17 ноября 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 334—335).

[159] Письмо от 18 ноября 1898 г. (ПСС, т. 84, с. 335—336).

[160] Письмо от 19 ноября 1898 г. (*ПСТ*, с. 717—718).

[161] 25 ноября 1898 г. в Московской частной русской опере состоялась премьера оперы Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Партию Сальери пел Ф. И. Шаляпин. В этот же вечер шла опера Х.-В. Глюка «Орфей и Эвридика».

[162] Письмо от 25 ноября 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 337).

[163] Письмо С. А. Толстой к Т. Л. Толстой от 23 ноября 1898 г. (*ГМТ*).

[164] С. И. Танеев, «Из края в край, из града в град...» Двойной хор для смешанных голосов, на слова Ф. И. Тютчева (1899).

[165] Письмо от 27 ноября 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 338).

[166] Телеграмма Толстого от 1 декабря 1898 г. к С. Н. Толстой (*ПСС*, т. 71, с. 496).

[167] Письмо от 1 декабря 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 338—339).

[168] По поручению С. Л. Толстого приезжал Д. Чернов. В письме к С. Л. Толстому от 5 декабря 1898 г. Толстой привел свои доводы против переселения в Арканзас (*ПСС*, т. 71, с. 498—499).

[169] См. *Дн.* 29 апреля.

[170] Рана Е. К. Гурьсли была не смертельной. Умерла в 1900 г.

[171] Filding. The Soul of a people. Книгу прислал Толстому Э. Кросби в ноябре 1898 г. Позднее по инициативе Толстого она была переведена на русский язык и издана: «Душа одного народа. Рассказ английского офицера Фильдинга о жизни его в Бирме», М., изд. «Посредник», 1902.

[172] Письмо и телеграмма С. Л. Толстого неизвестны. Подробнее см.: Л. А. Сулержицкий. В Америку с духоборами. М., изд. «Посредник», 1905; *С. Л. Толстой*, с. 184—203.

1899

(Стр. 438—456)

[1] Письмо к С. Л. Толстому от 5 января 1899 г. (*ГМТ*).

[2] М. О. Меньшиков. Начало жизни. Дети. — «Книжки Недели», 1898, № 12.

[3] А. Л. Толстой женился на О. К. Дитерихс. Толстой писал о них 12 января 1899 г. А. К. и В. Г. Чертковым: «Молодых я видел в день свадьбы. Дай бог им дела. Они милы, в особенности Ольга» (*ПСС*, т. 88, с. 150).

[4] Г. Зудерман. Тихое счастье. Перевод с нем. И. Владимирова. М., 1898.

[5] Известны десять писем Толстого от 12 января (*ПСС*, т. 72, с. 17—34; т. 88, с. 149—150). В те же дни января Толстой обрабатывал свой ответ на письмо М. П. Шалагинова от 18 декабря 1898 г. с вопросом о том, совместимо ли христианство с войной (*ПСС*, т. 72, с. 37—42). Последняя редакция этого письма публиковалась в форме статьи под заглавием «Письмо к фельдфебелю» (*ПСС*, т. 90). Толстой был занят также редактированием своего ответа Группе шведской интеллигенции (*ПСС*, т. 72, с. 9—17), последняя редакция которого опубликована в форме статьи под заглавием «По поводу Конгресса о мире. Письмо шведам» (*ПСС*, т. 90, с. 60—66).

[6] Рассказ *А. П. Чехова «Душечка»* — журн. «Семья», 1899, № 1. «Это перл, настоящий перл искусства», — сказал Толстой, закончив чтение (см.: П. А. Сергеенко. Толстой и его современники. М.,

1911, с. 227—228). Рассказ «Душечка», отредактированный Толстым (*ПСС*, т. 42, с. 610) и с его послесловием, включен в «Круг чтения» (*ПСС*, т. 41). Второй рассказ — «По делам службы» — «Книжки Недели», 1899, № 1.

[7] М. Я. Шанск и Н. А. Иенкен.

[8] «Мы говорили с ним о моем пребывании в скиту», — записал С. И. Танеев в дневнике 15 января 1899 г. (рукопись, Дом-музей П. И. Чайковского). С. И. Танеев для работы часто уезжал в скит, близ Троице-Сергиевской лавры под Москвой.

[9] Н. Н. Мясоедов (см.: *ДСТ*, II, с. 273).

[10] Надзиратель московской Бутырской пересыльной тюрьмы И. М. Виноградов был приглашен Толстым для просмотра корректур «Воскресения». Его замечания Толстой записал (*ПСС*, т. 33, с. 322—323, № 2) и использовал в дальнейшей работе над романом. См. также: И. М. Виноградов. К истории создания «Воскресения». — «Толстой и о Толстом», вып. 3. М., 1927, с. 48—53.

[11] XVIII периодическая выставка картин Московского общества любителей художеств.

[12] Бельгийская художественная выставка была открыта в Москве 10 января 1899 г. в здании Строгановского училища.

[13] Письмо А. Л. и О. К. Толстых к С. А. Толстой от 19 января 1899 г. (*ГМТ*).

[14] Пьеса А. П. Чехова «Чайка» шла на сцене Московского Художественно-общедоступного театра.

[15] Текст эпиграфов был послан С. А. Толстой с письмом к А. Ф. Марксу от 27 января 1899 г. («Сборник Пушкинского Дома на 1923 год», П., 1922, с. 305).

[16] Во время работы над «Воскресением» Толстой неоднократно обращался за справками к своему знакомому, адвокату В. А. Маклакову (см.: «Записи П. А. Сергеенко».— *ЛН*, т. 37/38, с. 539, и письмо В. А. Маклакова к Толстому от 15 сентября 1898 г. — «Голос минувшего», 1918, № 4—6, с. 295).

[17] Романс С. Л. Толстого «Мы встретились вновь...» на слова А. А. Фета Толстой находил «искренним» (*С. Л. Толстой*, с. 416).

[18] См. письмо Толстого к К. Т. Солдатенкову от 5 августа 1898 г. (*ПСС*, т. 71, с. 423—424).

[19] Главы XVII—XX трактата «Так что же нам делать?» (*ПСС*, т. 25, с. 247—281) печатались отдельно под заглавием «Деньги», Женева, изд. М. Элпидина, 1890.

[20] Письмо к П. И. Чайковскому от 19... 21 декабря 1876 г. (*ПСС*, т. 62, с. 297).

[21] «Голод или не голод?» (см. *Дн.* 29 апреля 1898 г. и коммент. 83).

[22] Первое симфоническое собрание Московского отделения Русского музыкального общества под управлением Н. Г. Рубинштейна состоялось 22 ноября 1860 г.

[23] См. письмо Толстого к С. Т. Морозову от 5 августа 1898 г. (*ПСС*, т. 71, с. 420—421).

[24] См. *Дн.* 7—27 февраля.

[25] Вероятно, С. А. Толстая читала воспоминания в рукописи. Позднее они были напечатаны: В. Микулич. Встреча со знаменитостью. М., изд. «Посредник», 1903.

[26] «Изображения из св. Евангелия и Псалтыря в свободных подражаниях древнейшим источникам». СПб., 1884.

[27] С. А. Толстая уехала в Киев 8 февраля 1899 г. В ответ на письмо жены от 9 февраля с сообщением о почти безнадежном положении Т. А. Кузминской Толстой писал 11—12 февраля: «Знаю, что все умрем, что в смерти нет ничего дурного, а больно. Очень я ее люблю» (*ПСТ*, с. 723—724; *ПСС*, т. 84, с. 340).

[28] Музыкальный вечер в доме Толстых состоялся 7 февраля 1899 г. «Лев Николаевич, по обыкновению, принимал в музыкантах живейшее участие» (см.: «Дневник В. Ф. Лазурского». — *ЛН*, т. 37/38, с. 496).

[29] Письмо С. Л. Толстого к С. А. Толстой от 26 января/7 февраля 1899 г. (*ГМТ*).

[30] Эдуард *Сине* — художник, отказавшийся от военной службы по религиозным убеждениям. Переписывался с Толстым в 1899—1900 гг. «Живет интересный и живой француз Sinet. Первый религиозный француз», — записал Толстой в Дневнике 21 февраля 1899 г. (*ПСС*, т. 53, с. 219).

[31] Толстого верхом на лошади П. П. Трубецкой лепил несколько раз. В *ГМТ* хранится бронзовая скульптура (1904) и бюст работы П. П. Трубецкого (гипс, тонированный под бронзу, 1900), который С. А. Толстая находила лучшим из всех скульптурных портретов П. П. Трубецкого (*Моя жизнь*, 1899).

[32] В письме к А. С. Пругавину от 10 марта 1899 г. Толстой упоминает только Ю. М. Комарову, которая и работала позднее на голоде в Самарской губ. (*ПСС*, т. 72, с. 91).

[33] Об отправке денег Толстой сообщал В. Г. Черткову в письмах от 2 и 9 марта 1899 г. (*ПСС*, т. 88, с. 159; 160—161). Партия духоборов, ранее переселившаяся на остров Кипр, в мае 1899 г. перебралась в Канаду.

[34] С. Л. Толстой возвратился в Москву 4 апреля 1899 г.

[35] По-видимому, была уничтожена записка, упомянутая Толстым в письме к жене от 19 мая 1899 г. (*ПСС*, т. 84, с. 285—288). См. также Дневник Толстого 16—17 мая 1899 г. (*ПСС*, т. 53, с. 145—147).

[36] Письмо Т. Л. Сухотиной к С. А. Толстой от октября 1899 г. (*ГМТ*).

[37] Акварельные рисунки «Холстомер в молодости» и «Холстомер в старости» (1887) художник Н. Е. Сверчков подарил Толстому (*ГМТ*). Местонахождение копий С. А. Толстой неизвестно.

[38] «Песня без слов». См. коммент. 47 к *Дн.* 1897 г.

1900

(Стр. 456—468)

[1] Над драмой «Живой труп» (первоначальное заглавие «Труп») Толстой работал с конца января до ноября 1900 г. Драма осталась незавершенной и при жизни Толстого не печаталась (*ПСС*, т. 34).

[2] П. А. Буланже задумал издание еженедельного иллюстрированного, литературно-политического и научного журнала «Утро». Узнав о предполагавшемся участии в нем Толстого, Главное управление по делам печати журнала не разрешило (см. «Судьба еженедельника «Утро». — «Голос минувшего», 1918, №№ 4—6, с. 300—303).

[3] Опера А. Н. *Корещенко «Ледяной дом»*, либретто М. И. Чайковского по роману И. И. Лажечникова, была поставлена в 1900 г. на сцене Большого театра.

[4] См.: А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 77—78 (запись 9 ноября 1900 г.).

[5] См. *Дн.* 16 октября 1891 г. и коммент. 104.

[6] С января 1900 г. по февраль 1902 г. С. А. Толстая была попечительницей приюта для беспризорных детей.

[7] См.: А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 78 (запись 10 ноября 1900 г.).

[8] Имеется в виду библейская Марфа, живущая заботами о повседневности (Еванг. от Луки, X, 41—42).

[9] 12 ноября 1900 г. в дневниковой записи Толстой изложил свое понимание «Учения середины» Конфуция (*ПСС*, т. 54, с. 57—62).

[10] 19 ноября 1900 г. Толстого посетили голландец Энгеленберг, занимавший административную должность на острове Ява, и его друг (фамилию установить не удалось). 5 декабря они вновь побывали у Толстого. «Энгеленберга я очень полюбил», — писал Толстой 6 декабря 1900 г. П. И. Бирюкову (*ПСС*, т. 72, с. 509). Подробнее об Энгеленберге и его встрече с Толстым см.: *ПСС*, т. 72, с. 507.

[11] С. И. Танеев. Два хора a capella для четырех смешанных голосов. № 1. «Звезды» («В час полночный»), слова А. С. Хомякова. № 2. «Альпы» («Сквозь лазурный сумрак ночи»), слова Ф. И. Тютчева.

[12] Вероятно, речь идет о музыкальном вечере в психиатрической клинике профессора С. С. Корсакова.

[13] Детский приют, попечительницей которого была С. А. Толстая, существовал на благотворительные средства. С. А. Толстая собиралась устроить литературно-музыкальный вечер в пользу приюта. См. *Дн.* 26 марта 1901 г.

[14] 27 ноября 1900 г. Толстой прочитал в рукописи статью М. П. Новикова «Голос крестьянина» и записал в Дневнике: «...получил сильное впечатление: вспомнил то, что забыл: жизнь народа: нужду, унижение и наши вины» (*ПСС*, т. 54, с. 65). Статья опубл. за границей анонимно: «Голос крестьянина», изд. «Свободного слова», № 86, 1904.

[15] С 1900 по 1908 г. С. Л. Толстой был гласным Московской городской думы.

[16] См. *Дн.* 20 ноября и коммент. 9.

[17] А. М. Бодянский, живший вместе с духоборами в Канаде, сообщил в письме к Толстому о желании нескольких духоборок вернуться в Россию, в Якутскую область. 7 декабря Толстой обратился к Николаю II за разрешением. К своему письму он приложил письмо А. М. Бодянского (*ПСС*, т. 72, с. 514—520). См. также записи в Дневнике Толстого 8 и 15 декабря (*ПСС*, т. 54, с. 69 и 71) и письмо Толстого к А. М. Бодянскому от 6 декабря (*ПСС*, т. 72, с. 510).

[18] Толстой предложил отрывок из незаконченного рассказа «Кто прав?» (*ПСС*, т. 29, с. 264—277). См. *Дн.* 26 марта 1901 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЕЗДКА К ТРОИЦЕ

(Стр. 471—474)

[1] *Л. А. Берс* — двоюродная сестра С. А. Толстой.

[2] Л. А. Берс.

[3] *Е. А. Берс* — старшая сестра С. А. Толстой и *Е. А. Берс* — двоюродная сестра С. А. Толстой.

[4] *А. А. Берс* — старший брат С. А. Толстой.

ЖЕНИТЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО

(Стр. 475—495)

[1] Об А. М. Исленьеве см. гл. III воспоминаний Т. А. Кузминской (*Кузминская*, с. 33—37).

[2] Дочери А. М. Исленьева от второго брака: Аглая (Адель), Ольга и Наталья.

[3] М. Н. Толстая, разъехавшись со своим мужем В. П. Толстым в 1857 г., уехала за границу и две зимы (1861—1863) провела в Алжире; в Россию она приезжала летом 1862 г. из Швейцарии.

[4] *Засека* — соседний с Ясной Поляной большой казенный лиственный лес, тянулся полосой шириной от двух до пяти верст через всю Тульскую губ. (в XVI и XVII столетиях деревья в лесу засекались, что служило заграждением от набегов татар).

[5] Н. П. Охотницкая.

[6] В дальнейшем «комната под сводами» много раз меняла свое назначение: с конца 1862 по 1864 г. здесь был кабинет Толстого, где написано начало «Войны и мира»; с 1864 до 1880-х гг. — детская старших детей, а затем комната сыновей Толстого; с 1887 по 1902 г. — снова кабинет Толстого; с 1902 г. — здесь жили дочери Толстого (см.: Н. П. Пузин. Дом-музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Очерк-путеводитель. М., 1971, с. 74—78).

[7] Е. Н. Банникова, в замужестве Орехова.

[8] А. С. Орехов.

[9] Н. Д. Банников.

[10] После смерти первой жены С. П. Козловской (в 1830 г.) А. М. Исленьев проиграл свое имение Красное в карты (см.: *Кузминская*, с. 114).

[11] С. П. Козловская.

[12] У С. П. Козловской от А. М. Исленьева было шестеро детей.

[13] Е. А. Ергольская.

[14] Толстой активно занимался педагогической деятельностью в период с 1859 по 1862 г. При его содействии в качестве мирового посредника в его участке с осени 1861 г. была организована 21 школа, где преподавали по приглашению Толстого исключенные из университета студенты. Сам он вел школьные занятия с крестьянскими детьми в Ясной Поляне. Подробно см.: *Гусев. Материалы*, II, главы 7, 9 и 10, и *ПСС*, т. 8.

[15] «Ясная Поляна. Школа. Журнал педагогический, издаваемый гр. Л. Н. Толстым»; выходил в течение 1862 г., № 1—12 (последний номер вышел в марте 1863 г.).

[16] 6—7 июля 1862 г. в отсутствие Толстого, находившегося в Самарской губ. на кумысе, в Ясной Поляне был сделан обыск по распоряжению шефа жандармов В. А. Долгорукова. Искали тайную типографию, запрещенные сочинения и т. д. Жандармы ничего предосудительного не нашли. Узнав об обыске, Толстой пришел в крайнее негодование. «Я часто говорю себе, — писал он А. А. Толстой 7 августа 1862 г., — какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то верно бы уже судился, как убийца» (*ПСС*, т. 60, с. 438).

В письме к Александру II (от 22 августа) Толстой писал, что

хотел бы знать, «кого упрекать во всем случившемся» и «чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные...» (там же, с. 441). Письмо было передано Толстым через флигель-адъютанта С. А. Шереметева. Объяснение, которое дал по этому делу Долгоруков, вполне удовлетворило царя.

[17] В повести «Наташа», которую написала юная С. А. Берс, два героя: Дублицкий и Смирнов и героиня Елена, у которой две сестры: старшая — Зинаида и младшая — Наталья. Содержание повести составляет рассказ о чистой любви между юным Смирновым и Еленой и ее увлечении Дублицким — человеком значительно старше ее (см. «Повесть Сони» — *Кузминская*, с. 101—102). Запись в Дневнике Толстого о повести сделана 26 августа 1862 г. (*ПСС*, т. 48, с. 41). Впоследствии С. А. Толстая очень жалела, что сожгла ее.

[18] 23 августа 1863 г. и Толстой сделал первую запись в Дневнике об отношении к С. А. Берс: «Я боюсь себя, что ежели и это — желанье любви, а не любовь. Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны и все-таки оно» (*ПСС*, т. 48, с. 40), а в письме к А. А. Толстой насмешливо признавался, что он, «старый, беззубый дурак, влюбился» (*ПСС*, т. 60, с. 444).

[19] См.: *ПСС*, т. 48, с. 44 и 45.

[20] См.: *ПСС*, т. 83, с. 16—17.

[21] О. Д. Зайковская.

[22] Речь идет о переговорах с петербургским издателем Ф. Т. Стелловским по поводу издания им Собрания сочинений Толстого. Переговоры на этот раз оказались безуспешными, и лишь в 1864 г. Стелловским были изданы «Сочинения графа Л. Н. Толстого в двух частях».

[23] Ср. с записью в Дневнике Толстого: «...сомненья в ее любви и мысль, что она себя обманывает... В день свадьбы страх, недоверие и желанье бегства» (*ПСС*, т. 48, с. 46).

[24] Квартира Берсов находилась в Кремле в доме «Ордонансгауза» (Комендантского управления).

[25] «Анна Каренина», ч. 5, гл. I—VI.

[26] М. А. Поливанов (см. коммент. 1 к *Дн.* 1862 г.).

[27] С. Т. Иванова, экономка.

[28] Сохранилось первое письмо С. А. Толстой из Ясной Поляны от 25 сентября 1862 г. «Еще не совсем огляделась, — пишет она сестре Т. А. Берс, — все странно еще, что в Ясной я дома» (*ГМТ*). Это письмо она «впервые важно подписала графиня Соня Толстая».

[29] См. запись в Дневнике Толстого: «Неимоверное счастье. И опять она пишет подле меня. Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью» (*ПСС*, т. 48, с. 46).

МОИ ЗАПИСИ РАЗНЫЕ ДЛЯ СПРАВОК
(Стр. 495—511)

[1] А. С. Пушкин. Сочинения. С прил. материалов для его биографии, портрета, снимков с его почерка и с его рисунков. Т. I. СПб., изд. П. В. Анненкова, 1855 (*ЯПб*).

[2] В письме к А. А. Фету от 30 августа 1869 г. Толстой сообщал, что «выписал все сочинения» Шопенгауэра, «читал и читает» их и испытывает «неперестающий восторг». «Я уверен, что Шопенгауэр гениальнейший из людей» (*ПСС*, т. 61, с. 219).

[3] Толстой считал Гегеля «слабым мыслителем» (см.: *ПСС*, т. 48, с. 345), а в письме к Н. Н. Страхову (1872) признавался, что, читая выписки из Гегеля, он не понял «ни единого слова» (*ПСС*, т. 61, с. 348).

[4] Замысел этот возник у Толстого еще в период писания «Войны и мира», и, закончив роман, он напряженно работал над «Азбукой». «Азбука» вышла в 1872 г.

[5] Сохранился черновик заметок к предполагаемому роману, героями которого должны были стать люди с «характерами русских богатырей» (см.: *ПСС*, т. 90, с. 109—110). Замысел этого романа продолжал интересовать Толстого в течение всего года, о чем свидетельствует запись об Илье Муромце и его товарищах в Записной книжке 30 декабря 1870 г. (*ПСС*, т. 48, с. 90). Подробно см.: Э. Е. Зайденшнур. Работа Л. Н. Толстого над русскими былинами (Сб. «Русский фольклор. Материалы и исследования». V. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1960, с. 329—366).

[6] В письме от 4 февраля 1870 г. Толстой сообщал А. А. Фету: «Я очень много читал Шекспира, Гете, Пушкина, Гоголя, Мольера и обо всем этом многое хочется вам сказать» (*ПСС*, т. 61, с. 226—227). К этому же времени относится запись Толстого на отдельном листе — рассуждения о драме и комедии, о трагедии и «Борисе Годунове», который кажется ему «слабым» (*ПСС*, т. 48, с. 344).

[7] Замысел не был осуществлен.

[8] Позднее С. А. Толстая сделала к этой записи в Дневнике приписку: «Хвала Шекспиру была кратковременна, в душе он его не любит и всегда говорит: «Я это говорю потихоньку». См. статью Толстого «О Шекспире и о драме» (1903—1904) — *ПСС*, т. 35.

[9] «История царствования Петра Великого», незаконченный 23-летний труд Н. Г. Устрялова. Вышли тт. I—III (1858), т. VI (1859) и т. IV (1863).

[10] Запись сюжета о поручике В. М. Мировиче, которому Толстой хотел придать драматическую форму, не сохранилась.

[11] В этот день Толстой сделал первый набросок романа из эпохи Петра I. Работа продолжалась с перерывом до 1873 г. В это время Толстой изучал эпоху Петра I и написал 25 вариантов начала. Писание «Анны Карениной» прервало эту работу почти на пять лет. В 1879 г. Толстой вновь вернулся к ней, создав еще восемь новых вариантов начала. Роман остался незавершенным (см.: *ПСС*, т. 17).

[12] Это первое упоминание о романе «Анна Каренина», начатом Толстым в 1873 г. См. коммент. 26.

[13] В журнале «Заря», бесплатно высылаемом редакцией Толстому, были напечатаны четыре статьи Н. Н. Страхова о «Войне и мире» (1869, № 1—3, 1870, № 1). Статьи были изданы отдельно под заглавием: Н. Страхов. Критический разбор «Войны и мира». СПб., 1871; перепечатаны в сборнике: Н. Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. СПб., 1885. С. А. Толстая писала в «Моей жизни»: «Лев Николаевич говорил, что Страхов в своей критике придал «Войне и миру» то высокое значение, которое роман этот получил уже много позднее и на котором он и остановился навсегда» (*Моя жизнь*, кн. 2, с. 261). Об этом же: С. А. Толстая. Автобиография. — «Начала», 1921, № 1, с. 147.

[14] Немецкую газету «Moskauer Deutsche Zeitung» в Ясную Поляну посылал Ф. Ф. Рис — владелец типографии в Москве, где печатались первые два издания «Войны и мира» и «Анны Карениной».

[15] Начало этого романа не сохранилось.

[16] В письме к А. А. Фету от 17 ноября 1870 г. Толстой писал: «Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять» (*ПСС*, т. 61, с. 240).

[17] Толстой пробыл в Москве несколько дней; он жил в гостинице «Россия» на Кузнецком мосту.

[18] Об уроках отца С. Л. Толстой впоследствии вспоминал: «Иногда он раздражался и возвышал голос, особенно во время уроков, но я не помню, чтобы он при этом употреблял грубые слова; случалось только, что он прогонял с урока» (*С. Л. Толстой*, с. 88).

[19] Зимой 1870 г. Толстой увлекся изучением греческого языка и в течение 3—4 месяцев овладел языком настолько, что мог свободно читать «Ксенофонта почти без лексикона», а затем «Гомера и Платона» (см. письмо к С. С. Урусову от 29... 31 декабря 1870 г. — *ПСС*, т. 61, с. 245). Чтение древнегреческих классиков продолжалось и в 1871 г. Он шутливо писал А. А. Фету 13 февраля: «Живу весь в Афинах. По ночам во сне говорю по-гречески» (там же, с. 249).

[20] I—IV книги «Азбуки» (см.: *ПСС*, т. 22).

[21] «Неуспех» «Азбуки» имел несколько причин: царская администрация подозрительно относилась к педагогической деятельности Толстого, «Азбука» не была допущена в качестве учебника для школ министерством просвещения (см.: *ПСС*, т. 61, с. 338—340); в печати появились резко отрицательные отзывы о ней. Вследствие этого, а также из-за высокой цены книга не распродавалась. Для облегчения продажи ее расброшюровали на 12 книжек: «Азбука», четыре книги для русского чтения, четыре книги для славянского чтения, две книги арифметики и «Руководство для учителя». Но и это не помогло, и в 1875 г. Толстой занялся переработкой «Азбуки» (см.: *ПСС*, т. 21, с. 547—594).

Хотя неудача «Азбуки» 1872 г. «смутила и сердила» Толстого, он был убежден, что «памятник воздвиг этой Азбукой» и что «ее оценят лет через 10 те дети, которые на ней выучатся» (*ПСС*, т. 61, с. 349; т. 62, с. 9).

[22] В письме к П. Д. Голохвастову от 6 декабря 1872 г. Толстой назвал 13 книг из эпохи Петра, которые он желал бы иметь (см.: *ПСС*, т. 61, с. 341), в это же время им были куплены семь книг в Москве (счет Толстому. — *ПСС*, т. 17, с. 629—630). С подобной просьбой Толстой обращался к Голохвастову и в январе 1873 г. (см. письмо от 24 января.— *ПСС*, т. 62, с. 5—6).

[23] Во время работы над романом из эпохи Петра I Толстой читал книги: И. Е. Забелин. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. Т. 1, ч. I («Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст.»), М., 1862; т. 2 («Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст.»), М., 1869, и Г. К. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1840.

[24] В письме к А. А. Фету от 30 января 1873 г. Толстой жаловался: «Работа затеянная — страшно трудна. Подготовки изучения нет конца, план все увеличивается, а сил, чувствую, что все меньше и меньше» (*ПСС*, т. 62, с. 8). Последнее упоминание о работе над романом из эпохи Петра I находим в письме Толстого к Фету от 17 марта 1873 г.: «Работа моя не двигается» (там же, с. 15).

Толстой, поясняя, почему роман не был закончен, ссылался на «отдаленность эпохи», на то, что «царь Петр от него очень далек» и т. п. Главная причина, очевидно, была та, что Толстой разочаровался и в личности Петра, и в его государственной деятельности (см.: *Гусев. Материалы*, III, с. 127—132).

[25] По-видимому, отрывок: «В 179... году возвращался я в Лифляндию» (А. С. Пушкин. Соч., т. 5. СПб., 1855, с. 517—518).

[26] 18 марта 1873 г. Толстой начал писать роман «Анна Каренина». В письме к Н. Н. Страхову от 25 марта 1873 г. он писал, что толчком к этому послужило чтение отрывка Пушкина «Гости съезжались на дачу» (А. С. Пушкин. Соч., т. 5. СПб., 1855,

с. 502—506). В письме также сообщалось, что роман «нынче кончил начерно» (*ПСС*, т. 62, с. 16).

[27] К. А. Иславин.

[28] Семья Толстых прибыла на Самарский хутор 8 июня. Поездка была предпринята для укрепления здоровья Толстого.

[29] 23 августа Толстые вернулись из Самары в Ясную Поляну. Подробно об этапах работы над романом «Анна Каренина» см. статью Н. К. Гудзия «История писания и печатания «Анны Карениной» (*ПСС*, т. 20, с. 577—643).

[30] И. Н. Крамской писал портреты Толстого в Ясной Поляне с 5 сентября по 13 октября 1873 г. Им было написано два портрета, из которых один находится в *ГТГ*, а другой — в Ясной Поляне. Он писал И. Е. Репину 23 февраля 1874 г.: «Граф Толстой, которого я писал, — интересный человек, даже удивительный. Я провел с ним несколько дней и, признаюсь, был все время в возбужденном состоянии даже. На гения смахивает». См. его письмо к Толстому от 29 января 1885 г. (опубл. в кн.: «Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи». СПб., 1888, с. 207 и 513). Портрет, написанный И. Н. Крамским, был первым живописным портретом Толстого.

[31] «Анна Каренина», ч. 5, гл. XXII или XXIII и XXVIII.

[32] О замысле нового романа Толстой упоминал в письмах к Н. Н. Страхову и А. А. Фету (от 12 и 26 января 1877 г. — *ПСС*, т. 62, с. 304, 308), но лишь запись в Дневнике С. А. Толстой раскрывает содержание этого замысла. В 1878 г. он пытался его осуществить в новых началах незаконченного романа «Декабристы», где рассказывается о том, как один из декабристов попадает к крестьянам-переселенцам. См. запись в Дневнике С. А. Толстой 8 января 1878 г.

[33] А. П. Бобринский приезжал в 1873 г. в Ясную Поляну и излагал свои взгляды на добро и веру в Христа.

[34] Размышления о смысле и цели жизни привели Толстого к религии, в которой он стремился найти спасение от мучивших его вопросов. В письме к А. А. Толстой (от 5... 9 февраля 1877 г.) он писал, что для него «вопрос религии такой же вопрос, как для утопающего вопрос о том, за что ему ухватиться, чтобы спастись от неминуемой гибели; религия представлялась ему «этой возможностью спасения» (*ПСС*, т. 62, с. 310). В «Исповеди», написанной спустя два года, Толстой рассказал о своих религиозных исканиях, приведших его к разрыву с учением церкви (*ПСС*, т. 23). В письме к А. А. Толстой от 3 марта 1882 г. он писал: «Общего между мною и вами быть не может, потому что ту святодуховскую веру, которую вы исповедуете, я исповедовал от всей души и изучал всеми силами своими ума и убедился, что это не вера, а

мерзкий обман, выдуманный для погибели людей» (*ПСС*, т. 63, с. 90). Религиозные и философские работы Толстого 1875—1878 гг. см. в *ПСС*, т. 17.

[35] В письме к А. А. Фету от 1—2 сентября 1877 г. Толстой сообщал: «Я все это время охочусь и хлопочу об устройстве нашего педагогического персонала на зиму» (*ПСС*, т. 62, с. 341). Учителем детей Толстых с осени 1877 г. стал В. И. Алексеев (см. его воспоминания о жизни в семье Толстых в кн.: *Летописи*, кн. 12. М., 1948, с. 232—325). «Василий Иванович,— писал С. Л. Толстой, — был первый наш учитель, который искренно хотел не только передать нам известные знания, но и дать нам некоторое нравственное воспитание» (*С. Л. Толстой*, с. 59).

[36] Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Толстой тяжело переживал неудачи русской армии в первые месяцы войны (см. его письмо к Н. Н. Страхову от 10 августа 1877 г. — *ПСС*, т. 62, с. 334—336). «Война тревожит меня и мучает ужасно», — писал он Н. М. Нагорнову в начале сентября 1877 г. (там же, с. 341).

[37] Толстой с Н. Н. Страховым выехал в Оптину пустынь 25 июля. 26 июля он беседовал с старцем Амвросием и другими монахами и отстоял в монастыре всенощную (см. письмо к С. А. Толстой от 26 июля 1877 г. — *ПСС*, т. 83, с. 238—239; см. также: *Гусев. Материалы*, III, с. 439—443).

[38] Замысел Толстого написать письмо Александру II о причинах неудач в русско-турецкой войне и об общем состоянии России не был осуществлен; вместо этого была начата статья ⟨«О царствовании императора Александра II»⟩, оставшаяся неоконченной (*ПСС*, т. 17).

[39] В «Русском вестнике» за 1875—1877 гг. были опубликованы семь частей «Анны Карениной». Восьмая часть вышла отдельным изданием в 1877 г., в типографии Ф. Ф. Риса. Летом 1877 г. Толстой исправил журнальный текст романа для отдельного издания: «Анна Каренина, роман графа Л. Н. Толстого в восьми частях». М., 1878. На обложке книги помечено: «Издание второе», первым считалась публикация в журнале.

[40] Толстой писал диалог «Собеседники», затем пробовал изложить свои мысли об отношении разума и веры в форме статьи (под тем же заглавием), оставшейся неоконченной (см.: *ПСС*, т. 17).

[41] Эта запись, так же, как и запись 3 марта 1877 г., связана с возвращением Толстого к замыслу «Декабристов». В письмах Т. А. Кузминской (от 14 и 25 января) С. А. Толстая сообщала, что Толстой «собирается писать что-то историческое времен Николая Павловича» и «что это будет что-то очень хорошее, историческое,

времен декабристов, вроде, пожалуй, «Войны и мира» (*ГМТ*; цит. в *ПСС*, т. 17, с. 475).

[42] В Москве, куда Толстой поехал 8 февраля, он приобрел нужные ему книги из эпохи Александра I и Николая I, а также познакомился с декабристами П. Н. Свистуновым, А. Н. Беляевым и с дочерью декабриста Н. М. Муравьева — С. Н. Бибиковой (см. письмо к С. А. Толстой от 9 февраля 1878 г. — *ПСС*, т. 83, с. 242).

[43] Осенью 1879 г. Толстой задумал написать сочинения с изложением религиозных взглядов, к которым он пришел в результате критического изучения церковного учения (см. набросок плана в Записной книжке.— *ПСС*, т. 48, с. 195). В ноябре — декабре были написаны «Церковь и государство» (*ПСС*, т. 23) и «Что можно и чего нельзя делать христианину» (*ПСС*, т. 90); осталась неоконченной статья «Чьи мы? боговы или дьяволовы?» (*ПСС*, т. 90) и неозаглавленное сочинение, начинающееся словами: «Я вырос, состарился и оглянулся на свою жизнь...» (опубл. в кн.: *Гусев. Материалы*, III, с. 592—601).

[44] В феврале 1879 г. Толстой прекратил работу над романом «Декабристы». В письме к А. А. Фету он писал 17 апреля 1879 г.: «Декабристы мои бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал, и писал, то льщу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества» (*ПСС*, т. 62, с. 483). См.: *Гусев. Материалы*, III, с. 530—537.

[45] В марте 1880 г. Толстой начал работать над сочинением — «Соединение и перевод четырех Евангелий» (*ПСС*, т. 24). Содержание его Толстой сформулировал так: «Исследование христианского учения не по этим толкованиям, а только по тому, что дошло до нас из учения Христа, приписываемого ему и записанного в Евангелиях, перевод четырех Евангелий и соединение их в одно» (т а м ж е, с. 801). Работа с перерывами продолжалась до лета 1881 г. Первое издание: тт. 1—3, Женева, изд. М. К. Элпидина, 1892—1894.

[46] А. С. Пирогова покончила с собой 4 января 1872 г. (сообщение в «Тульских губернских ведомостях» 8 января 1872 г.). В апреле того же года А. Н. Бибиков женился на «красивой немке» О. А. Фирекель.

Утверждение С. А. Толстой, что история Анны Пироговой заставила Толстого дать героине романа это имя, спорно, т. к. в черновых редакциях «Анны Карениной» она носит имя Татьяна, Анастасия (Нана), и только в четвертой редакции установилось имя Анна (см. в кн.: В. А. Ж д а н о в. Творческая история «Анны Карениной». М., «Советский писатель», 1957, с. 9—20).

[47] Личное знакомство Толстого с Тургеневым состоялось в конце 1855 г., когда Толстой приехал из Севастополя в Петербург. С М. Н. Толстой Тургенев был знаком с октября 1854 г. Тургенев неизменно высоко оценивал литературный талант Толстого. Но при близком знакомстве обнаружилась противоположность их натур, взглядов, творческих направлений, обнаружилось то, что Толстой назвал «оврагом». Эти причины привели их к взаимному охлаждению и затем к разрыву их личных отношений на 17 лет.

[48] Ссора между Толстым и Тургеневым произошла 27 мая 1861 г. (см. в кн.: А. А. Фет. Мои воспоминания, ч. 1. М., 1890, с. 370—375, а также *Гусев. Материалы*, II, с. 437—454).

[49] См. переписку Толстого с Тургеневым за май — октябрь 1861 г. в кн.: *Толстой. Переписка*, с. 110—112.

[50] Запись оборвана. О примирении Толстого с Тургеневым С. А. Толстая записала 12 августа 1878 г.

[51] Письмо Толстого от 6 апреля 1878 г. — *ПСС*, т. 62, с. 406—407. Ответ Тургенева от 20/8 мая 1878 г. — *Тургенев. Письма*, т. XII, кн. 1, с. 323. Тургенев выражал надежду «летом попасть в Орловскую губернию» и увидеться с Толстым.

[52] О телеграмме Тургенева сведений нет. Известно письмо Тургенева от 4 августа 1878 г., в котором он сообщал, что понедельник (8 августа) проведет в Туле, и спрашивал Толстого, где они встретятся: в Туле или в Ясной Поляне (*Тургенев. Письма*, т. XII, кн. 1, с. 340). 8 августа Толстой встретил Тургенева в Туле, они вместе приехали в Ясную Поляну, где Тургенев провел два дня.

[53] Скульптура М. М. Антокольского «Христос перед судом народа». Бронзовый экземпляр (1874) — в Гос. Русском музее, мраморное повторение (1876) — там же и в *ГТГ*.

[54] Этот эпизод вошел в воспоминания Т. Л. Сухотиной-Толстой «Зарницы памяти» — «Кто боится смерти» (см.: *Т. Л. Сухотина*, с. 432—433).

[55] Тургенев провел в Ясной Поляне 2—4 сентября. «Тургенев на обратном пути был у нас,— писал Толстой Фету 5 сентября 1878 г. — Он все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна» (*ПСС*, т. 62, с. 441).

СМЕРТЬ ВАНЕЧКИ

(Стр. 512—518)

[1] Глава «Смерть Ванечки» из записок С. А. Толстой «Моя жизнь (кн. 7, с. 21—41) приводится в сокращении.

[2] «Дочь каторжника». Роман по Чарльзу Диккенсу («Большие ожидания»). Составила гр. В. С. Толстая. «Посредник», М., 1895, № 185.

[3] Точный текст дневниковой записи Толстого за 26 февраля: «Похоронили Ванечку. Ужасное — нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю тебя, Отец. Благодарю Тебя» (*ПСС*, т. 53, с. 10).

[4] Письмо к Т. А. Кузминской от 7 марта 1895 г. (*ГМТ*).

[5] В ноябре 1932 г. кладбище было упразднено и прах детей Толстых перевезен на Кочаковское кладбище в трех верстах от Ясной Поляны.

[6] Оба этюда Н. А. Касаткина (с могилы сыновей Л. Н. Толстого Алексея и Ивана на Никольском кладбище) сохранились: один, выполненный на холсте маслом, — в Ясной Поляне, в комнате С. А. Толстой, второй (написанный на дощечке) — в Музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Москве, в комнате Т. Л. Сухотиной. Вероятно, об этом этюде художник писал ей 5 марта 1895 г.: «Глубоко сочувствую Софье Андреевне и очень рад за судьбу своего этюда. Его нельзя отдать, не приведя в порядок детали — заканчивать же на самом неудобно. Я решил повторить его, несколько обработав, на дощечке — тогда вам передам оба вместе» (цит. по кн.: К. А. Ситник. Николай Алексеевич Касаткин. Жизнь и творчество. М., 1955, с. 157—158. Сверено с автографом *ГМТ*).

[7] Письмо Н. А. Касаткина в *ГМТ* не сохранилось.

[8] Письмо к Т. А. Кузминской от 7 марта 1895 г. (*ГМТ*).

[9] Письмо Меньшикова в архиве С. А. Толстой не сохранилось.

[10] В письме от 2 марта 1895 г. Н. Н. Страхов писал: «Зачем умер удивительный мальчик? Сколько раз мне приходится думать, что лучше бы мне умереть вместо покойника! Он много обещал, — может быть, наследовал бы не одно ваше имя, а и вашу славу. А как был мил — сказать нельзя! Воображаю печаль Софьи Андреевны!» (*ГМТ*). 8 марта Толстой ответил Страхову: «Для меня эта смерть была таким же, еще более значительным событием, чем смерть моего брата. Такие смерти (такие, в смысле особенно большой любви к умершему и особенной чистоты и высоты духовной умершего) точно раскрывают тайну жизни, так что это откровение возмещает с излишком за потерю. Таково было мое чувство» (*ПСС*, т. 68, с. 43).

[11] Письмо А. В. Жиркевича от 13 марта 1895 г. (*ГМТ*).

[12] Письмо М. А. Стаховича от 8 марта 1895 г. (*ГМТ*).

[13] Письмо О. А. Голохвастовой от 3 марта 1895 г. (*ГМТ*).

[14] Письмо С. А. Философовой от 28 февраля 1895 г. (*ГМТ*).

[15] Письмо А. Г. Достоевской от 5 марта 1895 г. (*ГМТ*).

[16] Рассказ Ванечки «Спасенный такс» (журн. «Игрушечка», отдел «Для малюток», 1895, № 3). О том, как он был написан, С. А. Толстая вспоминала: «Раз, лежа на тахте в гостиной, он мне говорит: «Мама, мне все надоело, я хочу, как папа, сочинять.

Я тебе буду говорить, а ты пиши». И он мне так художественно продиктовал маленький рассказ из его детской жизни, под заглавием «Спасенный такс» (*Моя жизнь*, кн. 7, с. 10).

[17] Письмо А. Н. Пешковой-Толиверовой от 5 марта 1895 г. (*ГМТ*).

[18] Письмо к Т. А. Кузминской от ⟨27⟩ марта 1895 г. (*ГМТ*).

[19] С. А. Толстая приводит в сокращении две отдельные дневниковые записи Толстого от 27 марта.

Точный текст: «Соня все также страдает и не может подняться на религиозную высоту. Должно быть, страданье это нужно ей и делает в ней свою работу. Жаль ее. Но верю, что так надо. Надо для того, чтобы, почувствовав действие руки божией, узнать ее и полюбить» (*ПСС*, т. 53, с. 14).

«Думал за это время. Соня ужасно страдает. Причина то, что она к животной любви к своему детищу привила все свои духовные силы: положила свою душу в ребенка, желая сохранить его. И желала сохранить жизнь свою с ребенком, а не погубить свою жизнь не для ребенка, а для мира, для бога. Совсем неясно» (т а м ж е, с. 16).

[20] В письме к Т. А. Кузминской ⟨27⟩ марта С. А. Толстая писала: «Левочка очень со мной добр, водит меня гулять, возил в тюрьму к заключенному политическому... Мне утешительна его доброта и ласковость; но мне тяжело то, что и он все больше и больше сгибается, стареет, худеет, плачет и никогда уже не только не улыбнется, но даже не подбодрится. И Ванечку ему страшно жаль, да и меня он не может видеть» (*ГМТ*).

Здесь С. А. Толстая говорит о посещении 22 марта в Бутырской тюрьме Н. Т. Изюмченко, отказавшегося от военной службы и высылаемого в Сибирь.

[21] Точный текст дневниковой записи Толстого от 6 апреля 1895 г.: «Машенька тоже стала добрее после того, как пошла в монастырь. Что это значит? Как соединяется язычество с христианством? Не могу вполне уяснить себе. Что такое культ?» (*ПСС*, т. 53, с. 20).

СОДЕРЖАНИЕ

Толстая С. А.

Т52 Дневники. В 2-х томах. Т. 1. 1862—1900 гг. Сост. и коммент. Н. И. Азаровой и др. Вступит. статья С. А. Розановой. М., «Худож. лит.», 1978.

606 с. (Серия литературных мемуаров)

Первый том Дневников С. А. Толстой состоит из записей с 1862 по 1900 год, а также отдельных мемуарных очерков: «Женитьба Л. Н. Толстого», «Смерть Ванечки» и др.

Т $\frac{70202\text{-}312}{028(01)\text{-}78}$ 58-78 **8Р1**

Софья Андреевна
Толстая

ДНЕВНИКИ

Том первый

Редакторы
Ч. Залилова и К. Нещименко

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
Л. Синицина

Корректоры
Л. Коншина и М. Чупрова

ИБ № 804

Сдано в набор 16.01.78. Подписано в печать 11.08.78. Формат 84×108$^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «обыкновенная новая». Печать высокая. 31,92 усл. печ. л. 34,178+1 вкл.+альбом=34,947 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 941. Цена 2 р. 30 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.